

Гоголь

Полное собрание
сочинений



Весь

Николай

Гоголь



в одном томе



Diximir

Весь Гоголь Николай в одном томе //Интернет-издание (компиляция),
2021
FB2: , 2021-05-29, version 2.0
UUID: 4D802240-8F50-4BA8-8EA7-F51395DB49C2
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Васильевич Гоголь

Весь Гоголь Николай в одном томе

(Серия супер-крупных книг «Diximir» #15)

Все произведения Николая Васильевича Гоголя в одной электронной книге.

Сборка: Diximir (YouTube)

Содержание

Вечера на хуторе близ Диканьки	0006
Часть первая	0007
Часть вторая	0183
Миргород	0430
Часть первая	0431
Часть вторая	0714
Повести	0888
Невский проспект	0888
Нос	0959
Портрет	1010
Шинель	1122
Коляска	1185
Записки сумасшедшего	1209
Рим	1251
Мёртвые души (поэма)	1333
Том первый	1333
Том второй	1829
Драматические произведения	2096
Ревизор Комедия в пяти действиях	2096
Женитьба Совершенно невероятное событие в двух действиях	2256
Игроки	2357
Утро делового человека	2427
Тяжба	2440
Лакейская	2453

Отрывок	2466
Театральный разъезд после представления новой комедии	2490
Альфред	2556
Отрывки из неизвестной драмы	2593
Наброски драмы из украинской истории .	2599
Неоконченное. Наброски	2605
Гетьман. Несколько глав из неоконченной повести	2605
Кровавый бандурист. Глава из романа . . .	2651
Глава из исторического романа	2668
Страшный кабан. Две главы из малороссийской повести	2688
О книге	2714

**Весь
Николай Гоголь
(в одном томе)**

Вечера на хуторе близ Диканьки



Часть первая

Предисловие

«Э то что за невидаль: «Вечера на хуторе близ Диканьки?» Что это за «Вечера»? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава богу! ещё мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Ещё мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дёрнула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в неё».

Слышало, слышало вещее моё все эти речи ещё за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! Это всё равно, как, случается, иногда зайдёшь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Ещё бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборвавшийся мальчишка, посмотреть — дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать

ногами. «Куда, куда, зачем? пошёл, мужик, пошёл!..» Я вам скажу... Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался — плачь не плачь, давай ответ.

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), — у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь и наш брат припрячет своих пчёл в тёмный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, — тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонёк, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум... Это у нас *вечерницы!* Они, извольте видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберётся в одну хату

толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрыпачом — подыметя крик, затеетя шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятя загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком — ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останетя оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого

десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и повыше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдёте в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в тонком суконном балахоне цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дёгтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал

в пазуху. А один из гостей... Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдёт рассказывать — вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападёт. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчёт этого славную сплёл присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него — лопатус, баба — бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и — хватить его по лбу. «Проклятые грабли! — закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин. — Как же они, чёрт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!»

Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посередине комнаты, нагнул голову немного вперёд, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щёлкнул пальцем по намалёванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растёртого с золою и листьями любистка, поднёс её коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, — и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетку бумажный платок, тогда только проворчал про себя чуть ли ещё не поговорку: «Не мечите бисера перед свиньями»... «Быть же теперь ссоре», — подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий кныш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того чтоб показать шиш, протянулась к кнышу, и, как всегда водится, начали прихва-

ливать мастерицу хозяйку. Ещё был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нём) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Ещё напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости господи, как чёрта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст бог, до нового году и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статья может, найдёте побасенки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, — лень только проклятая рыться, — наберётся и на десять таких книжек.

Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямёхонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил её на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслушались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и

говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: «А где живёт пасичник Рудый Панько?» — «А вот там!» — скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведёт вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам ещё покупные.

Зато уже как пожелаете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а мёду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесёшь сот — дух пойдёт по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что то за

пирог, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло, так вот и течёт по губам, когда начнёшь есть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случилось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть — объеденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года... Однако ж что я в самом деле разболтался?... Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному.

Пасичник Рудый Панько

На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по алфавитному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны.

Бандура — инструмент, род гитары.

Батог — кнут.

Болячка — золотуха.

Бондарь — бочарь.

Бублик — круглый крендель, баранчик.

Буряк — свёкла.

Буханец — небольшой хлеб.

Винница — винокурня.

Галушки — клёцки.

Голодрабец — бедняк, бобыль.

Гопак — малороссийские танцы.

Горлица — малороссийские танцы.

Дивчина — девушка.

Дивчата — девушки.

Дижа — кадка.

Дрибушки — мелкие косы.

Домовина — гроб.

Дуля — шиш.

Дукат — род медали, носится на шее.

Знахор — многознающий, ворожея.

Жинка — жена.

Жупан — род кафтана.

Каганец — род светильни.

Клепки — выпуклые дощечки, из коих составлена бочка.

Кныш — род печёного хлеба.

Кобза — музыкальный инструмент.

Комора — амбар.

Кораблик — головной убор.

Кунтуш — верхнее старинное платье.

Коровай — свадебный хлеб.

Кухоль — глиняная кружка.

Лысый дидько — домовый, демон.

Люлька — трубка.

Макитра — горшок, в котором трут мак.

Макогон — пест для растирания маку.

Малахай — плеть.

Миска — деревянная тарелка.

Молодица — замужняя женщина.

Наймыт — нанятой работник.

Наймычка — нанятая работница.

Оселедец — длинный клочок волос на голове, заматывающийся на ухо.

Очипок — род чепца.

Пампушки — кушанье из теста.

Пасичник — пчеловод.

Парубок — парень.

Плахта — нижняя одежда женщин.

Пекло — ад.

Перекупка — торговка.

Переполох — испуг.

Пейсики — жидовские локоны.

Поветка — сарай.

Полутабенек — шёлковая материя.

Путря — кушанье, род каши.

Рушник — утиральник.

Свитка — род полукафтанья.

Синдячки — узкие ленты.

Сластёны — пышки.

Сволок — перекладина под потолком.

Сливянка — наливка из слив.

Смушки — бараний мех.

Соняшница — боль в животе.

Сопилка — род флейты.

Стусан — кулак.

Стрички — ленты.

Тройчатка — тройная плеть.

Хлопец — парень.

Хутор — небольшая деревушка.

Хустка — платок носовой.

Цыбуля — лук.

Чумаки — обозники, едущие в Крым за солью и рыбою.

Чуприна, чуб — длинный клочок волос на голове.

Шишка — небольшой хлеб, делаемый на свадьбах.

Юшка — соус, жижа.

Ятка — род палатки или шатра.



Сорочинская ярмарка



I

*Мені нудно в хаті жить.
Ой, вези ж мене із дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дівки.
Де гуляють парубки!
Из старинной легенды.*

Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землёю, кажется заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нём ни облака. В поле ни речи. Всё как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюблённую землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдаётся в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие тёмную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пёстрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широ-

кие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало — река в зелёных, гордо поднятых рамах... как полно сладострастия и неги малороссийское лето!

Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот... восемьсот... Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, вёрст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра ещё тянулись нескончаемою вереницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутаных в сено, медленно двигались, кажется скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра[1] хвастливо выказывалась из высоко взгромождённого на возу плетня и привлекала умилённые взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шёл за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щёголей и коке-ток ненавистным для них сеном.

Одиноко в стороне тащился на истомлён-

ных волах воз, наваленный мешками, пенькою[2], полотном и разною домашнею поклажею, за которым брёл, в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах, его хозяин. Ленивою рукою обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета её. Много встречных, и особливо молодых парубков, брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы и не важная поступь его заставляли это делать; стоило только поднять глаза немного вверх, чтоб увидеть причину такой почтительности: на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с чёрными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимся розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые, вместе с длинными

ми косами и пучком полевых цветов, богатою короною покоились на её очаровательной головке. Всё, казалось, занимало её; всё было ей чудно, ново... и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться! в первый раз на ярмарке! Девушка в осьмнадцать лет в первый раз на ярмарке!.. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу. Неугомонная супруга... Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зелёной кофте, по которой, будто по горностаевому меху, нашиты были хвостики, красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке[3], придававшем какую-то особенную важность её красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести

встревоженный взгляд свой на весёленькое личико дочки.

Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл; издали уже веяло прохладой, которая казалась ощутительней после томительного, разрушающего жара. Сквозь тёмно и светло-зелёные листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берёз и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зелёные кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе её полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осенённую тёмною, упавшею с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам её конца нет, — она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми, разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжёлые колёса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брыз-

ги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. Воз с знакомыми нам пассажирами въехал в это время на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зелёные и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы — всё опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во всё продолжение пути, как вдруг слова: «Ай да дивчина!» поразили слух её. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый пощеголеватее прочих, в белой свитке и в серой шапке решетиловских смушек[4], подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось стремившихся видеть её насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесённое слово.

— Славная дивчина! — продолжал парубок

в белой свитке, не сводя с неё глаз. — Я бы отдал всё своё хозяйство, чтобы поцеловать её. А вот впереди и дьявол сидит!

Хохот поднялся со всех сторон; но разряженной сожительнице медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие: красные щёки её превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождём на голову разгульного парубка:

— Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете чёрт бороду обжёт!

— Вишь, как ругается! — сказал парубок, вытаращив на неё глаза, как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий: — и язык у неё, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова.

— Столетней! — подхватила пожилая красавица. — Нечестивец! поди умойся наперёд! Сорванец негодный!

Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! и отец дрянь! и тётка дрянь! Столетней! что у него молоко ещё на губах...

Тут воз начал спускаться с мосту, и последних слов уже невозможно было расслышать; но парубок не хотел, кажется, кончить этим: не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных повес удвоился с новою силою. Дородная щеголиха вскипела гневом; но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть её обратилась на безвинную падчерицу и медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык её трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригородье к старому знакомому и куму, козаку Цыбуле. Встреча с кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути.

Що, боже ти мій, господи! чого нема на тій ярмарці! Колёса, скло, дьоготь, тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі... так, що хоч би в кишені було рублів із тридцять, то й тоді б не закупив усієї ярмарки.

Из малороссийской комедии.

Вам, верно, случалось слышать где-то валяющийся отдалённый водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, бляение, рёв — всё сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — всё ярко, пёстро, нестройно, мечется кучами и снуётся перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасётся от этого потопа; ни

один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски; и закружившаяся голова недоумеваает, куда обратиться. Приезжий мужик наш с чернобровою дочкою давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применялся к ценам; а между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезённых им на продажу. По лицу его дочери заметно было, что ей не слишком приятно тереться около возов с мукою и пшеницею. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги оловянные, медные кресты и дукаты[5]. Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов для наблюдения: её смешило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли; как пьяный жид давал бабе киселя; как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками; как москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою... Но вот по-

чувствовала она, кто-то дёрнул её за шитый рукав сорочки. Оглянулась — и парубок в белой свитке, с яркими очами, стоял перед нею. Жилки её вздрогнули и сердце забилось так, как ещё никогда, ни при какой радости, ни при каком горе: и чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею.

— Не бойся, серденько, не бойся! — говорил он ей вполголоса, взявши её руку: — я ничего не скажу тебе худого!

«Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, — подумала про себя красавица, — только мне чудно... верно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится так... а силы недостаёт взять от него руку».

Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негоциантам[6], и приковавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негоцианты о пшенице.

*Чи бачиш, він який парнище?
На світі трохи єсть таких.
Сивуху так, мов брагу, хлище!
Котляревський, «Энеида».*

— Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдёт наша пшеница? — говорил человек, с виду похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, в пестрядевых[7], запачканных дёгтем и засаленных шароварах, другому, в синей, местами уже с заплатами свитке и с огромною шишкою на лбу.

— Да думать нечего тут; я готов вскинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку.

— Кого ты, земляк, морочишь? Привозу ведь, кроме нашего, нет вовсе, — возразил человек в пестрядевых шароварах.

«Да, говорите себе, что хотите, — думал про себя отец нашей красавицы, не пропуская ни одного слова из разговора двух негоциантов, — а у меня десять мешков есть в запасе».

— То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля, — значительно сказал человек с шишкою на лбу.

— Какая чертовщина? — подхватил человек в пестрядевых шароварах.

— Слышал ли ты, что поговаривают в народе? — продолжал с шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи.

— Ну!

— Ну, то-то ну! Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвёл для ярмарки проклятое место, на котором, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый, развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою? (Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся ещё ближе и весь превратился, казалось, во внимание.) В том сарае то и дело, что водятся чертовские шашни; и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волостной писарь проходил поздно вечером, только глядь — в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже; того и жди, что опять пока-

жется красная свитка!

— Что ж это за красная свитка?

Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом; со страхом оборотился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности.

— Эге-ге-ге, земляк! да ты мастер, как вижу, обниматься! А я на четвёртый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то спасибо куму: бывши дружкой[8] уже надоумил.

Парубок заметил тот же час, что отец его любезной не слишком далёк, и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу.

— Ты, верно, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал.

— Может, и узнал.

— Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу: тебя зовут Солопий Черевик.

— Так, Солопий Черевик.

— А взглядишь-ка хорошенько: не узнаёшь ли меня?

— Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что чёрт их и припомнит всех!

— Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!

— А ты будто Охримов сын?

— А кто ж? Разве один только *лысый дидько*[9], если не он.

Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание; наш Голопупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого.

— Ну, Солопий, вот, как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе.

— Что ж, Параска, — сказал Черевик, оборотившись и смеясь к своей дочери, — может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того... чтобы и паслись на одной траве! Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу!

И все трое очутились в известной ярмароч-

ной ресторации — под яткою у жидовки, усе-
янною многочисленною флотилией сулей[10],
бутылей, флажек всех родов и возрастов.

— Эх, хват! за это люблю! — говорил Черевик, немного подгулявши и видя, как наречённый зять его налил кружку величиною с полкварти[11] и, нимало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом её вдребезги. — Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебе достал? Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!..

И, посмеиваясь и покачиваясь, побрёл он с нею к своему возу; а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Гадяча и Миргорода — двух знаменитых городов Полтавской губернии, — выглядывать получшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует.

IV

*Хоть чоловікам не онеє,
Та коли жінці, бачиш, теє,*

Так треба угодити...
Котляревский.

— Ну, жинка! а я нашёл жениха дочке!
— Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать! Дурень, дурень! тебе, верно, и на роду написано остаться таким! Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть; хорош должен быть и жених там! Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев.

— Э, как бы не так! Посмотрела бы ты, что там за парубок! Одна свитка больше стоит, чем твоя зелёная кофта и красные сапоги. А как сивуху *важно* дует!.. Чёрт меня возьми вместе с тобою, если я видел на веку своём, чтобы парубок духом вытянул пол квартиры не поморщившись.

— Ну, так: ему если пьяница да бродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадётся мне: я бы дала ему знать!

— Что ж, Хивря, хоть бы и тот самый; чем же он сорванец?

— Э! чем же он сорванец! Ах ты, безмозглая башка! слышишь! чем же он сорванец! Куда же ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы? Ему хоть бы тут же, перед его запачканным в табачище носом, нанесли жинке его бесчестье, ему бы и нуждочки не было.

— Всё, однако же, я не вижу в нём ничего худого; парень хоть куда! только разве что заклеил на миг образину твою навозом.

— Эге! да ты, как я вижу, слова не дашь мне выговорить! А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего?...

Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая, без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями.

«Туда к чёрту! Вот тебе и свадьба! — думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги — Придётся отказать доброму человеку ни за что ни про что. Господи, боже мой, за что такая напасть на нас грешных! И



так много всякой дряни на свете, а ты ещё и жинок наплодил!»

V

*Не хилися, явороньку,
Ще ти зелененький;
Не журися, козаченьку,
Ще ти молоденький!
Малороссийская песня.*

Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился.

Ослепительно блистали верхи белых ша-

тров и яток, осенённые каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стёкла наваленных кучами оконниц[12] горели; зелёные фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и тёмной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок[13], мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонёк, и благовонный пар от варившихся галушек разносился по утихавшим улицам.

— О чём загорюнился, Грицько? — вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. — Что ж, отдавай во-лы за двадцать!

— Тебе бы всё во-лы да во-лы. Вашему племени всё бы корысть только. Поддеть да обмануть доброго человека.

— Тьфу, дьявол! да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?

— Нет, это не по-моему: я держу своё слово; что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча Черевика нет совести, видно, и на пол-

шеляга[14]: сказал, да и назад... Ну, его и винить нечего, он пень, да и полно. Всё это штуки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока! Эх, если бы я был царём или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам...

— А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?

В недоумении посмотрел на него Грицько. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное: человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле — виселица. Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осенённый язвительною улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов — всё это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нём. Этот тёмно-коричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось,

превратило бы его в пыль; длинные, валившиеся по плечам охлопьями чёрные волосы; башмаки, надетые на босые загорелые ноги, — всё это, казалось, приросло к нему и составляло его природу.

— Не за двадцать, а за пятнадцать отдам, если не солжёшь только! — отвечал парубок, не сводя с него испытательных очей.

— За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вот тебе и синица[15] в задаток!

— Ну, а если солжёшь?

— Солгу — задаток твой!

— Ладно! Ну, давай же по рукам!

— Давай!

VI

От біда, Роман іде, от тепер якраз насадить мені бебехів; та й вам, пане Хомо, не без лиха буде.

Из малороссийской комедии.

— Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтоб москали на случай не

подцепили чего.

Так грозная сожительница Черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нём, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконец, с шумом обрушился в бурьян.

— Вот беда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли ещё, боже оборони, шеи? — лепетала заботливая Хивря.

— Тс! ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифоровна! — болезненно и шёпотно произнёс попович, подымаясь на ноги: — выключая только уязвления со стороны крапивы, сего змиеподобного злака, по выражению покойного отца протопопа.

— Пойдёмте же теперь в хату; там никого нет. А я думала было уже, Афанасий Иванович, что к вам *болячка* или *соняшница*[16] пристала: нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан-отцу перепало теперь немало всякой всячины!

— Суцая безделица, Хавронья Никифоровна; батюшка всего получил за весь пост меш-

ков пятнадцать ярового, проса мешка четыре, кнышей[17] с сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук, яйца же большею частью протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна! — продолжал попович, умильно поглядывая на неё и подсовываясь поближе.

— Вот вам и приношения, Афанасий Иванович! — проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застёгивая свою, будто ненарочно расстегнувшуюся, кофту: — варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченички!

— Бьюсь об заклад, если это сделано не хитрейшими руками из всего Евина рода, — сказал попович, принимаясь за товченички и придвигая другою рукою варенички. — Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце моё жаждет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек.

— Вот я уже и не знаю, какого вам ещё кушанья хочется, Афанасий Иванович! — отвечала дородная красавица, притворяясь непо-

нимающею.

— Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна! — шёпотом произнёс попович, держа в одной руке вареник, а другою обнимая широкий стан её.

— Бог знает, что вы выдумываете, Афанасий Иванович! — сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои. — Чего доброго! вы, пожалуй, затеете ещё целоваться!

— Насчёт этого я вам скажу, хоть бы и про себя, — продолжал попович: — в бытность мою, примерно сказать, ещё в бурсе, вот, как теперь помню...

Тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хивря поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая.

— Ну, Афанасий Иванович! мы попались с вами; народу стучится куча, и мне почудился кумов голос...

Вареник остановился в горле поповича... Глаза его выпялились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой.

— Полезайте сюда! — кричала испуганная Хивря, указывая на положенные под самым

потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски. А Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большею силою и нетерпением.

VII

*Та тут чудасія, мосъпане!
Из малороссийской комедии.*

На ярмарке случилось странное происшествие: всё наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась *красная свитка*. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над возами, как будто ища чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора; и все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с яткою шинкарки, раскланивалась

весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились ещё увеличенные вести о чуде, виденном волостным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу; спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои; а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой. К числу последних принадлежал и Черевик с кумом и дочкою, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостями произвели сильный стук, так перепугавший нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видеть из того, что он два раза проехал с своим возом по двору, покамест нашёл хату. Гости тоже были в весёлом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидела как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты.

— Что, кума, — вскричал вошедший кум, — тебя всё ещё трясет лихорадка?

— Да, нездоровится, — отвечала Хивря, беспокойно поглядывая на доски, накладенные

под потолком.

— А ну, жена, достань-ка там в возу баклажку! — говорил кум приехавшей с ним жене: — мы черпнём её с добрыми людьми; проклятые бабы понапугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы, ей-богу, братцы, по пустякам приехали сюда! — продолжал он, прихлёбывая из глиняной кружки. — Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалось посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана! Что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сию же минуту вздумалось ему стать вот здесь, например, передо мною: будь я собачий сын, если не поднёс бы ему дую под самый нос!

— Отчего же ты вдруг побледнел весь? — закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом.

— Я?.. господь с вами! приснилось?

Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца.

— Куда теперь ему побледнеть! — подхватил другой: — щёки у него расцвели, как мак; теперь он не Цыбуля, а буряк — или, лучше,

сама *красная свитка*, которая так напугала людей.

Баклажка прокатилась по столу и сделала гостей ещё веселее прежнего. Тут Черевик наш, которого давно мучила *красная свитка* и не давала ни на минуту покою любопытно-му его духу, приступил к куму:

— Скажи, будь ласков, кум! вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую *свитку*.

— Э, кум! оно бы не годилось рассказывать на ночь; да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям (при сём обратился он к гостям), которым, я примечаю, столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. Ну, быть так. Слушайте ж!

Тут он почесал плеча, утёрся полою, положил обе руки на стол и начал:

— Раз, за какую вину, ей-богу, уже и не знаю, только выгнали одного чёрта из пекла.

— Как же, кум? — прервал Черевик: — как же могло это случиться, чтобы чёрта выгнали из пекла?

— Что ж делать, кум? выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Мо-

жет быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери. Вот чёрту бедному так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли. Что делать? Давай с горя пьянствовать. Угнезвился в том самом сарае, который, ты видел, развалился под горою и мимо которого ни один добрый человек не пройдёт теперь, не оградив наперёд себя крестом святым, и стал чёрт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке!..

Тут опять строгий Черевик прервал нашего рассказчика:

— Бог знает, что говоришь ты, кум! Как можно, чтобы чёрта впустил кто-нибудь в шинок? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове.

— Вот то-то и штука, что на нём была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял — наконец пришлось до того, что пропил всё, что имел с собою. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось чёрту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены, жиду, шинковавшему тогда на Сорочин-

ской ярмарке. Заложил и говорит ему: «Смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год; береги её!» — и пропал, как будто в воду. Жид рассмотрел хорошенько свитку; сукно такое, что и в Миргороде не достанешь! а красный цвет горит, как огонь, так что не нагяделся бы! Вот жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесал себе пейсики, да и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев. О сроке жид и позабыл было совсем. Как вот раз, под вечерок, приходит какой-то человек: «Ну, жид, отдавай свитку мою!» Жид сначала было и не познал, а после как разглядел, так и прикинулся, будто в глаза не видал: «Какую свитку? у меня нет никакой свитки! я знать не знаю твоей свитки!» Тот, глядь, и ушёл; только к вечеру, когда жид, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукам деньги, накинул на себя простыню и начал по-жидовски молиться богу, — слышит шорох... глядь — во всех окнах повывставлялись свиные рыла...

Тут в самом деле слышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи; все побледнели... Пот выступил на

лице рассказчика.

— Что? — произнёс в испуге Черевик.

— Ничего!.. — отвечал кум, трясясь всем телом.

— Ась! — отозвался один из гостей.

— Ты сказал?...

— Нет!

— Кто ж это хрюкнул?

— Бог знает, чего мы переполошились! Никого нет!

Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хивря была ни жива ни мертва.

— Эх вы, бабы! бабы! — произнесла она громко. — Вам ли козаковать и быть мужьями! Вам бы веретено в руки, да и посадить за гребень! Один кто-нибудь, может, прости господи... под кем-нибудь скамейка заскрыпела, а все и метнулись, как полоумные!

Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться; кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее:

— Жид обмер; однако ж свиньи, на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили его плетёными тройчатками[18]

, заставляя плясать его повыше вот этого сволока[19]. Жид — в ноги, признался во всём.. Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке; та привезла её снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула: верно, виною всему красная свитка. Недаром, надевая её, чувствовала, что её всё давит что-то. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь — не горит бесовская одежда! «Э, да это чёртов подарок!» Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хочет. «Эх, недобрые руки подкинули свитку!» Схватил топор и изрубил её в куски; глядь — и лезет один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год, и как раз во время ярмарки, чёрт с свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только

левого рукава недостаёт ему. Люди с тех пор открещиваются от того места, и вот уже будет лет с десятков, как не было на нём ярмарки. Да нелёгкая дёрнула теперь заседателя от...

Другая половина слова замерла на устах рассказчика...

Окно брякнуло с шумом; стёкла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?»

VIII

*...Піджав хвіст, мов собака,
Мов Каїн, затрусивсь увесь;
Із носа потекла табака.
Котляревський, «Энеида».*

Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень. Глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить; развёрстые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головою об перекладину; доски посунулись, и попович с громом и треском полетел на землю. «Ай! ай! ай!» — отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужа-



се и болтая на ней руками и ногами. «Спасайте!» — горланил другой, закрывшись тулупом. Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под

подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкою. А Черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативши на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и, как полоумный, бежал по улицам, не видя земли под собою; одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа, пот лил градом. В изнеможении готов уже был он упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним... Дух у него занялся... «Чёрт! чёрт!» — кричал он без памяти, утраивая силы, и чрез минуту без чувств повалился на землю. «Чёрт! чёрт!» — кричало вслед за ним, и он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги.

IX

*Ще спереду і так, і так;
А ззаду, ей же ей, на чёрта!
Из простонародной сказки.*



— Слышишь, Влас? — говорил, приподнявшись ночью, один из толпы народа, спавшего на улице: — возле нас кто-то помянул чёрта!

— Мне какое дело? — проворчал, потягиваясь, лежавший возле него цыган: — хоть бы и всех своих родичей помянул.

— Но ведь так закричал, как будто давят его!

— Мало ли чего человек не соврёт спросо-нья!

— Воля твоя, хоть посмотреть нужно; а вырubi-ка огня!

Другой цыган, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами трут и, с каганцом в руках, обыкновенною малороссийскою све-

тильнею, состоящую из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу.

— Стой! здесь лежит что-то; свети сюда!

Тут пристало к ним ещё несколько человек.

— Что лежит, Влас?

— Так, как будто бы два человека: один наверху, другой нанизу; который из них чёрт, уже и не распознаю!

— А кто наверху?

— Баба!

— Ну вот, это ж то и есть чёрт!

Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.

— Баба взлезла на человека; ну, верно, баба эта знает, как ездить, — говорил один из окружавшей толпы.

— Смотрите, братцы! — говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове Черевика: — какую шапку надел на себя этот добрый молодец!

Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов, Солопия и его су-

пругу, которые, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган: озаряясь светом, неверно и трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окружённых тяжёлым подземным паром, в мраке непробудной ночи.



Х

*Щур тобі, нек тобі, сатанинське на-
вождение!*

Из малороссийской комедии.

Свежесть утра веяла над пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понесли навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали; крик гусей и торговков понёсся снова

по всему табору — и страшные толки про красную свитку, наведшие такую робость на народ в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра.

Зевая и потягиваясь, дремал Черевик у кума, под крытым соломою сараем, вместе с волами, мешками муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имел желаний расстаться с своими грёзами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище лени — благословенная печь его хаты или шинок дальней родички, находившийся не далее десяти шагов от его порога.

— Вставай, вставай! — дребезжала на ухо нежная супруга, дёргая его изо всей силы за руку.

Черевик вместо ответа надул щёки и начал болтать руками, подражая барабанному бою.

— Сумасшедший! — закричала она, уклоняясь от замашки руки его, которою он чуть было не задел её по лицу.

Черевик поднялся, протёр немного глаза и посмотрел вокруг.

— Враг меня возьми, если мне, голубко, не

представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум...

— Полно, полно тебе чепуху молоть! Ступай, веди скорей кобылу на продажу. Смех, право, людям: приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали...

— Как же, жинка, — подхватил Солопий, — с нас ведь теперь смеяться будут.

— Ступай! ступай! с тебя и без того смеются!

— Ты видишь, что я ещё не умывался, — продолжал Черевик, зевая и почёсывая спину и стараясь, между прочим, выиграть время для своей лени.

— Вот некстати пришла блажь быть чисто-плотным! Когда это за тобою водилось? Вот рушник, оботри свою маску...

Тут схватила она что-то свёрнутое в комок — и с ужасом отбросила от себя: это был *красный обшлаг свитки!*

— Ступай, делай своё дело, — повторила она, собравшись с духом, своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги и зубы колоти-

лись один об другой.

— Будет продажа теперь! — ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя её на площадь. — Недаром, когда я собирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову; и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли ещё, как вспомнил я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну, вот и зло всё!.. Неугомонен и чёрт проклятый: носил бы уже свитку без одного рукава; так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь, примерно, я чёрт, — чего оборони боже, — стали бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?

Тут философствование нашего Черевика прервано было толстым и резким голосом. Перед ним стоял высокий цыган.

— Что продаёшь, добрый человек?

Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал с спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды:

— Сам видишь, что продаю!

— Ремешки? — спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду.

— Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки.

— Однако ж, чёрт возьми, земляк, ты, видно, её соломою кормил!

— Соломою?

Тут Черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя, но рука его с необыкновенною лёгкостью ударилась в подбородок. Глянул — в ней перерезанная узда и к узде привязанный — о, ужас! волосы его поднялись горою! — кусок *красного рукава свитки!*.. Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и, быстрее молодого парубка, пропал в толпе.

XI

*За моё ж жито, та мене й побито.
Пословица.*

— **Л**ови! лови его! — кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы, и Черевик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками.

— Вязать его! это тот самый, который

украл у доброго человека кобылу.

— Господь с вами! за что вы меня вяжете?

— Он же и спрашивает! а за что ты украл кобылу у приезжего мужика, Черевика?

— С ума спятили вы, хлопцы! Где видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?

— Старые штуки! старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?

— Поневоле побежишь, когда сатанинская одежда...

— Э, голубчик! обманывай других этим; будет ещё тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиною людей.

— Лови! лови его! — слышался крик на другом конце улицы. — Вот он, вот беглец!

И глазам нашего Черевика представился кум, в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами.

— Чудеса завелись! — говорил один из них. — Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора; когда стали спрашивать, отчего бежал он, как полоум-

ный, — полез, говорит, в карман понюхать табаку и вместо тавлинки[20] вытащил кусок чёртовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь, а он давай бог ноги!

— Эге-ге-ге! да это из одного гнезда обе птицы! Вязать их обоих вместе!

XII

«Чим, люди добрі, так оце я провинився?

За що глузуйте? — сказав наш небоїрак. —

За що знущаетесь ви надо мною так?

За що, за що?» — сказав та й попустив патьоки,

Патьоки гірких сліз, узявшись за боки.

Артемовский-Гулак, «Пан та собака».

— **М**ожет, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь? — спросил Черевик, лёжа связанный, вместе с кумом, под соломенной яткой.

— И ты туда же, кум! Чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаной у матери, да и то ещё, когда мне было лет десять от

роду.

— За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе ещё ничего: тебя винят по крайней мере за то, что у другого украл; за что же мне, несчастливцу, недобрый поклёп такой: будто у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья!

— Горе нам, сиротам бедным!

Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд.

— Что с тобою, Солопий? — сказал вошедший в это время Грицько. — Кто это связал тебя?

— А! Голопупенко, Голопупенко! — закричал, обрадовавшись, Солопий. — Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эх, хват! вот бог убей меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль мало не с твою голову, и хоть бы раз поморщился.

— Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?

— Вот, как видишь, — продолжал Черевик, оборотясь к Грицьку: — наказал бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек! Ей-богу, рад бы был сделать всё

для тебя... Но что прикажешь? В старухе дьявол сидит!

— Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя! — Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. — За то и ты делай, как нужно: свадьбу! — да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака.

— *Добре! от добре!* — сказал Солопий, хлопнув руками. — Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли. Да что думать: годится или не годится так — сегодня свадьбу, да и концы в воду!

— Смотри ж, Солопий, через час я буду к тебе; а теперь ступай домой: там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!

— Как! разве кобыла нашлась?

— Нашлась!

Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицьку.

— Что, Грицько, худо мы сделали своё дело? — сказал высокий цыган спешившему парубку. — Волы ведь мои теперь?

— Твои! твои!

XIII

*Не бійся, матінко, не бійся,
В червоні чобітки обуйся,
Топчи вороги під ноги;
Щоб твої підківки бряжчали!
Щоб твої вороги мовчали!
Свадебная песня.*

Подпёрши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна, сидя в хате. Много грёз обвивалось около русой головы. Иногда вдруг лёгкая усмешка трогала её алые губки, и какое-то радостное чувство подымало тёмные её брови; то снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он? — шептала она с каким-то выражением сомнения. — Ну что, если меня не выдадут? если... Нет, нет; этого не будет! Мачеха делает всё, что ей ни вздумается; разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет. Какой же он хороший! как чудно горят его чёрные очи! как любо говорит он: *Парасю, голубко!* как пристала к нему белая свитка! ещё бы пояс поярче!.. пускай уже, правда, я ему вытку, как перей-

дём жить в новую хату. Не подумаю без радости, — продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмарке, и глядясь в него с тайным удовольствием: — как я встречу тогда где-нибудь с нею, — я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу! Скорее песок взойдёт на камне и дуб погнётся в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою! Да я и позабыла... дай примерить очипок, хоть мачехин, как-то он мне придётся!» Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых низринулся недавно попович, и полки, уставленные горшками. «Что я, в самом деле, будто дитя, — вскричала она смеясь: — боюсь ступить ногою».

И начала притопывать ногами всё, чем далее, смелее; наконец левая рука её опустилась и упёрлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед со-

бою зеркало и напевая любимую свою песню:

*Зелененький барвіночку,
Стелися низенько!
А ти, милий, чернобривий,
Присунься близенько!*

*Зелененький барвіночку,
Стелися ще нижче!
А ти, милий, чернобривий,
Присунься ще ближче!*

Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующею перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего; но когда же услышал знакомые звуки песни — жилки в нём зашевелились; гордо подбоченившись, выступил он вперёд и пустился вприсядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть.

— Вот хорошо, батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу! Ступайте же скорее: жених пришёл!

При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей её голову, а

беспечный отец её вспомнил, зачем пришёл он.

— Ну, дочка! пойдём скорее! Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала, — говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам: — побежала закупать себе плах и дерюг[21] всяких, так нужно до приходу её всё кончить!

Не успела переступить она за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучею народа выжидал её на улице.

— Боже, благослови! — сказал Черевик, складывая им руки. — Пусть их живут, как венки вьют!

Тут послышался шум в народе.

— Я скорее тресну, чем допущу до этого! — кричала сожительница Солопия, которую, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа.

— Не бесись, не бесись, жинка! — говорил хладнокровно Черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела её руками: — что сделано, то сделано; я переменять не люблю!

— Нет! нет! этого-то не будет! — кричала Хивря, но никто не слушал её; несколько пар обступило новую пару и составили около неё

непроницаемую танцующую стену.

Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта, в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, всё обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, при-топывали ногами и вздрагивали плечами. Всё несло. Всё танцевало. Но ещё страннее, ещё неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушие могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету.

Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Ещё слышалось где-

то топанье, что-то похожее на ропот отдалённого моря, и скоро всё стало пусто и глухо.

Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые дружки бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.

Вечер накануне Ивана Купала

Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви

За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда если упросишь его рассказать что сызнава, то, смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ — нам, простым людям, мудрено и назвать их: писаки они, не писаки,

а вот то самое, что барышники на наших ярмарках: нахватают, попросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю, — один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли, — привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку.

— Пойдите! наперёд скажите мне, что это вы читаете?

Признаюсь, я немного пришёл в тупик от такого вопроса.

— Как, что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова.

— Кто вам сказал, что это мои слова?

— Да чего лучше, тут и напечатано: *рассказанная таким-то дьячком.*

— Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! *Бреше, сучий москаль.* Так ли я говорил? *Що то еже, як у кого чѣрт ма клепки в голове!* Слушайте, я вам расскажу её сейчас.

Мы придвинулись к столу, и он начал.

Дед мой (царство ему небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду!) умел чудно рассказывать. Бывало, поведёт речь — целый день не подвинулся бы с места и всё бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнёт москаля везть, да ещё и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку, да из хаты. Как теперь помню — покойная старуха, мать моя, была ещё жива, — как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слы-

шится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберёт от них, что всё с вечера показывается бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постеле твоей уклался спать выходец с того света. И чтоб мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола! Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было.

Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберётся таких

умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нём, а показывать на позор свои зубы — есть уменье. Им всё, что ни расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да чего, — вот не люби бог меня и пречистая дева! вы, может, даже не поверите: раз как-то заикнулся про ведьм — что ж? нашёлся сорви-голова, ведьмам не верит! Да, славу богу, вот я, сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым *провозить* *попа в решете* было легче, нежели нашему брату понюхать табаку; а и те открещивались от ведьм. Но приснись им... не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них.

Лет — куды! — более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто: хутор, самый бедный хутор! Избёнок десять, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там, посередине поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж ещё богачи так жили; а посмотрели бы на нашу братью, на голь: выры-

тая в земле яма — вот вам и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живёт там человек божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность: потому что тогда козаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра; а больше оттого, что незачем было заводиться порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало.

В этом-то хуторе показывался часто человек, или, лучше, дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадёт, как в воду, и слуху нет. Там, глядь — снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет и которое было, может, не дальше ста шагов от Диканьки. Понаберёт встречных козаков: хохот, песни, деньги сыплются, водка — как вода... Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серёг, монист — девать некуда! Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки: бог знает, может, в самом деле

перешли они через нечистые руки. Родная тётка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, — так называли этого бесовского человека, — именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же и не взять: всякого проберёт страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что, кажется, унёс бы ноги бог знает куда; а возьмёшь — так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай душить за шею, когда на шее монисто, кусать за палец, когда на нём перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в неё лента. Бог с ними тогда, с этими подарками! Но вот беда — и отвязаться нельзя: бросишь в воду — плывёт чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки.

В селе была церковь, чуть ли ещё, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на светлое вос-

кресение не бывал в церкви, задумал было пожурить его — наложить церковное покаяние. Куды! насилу ноги унёс. «Слушай, *паноце!* — загремел он ему в ответ: — знай лучше своё дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твоё было залеплено горячею кутьёю!» Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто зазнается с Басаврюком, станет считать за католика, врага христовой церкви и всего человеческого рода.

В том селе был у одного козака, прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным; может, оттого, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы; но тётка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его роднёй, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье, был в плену у турок, натерпелся мук бог знает каких и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым дивчатам и молодикам ма-

ло было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из чёрных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане золотых. И это бы ещё не большая беда, а вот беда: у старого Коржа была дочка красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тётка покойного деда рассказывала, — а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чёртом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею, — что полненькие щёки козачки были свежи и ярки, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божьею росой, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком; что брови словно чёрные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по сёлам с ко-

робками москалей, ровно, нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи; что ротик, на который глядя облизывалась тогдашняя молодёжь, кажись на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни; что волосы её, чёрные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лён (тогда ещё девушки наши не заплетали их в дрибушки, перевивая красивыми, ярких цветов, синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотом кунтуш. Эх, не доведи господь возглашать мне больше на крылосе аллилуйя, если бы, вот тут же, не расцеловал её, несмотря на то, что седь пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушу, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого... сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала Пидорка с своим Петрусем. Но всё бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе, да раз — ну, это уже и видно, что не кто другой, как лукавый дёрнул, — вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сених, влепить поцелуй, как гово-

рят, от всей души, в розовые губки козачки, и тот же самый лукавый, — чтоб ему, собачьему сыну, приснился крест святой! — настроил сдуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел Корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузеи и пороху.



Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возмись ше-

стилетный брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя! не бей Петруся!» Что прикажешь делать? у отца сердце не каменное: повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты: «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро: ей-богу, пропадут чёрные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распроцается с твоею макушей!» Сказавши это, дал он ему легонькою рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались! Взяла кручина наших голубков; а тут и слух по селу, что к Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым пономарь наш, Тарас, отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! беги к Петру-

сю, моё золотое дитя, как стрела из лука; расскажи ему всё: любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя. Не один рушник вымочила горячими слезами.

Тошно мне. Тяжело на сердце. И родной отец — враг мне: неволит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе: будут дьяки петь вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим; понесут меня. Тёмная, тёмная моя будет хата: из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше!»

Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. «А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; ворон чёрный прокрячет вместо попа надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча — моя крыша; орёл вы-

клюет мои карие очи; вымоют дожди козацкие косточки, и вихорь высушит их. Но что я? на кого? кому жаловаться? Так уже, видно, бог велел, — пропадать так пропадать!» Да прямёхонько и побрёл в шинок.

Тётка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да ещё в такую пору, когда добрый человек идёт к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он кухоль сивухи мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить своё горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, козак!» — загремело что-то басом над ним. Оглянулся: Басаврюк! У! какая образина! Волосы — щетина, очи — как у вола! «Знаю, чего недостаёт тебе: вот чего!» Тут брякнул он с бесовскою усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса, кошельком. Вздрогнул Петро. «Ге-ге-ге! да как горит! — заревел он, пересыпая на руку червонцы. — Ге-ге-ге! да как звенит! А ведь и дела только одного потребую за целую гору таких цацек». — «Дьявол! — закричал Петро. — Давай его! на

всё готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветёт папоротник. Не прозевай! Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге».

Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зёрен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! видно, день божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне. И оно уже тускнеет. В поле становится холодней. Примеркает, примеркает и — смерклось. Насилу! С сердцем, только что не хотевшим выско-чить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро: никогда ещё

не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк.

— Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка? Много будет на них цветов разных; но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветёт папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни чудилось.

Петро хотел было спросить... глядь — и нет уже его. Подошёл к трем пригоркам; где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил всё своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов, всё чудных, всё невиданных; тут же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и раздумно стал перед ними, подпершись обеими руками в боки.

— Что тут за невидальщина? десять раз на день, случается, видишь это зелье; какое ж тут диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться?

Глядь — краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле чудно! Движется и становится всё боль-

ше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звёздочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.

«Теперь пора!» — подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, и позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурился глазами, дёрнул он за стебелёк, и цветок остался в его руках. Всё утихло. На пне показался сидящим Басаврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; рот вполовину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнёт. Ух, страшно!.. Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдруг ожило; очи сверкнули. «Насилу воротилась, яга! — проворчал он сквозь зубы. — Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица: делай всё, что ни прикажет, не то пропал на-

веки!» Тут разделил он суковатую палкою куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая чёрная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» — проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь, вместо кошки старуха, с лицом, сморщившимся, как печёное яблоко, вся согнутая в дугу; нос с подбородком словно щипцы, которыми щёлкают орехи. «Славная красавица!» — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта; пена показалась на губах. «Бросай!» — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и, что за чудо? — цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и, словно лодка, плавал по воздуху; наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна бы-

ла звёздочка, не больше макового зерна. «Здесь!» — глухо прохрипела старуха; а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось». Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю, в другой, в третий, ещё раз... Что-то твёрдое!.. Заступ звенит и нейдёт далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окованный железом, сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и всё, чем далее, глубже, глубже; а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипеньем. «Нет, не видать тебе золота, покамест не достанешь крови человеческой!» — сказала ведьма и подвела к нему дитя, лет шести, накрытое белою простынёю, показывая знаком, чтобы он отсёк ему голову. Остолбенел Петро. Малость, отрезать ни за что ни про что человеку голову, да ещё и безвинному ребёнку! В сердцах сдёрнул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложило бедное дитя накрест, и головку повесило... Как бешеный, подскочил с ножом

к ведьме Петро и уже занёс было руку...

А что ты обещал за девушку?.. — грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою: синее пламя выхватилось из земли; середина её вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита; и всё, что ни было под землёю, сделалось видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в котлах, груды были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись... ум помутился... Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи... Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками за обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь... Всё пошло кругом в голове его! Собравши все силы, бросился бежать он. Всё покрылось перед ним красным светом.

Деревья, все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненные пятна, что молнии, мерещились ему в глаза. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и, как сноп, повалился на землю. Мёртвый сон схватил его.

Два дни и две ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит: два мешка с золотом. Тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу... Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять.



Увидел Корж мешки и — развежился: «Сякой, такой Петрусь, немазанный! да я ли не любил его? да не был ли у меня он как сын родной?» — и понёс хрыч небывальщину, так что того до слёз разобрало. Дивно только показалось Пидорке, когда стала рассказывать,

как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Он не мог даже вспомнить лица его: так обморочила проклятая бесовщина! Мешкать было незачем, поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки; посадили за стол молодых; разрезали коровой; брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы — и пошла потеха...

В старину свадьба водилась не в сравнение нашей. Тётка моего деда, бывало, расскажет — люли только! Как дивчата, в нарядном головном уборе из жёлтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шёлком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьянных сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и с шумом, что вихорь, скакали в горнице. Как молодницы, с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из сутозолотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, из которого выглядывал золотой очипок, с двумя выдавшимися, один наперёд, другой назад, рожками, самого мелкого чёр-

ного смушка; в синих, из лучшего полутабе-
неку, с красными клапанами кунтушах, важ-
но подбоченившись, выступали поодиночке
и мерно выбивали гопака. Как парубки, в вы-
соких козацких шапках, в тонких суконных
свитках, затянутых шитыми серебром пояса-
ми, с люльками в зубах, рассыпались перед
ними мелким бесом и подпускали турысы.
Сам Корж не утерпел, глядя на молодых, чтоб
не тряхнуть стариною. С бандурою в руках,
потягивая люльку и вместе припевая, с чар-
кою на голове, пустился старичина, при гром-
ком крике гуляк, вприсядку. Чего не выдума-
ют навеселе! Начнут, бывало, наряжаться в
хари — боже ты мой, на человека не похожи!
Уж не нынешних переодеваний, что бывают
на свадьбах наших. Что теперь? — только что
корчат цыганок да москалей. Нет, вот, быва-
ло, один оденется жидом, а другой чёртом,
начнут сперва целоваться, а после ухватятся
за чубы... Бог с вами! смех нападёт такой, что
за живот хватается. Пооденутся в турецкие
и татарские платья: всё горит на них, как
жар... А как начнут дуреть да строить шту-
ки... ну, тогда хоть святых выноси. С тёткой

покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история: была она одета тогда в татарское широкое платье и с чаркою в руках угощала собрание. Вот одного дёрнул лукавый окатить её сзади водкою, другой, тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджёл... пламя вспыхнуло, бедная тётка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя при всех платье... Шум, хохот, ерлаш поднялся, как на ярмарке.

Словом, старики не запомнили никогда ещё такой весёлой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панею. Всего вдоволь, всё блестит... Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на жизнь их. «От чёрта не будет добра, — поговаривали все в один голос. — Откуда, как не от искусителя люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего вдруг, в самый тот день, когда разбогател он, Басаврюк пропал, как в воду?» Говорите же, что люди выдумывают! Ведь в самом деле, не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, бог знает. Сидит на од-

ном месте, и хоть бы слово с кем. Всё думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чём-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведёт речь, и развеселится даже; но ненароком посмотрит на мешки — «постой, постой, позабыл!» — кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот всё сызнаова приходит на ум... и опять всё ушло. Кажется: сидит в шинке; несут ему водку; жжёт его водка; противна ему водка; кто-то подходит, бьёт по плечу его... но далее всё как будто туманом укрывается перед ним. Пот валится градом по лицу его, и он в изнеможении садится на своё место.

Чего ни делала Пидорка: и совещалась с знахорами, и переполох выливали, и соняшницу заваривали — ничто не помогало. Так прошло и лето. Много козачков обкосилось и обжалось; много козачков, поразгульнее других, и в поход потянулось. Стаи уток ещё толпились на болотах наших, но крапивянок уже и в помине не было. В степях покраснело.

Скирды хлеба то сям, то там, словно козацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге и возы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег стал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем как отцы их спокойно вылёживались на печке, выходя по временам, с зажжённою люлькой в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и *щука хвостом лёд расколотила*, а Петро всё так же, и чем далее, тем ещё суровее. Как будто прикованный, сидит посередине хаты, поставив себе в ноги мешки свои. Одичал, оброс волосами, стал страшен; и всё думает об одном, всё силится припомнить что-то; и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками,

вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его; губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово, — и неподвижно останавливаются... Бешенство овладевает им; как полоумный, грызёт и кусает себе руки и в досаде рвёт клоками волоса, покамест, утихнув, не упадёт, будто в забытии, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука... Что это за напасть божия? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки; изныла, исчахла, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в Медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство; слово за слово, уговорила старуху идти с собою. Это было ввечеру, как раз накануне Купала. Петро в беспмятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гостьи. Как вот мало-помалу стал приподниматься и всматри-

ваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе; волосы поднялись горою... и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. «Вспомнил, вспомнил!» — закричал он в страшном веселье и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет семи, в белой рубашке, с накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетела. «Ивась!» — закричала Пидорка и бросилась к нему; но привидение всё с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом... В испуге выбежала она в сени; но, опомнившись немного, хотела было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди, принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался ещё пар. Кинулись к мешкам: одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевелинуть усом, стояли козачки, будто вкопанные в землю. Такой страх на-

вело на них это диво.

Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье; собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней её точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили её было уже туда, куда и Петро потащился; да один раз приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки, по всем приметам, узнали Пидорку; что ещё никто не слышал от неё ни одного слова; что пришла она пешком и принесла оклад к иконе божьей матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались, на него глядя.

Позвольте, этим ещё не всё кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк; только все бегом от него. Узнали, что это за птица: никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады; а как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того

же году все побросали землянки свои и перебрались в село; но и там, однако ж, не было покою от проклятого Басаврюка. Тётка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на неё за то, что оставила прежний шинок по Опошнянской дороге, и всеми силами старался выместить всё на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать чтобы малый, жареный баран. Калякали о сём и о том, было и про диковинки разные, и про чуда. Вот и померещилось, — ещё бы ничего, если бы одному, а то именно всем, — что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся чёрные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка; тётка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки... Честные старшины за шапки да скорей восвояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовскою чаркою, не успел ещё раза два достать дна, как видит, что чар-

ка кланяется ему в пояс. Чёрт с тобою! давай креститься!» А тут с половиною его тоже диво: только что начала она замешивать тесто в огромной диже, вдруг дижа выпрыгнула. «Стой, стой!» — куды! подбоченившись важно, пустилась впрысядку по всей хате... Смейтесь; однако ж не до смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святою водою и гонял чёрта кропилом по всем улицам, а всё ещё тётка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене.

Да чего! Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, всё спокойно; а ведь ещё не так давно, ещё покойный отец мой и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счёт, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валился дым и, поднявшись высоко, так, что посмотреть — шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и чёрт, — нечего бы и вспоминать его, собачьего сына, — так всхлипывал жалобно в

своей конуре, что испуганные гайвороны ста-
ями подымались из ближнего дубового леса и
с диким криком метались по небу.

Майская ночь, или утопленница



*Ворог його батька знає! почнуть що-
небудь робити люди хрещені, то мур-
дуютьця, мурдуютьця, мов хорти за
зайцем, а все щось не до ишигу; тільки
ж куди чѣрт уплетеця то верть хво-
стиком — так де воно й возмеця,
неначе з неба.*

I

Ганна

Звонкая песня лилась рекою по улицам села
***. Было то время, когда утомлённые днев-
ными трудами и заботами парубки и девуш-
ки шумно собирались в кружок, в блеске чи-

стого вечера, выливать своё веселье в звуки, всегда неразлучные с уныньем. И вечер, вечно задумавшийся, мечтательно обнимал синее небо, превращая всё в неопределённость и даль. Уже и сумерки; а песни всё не утихали. С бандурою в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой козак Левко, сын сельского головы. На козаке решетиловская шапка. Козак идёт по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишнёвыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел:

*Сонце низенько, вечір близенько,
Вийди до мене, моє серденько!*

— Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица! — сказал козак, окончивши песню и приближаясь к окну. — Галю! Галю! ты спишь или не хочешь ко мне выдти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод! Не бойся: никого нет. Вечер тёпл. Но если бы и показался кто, я прикрою

тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя — и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце моё, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою... Нет, ты не спишь, гордая дивчина! — проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. — Тебе любо издеваться надо мною, прощай!

Тут он отворотился, насунул набекрень свою шапку и гордо отошёл от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась: дверь распахнулась со скрипом, и девушка на поре семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звёздочки, ясные очи; блистало красное коралловое монисто, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках её.



— Какой же ты нетерпеливый! — говорила она ему вполголоса — Уже и рассердился! Зачем выбрал ты такое время: толпа народу шагает то и дело по улицам... Я вся дрожу...

— О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче! — говорил парубок, обнимая её, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты. — Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько.

— Знаешь ли, что я думаю? — прервала девушка, задумчиво потопив в него свои очи. — Мне всё что-то будто на ухо шепчет, что впе-

рѣд нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди: девушки все глядят так завистливо, а парубки... Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было.

Какое-то движение тоски выразилось на лице её при последних словах.

— Два месяца только в стороне родной и уже соскучилась! Может, и я надоел тебе?

— О, ты мне не надоел, — молвила она усмехнувшись. — Я тебя люблю, чернобровый козак! За то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими — у меня как будто на душе усмежается: и весело, и хорошо ей; что приветливо моргаешь ты чѣрным усом своим, что ты идёшь по улице, поёшь и играешь на бандуре, и любо слушать тебя.

— О моя милая девушка! — вскрикнул парубок, целуя и прижимая её сильнее к груди своей.

— Постой! полно, Левко! Скажи наперѣд, говорил ли ты с отцом своим?

— Что? — сказал он, будто проснувшись. — Что я хочу жениться, а ты выйти за меня за-

муж — говорил.

Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово «говорил».

— Что же?

— Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен, по своему обыкновению, глухим: ничего не слышит и ещё бранит, что ша-таюсь бог знает где, повесничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галю! Вот тебе слово козацкое, что уломаю его.

— Да тебе только стоит, Левко, слово ска-зать — и всё будет по-твоему. Я знаю это по себе: иной раз не послушала бы тебя, а ска-жешь слово — и невольно делаю, что тебе хо-чется. Посмотри, посмотри! — продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело тёплое украинское небо, завешенное снизу кудрявы-ми ветвями стоявших перед ними вишен. — Посмотри, вон-вон далеко мелькнули звёз-дочки: одна, другая, третья, четвёртая, пятая... Не правда ли, ведь это ангелы божии поотво-ряли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу землю? Что, если бы у людей

были крылья, как у птиц, — туда бы полететь, высоко, высоко... Ух, страшно! Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далёкой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и Бог сходит по нём на землю ночью перед светлым праздником.

— Нет, Галю; у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Её ставят перед светлым воскресением святые архангелы; и как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле.

— Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке! — продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный тёмным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нём жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далёкое, тёмное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звёзды, которые тускло реяли среди тёплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на

горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду.

— Я помню, будто сквозь сон, — сказала Ганна, не спуская глаз с него: — давно, давно, когда я ещё была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты, верно, знаешь, Расскажи!..

— Бог с ним, моя красавица! Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться, и не заснётся тебе покойно.

— Расскажи, Расскажи, милый, чернобрый парубок! — говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. — Нет! ты, видно, не любишь меня, у тебя есть другая девушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать... Расскажи, Левко!..

— Видно, правду говорят люди, что у деву-

шек сидит чёрт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно, моё серденько, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка, белая, как снег, как твоё личико. Сотникова жена давно уже умерла; задумал сотник жениться на другой. «Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмёшь другую жену?» — «Буду, моя дочка; ещё крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу! Буду, моя дочка; ещё ярче стану дарить серьги и монисты!» Привёз сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена; только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, её увидевши; и хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь; ушёл сотник с молодою женою в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала плакать. Глядит: страшная чёрная кошка крадёт к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку, — кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку, — кошка и туда, и вдруг бросилась к ней

на шею и душит её. С криком оторвавши от себя, кинула на пол; опять крадётся страшная кошка. Тоска её взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила её и бряк по полу — лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в тёмном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанною рукою. Угадала бедная панночка, что мачеха её ведьма и что она ей перерубила руку. На четвёртый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и кусок хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо своё: «Погубил ты, батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою!

Прости тебя бог; а мне, несчастной, видно, не велит он жить на белом свете!..» И вон, видишь ли ты... — Тут оборотился Левко к Ганне, указывая пальцем на дом. — Гляди сюда: вон, подалее от дома, самый высокий берег! С

этого берега кинулась панночка в воду, и с той поры не стало её на свете...

— А ведьма? — боязливо прервала Ганна, устремив на него прослезившиеся очи.

— Ведьма? Старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяце; и сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на неё и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из зелёного тростника, которою хотели её бить утопленницы. Верь бабам! Рассказывают ещё, что панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма; но до сих пор не узнала. И если попадётся из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде. Вот, моя Галю, как рассказывают старые люди!.. Теперешний пан хочет строить на том месте винницу и прислал нарочно для того сюда винокура... Но я слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю! Спи

спокойно; да не думай об этих бабьих выдумках!

Сказавши это, он обнял её крепче, поцеловал и ушёл.

— Прощай, Левко! — говорила Ганна, задумчиво вперив очи на тёмный лес.

Огромный огненный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Ещё половина его была под землёю, а уже весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на тёмной зелени.

— Прощай, Ганна! — раздалась позади её слова, сопровождаемые поцелуем.

— Ты воротился! — сказала она, оглянувшись; но, увидев перед собою незнакомого парубка, отвернулась в сторону.

— Прощай, Ганна! — раздалось снова, и снова поцеловал её кто-то в щёку.

— Вот принесла нелёгкая и другого! — проговорила она с сердцем.

— Прощай, милая Ганна!

— Ещё и третий!

— Прощай! прощай! прощай, Ганна! — и

поцелуи засыпали её со всех сторон.

— Да тут их целая ватага! — кричала Ганна, вырываясь из толпы парубков, наперерыв спешивших обнимать её. — Как им не надоест беспрестанно целоваться! Скоро, ей-богу, нельзя будет показаться на улице!

Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов.

II Голова

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключён в тёмно-зелёные стены садов. Девственные чащи черёмух

и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник — ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху всё дышит, всё дивно, всё торжественно.

А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в её глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг всё ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посереде неба... Как очарованное, дремлет на возвышении село. Ещё белее, ещё лучше блестят при месяце толпы хат; ещё ослепительнее вырезаются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Всё тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.

— Да, гопак не так танцуется! То-то, я гляжу, не клеится всё. Что ж это рассказывает кум?... А ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп,

гоп! — Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице. — Ей-богу, не так танцуется гопак! Что мне лгать! ей-богу, не так! А ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп!

— Вот одурел человек! добро бы ещё хлопец какой, а то старый кабан, детям насмех, танцует ночью по улице! — вскричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солому. — Ступай в хату свою! Пора спать давно!

— Я пойду! — сказал, остановившись, мужик. — Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, *дидько б утысса его батькови!* что он голова, что он обливает людей на морозе холодной водою, так и нос поднял! Ну, голова, голова. Я сам себе голова. Вот убей меня бог! Бог меня убей! Я сам себе голова. Вот что, а не то что... — продолжал он, подходя к первой попавшейся хате, и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. — Баба, отворяй! Баба, живей, говорят тебе, отворяй! Козаку спать пора!

— Куда ты, Каленик? Ты в чужую хату попал! — закричали, смеясь, позади его девушки.

ки, ворочавшиеся с весёлых песней. — Показать тебе твою хату?

— Покажите, любезные молодухи!

— Молодухи? слышите ли, — подхватила одна: — какой учтивый Каленик! За это ему нужно показать хату... но нет, наперёд потанцуй!

— Потанцевать?... эх вы, замысловатые девушки! — протяжно произнёс Каленик, смеясь и грозя пальцем и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. — А дадите перецеловать себя? Всех перецелую, всех!.. — И косвенными шагами пустился бежать за ними.

Девушки подняли крик, перемешались; но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидя, что Каленик не слишком был скор на ноги.

— Вон твоя хата! — закричали они ему, уходя и показывая на избу, гораздо поболее прочих, принадлежавшую сельскому голове. Каленик послушно побрёл в ту сторону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этот голова, возбуждавший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голо-

ва важное лицо на селе. Покамест Каленик достигнет конца пути своего, мы, без сомнения, успеем кое-что сказать о нём. Всё село, завидевши его, берётся за шапки; а девушки, самые молоденькие, отдают *добридень*. Кто бы из парубков не захотел быть головою! Голове открыт свободный вход во все тавлинки; и дюжий мужик почтительно стоит, снявши шапку, во всё продолжение, когда голова запускает свои толстые и грубые пальцы в его лубочную табакерку. В мирской сходке, или громаде, несмотря на то, что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берёт верх и почти по своей воле высылает, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно ещё, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые; целые два дни находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры ещё голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный

взгляд исподлобья. И с той поры голова, об чём бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вёз царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особенно если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегольства: носит всегда свитку чёрного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме, выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нём был синий козацкий жупан. Но это время вряд ли кто мог запомнить из целого села; а жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов; но у него живёт в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, прядёт ему на рубашки и заведывает всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница; но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не нравилось, если голова заходил в поле, усеянное жницами, или

к козаку, у которого была молодая дочка. Голова крив; но зато одинокий глаз его злодей и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Но прежде, однако ж, он наведёт его на смазливое личико, пока не обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти всё уже рассказали, что нужно, о голове; а пьяный Каленик не добрался ещё и до половины дороги и долго ещё угощал голову всеми отборными словами, какие могли только вспасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его.

III

Неожиданный соперник. Заговор

— Нет, хлопцы, нет, не хочу! Что за разгулье такое! Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы боги знает какими буянами. Ложитесь лучше спать! — Так говорил Левко разгульным товарищам своим, подговаривавшим его на новые проказы. — Прощайте, братцы! покойная вам ночь! — и быстрыми шагами шёл от них по улице.

«Спит ли моя ясноокая Ганна?» — думал

он, подходя к знакомой нам хате с вишнёвыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка... «Что это значит?» — подумал он и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки... Это Ганна! Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною? Напрасно обсматривал он: тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещён немного; но малейший шаг вперёд Левка уже подвергал его неприятности быть открытым. Тихо прислонившись к дереву, решил он остаться на месте. Девушка ясно выговорила его имя.

— Левко? Левко ещё молокосос! — говорил хрипло и вполголоса высокий человек. — Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб...

— Хотелось бы мне знать, какая это шельма похваляется выдрать меня за чуб! — тихо проговорил Левко и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ни-

чего расслушать.

— Как тебе не стыдно! — сказала Ганна по окончании его речи. — Ты лжёшь; ты обманываешь меня; ты меня не любишь; я никогда не поверю, чтобы ты меня любил!

— Знаю, — продолжал высокий человек, — Левко много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову (тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем незнаком и как будто он когда-то его слышал). Но я дам себя знать Левку! — продолжал всё так же незнакомец. — Он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки.

При сем слове Левко не мог уже более удержать своего гнева. Подошедши на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы дать трюха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте; но в это время свет пал на лицо его, и Левко остолбенел, увидевши, что перед ним стоял отец его.

Невольное покачивание головою и лёгкий сквозь зубы свист одни только выразили его изумление. В стороне послышался шорох;

Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собою дверь.

— Прощай, Ганна! — закричал в это время один из парубков, подкравшись и обнявши голову; и с ужасом отскочил назад, встретивши жёсткие усы.

— Прощай, красавица! — вскричал другой; но на сей раз полетел стремглав от тяжёлого толчка головы.

— Прощай, прощай, Ганна! — закричало несколько парубков, повиснув ему на шею.

— Провалитесь, проклятые сорванцы! — кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. — Что я вам за Ганна! Убирайтесь вслед за отцами на виселицу, чёртовы дети! Поприставали, как мухи к мёду! Дам я вам Ганны!..

— Голова! голова! это голова! — закричали хлопцы и разбежались во все стороны.

— Ай да батько! — говорил Левко, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами голове. — Вот какие за тобою водятся проказы! Славно! А я дивлюсь да передумываю, что б это значило, что он всё притворяется глухим, когда ста-

нешь говорить о деле. Постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, будешь знать, как отбивать чужих невест! Гей, хлопцы! сюда! сюда! — кричал он, махая рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу. — Ступайте сюда! Я увещевал вас идти спать; но теперь раздумал и готов хоть целую ночь сам гулять с вами.

— Вот это дело! — сказал плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе. — Мне всё кажется тошно, когда не удаётся погулять порядком и настроить штук. Всё как будто недостаёт чего-то. Как будто потерял шапку или люльку; словом, не козак, да и только.

— Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?

— Голову?

— Да, голову. Что он в самом деле задумал! Он управляется у нас, как будто гетьман какой. Мало того, что помыкает, как своими холопьями, ещё и подъезжает к дивчатам нашим. Ведь, я думаю, на всём селе нет смазливой девки, за которою бы не волочился голо-

ва.

— Это так, это так, — закричали в один голос все хлопцы.

— Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные козаки! Покажем ему, хлопцы, что мы вольные козаки!

— Покажем! — закричали парубки. — Да если голову, то и писаря не минуть!

— Не минем и писаря! А у меня, как нарочно, сложилась в уме славная песня про голову. Пойдёмте, я вас выучу, — продолжал Левко, ударив рукою по струнам бандуры. — Да слушайте: попереодевайтесь кто во что ни попало!

— Гуляй, козацкая голова! — говорил дюжий повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. — Что за роскошь! Что за воля! Как начнёшь беситься — чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно на сердце; а душа как будто в раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!..

И толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробуждённые криком, подымали окошки и крестились сонны-

ми руками, говоря: «Ну, теперь гуляют парубки!»

IV

Парубки гуляют

Одна только хата светилась ещё в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул; но у него был в это время гость — винокур, присланный строить винокурню помещиком, имевшим небольшой участок земли между вольными козаками. Под самым покутом, на почётном месте, сидел гость — низенький, толстенный человек с маленькими вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплёвывая и придавливая пальцем вылезавший из неё превращённый в золу табак. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни, наскуча сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы; но

они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своём, подрывая монополию амбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечернее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составивших команду головы, сидевший из почтения к хозяину в свитке.

— Скоро же вы думаете, — сказал голова, оборотившись к винокуру и кладя крест на зевнувший рот свой, — поставить вашу винокурню?

— Когда бог поможет, то сею осенью, может, и закурим. На покров, бьюсь об заклад, что пан голова будет писать ногами немецкие крендели по дороге.

По произнесении сих слов глазки винокура пропали; вместо их протянулись лучи до самых ушей; всё туловище стало колебаться от смеха, и весёлые губы оставили на мгновение дымившуюся люльку.

— Дай бог, — сказал голова, выразив на ли-

це своём что-то подобное улыбке. — Теперь ещё, слава богу, винниц развелось немного. А вот в старое время, когда провожал я царицу по Переяславской дороге, ещё покойный Безбородько...

— Ну, сват, вспомнил время! Тогда от Кременчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь... Слышал ли ты, что повыдумывали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским паром. — Говоря эти слова, винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нём руки свои. — Как это паром — ей-богу, не знаю!

— Что за дурни, прости господи, эти немцы! — сказал голова. — Я бы батогом их, собачьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром можно было кипятить что! Поэтому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губ, вместо молодого поросёнка...

— И ты, сват, — отозвалась сидевшая на лежанке, поджавши под себя ноги, свояченица, — будешь всё это время жить у нас без жены?

— А для чего она мне? Другое дело, если бы что доброе было.

— Будто не хороша? — спросил голова, устремив на него глаз свой.

— Куды тебе хороша! *Стара, як бис*. Харя вся в морщинах, будто выпорожненный кошелёк. — И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха.

В это время что-то стало шарить за дверью; дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал, как будто в раздумье, посреди хаты, разинувши рот и оглядывая потолок. Это был знакомец наш, Каленик.

— Вот я и домой пришёл! — говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих. — Вишь, как растянул, вражий сын сатана, дорогу! Идёшь, идёшь, и конца нет! Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там, баба, тулуп, подостлать мне. На печь к тебе не приду, ей-богу не приду: ноги болят! Достань его, там он лежит, близ покута; гляди только, не опрокинь горшка с тёртым табаком. Или нет, не тронь, не тронь! Ты, может быть, пьяна сегодня... Пусть, уже я сам достану.

Каленик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке.

— За это люблю, — сказал голова, — пришёл в чужую хату и распоряжается, как дома! Выпроводить его подобру-поздорову!..

— Оставь, сват, отдохнуть! — сказал винокур, удерживая его за руку. — Это полезный человек; побольше такого народу — и винница наша славно бы пошла...

Однако ж не добродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать беду.

— Что-то как старость придёт!.. — ворчал Каленик, ложась на лавку. — Добро бы, ещё сказать, пьян; так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян! Что мне лгать!

Я готов объявить это хоть самому голове. Что мне голова? Чтоб он издохнул, собачий сын! Я плюю на него! Чтоб его, одноглазого чёрта, возом переехало! Что он обливает людей на морозе...

— Эге! влезла свинья в хату, да и лапы суёт на стол, — сказал голова, гневно подымаясь с своего места; но в это время увесистый ка-

мень, разбивши окно вдребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. — Если бы я знал, — говорил он, подымая камень, — какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться! Экие проказы! — продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. — Чтоб он подавился этим камнем...

— Стой, стой! Боже тебя сохрани, сват! — подхватил, побледневши, винокур. — Боже сохрани тебя, и на том, и на этом свете, поблагословить кого-нибудь такую побранкою!

— Вот нашёлся заступник! Пусть он пропадёт!..

— И не думай, сват! Ты не знаешь, верно, что случилось с покойною тёщею моею?

— С тёщей?

— Да, с тёщей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерять: покойная тёща, покойный тесть, да наймыт, да наймычка, да детей штук с пятеро. Тёща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг от-

куда ни возьмись человек, — какого он роду, бог его знает, — просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека! Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сено. Покамест те съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Тёща насыпала ещё; думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало.

Ещё лучше стал уплетать! и другую выпрожил! «А чтоб ты подавился этими галушками!» — подумала голодная тёща; как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему — и дух вон. Удавился.

— Так ему, обжоре проклятому, и нужно! — сказал голова.

— Так бы, да не так вышло: с того времени покою не было тёще. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах. Днём всё покойно, и слуху нет про него; а только станет примеркать — погляди на крышу, уже и оседлал, собачий сын, трубу.

— И галушка в зубах?

— И галушка в зубах.

— Чудно, сват! Я слышал что-то похожее ещё за покойницу царицу...

Тут голова остановился. Под окном слышался шум и топанье танцующих. Сперва тихо звукнули струны бандуры, к ним присоединился голос. Струны загремели сильнее; несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем:

*Хлопцы, слышали ли вы?
Наши ль головы не крепки!
У кривого головы
Вдруг рассыпалися клепки.
Набей, бондарь, голову
Ты стальными обручами!
Вспрысни, бондарь, голову
Батогами! батогами!
Голова наш сед и крив;
Стар, как бес; а что за дурень!
Прихотлив и похотлив;
Жмётся к девкам... Дурень, ду-
рень!
И тебе лезть к парубкам!
Тебя б нужно в домовину,
По усам, да по шеям!
За чуприну! за чуприну!*

— Славная песня, сват! — сказал винокур,

наклоня немного набок голову и оборотившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. — Славная! Скверно только, что голову поминают не совсем благопристойными словами... — И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготавливаясь слушать ещё, потому что под окном гремел хохот и крики: «Снова! снова!» Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый, опытный кот допускает иногда неопытной мыши бегать около своего хвоста, а между тем быстро созидаёт план, как перерезать ей путь в свою нору. Ещё одинокий глаз головы был устремлён на окно, а уже рука, давши знак десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик... Винокур, к числу многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивши табаком свою люльку, выбежал на улицу; но шалуны уже разбежались.

«Нет, ты не ускользнёшь от меня!» — кричал голова, таща за руку человека в вывороченном шерстью вверх овчинном чёрном ту-

лупе. Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия, но с робостию попятился назад, увидевши длинную бороду и страшно размалёванную рожу. «Нет, ты не ускользнёшь от меня!»- кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату.

— Карпо, отвори комору! — сказал голова десятскому. — Мы его в тёмную комору! А там разбудим писаря, соберём десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию всем им учиним!

Десятский забренчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг вырвался с необыкновенною силою из рук его.

— Куда? — закричал голова, ухватив ещё крепче за ворот.

— Пусти, это я! — слышался тоненький голос.

— Не поможет! не поможет, брат! Визжи

себе хоть чёртом, не только бабою, меня не проведёшь! — и толкнул его в тёмную комору так, что бедный пленник застонал, упавши на пол, и, в сопровождении десятского, отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур.

В размышлении шли они все трое, потупив голову, и вдруг, на повороте в тёмный переулок, разом вскрикнули от сильного удара по лбам, и такой же крик отгрянул в ответ им. Голова, прищуривши глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими.

— А я к тебе иду, пан писарь.

— А я к твоей милости, пан голова.

— Чудеса завелися, пан писарь.

— Чудные дела, пан голова.

— А что?

— Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами... словом, сказать стыдно; пьяный москаль побоится выбросить их нечестивым своим языком. (Всё это худощавый писарь, в пестрядевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей, сопровождал протягиванием шеи вперёд и приведением её тот

же час в прежнее состояние.) Вздремнул было немного, подняли с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком! Хотел было хорошенько приструнить их, да, покамест надел шаровары и жилет, все разбежались куды попало. Самый главный, однако же, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, как у чёрта, который куёт гвозди для грешников.

— А как он одет, пан писарь?

— В чёрном вывороченном тулупе, собачий сын, пан голова.

— А не лжёшь ли ты, пан писарь?

Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе?

— Нет, пан голова. Ты сам, не во гнев будь сказано, погрешил немного.

— Давайте огня! мы посмотрим его!

Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнул от удивления, увидев пред собою свояченицу.

— Скажи, пожалуйста, — с такими словами она приступила к нему, — ты не свихнул-

ся ещё с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда толкнул ты меня в тёмную комору? Счастье, что не ударилась головою об железный крюк. Разве я не кричала тебе, что это я? Схватил, проклятый медведь, своими железными лапами, да и толкает! Чтоб тебя на том свете толкали черти!..

Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин.

— Да, я вижу, что это ты! — сказал голова, очнувшись. — Что скажешь, пан писарь, не шельма этот проклятый сорви-голова?

— Шельма, пан голова.

— Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошенько и заставить их заниматься делом?

— Давно пора, давно пора, пан голова.

— Они, дурни, забрали себе... Кой чёрт? мне почудился крик свояченицы на улице... они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровня. Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой козак!.. — Небольшой последовавший за сим кашель и устремление глаза

исподлобья вокруг давало догадываться, что голова готовился говорить о чём-то важном. — В тысячу... этих проклятых названий годов, хоть убей, не выговорю; ну, году, комиссару тогдашнему *Ледачому* дан был приказ выбрать из козаков такого, который был бы посмышлённее всех. О! — это «о!» голова произнёс, поднявши палец вверх, — посмышлённее всех! в проводники к царице. Я тогда...

— Что и говорить! это всякий уже знает, пан голова. Все знают, как ты выслужил царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла: хватил немного на душу греха, сказавши, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе?

— А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать в кандалы и наказать примерно. Пусть знают, что значит власть! От кого же и голова поставлен, как не от царя? Потом доберёмся и до других хлопцев: я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и огурцы; я не забыл, как чёртовы дети отказались вымолотить моё жито; я не забыл... Но провались они, мне

нужно непременно узнать, какая это шельма в вывороченном тулупе.

— Это проворная, видно, птица! — сказал винокур, которого щёки в продолжение всего этого разговора непрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. — Эдакого человека не худо, на всякий случай, и при виннице держать; а ещё лучше повесить на верхушку дуба вместо паникадила.

Такая острога показалась не совсем глупою винокуру, и он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом.

В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате; любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка; но этот был от сундука его. Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать побрякушки, не отыскивая его. «Есть!» — сказал он наконец, нагнувшись и вынимая его из глубины обширного кармана, которым снабже-

ны были его пестрядевые шаровары. При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно, и это огромное сердце забило так сильно, что неровный стук его не был заглушён даже брякнувшим замком. Двери отворились, и... Голова стал бледен как полотно; винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо; ужас изобразился в лице писаря; десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих: перед ними стояла свояченица!

Изумлённая не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение подойти к ним.

— Стой! — закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. — Господа! это сатана! — продолжал он. — Огня! живее огня! Не пожалею казённой хаты! Зажигай её, зажигай, чтобы и костей чёртовых не осталось на земле!

Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение.

— Что вы, братцы! — говорил винокур. — Слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до

сих пор ума не нажили: от простого огня ведьма не загорится! Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Пойдите, я сейчас всё улажу!

Сказавши это, высыпал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать её. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченице, громко стала она умолять и разуберять их.

— Пойдите, братцы! Зачем напрасно греха набираться; может быть, это и не сатана, — сказал писарь. — Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не чёрт.

Предложение одобрено.

— Чур меня, сатана! — продолжал писарь, приложась губами к скважине в дверях. — Если не пошевелишься с места, мы отворим дверь.

Дверь отворили.

— Перекрестись! — сказал голова, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады.

Свояченица перекрестилась.

— Кой чёрт! Точно, это свояченица!

— Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту конуру?

И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили её хлопцы в охапку на улице и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул: завески у широкого ставня оторваны, и он приколочен только сверху деревянным брусом.

— Добро ты, одноглазый сатана! — вскричала она, приступив к голове, который попятился немного и всё ещё продолжал её мерить своим глазом. — Я знаю твой умысел: ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за дивчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чём говорил ты сего вечера с Ганною? О! я знаю всё. Меня трудно провесть и не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не погневайся...

Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову. «Нет, тут не на шутку сатана вмешался», — думал он, сильно почёсывая свою макушу.

— Поймали! — вскрикнули вошедшие в это время десятские.

— Кого поймали? — спросил голова.

— Дьявола в вывороченном тулупе.

— Подавайте его! — закричал голова, схватив за руки приведённого пленника. — Вы с ума сошли: это пьяный Каленик!

— Что за пропасть! в руках наших был, пан голова. В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дёргать, высовывать языки, вырывать из рук... чёрт с вами!.. И как мы попали на эту ворону вместо его, бог знает!

— Властью моею и всех мирян даётся повеление — изловить сей же миг сего разбойника, а оным образом и всех, кого найдёте на улице, и привести на расправу ко мне!..

— Помилуй, пан голова! — закричали некоторые, кланяясь в ноги. — Увидел бы ты, какие хари: убей бог нас, и родились и крестились — не видали таких мерзких рож. Долго ли до греха, пан голова, перепугают доброго человека так, что после ни одна баба не возьмётся вылить переполоху.

— Дам я вам переполоху! Что вы? не хоти-

те слушаться? Вы, верно, держите их руку? Вы бунтовщики? Что это?... Что это?... Вы заводите разбой!.. Вы... Я донесу комиссару! Сей же час! слышите, сей час. Бегите, летите птицею! Чтоб я вас... Чтоб вы мне...

Все разбежались.

V

Утопленница

Не беспокоясь ни о чём, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко.

Чёрный тулуп его был расстёгнут. Шапку держал он в руке. Пот валился с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, обсыпаясь только на оконечности, стоявшей лицом к месяцу, тонкою серебряною пылью. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Всё тихо; в глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы; усталые члены готовы были забыться и оне-

меть; голова клонилась... «Нет, эдак я засну ещё здесь!» — говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась перед ним ещё блистательнее. Какое-то странное упоительное сияние примешалось к блеску месяца. Никогда ещё не случилось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нём чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели весёлые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стёкла мелькала позолота. И вот почувдилось, будто окно отворилось. Притаивши дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит: наперёд белый локоть выставился в окно, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь тёмно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит: она качает слегка головою, она машет, она усмехается... Сердце его разом забилося... Вода задрожала, и окно закрылось сно-

ва. Тихо отошёл он от пруда и взглянул на дом: мрачные ставни были открыты; стёкла сияли при месяце. «Вот как мало нужно полагаться на людские толки, — подумал про себя герой наш. — Дом новёхонький; краски живы, как будто сегодня он выкрашен. Тут живёт ктонибудь», — и молча подошёл он ближе, но всё было в нём тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни Соловьёв, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало, какую-то сладкую тишину и тихое раздолье ощутил он в своём сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел:

*Ой, ти, місяцю, мій місяченьку!
І ти, зоре ясна!
Ой, світить там по подві р'ї
Де дівчина красна.*

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы её были полуопущены на глаза. Вся она была бледна как полот-

но, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась!.. Левко вздрогнул.

— Спой мне, молодой козак, какую-нибудь песню! — тихо молвила она, наклонив свою голову набок и опустив совсем густые ресницы.

— Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?

Слёзы тихо покатались по бледному лицу её.

— Парубок, — говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в её речи. — Парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитые шёлком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть... Парубок, найди мне мою мачеху! Она страшная ведьма: мне не было от неё покоя на белом свете. Она мучила меня, заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечистыми чарами с щёк моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что

не смоются, эти синие пятна от железных когтей её. Погляди на белые ноги мои: они много ходили; не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили; а на очи мои, посмотри на очи: они не глядят от слёз... Найди её, парубок, найди мне мою мачеху!..

Голос её, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слёз покатались по бледному лицу. Какое-то тяжёлое, полное жалости и грусти чувство спёрлось в груди парубка.

— Я готов на всё для тебя, моя панночка! — сказал он в сердечном волнении, — но как мне, где её найти?

— Посмотри, посмотри! — быстро говорила она, — она здесь! она на берегу играет в хороде между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу чрез неё плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи её, парубок!

Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали лёгкие, как будто те-



ни, девушки в белых, как луг, убранный ландышами, рубашках; золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях; но они были бледны; тело их было как будто сваяно из

прозрачных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послышались голоса.

— Давайте в ворона, давайте играть в ворона! — зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра.

— Кому же быть вороном?

Кинули жребий — и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать её. Лицо, платье — всё на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебежала от нападений хищного врага.

— Нет, я не хочу быть вороном! — сказала девушка, изнемогая от усталости. — Мне жалко отнимать цыплёнок у бедной матери!

«Ты не ведьма!» — подумал Левко.

— Кто же будет вороном?

Девушки снова собирались кинуть жребий.

— Я буду вороном! — вызвалась одна из седины.

Левко стал пристально вглядываться в лицо ей.

Скоро и смело гналась она за вереницею и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело её не так светилось, как у прочих: внутри его виделось что-то чёрное. Вдруг раздался крик: ворон бросился на одну из вереницы и схватил её, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лице сверкнула злобная радость.

— Ведьма! — сказал он, вдруг указав на неё пальцем и оборотившись к дому.

Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона.

— Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает; возьми, отдай ему эту записку...

Белая ручка протянулась, лицо её как-то чудно засветилось и засияло... С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и... проснулся.

VI Пробуждение

— Неужели это я спал? — сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. — Так живо, как будто наяву!..

Чудно, чудно! — повторил он, оглядываясь. Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь; везде тишина; от пруда веял холод; над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями; мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во всё время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовавши в ней записку. «Эх, если бы я знал грамоте!» — подумал он, оборачивая её перед собою на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум.

— Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего трусили? нас десяток. Я держу заклад, что это человек, а не чёрт! — так кричал голова своим спутникам, и Левко увидел себя схваченным несколькими руками, из коих иные дрожали от страха. — Скидывай-ка, приятель,

свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей! — проговорил голова, ухватив его за ворот, и оторопел, выпучив на него глаз свой. — Левко, сын! — вскричал он, отступая от удивления и опуская руки. — Это ты, собачий сын! Вишь, бесовское рождение! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьявол строит штуки! А это, выходит, всё ты, неварёный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбои, сочинишь песни!.. Эге-ге-ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!

— Пстой, батько! велено тебе отдать эту записочку, — проговорил Левко.

— Не до записок теперь, голубчик! Вязать его!

— Пстой, пан голова! — сказал писарь, развернув записку: — Комиссарова рука!

— Комиссара?

— Комиссара? — повторили машинально десятские.

«Комиссара? Чудно! ещё непонятнее!» — подумал про себя Левко.

— Читай, читай! — сказал голова, — что там пишет комиссар?

— Послушаем, что пишет комиссар! — произнёс винокур, держа в зубах люльку и вырубливая огонь.

Писарь откашлялся и начал читать:

— «Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пако-сти...»

— Вот, ей-богу! — прервал голова, — ничего не слышу!

Писарь начал снова:

— «Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый ду...»

— Стой! стой! не нужно! — закричал голова, — я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела ещё нет. Читай далее!

— «А вследствие того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына, Левка Макогоненка, на козачке из вашего же села Ганне Петрыченковой, а также починить мосты по столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым паничам, хоть бы они ехали прямо из казённой палаты. Если же, по приезде моём, найду оное прика-

зание моё не приведённым в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач-Дришпановский».

— Вот что! — сказал голова, разинувши рот. — Слышите ли вы, слышите ли: за всё с головы спросят, и потому слушаться! беспрекословно слушаться! не то, прошу извинить... А тебя, — продолжал он, оборотясь к Левку, — вследствие приказания комиссара, — хотя чудно мне, как это дошло до него, — я женю; только наперёд попробуешь ты нагайки! Знаешь — ту, что висит у меня на стене возле покута? Я поновлю её завтра... Где ты взял эту записку?

Левко, несмотря на изумление, происшедшее от такого нежданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своём другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка.

— Я отлучался, — сказал он, — вчера ввечеру ещё в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батько, что заедет на воз-

вратном пути к нам обедать.

— Он это говорил?

— Говорил.

— Слышите ли? — говорил голова с важною осанкою, оборотившись к своим спутникам, — комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, то есть ко мне, на обед. О! — Тут голова поднял палец вверх и голову привёл в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-нибудь. — Комиссар, слышите ли, комиссар приедет ко мне обедать! Как думаешь, пан писарь, и ты, сват, это не совсем пустая честь! Не правда ли?

— Ещё сколько могу припомнить, — подхватил писарь, — ни один голова не угощал комиссара обедом.

— Не всякий голова голове чета! — произнёс с самодовольным видом голова. Рот его покривился, и что-то вроде тяжёлого, хриплого смеха, похожего более на гудение отдалённого грома, зазвучало в устах. — Как думаешь, пан писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыплёнку, ну, полотна, ещё кое-чего... А?

— Нужно бы, нужно, пан голова!

— А когда же свадьбу, батько? — спросил Левко.

— Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу!.. Ну, да для именитого гостя... завтра вас поп и обвенчает. Чёрт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домам!.. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я... — При сих словах голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд исподлобья.

— Ну, теперь пойдёт голова рассказывать, как вёз царицу! — сказал Левко и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, окружённой низенькими вишнями. «Дай тебе бог небесное царство, добрая и прекрасная панночка, — думал он про себя. — Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми! Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь; тебе одной только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!»

Тут он приблизился к хате: окно было отперто; лучи месяца проходили чрез него и па-

дали на спящую перед ним Ганну; голова её оперлась на руку; щёки тихо горели; губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица! Приснишь тебе всё, что есть лучшего на свете; но и то не будет лучше нашего пробуждения!» Перекрестив её, закрыл он окошко и тихонько удалился. И чрез несколько минут всё уже уснуло на селе; один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышало в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля в дивном серебряном блеске; но уже никто не упивался ими: всё погрузилось в сон. Изредка только прерывалось молчание лаем собак, и долго ещё пьяный Каленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.

Пропавшая грамота

Быль, рассказанная дьячком *ской
церкви**

Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? Пожалуй, почему же не потешить прибауткой? Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и месяца нет, деялось на свете! А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, — ну, тогда и рукой махни: чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученице Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа шалит в тебе... Нет, мне пуще всего наши дивчата и молодичицы; покажись только на глаза им: «Фома Григорьевич! Фома Григорьевич! *а нуте якунебудь страховинну казочку! а нуте, нуте!..*» — тара-та-та, та-та-та, и пойдут, и пойдут... Рассказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что делается с ними в постеле. Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет ее лихорадка, и рада бы с головою влезть в тулуп свой. Царапни горшком крыса, сама как-нибудь задень ногою кочергу — и боже упаси! и душа в пятках. А на другой день ничего не бывало, навязывается сызно-

ва: расскажи ей страшную сказку, да и только. Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум... Да, расскажу я вам, как ведьмы играли с покойным дедом в дурня[22]. Только заранее прошу вас, господа, не сбивайте с толку; а то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Покойный дед, надобно вам сказать, был не из простых в свое время козаков. Знал и твердо-он-то[23], и словотитлу[24] поставить. В праздник отхватает апостола, бывало, так, что теперь и попович иной спрячется. Ну, сами знаете, что в тогдашние времена если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять, — в одну горсть можно было всех уложить. Стало быть, и дивиться нечего, когда всякий встречный кланялся ему мало не в пояс.

Один раз задумалось вельможному гетьману послать зачем-то к царице грамоту. Тогдашний полковой писарь, — вот нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню... *Вискряк не Вискряк, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцек не Голопуцек...* знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозви-

ще, — позвал к себе деда и сказал ему, что, вот, наряжает его сам гетьман гонцом с грамотою к царице. Дед не любил долго собираться: грамоту зашил в шапку; вывел коня; чмокнул жену и двух своих, как сам он называл, поросенков, из которых один был родной отец хоть бы и нашего брата; и поднял такую за собою пыль, как будто бы пятнадцать хлопцев задумали посередеи улицы играть в кашу. На другой день еще петух не кричал в четвертый раз, дед уже был в Конотопе. На ту пору была там ярмарка: народу высыпало по улицам столько, что в глазах рябело. Но так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка парубок с покрасневшим, как снегирь, носом; подале храпела, сидя, перекупка, с кремнями, синькою, дробью и бубликами; под телегою лежал цыган; на возу с рыбой — чумак; на самой дороге раскинул ноги бородач москаль с поясами и рукавицами... ну, всякого сброду, как водится по ярмаркам. Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ятках начало мало-помалу шевелиться: жидовки стали побрякивать фляжками; дым пока-

тило то там, то сям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору. Деду вспало на ум, что у него нет ни огнива[25], ни табаку наготове: вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти двадцати шагов — навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно! Красные, как жар, шаровары, синий жупан [26], яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька с медною цепочкою по самые пяты — запорожец, да и только! Эх, народец! станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и — пустится! Да ведь как пустится: ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках; что вихорь, дернет рукою по всем струнам бандуры и тут же, подпершись в боки, несется вприсядку; зальется песней — душа гуляет!.. Нет, прошло времечко: не увидеть больше запорожцев! Да, так встретились. Слово за слово, долго ли до знакомства? Пошли калякать[27], калякать так, что дед совсем уже было позабыл про путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим. Только, видно, наконец, прискучило бить горшки и швырять в народ деньгами, да и ярмарке не век же стоять! Вот сговорились

новые приятели, чтоб не разлучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых; где-где горели вместо него красноватые полосы; по полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодежи. Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой приплевшийся к ним гуляка подумали уже, не бес ли засел в него. Откуда что набиралось. Истории и присказки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху. Но в поле становилось, чем далее, тем сумрачнее; и вместе с тем становилась несвязнее и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе.

— Ге-ге, земляк! да ты не на шутку принял-ся считать сов. Уж думаешь, как бы домой да на печь!

— Перед вами нечего таиться, — сказал он, вдруг оборотившись и неподвижно уставив на них глаза свои. — Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому.

— Экая невидальщина! Кто на веку своем

не znalся с нечистым? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах.

— Эх, хлопцы! гулял бы, да в ночь эту срок молодцу! Эй, братцы! — сказал он, хлопнув по рукам их, — эй, не выдайте! не поспите одной ночи, век не забуду вашей дружбы!

Почему ж не пособить человеку в таком горе? Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец[28] с собственной головы, чем допустит черта понюхать собачьей мордой своей христианской души.

Козаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло всего неба ночью, словно черным рядом, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. Издали только мерещился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи во мрак. Огонек, казалось, несся навстречу, и перед козаками показался шинок, повалившийся на одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин. В те поры шинки были не то, что теперь. Доброму человеку не только развернуться, приударить горлицы или гопака[29], прилечь даже негде было, когда в голову заберется хмель и ноги начнут

писать покой-он-по[30]. Двор был уставлен весь чумацкими возами; под поветками, в яслях, в сенях, иной свернувшись, другой развернувшись, храпели, как коты. Шинкарь один перед каганцом нарезывал рубцами на палочке, сколько кварт и осьмух высушили чумацкие головы. Дед, спросивши треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом. Только не успел он повернуться, как видит, что его земляки спят уже мертвецким сном. Разбудивши приставшего к ним третьего козака, дед напомнил ему про данное товарищу обещание. Тот привстал, протер глаза и снова уснул. Нечего делать, пришлось одному караулить. Чтобы чем-нибудь разогнать сон, осмотрел он возы все, проведаль коней, закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих. Все было тихо, так что, кажись, ни одна муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает роги... Тут глаза его начали смыкаться так, что принужден он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшеюся водкой. Но как скоро немного прояснились они, все пропадало. Наконец, мало по-

года, опять показывается из-под воза чудище... Дед вытаращил глаза сколько мог; но проклятая дремота все туманила перед ним; руки его окостенели; голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился словно убитый. Долго спал дед, и как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушу, тогда только схватился он на ноги. Потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что возов стояло уже не так много, как с вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до света. К своим — козак спит, а запорожца нет. Выспрашивать — никто знать не знает; одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней — ни своего, ни запорожского! Что бы это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила; кто же коней? Сообразя все, дед заключил, что, верно, черт приходил пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал козацкого слова. «Ну, думает, нечего делать, пойду пешком: авось попадетя на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня». Только хва-

тился за шапку — и шапки нет. Всплеснул руками покойный дед, как вспомнил, что вчера еще поменялись они на время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому. Вот тебе и гетьманский гонец! Вот тебе и привез грамоту к царице! Тут дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько ни чесал дед, никак не мог ничего придумать. Что делать? Кинулся достать чужого ума: собрал всех бывших тогда в шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих, и рассказал, что так и так, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеном свете, чтобы гетьманскую грамоту утащил черт. Другие же прибавили, что когда черт да москаль украдут что-нибудь, то поминай как и звали. Один только шинкарь сидел молча в углу. Дед и подступил к нему. Уж когда молчит человек, то, верно, зашиб много умом. Только шинкарь не так-то был щедр на слова; и если бы дед не полез в карман за пятью зло-

тыми, то простоял бы перед ним даром.

— Я научу тебя, как найти грамоту, — сказал он, отводя его в сторону. У деда и на сердце отлегло. — Я вижу уже по глазам, что ты козак — не баба. Смотри же! близко шинка будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже наготове. В лесу живут цыганы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих. Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук; а будет перед тобою малая дорожка, мимо обожженного дерева, дорожкой этою иди, иди, иди... Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорогу — ты все иди; и как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь кого нужно; да не забудь набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны... Ты понимаешь, это добро и дьяволы и люди любят. — Сказавши это, шинкарь ушел в свою конуру и не хотел больше говорить ни слова.

Покойный дед был человек не то чтобы из

трусливого десятка; бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост; пройдет с кулаками промеж козаками — все, как груши, повалятся на землю. Однако ж что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале; только слышно было, что далеко-далеко вверху, над головою, холодный ветер гулял по верхушкам деревьев, и деревья, что охмелевшие козацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и про овчинный тулуп свой, и вдруг словно сто молотов застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И, будто зарницею, осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробирающуюся промеж мелкого кустарника. Вот и обожженное дерево, и кусты терновника! Так, все так, как было ему говорено; нет, не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело было продираться через колючие кусты; еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались: почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Ма-

ло-помалу выбрался он на просторное место, и, сколько мог заметить, деревья редели и становились, чем далее, такие широкие, какие дед не видывал и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и речка, черная, словно вороненая сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь и, кажется, вот-вот готовится погаснуть, и снова отсвечивается в речке, вздрагивавшей, как польский шляхтич в козачьих лапах. Вот и мостик! «Ну, тут одна только чертовская таратайка разве проедет». Дед, однако ж, ступил смело и, скорее, чем бы иной успел достать рожок понюхать табаку, был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди, и такие смазливые рожи, что в другое время бог знает чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь, нечего делать, нужно было завязаться. Вот дед и отвесил им поклон мало не в пояс: «Помогай Бог вам, добрые люди!» Хоть бы один кивнул головой; сидят да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед без всяких околичностей сел и сам. Смазливые рожи — ничего;

ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже и прискучило; давай шарить в кармане, вынул люльку, посмотрел вокруг — ни один не глядит на него. «Уже, добродейство, будьте ласковы: как бы так, чтобы, примерно сказать, того... (дед живал в свете немало, знал уже, как подпускать турысы[31], и при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь), чтобы, примерно сказать, и себя не забыть, да и вас не обидеть, — люлька-то у меня есть, да того, чем бы зажечь ее, *черт-ма*[32]». И на эту речь хоть бы слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько деду в лоб так, что если бы он немного не посторонился, то, статья может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решился — будет ли слушать нечистое племя или нет — рассказать дело. Рожи и уши наставили, и лапы протянули. Дед догадался: забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала, и, как уже, он и сам рассказать не умел, — попал чуть ли не в самое пекло. «Ба-

тюшки мои!» — ахнул дед, разглядевши хорошенько: что за чудища! рожи на роже, как говорится, не видно. Ведъм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадет снегу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского тропака[33]. Пыль подняли боже упаси какую! Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведъм, будто парни около красных девушек; а музыканты тусили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как в валторны. Только завидели деда — и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла — все повытягивались и вот так и лезут целоваться. Плюнул дед, такая мерзость напала! Наконец схватили его и посадили за стол длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не совсем худо, — подумал дед, завидевши на столе свинину, кол-

басы, крошенный с капустой лук и много всяких сластей, — видно, дьявольская сволочь не держит постов». Дед таки, не мешает вам знать, не упустил при случае перехватить того-сего на зубы. Едал, покойник, аппетитно; и потому, не пускаясь в рассказы, придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и — глядь, и отправил в чужой рот. Вот-вот, возле самых ушей, и слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего; схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил, только опять не в свое горло. В третий раз — снова мимо. Взбеленился дед; позабыл и страх, и в чьих лапах находится он. Прискочил к ведьмам:

— Что вы, Иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною? Если не отдадите сей же час моей козацкой шапки, то будь я католик, когда не переверочу свиных рыл ваших на затылок!

Не успел он докончить последних слов, как все чудища выскалили зубы и подняли

такой смех, что у деда на душе захолонуло.

— Ладно! — провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми потому, что личина у ней была чуть ли не красивее всех. — Шапку отдадим тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в дурня!

Что прикажешь делать? Козаку сесть с бабами в дурня! Дед отпираться, отпираться, наконец сел. Принесли карты, замасленные, какими только у нас поповны гадают про женихов.

— Слушай же! — залаяла ведьма в другой раз, — если хоть раз выиграешь — твоя шапка; когда же все три раза останешься дурнем, то не прогневайся — не только шапки, может, и света более не увидишь!

— Сдавай, сдавай, хрычовка! что будет, то будет.

Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки — смотреть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смех один козырь. Из масти десятка самая старшая, пар даже нет; а ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем! Только что дед успел остаться дур-

нем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: «Дурень! дурень! дурень!»

— Чтоб вы перелопались, дьявольское племя! — закричал дед, затыкая пальцами себе уши.

«Ну, думает, ведьма подтасовала; теперь я сам буду сдавать». Сдал. Засветил козыря. Поглядел на карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дело шло как нельзя лучше; только ведьма — пятерик с королями! У деда на руках одни козыри; не думая, не гадая долго, хватить королей по усам всех козырями.

— Ге-ге! да это не по-козацки! А чем ты кроешь, земляк?

— Как чем? козырями!

— Может быть, по-вашему, это и козыри, только по-нашему, нет!

Глядь — в самом деле простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось в другой раз быть дурнем, и чертаньё пошло снова драть горло: «Дурень, дурень!» — так, что стол дрожал и карты прыгали по столу. Дед разгорячился; сдал в последний раз. Опять идет ладно. Ведьма опять пятерик; дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей.

— Козырь! — вскричал он, ударив по столу картою так, что ее свернуло коробом; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти.

— А чем ты, старый дьявол, бьешь!

Ведьма подняла карту: под нею была простая шестерка.

— Вишь, бесовское обморачиванье! — сказал дед и с досады хватил кулаком что силы по столу.

К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть; у деда, как нарочно, на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочи нет: дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел уже так, не глядя, простою шестеркою; ведьма приняла. «Вот тебе на! это что? Э-э, верно, что-нибудь да не так!» Вот дед карты потихоньку под стол — и перекрестил: глядь — у него на руках туз, король, валет козырей; а он вместо шестерки спустил кралю.

— Ну, дурень же я был! Король козырей! Что! приняла? а? Кошачье отродье!.. А туза не хочешь? Туз! валет!..

Гром пошел по пеклу, на ведьму напали корчи, и откуда не возмись шапка — бух де-

ду прямехонько в лицо.

— Нет, этого мало! — закричал дед, прихрабрившись и надев шапку. — Если сейчас не станет передо мною молодецкий конь мой, то вот убей меня гром на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу святым крестом всех вас! — и уже было и руку поднял, как вдруг загремели перед ним конские ко-
сти.

— Вот тебе конь твой!

Заплакал бедняга, глядя на них, как дитя неразумное. Жаль старого товарища!

— Дайте ж мне какого-нибудь коня, вы-
браться из гнезда вашего!

Черт хлопнул арапником[34] — конь, как огонь, взвился под ним, и дед, что птица, вы-
несся наверх.

Страх, однако ж, напал на него посреди до-
роги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В ка-
ких местах он не был, так дрожь забирала
при одних рассказах. Глянул как-то себе под
ноги — и пуще перепугался: пропасть! кру-
тизна страшная! А сатанинскому животному
и нужды нет: прямо через нее. Дед держаться:

не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что деялось с ним в то время, ничего не помнил; и как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем; перед ним мелькали знакомые места, и он лежал на крыше своей же хаты.

Перекрестился дед, когда слез долой. Экая чертовщина! что за пропасть, какие с человеком чудеса делаются! Глядь на руки — все в крови; посмотрел в стоявшую торчмя бочку с водою — и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать детей, входит он потихоньку в хату; смотрит: дети пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря: *«Дывысь, дывысь, маты, мов дурна, скаче!»*[35] И в самом деле, баба сидит, заснувши перед гребнем, держит в руках вертено и, сонная, подпрыгивает на лавке. Дед, взявши за руку потихоньку, разбудил ее: *«Здравствуй, жена! здорова ли ты?»* Та долго смотрела, выпуча глаза, и, наконец, уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что печь ездила по хате, выгоняя вон лопатою горшки,

лоханки, и черт знает что еще такое. «Ну, — говорит дед, — тебе во сне, мне наяву. Нужно, вижу, будет освятить нашу хату; мне же теперь мешкать нечего». Сказавши это и отдохнувши немного, дед достал коня и уже не останавливался ни днем, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там нагляделся дед таких див, что стало ему надолго после того рассказывать: как повели его в палаты, такие высокие, что если бы хат десять поставить одну на другую, и тогда, может быть, не достало бы. Как заглянул он в одну комнату — нет; в другую — нет; в третью — еще нет; в четвертой даже нет; да в пятой уже, глядь — сидит сама, в золотой короне, в серой новехонькой свитке, в красных сапогах, и золотые галушки ест. Как велела ему насыпать целую шапку *синицами*, как... всего и вспомнить нельзя. Об возне своей с чертями дед и думать позабыл, и если случилось, что кто-нибудь и напоминал об этом, то дед молчал, как будто не до него и дело шло, и великого стоило труда упросить его пересказать все, как было. И, видно, уже в наказание, что не спохватился тотчас после того освя-

тить хату, бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время, делалось такое дело, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься вприсядку.



Часть вторая



Предисловие

Вот вам и другая книжка, а лучше сказать, последняя! Не хотелось, крепко не хотелось выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вам скажу, что на хуторе уже начинают смеяться надо мною: «Вот, говорят, одурел старый дед: на старости лет тешится ребяческими игрушками!» И точно, давно пора на покой. Вы, любезные читатели, верно, думаете, что я прикидываюсь только стариком. Куда тут прикидываться, когда во рту совсем зубов нет! Теперь если что мягкое попадётся, то

буду как-нибудь жевать, а твёрдое — то ни за что не откушу. Так вот вам опять книжка! Не бранитесь только! Не хорошо браниться на прощанье, особенно с тем, с которым, бог знает, скоро ли увидите. В этой книжке услышите рассказчиков всё почти для вас незнакомых, выключая только разве Фомы Григорьевича. А того горохового панича, что рассказывал таким вычурным языком, которого много остряков и из московского народу не могло понять, уже давно нет. После того, как рассорился со всеми, он и не заглядывал к нам. Да, я вам не рассказывал этого случая? Послушайте, тут прекомедия была! Прошлый год, так как-то около лета, да чуть ли не на самый день моего патрона, приехали ко мне в гости (нужно вам сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай бог им здоровье, не забывают старика. Уже есть пятидесятый год, как я зачал помнить свои именины. Который же точно мне год, этого ни я, ни старуха моя вам не скажем. Должно быть, близ семидесяти. Диканьский-то поп, отец Харламбий, знал, когда я родился; да жаль, что уже пятьдесят лет, как его нет на свете). Вот приехали

ко мне гости: Захар Кирилович Чухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович Смачненький, заседатель Харламбий Кирилович Хлоста; приехал ещё... вот позабыл, право, имя и фамилию... Осип... Осип... Боже мой, его знает весь Миргород! он ещё когда говорит, то всегда щёлкнет наперёд пальцем и подпрётся в боки... Ну, бог с ним! в другое время вспомню. Приехал и знакомый вам панич из Полтавы. Фомы Григорьевича я не считаю: то уже свой человек. Разговорились все (опять нужно вам заметить, что у нас никогда о пустяках не бывает разговора. Я всегда люблю приличные разговоры; чтобы, как говорят, вместе и услаждение и назидательность была), разговорились об том, как нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно наперёд хорошенько вымыть яблоки, потом намочить в квасу, а потом уже... «Ничего из этого не будет! — подхватил полтавец, заложивши руку в гороховый кафтан свой и прошедши важным шагом по комнате, — ничего не будет! Прежде всего нужно пересыпать канупером, а потом уже...» Ну, я на вас ссылаюсь, любезные читатели, скажи-

те по совести, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали канупером? Правда, кладут смородинный лист, нечуй-ветер, трилистник; но чтобы клали канупер... нет, я не слыхивал об этом. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знает про эти дела. Ну, говорите же вы! Нарочно, как доброго человека, отвёл я его потихоньку в сторону: «Слушай, Макар Назарович, эй, не смеди народ! Ты человек немаловажный: сам, как говоришь, обедал раз с губернатором за одним столом. Ну, скажешь что-нибудь подобное там, ведь тебя же осмеют все!» Что ж бы, вы думали, он сказал на это? Ничего! плюнул на пол, взял шапку и вышел. Хоть бы простился с кем, хоть бы кивнул кому головою; только слышали мы, как подъехала к воротам тележка с звонком; сел и уехал. И лучше! Не нужно нам таких гостей! Я вам скажу, любезные читатели, что хуже нет ничего на свете, как эта знать. Что его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несёт вверх. Да будто комиссар такой уже чин, что выше нет его на свете? Слава богу, есть и больше комиссара. Нет, не люблю я этой знати. Вот вам в пример Фома Гри-

горьевич; кажется, и не знатный человек, а посмотреть на него: в лице какая-то важность сияет, даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение. В церкви когда запоёт на крылосе — умиление неизобразимое! растаял бы, казалось, весь!.. А тот... ну, бог с ним! он думает, что без его сказок и обойтись нельзя. Вот всё же таки набралась книжка.

Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно, хотел было это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно по крайней мере три таких книжки. Думал было особо напечатать её, но передумал. Ведь я знаю вас: станете смеяться над стариком. Нет, не хочу! Прощайте! Долго, а может быть совсем, не увидимся. Да что? ведь вам всё равно, хоть бы и не было совсем меня на свете. Пройдёт год, другой — и из вас никто после не вспомнит и не пожалеет о старом пасичнике Рудом Паньке.

В этой книжке есть много слов, не всякому понятных. Здесь они почти все означены:

Баштан — место, засеянное арбузами и дынями.

Бублик — круглый крендель, баранчик.

Варенуха — варёная водка с пряностями.

Видлога — откидная шапка из сукна, пришитая к кобеняку.

Выкрутасы — трудные па.

Галушки — клёцки.

Гаман — род бумажника, где держат огниво, кремень, губку, табак, а иногда и деньги.

Голодная кутъя — сочельник.

Горлица — танец.

Гречаник — хлеб из гречневой муки.

Дивчина — девушка.

Дивчата — девушки.

Дукат — род медали, носимой на шее женщинами.

Жинка — жена.

Запаска — род шерстяного передника у женщин.

Кавун — арбуз.

Каганец — светильня, состоящая из разбитого черепка, наполненного салом.

Канупер — трава.

Кацан — русский человек с бородою.

Кныш — спечённый из пшеничной муки хлеб, обыкновенно едомый горячим с маслом.

Кобеняк — род суконного плаща с пришитою назади видлогою.

Кожух — тулуп.

Комора — амбар.

Кораблик — старинный головной убор.

Корж — сухая лепёшка из пшеничной муки, часто с салом.

Курень — соломенный шалаш.

Кухва — род кадки; похожая на опрокинутую дном кверху бочку.

Кухоль — глиняная кружка.

Левада — усадьба.

Люлька — трубка.

Намитка — белое покрывало из жидкого полотна, носимое на голове женщинами, с откинутыми назад концами.

Нечуй-ветер — трава.

Паляница — небольшой хлеб, несколько плоский.

Парубок — парень.

Пейсики — жидовские локоны.

Пекло — ад.

Переполох — испуг. Выливать переполох —

лечить испуг.

Петровыбатыги — трава.

Полутабенек — старинная шёлковая материя.

Свитка — род полукафтанья.

Скрыня — большой сундук.

Смалец — бараний жир.

Сопилка — свирель.

Сукня — старинная одежда женщин из сукна.

Сыровец — хлебный квас.

Тесная баба — игра, в которую играют школьники в классе: жмутся тесно на скамье, покамест одна половина не вытеснит другую.

Хлопец — мальчик.

Хустка — платок носовой.

Цыбуля — лук.

Черевики — башмаки.

Чумаки — малороссияне, едущие за солью и рыбою обыкновенно в Крым.

Швец — сапожник.

Шибеник — висельник.

Ночь перед Рождеством



Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать[36] и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег.

Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель[37] на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, заметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросят, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестили. Вдруг, с про-

тивной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец[38]: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятчком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое незаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью[39], где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого ба-

са; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л...ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намализованная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и

всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.

Таким-то образом, как только черт спрятал

в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные[40]; теперь же и заседатель и подкоморий[41] отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно,

воображает себя красавцем, между тем как фигура — взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

— Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? — говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. — Там теперь будет добрая попойка! — продолжал Чуб, ослабив при этом свое лицо. — Как бы только нам не опоздать.

При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут — страх и грозу докучливых собак; но, взглянув вверх, остановился...

— Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..

— Что? — произнес кум и поднял свою голову также вверх.

— Как что? месяца нет!

— Что за пропасть! В самом деле нет месяца.

— То-то что нет, — выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. — Тебе небось и нужды нет.

— А что мне делать!

— Надобно же было, — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, — какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех... Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь — чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь — и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за живо-

ты со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху[42]. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:

— Так нет, кум, месяца?

— Нет.

— Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?

— Кой черт, славный! — отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. — Старая курица не чихнет!

— Я помню, — продолжал все так же Чуб, — мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! доб-

рый табак был! Так что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.

— Так, пожалуй, останемся дома, — произнес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решил остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.

— Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!

Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал плечкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Па-

рубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго еще наряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. — Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве

черные брови и очи мои, — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевилились и обвилились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! — и, отдвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула: — Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».

— Чудная девка! — прошептал вошедший тихо кузнец, — и хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, — продолжала хорошенькая кокетка, — как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидеть богаче галуна[43]! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на

свете!» И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.

— Зачем ты пришел сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

— Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука, Железо на оковку положил

такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

— Кто же тебе запрещает, говори и гляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.

— Позволь и мне сесть возле тебя! — сказал кузнец.

— Садись, — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

— Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй; но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на не приметном рас-

стоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

— Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, — думал про себя, повесь голову, кузнец. — Ей всё игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любит сама собою; мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».

— Правда ли, что твоя мать ведьма? — произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо вострепнувших жилах, и со всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

— Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу, — сказал бы я царю, — ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!»

— Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, — проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. — Однако ж дивчата не приходят... Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

— Бог с ними, моя красавица!

— Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!

— Так тебе весело с ними?

— Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.

«Чего мне больше ждатель? — говорил сам с собою кузнец. — Она издевается надо мною.

Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу...»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» — прервал его размышления.

— Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с доски бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр[44], поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно,

несмотря на то что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покато́й горе, и прямо в трубу.

Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посере́ди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездилa на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не



мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою[45], в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, — как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметанною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк,

прежде чем достигал шинка, и называл это — заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольню в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! черт-баба!»

Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов; восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму — корову, или дядю — толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачиваясь задом, когда завидывал своих неприятелей.

лей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежа-

ла дорогу; что к попадье раз прибежала сви-
нья, закричала петухом, надела на голову
шапку отца Кондрата и убежала назад.

Случилось, что тогда, когда старушки тол-
ковали об этом, пришел какой-то коровий
пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул
рассказать, как летом, перед самою Петров-
кою, когда он лег спать в хлеву, подмостивши
под голову солому, видел собственными гла-
зами, что ведьма, с распущенною косою, в од-
ной рубашке, начала доить коров, а он не мог
пошевелинуться, так был околдован; подоив-
ши коров, она пришла к нему и помазала его
губы чем-то таким гадким, что он плевал по-
сле того целый день. Но все это что-то сомни-
тельно, потому что один только сорочинский
заседатель может увидеть ведьму. И оттого
все именитые козаки махали руками, когда
слышали такие речи. «Брешут сучи бабы!» —
бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха,
как добрая хозяйка, начала убирать и ставить
все к своему месту, но мешков не тронула:
«Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!»
Черт между тем, когда еще влетал в трубу,

как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи[46], угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники повернули назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.

— Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, —

сказал, немного отошедши, Чуб, — я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь крикнуть, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, вошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решил идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

— Чего тебе тут нужно? — сурово кричал вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, — говорил он про себя, — в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я все понял».

— Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

«Нет, не скажу ему, кто я, — подумал Чуб, — чего доброго, еще приколотит, проклятый выродок!» — и, переменив голос, отвечал:

— Это я, человек добрый! пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами.

— Убирайся к черту с своими колядками! — сердито закричал Вакула. — Что ж ты

стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение; но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

— Что ж ты, в самом деле, так раскричался? — произнес он тем же голосом, — я хочу колядовать, да и полно!

— Эге! да ты от слов не уймешься!.. — Вслед за сими словами Чуб почувствовал пре-
большой удар в плечо.

— Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! — произнес он, немного отступая.

— Пошел, пошел! — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

— Что ж ты! — произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. — Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!

— Пошел, пошел! — закричал кузнец и захлопнул дверь.

— Смотри, как расхрабрился! — говорил Чуб, оставшись один на улице. — Попробуй

подойти! вишь какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару[47]. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил, вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скинуть кожуха! Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм... оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того, будет можно... Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого

цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» — и снова отправлялся в путь.

В то время, когда проворный фронт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка[48], в которую он спрята- л украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между

кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами[49], колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

— Э, Одарка! — сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, — у тебя новые черевички! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевички.

— Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие черевички, какие редкая панночка носит.

— Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевички, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.

— Видишь, какие захотела! — закричала со смехом девичья толпа.

— Да, — продолжала гордо красавица, — будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевички, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

— Смейся, смейся! — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, — ну, бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава Богу, дивчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет,

полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевички, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.

Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер, од-

нако ж, думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провесть вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

— Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солома думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.

Дьяк вошел, побряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он

сердечно рад этому случаю *погулять* немного у нее и не испугался метели, Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

— А что это у вас, великолепная Солоха? — И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

— Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха.

— Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

— А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.

— Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. — Шея, а на шее монисто.

— Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! — И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.

— А это что у вас, несравненная Солоха?.. — Неизвестно, к чему бы теперь притро-

нулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.

— Ах, боже мой, стороннее лицо! — закричал в испуге дьяк. — Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..

Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.

— Ради бога, добродетельная Солоха, — говорил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трина... трин... Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.

— Здравствуй, Солоха! — сказал, входя в хату, Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я по-

мешал?.. — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?.. может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? — И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. — Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась... экак окостенели руки: не расстегну кожуха! как схватилась вьюга...

— Отвори! — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

— Стучит кто-то, — сказал остановившийся Чуб.

— Отвори! — закричали сильнее прежнего.

— Это кузнец! — произнес, схватясь за капелюхи, Чуб. — Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захо-

чу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величину!

Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъяснить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.

В то самое время, когда Солоха затворила за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей

хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явно.

— Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец, — не хочу думать о ней; а все думается, и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я! и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак

и лошадиную подкову, а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, — вскричал он, помолчав и ободрившись, — что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. — И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. — Взять и этот, — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, черт. — Тут, кажется, я положил струмент свой. — Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Мені с жінкой не возитья.

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками[50] слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козак. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку[51] и ревел во все горло:

*Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,*

*Грудочку каши,
Кільце ковбаски!*

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были повеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк захохотал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с

маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

«Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее.

— А, Вакула, ты тут! здравствуй! — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. — Ну, много наколадовал? Э, какой маленький мешок! А черевички, которые носит царица, достал? достань черевички, выйду замуж! — И, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше... — произнес он наконец. — Но боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет... Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в прорубе, и поминай как звали!»

Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:

— Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.

— Куда, Вакула? — кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

— Прощайте, братцы! — кричал в ответ кузнец. — Даст Бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

— Он повредился[52]! — говорили парубки.

— Пропадшая душа! — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. — Пойти

рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевести дух. «Куда я, в самом деле, бегу? — подумал он, — как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»

При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может, и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что

Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что, какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно не заметно, и казалось — винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турец-

ки перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижую, схватывая по временам зубами галушки.

«Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба: тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.

— Я к твоей милости пришел, Пацюк! — сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.

— Ты, говорят, не во гнев будь сказано... — сказал, собираясь с духом, кузнец, — я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду, — приходишься немного сродни черту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Па-

цюк, схвативши кадушку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решил продолжать:

— К тебе пришел, Пацюк, дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции! — Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. — Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк? — произнес кузнец, видя неизменное его молчание, — как мне быть?

— Когда нужно черта, то и ступай к черту! — отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.

— Для того-то я и пришел к тебе, — отвечал кузнец, отвешивая поклон, — кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные га-

лушки.

— Сделай милость, человек добрый, не откажи! — наступал кузнец, — свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности... как обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

— Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, — произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кашушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаной. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, — говорил он сам себе, — как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хле-

бать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько... Однако что за черт! ведь сегодня *голодная кутья*, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из

хаты.

Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскок из него и сел верхом ему на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься... Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

— Это я — твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, — пискнул он ему в левое ухо. — Оксана будет сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.

— Изволь, — сказал он наконец, — за такую цену готов быть твоим!

Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! — думал он про себя, — теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда

узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумки.

— Ну, Вакула! — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, — ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

— Я готов! — сказал кузнец. — У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! — Тут он заложил назад руку — и хватить черта за хвост.

— Вишь, какой шутник! — закричал, смеясь, черт. — Ну, полно, довольно уже шалить!

— Постой, голубчик! — закричал кузнец, — а вот это как тебе покажется? — При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. — Постой же, — сказал он, стаскивая его за хвост на землю, — будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! — Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

— Помилуй, Вакула! — жалобно простонал черт, — все, что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

— А, вот каким голосом запел, немец проклятый! Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе, слышишь, неси, как птица!

— Куда? — произнес печальный черт.

— В Петембург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первою красавицею на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! Он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как

будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила со своими подругами.

— Пойдите, — сказала одна из них, — кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету нет! Роскошь! целые праздники можно объедаться.

— Это кузнецовы мешки? — подхватила Оксана. — Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

— Но мы не поднимем их! — закричала вся толпа вдруг, сиясь сдвинуть мешки.

— Пойдите, — сказала Оксана, — побежим скорее за санками и отвезем на санках!

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из меш-

ка при всех, показать себя на смех... это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс — сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше дивчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продаю-

цей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.

— Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! — сказал он, осматриваясь по сторонам, — должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре*. Хотя бы были тут одни паляницы, и то *в шмак*[53]: жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто ни увидел. — Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он, — а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

— Здравствуй, — сказал, остановившись, ткач.

— Куда идешь?

— А так, иду, куда ноги идут.

— Помоги, человек добрый, мешки снести! кто-то колядовал, да и кинул посереде дороги. Добром поделимся пополам.

— Мешки? а с чем мешки, с книшами или

паляницами?

— Да, думаю, всего есть.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

— Куда ж мы понесем его? в шинок? — спросил дорогою ткач.

— Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. — Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.

— Да точно ли нет дома? — спросил осторожный ткач.

— Слава Богу, мы не совсем еще без ума, — сказал кум, — черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

— Кто там? — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

— Вот тебе на! — произнес ткач, опустя ру-

ки.

Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старше шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходящий из дому никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа

и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.

— Вот это хорошо! — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. — Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш!

— Лысый черт тебе покажет, а не мы, — сказал, приосанясь, кум.

— Тебе какое дело? — сказал ткач, — мы наколядовали, а не ты.

— Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно

хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

— Что мы допустили ее? — сказал ткач, очнувшись.

— Э, что мы допустили! а отчего ты допустил? — сказал хладнокровно кум.

— У вас кочерга, видно, железная! — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. — Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы[54], — та ничего... не больно.

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.

— Э, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.

— Кабан! слышишь, целый кабан! — толкал ткач кума. — А все ты виноват!

— Что ж делать! — произнес, пожимая плечами, кум.

— Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!

— Пошла прочь! пошла! это наш кабан! —

кричал, выступая, ткач.

— Ступай, ступай, чертова баба! это не твое добро! — говорил, приближаясь, кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.

— Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! — сказал кум, выпуча глаза.

— Вишь, какого человека кинуло в мешок! — сказал ткач, пятась от испугу. — Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко!

— Это кум! — вскрикнул, взглядевшись, кум.

— А ты думал кто? — сказал Чуб, усмехаясь. — Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы небось хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую: в мешке лежит еще что-то, — если не кабан, то, наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.

Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенеv, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

— Вот и другой еще! — вскрикнул со страхом ткач, — черт знает как стало на свете... голова идет кругом... не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!

— Это дьяк! — произнес изумившийся более всех Чуб. — Вот тебе на! ай да Солоха! посадить в мешок... То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков... Теперь я все знаю: у нее в каждой мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному... Вот тебе и Солоха!

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.

Голова решилcя молчать, рассуждая: если

он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, — глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.

Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрыпучему снегу. Множество, шая, сядилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решил сносить все. Наконец проехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.

— Посмотрим, что-то лежит тут, — закричали все, бросившись развязывать.

Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.

— Ах, тут сидит кто-то! — закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

— Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? — сказал, входя в дверь, Чуб.

— Ах, батько! — произнесла Оксана, — в мешке сидит кто-то!

— В мешке? где вы взяли этот мешок?

— Кузнец бросил его посереде дороги, —

сказали все вдруг.

«Ну, так, не говорил ли я?..» — подумал про себя Чуб.

— Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловіче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!

Голова вылез.

— Ах! — вскрикнули девушки.

— И голова влез туда же, — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног, — вишь как!.. Э!.. — более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.

— Должно быть, на дворе холодно? — сказал он, обращаясь к Чубу.

— Морозец есть, — отвечал Чуб. — А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?» — но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

— Дегтем лучше! — сказал голова. — Ну,

прощай, Чуб! — И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.

— Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги! — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. — Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак... да где же тот проклятый мешок?

— Я кинула его в угол, там больше ничего нет, — сказала Оксана.

— Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! Встряхните его хорошенько... Что, нет?.. Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее — как святая, как будто и скромного никогда не брала в рот.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился

и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма... много еще дряни встречали они. Всё, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова несло дальше и продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы.

Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; дома росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, фореиторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными площадками[55], и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта: «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно, — подумал кузнец. — Тут где-

то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними».

— Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!

Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

— Здравствуйте, панове! помогай Бог вам! вот где увиделись! — сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

— Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.

— А вы не узнали? — сказал кузнец, —

это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!

— А! — сказал тот же запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?

— А так, захотелось поглядеть, говорят...

— Что ж, земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и, желая показать, что он может говорить и по-русски, — што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.

— Губерния знатная! — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать: дома балшущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная порция!

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.

— После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.

— К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою!

— Тебя? — произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. — Что ты будешь там делать? Нет, не можно. — При этом на лице его выразилась значительная мина. — Мы, брат, будем с царицей толковать про свое.

— Возьмите! — настаивал кузнец. — Прости! — шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:

— Возьмем его, в самом деле, братцы!

— Пожалуй, возьмем! — произнесли другие.

— Надевай же платье такое, как и мы.

Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно́ снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже ты мой, какой свет! — думал про себя кузнец. — У нас днем не бывает так светло».

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.

— Что за лестница! — шептал про себя кузнец, — жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с младенцем на руках. «Что за картина!

что за чудная живопись! — рассуждал он, — вот, кажется, говорит! кажется, живая! а дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! боже ты мой, какие краски! тут вохры[56], я думаю, и на копейку не пошло, все ярь[57] да бакан[58]; а голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был блейвасом[59]. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, — продолжал он, подходя к двери и щупая замок, — еще большего достойна удивления. Эх какая чистая выделка! это всё, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали...»

Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в

желтых сапожках. Волосы на нем были рас-трепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.

Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

— Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

— *Та вси, батько!* — отвечали запорожцы, кланяясь снова.

— Не забудете говорить так, как я вас учил?

— Нет, батько, не позабудем.

— Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.

— Куда тебе царь! это сам Потемкин, — отвечал тот.

В другой комнате слышались голоса, и

кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назад. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:

— Помилуй, мамо! помилуй!

Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

— Встаньте, — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.

— Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а на встанем! — кричали запорожцы.

Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог толь-

ко принадлежать одной царствующей женщине.

— Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе.

— *Та спасиби, мамо!* Провиянт дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье, — почему ж не жить как-нибудь?..

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил...

Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:

— Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слыхали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь *поворотить в карабинеры*

[60]; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию чрез Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..

Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.

— Чего же хотите вы? — заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга.

«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.

— Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевички!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под

руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

— Встань! — сказала ласково государыня. — Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, — предмет, достойный остроумного пера вашего!

— Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена! — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что на Сечи у вас никогда не желятся.

— *Як же, мамо!* ведь человеку, сама зна-

ешь, без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! — подумал он сам в себе, — верно, недаром он это делает».

— Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скромного. Есть у нас не мало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют жен и в Турещине.

В это время кузнецу принесли башмаки.

— Боже ты мой, что за украшение! — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. — Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них, чайтельно, ваше благородие, ходите и на лед *ковзаться*[61], какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня, которая точно имела самые

стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог похвастаться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решил замолчать; и когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, — он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» — и вдруг очутился за шлагбаумом.

— Утонул! ей-богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посередине улицы.

— Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову ukrала? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? — кричала

баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом, размахивая руками. — Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!

— Кузнец повесился? вот тебе на! — сказал голова, выходявший от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

— Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! — отвечала ткачиха, — нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.

— Срамница! вишь, чем стала попрекать! — гневно возразила баба с фиолетовым носом. — Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула.

— Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?

— Дьяк? — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкой. — Я дам знать дьяка! Кто это говорит — дьяк?

— А вот к кому ходит дьяк! — сказала баба

с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

— Так это ты, сука, — сказала дьячиха, подступая к ткачихе, — так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?

— Отвяжись от меня, сатана! — говорила, пятясь, ткачиха.

— Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!.. — Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.

— А, скверная баба! — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны. — Экая мерзость! — повторял он, продолжая обтираться. — Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была! Да, — продолжал он, задумавшись, — таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка

был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!..

И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб; она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! Он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый — и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать — и все думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участии Вакулы. Его мысли заняты были од-

ним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частию в кобеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговееется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут *ковзаться с хлопцами* на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя:

молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник — как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара[62]. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня... куда ж это, в самом деле, запропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Ва-

кула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? — закричал он, ухватя за хвост хотившего убежать черта, — постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазу-

хи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

— Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то братался с покойным

бадьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его... Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

— Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?

— Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

— *Добре!* присылай сватов!

— Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.

— Погляди, какие я тебе принес черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.

— Нет! нет! мне не нужно черевиков! — го-

ворила она, махая руками и не сводя с него очей, — я и без черевиков... — Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.

— А чья это такая размалеванная хата? — спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

— Кузнеца Вакулы, — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

— Славно! славная работа! — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.

Но еще больше похвалил преосвященный

Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака намалевана!» — и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.



Страшная месьть

1

Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, ещё лучше любили попить, а ещё лучше любили повеселить-



ся. Приехал на гнедом коне своём и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где прожж двумя горами был его хутор, с молодою Катериною и с годовым сыном. Дивилися гости белому лицу пани Катерины, чёрным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но ещё больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал

без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарасказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там всё не так: и люди не те, и церквей христовых нет... но он не приехал.

Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровой. Музыканты принялись за исподку его, спечённую вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя цымбалы, скрипки и бубны. Между тем молодницы и дивчата, утёршись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, — как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь; не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву... как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился на-

род, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков — никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг всё лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зелёные очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копьё, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак — старик.



— Это он! это он! — кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу.

— Колдун показался снова! — кричали матери, хватая на руки детей своих.

Величаво и сановито выступил вперёд есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы:

— Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! — И, зашипев и щёлкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик.

Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом.

— Что это за колдун? — спрашивали молодые и небывалые люди.

— Беда будет! — говорили старые, крутя головами. И везде, по всему широкому подворью есаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разное, и наверно никто не мог рассказать про него.

На двор выкатили бочку мёду и не мало поставили вёдер грецкого вина. Всё повеселело снова. Музыканты грянули; дивчата, молодницы, лихое козачество, в ярких жупанах, понесли. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до

поздней ночи, и пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есаула на широком дворе; а ещё больше козачества заснуло само, непрошеное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлева; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и лежит и храпит на весь Киев.

II

Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою, дорогою и белою, как снег, кисеёю покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла ещё далее в чащу сосен.

Посреди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца; чёрные козацкие шапки набекрень, и под вёслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны.

Отчего не поют козаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксёндзы и перекрещивают козацкий народ в католиков; ни о том, как два дни билась при Солёном озере орда. Как им петь, как говорить про лишние дела: пан их Данило призадумался, и ру-

кав кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду. Пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на не застланную полотном нарядную сукню серую пылью валится вода.

Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зелёные леса! Горы те — не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бороною, и над волосами высокое небо. Те луга — не луга: то зелёный пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц.

Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую жену свою.

— Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина вдалася в печаль?

— Я не в печаль вдалася, пан мой Данило! Меня утрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным... и никто из детей сызмала не хотел иг-

рать с ним. Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что будто ему всё чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под тёмный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тот-час показывалось, что он открывает рот и выкаливает зубы. И на другой день находили мёртвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы, — говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шёлком листья и ягоды.

Пан Данило ни слова и стал поглядывать на тёмную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины; левая рука гладила молодецкие усы.

— Не так ещё страшно, что колдун, — говорил он, — как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда... Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесёт-

ся слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живёт этот дьявол! Если у него водится золото... Мы сейчас будем плыть мимо крестов — это кладбище! тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане с душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть...

— Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями!..

— Молчи, баба! — с сердцем сказал Данило. — С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку! — Тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколотивши из своей люльки горячую золу, стал перекладывать её в люльку своего пана. — Пугает меня колдуном! — продолжал пан Данило. — Козак, слава богу, ни чертей, ни ксёндзов не боится. Много было бы проку, если бы

мы стали слушаться жён. Не так ли, хлопцы? наша жена — люлька да острая сабля!

Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дёргал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи.

Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище: ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растёт меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины.

— Слышите ли, хлопцы, крики? кто-то зовёт нас на помощь! — сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим.

— Мы слышим крики, и кажется, с той стороны, — разом сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но всё стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили вёсла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие жилы.

Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из неё высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, ещё длиннее са-

мих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо всё задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! душно!» — простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушёл под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, ещё страшнее, ещё выше прежнего; весь зарос, борода по колена и ещё длиннее костяные когти. Ещё диче закричал он: «Душно мне!» — и ушёл под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казались, одни только кости поднялись высоко над землёю. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его жёлтые кости...

Дитя, спавшее на руках Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул.

Всё вдруг пропало, как будто не бывало; однако ж долго хлопцы не брались за вёсла.



Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя; прижал её к сердцу и поцеловал в лоб.

— Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет! — говорил он, указывая по сторонам — Это колдун хочет утратить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим! Дай сюда на руки мне сына! — При сем слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднёс к губам — Что, Иван, ты не боишься колдунов? «Нет, говори, тятя, я козак». Полно же, перестань плакать! домой приедем! Приедем домой — мать накормит кашею, положит тебя спать в люльку, запоёт:

*Люли, люли, люли!
Люли, сынку, люли!
Да вырастай, вырастай в забаву!
Козачеству на славу,
Вороженькам в расправу!*

Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится... Ну, недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за козацкую волю! не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел поверить всё, что лежит на сердце, да не берёт что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не козацкое серд-

це! Козацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу!.. Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом с золотом; я её снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался мне; одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы и приехали, а ты всё плачешь! Возьми его, Катерина!

Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними ещё гора, а там уже и поле, а там хоть сто вёрст пройди, не сыщешь ни одного козака.

III

Хутор пана Данила между двумя горами, в узкой долине, сбегаящей к Днепру. Невысокие у него хоромы: хата на вид, как и у простых козаков, и в ней одна светлица; но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и десяти отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для тра-

пезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкетеры, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов; немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данило как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною, внизу, дубовые гладко вытесанные лавки. Возле них, перед лежанкою, висит на верёвках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое, засеянное звёздами небо и вздрогнуть от ночного холода, принёсшего свежесть козацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в

тёплый кожух.

Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья, и, проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, вымененную им, турецкую саблю, а пани Катерина принялась вышивать золотом шёлковый рушник. Вдруг вошёл Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выпрашивать её: что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.

— Про эти дела, тесть, не её, а меня спрашивать! Не жена, а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся! — говорил Данило, не оставляя своего дела. — Может, в иных неверных землях этого не бывает — я не знаю.

Краска выступила на суровом лице тестя, и очи дико блеснули.

— Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой! — бормотал он про себя. — Ну, я тебя спрашиваю: где таскался до поздней ночи?

— А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на ко-

не. Умею держать в руках и саблю острую. Ещё кое-что умею... Умею никому и ответа не давать в том, что делаю.

— Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, верно, на уме недоброе дело.

— Думай себе, что хочешь, — сказал Данило, — думаю и я себе. Слава богу, ни в одном ещё бесчестном деле не был; всегда стоял за веру православную и отчизну, — не так, как иные бродяги, таскаются бог знает где, когда православные бьются насмерть, а после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи: не заглянут в божью церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются.

— Э, козак! знаешь ли ты... я плохо стреляю: всего за сто сажень пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно: от человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу.

— Я готов, — сказал пан Данило, бойко перекрестивши воздух саблею, как будто знал, на что её выточил.

— Данило! — закричала громко Катерина,

ухвативши его за руку и повиснув на ней. — Вспомни, безумный, погляди, на кого ты поднимаешь руку! Батько, твои волосы белые, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!

— Жена! — крикнул грозно пан Данило, — ты знаешь, я не люблю этого. Ведай своё бабье дело!

Сабли страшно звукнули; железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились козаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце её хотело разорваться на части. По всему её телу слышала она, как проходили звуки: тук, тук. «Нет, не вытерплю, не вытерплю... Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый; а я лежу здесь!» И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату.

Ровно и страшно бились козаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец — подаётся пан Данило. Наступает



пан Данило — подаётся суровый отец, и опять наравне. Кипят. Размахнулись... ух! сабли звенят... и, гремя, отлетели в сторону клинки.

— Благодарю тебя, боже! — сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что козаки взяли за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрелил пан Данило — не попал. Нацелился отец... Он стар, он видит не так зорко, как молодой; однако ж не дрожит его рука. Выстрел загредел...

Пошатнулся пан Данило. Алая кровь выкрасила левый рукав козацкого жупана.

— Нет! — закричал он, — я не продам так

дёшево себя. Не левая рука, а правая атаман. Висит у меня на стене турецкий пистолет; ещё ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай с стены, старый товарищ! покажи другу услугу! — Данило протянул руку.

— Данило! — закричала в отчаянии, схвативши его за руки и бросившись ему в ноги, Катерина. — Не за себя молю. Мне один конец: та недостойная жена, которая живёт после своего мужа; Днепр, холодный Днепр будет мне могилою... Но погляди на сына, Данило, погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-козацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! гляди, как он отворачивает лицо своё. О! я теперь знаю тебя! ты зверь, а не человек! у тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины. Я думала, что у тебя капля жалости есть, что в твоём каменном теле человечесье чувство горит. Безумно же я обманулась. Тебе это радость принесёт. Твои кости станут танцевать в гробе с веселья, когда услышат, как нечестивые звери ляхи кинут в пламя твоего сына,

когда сын твой будет кричать под ножами и окропом. О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкою огонь, взвихрившийся под ним!

— Пстой, Катерина! ступай, мой ненаглядный Иван, я поцелую тебя! Нет, дитя моё, никто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; как вихорь будешь ты летать перед козаками, с бархатною шапкою на голове, с острою саблею в руке. Дай, отец, руку! Забудем бывшее между нами. Что сделал перед тобою неправого — винюсь. Что же ты не даёшь руки? — говорил Данило отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своём ни гнева, ни примирения.

— Отец! — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. — Не будь неумолим, прости Данила: он не огорчит больше тебя!

— Для тебя только, моя дочь, прощаю! — отвечал он, поцеловав её и блеснув странно очами.

Катерина немного вздрогнула: чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей. Она облокотилась на стол, на котором перевя-

зывал раненую свою руку пан Данило, пере-
думывая, что худо и не по-козацки сделал,
просивши прощенья, не будучи ни в чём ви-
новат.

IV

Блеснул день, но не солнечный: небо хмури-
лось, и тонкий дождь сеялся на поля, на ле-
са, на широкий Днепр. Проснулась пани Кате-
рина, но не радостна: очи заплаканы, и вся
она смутна и беспокойна.

— Муж мой милый, муж дорогой, чудный
мне сон снился!

— Какой сон, моя любая пани Катерина?

— Снилось мне, чудно, право, и так живо,
будто наяву, — снилось мне, что отец мой
есть тот самый урод, которого мы видали у
есаула. Но прошу тебя, не верь сну. Каких глу-
постей не привидится! Будто я стояла перед
ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова
его стонали мои жилы. Если б ты слышал, что
он говорил...

— Что же он говорил, моя золотая Катери-
на?

— Говорил: «Ты посмотри на меня, Катери-

на, я хорош! Люди напрасно говорят, что я ду-
рён. Я буду тебе славным мужем. Посмотри,
как я поглядываю очами!» Тут навёл он на ме-
ня огненные очи, я вскрикнула и пробуди-
лась.

— Да, сны много говорят правды. Однако ж
знаешь ли ты, что за горою не так спокойно?
Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова.
Мне Горобець прислал сказать, чтобы я не
спал. Напрасно только он заботится; я и без
того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили
двенадцать засеков. Посполитство будем уго-
щать свинцовыми сливами, а шляхтичи по-
танцуют и от батогов.

— А отец знает об этом?

— Сидит у меня на шее твой отец! я до сих
пор разгадать его не могу. Много, верно, он
грехов наделал в чужой земле. Что ж, в самом
деле, за причина: живёт около месяца и хоть
бы раз развеселился, как добрый козак! Не за-
хотел выпить мёду! слышишь, Катерина, не
захотел мёду выпить, который я вытрусил у
брестовских жидов. Эй, хлопец! — крикнул
пан Данило, — беги, малый, в погреб да при-
неси жидовского мёду! Горелки даже не пьёт!

Экая пропасть! мне кажется, пани Катерина, что он и в господа Христа не верует. А? как тебе кажется?

— Бог знает, что говоришь ты, пан Данило!

— Чудно, пани! — продолжал Данило, принимая глиняную кружку от козака, — поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьют. Что, Стецько, много хлебнул мёду в подвале?

— Попробовал только, пан!

— Лжёшь, собачий сын! вишь, как мухи напали на усы! Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, козаки! что за лихой народ! всё готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А?

— Вот давно! а в прошедший...

— Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вот и турецкий игумен влазит в дверь! — проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтобы войти в дверь, тестя.

— А что ж это, моя дочь! — сказал отец, снимая с головы шапку и поправив пояс, на котором висела сабля с чудными каменьями, — солнце уже высоко, а у тебя обед не го-

ТОВ.

— Готов обед, пан отец, сейчас поставим! Вынимай горшок с галушками! — сказала пани Катерина старой прислужнице, обтиравшей деревянную посуду. — Постой, лучше я сама выну, — продолжала Катерина, — а ты позови хлопцев.

Все сели на полу в кружок: против покута пан отец, по левую руку пан Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивернейших молодцов в синих и жёлтых жупанах.

— Не люблю я этих галушек! — сказал пан отец, немного поевши и положивши ложку, — никакого вкуса нет!

«Знаю, что тебе лучше жидовская лапша», — подумал про себя Данило.

— Отчего же, тесть, — продолжал он вслух, — ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетьману редко достанется есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники божии едали галушки.

Ни слова отец; замолчал и пан Данило.

Подали жареного кабана с капустою и сли-

вами.

— Я не люблю свинины! — сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту.

— Для чего же не любить свинины? — сказал Данило. — Одни турки и жидаы не едят свинины.

Ещё суровее нахмурился отец.

Только одну лемишку с молоком и ел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то чёрную воду.

Пообедавши, заснул Данило молодецким сном и проснулся только около вечера; сел и стал писать листы в козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр. За Днепром синеют леса. Мелькает сверху прояснившееся ночное небо. Но не далёким небом и не синим лесом любитесь пан Данило: глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнём узенькое окошко. Но всё тихо. Это, верно, показалось ему. Слышно только,

как глухо шумит внизу Днепр и с трёх сторон, один за другим, отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как старик, ворчит и ропщет; ему всё не мило; всё переменялось около него; тихо враждует он с прибережными горами, лесами, лугами и несёт на них жалобу в Чёрное море.

Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило, и выбежал на свист верный хлопец.

— Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтовку да ступай за мною!

— Ты идёшь? — спросила пани Катерина.

— Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, всё ли в порядке.

— Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если мне приснится то же самое? я даже не уверена, точно ли то сон был, — так это происходило живо.

— С тобою старуха остаётся; а в сенях и на дворе спят козаки!

— Старуха спит уже, а козакам что-то не верится. Слушай, пан Данило, замкни меня в

комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно; а козаки пусть лягут перед дверями.

— Пусть будет так! — сказал Данило, стирая пыль с винтовки и сыпля на полку порох.

Верный Стецько уже стоял одетый во всей козацкой сбруе. Данило надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора, промеж спавшими своими козаками, в горы.

Небо почти всё прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то всё бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох... Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя пистолетами, с саблею при боку, спускался с горы.

— Это тесть! — проговорил пан Данило, разглядывая его из-за куста. — Зачем и куда ему идти в эту пору? Стецько! не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмёт дорогу пан отец. — Человек в красном жупане сошёл на самый берег и поворотил к выдававшемуся

мысу. — А! вот куда! — сказал пан Данило. — Что, Стецько, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло.

— Да, верно, не в другое место, пан Данило! иначе мы бы видели его на другой стороне. Но он пропал около замка.

— Постой же, вылезем, а потом пойдём по следам. Тут что-нибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек; не так он и делал всё, как православный.

Уже мелькнули пан Данило и его верный хлопец на выдавшемся берегу. Вот уже их и не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят козаки и думают, как бы влезть им: ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки.

— Что я думаю долго! — сказал пан Данило, увидя перед окном высокий дуб. — Стой тут, малый! я полезу на дуб; с него прямо можно глядеть в окошко.

Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю,

чтоб не звенела, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх.

Окошко всё ещё светилось. Присевши на сук, возле самого окна, уцепился он рукою за дерево и глядит: в комнате и свечи нет, а светит; по стенам чудные знаки; висит оружие, но всё странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперёд мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрипа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белой скатертью. «Это он, это тесть!» Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву.

Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко, или нет. Он пришёл пасмурен, не в духе, сдёрнул со стола скатерть — и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет. Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то

травы.

Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нём красного жупана; вместо того показались на нём широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо — и лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, — и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. «Правдив сон твой, Катерина!» — подумал Бурульбаш.

Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперёд. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая ещё ниже в воду серебря-

ные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блестит месяц, ходят звёзды, неясно мелькает тёмно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки; на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька... но вместо образов выглядывают страшные лица; на лежанке... но сгустившийся туман покрыл всё, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опёршись ни на что, и сквозь неё просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачную головою своею:

тихо светятся её бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам её, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льётся едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют... Ах! это Катерина! Тут почувствовал Данило, что члены у него оковались; он силился говорить, но губы шевелились без звука.

Неподвижно стоял колдун на своём месте.

— Где ты была? — спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала.

— О! зачем ты меня вызвал? — тихо простонала она. — Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щёки, расчёсывала частым гребнем мою русую косу... Отец! — тут она вперила в колдуна бледные очи, — зачем ты зарезал мать мою?

Грозно колдун погрозил пальцем.



— Разве я тебя просил говорить про это? —
И воздушная красавица задрожала. — Где те-
перь пани твоя?

— Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я
и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела.
Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг
сделалось пятнадцать лет. Я вся стала легка,
как птица. Зачем ты меня вызвал?

— Ты помнишь всё то, что я говорил тебе вчера? — спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать.

— Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это! Бедная Катерина! она многого не знает из того, что знает душа её.

«Это Катеринина душа», — подумал пан Данило; но всё ещё не смел пошевелиться.

— Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?

— Ты опять за старое! — грозно прервал колдун. — Я поставлю на своём, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..

— О, ты чудовище, а не отец мой! — простонала она. — Нет, не будет потвоему! Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить её; но один только Бог может заставлять её делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в её теле, не решится на богопротивное дело. Отец, близок страшный суд! Если б ты и не отец мой был, и тогда бы не за-

ставил меня изменить моему любому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятвопреступных и неверных душ.

Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и недвижно остановилась...

— Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? — закричал колдун.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже пан Данило был давно на земле и пробирался с своим верным Стецьком в свои горы. «Страшно, страшно!» — говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в козацком сердце, и скоро прошёл двор свой, на котором так же крепко спали козаки, кроме одного, сидевшего на стороже и курившего люльку. Небо всё было засеяно звёздами.

V

— Как хорошо ты сделал, что разбудил меня! — говорила Катерина, протирая очи шитым рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею

мужа. — Какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух!.. мне казалось, что я умираю...

— Какой же сон, уж не этот ли? — И стал Бурульбаш рассказывать жене своей всё им виденное.

— Ты как это узнал, мой муж? — спросила, изумившись, Катерина. — Но нет, многое мне не известно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, чтобы отец убил мать мою; ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!

— И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист? Ещё в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на крымцев (тогда ещё я держал руку этого неверного народа), мне говорил игумен Братского монастыря, — он, жена, святой человек, — что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека; а душа гуляет по своей воле, когда заснёт он, и летает вместе с архангелами около божией светлицы. Мне с первого разу не показалось лицо

твоего отца. Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе; я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем.

— Данило! — сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая, — я ли виновна в чём перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любимый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Не верно разве служила тебе? сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселе с молодецкой пирушки? тебе ли не родила чернобрового сына?...

— Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоём.

— Нет, не называй его отцом моим! Он не отец мне. Бог свидетель, я отрекаюсь от него, отрекаюсь от отца! Он антихрист, богоотступник! Пропадай он, тони он — не подам руки спасти его. Сохни он от тайной травы — не подам воды напиться ему. Ты у меня отец мой!

В глубоком подвале у пана Данила, за тремя замками, сидит колдун, закованный в железные цепи; а подале над Днепром горит бесовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебещут и толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун. Им судия Бог. Сидит он за тайное предательство, за стоворы с врагами православной русской земли — продать католикам украинский народ и выжечь христианские церкви. Угрюм колдун; дума чёрная, как ночь, у него в голове.

Всего только один день остаётся жить ему, а завтра пора распрощаться с миром. Завтра ждёт его казнь. Не совсем лёгкая казнь его ждёт: это ещё милость, когда сварят его живого в котле или сдерут с него грешную кожу. Угрюм колдун, поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед смертным часом, только не такие грехи его, чтобы Бог простил ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетённое железными палками. Гремя цепями, подвёлся он к окну, поглядеть, не пройдёт ли его дочь. Она кротка, не памятозлобна, как голубка, не умилосердится ли над отцом... Но

никого нет. Внизу бежит дорога; по ней никто не пройдёт. Пониже её гуляет Днепр; ему ни до кого нет дела: он бушует, и унывно слышать колоднику однозвучный шум его.

Вот кто-то показался по дороге — это козак! И тяжело вздохнул узник. Опять всё пусто. Вот кто-то вдали спускается... Развевается зелёный кунтуш... горит на голове золотой кораблик... Это она! Ещё ближе приникнул он к окну. Вот уже подходит близко...

— Катерина! дочь! умиლოსердись, подай милостыню!..

Она нема, она не хочет слушать, она и глаз не наведёт на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всём мире. Унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце. Но ведает ли эту грусть колдун?

День клонится к вечеру. Уже солнце село. Уже и нет его. Уже и вечер: свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются звуки, — верно, где-нибудь народ идёт с работы и веселится; по Днепру мелькает лодка... кому нужна до колодника! Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идёт с противной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это воз-

вращается Катерина.

— Дочь, Христа ради! и свирепые волчята не станут рвать свою мать! дочь, хотя взгляни на преступного отца своего! — Она не слушает и идёт. — Дочь, ради несчастной матери!.. — Она остановилась. — Приди принять последнее моё слово!



— Зачем ты зовёшь меня, богоотступник? Не называй меня дочерью! Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от меня ради несчастной моей матери?

— Катерина! Мне близок конец, я знаю, меня твой муж хочет привязать к кобыльему хвосту и пустить по полю, а может, ещё и страшнейшую выдумает казнь...

— Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам? Жди её; никто не станет просить за тебя.

— Катерина! меня не казнь страшит, но муки на том свете... Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в рае около Бога; а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь: всё сильнее и сильнее будет он разгораться; ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнёт...

— Этой казни я не властна умалить, — сказала Катерина, отвернувшись.

— Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь ещё, как добр и милосерд Бог. Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым.

— Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу? — сказала Катерина, — мне ли, слабой женщине, об этом подумать!

— Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы всё кинул. Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жёсткую власяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только скоромного, не

возьму рыбы в рот! не постелю одежды, когда стану спать! и всё буду молиться, всё молиться! И когда не снимет с меня милосердие божие хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни питья, и умру; а всё добро своё отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду.

Задумалась Катерина.

— Хотя я отопру, но мне не расковать твоих цепей.

— Я не боюсь цепей, — говорил он. — Ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нет, я напустил им в глаза туман и вместо руки протянул сухое дерево. Вот я, гляди, на мне нет теперь ни одной цепи! — сказал он, выходя на середину. — Я бы и стен этих не побоялся и прошёл бы сквозь них, но муж твой и не знает, какие это стены. Их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывести колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Таковую самую келью вырою и я себе, неслыханный грешник, когда выйду на

ВОЛЮ.

— Слушай, я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь? — сказала Катерина, остановившись пред дверью, — и вместо того, чтобы покаяться, станешь опять братом чёрту?

— Нет, Катерина, мне недолго остаётся жить уже. Близок и без казни мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя на вечную муку?

Замки загремели.

— Прощай! храни тебя Бог милосердый, дитя моё! — сказал колдун, поцеловав её.

— Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник, уходи скорее! — говорила Катерина. Но его уже не было.

— Я выпустила его, — сказала она, испугавшись и дико осматривая стены. — Что я стану теперь отвечать мужу? Я пропала. Мне живой теперь остаётся зарыться в могилу! — и, зарыдав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник. — Но я спасла душу, — сказала она тихо. — Я сделала богоугодное дело. Но муж мой... я в первый раз обманула его. О, как страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду. Кто-то идёт! Это он!

муж! — вскрикнула она отчаянно и без чувств упала на землю.

VII

— Это я, моя родная дочь! Это я, моё сердце! — услышала Катерина, очнувшись, и увидела перед собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось что-то шептала и, протянув над нею иссохшую руку свою, опрыскивала её холодною водою.

— Где я? — говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. — Передо мною шумит Днепр, за мною горы... куда завела меня ты, баба?

— Я тебя не завела, а вывела; вынесла на руках моих из душного подвала. Замкнула ключиком, чтобы тебе не досталось чего от пана Данила.

— Где же ключ? — сказала Катерина, поглядывая на свой пояс. — Я его не вижу.

— Его отвязал муж твой, поглядеть на колдуна, дитя моё.

— Поглядеть?... Баба, я пропала! — вскрикнула Катерина.

— Пусть Бог милует нас от этого, дитя моё! Молчи только, моя паняночка, никто ничего

не узнает!

— Он убежал, проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина? он убежал! — сказал пан Данило, приступая к жене своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его.

Помертвела жена.

— Его выпустил кто-нибудь, мой любимый муж? — проговорила она дрожа.

— Выпустил, правда твоя; но выпустил чёрт. Погляди, вместо него бревно заковано в железо. Сделал же Бог так, что чёрт не боится козачьих лап! Если бы только думу об этом держал в голове хоть один из моих козаков и я бы узнал... я бы и казни ему не нашёл!

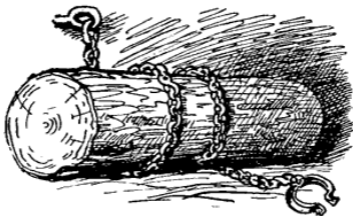
— А если бы я?... — невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

— Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мне была. Я бы тебя зашил тогда в мешок и утопил бы на самой середине Днепра!..

Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волосы стали отделяться на голове её.

VIII

На пограничной дороге, в корчме, собрались ляхи и пируют уже два дни. Что-то



немало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд: у иных и мушкеты есть; чокуют шпоры, брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмеваются над православьем, зовут народ украинский своими холопьями и важно крутят усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавках. С ними и ксёндз вместе. Только и ксёндз у них на их же стать; и с виду даже не похож на христианского попа: пьёт и гуляет с ними и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чём не уступает им и челядь: позакидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам. Набрали с собою чужих жён. Крик, драка!.. Паны беснуются и отпускают штуки: хватают за бороду жида,

малюют ему на нечестивом лбу крест; стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на русской земле и от татар. Видно, уже ей Бог определил за грехи терпеть такое посрамление! Слышно между общим содомом, что говорят про заднепровский хутор пана Данила, про красавицу жену его... Не на доброе дело собралась эта шайка!

IX

Сидит пан Данило за столом в своей светлице, подпершись локтем, и думает. Сидит на лежанке пани Катерина и поёт песню.

— Чего-то грустно мне, жена моя! — сказал пан Данило. — И голова болит у меня, и сердце болит. Как-то тяжело мне! Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя.

«О мой ненаглядный муж! приникни ко мне головою своею! Зачем ты приголубливаешь к себе такие чёрные думы», — подумала Катерина, да не посмела сказать. Горько ей было, повинной голове, принимать мужние ласки.

— Слушай, жена моя! — сказал Данило, —

не оставляй сына, когда меня не будет. Не будет тебе от Бога счастья, если ты кинешь его, ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить моим костям в сырой земле; а ещё тяжелее будет душе моей.

— Что говоришь ты, муж мой! не ты ли издевался над нами, слабыми жёнами? а теперь сам говоришь, как слабая жена. Тебе ещё долго нужно жить.



— Нет, Катерина, чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена лихие приходят. Ох, помню, помню я годы; им, верно, не воротиться! Он был ещё жив, честь и слава нашего войска, старый Ко-нашевич! как будто перед очами моими про-

ходят теперь козацкие полки! Это было золотое время, Катерина! Старый гетьман сидел на вороном коне. Блестела в руке булава; вокруг сердюки; по сторонам шевелилось красное море запорожцев. Стал говорить гетьман — и всё стало как вкопанное. Заплакал старичина, как зачал воспоминать нам прежние дела и сечи. Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками! На голове моей виден и доныне рубец. Четыре пули пролетело в четырёх местах сквозь меня. И ни одна из ран не зажила совсем. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменья шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! Ох, не воевать уже мне так! Кажется, и не стар, и телом бодр, а меч козацкий вываливается из рук, живу без дела, и сам не знаю, для чего живу. Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство наше всё переменяло на польский обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унию. Жидовство угнетает бедный народ. О время, время! минувшее вре-

мя! куда подевались вы, лета мои?... Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль мёду! Выпью за прежнюю долю и за давние годы!

— Чем будем принимать гостей, пан? С луговой стороны идут ляхи! — сказал, вошедши в хату, Стецько.

— Знаю, зачем идут они, — вымолвил Данило, подымаясь с места. — Седлайте, мои верные слуги, коней! надевайте сбрую! сабли наголо! не забудьте набрать и свинцового толокна. С честью нужно встретить гостей!

Но ещё не успели козаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою гору

— Э, да тут есть с кем переведаться! — сказал Данило, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой сбруе — Видно, ещё раз доведётся нам погулять на славу! Натешься же, козацкая душа, в последний раз! Гуляйте, хлопцы, пришёл наш праздник!

И пошла по горам потеха. И запирировал пир: гуляют мечи; летают пули; ржут и топочут кони. От крику безумеет голова; от дыму

слепнут очи. Всё перемешалось. Но козак чувствует, где друг, где недруг; прошумит ли пуля — валится лихой седок с коня; свистнет сабля — катится по земле голова, бормоча языком несвязные речи.

Но виден в толпе красный верх козацкой шапки пана Данила; мечется в глаза золотой пояс на синем жупане; вихрем вьётся грива вороного коня. Как птица, мелькает он там и там; покрикивает и машет дамасской саблей и рубит с правого и левого плеча. Руби, козак! гуляй, козак! тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны! топчи под ноги золото и каменья! Коли, козак! гуляй, козак! но оглянись назад: нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот. И, как вихорь, поворотил пан Данило назад, и шапка с красным верхом мелькает уже возле хат, и редет вокруг его толпа.

Не час, не другой бьются ляхи и козаки. Не много становится тех и других. Но не устаёт пан Данило: сбивает с седла длинным копьём своим, топчет лихим конём пеших; уже очищается двор, уже начали разбежаться ляхи;

уже обдирают козаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Данило собирается в погоню и взглянул, чтобы созвать своих... и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данило погнал коня прямо к нему... Козак, на гибель идёшь!.. Мушкет гремит — и колдун пропал за горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козак и свалился на землю. Кинулся верный Стецько к своему пану, — лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи. Алая кровь закипела на груди. Но, видно, почувял верного слугу своего. Тихо приподнял веки, блеснул очами: «Прощай, Стецько! скажи Катерине, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои верные слуги!» — и затих. Вылетела козацкая душа из дворянского тела; посинели уста. Спит козак непробудно.

Зарыдал верный слуга и машет рукою Катерине: «Ступай, пани, ступай: подгулял твой пан. Лежит он пьянёхонек на сырой земле. Долго не протрезвиться ему!»

Всплеснула руками Катерина и повали-



лась, как сноп, на мёртвое тело. «Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывши очи?

Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою! приподымись! погляди хоть раз

на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко!.. Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный пан! Ты посинел, как Чёрное море. Сердце твоё не бьётся! Отчего ты такой холодный, мой пан? видно, не горючи мои слёзы, невмочь им согреть тебя! Видно, не громок плач мой, не разбудить им тебя! Кто же поведёт теперь полки твои? Кто понесётся на твоём вороном конике, громко загукает и замашет саблей пред козаками? Козаки, козаки! где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, закрывши очи, на сырой земле. Похороните же меня, похороните вместе с ним! засыпьте мне очи землёю! надавите мне кленовые доски на белые груди! Мне не нужна больше красота моя!»

Плачет и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачет старый есаул Горобець на помощь.

Х

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнёт; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идёт или не идёт

его величаявая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и въётся по зелёному миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибрежным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмеваются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при тёплой летней ночи, когда всё засыпает — и человек, и зверь, и птица; а Бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звёзды. Звёзды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в тёмном лоне своём. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Чёрный лес, униженный спящими воронами,

и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью своею, — напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня, виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечесье око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от ночного холода, даёт он по себе серебряную струю; и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, чёрный лес шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир — страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать козака, выпроваждая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила, и ломает над ним руки, и заливаются горючими слезами.

Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьётся об берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из козаков осмелился гулять в челне в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему не ведомо, что он глотает как мух людей.

Лодка причалила, и вышел из неё колдун. Невесел он; ему горька тризна, которую свершили козаки над убитым своим паном. Не мало поплатились ляхи: сорок четыре пана со всею сбруею и жупанами да тридцать три холопа изрублены в куски; а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам.

По каменным ступеням спустился он между обгорелыми пнями вниз, где глубоко в земле вырыта была у него землянка. Тихо вошёл он, не скрыпнувши дверью, поставил на стол, закрытый скатертью, горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы; взял кухоль, выделанный из какого-то чудного дерева, почерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в светлице; и страшно было глянуть тогда ему в лицо:

оно казалось кровавым, глубокие морщины только чернели на нём, а глаза были как в огне. Нечестивый грешник! уже и борода давно поседела, и лицо изрыто морщинами, и высох весь, а всё ещё творит богопротивный умысел. Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лице его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его голове? В облаке перед ним светилось чьё-то чудное лицо. Непрошеное, незваное явилось оно к нему в гости; чем далее, выяснилось больше и вперило неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы — всё незнакомое ему. Никогда во всю жизнь свою он его не видывал. И страшного, кажется, в нём мало; а непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало; а неведомые черты ещё резче выказывались, и острые очи не отрывались от него. Колдун весь побелел как полотно. Диким, не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок... Всё пропало.

ХІ

— Спокой себя, моя любая сестра! — говорил старый есаул Горобець. — Сны редко говорят правду.

— Приляг, сестрица! — говорила молодая его невестка. — Я позову старуху ворожею, против её никакая сила не устоит. Она выльет переполох тебе.

— Ничего не бойся! — говорил сын его, хватаясь за саблю, — никто тебя не обидит.

Пасмурно, мутными глазами глядела на всех Катерина и не находила речи. «Я сама устроила себе погибель. Я выпустила его». Наконец она сказала:

— Мне нет от него покоя! Вот уже десять дней я у вас в Киеве, а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына... Страшен, страшен привиделся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть его! Сердце моё до сих пор бьётся. «Я зарублю твоё дитя, Катерина, — кричал он, — если не выйдешь за меня замуж!..» — и, зарыдав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало.

Кипел и сверкал сын есаула от гнева, слыша такие речи. Расходился и сам есаул Горобець.

— Пусть попробует он, окаянный антихрист, прийти сюда; отведает, бывает ли сила в руках старого козака. Бог видит, — говорил он, подымая кверху прозорливые очи, — не летел ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! застал уже на холодной постеле, на которой много, много улеглось козацкого народа. Зато разве не пышна была тризна по нём? выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, дитя моё! никто не посмеет тебя обидеть, разве ни меня не будет, ни моего сына.

Кончив слова свои, старый есаул пришёл к колыбели, и дитя, увидевши висевшую на ремне у него в серебряной оправе красную люльку и гаман с блестящим огнивом, протянуло к нему ручонки и засмеялось.

— По отцу пойдёт, — сказал старый есаул, снимая с себя люльку и отдавая ему, — ещё от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку.

Тихо вздохнула Катерина и стала качать

колыбель. Сговорились провести ночь вместе, и мало погодя уснули все. Уснула и Катерина.

На дворе и в хате всё было тихо; не спали только козаки, стоявшие на стороже. Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись все. «Он убит, он зарезан!» — кричала она и кинулась к колыбели.

Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, что думать о неслыханном злодействе.

XII

Далеко от Украинского края, проехавши Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковыывают её каменною толщей, чтобы не просало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию и в Седмиградскую область и громадою стали в виде подковы между галицким и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их; а

на вершину иных не заходила и нога человека. Чуден и вид их: не задорное ли море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе? Не оборвались ли с неба тяжёлые тучи и загромоздили собою землю? ибо и на них такой же серый цвет, а белая верхушка блестит и искрится при солнце. Ещё до Карпатских гор услышишь русскую моль, и за горами ещё кой-где отзовется как будто родное слово; а там уже и вера не та, и речь не та. Живёт немалолюдный народ венгерский; ездит на конях, рубится и пьёт не хуже козака; а за конную сбрую и дорогие кафтаны не скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озёра. Как стекло, недвижимы они и, как зеркало, отдают в себе голые вершины гор и зелёные их подошвы.

Но кто среди ночи, блещут или не блещут звёзды, едет на огромном вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озёрами, отсвечивается с исполинским конём в недвижных водах, и бесконечная тень его страшно мелькает по го-

рам? Блещут чеканенные латы; на плече пика; гремит при седле сабля; шолом надвинут; усы чернеют; очи закрыты; ресницы опущены — он спит. И, сонный, держит повода; и за ним сидит на том же коне младенец паж и также спит и, сонный, держится за богатыря. Кто он, куда, зачем едет? — кто его знает. Не день, не два уже он переезжает горы. Блеснёт день, взойдёт солнце, его не видно; изредка только замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдёт по нём. Чуть же ночь наведёт темноту, снова он виден и отдаётся в озёрах, и за ним, дрожа, скачет тень его. Уже проехал много он гор и въехал на Криван. Горы этой нет выше между Карпатом; как царь подымается она над другими. Тут остановился конь и всадник, и ещё глубже погрузился в сон, и тучи, спустясь, закрыли его.

ХІІІ

«Тс... тише, баба! не стучи так, дитя моё заснуло. Долго кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба! Да что же ты так глядишь на меня? ты страшна: у тебя из глаз

вытягиваются железные клещи... ух, какие длинные! и горят, как огонь! Ты, верно, ведьма!

О, если ты ведьма, то пропади отсюда! ты украдёшь моего сына. Какой бестолковый этот есаул: он думает, мне весело жить в Киеве; нет, здесь и муж мой и сын; кто же будет смотреть за хатой? я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодойю — это совсем нетрудно: нужно танцевать только; гляди, как я танцую...» И, проговорив такие несвязные речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все стороны и упираясь руками в боки. С визгом притопывала она ногами; без меры, без такта звенели серебряные подковы. Незаплетённые чёрные косы метались по белой шее. Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головою, и казалось, будто, обессилев, или грянется на землю, или вылетит из мира.

Печально стояла старая няня, и слезами налились её глубокие морщины; тяжкий камень лежал на сердце у верных хлопцев, глядевших на свою пани. Уже совсем ослабела

она и лениво топала ногами на одном месте, думая, что танцует горлицу. «А у меня монисто есть, парубки! — сказала она, наконец остановившись, — а у вас нет!» Где муж мой? — вскричала она вдруг, выхватив из-за пояса турецкий кинжал. — О! это не такой нож, какой нужно. — При этом и слёзы, и тоска показались у ней на лице. — У отца моего далеко сердце: он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма на пекельном огне. Что ж нейдёт отец мой? разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама пришла,...- И, не dokonчив, чудно засмеялася, — Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли... какой смех забирал меня!.. Слушайте, слушайте!» И вместо слов начала она петь песню:

*Біжить возок кривавенький;
У тім возку козак лежить,
Постріляний, порубаний.
В правій ручці дротик держить,
З того дроту кривця біжить;
Біжить ріка кривавая.*

*Над річкою явор стоїть.
Над явором ворон криче.
За козаком мати плаче.
Не плачь, мати, не журися!
Бо вже твій сын оженився,
Та взяв жінку паняночку,
В чистом полі земляночку,
І без дверець, без оконець.
Та вже пісні вийшов кінець.
Танцювала рыба з раком...
А хто мене не полюбить,
трясця его матерь!*

Так перемешивались у ней все песни. Уже день и два живёт она в своей хате и не хочет слышать о Киеве, и не молится, и бежит от людей, и с утра до позднего вечера бродит по тёмным дубравам. Острые сучья царапают белое лицо и плеча; ветер треплет расплетённые косы; давние листья шумят под ногами её — ни на что не глядит она. В час, когда вечерняя заря тухнет, ещё не являются звёзды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещёные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве; из днепровских волн выбегают вереницами по-

губившие свои души девы; волосы льются с зелёной головы на плеча, вода, звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмеваются, щёки пылают, очи выманивают душу... она сторе́ла бы от любви, она зацеловала бы... Беги, крещёный человек! уста её — лёд, постель — холодная вода; она защекочет тебя и утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, русалок, бегаёт поздно с ножом своим и ищет отца.

С ранним утром приехал какой-то гость, статный собою, в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле; слышит всё, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он-де воевал вместе с покойным Бурульбашем; вместе рубились они с крымцами и турками; ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила. Рассказывает ещё гость о многом другом и хочет видеть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость; напоследок стала, как разумная, вслушиваться в его речи. Он повёл про то, как они жили вместе с Данилом, будто

брат с братом; как укрылись раз под греблею от крымцев... Катерина всё слушала и не спускала с него очей.

«Она отойдёт! — думали хлопцы, глядя на неё. — Этот гость вылечит её! она уже слушает, как разумная!»

Гость начал рассказывать между тем, как пан Данило в час откровенной беседы сказал ему: «Гляди, брат Копрян, когда волею божией не будет меня на свете, возьми к себе жену, и пусть будет она твоею женою...»

Страшно вонзила в него очи Катерина. «А! — вскрикнула она. — Это он! это отец!» — и кинулась на него с ножом.

Долго боролся тот, стараясь вырвать у неё нож. Наконец вырвал, замахнулся — и совершилось страшное дело: отец убил безумную дочь свою.

Изумившиеся козаки кинулись было на него; но колдун уже успел вскочить на коня и пропал из виду.

XIV

За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманьы собирались дивиться

сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Чёрное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская.

— А то что такое? — допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые верхи.

— То Карпатские горы! — говорили старые люди, — меж ними есть такие, с которых век не сходит снег; а тучи пристают и ночуют там.

Тут показалось новое диво: облака слетели с самой высокой горы, и на вершине её показался во всей рыцарской сбруе человек на коне, с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи.

Тут, меж дивившимся со страхом народом, один вскочил на коня и, дико озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо, во всю мочь погнал коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со страхом взглядевшись в чудно-

го рыцаря, узнал он на нём то же самое лицо, которое, незваное, показалось ему, когда он ворожил. Сам не мог он разуместь, отчего в нём всё смутилось при таком виде, и, робко озираясь, мчался он на коне, покамест не застигнул его вечер и не проглянули звёзды. Тут поворотил он домой — может быть, допросить нечистую силу, что значит такое диво. Уже он хотел перескочить с конём через узкую реку, выступившую рукавом среди дороги, как вдруг конь на всём скаку остановился, заворотил к нему морду и, чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волосы на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как иступлённый, и погнал коня прямо к Киеву. Ему чудилось, что всё со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступивши тёмным лесом и как будто живые, кивая чёрными бородами и вытягивая длинные ветви, силились задушить его; звёзды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на грешника; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его. Отчаянный колдун летел в Киев к святым местам.



XV

Одинокó сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыл святой старец свою книгу и стал молиться... Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался из очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

— Отец! молись! молись! — закричал он

отчаянно, — молись о погибшей душе! — и
грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал
книгу, развернул — и в ужасе отступил назад
и выронил книгу.

— Нет, неслыханный грешник! нет тебе
помилования! беги отсюда! не могу молиться
о тебе!

— Нет? — закричал, как безумный, греш-
ник.

— Гляди: святые буквы в книге налились
кровью. Ещё никогда в мире не бывало такого
грешника!

— Отец, ты смеёшься надо мною!

— Иди, окаянный грешник! не смеюсь я
над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро
быть человеку с тобою вместе!

— Нет! нет, ты смеёшься, не говори... я ви-
жу, как раздвинулся рот твой: вот белеют ря-
дами твои старые зубы!..

И, как бешеный, кинулся он — и убил свя-
того схимника.

Что-то тяжело застонало, и стон перенёсся
через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие,
сухие руки с длинными когтями; затряслись

и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Всё чудится ему как-то смутно.

В ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля; и всё, что ни есть перед глазами, покрывается как будто паутиною. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева всё нет. Дорога та самая; пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город; но не Киев, а Галич, город ещё далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону и всё вперёд. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже недосыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не

лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конём своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить её в Чёрном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал отчего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий Криван, накрывший своё темя, будто шапкою, серою тучею; а конь всё нёсся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник. Он силится остановиться, крепко натягивает удила; дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что всё в нём замерло, что недвижимый всадник шевелится и разом открыл свои очи; увидел нёсшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши всё, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам... так страшно отдался в нём этот смех!

Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец, и глядел, как мертвец. Так страшно, не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мёртвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него.

Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Ещё раз засмеялся рыцарь и кинул её в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него свои зубы. Ещё один, всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли; но не мог, не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле; а если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую и Турецкую землю; немного только подвинулся он, и пошло от того трясение по всей земле. И много попрокидывалось везде хат. И много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свист, как будто тысяча мельниц шумит колёсами на воде.

То в безвыходной пропасти, которой не видал ещё ни один человек, страшащийся проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца. Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого: то оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора, из которой выхватывается пламя и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии, и в Галичской земле, лучше знают это и говорят: что то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясёт землю.

XVI

В городе Глухове собрался народ около старца бандуриста и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре. Ещё таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повёл он про прежнюю гетьманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время: козачество было в славе, топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним. Пел и весёлые песни старец и повоживал своими очами на народ, как будто зрящий; а пальцы, с приделанными к ним ко-

стями, летали как муха по струнам, и казалось, струны сами играли; а кругом народ, старые люди, понутив головы, а молодые, подняв очи на старца, не смели и шептать между собою.

— Пойдите, — сказал старец, — я вам запою про одно давнее дело.

Народ сдвинулся ещё теснее, и слепец запел:

«За пана Степана, князя Седмиградского, был князь Седмиградский королём и у ляхов, — жило два козака: Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. «Гляди, Иван, всё, что ни добудешь, — всё пополам. Когда кому веселье — веселье и другому; когда кому горе — горе и обоим; когда кому добыча — пополам добычу; когда кто в полон попадёт — другой продай всё и дай выкуп, а не то сам ступай в полон». И правда, всё, что ни доставали козаки, всё делили пополам; угоняли ли чужой скот, или коней, всё делили пополам.

* * *

Воевал король Степан с турчином. Уже три

недели воюет он с турчином, а всё не может его выгнать. А у турчина был паша такой, что сам с десятью янычарами мог порубить целый полк. Вот объявил король Степан, что если сыщется смельчак и приведёт к нему того пашу живого или мёртвого, даст ему одному столько жалованья, сколько даёт на всё войско. «Пойдём, брат, ловить пашу!» — сказал брат Иван Петру. И поехали козаки, один в одну сторону, другой в другую.

* * *

Поймал ли бы ещё, или не поймал Петро, а уже Иван ведёт пашу арканом за шею к самому королю. «Бравый молодец!» — сказал король Степан и приказал выдать ему одному такое жалованье, какое получает всё войско; и приказал отвести ему земли там, где он задумает себе, и дать скота, сколько пожелает. Как получил Иван жалованье от короля, в тот же день разделил всё поровну между собою и Петром. Взял Петро половину королевского жалованья, но не мог вынести того, что Иван получил такую честь от короля, и затаил глу-

боко на душе месть.

Ехали оба рыцаря на жалованную королём землю, за Карпат. Посадил козак Иван с собою на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки — они всё едут. Младенец заснул, стал дремать и сам Иван. Не дремли, козак, по горам дороги опасные!.. Но у козака такой конь, что сам везде знает дорогу, не спотыкнётся и не оступится. Есть между горами провал, в провале дна никто не видал; сколько от земли до неба, столько до дна того провала. По-над самым провалом дорога — два человека ещё могут проехать, а трое ни за что. Стал бережно ступать конь с дремавшим козаком. Рядом ехал Петро, весь дрожал и притаил дух от радости. Оглянулся и толкнул названного брата в провал. И конь с козаком и младенцем полетел в провал.

* * *

Ухватился, однако ж, козак за сук, и один только конь полетел на дно.

Стал он карабкаться, с сыном за плечами, вверх; немного уже не добрался, поднял глаза

и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. «Боже ты мой, праведный, лучше б мне не подымать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад. Брат мой милый! коли меня пикой, когда уже мне так написано на роду, но возьми сына! чем безвинный младенец виноват, чтобы ему пропасть такую лютою смертью?» Засмеялся Петро и толкнул его пикой, и козак с младенцем полетел на дно. Забрал себе Петро всё добро и стал жить, как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро.

* * *

Как умер Петро, призвал Бог души обоих братьев, Петра и Ивана, на суд. «Великий есть грешник сей человек! — сказал Бог. — Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!» Долго думал Иван, вымышляя казнь, и, наконец, сказал: «Великую обиду нанёс мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и

потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Выходу нет — никто и не узнает, что кинуту было семя.

* * *

Сделай же, боже, так, чтобы всё потомство его не имело на земле счастья! чтобы последний в роде был такой злодей, какого ещё и не бывало на свете! И от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А Иуда Петро чтобы не в силах был подняться и оттого терпел бы муку ещё горшую; и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землёю!

И когда придёт час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придёт он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон зем-

ли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А Иуда Петро чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть и себе, но грыз бы самого себя, а кости его росли бы, чем дальше, больше, чтобы чрез то ещё сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная: ибо для человека нет большей муки, как хотеть отмстить и не мочь отмстить».

* * *

«Страшна казнь, тобою выдуманная, человече! — сказал Бог. — Пусть будет всё так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своём, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своём!» И то всё так сбылось, как было сказано: и доныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землёю мертвец растёт, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясёт всю землю...»



Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал петть смешные присказки про Хому и Ерёму, про Сткля-

ра Стокозу... но старые и малые всё ещё не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном, в старину случившемся деле.

Иван Федорович Шпонька и его тетушка



С этой историей случилась история: нам рассказывал ее приезжавший из Гадяча Степан Иванович Курочка. Нужно вам знать, что память у меня, невозможно сказать, что за дрянь: хоть говори, хоть не говори, все одно. То же самое, что в решето воду лей. Зная за собою такой грех, нарочно просил его спи-

сать ее в тетрадку. Ну, дай бог ему здоровья, человек он был всегда добрый для меня, взял и списал. Положил я ее в маленький столик; вы, думаю, его хорошо знаете: он стоит в углу, когда войдешь в дверь... Да, я и позабыл, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, с которой живу уже лет тридцать вместе, грамоте сроду не училась; нечего и греха таить. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печет; лучших пирожков вы нигде не будете есть. Посмотрел как-то на сподку пирожка, смотрю: писанные слова. Как будто сердце у меня знало, прихожу к столику — тетрадки и половины нет! Остальные листки все растаскала на пироги. Что прикажешь делать? на старости лет не подратя же!

Прошлый год случилось проезжать чрез Гадяч. Нарочно еще, не доезжая города, завязал узелок, чтобы не забыть попросить об этом Степана Ивановича. Этого мало: взял обещание с самого себя — как только чихну в городе, то чтобы при этом вспомнить о нем. Все напрасно. Проехал чрез город, и чихнул, и

высморкался в платок, а все позабыл; да уже вспомнил, как верст за шесть отъехал от заставы. Нечего делать, пришлось печатать без конца. Впрочем, если кто желает непременно знать, о чем говорится далее в этой повести, то ему сто́ит только нарочно приехать в Гадяч и попросить Степана Ивановича. Он с большим удовольствием расскажет ее, хоть, пожалуй, снова от начала до конца. Живет он недалеко возле каменной церкви. Тут есть сейчас маленький переулок: как только поворачишь в переулок, то будут вторые или третьи ворота. Да вот лучше: когда увидите на дворе большой шест с перепелом и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленой юбке (он, не мешает сказать, ведет жизнь холостую), то это его двор. Впрочем, вы можете его встретить на базаре, где бывает он каждое утро до девяти часов, выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом или с жидом-откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука. Вот еще вам примета: когда ходит он, то всегда размахивает ру-

ками. Еще покойный тамошний заседатель, Денис Петрович, всегда, бывало, увидевши его издали, говорил: «Глядите, глядите, вон идет ветряная мельница!»

I. Иван Федорович Шпонька

Уже четыре года, как Иван Федорович Шпонька в отставке и живет в хуторе своем Вытребеньках. Когда был он еще Ванюшею, то обучался в гадячском поветовом училище, и надобно сказать, что был преблагонаправный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики, Никифор Тимофеевич Деепричастие, говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпонька, то он не носил бы с собою в класс кленовой линейки, которою, как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смиренно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу на спину бумажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в тесной бабы. Когда кому нужна была в ножике очинить перо, то он немед-

ленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик; и Иван Федорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка, которого один кашель в сенях, прежде нежели высовывалась в дверь его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, навел страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка розг и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то что в классе было много с гораздо лучшими способностями.

Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь. Один из вверенных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора написать ему в списке *scit*, тогда как он своего урока в зуб не знал, принес в класс завернутый в бумагу, облитый

маслом блин. Иван Федорович, хотя и держался справедливости, но на эту пору был голоден и не мог противиться обольщению: взял блин, поставил перед собою книгу и начал есть. И так был занят этим, что даже не заметил, как в классе сделалась вдруг мертвая тишина. Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класса. «Поддай сюда блин! Поддай, говорят тебе, негодяй!» — сказал грозный учитель, схватил пальцами масляный блин и выбросил его за окно, строго запретив бегавшим по двору школьникам поднимать его. После этого тут же высек он пребольно Ивана Федоровича по рукам. И дело: руки виноваты, зачем брали, а не другая часть тела. Как бы то ни было, только с этих пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более. Может быть, это самое происшествие было причиною того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не всегда удается хоронить концы.

Было уже ему без малого пятнадцать лет,

когда перешел он во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики принял он за пространный, за книгу о должностях человека и за дробь. Но, увидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивши известие, что батюшка приказал долго жить, пробыл еще два года и, с согласия матушки, вступил потом в П*** пехотный полк.

П*** пехотный полк был совсем не такого сорта, к какому принадлежат многие пехотные полки; и, несмотря на то, что он большею частью стоял по деревням, однако ж был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки и умела таскать жидов за пейсики не хуже гусаров; несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник П*** полка никогда не упускал случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У меня-с, — говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова, — многие пляшут-с мазурку; весьма многие-с; очень многие-с». Чтоб еще более показать читателям образованность П*** пехотного полка, мы при-

бавим, что двое из офицеров были страшные игроки в банк и проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и даже исподнее платье, что не везде и между кавалеристами можно сыскать.

Обхождение с такими товарищами, однако же, ничуть не уменьшило робости Ивана Федоровича. И так как он не пил выморозок, предпочитая им рюмку водки пред обедом и ужином, не танцевал мазурки и не играл в банк, то, натурально, должен был всегда оставаться один. Таким образом, когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе: то чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постеле. Зато не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что ротный командир всегда ставил его в образец. Зато в скором времени, спустя одиннадцать лет после получения прапорщичьего чина, произведен он был в подпоручики.

В продолжение этого времени он получил известие, что матушка скончалась; а тетушка, родная сестра матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылала даже в Гадяч сушеные груши и деланные ею самую превкусные пряники (с матушкой она была в ссоре, и потому Иван Федорович после не видал ее), — эта тетушка, по своему добродушию, взялась управлять небольшим его имением, о чем известила его в свое время письмом. Иван Федорович, будучи совершенно уверен в благоразумии тетушки, начал по-прежнему исполнять свою службу. Иной на его месте, получивши такой чин, возгордился бы; но гордость совершенно была ему неизвестна, и, сделавшись подпоручиком, он был тот же самый Иван Федорович, каким был некогда и в прапорщичьем чине. Пробыв четыре года после этого замечательного для него события, он готовился выступить вместе с полком из Могилевской губернии в Великороссию, как получил письмо такого содержания:

«Любезный племянник,
Иван Федорович!

Посылаю тебе белье: пять пар нитяных карпеток и четыре рубашки тонкого холста; да еще хочу поговорить с тобою о деле: так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно, и пришел в такие лета, что пора и хозяйством позаняться, то в воинской службе тебе незачем более служить. Я уже стара и не могу всего присмотреть в твоём хозяйстве; да и действительно, многое притом имею тебе открыть лично. Приезжай, Ванюша; в ожидании подлинного удовольствия тебя видеть, остаюсь многолюбящая твоя тетка

Василиса Цупчевська.

Чудная в огороде у нас выросла репа: больше похожа на картофель, чем на репу».

Через неделю после получения этого письма Иван Федорович написал такой ответ:

«Милостивая государыня, тетушка Василиса Кашпоровна!
Много благодарю вас за присылку белья. Особенно карпетки у меня очень старые, что даже денщик штопал их

четыре раза и очень оттого стали узкие. Насчет вашего мнения о моей службе я совершенно согласен с вами и третьего дня подал в отставку. А как только получу увольнение, то найму извозчика. Преподобнейшей вашей комиссии, насчет семян пшеницы, сибирской арнаутки, не мог исполнить: во всей Могилевской губернии нет такой. Свиной же здесь кормят большею частью брагой, подмешивая немного выигравшего пива.

С совершенным почтением, милостивая государыня тетушка, пребываю племянником

Иваном Шпонькою».

Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика, нанял за сорок рублей жиды от Могилева до Гадяча и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми, еще редкими листьями, вся земля ярко зазеленела свежую зеленью и по всему полю пахло весной.

II. Дорога

В дороге ничего не случилось слишком замечательного. Ехали с небольшим две

недели. Может быть, еще и этого скорее приехал бы Иван Федорович, но набожный жид шабашовал по субботам и, накрывшись своею попоной, молился весь день. Впрочем, Иван Федорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой человек, который не допускал к себе скуки. В то время развязывал он чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько: так ли вымыто, так ли сложено, снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков, и снова все это укладывал наилучшим образом. Книг он, вообще сказать, не любил читать; а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз. Так городской житель отправляется каждый день в клуб, не для того, чтобы услышать там что-нибудь новое, но чтобы встретить тех приятелей, с которыми он уже с незапамятных времен привык болтать в клубе. Так чиновник с большим наслаждением читает адрес-календарь по нескольку раз в день, не для каких-нибудь дипломатических затей, но его тешит до крайности печатная роспись имен.

«А! Иван Гаврилович такой-то! — повторяет он глухо про себя. — А! вот и я! гм!..» И на следующий раз снова перечитывает его с теми же восклицаниями.

После двухнедельной езды Иван Федорович достигнул деревушки, находившейся в ста верстах от Гадяча. Это было в пятницу. Солнце давно уже зашло, когда он въехал с кибиткою и с жидом на постоялый двор.

Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам. В них обыкновенно с большим усердием потчуют путешественника сеном и овсом, как будто бы он был почтовая лошадь. Но если бы он захотел позавтракать, как обыкновенно завтракают порядочные люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая. Иван Федорович, зная все это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликов и колбасою и, спросивши рюмку водки, в которой не бывает недостатка ни в одном постоялом дворе, начал свой ужин, усевшись на лавке перед дубовым столом, неподвижно вкопанным в глиняный пол.

В продолжение этого времени слышался

стук брички. Ворота заскрыпели; но бричка долго не въезжала на двор. Громкий голос бранился со старухою, содержавшею трактир. «Я взъеду, — услышал Иван Федорович, — но если хоть один клоп укусит меня в твоей хате, то прибью, ей-богу, прибью, старая колдунья! и за сено ничего не дам!»

Минуту спустя дверь отворилась, и вошел, или, лучше сказать, влез толстый человек в зеленом сюртуке. Голова его неподвижно покоилась на короткой шее, казавшейся еще толще от двухэтажного подбородка. Казалось, и с виду он принадлежал к числу тех людей, которые не ломали никогда головы над пустяками и которых вся жизнь катилась по маслу.

— Желаю здравствовать, милостивый государь! — проговорил он, увидевши Ивана Федоровича.

Иван Федорович безмолвно поклонился.

— А позвольте спросить, с кем имею честь говорить? — продолжал толстый приезжий.

При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал вытяжку, что обыкновенно он делывал, когда спрашивал его о чем полковник.

— Отставной поручик, Иван Федоров Шпонька, — отвечал он.

— А смею ли спросить, в какие места изволите ехать?

— В собственный хутор-с, Вытребеньки.

— Вытребеньки! — воскликнул строгий допросчик. — Позвольте, милостивый государь, позвольте! — говорил он, подступая к нему и размахивая руками, как будто бы кто-нибудь его не допускал или он продирался сквозь толпу, и, приблизившись, принял Ивана Федоровича в объятия и облобызал сначала в правую, потом в левую и потом снова в правую щеку. Ивану Федоровичу очень понравилось это лобызание, потому что губы его приняли большие щеки незнакомца за мягкие подушки.

— Позвольте, милостивый государь, познакомиться! — продолжал толстяк. — Я помещик того же Гадячского повета и ваш сосед. Живу от хутора вашего Вытребеньки не дальше пяти верст, в селе Хортыще; а фамилия моя Григорий Григорьевич Сторченко. Непременно, непременно, милостивый государь, и знать вас не хочу, если не приедете в гости в

село Хортыще. Я теперь спешу по надобности... А что это? — проговорил он кротким голосом вошедшему своему лакею, мальчику в козацкой свитке с заплатами на локтях, с недоумевающей миной ставившему на стол узлы и ящики. — Что это? что? — и голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. — Разве я это сюда велел ставить тебе, любезный? разве я это сюда говорил ставить тебе, подлец! Разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу, мошенник? Пошел! — вскрикнул он, топнув ногою. — Постой, рожа! где погребец со штофиками? Иван Федорович! — говорил он, наливая в рюмку настойки, — прошу покорно лекарственной!

— Ей-богу-с, не могу... я уже имел случай... — проговорил Иван Федорович с запинкою.

— И слушать не хочу, милостивый государь! — возвысил голос помещик, — и слушать не хочу! С места не сойду, покамест не выкушаете...

Иван Федорович, увидевши, что нельзя отказать, не без удовольствия выпил.

— Это курица, милостивый государь, —



продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезывая ее ножом в деревянном ящике. — Надобно вам сказать, что повариха моя Явдоха иногда любит куликнуть и оттого часто пересушивает. Эй, хлопче! — тут оборотился он к мальчику в козацкой свитке, принесшему перину и подушки, — постели постель мне на полу посередине хаты! Смотри же, сена повыше наклади под подушку! да выдерни у бабы из мычки клочок пеньки, заткнуть мне уши на ночь! Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо

таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: в ухе так и щекочет, так и щекочет... ну, хоть на стену! Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей.

— Действительно, вы изволите говорить совершенную-с правду. Иная точно бывает... — Тут он остановился, как бы не приближая далее приличного слова.

Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова. Может быть, это происходило от робости, а может, и от желания выразиться красивее.

— Хорошенько, хорошенько перетряси сено! — говорил Григорий Григорьевич своему лакею. — Тут сено такое гадкое, что, того и гляди, как-нибудь попадет сучок. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи! Завтра уже не увидимся: я выезжаю до зари. Ваш жид будет шабашовать, потому что

завтра суббота, и потому вам нечего вставать рано. Не забудьте же моей просьбы; и знать вас не хочу, когда не приедете в село Хортыще.

Тут камердинер Григория Григорьевича стащил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат, и Григорий Григорьевич повалился на постель, и казалось, огромная перина легла на другую.

— Эй, хлопче! куда же ты, подлец? Подь сюда, поправь мне одеяло! Эй, хлопче, подмости под голову сена! да что, коней уже напоили? Еще сена! сюда, под этот бок! да поправь, подлец, хорошенько одеяло! Вот так, еще! ох!..

Тут Григорий Григорьевич еще вздохнул раза два и пустил страшный носовой свист по всей комнате, всхрапывая по временам так, что дремавшая на лежанке старуха, пробудившись, вдруг смотрела в оба глаза на все стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова.

На другой день, когда проснулся Иван Федорович, уже толстого помещика не было. Это было одно только замечательное происшествие, случившееся с ним на дороге. На тре-

тий день после этого приближался он к своему хуторку.

Тут почувствовал он, что сердце в нем сильно забилося, когда выглянула, махая крыльями, ветряная мельница и когда, по мере того как жид гнал своих кляч на гору, показывался внизу ряд верб. Живо и ярко блестел сквозь них пруд и дышал свежестью. Здесь когда-то он купался, в этом самом пруде он когда-то с ребяташками брел по шею в воде за раками. Кибитка въехала на греблю, и Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый очеретом; те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдкой лазил. Только что въехал он на двор, как сбежались со всех сторон собаки всех сортов: бурые, черные, серые, пегие. Некоторые с лаем кидались под ноги лошадям, другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом; один, стоя возле кухни и накрыв лапою кость, заливался во все горло; другой лаял издали и бегал взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая: «Посмотрите, люди крещеные, какой я прекрасный молодой человек!» Мальчишки в запач-

канных рубашках бежали глядеть. Свинья, прохаживавшаяся по двору с шестнадцатью поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество ряден с пшеницею, просом и ячменем, сушившихся на солнце. На крыше тоже немало сушилось разного рода трав: петровых багатов, нечуй-ветра и других.

Иван Федорович так был занят рассматриванием этого, что очнулся тогда только, когда пегая собака укусила слазившего с козел жид за икру. Сбежавшаяся дворня, состоявшая из поварихи, одной бабы и двух девок в шерстяных исподницах, после первых восклицаний: «Та се ж паныч наш!» — объявила, что тетушка садила в огороде пшеничку, вместе с девкою Палашкою и кучером Омельком, исправлявшим часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали увидела рогожную кибитку, была уже здесь. И Иван Федорович изумился, когда она почти подняла его на руках, как бы не доверяя, та ли это тетушка, которая писала к нему о своей дряхлости и болезни.

III. Тетушка

Тетушка Василиса Кашпоровна в это время имела лет около пятидесяти. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило оттого, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу сделать ей признание. «Весьма с большим характером Василиса Кашпоровна!» — говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпоровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она, собственною своею мужественною рукою дергая каждый день за чуб, без всякого постороннего средства умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинский, дородность и силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировую шаль в день светлого воскресенья и своих именин, тогда

как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду: она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова; стреляла дичь; стояла неотлучно над косарями; знала наперечет число дынь и арбузов на баштане; брала пошлину по пяти копеек с воза, проезжавшего через ее греблю; взлезала на дерево и трусила груши, била ленивых вассалов своею страшною рукою и подносила достойным рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она бранилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье и хлопотала весь день и везде попевала. Следствием этого было то, что маленькое именье Ивана Федоровича, состоявшее из осьмнадцати душ по последней ревизии, процветало в полном смысле сего слова. К тому ж она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копейку.

По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, натура именно создала его для управления осьмна-

дцатидушным именем. Сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во все еще отрасли хозяйства позволяла ему вмешиваться. «Воно ще молода дытына, — обыкновенно она говаривала, несмотря на то что Ивану Федоровичу было без малого сорок лет, — где ему все знать!»

Однако ж он неотлучно бывал в поле при жнецах и косарях, и это доставляло наслаждение неизъяснимое его кроткой душе. Единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча гостей, то заунывные, как разлука; спокойный, чистый вечер, и что за вечер! как волен и свеж воздух! как тогда оживлено все: степь краснеет, синее и горит цветами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик и вдруг стройный хор; и все не молчит ни на минуту. А солнце садится и кроется. У! как свежо и хорошо! По полю, то там, то там, раскладываются огни и ставят котлы, и вокруг котлов садятся усатые косари; пар от галушек несется. Сумерки сереют...

Трудно рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он забывал, присоединяясь к косарям, отведать их галушек, которые очень любил, и стоял недвижимо на одном месте, следя глазами пропадавшую в небе чайку или считая копы нажитого хлеба, унизывавшие поле.

В непродолжительном времени об Иване Федоровиче везде пошли речи как о великом хозяине. Тетушка не могла нарадоваться своим племянником и никогда не упускала случая им похвастаться. В один день, — это было уже по окончании жатвы, и именно в конце июля, — Василиса Кашпоровна, взявши Ивана Федоровича с таинственным видом за руку, сказала, что она теперь хочет поговорить с ним о деле, которое с давних пор уже ее занимает.

— Тебе, любезный Иван Федорович, — так она начала, — известно, что в твоём хуторе осьмнадцать душ; впрочем, это по ревизии, а без того, может, наберется больше, может, будет до двадцати четырех. Но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашею левадою, и, верно, знаешь за тем же лесом широкий

луг: в нем двадцать без малого десятин; а травы столько, что можно каждый год продавать больше чем на сто рублей, особенно если, как говорят, в Гадяче будет конный полк.

— Как же-с, тетушка, знаю: трава очень хорошая.

— Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя? Что ж ты так выпучил глаза? Слушай, Иван Федорович! Ты помнишь Степана Кузьмича? Что я говорю: помнишь! Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени; куда ж! Я помню, когда приехала на самое пущенье, перед филипповкою, и взяла было тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платья; к счастью, что успела передать тебя мамке Матрене. Такой ты тогда был гадкий!.. Но не об этом дело. Вся земля, которая за нашим хутором, и самое село Хортыще было Степана Кузьмича. Он, надобно тебе объявить, еще тебя не было на свете, как начал ездить к твоей матушке; правда, в такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, однако ж, это не в укор ей говорю. Упокой господи ее душу! — хотя покойница

была всегда неправа против меня. Но не об этом дело. Как бы то ни было, только Степан Кузьмич сделал тебе дарственную запись на то самое имение, об котором я тебе говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была пречудного нрава. Сам черт, господи прости меня за это гадкое слово, не мог бы понять ее. Куда она дела эту запись — один бог знает. Я думаю, просто, что она в руках этого старого холостяка Григория Григорьевича Сторченка. Этой пузатой шельме досталось все его имение. Я готова ставить бог знает что, если он не утаил записи.

— Позвольте-с доложить, тетушка: не тот ли это Сторченко, с которым я познакомился на станции?

Тут Иван Федорович рассказал про свою встречу.

— Кто его знает! — отвечала, немного подумав, тетушка. — Может быть, он и не негодай. Правда, он всего только полгода как переехал к нам жить; в такое время человека не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина и, говорят, большая мастерица солить огурцы. Ковры собствен-

ные девки ее умеют отлично хорошо выделывать. Но так как ты говоришь, что он тебя хорошо принял, то поезжай к нему! Может быть, старый грешник послушается совести и отдаст, что принадлежит не ему. Пожалуй, можешь поехать и в бричке, только проклятая дитвора повыдергивала сзади все гвозди. Нужно будет сказать кучеру Омельке, чтобы прибил везде получше кожу.

— Для чего, тетушка? Я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь.

Этим окончился разговор.

IV. Обед

В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хортыще и немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под очеретяною, как у многих окружных помещиков, но под деревянною крышею. Два амбара в дворе тоже под деревянною крышею; ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватее его. Из почтения он остановил свой возок возле амбара и подошел пешком к крыльцу.

— А! Иван Федорович! — закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, но без галстука, жилета и подтяжек. Однако ж и этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что пот катился с него градом. — Что же вы говорили, что сейчас, как только увидите с тетушкой, приедете, да и не приехали? — После сих слов губы Ивана Федоровича встретили те же самые знакомые подушки.

— Большею частью занятия по хозяйству... Я-с приехал к вам на минутку, собственно по делу...

— На минутку? Вот этого-то не будет. Эй, хлопче! — закричал толстый хозяин, и тот же самый мальчик в козацкой свитке выбежал из кухни. — Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер, слышишь, запер крепче! А коней вот этого пана распряг бы сию минуту! Прошу в комнату; здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра.

Иван Федорович, вошедши в комнату, решил не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно.

— Тетушка имела честь... сказывала мне,

что дарственная запись покойного Степана Кузьмича...

Трудно изобразить, какую неприятную мину сделало при этих словах обширное лицо Григория Григорьевича.

— Ей-богу, ничего не слышу! — отвечал он. — Надобно вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах проклятые кацапы везде поразводили тараканов. Невозможно описать никаким пером, что за мучение было. Так вот и щекочет, так и щекочет. Мне помогла уже одна старуха самым простым средством...

— Я хотел сказать... — осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другое, — что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи... по ней следует-с мне...

— Я знаю, это вам тетушка успела наговорить. Это ложь, ей-богу, ложь! Никакой дарственной записи дядюшка не делал. Хотя, правда, в завещании и упоминается о какой-то записи; но где же она? никто не представил ее. Я вам это говорю потому, что ис-

кренно желаю вам добра. Ей-богу, это ложь!

Иван Федорович замолчал, рассуждая, что, может быть, и в самом деле тетушке так только показалось.

— А вот идет сюда матушка с сестрами! — сказал Григорий Григорьевич, — следовательно, обед готов. Пойдемте! — При сем он потащил Ивана Федоровича за руку в комнату, в которой стояла на столе водка и закуски.

В то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейник в чепчике, с двумя барышнями — белокурой и черноволосой. Иван Федорович, как воспитанный кавалер, подошел сначала к старушкиной ручке, а после к ручкам обеих барышень.

— Это, матушка, наш сосед, Иван Федорович Шпонька! — сказал Григорий Григорьевич.

Старушка смотрела пристально на Ивана Федоровича, или, может быть, только казалась смотревшею. Впрочем, это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить Ивана Федоровича: сколько вы на зиму насоливаете огурцов?

— Вы водку пили? — спросила старушка.

— Вы, матушка, верно, не выпались, — сказал Григорий Григорьевич, — кто ж спрашивает гостя, пил ли он? Вы потчуйте только; а пили ли мы или нет, это наше дело. Иван Федорович! прошу, золототысячниковой или трохимовской сивушки, какой вы лучше любите? Иван Иванович, а ты что стоишь? — произнес Григорий Григорьевич, оборотившись назад, и Иван Федорович увидел подходившего к водке Ивана Ивановича, в долгополом сюртуке с огромным стоячим воротником, закрывавшим весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке.

Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету, вылил разом из рюмки всю водку в рот, но, не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил; и, закусивши хлебом с солеными опенками, оборотился к Ивану Федоровичу.

— Не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить?

— Так точно-с, — отвечал Иван Федорович.

— Очень много изволили перемениться с

того времени, как я вас знаю. Как же, — продолжал Иван Иванович, — я еще помню вас вот какими! — При этом поднял он ладонь на аршин от пола. — Покойный батюшка ваш, дай боже ему царствие небесное, редкий был человек. Арбузы и дыни всегда бывали у него такие, какие теперь нигде не найдете. Вот хоть бы и тут, — продолжал он, отводя его в сторону, — подадут вам за столом дыни. Что это за дыни? — смотреть не хочется! Верите ли, милостивый государь, что у него были арбузы, — произнес он с таинственным видом, расставляя руки, как будто бы хотел обхватить толстое дерево, — ей-богу, вот какие!

— Пойдемте за стол! — сказал Григорий Григорьевич, взявши Ивана Федоровича за руку.



Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте, в конце стола, завесившись огромною салфеткою и походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках. Иван Федорович, краснея, сел на указанное ему место против двух барышень; а Иван Иванович не преминул поместиться возле него, радуясь душевно, что будет кому сообщать свои познания.

— Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович! Это индейка! — сказала старушка, обратившись к Ивану Федоровичу, которому в это время поднес блюдо деревенский официант в сером фраке с черною заплатою. — Возьмите спинку!

— Матушка! ведь вас никто не просит мешаться! — произнес Григорий Григорьевич. — Будьте уверены, что гость сам знает, что ему взять! Иван Федорович, возьмите крылышко, вон другое, с пупком! Да что ж вы так мало взяли? Возьмите стегнушко! Ты что разинул рот с блюдом? Проси! Становись, подлец, на колени! Говори сейчас: «Иван Федорович, возьмите стегнушко!»

— Иван Федорович, возьмите стегнушко! — проревел, став на коленку официант с блюдом.

— Гм, что это за индейка! — сказал вполголоса Иван Иванович с видом пренебрежения, оборотившись к своему соседу. — Такие ли должны быть индейки! Если бы вы увидели у меня индеек! Я вас уверяю, что жиру в одной больше, чем в десятке таких, как эти. Верите ли, государь мой, что даже противно смотреть, когда ходят они у меня по двору, так жирны!..

— Иван Иванович, ты лжешь! — произнес Григорий Григорьевич, вслушавшись в его речь.

— Я вам скажу, — продолжал все так же своему соседу Иван Иванович, показывая вид, будто бы он не слышал слов Григория Григорьевича, — что прошлый год, когда я отправлял их в Гадяч, давали по пятидесяти копеек за штуку. И то еще не хотел брать.

— Иван Иванович, я тебе говорю, что ты лжешь! — произнес Григорий Григорьевич, для лучшей ясности — по складам и громче прежнего.

Но Иван Иванович, показывая вид, будто это совершенно относилось не к нему, продолжал так же, но только гораздо тише.

— Именно, государь мой, не хотел брать. В Гадяче ни у одного помещика...

— Иван Иванович! ведь ты глуп, и больше ничего, — громко сказал Григорий Григорьевич. — Ведь Иван Федорович знает все это лучше тебя и, верно, не поверит тебе.

Тут Иван Иванович совершенно обиделся, замолчал и принялся убирать индейку, несмотря на то что она не так была жирна, как те, на которые противно смотреть.

Стук ножей, ложек и тарелок заменил на время разговор; но громче всего слышалось высмактывание Григорием Григорьевичем мозгу из бараньей кости.

— Читали ли вы, — спросил Иван Иванович после некоторого молчания, высовывая голову из своей брички к Ивану Федоровичу, — книгу «Путешествие Коробейникова ко святым местам»? Истинное услаждение души и сердца! Теперь таких книг не печатают. Очень сожалетельно, что не посмотрел, которого году.

Иван Федорович, услышавши, что дело идет о книге, прилежно начал набирать себе соусу.

— Истинно удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой мещанин прошел все места эти. Более трех тысяч верст, государь мой! Более трех тысяч верст. Подлинно, его сам господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме.

— Так вы говорите, что он, — связал Иван Федорович, который много наслышался о Иерусалиме еще от своего денщика, — был и в Иерусалиме?..

— О чем вы говорите, Иван Федорович? — произнес с конца стола Григорий Григорьевич.

— Я, то есть, имел случай заметить, что какие есть на свете далекие страны! — сказал Иван Федорович, будучи сердечно доволен тем, что выговорил столь длинную и трудную фразу.

— Не верьте ему, Иван Федорович! — сказал Григорий Григорьевич, не вслушавшись хорошенько, — все врет!

Между тем обед кончился. Григорий Гри-

горьевич отправился в свою комнату, но обыкновенно, немножко всхрапнуть; а гости пошли вслед за старушкою хозяйкою и барышнями в гостиную, где тот самый стол, на котором оставили они, выходя обедать, водку, как бы превращением какие, покрылся блю-дечками с вареньем разных сортов и блюдами с арбузами, вишнями и дынями.

Отсутствие Григория Григорьевича заметно было во всем. Хозяйка сделалась словоохотнее и открывала сама, без просьбы, множество секретов насчет делания пастилы и сушения груш. Даже барышни стали говорить; но белокурая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры и которой по виду было около двадцати пяти лет, была молчаливее.

Но более всех говорил и действовал Иван Иванович. Будучи уверен, что его теперь никто не собьет и не смешает, он говорил и об огурцах, и о посеве картофеля, и о том, какие в старину были разумные люди — куда против теперешних! — и о том, как всё, чем далее, умнеет и доходит к выдумыванию мудрейших вещей. Словом, это был один из чис-

ла тех людей, которые с величайшим удовольствием любят позаняться услаждающим душу разговором и будут говорить обо всем, о чем только можно говорить. Если разговор касался важных и благочестивых предметов, то Иван Иванович вздыхал после каждого слова, кивая слегка головою; ежели до хозяйственных, то высовывал голову из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочесть, как нужно делать грушевый квас, как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирны те гуси, которые бегают у него по двору.

Наконец с великим трудом, уже ввечеру, удалось Ивану Федоровичу распрощаться; и, несмотря на свою стоворчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял-таки в своем намерении ехать, и уехал.

V. Новый замысел тетушки

— Ну что? выманил у старого лиходея записку? — Таким вопросом встретила Ивана Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпела наконец, чтоб не выбежать за ворота.

— Нет, тетушка! — сказал Иван Федорович, слезая с повозки, — у Григория Григорьевича нет никакой записи.

— И ты поверил ему! Врет он, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком, нельзя ли судом с него стребовать... Но не об этом теперь дело. Ну, что ж, обед был хороший?

— Очень... да, весьма, тетушка.

— Ну, какие ж были кушанья, расскажи? Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней.

— Сырники были во сметаню, тетушка. Соус с голубями, начищенными...

— А индейка со сливами была? — спросила тетушка, потому что сама была большая искусница готовить это блюдо.

— Была и индейца!.. Весьма красивые барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая!

— А! — сказала тетушка и посмотрела пристально на Ивана Федоровича, который, покраснев, потупил глаза в землю. Новая мысль

быстро промелькнула в ее голове. — Ну, что ж? — спросила она с любопытством и живо, какие у ней брови?

Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях.

— Брови, тетушка, совершенно-с такие, какие, вы рассказывали, в молодости были у вас. И по всему лицу небольшие веснушки.

— А! — сказала тетушка, будучи довольна замечанием Ивана Федоровича, который, однако ж, не имел и в мыслях сказать этим комплимент. — Какое ж было на ней платье? хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не об этом дело. Ну, что ж, ты говорил о чем-нибудь с нею?

— То есть как?.. я-с, тетушка? Вы, может быть, уже думаете...

— А что ж? что тут диковинного? так богу угодно! Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкою.

— Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить. Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня...

— Ну вот, уже и обиделся! — сказала тетушка. «Ще молода дытына, — подумала она про себя, — ничего не знает! нужно их свести вместе, пусть познакомятся!»

Тут тетушка пошла заглянуть в кухню и оставила Ивана Федоровича. Но с этого времени она только и думала о том, как увидеть скорее своего племянника женатым и понанчить маленьких внучков. В голове ее громоздились одни только приготовления к свадьбе, и заметно было, что она во всех делах суетилась гораздо более, нежели прежде, хотя, впрочем, эти дела более шли хуже, нежели лучше. Часто, делая какое-нибудь пирожное, которое вообще она никогда не доверяла кухарке, она, позабывшись и воображая, что возле нее стоит маленький внучек, просящий пирога, рассеянно протягивала к нему руку с лучшим куском, а дворовая собака, пользуясь этим, схватывала лакомый кусок и своим громким чваканьем выводила ее из задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергой. Даже оставила она любимые свои занятия и не ездила на охоту, особливо когда вместо куропатки застрелила ворону, чего никогда

прежде с нею не бывало.

Наконец, спустя дня четыре после этого, все увидели выкаченную из сарая на двор бричку. Кучер Омелько, он же и огородник и сторож, еще с раннего утра стучал молотком и приколачивал кожу, отгоняя беспрестанно собак, лизавших колеса. Долгом почитаю предуведомить читателей, что это была именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам; и потому, если кто будет выдавать другую за адамовскую, то это суцая ложь и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа. Должно думать, что в Ноевом ковчеге был особенный для нее сарай. Жаль очень, что читателям нельзя описать живо ее фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпорова была очень довольна ее архитектурою и всегда изъявляла сожаление, что вывелись из моды старинные экипажи. Самое устройство брички, немного набок, то есть так, что правая сторона ее была гораздо выше левой, ей очень нравилось, потому что с одной стороны может, как она говорила, влезать малорослый, а с другой — великорослый. Впрочем,

внутри брички могло поместиться штук пять малорослых и трое таких, как тетушка.



Около полудня Омелько, управившись

около брички, вывел из конюшни тройку лошадей, немного чем моложе брички, и начал привязывать их веревкою к величественному экипажу. Иван Федорович и тетушка, один с левой стороны, другая с правой, влезли в бричку, и она тронулась. Попадавшиеся на дороге мужики, видя такой богатый экипаж (тетушка очень редко выезжала в нем), почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись в пояс. Часа через два кибитка остановилась пред крыльцом, — думаю, не нужно говорить: пред крыльцом дома Сторченка. Григория Григорьевича не было дома. Старушка с барышнями вышла встретить гостей в столовую. Тетушка подошла величественным шагом, с большою ловкостью отставила одну ногу вперед и сказала громко:

— Очень рада, государыня моя, что имею честь лично доложить вам мое почтение. А вместе с респектом позвольте поблагодарить за хлебосольство ваше к племяннику моему Ивану Федоровичу, который много им хвалится. Прекрасная у вас гречиха, сударыня! я видела ее, подъезжая к селу. А позвольте узнать, сколько коп вы получаете с десяти-

ны?

После сего последовало всеобщее лобызание. Когда же уселись в гостиной, то старушка хозяйка начала:

— Насчет гречихи я не могу вам сказать: это часть Григория Григорьевича. Я уже давно не занимаюсь этим; да и не могу: уже стара! В старину у нас, бывало, я помню, гречиха была по пояс, теперь бог знает что. Хотя, впрочем, и говорят, что теперь все лучше. — Тут старушка вздохнула; и какому-нибудь наблюдателю послышался бы в этом вздохе вздох старинного осьмнадцатого столетия.

— Я слушала, моя государыня, что у вас собственные ваши девки отличные умеют выделывать ковры, — сказала Василиса Кашпоровна и этим задела старушку за самую чувствительную струну. При этих словах она как будто оживилась, и речи у ней полились о том, как должно красить пряжу, как готовить для этого нитку. С ковров быстро съехал разговор на соление огурцов и сушение груш. Словом, не прошло часу, как обе дамы так разговорились между собою, будто век были знакомы. Василиса Кашпоровна многое

уже начала говорить с нею таким тихим голо-
сом, что Иван Федорович ничего не мог рас-
слушать.

— Да не угодно ли посмотреть? — сказала,
вставая, старушка хозяйка.

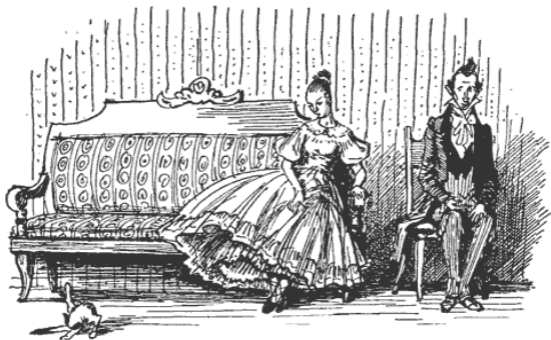
За нею встали барышни и Василиса Ка-
шпоровна, и все потянулись в девичью. Те-
тушка, однако ж, дала знак Ивану Федорови-
чу остаться и сказала что-то тихо старушке.

— Машенька! — сказала старушка, обра-
щаясь к белокурой барышне, — останься с го-
стем да поговори с ним, чтобы гостю не было
скучно!

Белокурая барышня осталась и села на ди-
ван. Иван Федорович сидел на своем стуле
как на иголках, краснел и потуплял глаза; но
барышня, казалось, вовсе этого не замечала и
равнодушно сидела на диване, рассматривая
прилежно окна и стены или следуя глазами
за кошкою, трусливо пробегавшею под сту-
льями.

Иван Федорович немного ободрился и хо-
тел было начать разговор; но казалось, что
все слова свои растерял он на дороге. Ни одна
мысль не приходила на ум.

Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела.



Наконец Иван Федорович собрался духом. — Летом очень много мух, сударыня! — произнес он полудрожащим голосом.

— Чрезвычайно много! — отвечала барышня. — Братец нарочно сделал хлопущку из старого маменькиного башмака; но все еще очень много.

Тут разговор опять прекратился. И Иван Федорович никаким образом уже не находил речи.

Наконец хозяйка с тетушкою и чернявою барышнею возвратились. Поговоривши еще

немного, Василиса Кашпоровна распростилась с старушкою и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из брички тетушке и племяннику.

— Ну, Иван Федорович! о чем же вы говорили вдвоем с барышней? — спросила дороною тетушка.

— Весьма скромная и благонравная девица Марья Григорьевна! — сказал Иван Федорович.

— Слушай, Иван Федорович! я хочу поговорить с тобою сурьезно. Ведь тебе, слава богу, тридцать осьмой год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать и об детях! Тебе непременно нужна жена...

— Как, тетушка! — вскричал, испугавшись, Иван Федорович. — Как жена! Нет-с, тетушка, сделайте милость... Вы совершенно в стыд меня приводите... я еще никогда не был женат... Я совершенно не знаю, что с нею делать!

— Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь, — промолвила, улыбаясь, тетушка и подумала про себя: — «Куды ж! ще зовсим молода ды-

тына, ничего не знает!» — Да, Иван Федорович! — продолжала она вслух, — лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась. Мы уже насчет этого много переговорили с старухою: она очень рада видеть тебя своим зятем; еще неизвестно, правда, что скажет этот греходей Григорьевич. Но мы не посмотрим на него, и пусть только он вздумает не отдать приданого, мы его судом...

В это время бричка подъехала к двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стойло.

— Слушай, Омелько! коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчас, распрягши, к водопою! они лошади горячие. Ну, Иван Федорович, — продолжала, вылезая, те-тушка, — я советую тебе хорошенько подумать об этом. Мне еще нужно забежать в кухню, я позабыла Солохе заказать ужин, а она негодная, я думаю, сама и не подумала об этом.

Но Иван Федорович стоял, как будто громом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!.. это казалось ему так странно, так чудно, что он

никак не мог подумать без страха. Жить с женою!.. непонятно! Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое!.. Пот проступал у него на лице, по мере того чем более углублялся он в размышление.

Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его; но какой сон! еще несвязнее сновидений он никогда на видывал. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствует под собою ног... вот уже выбивается из сил... Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай! кто это?» — «Это я, твоя жена!» — с шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоил вместо одинокой — двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит

третья жена. Назад — еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена, вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена... То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек». Он к ней — но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. «Кто это тащит меня?» — жалобно проговорил Иван Федорович. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол». — «Нет, я не колокол, я Иван Федорович!» — кричал он. «Да, ты колокол», — говорил, проходя мимо, полковник П*** пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. «Какой прикажете материи? — говорит купец. — Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван

Федорович берет под мышку, идет к жиду, портному. «Нет, — говорит жид, — это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука...»

В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом.

Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец, по своей редкой доброте и бескорыстию, поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон.

Между тем в голове тетушки созрел совершенно новый замысел, о котором узнаете в следующей главе.

Заколдованное место Быль, рассказанная дьячком *ской церкви**

Ей-богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в послед-



ний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи... Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит! Вот извольте видеть: нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать; так нет же, не одиннадцать: я помню как теперь, когда раз побежал было на четвереньках и стал лаять по-собачьи, батяко закричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома! тебя

женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!» Дед был еще тогда жив и на ноги — пусть ему легко ткнется на том свете — довольно крепок. Бывало, вздумает...

Да что ж эдак рассказывать? Один выгребают из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что, в самом деле!.. Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать!

Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трех годового брата — приучать заранее чумаковать. Нас осталось: дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень; взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было нельзя сказать чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Ну, оно притом же и прибыльно. Проезжие толкуются по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынею. Да из окрестных

хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее.

Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдет рассказывать — только уши развешивай! А деду это все равно что голодному галушки. Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми, — деда всякий уже знал, — можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было... ну, и разольются! вспомнят бог знает когдашнее.

Раз, — ну вот, право, как будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтоб не попеклись на солнце.

— Смотри, Остап! — говорю я брату, — вон чумаки едут!

— Где чумаки? — сказал дед, положивши значок на большой дыне; чтобы на случай не съели хлопцы.

По дороге тянулось точно возов шесть. Впереди шел чумака уже с сизыми усами. Не

дошедши шагов — как бы вам сказать — на десять, он остановился.

— Здорово, Максим! Вот привел бог где увидеться!

Дед прищурил глаза:

— А! здорово, здорово! откуда бог несет? И Болячка здесь? здорово, здорово, брат! Что за дьявол! да тут все: и Крутотрыщенко! и Печерыця и Ковелек! и Стецько! здорово! А, га, га! го, го!.. — И пошли целоваться.

Волов распрягли и пустили пастись на траву. Вozy оставили на дороге; а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? за рассказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот.

— Что же вы, хлопцы, — сказал дед, — рты

свои разинули? танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Фома, берись в боки! ну! вот так! гей, гоп!

Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая! теперь уже не пойду так; вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте: так, как будто их что-нибудь дергает.

— Смотри, Фома, — сказал Остап, — если старый хрен не пойдет танцевать!

Что ж вы думаете? не успел он сказать — не вытерпел старичина! захотелось, знаете, прихвастнуть пред чумаками.

— Вишь, чертовы дети! разве так танцуют? Вот как танцуют! — сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками.

Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однако ж до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, — не поднимаются ноги, да и только! Что за

пропасть! Разогнался снова, дошел до середины — не берет! что хочь делай: не берет, да и не берет! ноги как деревянные стали! «Вишь, дьявольское место! вишь, сатанинское наваждение! впутается же ирод, враг рода человеческого!»

Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть; до середины — нет! не вытанцывается, да и полно!

— А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! чтоб еще маленьким издохнул, собачий сын! вот на старость наде- лал стыда какого!..

И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего; назади, впереди, по сторонам — гладкое поле.

— Э! ссс... вот тебе на!

Начал прищуривать глаза — место, кажись, не совсем незнакомое: сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть! да это голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны тоже что-то сереет; взгляделся: гумно волостного писаря. Вот куда затащила нечистая сила! По-

колесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру!» — подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка.

— Вишь! — стал дед и руками подперся в бока, и глядит: свечка потухла; вдали и немного подалее загорелась другая. — Клад! — закричал дед. — Я ставлю бог знает что, если не клад! — и уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. — Эх, жаль! ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после!

Вот, перетянувши сломленную, видно вихрем, порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть; мелькнул плетень. «Ну, так! не говорил ли я, — подумал дед, — что это попова левада? Вот и плетень его! теперь и версты нет до баштана».

Поздненько, однако ж, пришел он домой и

галушек не захотел есть. Разбудивши брата Остапа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал было спрашивать:

— А куда тебя, дед, черти дели сегодня?

— Не спрашивай, — сказал он, завертываясь еще крепче, — не спрашивай, Остап; не то поседеешь! — И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось! Нечего сказать, хитрая была бестия, дай боже ему царствие небесное! — умел отделаться всегда. Иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать.

На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес. Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в поле. Кажись, та самая. Вышел и на поле — место точь-в-точь вчерашнее: вон и голубятня торчит; но гумна не видно. «Нет, это не то место. То, стало быть, подальше; нужно, видно,

поворотить к гумну!» Поворотил назад, стал идти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нет! Опять поворотил поближе к голубятне — гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало.

— А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!

А дождь пустился, как будто из ведра.



Вот, скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез в курень, промокши насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими

словами, какие я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы, верно, покраснел, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дед ходит по баштану как ни в чем не бывало и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза; а пообедавши, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть; и дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкою. Теперь таких дынь я нигде и не видывал. Правда семена ему что-то издалека достались.

Вечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы: «Проклятое место!» — взошел на середину, где не вытанцовывалось позавчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять с собою заступ.

Вон и дорожка! вон и могилка стоит! вон и ветка повалена! вон-вон горит и свечка! Как бы только не ошибиться».

Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка погасла; на могиле лежал камень, заросший травой. «Этот камень нужно поднять!» — подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. Велик проклятый камень! вот, однако ж, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. «Гу!» — пошло по долине. «Туда тебе и дорога! Теперь живее пойдет дело».



Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было подне-

сти к носу, как вдруг над головою его «чихи!» — чихнули что-то так, что покачнулись деревья и деду забрызгало все лицо.

— Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть! — проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет. — Нет, не любит, видно, черт табаку! — продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. — Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать!

Стал копать — земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидел он котел.

— А, голубчик, вот где ты! — вскрикнул дед, подсовывая под него заступ.

— А, голубчик, вот где ты! — запищал птичий нос, клюнувши котел.

Посторонился дед и выпустил заступ.

— А, голубчик, вот где ты! — заблеяла баранья голова с верхушки дерева.

— А, голубчик, вот где ты! — заревел медведь, высунувши из-за дерева свое рыло.

Дрожь проняла деда.

— Да тут страшно слово сказать! — проворчал он про себя.

— Тут страшно слово сказать! — пискнул птичий нос.

— Страшно слово сказать! — заблеяла баранья голова.

— Слово сказать! — ревнул медведь.

— Гм... — сказал дед и сам перепугался.

— Гм! — пропищал нос.

— Гм! — проблеял баран.

— Гум! — заревел медведь.

Со страхом оборотился он: боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца; вокруг провалы; под ногами круча без дна; над головою свесилась гора и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него! И чудится деду, что из-за нее мигает какая-то харя: у! у! нос — как мех в кузнице; ноздри — хоть по ведру воды влей в каждую! губы, ей-богу, как две колоды! красные очи выкатились наверх, и еще и язык высунула и дразнит!

— Черт с тобою! — сказал дед, бросив котел. — На тебе и клад твой! Экая мерзостная рожа! — и уже ударился было бежать, да огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему. — Это только пугает нечистая сила!

Принялся снова за котел — нет, тяжел! Что делать? Тут же не оставить! Вот, собравши все силы, ухватился он за него руками.

— Ну, разом, разом! еще, еще! — и вытащил! — Ух! Теперь понюхать табаку!

Достал рожок; прежде, однако ж, чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли кого: кажись, что нет; но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется, показываются уши, наливаются красные глаза; ноздри раздулись, нос поморщился и вот так и собирается чихнуть. «Нет, не понюхаю табаку, — подумал дед, спрятавши рожок, — опять заплюет сатана очи». Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу; только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам... «Ай! ай, ай!» — покрикивал только дед, ударив во всю мочь; и как добежал до попова огорода, тогда только перевел немного дух.

«Куда это зашел дед?» — думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет да и нет деда! Стали опять вечерять сами. После вечера вымыла мать горшок и искала

глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг все были гряды; как видит, идет, прямо к ней навстречу кухва. На небе было-таки темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев, шаля, спрятался сзади и подталкивает ее.

— Вот кстати, сюда вылить помои! — сказала и вылила горячие помои.

— Ай! — закричало басом.

Глядь — дед. Ну, кто его знает! Ей-богу, думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а, право, смешно показалось, когда седая голова деда вся была окунута в помои и обвешана корками с арбузов и дыней.

— Вишь, чертова баба! — сказал дед, утирая голову полою, — как опарила! как будто свинью перед рождеством! Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес! — сказал дед и открыл котел.

Что ж бы, вы думали, такое там было? ну, по малой мере, подумавши, хорошенько, а? золото? Вот то-то, что не золото: сор, дрязг... стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул

котел и руки после того вымыл.

И с той поры заклил дед и нас верить когда-либо черту.

— И не думайте! — говорил он часто нам, — все, что ни скажет враг господа Христа, все солжет, собачий сын! У него правды и на копейку нет!

И, бывало, чуть только услышит старик, что в ином месте неспокойно:

— А ну-те, ребята, давайте крестить! — закричит к нам. — Так его! так его! хорошенько! — и начнет класть кресты. А то проклятое место, где не вытанцовалось, загородил плетнем, велел кидать все, что ни есть непотребного, весь бурьян и сор, который выгребал из баштана.

Так вот как морочит нечистая сила человека! Я знаю хорошо эту землю: после того нанимали ее у батька под баштан соседние козаки. Земля славная! и урожай всегда бывал на диво; но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец... черт знает что такое!



Миргород



Часть первая

Старосветские помещики

Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владельцев отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротой и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владельцев так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и беспокойные порождения злого духа, возму-

цающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сневидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых деревьев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкой от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, — все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка

моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владельцы этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь.

Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда вообразу себе, что приеду со временем

опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, — и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу.

Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружающих мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом[63], сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго

лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностью, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог въ. Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии.

Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы; вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого

вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то, в молодости, Афанасий Иванович служил в компанейцах[64], был после секунд-майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил.

Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойною и уединенною жизнью, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревянном балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас ко-

ляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу.

Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приехавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротой.

Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее.

Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пылкая молодежь, прозябнувши от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой Петра III. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комна-

тах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержащийся с такою опрятностию, с какою, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее.

Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветною шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетие, были уложены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится.

Но самое замечательное в доме — были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, — но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким

дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: «батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей... и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!

Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками, в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты материею и были несколько похожи на те стулья, на которые и доньше садятся архиереи.

Трехугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, — вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.

Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частью бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостью держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчику, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ива-

новна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый басшмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черною тучею весь потолок.

Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу; все бремя правления лежало на Пульхерии Ивановне. Хозяйство Пульхерии Ивановны состояло в беспрестанном отпираии и запираии кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике[65] водку на персиковые листья, на черемуховый цвет,

на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком, болтал такой вздор, что Пульхерия Ивановна ничего не могла понять, и отпралялся на кухню спать. Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, засушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила готовить еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои.

В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом[66], обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, наделявали множество саней и продавали их на ближней ярмарке; кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним козакам. Один только

раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартуками, от которых, как только кучер встряхивал вожжами и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан; каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее двух верст. Пульхерия Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которые она еще в детстве знавала столетними.

— Отчего это у тебя, Ничипор, — сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся, — дубки сделались так редкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки.

— Отчего редки? — говаривал обыкновенно приказчик, — пропали! Так-таки совсем пропали: и громом побило, и черви проточили, — пропали, пани, пропали.

Пульхерия Ивановна совершенно удовле-

творялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль.

Эти достойные правители, приказчик и войт, нашли вовсе излишним привозить всю муку в барские амбары, а что с бар будет довольно и половины; наконец, и эту половину привозили они заплесневшую или подмоченную, которая была обракована на ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все в дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок и часто собственными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть с него целый дождь фруктов, сколько ни клевали их воробьи и вороны, сколько вся дворня ни носила гостинцев своим кумовьям в другие деревни и даже таскала из амбаров старые полотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику, то есть к шинку, сколько ни крали гости, флегматические кучера и лакеи, — но благословенная земля производила всего в таком множестве, Афанасию Ивановичу и Пульхерии

Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве.

Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать. Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшею подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица: он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать.

После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к

Пульхерии Ивановне:

— А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?

— Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

— Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать сядились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

— Мне кажется, как будто эта каша, — говорил обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела; вам этого не кажется,

Пульхерия Ивановна?

— Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней.

— Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, — попробуем, как оно будет.

После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:

— Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.

— Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине, — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, — бывает, что и красный, да нехороший.

Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращен-

ным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетках, ночевках[67] и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил:

— Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?

— Чего же бы такого? — говорила Пульхерия Ивановна, — разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?

— И то добре, — отвечал Афанасий Иванович.

— Или, может быть, вы съели бы киселичку?

— И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедается.

Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого сажались ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина во-

дворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала:

— Чего вы стонете, Афанасий Иванович?

— Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит, — говорил Афанасий Иванович.

— А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?

— Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?

— Кислого молочка или жиденького узвару[68] с сушеными грушами.

— Пожалуй, разве так только, попробовать, — говорил Афанасий Иванович.

Сонная девка отправлялась рыться по шкафам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку; после чего он обыкновенно говорил:

— Теперь так как будто сделалось легче.

Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем.

— А что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?

— Вот это боже сохрани! — говорила Пульхерия Ивановна, крестясь.

— Ну, да положим, что дом наш сгорел, куда бы мы перешли тогда?

— Бог знает что вы говорите, Афанасий Иванович! как можно, чтобы дом мог сгореть: бог этого не попустит.

— Ну, а если бы сгорел?

— Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница.

— А если бы и кухня сгорела?

— Вот еще! бог сохранит от такого попуще-

ния, чтобы вдруг и дом и кухня сгорели! Ну, тогда в кладовую, покамест выстроился бы новый дом.

— А если бы и кладовая сгорела?

— Бог знает что вы говорите! я и слушать вас не хочу! Грех это говорить, и бог наказывает за такие речи.

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхериею Ивановною, улыбался, сидя на своем стуле.

Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них ни было лучшего, все это выносилось. Они наперерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угоща-

ет вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпущаем того же дня: он должен был непременно переночевать.

— Как можно такую позднюю порою отправляться в такую дальнюю дорогу! — всегда говорила Пульхерия Ивановна (гость обыкновенно жил в трех или в четырех верстах от них).

— Конечно, — говорил Афанасий Иванович, — неравно всякого случая: нападут разбойники или другой недобрый человек.

— Пусть бог милует от разбойников! — говорила Пульхерия Ивановна. — И к чему рассказывать эдакое на ночь. Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный да маленький, его всякая кобыла побьет; да притом теперь он уже, верно, наклюкался и спит где-нибудь.

И гость должен был непременно остаться; но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий

рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Я вижу как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашнею своею улыбкой и слушает со вниманием и даже наслаждением гостя! Часто речь заходила и об политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта, или просто рассказывал о предстоящей войне, и тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну:

— Я сам думаю пойти на войну; почему ж я не могу идти на войну?

— Вот уже и пошел! — прерывала Пульхерия Ивановна. — Вы не верьте ему, — говорила она, обращаясь к гостю. — Где уже ему, старому, идти на войну! Его первый солдат застрелит! Ей-богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит.

— Что ж, — говорил Афанасий Ивано-

вич, — и я его застрелю.

— Вот слушайте только, что он говорит! — подхватывала Пульхерия Ивановна, — куда ему идти на войну! И пистолы его давно уже заржавели и лежат в коморе. Если б вы их видели: там такие, что, прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом. И руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется!

— Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или козацкую пику.

— Это все выдумки. Так вот вдруг придет в голову, и начнет рассказывать, — подхватывала Пульхерия Ивановна с досадою. — Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот эдакое он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет.

Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.

Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске.

— Вот это, — говорила она, снимая пробку

с графина, — водка, настоянная на деревий и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишай делаются, то очень помогает. А вот эта — перегнанная на персиковые косточки; вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом — и все как рукой снимет, в ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало.

После этого такой перечень следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всюю этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок.

— Вот это грибки с чебрецом! это с гвоздиками и волошскими орехами! Солить их выучила меня туркенья, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркенья, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит, почти как у нас; только свинины не ела: говорит,

что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом! А вот это большие травянки: я их еще в первый раз отваривала в уксусе; не знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще что бывает на нечуй-витере[69] цвет, так этот цвет взять и хвостиками разостлать вверх. А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою[70]! а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою кашею.

— Да, — прибавлял Афанасий Иванович, — я их очень люблю; они мягкие и немножко кисленькие.

Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка! Она вся принадлежала гостям. Я любил бывать у них, и хотя обедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Мало-

россии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели очутился бы лежащим на столе.

Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого мало-важного случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот — великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля; а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом села и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения: они не идут сюда. Притом я не люблю

рассуждений, когда они остаются только рассуждениями.

У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такою привязанностью:

— Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке. На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?

— Уж молчите, Афанасий Иванович, — говорила Пульхерия Ивановна, — вы любите только говорить, и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла.

Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; он для того только говорил так, чтобы немножко подшу-

тить над Пульхерией Ивановной.

За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажён предприимчивым приказчиком, — может быть, оттого, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удалцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованы, нежели обитатели лесов. Это, напротив того, большею частию народ мрачный и дикий; они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им не известны; они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхива-

лись сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны и наконец подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня; Пульхерия Ивановна пожалела, наконец вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с нарванными своею рукою зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она, как будто по инстинкту, произнесла: «Кис, кис!» — и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая; заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла пред нею, мяукала и не смела близко подойти; видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние, знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока

и мяса и, сидя перед нею, наслаждалась жадностью бедной своей фаворитки, с какою она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишком свыклась с хищными котами или набралась романтических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы как соколы; как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее.

Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мною!» — сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила: Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела.

— Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?

— Нет, я не больна, Афанасий Иванович! Я

хочу вам объявить одно особенное происшествие: я знаю, что я этим летом умру; смерть моя уже приходила за мною!

Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако ж, победить в душе своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказал:

— Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! Вы, верно, вместо декохта[71], что часто пьете, выпили персиковой.

— Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой, — сказала Пульхерия Ивановна.

И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице.

— Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю, — сказала Пульхерия Ивановна. — Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое — то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня: мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится: из

него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их.

— Бог знает что вы говорите, Пульхерия Ивановна! — говорил Афанасий Иванович, — когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами.

— Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары, мы скоро увидимся на том свете.

Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок.

— Грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и бога не гневите своею печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я (тяжелый вздох прервал на минуту речь ее): я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое: нужно, чтобы любил вас тот, кто будет ухаживать за вами.

При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в

то время смотреть на нее равнодушно.

— Смотри мне, Явдоха, — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, — когда я умру, чтобы ты глядела за паном, чтобы берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит. Чтобы белье и платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничной. Не своди с него глаз, Явдоха, я буду молиться за тебя на том свете, и бог наградит тебя. Не забывай же, Явдоха; ты уже стара, тебе не долго жить, не набирай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш не будет иметь ни в чем благословения божия.

Бедная старушка! она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает,

ни о душе своей, ни о будущей своей жизни; она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сырым и бесприютным. Она с необыкновенною расторопностью распорядилась все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно чрез несколько дней она слегла в постель и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» — говорил он, с беспокойством смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами — и дыхание ее улетело.

Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не понимая значения трупя.

Покойницу положили на стол, одели в то

самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу, — он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору; кутья, наливки, пироги покрывали их кучами; гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него, — но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею; священники были в полном облачении, солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой, ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу; он подошел, поцеловал, на глазах его показались слезы, — но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли, густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел вечную память под чистым, безоблачным небом, работники принялись за заступы,

и земля уже покрыла и сровняла яму, — в это время он пробрался вперед; все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!» Он остановился и не закончил своей речи.

Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, — он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей.

Пять лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неравной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинств, я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти — нежная, прекрасная, как ангел, — была поражена ненасытной смертью. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, такого пожирания

ющего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, что бы сколько-нибудь походило на надежду... Его старались не выпускать с глаз; от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. Две недели спустя он вдруг победил себя: начал смеяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что он употребил ее, это было — купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они вбежали в комнату и увидели его распростертого, с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельною, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы мог он себя ударить; но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растроцило руку и ногу; но он опять был вылечен. Год после

этого я видел его в одном многолюдном зале: он сидел за столом, весело говорил: «петит-уверт», закрывши одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.

По истечении сказанных пяти лет после смерти Пульхерии Ивановны я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда обедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старше, крестьянские избы совсем легли набок — без сомнения, так же, как и владельцы их; частокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу; те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. Так это он! я тотчас же узнал его;

но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с тою же знакомою мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты; казалось, все было в них по-прежнему; но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то; словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с другою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собою без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны: за столом подали один нож без черенка; блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения.

Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою, — и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости; он слушал с тою же улыбкою, но по

временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею и, вместо того чтобы подносить ко рту, подносил к носу; вилку свою, вместо того чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанья?» Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью.

«Вот это то кушанье, — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки[72] со сметаною, — это то кушанье, — продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. — Это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...» — и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчув-

ственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились, лились ливнем на застилавшую его салфетку.

«Боже! — думал я, глядя на него, — пять лет всеистребляющего времени — старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмуцало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов, — и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над нами: страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей — есть только следствие нашего яркого возраста и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые

обыкновенно так щедрь старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастья; это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу; нет! это были слезы, которые текли не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже овладевшего сердца.

Он не долго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенною своею беспечною, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все стороны, заглянул в кусты — нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался: лицо его как-то оживилось, и он наконец произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня!»

Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокоивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню.

Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет

его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял как свечка и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны», — вот все, что произнес он перед своею кончиною.

Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал, неизвестно откуда, какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе

особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека (из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире) перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах. Сам же настоящий владелец, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии; тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как-то: муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышает всем оптом своим цены одного рубля.

Тарас Бульба
I

— **А** поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии? — Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

— Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько, — продолжал он, поворачивая их, — какие же длинные на вас свитки! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побегу который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы.

— Не смейся, не смейся, батьку! — сказал наконец старший из них.

— Смотри ты, какой пышный[73]! А отчего ж бы не смеяться?

— Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу!

— Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?.. — сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.

— Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.

— Как же хочешь ты со мною биться? разве на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорил Тарас Бульба, засучив рукава, — посмотрю я, что за человек ты в кулаке!

И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали насаживать друг другу тумачи и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

— Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. — Дети приехали домой, больше году их не видали, а он задумал невесть что: на кулаки биться!

— Да он славно бьется! — говорил Бульба,

остановившись. — Ей-богу, хорошо! — продолжал он, немного оправляясь, — так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся! — И отец с сыном стали целоваться. — Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил; никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за веревка висит? А ты, бейбас[74], что стоишь и руки опустил? — говорил он, обращаясь к младшему, — что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?

— Вот еще что выдумал! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. — И придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!

— Э, да ты мазунчик, как я вижу! — говорил Бульба. — Не слушай, сынку, матери: она — баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саб-

лю? вот ваша матерь! Это все дряннь, чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия — все это ка зна що, я плевать на все это! — Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. — А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука так наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму.

— И всего только одну неделю быть им дома? — говорила жалостно, со слезами на глазах, худощаваая старуха мать. — И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них!

— Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков[75]; тащи нам всего барана, козу давай, меда сорокалетние! Да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками[76], а чистой,

пенной горелки, чтобы играла и шипела как бешеная.

Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных монистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опроретью, увидевши мужчину, и потому долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющих более на Украине боролатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры, в виду обступившего народа; во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за унию[77]. Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с

круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв подвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутылки и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в парадном углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами, — все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время; приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару

молодых жеребцов.

Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли двое из них и есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря: «Вот смотрите, какие молодцы! На Сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей и сказали им, что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь.

— Ну ж, паны-браты, садись всякий, где кому лучше, за стол. Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! — так говорил Бульба. — Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские

вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю: Гораций, что ли?

«Вишь, какой батько! — подумал про себя старший сын, Остап, — все старый, собака, знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки, — продолжал Тарас. — А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни есть у козака? А может, так как вы сделали уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай, не только по субботам, а доставалось и в среду и в четверги?

— Нечего, батько, вспоминать, что было, — отвечал хладнокровно Остап, — что было, то прошло!

— Пусть теперь попробует! — сказал Андрей. — Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь козацкая сабля!

— Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда на то пошло, то и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал греч-

косеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, поеду! — И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. — Затра же едем! Зачем откладывать! Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки? — Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки.

Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, — и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах.

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть

только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле мирный славянский дух и завелось козачество — широкая, разгульная замашка русской природы, — и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и удобные места усеялись козаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, то козак» (что маленький пригорок, там уж и козак). Это было, точно, необыкновенное явление русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждую-

щих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся, наместо удельных князей, властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значение козаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдаленною властью гетьманы, избранные из среды самих же козаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округа. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал; но в случае войны и общего движенья в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне, во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля, — и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход — воин уходил в луга и пашни,

на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный козак. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский, — все это было ему по плечу. Кроме рейстровых козаков[78], считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных[79]: стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй вы, пивники, броварники[80]! полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле свои желтые чеботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать козац-

кой славы!» И слова эти были как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и торгош посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность.

Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямою своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими козаками произ-

водил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда комиссары [81] не уважили в чем старшин и стояли пред ними в шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства.

Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних. Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сы-

новой, наведывался и в конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе и в голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы и пришел усталый от своих забот.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор; все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей.

Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их молодые, небрежно включенные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она возростила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас?» — говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, — и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она была какое-то

странное существо в этом сборище безжизненных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица; а за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала: «Авось либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил».

Месяц с вышины неба давно уже озарял

весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка; красные полосы ясно сверкнули на небе.

Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где стара'? (Так он обыкновенно называл жену свою.) Живее, стара, готовь нам есть: путь лежит великий!

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания,

возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром[82]; к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать как увидела их, и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! — произнес наконец Бульба. — Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! — сказал Бульба. — Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую[83], чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает.

Мать, слабая, как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею.

— Пусть хранит вас... божья мать... Не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе... — Далее она не могла говорить.

— Ну, пойдём, дети! — сказал Бульба.

У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжёл и толст.

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у ко-

торого в чертах лица выразалось более какой-то нежности: она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с отчаяньем в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею легкостью дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какою-то помешанною, бесчувственною горячностью; ее опять увели.

Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, с своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад; хутор их как будто ушел в землю; только видны были над землей две трубы скромного их домика да вершины деревьев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними, — тот луг, по которому они могли припомнить всю историю своей жизни, от лет, когда катались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем

чернобровую козачку, боязливо перелетавшую через него с помощью своих свежих, быстрых ног. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте и детство, и игры, и всё, и всё!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимою дать воспитание своим де-

тям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни: эти схоласти-

ческие, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Учившиеся им ни к чему не могли привязать своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей — все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, — все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул[84], долженствовавший, по обязанности своей,

наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговли. Эти бурсаки составляли совершенно отдельный мир: в крутвысший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессора-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы[85] по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было во все ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим наконец сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они убегали на Запорожье, если умели найти дорогу и если не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то что начал с большим старанием учить логику и даже богословие, никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно

было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае, не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был изобретательнее своего

брата; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощью изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его; он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокою, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводи-

телем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и дома были выстроены с некоторою прихотливостью. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с пре-страшными усами хлыснул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастью успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую си-

лу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая толпою, в богатом убранстве, стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостью, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома; с дерева перелез он на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова; но когда заметила, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости пошевелить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед

ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог пошевелить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку[86] с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся в это время у дверей стук испугал ее. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывести его в сад и оттуда отпра-

вить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он встретил ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной черноглазой полячки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.

А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосями.

— Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости. — Как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом все думки к

нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!

И козаки, принагнувшись к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы.

Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дров

выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем... Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..

Наши путешественники останавливались только на несколько минут для обеда, причем ехавший с ними отряд из десяти козачков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке, един-

ственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темнозеленою; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щек. Вся музыка, звучавшая днем, утихла и сменялась другою. Пестрые суслики выпалзывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остано-

вившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш[87]; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих, они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотанье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе и убаюкивало дремлющий слух. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянную блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная

степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина!.. И не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней. чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Чрез три дни после этого они были уже недалеко от места бывшего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосой отделился от гори-

зонта. Он веял холодными волнами и растянулся ближе, ближе и, наконец, обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле; где брошенные в середину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались широко по земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сечь, так часто переменявшая свое жилище.

Куча народу бранилась на берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, — и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец

на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками[88] сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки[89] с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! — говорил он, остановивши коня.

В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец как лев растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее по тесной улице, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это предместье Сечи, которое было похоже на ярмарку и ко-

торое одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они миновали предместье и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, панове!» — «Здравствуйте и вы!» — отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смуглым лицам видно было, что все они были закалены в битвах, испробовали всяких невзгод. Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украину!

Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки: он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши шапку чертом и вскинув руки. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалея, Фома, горелки православным христианам!» И Фома, с подбитым глазом, мерял без счета каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг опустившись, неслись вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Чуприна развевалась по ветру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимний кожух

был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра. «Да сними хоть кожух! — сказал наконец Тарас. — Видишь, как парит!» — «Не можно!» — кричал запорожец. «Отчего?» — «Не можно; у меня уж такой нрав: что скину, то пропью». А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка; все пошло куда следует. Толпа росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движенья, как все отдирало танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, назван козачком.

— Эх, если бы не конь! — вскрикнул Тарас, — пустился бы, право, пустился бы сам в танец!

А между тем в народе стали попадаться и степенные, уважаемые по заслугам всею Сечью, седые, старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото?» —

«Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно; и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова послена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были козаки!»

III

Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрий мало занимались военной школою. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти непрерывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время

отдавалось гульбе — признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то непрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошлое и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали та-

кою силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом, — резкая черта, которою отличается донине от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачно-искажающим весельем забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быстрюю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь — и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли

удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выверотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лоз и не вынесшие из школы ни одной буквы; но вместе с ними здесь были и те, которые знали, что такое Горацій, Цицерон и Римская республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках; тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на Сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на Сечи и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было? Эта странная республика была именно потребностью того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу. Одни только обожатели женщин не мог-

ли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрию казалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечь гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил: откуда эти люди, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, из которого только за час пред тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому[90]; который обыкновенно говорил:

— Здравствуй! Что, во Христа веруешь?

— Верую! — отвечал приходивший.

— И в троицу святую веруешь?

— Верую!

— И в церковь ходишь?

— Хожу!

— А ну, перекрестись!

Пришедший крестился.

— Ну, хорошо, — отвечал кошевой, — ступай же в который сам знаешь курень.

Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя

и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жи- ды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней, которые очень походили на отдельные, независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название батька. У него были на руках деньги, платье, весь харч, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу

бока, пока одни не пересиливали наконец и не брали верх, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сечь, имевшая столько приманок для молодых людей.

Остап и Андрий кинулись со всею пылкостью юношей в это разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их: разгульные обычаи Сечи и немногосложная управа и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если козак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему козачеству: его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Не платившего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатленья на Андрия страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут

же, при нем, вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом.

Скоро оба молодые козака стали на хорошем счету у козаков. Часто вместе с другими товарищами своего куреня, а иногда со всем куренем и с соседними куренями выступали они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и коз или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню, закидывать невода, сети и тащить богатые тони на продовольствие всего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробуется козак, но они стали уже заметны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и метко стреляли в цель, переплывали Днепр против течения — дело, за которое новичок принимался торжественно в козацкие круги.

Но старый Тарас готовил другую им дея-

тельность. Ему не по душе была такая праздная жизнь — настоящего дела хотел он. Он все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться как следует рыцарю. Наконец в один день пришел к кошевому и сказал ему прямо:

— Что, кошевой, пора бы погулять запорожцам?

— Негде погулять, — отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув на сторону.

— Как негде? Можно пойти на Турецину или на Татарву.

— Не можно ни в Турецину, ни в Татарву, — отвечал кошевой, взявши опять хладнокровно в рот свою трубку.

— Как не можно?

— Так. Мы обещали султану мир.

— Да ведь он бусурмен: и бог и Святое писание велит бить бусурменов.

— Не имеем права. Если б не клялись еще нашею верою, то, может быть, и можно было бы; а теперь нет, не можно.

— Как не можно? Как же ты говоришь: не имеем права? Вот у меня два сына, оба моло-

дые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь — не имеем права; а ты говоришь — не нужно идти запорожцам.

— Ну, уж не следует так.

— Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем, на какого черта мы живем? растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые, растолкуй ты мне, на что мы живем?

Кошевой не дал ответа на этот запрос. Это был упрямый козак. Он немного помолчал и потом сказал:

— А войне все-таки не бывать.

— Так не бывать войне? — спросил опять Тарас.

— Нет.

— Так уж и думать об этом нечего?

— И думать об этом нечего.

«Постой же ты, чертов кулак! — сказал Бульба про себя, — ты у меня будешь знать!»

И положил тут же отмстить кошевому.

Сговорившись с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные козаки, в числе нескольких человек, повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры[91], в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша[92], они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек с одним только глазом, несмотря, однако ж, на то, страшно заспанным.

— Кто смеет бить в литавры? — закричал он.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят! — отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, — и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего боя показались наконец старшины: кошевой с палицей в руке — знаком своего достоинства,

судья с войсковою печатью, писарь с чернильницею и есаул с жезлом. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны козакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока.

— Что значит это собранье? Чего хотите, панове? — сказал кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

— Клади палицу! Клади, чертов сын, сей же час палицу! Не хотим тебя больше! — кричали из толпы козаки.

Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими.

Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъярившаяся, своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе.

— Прикажете, панове, и нам положить знаки достоинства? — сказали судья, писарь и есаул и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл.

— Нет, вы оставайтесь! — закричали из толпы. — нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в кошевые.

— Кого же выберете теперь в кошевые? — сказали старшины.

— Кукубенка выбрать! — кричала часть.

— Не хотим Кукубенка! — кричала другая. — Рано ему, еще молоко на губах не обсохло!

— Шило пусть будет атаманом! — кричали одни. — Шила посадить в кошевые!

— В спину тебе шило! — кричала с бранью толпа. — Что он за козак, когда проворовался, собачий сын, как татарин? К черту в мешок пьяницу Шила!

— Бородатого, Бородатого посадим в кошевые!

— Не хотим Бородатого! К нечистой матери Бородатого!

— Кричите Кирдягу! — шепнул Тарас Бульба некоторым.

— Кирдягу! Кирдягу! — кричала толпа. — Бородатого! Бородатого! Кирдягу! Кирдягу! Шила! К черту с Шилом! Кирдягу!

Все кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием своим в избрании.

— Кирдягу! Кирдягу! — раздавалось сильнее прочих. — Бородатого!

Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовал.

— Ступайте за Кирдягою! — закричали.

Человек десяток козаков отделилось тут же из толпы; некоторые из них едва держались на ногах — до такой степени успели нагрузиться, — и отправились прямо к Кирдяге, объявить ему о его избрании.

Кирдяга, хотя престарелый, но умный козак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем.

— Что, панове, что вам нужно? — спросил он.

— Иди, тебя выбрали в кошевые!..

— Помилосердствуйте, панове! — сказал Кирдяга. — Где мне быть достойну такой чести! Где мне быть кошевым! Да у меня и разума не хватит к отправленью такой должно-

сти. Будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске?

— Ступай же, говорят тебе! — кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он ни упирался ногами, но был наконец притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньем сзади кулаками, пинками и увещаньями. — Не пяться же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!

Таким образом введен был Кирдяга в козачий круг.

— Что, панове? — провозгласили во весь народ приведшие его. — Согласны ли вы, чтобы сей козак был у нас кошевым?

— Все согласны! — закричала толпа, и от крику долго гремело все поле.

Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдяга отказался и в другой раз и потом уже, за третьим разом, взял палицу. Ободрительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загудело от козацкого крика все поле. Тогда выступило из середины народа

четверо самых старых, седоусых и седочупринных козаков (слишком старых не было на Сечи, ибо никто из запорожцев не умирал своею смертью) и, взявши каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по щекам и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоял не сдвинувшись и благодарил козаков за оказанную честь.

Таким образом кончилось шумное избрание, которому, неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба: этим он отомстил прежнему кошевому; к тому же и Кирдяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тут же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрий. Винные шинки были разбиты; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги. И взо-

шедший месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами, круглыми балалайками, и церковных песельников, которых держали на Сечи для пенья в церкви и для восхваленья запорожских дел. Наконец хмель и утомленье стали одолевать крепкие головы. И видно было, как то там, то в другом месте падал на землю козак. Как товарищ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вместе с ним. Там гурьбою улегалась целая куча; там выбирал иной, как бы лучше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи; наконец и того подкосила хмельная сила, и тот повалился — и заснула вся Сечь.

IV

А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный и хитрый козак, знал вдоль и поперек запорожцев и сначала сказал: «Не можно клятвы преступить, никак не можно». А потом, помолчавши, прибавил: «Ничего, мож-

но; клятвы мы не преступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своею охотою. Вы уж знаете, как это сделать. А мы с старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем».

Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные и неразумные козаки. Миллион козацких шапок высыпал вдруг на площадь. Поднялся говор: «Кто?.. Зачем?.. Из-за какого дела пробили сбор?» Никто не отвечал. Наконец в том и в другом углу стало раздаваться: «Вот пропадает даром козацкая сила: нет войны!.. Вот старшины забайбачились наповал, позаплыли жиром очи!.. Нет, видно, правды на свете!» Другие козаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить: «А и вправду нет никакой правды на свете!» Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец кошевой вышел вперед и сказал:

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать!

— Держи!

— Вот в рассуждении того теперь идет

речь, панове добродийство, — да вы, может быть, и сами лучше это знаете, — что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет. Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, — и сами знаете, панове, — без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмена?

«Он хорошо говорит», — подумал Бульба.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир: сохрани бог! Я только так это говорю. Притом же у нас храм божий — грех сказать, что такое: вот сколько лет уже, как, по милости божией, стоит Сечь, а до сих пор не то уже чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать! Они только то и получили, что отказали в духовной иные козаки. Да и даяние их было бедное, потому что почти всё пропили еще при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать

войну с бусурменами: мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему.

— Что ж он путает такое? — сказал про себя Бульба.

— Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Рыцарская честь не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых, пусть немного пошарпают берега Натолии[93]. Как думаете, панове?

— Веди, веди всех! — закричала со всех сторон толпа. — За веру мы готовы положить головы!

Кошевой испугался; он ничуть не хотел подымать всего Запорожья: разорвать мир ему казалось в этом случае делом неправым.

— Позвольте, панове, еще одну речь держать!

— Довольно! — кричали запорожцы, — лучше не скажешь!

— Когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известное, и по Писанью известно, что глас народа — глас божий. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ

выдумал. Только вот что: вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове, и силы у нас были бы свежие, и никого б не побоялись. А во время отлучки и татарва может напасть: они, турецкие собаки, в глаза не кинутся и к хозяину на дом не посмеют прийти, а сзади укусят за пяты, да и больно укусят. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе, да и пороху не намолото в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад: я слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться; пьяных, к счастью, было немного, и потому решились послушаться благоразумного совета.

В тот же час отправились несколько человек на противоположный берег Днепра, в войсковую скарбницу, где, в неприступных тайниках, под водою и в камышах, скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля орудий. Другие все бросились к

челнам, осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою народа наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечие, дюженогие запорожцы, с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали челны с берега крепким канатом. Другие таскали готовые сухие бревна и всякие деревья. Там обшивали досками челн; там, переверотивши его вверх дном, конопатили и смолили; там увязывали к бокам других челнов, по козацкому обычаю, связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морскою волною; там, дальше по всему побережью, разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливанье судов. Бывалые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берег.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем толпа людей еще издали махала руками. Это были козаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд — у многих ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах, — пока-

зывал, что они или только что избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый, плечистый козак, человек лет пятидесяти. Он кричал и махал рукою сильнее всех, но за стуком и криками рабочих не было слышно его слов.

— А с чем приехали? — спросил кошевой, когда паром приворотил к берегу.

Все рабочие, остановив свои работы и подняв топоры и долота, смотрели в ожидании.

— С бедою! — кричал с парома приземистый козак.

— С какою?

— Позвольте, панове запорожцы, речь держать?

— Говори!

— Или хотите, может быть, собрать раду?

— Говори, мы все тут.

Народ весь стеснился в одну кучу.

— А вы разве ничего не слышали о том, что делается на гетьманщине?

— А что? — произнес один из куренных атаманов.

— Э! что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом[94] уши, что вы ничего не слышали.

— Говори же, что там делается?

— А то делается, что и родились и крестились, еще не видали такого.

— Да говори нам, что делается, собачий сын! — закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение.

— Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши.

— Как не наши?

— Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править.

— Что ты толкуешь?

— И если рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою на святой пасхе, то и святить пасхи нельзя.

— Врет он, паны-браты, не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на святой пасхе!

— Слушайте!.. еще не то расскажу: и ксендзы ездят теперь по всей Украине в таратайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда,

что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте! еще не то расскажу: уже говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских риз. Вот какие дела водятся на Украине, панове! А вы тут сидите на Запорожье да гуляете, да, видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей — ничего нет, и вы не слышите, что делается на свете.

— Стой, стой! — прервал кошевой, дотоле стоявший, потупив глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования. — Стой! и я скажу слово. А что ж вы — так бы и этак поколотил черт вашего батька! — что ж вы делали сами? Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы пустили такому беззаконию?

— Э, как пустили такому беззаконию! А попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов! да и — нечего греха таить — были тоже собаки и между нашими, уж приняли их веру.

— А гетьман ваш, а полковники что дела-

ли?

— Наделали полковники таких дел, что не приведи бог и нам никому.

— Как?

— А так, что уж теперь гетьман, заваренный в медном быке, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам напоказ всему народу. Вот что наделали полковники!

Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед свирепую бурю, а потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег.

— Как! чтобы жида держали на аренде христианские церкви! чтобы ксендзы запрягали в оглобли православных христиан! Как! чтобы попустить такие мучения на Русской земле от проклятых недоверков! чтобы вот так поступали с полковниками и гетьманом! Да не будет же сего, не будет!

Такие слова перелетали по всем концам. Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнений легкомысленного народа: волновались всё характеры тяжелые

и крепкие, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили в себе внутренний жар.

— Перевешать всю жидову! — раздалось из толпы. — Пусть же не шьют из поповских риз юбок своим жидовкам! Пусть же не ставят значков на святых пасхах! Перетопить их всех, поганцев, в Днепре!

Слова эти, произнесенные кем-то из толпы, пролетели молнией по всем головам, и толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок; но козак везде их находили.

— Ясновельможные паны! — кричал один, высокий и длинный, как палка, жид, высушивши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. — Ясновельможные паны! Слово только дайте нам сказать, одно слово! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!

— Ну, пусть скажут, — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные пань! — произнес жид. — Таких панов еще никогда не видывано. Ей-богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете!.. — Голос его замирал и дрожал от страха. — Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украине! Ей-богу, не наши! То совсем не жидаы: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?

— Ей-богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль в изодранных яломках, оба белые, как глина.

— Мы никогда еще, — продолжал длинный жид, — не снюхивались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим: пусть им черт приснится! Мы с запорожцами, как братья родные...

— Как? чтобы запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дождетесь, проклятые жидаы! В Днепр их, панове!

Всех потопить, поганцев!

Эти слова были сигналом. Жидов расхватили по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, выскочил из кафтана, за который было его ухватили, в одном пеге и узком камзоле, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

— Великий господин, ясновельможный пан! я знал и брата вашего, покойного Дороса! Был воин на украшение всему рыцарству. Я ему восемьсот цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турка.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.

— Ей-богу, знал! Великодушный был пан.

— А как тебя зовут?

— Янкель.

— Хорошо, — сказал Тарас и потом, подумав, обратился к козакам и проговорил так: — Жида будет всегда время повесить, когда будет нужно, а на сегодня отдайте его мне. — Сказавши это, Тарас повел его к свое-

му обозу, возле которого стояли козаки его. — Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелься; а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход, и не суда да козацкие чайки [95] — понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые и молодые; все, с совета всех старшин, куренных, кошевого и с воли всего запорожского войска, положили идти прямо на Польшу, отмстить за все зло и посрамленье веры и козацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу. Все тут же опоясывалось и вооружалось. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа; это был неограниченный повелитель. Это был деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда кошевой раздавал повеле-

ния; раздавал он их тихо, не вскрикивая, не торопясь, но с расстановкою, как старый, глубоко опытный в деле козак, приводивший не в первый раз в исполнение разумно задуманные предприятия.

— Осмотритесь, все осмотритесь, хорошенько! — так говорил он. — Исправьте возы и мазницы[96], испробуйте оружие. Не забирайте много с собой одежды: по сорочке и по двое шаровар на козака да по горшку саламаты[97] и толченого проса — больше чтоб и не было ни у кого! Про запас будет в возах все, что нужно. По паре коней чтоб было у каждого козака. Да пар двести взять волов, потому что на переправах и топких местах нужны будут волы. Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что чуть бог пошлет какую корысть, — пошли тот же час драть китайку и дорогие оксамиты [98] себе на онучи. Бросьте такую чертову повадку, прочь кидайте всякие юбки, берите одно только оружие, коли попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам, панове, вперед говорю: если кто в по-

ходе напьется, то никакого нет на него суда. Как собаку, за шеяку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы найдоблестнейший козак изо всего войска. Как собака, будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребенья на поклев птицам, потому что пьяница в походе недостоин христианского погребенья. Молодые, слушайте во всем старых! Если цапнет пуля или царапнет саблей по голове или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому делу. Размешайте заряд пороху в чарке сивухи, духом выпейте, и все пройдет — не будет и лихорадки; а на рану, если она не слишком велика, приложите просто земли, замесивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнет рана. Ну те же, за дело, за дело, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дело!

Так говорил кошевой, и, как только окончил он речь свою, все козаки принялись тот же час за дело. Вся Сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между козаками... Те исправляли ободья колес и переменяли оси в телегах; те сносили на возы мешки

с провиантом, на другие валили оружие; те пригоняли коней и волов. Со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, бычачье мычанье, скрип поворачиваемся возов, говор и яркий крик и понуканье — и скоро далеко-далеко вытянулся козачий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел пробежать от головы до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою; все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из Сечи, все запорожцы обратили головы назад.

— Прощай, наша мать! — сказали они почти в одно слово, — пусть же тебя хранит бог от всякого несчастья!

Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что жидок его, Янкель, уже разбил какую-то ятку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. «Какое чертов жид!» — подумал про себя Тарас и, подъехав к нему на коне, сказал:

— Дурень, что ты здесь сидишь? Разве хо-

чешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и, сделав знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное, сказал:

— Пусть пан только молчит и никому не говорит: между козацкими возами есть один мой воз; я везу всякий нужный запас для козаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал. Ей-богу, так; ей-богу, так.

Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись бойкой жидовской натуре, и отъехал к табору.

V

Скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы!.. показали запорожцы!..» Все, что могло спастись, спасалось. Все подымалось и разбегалось, по обычаю этого нестройного, беспечного века, когда не воздвигали ни крепостей, ни замков, а как попало становил на время соломенное жилище свое человек. Он думал: «Не тратить же на избу работу и

деньги, когда и без того будет она снесена татарским набегом!» Все всполошилось: кто менял волов и плуг на коня и ружье и отправлялся в полки; кто прятался, угоняя скот и унося, что только можно было унести. Попадались иногда по дороге и такие, которые вооруженною рукою встречали гостей, но больше было таких, которые бежали заранее. Все знали, что трудно иметь дело с буйной и бранной толпой, известной под именем запорожского войска, которое в наружном своевольном неустройстве своем заключало устройство обдуманное для времени битвы. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней, пешие шли трезво за возами, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днем и выбирая для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда еще вдоволь. Засылаемы были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать, где, что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг — и все тогда прощалось с жизнью. Пожары охватывали деревни; скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же

на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу, — словом, крупною монетою отплачивали козаки прежние долги. Прелат одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует; что между запорожцами и правительством стоит согласие; что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право.

— Скажи епископу от меня и от всех запорожцев, — сказал кошевой, — чтобы он ничего не боялся. Это козаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки.

И скоро величественное аббатство обхватило сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг омолюдили те города, где какая-нибудь была

надежда на гарнизон и городское рушение [99]. Высылаемая временами правительством запоздалая помощь, состоявшая из небольших полков, или не могла найти их, или же робела, обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих. Случалось, что многие военачальники королевские, торжествовавшие дотоле в прежних битвах, решались, соединя свои силы, стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя наши молодые козаки, чуждавшиеся грабительства, корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя перед старыми, померяться один на один с бойким и хвастливым ляхом, красовавшимся на горделивом коне, с летавшими по ветру откидными рукавами епанчи. Потешна была наука. Много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужчинами. Черты лица их, в которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из пер-

вых. Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и трудное знание вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от какого случая, с хладнокровием, почти неестественным для двадцатидвухлетнего, он в один миг мог вымерять всю опасность и все положение дела, тут же мог найти средство, как уклониться от нее, но уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепостью дышало его тело, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу льва.

— О! да этот будет со временем добрый полковник! — говорил старый Тарас. — Ей-ей, будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет!

Андрей весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и упоенье он видел в битве: что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, ко-

гда разгонится у человека голова, в глазах все мелькает несется, — летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль в сабельном блеске, и наносит всем удары, и не слышит нанесенных. Не раз дивился отец также и Андрию, видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такой чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил:

— И это добрый — враг бы не взял его! — вояка! не Остап, а добрый, добрый также вояка!

Войско решилось идти прямо на город Дубно, где, носились слухи, было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показали перед городом. Жители решились защищаться до последних сил и крайности и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в дома. Высокий земляной вал окружал город; где вал

был ниже, там высовывалась каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильною картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучею на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление; женщины тоже решились участвовать, — и на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего им очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями, вести осады была не их часть. Кошевой повелел отступить и сказал:

— Ничего, паны-братья, мы отступим. Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города! Пусть их все передохнут, собаки, с голоду!

Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошением окрестностей, выжигая окружные деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом, где, как на-

рочно, колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели с города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и на Сечи, куренями, курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры. Кашевары варили в каждой курене кашу в огромных медных казанах. У горевших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительною трезвостью, не сопряженною ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений. Молодым, и особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрий заметно скучал.

— Неразумная голова, — говорил ему Тарас. — Терпи, козак, — атаман будешь! Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важ-

ном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, кто все вытерпит, и хоть ты ему что хочь, а он все-таки поставит на своем.

Но не сойтись пылкому юноше с старцем. Другая натура у обоих, и другими очами глядят они на то же дело.

А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачем; с ним было еще два есаула, писарь и другие полковые чины; всех козачков набралось больше четырех тысяч. Было между ними немало и охочекомонных, которые сами поднялись, своею волею, без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Есаулы привезли сыновьям Тараса благословенье от старухи матери и каждому по кипарисному образу из Межигорского киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольна задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословенье? Благословенье ли на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой, на вечные песни бандуристам, или же?.. Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот.

Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями, птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей гибели...

Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням. Андрий же, сам не зная отчего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже козаки окончили свою вечерю, вечер давно потухнул; июльская чудная ночь обняла воздух; но он не отходил к куреням, не ложился спать и глядел неволью на всю бывшую пред ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем возами с висячими мазницами, облитыми дегтем, со всяким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под телегами и подале от телег — везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях: кто подмостив себе под голову куль, кто шапку, кто употребивши просто бок своего товарища. Сабля, ружье-самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными повертками и

огнивом были неотлучно при каждом козаке. Тяжелые волы лежали, подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогостям поля. Со всех сторон из травы уже стал подыматься густой храп спящего воинства, на который отзывались с поля звонкими ржаньями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарева вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом, встретив что-то горючее и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх, под самые звезды, и оторванные хлопья его гаснули под самыми дальними небесами. Там обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лилово-огненным светом спелые гроздия

слив или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши, и тут же среди их чернело висевшее на стене здания или на древесном суку тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над огнем вились вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы, и кровли, и частокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Андрий обошел козацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши саламаты и галушек во весь козацкий аппетит. Он подивился немного такой беспечности, подумавши: «Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться». Наконец и сам подошел он к одному из возов, взлез на него и лег на спину, подложивши себе под голову сложенные назад руки; но не мог заснуть и долго глядел на небо. Оно все было открыто пред ним; чисто и прозрачно было в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь, поясом переходившая по небу, вся была залита светом. Временами

Андрей как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг перед ним небо, и потом оно опять очищалось и вновь становилось видно.

В это время, показалось ему, мелькнул перед ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, которое сейчас же рассеется, он открыл больше глаза свои и увидел, что к нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные и черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала. И странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за пицаль и произнес почти судорожно:

— Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз; коли живой человек, не в пору завел шутку, — убью с одного прицела!

В ответ на это привидение приставало палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал взглядываться в него

внимательней. По длинным волосам, шее и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину. Но она была не здешняя уроженка. Все лицо было смугло, изнурено недугом; широкие скулы выступали сильно над опавшими под ними щеками; узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху, и чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел и спросил:

— Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь?

— Два года назад тому в Киеве.

— Два года назад... в Киеве... — повторил Андрий, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсацкой жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос:

— Ты — татарка! служанка панночки, воеводиной дочки!..

— Чшш! — произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Андрием.

— Скажи, скажи, отчего, как ты здесь? — говорил Андрий, почти задыхаясь, шепотом, прерывавшимся всякую минуту от внутреннего волнения. — Где панночка? жива ли еще она?

— Она тут, в городе.

— В городе? — произнес он, едва опять не вскрикнувши, и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу. — Отчего ж она в городе?

— Оттого, что сам старый пан в городе. Он уже полтора года как сидит воеводой в Дубне.

— Что ж, она замужем? Да говори же, какая ты странная! что она теперь?..

— Она другой день ничего не ела.

— Как?..

— Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба, все давно едят одну землю.

Андрий остолбенел.

— Панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: «Ступай скажи рыцарю: если он помнит меня, чтобы пришел ко мне; а не помнит — чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне

умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него также есть старая мать, — чтоб ради ее дал хлеба!»

Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди козака.

— Но как же ты здесь? Как ты пришла?

— Подземным ходом.

— Разве есть подземный ход?

— Есть.

— Где?

— Ты не выдашь, рыцарь?

— Клянусь крестом святым!

— Спустишься в яр и перейдя проток, там, где тростник.

— И выходит в самый город?

— Прямо к городскому монастырю.

— Идем, идем сейчас!

— Но, ради Христа и святой Марии, кусок хлеба!

— Хорошо, будет. Стой здесь, возле воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидит, все спят; я сейчас ворочусь.

И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его

билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними козацкими биваками, суровой бранною жизнью, — все всплыло разом на поверхность, потопивши, в свою очередь, настоящее. Опять вынырнула перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво распавшиеся по грудям, и все упругие, в согласном сочетанье созданные члены девического стана. Нет, они не погасли, не исчезли в груди его, они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движениям; но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого козака, и часто, проснувшись, лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины.

Он шел, а биение сердца становилось сильнее, сильнее при одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые колени. Пришедши к возам, он совершенно позабыл, зачем пришел: поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул, весь исполнился испуга: ему вдруг пришло на мысль, что она умира-

ет от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе под руку, но подумал тут же, не будет ли эта пища, годная для дюжего, неприхотливого запорожца, груба и неприлична ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кашеваров за то, что сварили за один раз всю гречневую муку на саламату, тогда как бы ее стало на добрых три раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах, он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух десятиведерных кабанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы все это съесть, тем более что в их курене считалось меньше людей, чем в других. Он заглянул в казаны других куреней — нигде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: «Запорожцы как дети: — коли мало — съедят, коли много — тоже ничего не оставят». Что делать? Был, однако же, где-то, кажется, на возу отцовского полка, мешок с белым хлебом, который нашли, ограбивши

монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на возу уже его не было: Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Андрий схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа увала на землю, а он сам вскочил впросонках и, сидя с закрытыми глазами, закричал что было мочи: «Держите, держите чертова ляха! да ловите коня, коня ловите!» — «Замолчи, я тебя убью!» — закричал в испуге Андрий, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрий робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из козаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась в ближнем курене и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он наконец отправился с своею ношею. Татарка лежала, едва дыша.

— Вставай, идем! Все спят, не бойся! Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?

Сказав это, он взвалил себе на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлеба, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев.

— Андрий! — сказал старый Бульба в то время, когда он проходил мимо его.

Сердце его замерло. Он остановился и, весь дрожа, тихо произнес:

— А что?

— С тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на все бока! Не доведут тебя бабы к добру! — Сказавши это, он оперся головою на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку.

Андрий стоял ни жив ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ладонь.

Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татар-

ку, она стояла пред ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, помутившиеся, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и наконец опустились отлогостью в изменную лощину — почти яр, называемый в некоторых местах балками, — по дну которой лениво пресмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочками. Опустясь в сию лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней мере, когда Андрий оглянулся, то увидел, что позади его крутую стеной, более чем в рост человека, вознеслась покатошь. На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья, и над ними поднималась в небе луна в виде косвенно обращенного серпа из яркого червонного золота. Сорвавшийся со степи ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. Но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика: ни в городе, ни в разоренных окрестностях не оставалось давно ни одного петуха. По

небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег, казавшийся выше бывшего у них назади и выступавший совершенным обрывом. Казалось, в этом месте был крепкий и надежный сам собою пункт городской крепости; по крайней мере, земляной вал был тут ниже и не выглядывал из-за него гарнизон. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой лощине между им и протоком рос высокий тростник; почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, отличавшие когда-то бывший огород. Перед ним — широкие листья лопуха; из-за него торчала лебеда, дикий колючий бодяк и подсолнечник, подымавший выше всех их свою голову. Здесь татарка скинула с себя черевики и пошла босиком, подобрав осторожно свое платье, потому что место было топко и наполнено водою. Пробираясь меж тростником, остановились они перед наваленным хворостом и фашинником. Отклонив хворост, нашли они род земляного свода — отверстие, мало чем большее отвер-

стия, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая; вслед за нею Андрий, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться с своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте.

VI

Андрий едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба.

— Скоро нам будет видно, — сказала проводница, — мы подходим к месту, где поставила я светильник.

И точно, темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где, казалось, была часовня; по крайней мере, к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической мадонны. Небольшая серебряная лампадка, перед ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла с земли оставленный медный светильник на тонкой высокой ножке, с висевшими вокруг ее на це-

почках щипцами, шпилькой для поправления огня и гасильником. Взявши его, она зажгла его огнем от лампы. Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то набрасываясь темною, как уголь, тенью, напоминали собою картины Жерардо della notte[100]. Свежее, кипящее здоровьем и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы. Проход стал несколько шире, так что Андрию можно было пораспрявиться. Он с любопытством рассматривал сии земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры. Так же как и в пещерах киевских, тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы; местами даже попадались просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Сырость местами была очень сильна: под ногами их иногда была совершенная вода. Андрий должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице, которой усталость возобновлялась

беспрестанно. Небольшой кусок хлеба, проглоченный ею, произвел только боль в желудке, отвыкшем от пищи, и она оставалась часто без движения по нескольку минут на одном месте.

Наконец перед ними показалась маленькая железная дверь. «Ну, слава богу, мы пришли», — сказала слабым голосом татарка, приподняла руку, чтобы постучать, — и не имела сил. Андрий ударил вместо нее сильно в дверь; раздался гул, показавший, что за дверью был большой простор. Гул этот изменялся, встретив, как казалось, высокие своды. Через минуты две загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по лестнице. Наконец дверь отперлась; их встретил монах, стоявший на узенькой лестнице, с ключами и свечой в руках. Андрий невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в козаках, поступавших с ними бесчеловечней, чем с жидами. Монах тоже несколько отступил назад, увидев запорожского казака, но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Он осветил им, запер за ними дверь, ввел их по

лестнице вверх, и они очутились под высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые клирошанина[101] в лиловых мантиях с белыми кружевными шемизетками сверх их и с кадилами в руках. Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, об удалении искушителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные несчастья. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок; несколько мужчин, прислонясь у колонн и пилястр, на которых возлежали боковые своды, печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь

алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кафельный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, донесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке.

В это время, почувствовал он, кто-то дернул его за полу кафтана. «Пора!» — сказала татарка. Они перешли через церковь, не замеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед нею. Заря уже давно румянилась на небе: все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; посредине ее оставались еще деревянные столики, показы-

вавшие, что здесь был еще неделю, может быть, только назад рынок съестных припасов. Улица, которых тогда не мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругом небольшие каменные и глиняные, в один этаж, дома с видными в стенах деревянными сваями и столбами во всю их высоту, косвенно перекрещенные деревянными же брусьями, как вообще строили дома тогдашние обыватели, что можно видеть и поныне еще в некоторых местах Литвы и Польши. Все они были покрыты непомерно высокими крышами со множеством слуховых окон и отдушин. На одной стороне, почти близ церкви, выше других возносилось совершенно отличное от прочих здание, вероятно, городской магистрат или какое-нибудь правительственное место. Оно было в два этажа, и над ним вверху надстроен был в две арки бельведер, где стоял часовой; большой часовой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвою, но Андрию почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой стороне ее группу из двух-трех человек, лежавших почти без всякого

движения на земле. Он вперил глаза внимательней, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были или умершие, и в это время наткнулся на что-то лежавшее у ног его. Это было мертвое тело женщины, по-видимому, жидавки. Казалось, она была еще молода, хотя в искаженных, изможденных чертах ее нельзя было того видеть. На голове ее был красный шелковый платок; жемчуги или бусы в два ряда украшали ее наушники; две-три длинные, все в завитках, кудри выпадали из-под них на ее высохшую шею с натянувшимися жилами. Возле нее лежал ребенок, судорожно схвативший рукою за тощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости, не нашед в ней молока; он уже не плакал и не кричал, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что он еще не умер или, по крайней мере, еще только готовился испустить последнее дыханье. Они поворотили в улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся, который, увидев у Андрия драгоценную ношу, кинулся на него, как тигр, вцепился в него, крича: «Хлеба!» Но сил не

было у него, равных бешенству; Андрий оттолкнул его: он полетел на землю. Движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб, на который тот бросился, подобно бешеной собаке, изгрыз, искусал его и тут же, на улице, в страшных судорогах испустил дух от долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждом шагу поражали их страшные жертвы голода. Казалось, как будто, не вынося мучений в домах, многие нарочно выбежали на улицу: не ниспошлется ли в воздухе чего-нибудь, питающего силы. У ворот одного дома сидела старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или просто позабылась: по крайней мере, она уже не слыхала и не видела ничего и, опустив голову на грудь, сидела недвижимо на одном и том же месте. С крыши другого дома висело вниз на веревочной петле вытянувшееся, иссохшее тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий голода и захотел лучше произвольным самоубийством ускорить конец свой.

При виде сих поражающих свидетельств голода Андрий не вытерпел не спросить татарку:

— Неужели они, однако ж, совсем не нашли, чем пробавить[102] жизнь? Если человеку приходит последняя крайность, тогда, делать нечего, он должен питаться тем, чем до толе брезговал; он может питаться теми тварями, которые запрещены законом, все может тогда пойти в снeдь.

— Все переели, — сказала татарка, — всю скотину. Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов, все привозилось из деревень.

— Но как же вы, умирая такую лютою смертью, все еще думаете оборонить город?

— Да, может быть, воевода и сдал бы, но вчера утром полковник, который в Буджаках, пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города; что он идет на выручку с полком, да ожидает только другого полковника, чтоб идти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их... Но вот мы пришли к дому.

Андрей уже издали видел дом, непохожий на другие и, как казалось, строенный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красивых тонких кирпичей в

два этажа. Окна нижнего этажа были заключены в высоко выдавшиеся гранитные карнизы; верхний этаж состоял весь из небольших арок, образовавших галерею; между ними видны были решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лестницы сидело по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшие около них алебарды, а другою подпирали наклоненные свои головы, и, казалось, таким образом, более походили на изваяния, чем на живые существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему: они не обратили даже внимания на то, кто всходил по лестнице. На верху лестницы они нашли богато убранного, всего с ног до головы вооруженного воина, державшего в руке молитвенник. Он было возвел на них истомленные очи, но татарка сказала ему одно слово, и он опустил их вновь в открытые страницы своего молитвенника. Они вступили в первую комнату, довольно просторную, служившую приемною или просто переднею.

Она была наполнена вся сидевшими в разных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и прочей дворней, необходимою для показания сана польского вельможи как военного, так и владельца собственных поместьев. Слышен был чад погаснувшей свечи. Две другие еще горели в двух огромных, почти в рост человека, подсвечниках, стоявших посередине, несмотря на то что уже давно в решетчатое широкое окно глядело утро. Андрий уже было хотел идти прямо в широкую дубовую дверь, украшенную гербом и множеством резных украшений, но татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в боковой стене. Этою вышли они в коридор и потом в комнату, которую он начал внимательно рассматривать. Свет, проходивший сквозь щель ставня, тронул кое-что: малиновый занавес, позолоченный карниз и живопись на стене. Здесь татарка указала Андрию остаться, отворила дверь в другую комнату, из которой блеснул свет огня. Он услышал шепот и тихий голос, от которого все потряслось у него. Он видел сквозь растворившуюся дверь, как мелькнула быстро стройная

женская фигура с длинною роскошною косою, упавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы он вошел. Он не помнил, как вошел и как затворилась за ним дверь. В комнате горели две свечи; лампада теплилась перед образом; под ним стоял высокий столик, по обычаю католическому, со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным пред нею. Не такую вообразил он ее видеть: это была не она, не та, которую он знал прежде; ничего не было в ней похожего на ту, но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде. Тогда было в ней что-то неоконченное, недовершенное, теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та была прелестная, ветреная девушка; эта была красавица — женщина во всей развившейся красе своей. Полное чувство выражалось в ее

поднятых глазах, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающею влагою, проходившею душу. Грудь, шея и плечи заключились в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, теперь обратились в густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длине руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упала на грудь. Казалось, все до одной изменилось черты ее. Напрасно силился он в них отыскать хотя одну из тех, которые носились в его памяти, — ни одной! Как ни велика была ее бледность, но она не помрачила чудесной красоты ее; напротив, казалось, как будто придала ей что-то стремительное, неотразимо победоносное. И ощутил Андрий в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею. Она, казалось, также была поражена видом козака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал

развязную вольность движений; ясною твердостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки блистали всею яркостью девственного огня, и как шелк, лоснился молодой черный ус.

— Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь, — сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голоса. — Один бог может возблагодарить тебя; не мне, слабой женщине...

Она потупила свои очи; прекрасными снежными полукружьями надвинулись на них веки, окраенные длинными, как стрелы, ресницами. Наклонилось все чудесное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу. Ничего не умел сказать на это Андрий. Он хотел бы выговорить все, что ни есть на душе, — выговорить его так же горячо, как оно было на душе, — и не мог. Почувствовал он что-то заградившее ему уста: звук отнялся у слова; почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и в бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи, и вознегодовал на свою козацкую натуру.

В это время вошла в комнату татарка. Она

уже успела нарезать ломтями принесенный рыцарем хлеб, несла его на золотом блюде и поставила перед своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлеб и возвела очи на Андрия — и много было в очах тех. Сей умиленный взор, выказавший изнеможенье и бессилье выразить обнявшие ее чувства, был более доступен Андрию, чем все речи. Его душе вдруг стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевные движенья и чувства, которые дотоле как будто кто-то удерживал тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на воле и уже хотели излиться в неукротимые потоки слов, как вдруг красавица, оборотясь к татарке, беспокойно спросила:

— А мать? Ты отнесла ей?

— Она спит.

— А отцу?

— Отнесла. Он сказал, что придет сам благодарить рыцаря.

Она взяла хлеб и поднесла его ко рту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрий, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела; и вдруг вспомнил о бесно-

вавшемся от голода, который испустил дух в глазах его, проглотивши кусок хлеба. Он побледнел и, схватив ее за руку, закричал:

— Довольно! не ешь больше! Ты так долго не ела, тебе хлеб будет теперь ядовит,

И она опустила тут же свою руку, положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не властны выразить ни резец, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной раз во взорах девы, ниже' того умиленного чувства, которым объемлется глядящий в такие взоры девы.

— Царица! — вскрикнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков. — Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, — я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, — я сделаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко... но не в силах сказать того! У меня три хутора, половина табунов отцовских — мои, все, что принесла отцу мать моя,

что даже от него скрывает она, — все мое. Такого ни у кого нет теперь у козаков наших оружия, как у меня: за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только шевельнешь своею тонкою черною бровью! Но знаю, что, может быть, несу глупые речи, и некстати, и нейдет все это сюда, что не мне, проведенному жизнь в бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и все что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, что ты иное творенье бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери-девы. Мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе.

С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала дева открытую сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа. И каждое простое слово сей речи, выговоренное голосом, летевшим прямо с сердечного дна, было облечено в силу. И

выдалось вперед все прекрасное лицо ее, отбросила она далеко назад досадные волосы, открыла уста и долго глядела с открытыми устами. Потом хотела что-то сказать и вдруг остановилась и вспомнила, что другим назначением ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади его суровыми мстителями, что страшны облегшие город запорожцы, что лютой смерти обречены все они с своим городом... И глаза ее вдруг наполнились слезами; быстро она схватила платок, шитый шелками, набросила себе на лицо его, и он в минуту стал весь влажен; и долго сидела, забросив назад свою прекрасную голову, сжав белоснежными зубами свою прекрасную нижнюю губу, — как бы внезапно почувствовав какое укушение ядовитого гада, — и не снимая с лица платка, чтобы он не видел ее сокрушительной грусти.

— Скажи мне одно слово! — сказал Андрий и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от сего прикосновенья, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его.

Но она молчала, не отнимала платка от ли-

ца своего и оставалась неподвижна.

— Отчего же ты так печальна? Скажи мне, отчего ты так печальна?

Бросила прочь она от себя платок, отдернула належавшие на очи длинные волосы косы своей и вся разлилася в жалостных речах, выговаривая их тихим-тихим голосом, подобно когда ветер, поднявшись прекрасным вечером, пробежит вдруг по густой чаще приводного тростника: зашелестят, зазвучат и понесутся вдруг унывно-тонкие звуки, и ловит их с непонятной грустью остановившийся путник, не чуя ни погасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа, бредущего от полевых работ и жнив, ни отдаленного тарахтанья где-то проезжающей телеги.

— Не достойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришла на часть мне? Не лютый ли ты палач мой, моя свирепая судьба? Всех ты привела к ногам моим: лучших дворян из всего шляхетства, богатейших панов, графов и иноземных баронов и все, что ни есть цвет нашего рыцарства. Всем им было вольно любить меня, и за великое

благо всякий из них почел бы любовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и любой из них, красивейший, прекраснейший лицом и породю, стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу нашему. За что же ты, пречистая божья мать, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня? В изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои; лучшие, дорогие блюда и сладкие вина были мне снедью. И на что все это было? к чему оно все было? К тому ли, чтобы наконец умереть лютою смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасенья которых двадцать раз готова бы была отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидеть и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами

своими разодрал на части мое сердце, чтобы горькая моя участь была еще горше, чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя — прости мое прегрешение, — святая божья мать!

И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отразилось в лице ее; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее, — все, казалось, говорило: «Нет счастья на лице сем!»

— Не слыхано на свете, не можно, не быть тому, — говорил Андрий, — чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы пред ней, как пред святыней, преклонилось все, что ни есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь! Не тебе умирать! Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь! Если же выйдет уже так и ничем — ни силой, ни молитвой, ни мужеством —

нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе; и прежде я умру, умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей, и разве уже мертвого меня разлучат с тобою.

— Не обманывай, рыцарь, и себя и меня, — говорила она, качая тихо прекрасной головой своей, — знаю и, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы — враги тебе.

— А что мне отец, товарищи и отчизна! — сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная осокорь [103], стан свой. — Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого! — повторил он тем же голосом и сопроводив его тем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый козак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого. — Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее,

пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!

На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала, и с чудною женскою стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными, чудными руками, и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровождаемые трубным и литаврным звуком. Но он не слышал их. Он слышал только, как чудные уста обдавали его благовоной теплотой своего дыханья, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо и спустившиеся все с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком.

В это время вбежала к ним с радостным криком татарка.

— Спасены, спасены! — кричала она, не помня себя. — Наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев.

Но не слышал никто из них, какие «наши» вошли в город, что привезли с собою и каких связали запорожцев. Полный не на земле вкушаемых чувств, Андрий поцеловал в сии благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и небезответны были благовонные уста. Они отозвались тем же, и в сем обоюднослиянном поцелуе ощутилось то, что один только раз в жизни дается чувствовать человеку.

И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви божьей! Украине не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клоч волос из своей чуприны и проклянет и день и час, в который породил на позор себе такого сына.

VII

Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецки; стало быть, дивиться

нечего, что половина была перебита, а другая перевязана прежде, чем все могли узнать, в чем дело. Покамест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал:

— Так вот что, панове-братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель! Вот какое поруганье оказал нам неприятель! У вас, видно, уже такое заведение: коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите.

Козаки все стояли понутив головы, зная вину; один только незамайковский куренной атаман Кукубенко отозвался.

— Постой, батько! — сказал он. — Хоть оно и не в законе, чтобы сказать какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом всего войска, да дело не так было, так нужно ска-

зять. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжелой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержанья не было: как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой.

Речь куренного атамана понравилась козакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, промолвивши: «Добре сказал Кукубенко!» А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал:

— А что, кошевой, видно Кукубенко правду сказал? Что ты скажешь на это?

— А что скажу? Скажу: блажен и отец, родивший такого сына! Еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но бо'льшая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека,

ободрило бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде.

«Добре сказал и кошевой!» — отозвалось в рядах запорожцев. «Доброе слово!» — повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и те кивнули головою и, моргнувши седым усом, тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

— Слушайте же, панове! — продолжал кошевой. — Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные, немецкие мастера, — пусть ей враг прикинется! — и неприлично, и не козацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом; телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный; стало быть, все съест духом, да и коням тоже сена... уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой... только про это еще бог знает; а ксендзы-то их горазды на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и стано-

вись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дядькивский и Корсунский курень на засаду! Полковник Тарас с полком на засаду! Тытаревский и Тymoшевский курень на запас, с правого бока обоза! Щербиновский и Стебликивский верхний — с левого боку! Да выбирайтесь из ряду, молодцы, которые позубастее на слово, задирать неприятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпит; и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, перегляди всякий курень свой: у кого недочет, пополни его останками Переяславского. Перегляди всё снова! Дать на опохмел всем по чарке и по хлебу на козака! Только, верно, всякий еще вчерашним сыт, ибо, некуда деть правды, понаедались все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ: если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст козаку хоть один кухоль[104] сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо, собаке, и повешу ногами вверх! За работу же, братцы! За работу!

Так распоряжал кошевой, и все поклонились.

лись ему в пояс и, не надевая шапок, отправились по своим возам и таборам и, когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрий: полонили ли его вместе с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрий, чтобы отдался живым в плен. Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени.

— Кому нужно меня? — сказал он, наконец очнувшись.

Перед ним стоял жид Янкель.

— Пан полковник, пан полковник! — говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело не совсем пустое. — Я был в городе, пан полковник!

Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе.

— Какой же враг тебя занес туда?

— Я сейчас расскажу, — сказал Янкель. — Как только услышал я на заре шум и козаки стали стрелять, я ухватил кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом; дорогою уже надел его в рукава, потому что хотел поскорей узнать, отчего шум, отчего козаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам, в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу — впереди отряда пан хорунжий Галяндович. Он человек мне знакомый: еще с третьего года задолжал сто червонных. Я за ним, будто бы затем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город.

— Как же ты: вошел в город, да еще и долг хотел выправить? — сказал Бульба. — И не велел он тебя тут же повесить, как собаку?

— А ей-богу, хотел повесить, — отвечал жид, — уже было его слуги совсем схватили меня и закинули веревку на шею, но взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать займы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей; ибо у пана хорунжего — я все

скажу пану — нет и одного червонного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самого Шклова, а грошей у него так, как у козака, — ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жидаы, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме оттого не был.

— Что ж ты делал в городе? Видел наших?

— Как же! Наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор...

— Пропади они, собаки! — вскрикнул, рассердившись, Тарас. — Что ты мне тычешь свое жидовское племя! Я тебя спрашиваю про наших запорожцев.

— Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрия.

— Андрия видел? — вскрикнул Бульба. — Что ж ты, где видел его? в подвале? в яме? обесчещен? связан?

— Кто же бы смел связать пана Андрия? Теперь он такой важный рыцарь... Далибуг [105], я не узнал! И наплечники в золоте, и на рукавники в золоте, и зеркало [106] в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде зо-

лото, и все золото. Так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего под верх; два ста червонных стоит один конь.

Бульба остолбенел.

— Зачем же он надел чужое одеянье?

— Потому что лучше, потому и надел... И сам разъезжает, и другие разъезжают; и он учит, и его учат. Как наибогатейший польский пан!

— Кто ж его принудил?

— Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним?

— Кто перешел?

— А пан Андрий.

— Куда перешел?

— Перешел на их сторону, он уж теперь совсем ихний.

— Врешь, свиное ухо!

— Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве, чтобы врал? На свою бы голову я врал? Разве я не знаю, что жида повесят, как собаку,

коли он соврет перед паном?

— Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру?

— Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, то он перешел к ним.

— Врешь, чертов жид! Такого дела не было на христианской земле! Ты путаешь, собака!

— Пусть трава прорастет на пороге моего дома, если я путаю! Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекора, и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел к ним.

— Отчего?

— У воеводы есть дочка-красавица. Святой боже, какая красавица!

Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту, расставив руки, прищулив глаз и покрививши набок рот, как будто чего-нибудь отведавши.

— Ну, так что же из того?

— Он для нее и сделал все и перешел. Коли человек влюбится, то он все равно что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми согни — она и согнется.

Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что многих сильных погубляла она, что податлива с этой стороны природа Андрия; и стоял он долго как вкопанный на одном и том же месте.

— Слушай, пан, я все расскажу пану, — говорил жид. — Как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга, потому что в городе есть красавицы и дворянки, а коли есть красавицы и дворянки, сказал я себе, то хоть им и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только хорунжего слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки-татарки. «Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрий обещал прогнать запорожцев».

— И ты не убил тут же на месте его, чертова сына? — вскрикнул Бульба.

— За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел.

— И ты видел его в самое лицо?

— Ей-богу, в самое лицо! Такой славный

вояка! Всех врачней. Дай бог ему здоровья, меня тотчас узнал; и когда я подошел к нему, тотчас сказал...

— Что ж он сказал?

— Он сказал... прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал: «Янкель!» А я: «Пан Андрий!» — говорю. «Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец — теперь не отец мне, брат — не брат, товарищ — не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться!»

— Врешь, чертов Иуда! — закричал, вышед из себя, Тарас. — Врешь, собака! Ты и Христа распял, проклятый богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то — тут же тебе и смерть! — И, сказавши это, Тарас выхватил свою саблю.

Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие, сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между козацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвер-

нувшемся.

Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрия, проходившего по табору с какой-то женщиною, и поник седою головою, а все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело и чтобы собственный сын его продал веру и душу.

Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще козаками. А запорожцы, и пешие и конные, выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени: Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебликивский, Незамайковский, Гургузив, Тытаревский, Тymoшевский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули козаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьих руках, кто, и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю, и сам атаман Хлеб, без шаровар и верхнего убранства, очутился в ляшском стану.

В городе слышали козацкое движенье. Все высыпали на вал, и предстала пред козакoв живая картина: польские витязи, один

другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнца, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые с перегнутыми набекрень верхами; кафтаны с откидными рукавами, шитые и золотом и просто выложенные шнурками; у тех сабли и ружья в дорогих оправках, за которые дорого приплачивались паны, — и много было всяких других убранств. Наперед стоял спесиво, в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник. Грузен был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан в силу облакал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь высохший; но малые зоркие очи глядели живо из-под густо выросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанья; видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял хорунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка в краске на лице: любил пан крепкие меды и

добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что ни нашлось в дедовских замках. Немало было и всяких сенаторских нахлебников, которых брали с собою сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всяких было там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все принарядились.

Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятках и ружейных оправках. Не любили козаки богато выражаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и червонели черные, червонноверхие бараньи их шапки.

Два козака выехало вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее, оба зубастые на слова, на деле тоже не плохие козаки: Охрим Наш и Мыкыта Го-

локопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый козак, уже давно маячивший на Сечи, бывший под Адрианоподем и много натерпевшийся на веку своем: горел в огне и прибежал на Сечь с обсмаленною, почерневшею головою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастил усы, густые и черные как смоль. И крепок был на едкое слово Попович.

— А, красные жупаны на всем войске, да хотел бы я знать, красная ли сила у войска?

— Вот я вас! — кричал сверху дюжий полковник, — всех перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видели, как перевязал я ваших? Выведите им на вал запорожцев!

И вывели на вал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, — так, как схватили его хмельного. И потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же козаками и того, что попал в плен, как собака, сонный. В одну ночь поседела крепкая голова его.

— Не печалься, Хлиб! Выручим! — кричали

ему снизу козаки.

— Не печалься, друзьяка! — отозвался куренной атаман Бородатый. — В том нет вины твоей, что схватили тебя нагого. Беда может быть со всяким человеком; но стыдно им, что выставили тебя на позор, не прикрывши прилично наготы твоей.

— Вы, видно, на сонных людей храброе войско! — говорил, поглядывая на вал, Голокопытенко.

— Вот, погодите, обрежем мы вам чубы! — кричали им сверху.

— А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы! — говорил Попович, поворотившись перед ними на коне. Потом, поглядевши на своих, сказал: — А что ж? Может быть, ляхи и правду говорят. Коли выведет их вон тот пузатый, им всем будет добрая защита.

— Отчего ж, ты думаешь, будет им добрая защита? — сказали козаки, зная, что Попович, верно, уже готовился что-нибудь отпустить.

— А оттого, что позади его упрячется все войско, и уж черта с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем!

Все засмеялись козаки. И долго многие из них еще покачивали головою, говоря: «Ну уж Попович! Уж коли кому закрутит слово, так только ну...» Да уж и не сказали козаки, что такое «ну».

— Отступайте, отступайте скорей от стен! — закричал кошевой. Ибо ляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой.

Едва только посторонились козаки, как грянули с валу картечью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один с своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал хорунжий; за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник; а позади всего уже войска выехал последним низенький полковник.

— Не давать им, не давать им строиться и становиться в ряды! — кричал кошевой. — Разом напирайте на них все курени! Оставляйте прочие ворота! Тытаревский курень, нападай сбоку! Дядькивский курень, нападай с другого! Напирайте на тыл, Кукубенко и Палывода! Мешайте, мешайте и розните их!

И ударили со всех сторон козаки, сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произвести; пошло дело на мечи да на копья. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать себя. Демид Попович трех заколол простых и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря: «Вот хорошие кони! Таких коней я давно хотел достать!» И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим козакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблю с дорогою рукоятью и отвязавши от пояса целый черенок[107] с червонцами. Кобита, добрый козак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они.

Сошлись уже в рукопашный. Одолевал было уже козак и, сломивши, ударил вострым турецким ножом в грудь, но не уберется сам. Тут же в висок хлопнула его горячая пуля. Свалил его знатнее из панов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. Как стройный тополь, носился он на булатом коне своем. И много уже показал боярской богатырской удали: двух запорожцев разрубил надвое; Федора Коржа, доброго козака, опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню и козака достал из-за коня копьем; многим отнес головы и руки и повалил козака Кобиту, вогнавши ему пулю в висок.

— Вот с кем бы я хотел попробовать силы! — закричал незамайковский куренной атаман Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо; но не послушался конь: испуганный страшным криком, метнулся на сторону, и достал его ружейною пулею Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня.

Но и тут не поддался лях, все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже кинул его и пробился с своими незамайковцами в другую кучу.

— Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство! — сказал уманский куренной Бородатый, отъехавши от своих к месту, где лежал убитый Кукубенком шляхтич. — Я семерых убил шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видел ни на ком.

И польстился корыстью Бородатый: нагнул, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных камней, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическою куд-

рею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышал Бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже раз сбитый им с седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее. Не к добру повела корысть козака: отскочила могучая голова, и упал обезглавленный труп, далеко вокруг оросивши землю. Понеслась к вышинам суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не успел хорунжий ухватить за чуб атаманскую голову, чтобы привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель.

Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластанный на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-перепела, — так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею веревку. Побагровело еще сильнее красное лицо хорунжего, когда затянула ему горло жестокая петля; схватился он было за пистолет, но судорожно сведен-

ная рука не могла направить выстрела, и даром полетела в поле пуля. Остап тут же, у его же седла, отвязал шелковый шнур, который возил с собою хорунжий для вязания пленных, и его же шнуром связал его по рукам и по ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех козаков Уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману.

Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибрать его тело; и тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец сказали:

— Да на что совещаться? Лучше не можно поставить в куренные, как Бульбенка Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого человека.

Остап, сняв шапку, всех поблагодарил козаков-товарищей за честь, не стал отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь, а тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что не даром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось де-

ло слишком жарко, отступили и перебежали поле, чтоб собраться на другом конце его. А низенький полковник махнул на стоявшие отдельно, у самых ворот, четыре свежих сотни, и грянули оттуда картечью в козацкие кучи. Но мало кого достали: пули хватили по быкам козацким, дико глядевшим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на козацкие таборы, переломали возы и многих перетоптали. Но Тарас в это время, вырвавшись из засады с своим полком, с криком бросился навпереймы. Поворотило назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляшские полки, опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпало.

— О, спасибо вам, волы! — кричали запорожцы, — служили всё походную службу, а теперь и военную сослужили! — И ударили с новыми силами на неприятеля.

Много тогда перебили врагов. Многие показали себя: Метельця, Шило, оба Пысаренки, Вовтузенко, и немало было всяких других. Увидели ляхи, что плохо наконец приходит, выкинули хоругвь и закричали отворять городские ворота. Со скрыпом отворились оби-

тые железом ворота и приняли толпившихся, как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но Остап своих уманцев остановил, сказавши: «Подальше, подальше, паны-братья, от стен! Не годится близко подходить к ним». И правду сказал, потому что со стен грянули и посыпали всем чем ни попало, и многим досталось. В это время подъехал кошевой и похвалил Остапа, сказавши: «Вот и новый атаман, а ведет войско так, как бы и старый!» Оглянулся старый Бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка заломлена набекрень, и атаманская палица в руке. «Вишь ты какой!» — сказал он, глядя на него; и обрадовался старый, и стал благодарить всех уманцев за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь идти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными епанчами. Запеклася кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью покрылись красивые медные шапки.

— Что, перевязали? — кричали им снизу

запорожцы.

— Вот я вас! — кричал все так же сверху толстый полковник, показывая веревку.

И все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и все, бывшие позадорнее, перекинулись с обеих сторон бойкими словами.

Наконец разошлись все. Кто расположился отдыхать, истомившись от боя; кто присыпал землей свои раны и драл на перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприятеля. Другие же, которые были посвежее, стали прибирать тела и отдавать им последнюю почесть. Палашами и копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкие тела и засыпали их свежею землею, чтобы не досталось во'ронам и хищным орлам выплевывать им очи. А ляшские тела увязавши как попало десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнались за ними и хлестали их по бокам. Летели бешеные кони по бороздам, буграм, через рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахом ляшские трупы.

Потом сели кругами все курени вечереть и долго говорили о делах и подвигах, доставшихся в удел каждому, на вечный рассказ пришельцам и потомству. Долго не ложились они. А долее всех не ложился старый Тарас, все размышляя, что бы значило, что Андрия не было между вражьих воев. Посовестился ли Иуда выйти противу своих или обманул жид и попался он просто в неволю? Но тут же вспомнил он, что не в меру было склончиво сердце Андрия на женские речи, почувствовал скорбь и заклился сильно в душе против полячки, причаровавшей его сына. И выполнил бы он свою клятву: не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую, пышную косу, поволок бы ее за собою по всему полю, между всех козаков. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, покрывающим горные вершины; разнес бы по частям он ее пышное, прекрасное тело. Но не ведал Бульба того, что готовит бог человеку завтра, и стал позабываться сном, и наконец заснул.

А козаки все еще говорили промеж собой,

и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.

VIII

Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из Сечи пришла весть, что татары во время отлучки козаков ограбили в ней все, вырыли скарб, который втайне держали козаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к Перекопу. Один только козак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук, заколол мирзу, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне, в татарской одежде полтора дни и две ночи уходил от погони, загнал насмерть коня, пересел дорогою на другого, загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под Дубном. Только и успел объявить он, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшиеся запорожцы, по козацкому обычаю, и пьяными отдались в плен, и как узнали татары место, где был за-

рыт войсковою скарб, — того ничего не сказал он. Сильно истомился козак, распух весь, лицо пожгло и опалило ему ветром; упал он тут же и заснул крепким сном.

В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острове, и бог знает в какие местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться, как равные между собою.

— Давай совет прежде старшие! — закричали в толпе.

— Давай совет кошевой! — говорили другие.

И кошевой снял шапку, уж не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех козаков за честь и сказал:

— Много между нами есть старших и советом умнейших, но коли меня почтили, то мой

совет: не терять, товарищи, времени и гнаться за татаринoм. Ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Так мой совет: идти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое козаки; за веру, сколько было по силам, отмстили; корысти же с голодного города не много. Итак, мой совет — идти.

— Идти! — раздалось голосно в запорожских куренях.

Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова, и навесил он еще ниже на очи свои хмурые, исчерна-белые брови, подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней.

— Нет, не прав совет твой, кошевой! — сказал он. — Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтоб мы не уважили первого, святого закона товарищества: оставили бы братьев своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу или, исчет-

вертовав на части козацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они уже с гетьманом и лучшими русскими витязями на Украине. Разве мало они поругались и без того над святынею? Что ж мы такое? спрашиваю я всех вас. Что ж за козак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что ставит козацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто меня. Один остаюсь!

Поколебались все стоявшие запорожцы.

— А разве ты позабыл, бравый полковник, — сказал тогда кошевой, — что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти? Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианскою кровью?

Задумались все козаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске

Касьян Бовдюг. В чести был он от всех козак-ков; два раза уже был избираем кошевым и на войнах тоже был сильно добрый козак, но уже давно состарелся и не бывал ни в каких походах; не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вояка лежать на боку у козацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи и козацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал да прижимал пальцем золу в своей коротенькой трубке, которой не выпускал изо рта, и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи; и не знали козаки, спал ли он или все еще слушал. Все походы оставался он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукою по козацки и сказал:

— А, не куды пошло! Пойду и я; может, в чем-нибудь буду пригоден козачеству!

Все козаки притихли, когда выступил он теперь перед собранием, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюг.

— Пришла очередь и мне сказать слово, паны-братья! — так он начал. — Послушайте, дети, старого. Мудро сказал кошевой; и, как

голова козацкого войска, обязанный прибере-
гать его и пещись о войсковом скарбе, мудрее
ничего он не мог сказать. Вот что! Это пусть
будет первая моя речь! А теперь послушайте,
что скажет моя другая речь. А вот что скажет
моя другая речь: большую правду сказал и Та-
рас-полковник, — дай боже ему побольше ве-
ку и чтоб таких полковников было побольше
на Украине! Первый долг и первая честь коза-
ка есть соблюсти товарищество. Сколько ни
живу я на веку, не слышал я, паны-братья,
чтобы козак покинул где или продал как-ни-
будь своего товарища. И те и другие нам това-
рищи; меньше их или больше — все равно,
все товарищи, все нам дороги. Так вот какая
моя речь: те, которым милы захваченные та-
тарами, пусть отправляются за татарами, а
которым милы полоненные ляхами и не хо-
чется оставлять правого дела, пусть остаются.
Кошевой по долгу пойдет с одной половиною
за татарами, а другая половина выберет себе
наказного атамана. А наказным атаманом,
коли хотите послушать белой головы, не при-
гоне быть никому другому, как только одно-
му Тарасу Бульбе. Нет из нас никого, равного

ему в доблести.

Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались все козаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали:

— Спасибо тебе, батько! Молчал, молчал, долго молчал, да вот наконец и сказал. Недавно говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден козачеству: так и сделалось.

— Что, согласны вы на то? — спросил кошевой.

— Все согласны! — закричали козами.

— Стало быть, раде конец?

— Конец раде! — кричали козаки.

— Слушайте ж теперь войскового приказа, дети! — сказал кошевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старший.

— Теперь отделяйтесь, паны-братья! Кто хочет идти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на левую! Куды бо'льшая часть куреня переходит, туды и атаман; коли

меньшая часть переходит, приставай к другим куреням.

И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня бо́льшая часть переходила, туда и куренной атаман переходил; которого малая часть, та приставала к другим куреням; и вышло без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться: весь почти Незамайковский курень, бо́льшая половина Поповичевского куреня, весь Уманский курень, весь Каневский курень, бо́льшая половина Стебликивского куреня, бо́льшая половина Тymoшевского куреня. Все остальные вызвались идти вдогон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых козаков, Между теми, которые решились идти вслед за татарами, был Череватый, добрый старый козак, Покотыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завязаного нрава козак — не мог долго выси- деть на месте; с ляхами попробовал уже он дела, хотелось попробовать еще с татарами. Куренные были: Ностюган, Покрышка, Невы- лычкий; и много еще других славных и храб-

рых козаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татаринном. Немало было также сильно и сильно добрых козаков между теми, которые захотели остаться: куренные Демьтрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих козаков: Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Охрим Гуска, Мыкола Густый, Задорожний, Метелыця, Иван Закрутыгуба, Мосий Шило, Дёгтяренко, Сыдоренко, Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще Пысаренко, и много было других добрых козаков. Все были хожалые, езжалые: ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам[108] и днепровским островам; бывали в молдавской, волошской, в турецкой земле; изъездили всё Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстреляли пороку на своем веку. Не раз драли на онучи дорогие паволоки и оксамиты. Не раз череши у

штанных очкуров набивали все чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Все спустили по-козацки, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свете. Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра — кружек, серебряных ковшей и запястьев под камышами на днепровских островах, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, в случае несчастья, удалось ему напасть врасплох на Сечь; но трудно было бы татарину найти его, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были козаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру! Старый козак Бовдюг захотел также остаться с ними, сказавши: «Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами, а тут есть место, где опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просил я у бога, чтобы если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войне за святое и христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте

для старого козака».

Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда куренями, кошевой прошел промеж рядов и сказал:

— А что, панове-братове, довольны одна сторона другою?

— Все довольны, батько! — отвечали козаки.

— Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощанье, ибо, бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велит козацкая честь.

И все козаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Начали первые атаманы и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались навкрест и потом взяли за руки и крепко держали руки. Хотел один другого спросить: «Что, пане-брате, увидимся или не увидимся?» — да и не спросили, замолчали, — и загадались обе седые головы. А козаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим; но не повершили, однако ж, тотчас разлучиться, а повершили дожидаться темной ночной поры, чтобы не дать

неприятелю увидеть убыль в козацком войске. Потом все отправились по куреням обедать.

После обеда все, которым предстояла дорога, легли отдыхать и спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведется им вкусить на такой свободе. Спали до самого заходу солнечного; а как зашло солнце и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед возы, а сами, пошапковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за возами. Конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь да скрип иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще оставшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своим местам, когда увидали при высветивших ясно звездах, что половины телег уже не было на месте, что многих, многих нет, невесело стало у всякого на сердце, и все задумались против

воли, утупивши в землю гульливые свои головы.

Тарас видел, как смутны стали козацкие ряды и как уныние, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкие головы, но молчал: он хотел дать время всему, чтобы пообыклись они и к унынью, наведенному прощаньем с товарищами, а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-казацки, чтобы вновь и с большею силой, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только славянская порода — широкая, могучая порода перед другими, что море перед мелководными реками. Коли время бурно, все превращается оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам; коли же безветренно и тихо, яснее всех рек расстилагает оно свою неоглядную склянную поверхность, вечную негу очей.

И повелел Тарас распаковать своим слугам один из возов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в козацком обозе; двойною крепкою шиною были обтянуты белые колеса его; грузно был он навьючен,

укрыт попонами, крепкими воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В возу были всё баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его про запас, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому, до единого, козаку досталось выпить запоедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и чувство овладело человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились к возам, палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьих кожи и попоны и стаскивали с воза баклаги и бочонки.

— А берите все, — сказал Бульба, — все, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш, или черпак, которым поит коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обе горсти.

И козаки все, сколько ни было их, брали, у кого был ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем им слуги

Тарасовы, расхаживая промеж рядами, наливали из баклаг и бочонков. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как ни сильно само по себе старое доброе вино и как ни способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа.

— Я угощаю вас, паны-братья, — так сказал Бульба, — не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как ни велика подобная честь, не в честь также прощанья с нашими товарищами: нет, в другое время прилично то и другое; не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой козацкой доблести! Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем поперед всего за святую православную веру: чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурменов, все бы сделались христианами! Да за одним уже разом выпьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом

выходили из нее молодцы один одного лучше, один одного краше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пане-братове, за веру!

— За веру! — загомонели все, стоявшие в ближних рядах, густыми голосами.

— За веру! — подхватили дальние; и все что ни было, и старое и молодое, выпило за веру.

— За Сичь! — сказал Тарас и высоко поднял над головою руку.

— За Сичь! — отдалось густо в передних рядах. — За Сичь! — сказали тихо старые, моргнувши седым усом; и, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые: — За Сичь!

И слышало далече поле, как поминали козаки свою Сичь.

— Теперь последний глоток; товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете!

И все козаки, до последнего в поле, выпили последний глоток в ковшах за славу и всех

христиан, какие ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж всеми куренями:

— За всех христиан, какие ни есть на свете!

Уже пусто было в ковшах, а всё еще стояли козаки, поднявши руки. Хоть весело глядели очи их всех, просиявшие вином, но сильно загадались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому пощастливится набрать червонцев, дорогого оружия, шитых кафтанов и черкесских коней; но загадались они — как орлы, севшие на вершинах обрывистых, высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельно море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибрежными, как мошки, городами и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы, озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами [109] и дорогами покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись козацкою

их кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами. Будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них козацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! Не погибнет ни одно великодушное дело, и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула, козацкая слава. Будет, будет бандурист с седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещей духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву.

В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни заметили только часовые, что потянулась часть возов за лес; но подумали, что козаки готовились сделать засаду; тоже думал и французский инженер. А между тем слова кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков, войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков была тут же перебита козаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однако же, воспользовались вылазкою и пронюхали всё: куда и зачем отправились запорожцы, и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать, — словом, чрез несколько уже минут в городе всё узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движенью и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказания, уставил в три таборы курени, обнесши их возами в виде крепостей, — род

битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы; двум куреням повелел забраться в засаду: убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано как нужно, сказал речь козакам, не для того, чтобы ободрить и освежить их, — знал, что и без того крепки они духом, — а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце.

— Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы:

любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случилось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь — и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а... — сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да

и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышинной натуры их!

Так говорил атаман и, когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившеюся в козацких делах головою. Всех, кто ни стоял, разобрали сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю; слеза тихо накатывалась в старых очах; медленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно вре-

мя рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодую жемчужною душою на вечную радость старцам родителям, родившим их.

А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы. И стали наступать они тесно на козацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели козаки, что подошли они на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали, и, не перерывая, всё палили они из пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в непрерывный гул; дымом затянуло все поле, а запорожцы всё палили, не переводя духу: задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего по-

нять, как стреляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно было, как то одного, то другого не ставало в рядах; но чувствовали ляхи, что густо летели пули и жарко становилось дело; и когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и оглядеться, то многих недосчитались в рядах своих. А у козаков, может быть, другой-третий был убит на всю сотню. И всё продолжали палить козаки из пицалей, ни на минуту не давая промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же, при всех: «Вот brave молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!» И дал совет повернуть тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки; дрогнула, далеко загудевши, земля, и вдвое больше затянуло дымом все поле. Почуяли запах пороха среди площадей и улиц в дальних и ближних городах. Но нацелившие взяли слишком высоко: раскаленные ядра выгнули слишком высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они через головы всего

табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискусства и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями непрерывно козаки.

Тарас видел еще издали, что беда будет всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно: «Выбирайтесь скорей из-за возов, и садись всякий на коня!» Но не успели бы сделать то и другое козаки, если бы Остап не ударил в самую середину; выбил фитили у шести пушкарей, у четырех только не мог выбить: отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из казаков не видывал дотоле. Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда. И как грянула она, а за нею следом три другие, четырехкратно потрясши глухо-ответную землю, — много нанесли они горя! Не по одному козаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Не одна останется вдова в Глухове, Немирове,

Чернигове и других городах. Будет, сердечная, выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех.

Так, как будто и не бывало половины Незамайковского куреня! Как градом выбивает вдруг всю ниву, где, что полновесный червонец, красовался всякий колос, так их выбило и положило.

Как же вскинулись козаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину. В гневе иссек в капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коней, доставши копьем и конника и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там, видит, хлопчет уманский куренной атаман и Степан Гуска уже отбивает главную пушку. Оставил он тех козаков и поворотил с своими в другую неприятельскую гущу. Так, где про-

шли незамайковцы — так там и улица, где поворотились — так уж там и переулок! Так и видно, как редели ряды и снопами валялись ляхи! А у самых возов Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальних возов Дёгтяренко, а за ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дёгтяренко, да напал наконец на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен и пятьдесят одних слуг привел с собою. Согнул он крепко Дёгтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал: «Нет из вас, собак-козаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне!»

«А вот есть же!» — сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он козак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры, взяли их по рукам и ногам в железные цепи, не давали по целым неделям пшена и поили противной морской водою. Все выносили и вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Мосий Шило, истоптал

ногами святой закон, скверною чалмой обвил грешную голову, вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Мосий Шило в новые цепи по три в ряд, прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки; всех перебил по шеям, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, а брали бы наместо того сабли да рубили турков. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шила. Выбрали бы его в кошевые, да был совсем чудной козак. Иной раз повершал такое дело, какого мудрейшему не придумать, а в другой — просто дурь одолевала казака. Пропил

он и прогулял все, всем задолжал на Сечи и, в прибавку к тому, прокрался, как уличный вор: ночью утащил из чужого куреня всю козацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое позорное дело привязали его на базаре к столбу и положили возле дубину, чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему по удару. Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто бы поднял на него дубину, помня прежние его заслуги. Таков был козак Мосий Шило.

«Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» — сказал он, ринувшись на него. И уж так-то рубились они! И наплечники и зерцала погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий лях железную рубашку, достав лезвеем самого тела: зачервонела козацкая рубашка. Но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях, а Шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, козак, врага, а лучше повернись назад! Не повернулся козак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило

и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почувал, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паныбратья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась козацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал Задорожный с своими, ломил ряды куренной Вертыхвист и выступал Балаган.

— А что, паны? — сказал Тарас, перекликнувшись с куренными. — Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли козацкая сила? Не гнутся ли казаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах. Не ослабела еще козацкая сила; еще не гнутся казаки!

И наперли сильно казаки: совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к зна-

менам; но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь с своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворотив коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового куреня, Степан Гуска пустился ему навпереймы, с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее, и, улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но недобровать и Гуске! Не успели оглянуться козаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на четыре копья. Только и успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!» И там же испустил дух свой.

Оглянулись козаки, а уж там, сбоку, козак Метельця угощает ляхов, шеломя того и другого; а уж там, с другого, напирает с своими

атаман Невылычкий; а у возов ворочает врага и бьется Закрутыгуба; а у дальних возов третий Пысаренко отогнал уже целую ватагу. А уж там, у других возов, схватились и бьются на самых возах.

— Что, паны? — перекликнулся атаман Тарас, проехавши впереди всех. — Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще козаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах; еще крепка козацкая сила; еще не гнутся козаки!

А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с светом. Дай бог и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца века Русская земля!» И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отошедшим старцам, как умеют биться на Русской земле и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру.

Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему: от копья, от пули и от тяжелого палаша. А был один из доблест-

нейших козаков; много совершил он под своим атаманством морских походов, но славнее всех был поход к анатольским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой габы[110], киндяков[111] и всяких убранных, но мыкнули горе на обратном пути: попались, сердечные, под турецкие ядра. Какхватило их с корабля — половина челнов закружилась и перевернулась, потопивши не одного в воду, но привязанные к бокам камыши спасли челны от потопления. Балабан отплыл на всех веслах, стал прямо к солнцу и через то сделался невиден турецкому кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитые места; из козацких штанов нарезали парусов, понеслись и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того что прибыли безбедно на Сечу, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорского киевского монастыря и на Покров, что на Запорожье, оклад из чистого серебра. И славили долго потом бандуристы удачливость козаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: «Сдается мне, паны-браты, уми-

раю хорошею смертью: семерых изрубил, девятерых копьем исколол. Истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею. Пусть же цветет вечно Русская земля!..» И отлетела его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже семь человек только осталось изо всего Незамайковского куреня; уже и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели козаки: уже успело ему углубиться под сердце копье прежде, чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его козакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в склянном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы если приведет бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное

время, когда иначе и лучше веселился человек... Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня! — скажет ему Христос, — ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенка. Уже редели сильно козацкие ряды; многих, многих храбрых уже недо считывались; но стояли и держались еще козаки.

— А что, паны? — перекликнулся Тарас с оставшимися куренями. — Есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?

— Достанет еще, батько, пороху! Годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не погнулись еще козаки!

И рванулись снова козаки так, как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три только куренных атамана осталось в живых. Черво-нели уже всюду красные реки; высоко гати-лись мосты из козацких и вражьих тел. Взгля-нул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то пожи-ва! А уж там подняли на копье Метельцю. Уже голова другого Пысаренка, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охрим Гус-ка. «Ну!» — сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил сильно, вы-рвавшись из засады, в конницу. Не выдержали сильного напору ляхи, а он их гнал и на-гнал прямо на место, где были убиты в землю копья и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие последние за возами, увидевши, что уже достанет ру-жейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободри-лись козаки. «Вот и наша победа!» — разда-лись со всех сторон запорожские голоса, за-трубили в трубы и выкинули победную хо-

ругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. «Ну, нет, еще не совсем победа!» — сказал Тарас, глядя на городские ворота, и сказал он правду.

Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все как один бурые аргамаки. Впереди других понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий. А он между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрееший и младший всех в стае. Атукнул на него опытный охотник — и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набок всем телом, взрывая снег и десять раз выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и

закричал: «Как?.. Своих?.. Своих, чертов сын, своих бьешь?..» Но Андрий не различал, кто пред ним был, свои или другие какие; ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные, длинные кудри, и подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев.

«Эй, хлопьята! заманите мне только его к лесу, заманите мне только его!» — кричал Тарас. И вызвалось тот же час тридцать быстрейших козачков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо наперерез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрия, и в тот же час пустились бежать от них, сколько достало козацкой мочи. Как вскинулся Андрий! Как забунтовала по всем жилкам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за козаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только двадцать человек успело поспевать за ним. А козаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Ан-

дрий и чуть было уже не настигнул Голокопытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: перед ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен...

Так школьник, неосторожно задравши своего товарища и получивши за то от него удар линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части; и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость. Подобно ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца.

— Ну, что ж теперь мы будем делать? — сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.

Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.

— Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

Андрий был безответен.

— Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!

Покорно, как ребенок, слез он с коня и

остановился ни жив ни мертв перед Тарасом.

— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! — сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.

Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почувывая под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарованья, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты.

— Чем бы не козак был? — сказал Тарас, — и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою!

Пропал, пропал бесславно, как подлая собака!
— Батько, что ты сделал? Это ты убил его? — сказал подъехавший в это время Остап.

Тарас кивнул головою.

Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же:

— Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тела хищные птицы.

— Погребут его и без нас! — сказал Тарас, — будут у него плакальщики и утешницы!

И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищенье волкам-сыромахам или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко:

— Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила!..

Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко:

— Беда, атаман, новая валит еще сила!..

Не успел сказать Вовтузенко, Пысаренко бежит бегом, уже без коня:

— Где ты, батьку? Ищут тебя козаки. Уж убит куренной атаман Невылычкий, Задорожный убит, Черевиченко убит. Но стоят козаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи; хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом!

— На коня, Остап! — сказал Тарас и спешил, чтобы застать еще козаков, чтобы поглядеть еще на них и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана.

Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» — кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьем в ребро третьего; четвертый был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь горячая пуля, — взды-

бился бешеный конь, грянулся о землю и за-
давил под собою всадника. «Добре, сынку!..
Добре, Остап!.. — кричал Тарас. — Вот я сле-
дом за тобою!..» А сам все отбивался от насту-
павших. Рубится и бьется Тарас, сыплет го-
стинцы тому и другому на голову, а сам гля-
дит все вперед на Остапа и видит, что уже
вновь схватилось с Остапом мало не восьме-
ро разом. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» Но
уж одолевают Остапа; уже один накинул ему
на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа.
«Эх, Остап, Остап!.. — кричал Тарас, пробива-
ясь к нему, рубя в капусту встречных и попе-
речных. — Эх, Остап, Остап!..» Но как тяже-
лым камнем хватило его самого в ту же мину-
ту. Все закружилось и перевернулось в глазах
его. На миг смешанно сверкнули пред ним го-
ловы, копья, дым, блески огня, сучья с древес-
ными листьями, мелькнувшие ему в самые
очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб,
на землю. И туман покрыл его очи.

Х

— Долго же я спал! — сказал Тарас, очнув-
шись, как после трудного хмельного
сна, и стараясь распознать окружавшие его

предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались пред ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что пред ним сидел Товкач, и, казалось, прислушивался но всякому его дыханию.

«Да, — подумал про себя Товкач, — заснул бы ты, может быть, и навеки!» Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать.

— Да скажи же мне, где я теперь? — спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее.

— Молчи ж! — прикрикнул сурово на него товарищ. — Чего тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж две недели как мы с тобою скачем не переводя духу и как ты в горячке и жару несешь и гордишь чепуху. Вот в первый раз заснул покойно. Молчи ж, если не хочешь нанести сам себе беду.

Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее.

— Да ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи? Мне ж не было никакой возможности выбиться из толпы?

— Молчи ж, говорят тебе, чертова дети-

на! — закричал Товкач сердито, как нянька, выведенная из терпенья, кричит неутомонному повесе-ребенку. — Что пользы знать тебе, как выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали, — ну, и будет с тебя! Нам еще немало ночей скакать вместе. Ты думаешь, что пошел за простого козака? Нет, твою голову оценили в две тысячи червонных.

— А Остап? — вскрикнул вдруг Тарас, понатужился приподняться и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его и что он теперь уже в ляшских руках.

И обняло горе старую голову. Сорвал и сдернул он все перевязки ран своих, бросил их далеко прочь, хотел громко что-то сказать — и вместо того понес чепуху; жар и бред вновь овладели им, и понеслись без толку и связи безумные речи.

А между тем верный товарищ стоял пред ним, бранясь и рассыпая без счету жестокие уморительные слова и упреки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в лубки и, прикрепив-

ши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу.

— Хоть неживого, да довезу тебя! Не попусти, чтобы ляхи поглумились над твоей козацкою породою, на куски рвали бы твое тело да бросали его в воду. Пусть же хоть и будет орел высмыкать из твоего лоба очи, да пусть же степовой наш орел, а не ляшский, не тот, что прилетает из польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украины!

Там говорил верный товарищ. Скакал без отдыху дни и ночи и привез его, бесчувственного, в самую Запорожскую Сечь. Там принялся он лечить его неумоимо травами и смачиваньями; нашел какую-то знающую жидовку, которая месяц поила его разными снадобьями, и наконец Тарасу стало лучше. Лекарства ли или своя железная сила взяла верх, только он через полтора месяца стал на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был ранен старый козак. Однако же заметно стал он пасмурен и печален. Три тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже больше никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг

себя: все новое на Сечи, все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство. И те, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно: все положили головы, все сгибли — кто положив на самом бою честную голову, кто от безводья и бесхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал, не вынесши позора; и самого прежнего кошевого уже давно не было на свете, и никого из старых товарищей; и уже давно поросла травой когда-то кипевшая козацкая сила. Слышал он только, что был пир, сильный, шумный пир: вся перебита вдребезги посуда; нигде не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги все дорогие кубки и сосуды, — и смутный стоит хозяин дома, думая: «Лучше б и не было того пира». Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородастые, седые бандуристы, проходя по два и по три, расславляли его козацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все, и на неподвижном лице его выступала неугасимая горечь, и, тихо понунив голову, говорил он: «Сын мой! Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах, но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы

за охотою, но заряд его оставался невыстрелянным. И, положив ружье, полный тоски, сидел он на морской берег. Долго сидел он там, понутив голову и все говоря: «Остап мой! Остап мой!» Перед ним сверкало и расстилось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.

И не выдержал наконец Тарас. «Что бы ни было, пойду разведать, что он: жив ли он? в могиле? или уже и в самой могиле нет его? Разведаю во что бы то ни стало!» И через неделю уже очутился он в городе Умани, вооруженный, на коне, с копьем, саблей, дорожной баклагой у седла, походным горшком с саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочим снарядом. Он прямо подъехал к нечистому, запачканному домишке, у которого небольшие окошки едва были видны, закопченные неизвестно чем; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякого сору лежала пред самыми дверьми. Из окна выглядывала голова жидовки, в чепце с потемневшими жемчугами.

— Муж дома? — сказал Бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крючку, бывшему у самых дверей.

— Дома, — сказала жидовка и поспешила тот же час выйти с пшеницей в корчике[112] для коня и стопой пива для рыцаря.

— Где же твой жид?

— Он в другой светлице молится, — проговорила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в то время, когда Бульба поднес к губам стопу.

— Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним один. У меня до него дело.

Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять

лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в светлицу. Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего напади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

— Слушай, Янкель! — сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. — Я спас твою жизнь, — тебя бы разорвали, как собаку, запорожцы; теперь твоя очередь, теперь сделай мне услугу!

Лицо жида несколько поморщилось.

— Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать?

— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву.

— В Варшаву? Как в Варшаву? — сказал Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления.

— Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово.

— Кому сказать слово?

— Ему, Остапу, сыну моему.

— Разве пан не слышал, что уже...

— Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же, они, дурни, цену ей! Я тебе пять тысяч дам. Вот тебе две тысячи сейчас, — Бульба высыпал из кожаного гамана[113] две тысячи червонных, — а остальные — как ворочусь.

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

— Ай, славная монета! Ай, добрая монета! — говорил он, вертя один червонец в руках и пробуя на зубах. — Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев.

— Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жида,

на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете; вы знаете все штуки; вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

— А пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг, да и «эй, ну пошел, сивка!». Думает пан, что можно так, как есть, не спрятавши, везти пана?

— Ну, так прятая, прятая как знаешь; в порожнюю бочку, что ли?

— Ай, ай! А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка?

— Ну, так и пусть думает, что горелка.

— Как пусть думает, что горелка? — сказал жид и схватил себя обеими руками за пейсики и потом поднял кверху обе руки.

— Ну, что же ты так оторопел?

— А пан разве не знает, что бог на то со-
здавал горелку, чтобы ее всякий пробовал! Там всё лакомки, ласуны: шляхтич будет бежать верст пять за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жи-

да, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида!» Потому что все, что ни есть недоброго, все валится на жида; потому что жида всякий принимает за собаку; потому что думают, уж и не человек, коли жид.

— Ну, так положи меня в воз с рыбою!

— Не можно, пан; ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки: и рыбу раскрадут, и пана нащупают.

— Так вези меня хоть на черте, только вези!

— Слушай, слушай, пан! — сказал жид, по-сунувши обшлага рукавов своих и подходя к нему с растопыренными руками. — Вот что мы сделаем. Теперь строят везде крепости и замки; из Неметчины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай как хочешь, только вези!

И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из

них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под жидовского яломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинный, как верста, поставленная на дороге.

XI

В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частью для своего собственного удовольствия, особливо если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе

Жидовской, потому что здесь действительно находились жидаы почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные дома, со множеством протянутых из окон жердей, увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху оцекатуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимую для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого

окошка. Куча жиденков, запачканных, обрванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид, с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел с тремя жидами в комнату.

Жидаы начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды — надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния; старое сердце его начало сильно

биться, как будто у юноши.

— Слушайте, жида! — сказал он, и в словах его было что-то восторженное. — Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского; и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных, — я прибавляю еще двенадцать. Все, какие у меня есть, дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам.

— О, не можно любезный пан, не можно! — сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно! — сказал другой жид.

Все три жида взглянули один на другого.

— А попробовать? — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других, — может быть, бог даст.

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать; он слышал только часто произ-

носимое слово «Мардохай», и больше ничего.

— Слушай, пан! — сказал Янкель, — нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У-у! то такой мудрый, как Соломон; и когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. Сиди тут; вот ключ, и не впускай никого!

Жиды вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно; к ним присоединился скоро четвертый, наконец, и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно поглядывали в одну сторону улицы; наконец в конце ее из-за одного дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. «А, Мардохай, Мардохай!» — закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказать ему, причем Мардохай

несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтання, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жида подняли такой крик, что жид, стоявший на стороже, должен был дать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жида не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жида вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал: «Когда мы да бог захочем сделать, то уже будет так, как нужно».

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище; толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних при-

чин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удалство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб; он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? — спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще, нежели жида собрались с

духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку во рту, как будто бы страдал простудою.

— О, любезный пан! — сказал Янкель, — теперь совсем не можно! Ей-богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете; но бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить.

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.

— А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь[114] обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья! Ой, вей мир! Что это за корыстный народ! И между нами таких нет: пятьдесят червонцев я дал каждому, а левен-

тарю...

— Хорошо. Веди меня к нему! — произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу.

Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтаны и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал; он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу; он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Ян-

келя.

— Вставай, жид, и давай твою графскую одежду.

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку, — и никто бы из самых близких к нему козачков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей: тут были и казармы, и тюрьмы, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед кото-

рой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и повертели головы только тогда, когда Янкель сказал:

— Это мы; слышите, паны? это мы.

— Ступайте! — говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху.

— Кто идет? — закричало несколько голосов; и Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении. — Нам никого не велено пускать.

— Это мы! — кричал Янкель. — Ей-богу, мы, ясные паны.

Но никто не хотел слушать. К счастью, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы, вы уже знаете нас, и пан

граф еще будет благодарить.

— Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И больше никого не пускайте! Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу...

Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы... это я... это свои! — говорил Янкель, встречаясь со всяким.

— А что, можно теперь? — спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно; только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой, — отвечал часовой.

— Ай, ай! — произнес тихо жид. — Это скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас.

Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти бо-

ком подошел к нему:

— Ваша ясновельможность! Ясновельможный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?

— Вам, ясновельможный пан!

— Гм... А я просто гайдук! — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.

— А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай!.. — при этом жид покрутил головою и расставил пальцы. — Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник, совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.

— Что за народ военный! — продолжал жид. — Ох, вей мир, что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки... Так от них блестит, как от солнца; а цурки[115], где только увидят военных... ай, ай!..

Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на

лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес жид, — вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на козаков. Он еще сроду не видел, что это за народ козаки.

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были увлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы: Московию и Украину они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя.

— Я не знаю, ваша ясновельможность, — говорил он, — зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает.

— Врешь ты, чертов сын! — сказал Бульба. — Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук. — А я знаю, приятель, ты кто: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастью, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был козак? А если бы он был козак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский!

— Рассказывай себе!.. — И гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите, молчите, ради бога! — закричал Янкель. — Молчите! Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца.

— Эге! Два червонца! Два червонца мне ни почем: я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, жид! — Тут гайдук закрутил верхние усы. — А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!

— И на что бы так много! — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой; но он счастлив был, что в его ко-

шельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать. — Пан, пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ! — сказал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук, — сказал Бульба, деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут... Уносите ноги, говорю я вам, скорее!

— Пан! пан! пойдем! Ей-богу, пойдем! Цурим! Пусть им приснится такое, что плевать нужно, — кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народ, что не может не браниться! Ох, вей мир, какое счастье посылает бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейси-

ки оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О, боже мой! боже милосердый!

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу; она выражалась пожирающим пламенем в его глазах.

— Пойдем! — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись. — Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан! зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая любопытство-

вать. «Ах, какое мученье!» — кричали из них многие с истерической лихорадкой, закрывая глаза и отворачиваясь; однако же проставляли иногда довольное время. Иной, и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то

дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся, — говорил он, — весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, — то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держа-

лась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Хлоп, в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлую ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла наподхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном кунтуше[116] с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он с своей стороны рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут... ведут!.. козаки!..»

Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостью; их платья из дорогого сукна изнасились и болтались на

них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не пророчил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:

— Дай же, боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!

После этого он приблизился к эшафоту.

— Добре, сынку, добре! — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и... Не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волосы. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя че-

ловчества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно король и многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение козацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волею государственных магнатов, которые своею необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожною гордостью превратили сейм в сатиру на правление. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Но когда подвели его к последним смерт-

ным мукам, — казалось, как будто стала подаваться его сила. И повел он очами вокруг себя: боже, всё неведомые, всё чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя в белые груди; хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи:

— Батько! где ты! Слышишь ли ты?

— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул.

Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел как смерть, и когда всадники немного отделились от него, он со страхом оборотился назад, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.

Отыскался след Тарасов. Сто двадцать тысяч козацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, — поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле — за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть козаков. Молодой, но сильный духом гетьман Острица предводил всею несметною козацкою силою. Возле был виден престарелый, опытный товарищ его и советник, Гуня. Восемь полковников вели двенадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный[117] ехали вслед за гетьманом. Генеральный хорунжий предводил главное знамя; много других хоругвей и знамен развевалось вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было других чинов

полковых: обозных, войсковых товарищей, полковых писарей и с ними пеших и конных отрядов; почти столько же, сколько было рейстровых козак, набралось охочекомонных и вольных. Отвсюду поднялись козаки: от Чигирина, от Переяслава, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны днепровской и от всех его верховий и островов. Без счету кони и несметные таборы телег тянулись по полям. И между теми-то козаками, между теми восьмью полками отборнее всех был один полк, и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес пред другими: и преклонные лета, и опытность, и умение двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим козакам казалась чрезмерною его беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением.

Нечего описывать всех битв, где показали себя козаки, ни всего постепенного хода кампании: все это внесено в летописные страницы. Известно, какова в Русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры.

Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой середины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного, сплошного камня. Отвсюду видна она и глядит прямо в очи мимобегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее! В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится в прах все, что ни есть на них, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух.

В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов; как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды; как слаб был коронный гетьман Николай Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой силы; как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска; как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные козацкие полки и как, приведенный в крайность, польский гетьман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвраще-

ние всех прежних прав и преимуществ. Но не такие были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкий не красовался бы больше на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке и в пастырской митре, преклонили козаки все свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже' самого короля, но против своей церкви христианской не посмели и уважили свое духовенство. Согласился гетьман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал он клочок волос из головы своей и вскрикнул:

— Эй, гетьман и полковники! не сделайте такого бабьего дела! не верьте ляхам: продадут псяюхи!

Когда же полковой писарь подал условие и гетьман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое, как трость, и кинул врозь, далеко в разные стороны оба конца, сказав:

— Прощайте же! Как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное мое слово (при сем слове голос его вырос, подымался выше, принял неведомую силу, — и смутились все от пророческих слов): перед смертным часом своим вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствие и мир; думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованьем: сдерут с твоей головы, гетьман, кожу, набьют ее гречаною половою, и долго будут видеть ее по всем ярмаркам! Не удержите и вы, паны, голов своих! Пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не

сварят всех живыми в котлах!

— А вы, хлопцы! — продолжал он, оборотившись к своим, — кто из вас хочет умирать своею смертью — не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а честной, козацкой смертью — всем на одной постеле, как жених с невестою? Или, может быть, хотите воротиться домой, да оборотиться в недоверков, да возить на своих спинах польских ксендзов?

— За тобою, пане полковнику! За тобою! — вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку; и к ним перебежало немало других.

— А коли за мною, так за мною же! — сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на коне своем и крикнул своим: — Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам!

И вслед за тем ударил он по коню, и потянулся за ним табор из ста телег, и с ними много было козацких конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем остававшимся, и

гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. В виду всего воинства уходил полк, и долго еще оборачивался Тарас и все грозил.

Смутны стояли гетьман и полковники, задумались все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предвестием. Недаром провещал Тарас: так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была голова гетьмана на кол вместе со многими из первейших сановников.

А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек, близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие земли и лучшие замки; распечатали и поразливали по земле козаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» — повторял только Тарас. Не уважали козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтаря-

ми. Не одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя. «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» — приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Шесть дней уходили козами проселочными дорогами от всех преследований; едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали казаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения; неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость.

Над самой кручей у Днестра-реки виднелась она своим оборванным валом и своими

развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то, с двух сторон, прилеглых к полю, обступил его коронный гетьман Потоцкий. Четыре дни бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и камнями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим лясам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную спутницу на морях, и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, и заплакал дебелый старый козак. Но не старость была виною: сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисло у него

по рукам и по ногам. «Попалась ворона! — кричали ляхи. — Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И присудили, с гетьманского разрешения, спечь его живого в виду всех. Тут же стояло нагое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден козак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты все было видно как на ладони.

— Занимайте, хлопцы, занимайте скорее, — кричал он, — горку, что за лесом: туда не подступят они!

Но ветер не донес его слов.

— Вот, пропадут, пропадут ни за что! — говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и зычно закричал:

— К берегу! к берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налево. У берега стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони!

На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переверотил все в глазах его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а уж погоня за плечами. Видят: путается и загибается дорожка и много дает в сторону извивов. «А, товарищи! не куды пошло!» — сказали все, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули — и татарские их кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не достали до реки, грянулись с вышины об камень, пропали там навеки с конями, даже не успевши издать крика. А козаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны. Остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному козацкому делу и думая: прыгать ли им или нет? Один молодой

полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия, не подумал долго и бросился со всех сил с конем за козаками: перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. В куски изорвали его острые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже козаки были на челнах и гребли веслами; пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана.

— Прощайте, товарищи! — кричал он им сверху. — Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая

бы не покорилась ему!..

А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву... Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубоководных мест; блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на побережьях. Козаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минули отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.

Часть вторая

Вий

Вий— есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал.

(Прим. Н. В. Гоголя.)

Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот Братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, [118] с тетрадами под мышкой, брели в класс. Грамматики были еще очень малы; идя, толкали друг друга и бранились между собою самым тоненьким дискантом; они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью; как то: бабками, свистел-

ками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьянками, из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали [119] в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее: платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа: или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета; эти говорили и божились между собою тенором. Философы целою октавою брали ниже: в карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких и все, что попадалось, съедали тогда же; от них слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник долго еще, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух.

Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали наподхват за полы тех, у

которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи.

— Паничи! паничи! сюды! сюды! — говорили они со всех сторон. — Ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей-богу, хороши! на меду! сама пекла!

Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала:

— Ось сусулька! паничи, купите сусульку!

— Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная — и нос нехороший, и руки нечистые...

Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и при том целою горстью.

По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно, однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосными жужжаниями: аудиторы[120] выслушивали своих учеников; звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в малень-

кие окна, и стекло отвечало почти тем же звуком; в углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали: бу, бу, бу, бу... Авдиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка, или вареник, или семена из тыкв.

Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее или когда знали, что профессора будут позже обыкновенного, тогда, со всеобщего согласия, замышляли бой, и в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностью всего учащегося сообщества. Два богослова обыкновенно решали, как происходить битве: каждый ли класс должен стоять за себя особенно или все должны разделиться на две половины: на бурсу и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех, и как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длин-

ными усами, а наконец и богословия, в ужасных шароварах и с претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословия побивала всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту, по разгоревшимся лицам своих слушателей, узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он сек розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделявал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом: им, по выражению профессора богословия, отсыпалось по мерке *крупного гороху*, что состояло в коротеньких кожаных канчуках.[121]

В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами.[122] Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявший Иродиаду или Пентефрию, супругу египетско-

го царедворца. В награду получали они кусок полотна, или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное.

Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив; так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерю галушек, было бы совершенно невозможное дело; и потому dobroхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риториков под предводительством одного философа, — а иногда присоединялся и сам, — с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день аудиторы слышали от них вместо одного два урока: один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подобию сюртуков, постиравшихся *по сие время*: слово техническое, означав-

шее — далее пяток.

Самое торжественное для семинарии событие было вакансии — время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись *на кондиции*, то есть брались учить или готовить детей людей зажиточных, и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором; варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только завидывали в стороне хутор, тотчас сворочали с большой дороги и, приблизившись к хате, выстроенной по-прятнее других, становились перед окнами

в ряд и во весь рот начинали петь кант.[123] Хозяин хаты, какой-нибудь старый козак-поселянин, долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал прегорько и говорил, обращаясь к своей жене: «Жинко! то, что поют школяры, должно быть очень разумное; вынеси им сала и что-нибудь такого, что у нас есть!» И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько паляниц,[124] а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам, и оставались те, которые имели родительские гнезда далее других.

Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем чтобы в первом попавшемся хуторе заpastись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были: богослов Халява, философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець.

Богослов был рослый, плечистый мужчина

и имел чрезвычайно странный нрав: все, что ни лежало, бывало, возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там.

Философ Хома Брут был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал *крупного гороху*, но совершенно с философическим равнодушием, — говоря, что чему быть, того не миновать.

Ритор Тиберий Горобець еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец,[125] и потому характер его в то время еще мало развился; но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хома часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата.

Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги. Солнце только что село, и

дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки; ритор Тиберий Горобець сбивал палкою головки с будяков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах нива с вызревающим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния.

— Что за черт! — сказал философ Хома Брут, — сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор.

Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь.

— Ей-богу! — сказал, опять остановившись, философ. — Ни чертова кулака не видно.

— А может быть, далее и попадетя какой-нибудь хутор, — сказал богослов, не выпуская люльки.

Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге.

Философ, пошаривши ногами во все стороны, сказал наконец отрывисто:

— А где же дорога?

Богослов помолчал и, надумавшись, при-
молвил:

— Да, ночь темная.

Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похо-

жее на волчий вой.

— Вишь, что тут делать? — сказал философ.

— А что? оставаться и заночевать в поле! — сказал богослов и полез в карман достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта четыре сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков.

— Нет, Халява, не можно, — сказал он. — Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаке? Попробуем еще; может быть, набредем на какое-нибудь жильё и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь.

При слове «горелка» богослов сплюнул в сторону и примолвил:

— Оно конечно, в поле оставаться нечего.

Бурсаки пошли вперед, и, к величайшей радости их, в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели

огонек.

— Хутор! ей-богу, хутор! — сказал философ.

Предположения его не обманули: через несколько времени они увидели, точно, небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных деревьев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими возами. Звезды кое-где глянули в это время на небе.

— Смотрите же, братцы, не отставать! во что бы то ни было, а добыть ночлега!

Три ученые мужа дружно ударили в ворота и закричали:

— Отвори!

Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе.

— Кто там? — закричала она, глухо кашля.

— Пусти, бабуся, переночевать. Сбились с дороги. Так в поле скверно, как в голодном брюхе.

— А что вы за народ?

— Да народ необидчивый: богослов Халява, философ Брут и ритор Горобець.

— Не можно, — проворчала старуха, — у меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще всё какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли! пошли! Тут вам нет места.

— Умилосердись, бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что ни про что? Где хочешь помести нас. И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, — то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот что!

Старуха, казалось, немного смягчилась.

— Хорошо, — сказала она, как бы размышляя, — я впущу вас; только положу всех в разных местах: а то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе.

— На то твоя воля; не будем прекословить, — отвечали бурсаки.

Ворота заскрипели, и они вошли во двор.

— А что, бабуся, — сказал философ, идя за старухой, — если бы так, как говорят... ей-богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту.

— Вишь, чего захотел! — сказала старуха. — Нет у меня, нет ничего такого, и печь не топилась сегодня.

— А мы бы уже за все это, — продолжал философ, — расплатились бы завтра как следует — чистоганом. Да, — продолжал он тихо, — черта с два получишь ты что-нибудь!

— Ступайте, ступайте! и будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес каких нежных паничей!

Философ Хома пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственно по привычке, и, позабывши совершенно о своем карасе, уже разглядывал, что

бы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, — то философ Хома запустил руку в его карман, как в свой собственный, и вытащил карася.

Старуха разместила бурсаков: риторка положила в хате, богослова заперла в пустую комору, философу отвела тоже пустой овечий хлев.

Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася, осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и повернулся на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев.

— А что, бабуся, чего тебе нужно? — сказал философ.

Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками.

«Эге-ге! — подумал философ. — Только нет, голубушка! устарела». Он отодвинулся немного подальше, но старуха, без церемонии, опять подошла к нему.

— Слушай, бабуся! — сказал философ, — теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу

золотых не захочу оскоромиться.

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сделалось страшно, особенно когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском.

— Бабуся! что ты? Ступай, ступай себе с Богом! — закричал он.

Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками.

Он вскочил на ноги, с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему.

Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все

это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержатъ ноги; но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: «Эге, да это ведьма».

Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, каза-

лось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось, — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде...

Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музы-

ка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и вонзается в душу какую-то нестерпимую трелью...

«Что это?» — думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов — и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его. Густая трава касалась его, и уже он не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый серп светил на небе.

«Хорошо же!» — подумал про себя философ Хома и начал почти вслух произносить заклятия. Наконец с быстротою молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину. Старуха мелким, дробным ша-

гом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и неполном свете. Долины были гладки, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикая вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькнула в голове мысль: точно ли это старуха? «Ох, не могу больше!» — произнесла она в изнеможении и упала на землю.

Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: расцвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез.

Затрепетал, как древесный лист, Хома: жа-

лость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им; он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное, новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии.

Бурсаков почти никого не было в городе: все разбрелись по хуторам, или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам малороссийским можно есть галушки, сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста, и сколько философ ни шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, но нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого книща,[126] что, по обыкновению, запрятываемо было бурсаками.

Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю: он прошел, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулся на

самом конце с какою-то молодою вдовою в желтом очипке,[127] продававшей ленты, ружейную дробь и колеса, — и был того же дня накормлен пшеничными варениками, курицею... и, словом, перечесть нельзя, что у него было за столом, накрытым в маленьком глиняном домике среди вишневого садика. Того же самого вечера видели философа в корчме: он лежал на лавке, покуривая, по обыкновению своему, люльку, и при всех бросил жиду-корчмарю ползолотой. Перед ним стояла кружка. Он глядел на приходивших и уходивших хладнокровно-довольными глазами и вообще уже не думал о своем необыкновенном происшествии.

Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в пятидесяти верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добреть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение трех дней после смерти читал один из

киевских семинаристов: Хома Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без всякого отлагательства спешил в дорогу, что именитый сотник прислал за ним нарочно людей и возок.

Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не зная почему, объявил он напрямик, что не поедет.

— Послушай, domine[128] Хома! — сказал ректор (он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо с своими подчиненными), — тебя никакой черт и не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь да мудрствовать, то прикажу тебя по спине и по прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно будет ходить.

Философ, почесывая слегка за ухом, вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги. В раздумье сходил он с крутой

лестницы, приводившей на двор, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голос ректора, дававшего приказания своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника.

— Благодарю пана за крупу и яйца, — говорил ректор, — и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы: здесь на базарах и нехороша и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет.

«Вишь, чертов сын! — подумал про себя философ, — пронюхал, длинноногий вьюн!»

Он сошел вниз и увидел кибитку, которую принял было сначала за хлебный овин на колесах. В самом деле, она была так же глубока, как печь, в которой обжигают кирпичи. Это был обыкновенный краковский экипаж, в каком жида полсотнею отправляются вместе с

товарами во все города, где только слышит их нос ярмарку. Его ожидало человек шесть здоровых и крепких козаков, уже несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна с кистями показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владельцу. Небольшие рубцы говорили, что они бывали когда-то на войне не без славы.

«Что ж делать? Чему быть, тому не миновать!» — подумал про себя философ и, обратившись к козакам, произнес громко:

— Здравствуйте, братья-товарищи!

— Будь здоров, пан философ! — отвечали некоторые из козаков.

— Так вот это мне приходится сидеть вместе с вами? А брика знатная! — продолжал он, влезая. — Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно.

— Да, соразмерный экипаж! — сказал один из козаков, садясь на облучок сам-друг с кучером, завязавшим голову тряпицею вместо шапки, которую он успел оставить в шинке. Другие пять вместе с философом полезли в углубление и расположились на мешках, наполненных разною закупкою, сделанною в го-

роде.

— Любопытно бы знать, — сказал философ, — если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром — положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней?

— Да, — сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, — достаточное бы число потребовалось коней.

После такого удовлетворительного ответа козак почитал себя вправе молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотелось узнать обстоятельнее: кто таков был этот сотник, каков его нрав, что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти и которой история связалась теперь с его собственною, как у них и что делается в доме? Он обращался к ним с вопросами; но казаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках. Один только из них обратился к сидевшему на козлах вознице с коротеньким приказанием: «Смотри, Оверко, ты старый разиня;

как будешь подъезжать к шинку, что на Чухрайловской дороге, то не забудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть». После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приблизилась исполинская брика к шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали: «Стой!» Притом лошади Оверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид-корчмарь с знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Жид принес под полою несколько колбас из свинины и, положивши на стол, тотчас отворотился от этого запрещенного талмудом плода. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались перед каждым из гостей. Философ Хома должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями: «А ну, Спи-

рид, почеломкаемся!» — «Иди сюда, Дорош, я обниму тебя!»

Один козак, бывший постарее всех других, с седыми усами, подставивши руку под щеку, начал рыдать от души о том, что у него нет ни отца, ни матери и что он остался одним-один на свете. Другой был большой резонер и беспрестанно утешал его, говоря: «Не плачь, ей-богу не плачь! что ж тут... уж бог знает как и что такое». Один, по имени Дорош, сделался чрезвычайно любопытен и, оборотившись к философу Хоме, беспрестанно спрашивал его:

— Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат: тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому?

— Не спрашивай! — говорил протяжно резонер, — пусть его там будет, как было. Бог уж знает, как нужно; Бог все знает.

— Нет, я хочу знать, — говорил Дорош, — что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у дьяка.

— О, боже мой, боже мой! — говорил этот почтенный наставник. — И на что такое говорить? Так уж воля Божия положила. Уже что

Бог дал, того не можно переменить.

— Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду в бурсу, ей-богу, пойду! Что ты думаешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему!

— О, боже ж мой, боже мой!.. — говорил утешитель и спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах.

Прочие козаки толковали о панах и о том, отчего на небе светит месяц.

Философ Хома, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому козаку, грустившему об отце и матери:

— Что ж ты, дядько, расплакался, — сказал он, — я сам сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вам!

— Пустим его на волю! — отозвались некоторые. — Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет.

— О, боже ж мой, боже мой! — произнес утешитель, подняв свою голову. — Отпустите его! Пусть идет себе!

И козаки уже хотели сами вывезть его в чистое поле, но тот, который показал свое лю-

бопытство, остановил их, сказавши:

— Не трогайте: я хочу с ним поговорить о бурсе. Я сам пойду в бурсу...

Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться, потому что когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными и дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую.

Только ввечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Взмоштившись в брику, они потянулись, погоня лошадей и напевая песню, которой слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколевши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они наконец спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол, или плетень, с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькие звездочки мелькали кое-где. Ни в одной хате не видно было огня. Они въехали, в сопро-

вождении собачьего лая, на двор. С обеих сторон были заметны крытые соломой сараи и домики. Один из них, находившийся как раз посередине против ворот, был более других и служил, как казалось, пребыванием сотника. Брига остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы; но как он ни пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде: вместо дома представлялся ему медведь; из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.

Когда проснулся философ, то весь дом был в движении: в ночь умерла панночка. Слуги бегали впопыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытных глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть.

Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Он был покрыт соломой.

Маленький, острый и высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалеван голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках, до половины круглых и снизу шестигранных, с вычурною обточкою вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках, инде[129] витых. Высокая груша с пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя род широкой улицы, ведущей к дому. За амбарами, к самым воротам, стояли треугольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Треугольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке козак, державший над головою кружку с надписью: «Все выпью». На другой фляжка, сулей и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, трубка, бубны и надпись: «Ви-

но — козацкая потеха». Из чердака одного из сараев выглядывал сквозь огромное слуховое окно барабан и медные трубы. У ворот стояли две пушки. Все показывало, что хозяин дома любил повеселиться и двор часто оглашали пиршественные клики. За воротами находились две ветряные мельницы. Позади дома шли сады; и сквозь верхушки деревьев видны были одни только темные шляпки труб скрывавшихся в зеленой гуще хат. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на нее снизу она казалась еще круче, и на высокой верхушке ее торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутом косогоре ее в двух местах торчали две хаты; над одною из них раскидывала ветви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями с насыпной землей. Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины

вилась по всей горе дорога и, опустившись, шла мимо двора в селенье. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у козаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и когда оборотился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство; яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более нежели на двадцать верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметною вдали полоскою горел и темнел Днепр.

— Эх, славное место! — сказал философ. — Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшнепами! Впрочем, я думаю, и дроф немало в этих лугах. Фруктов же

можно засушить и продать в город множество или, еще лучше, выкурить из них водку; потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда.

Он заметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком, промеж хат, да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку.

Позади его стоял тот самый старый козак, который вчера так горько соболезновал в смерти отца и матери и о своем одиночестве.

— Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора! — говорил он. — Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать; да и дороги для пешехода плохи. А ступай лучше к пану: он ожидает тебя давно в светлице.

— Пойдем! Что ж... Я с удовольствием, — сказал философ и отправился вслед за козаком.

Сотник, уже престарелый, с седыми усами

и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около пятидесяти лет; но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезла навеки. Когда вошел Хома вместе с старым козаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон.

Хома и козак почтительно остановились у дверей.

— Кто ты, и откуда, и какого звания, добрый человек? — сказал сотник ни ласково, ни сурово.

— Из бурсаков, философ Хома Брут.

— А кто был твой отец?

— Не знаю, вельможный пан.

— А мать твоя?

— И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать; но кто она, и откуда, и когда жила — ей-богу, добродию, не знаю.

Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости.

— Как же ты познакомился с моею дочкою?

— Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с панночками не имел, сколько ни живу на свете. Цур им, чтобы не сказать непристойного.

— Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?

Философ пожал плечами:

— Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что панам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет; и пословица говорит: «Скачи, враже, як пан каже!»

— Да не врешь ли ты, пан философ?

— Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу.

— Если бы только минуточкой долее прожила ты, — грустно сказал сотник, — то, верно бы, я узнал все. «Никому не давай читать по мне, но пошли, тату, сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака Хому Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей. Он знает...» А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла

сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно, известен святою жизнью своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе.

— Кто? я? — сказал бурсак, отступивши от изумления. — Я святой жизни? — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. — Бог с вами, пан! Что вы это говорите! да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга.

— Ну... верно, уже не даром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело.

— Я бы сказал на это вашей милости... оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому писанию, может по соразмерности... только сюда приличнее бы требовалось дьякона или, по крайней мере, дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается, а я... Да у меня и голос не такой, и сам я — черт знает что. Никакого виду с меня нет.

— Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи совершишь, как следует, над нею молитвы, то я награжу тебя; а не то — и самому черту не со-

ветую рассердить меня.

Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.

— Ступай за мною! — сказал сотник.

Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую насупротив первой. Философ остановился на минуту в сенях высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан красной китайкой. В углу, под образами, на высоком столе лежало тело умершей, на одеяле из синего бархата, убранном золотую бахромою и кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенный спиною к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал:

— Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив положенного века, на печаль и горесть мне, оставила землю. Я о том жалею, моя голу-

бонька, что не знаю того, кто был, лютей враг мой, причиною твоей смерти. И если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я; ни своего отца и матери, если только он еще на поре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка,[130] моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем...

Он остановился, и причиною этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потоком слез.

Философ был тронут такою безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое крехтание, желая очистить им немного свой голос.

Сотник оборотился и указал ему место в головах умершей, перед небольшим наломом, на котором лежали книги.

«Три ночи как-нибудь отработаю, — поду-

мал философ, — зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами».

Он приблизился и, еще раз откашлявшись, принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую и...

Трепет пробежал по его жилам: пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело, прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые усмехнуться... Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружив-

шейся толпы запел кто-нибудь песню об утненном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее.

— Ведьма! — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы.

Это была та самая ведьма, которую убил он.

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине, против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накор-

мить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца.

Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что ни обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в козацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке — одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежанья. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное

собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем: и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонмотистов,[131] в которых между малороссиянами нет недостатка.

Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные, за неимением, деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали разговаривать. Разговор, естественно, должен был обратиться к умершей.

— Правда ли, — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговли, — правда ли, что панночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?

— Кто? панночка? — сказал Дорош, уже знакомый прежде нашему философу. — Да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма!

— Полно, полно, Дорош! — сказал другой, который во время дороги изъяслял большую готовность утешать. — Это не наше дело; бог с ним. Нечего об этом толковать.

Но Дорош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку.

— Что ты хочешь? Чтобы я молчал? — сказал он. — Да она на мне самом ездила! Ей-богу, ездила!

— А что, дядько, — сказал молодой овчар с пуговицами, — можно ли узнать по ка-

ким-нибудь приметам ведьму?

— Нельзя, — отвечал Дорош. — Никак не узнаешь; хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь.

— Можно, можно, Дорош. Не говори этого, — произнес прежний утешитель. — Уже Бог недаром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик.

— Когда стара баба, то и ведьма, — сказал хладнокровно седой козак.

— О, уж хороши и вы! — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок, — настоящие толстые кабаны.

Старый козак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху; а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставши один против другого, замычали разом.

Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую сотнико-

ву дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему с такими словами:

— Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?

— Было всякого, — отвечал один из сидевших, с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату.

— А кто не припомнит псаря Микиту, или того...

— А что ж такое псарь Микита? — сказал философ.

— Стой! я расскажу про псаря Микиту, — сказал Дорош.

— Я расскажу про Микиту, — отвечал табунщик, — потому что он был мой кум.

— Я расскажу про Микиту, — сказал Спирид.

— Пускай, пускай Спирид расскажет! — закричала толпа.

Спирид начал:

— Ты, пан философ Хома, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каж-

дую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметки ему не годится. Хотя он тоже понимает свое дело, но он против него — дрянь, помои.

— Ты хорошо рассказываешь, хорошо! — сказал Дорош, одобрительно кивнув головою.

Спирид продолжал:

— Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: «А ну, Разбой! а ну, Быстрая!» — а сам на коне во всю прыть, — и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит: он ли собаку или собака его. Сивухи кварту свиснет вдруг, как бы не бывало. Славный был псарь! Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вклепался ли он точно в нее или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем; сделался черт знает что; пфу! непристойно и сказать.

— Хорошо, — сказал Дорош.

— Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает, Разбоя зовет Бровкой, спотыкается и невесть что делает. Один раз панночка пришла на конюшню,

где он чистил коня. Дай говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, и с той поры иссохнул весь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро: сторел совсем; сторел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.

Когда Спирид окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.

— А про Шепчиху ты не слышал? — сказал Дорош, обращаясь к Хоме.

— Нет.

— Эге-ге-ге! Так у вас, в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай! У нас есть на селе козак Шептун. Хороший ко-

зак! Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но... хороший козак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерять, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать, а так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке; или нет: Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе...

— И не на лавке, а на полу легла Шепчиха, — подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорош поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал:

— Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет.

Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи.

Дорош продолжал:

— А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя — не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась; ибо

бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось-либо перестанет выть, — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала, — это бы еще ничего; но вот вещь и обстоятельство: что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: «Ох, лишечко!» — да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак; сидит и дрожит, глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак; кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают! Оно хоть и панского помету, да все когда ведьма, то ведьма.

После такого рассказа Дорош самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты; у другого украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу; у других выпила по нескольку ведер крови.

Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора.

— А ну, пан Хома! теперь и нам пора идти к покойнице, — сказал седой козак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирид и Дорош, отправились в церковь, стегая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки.

Философ, несмотря на то что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувство-

вал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освещенной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть; место становилось обнаженнее. Они вступили наконец за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночным мраком луга. Три козака взошли имеете с Хомою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь, по приказанию пана.

Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и наконец уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость; сквозная резьба его, по-

крытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся.

— Что ж, — сказал он, — чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего! — повторил он, махнув рукою, — будем читать!

Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей.

«Это хорошо, — подумал философ, — нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить!»

И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, наоям и образам, не жалея их нисколько, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умер-

шей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз.

Такая страшная, сверкающая красота!

Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперебивающему себе чувству, не оставляющему человека особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.

Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одинокое, без эха, сыпал-

ся он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу.

«Чего бояться? — думал он между тем сам про себя. — Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за козак, когда бы утрашился? Ну, выпил лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табаку: эх, добрый табак! Славный табак! Хороший табак!»

Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из гроба!»

Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освещенная церковь ночью, с мертвым телом и без души людей!

Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни. Но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: «Что, если подымется, если встанет она?»

Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-ни-

будь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу! Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол.

«Ну, если подыметесь?..»

Она приподняла голову...

Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов.

Она стала почти на самой черте; но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хома не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством — что выразило ее

задрожавшее лицо — обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столп и угол, стараясь поймать Хому. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб.

Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга, им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкой.

Сердце у философа билось, и пот катился градом; но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой Явтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты.

Пришедши на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость ододела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно старого поросенка; но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самому чувству и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и непрерывно поплеывал в сторону.

После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми; из двух хат его даже выгнали; одна смазливая молодкахватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и

плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли — род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщик, широкий, как блин, влезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорош, вскочивши на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно сурьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или Спирида. Хома напрасно старался вмешаться в эту игру: какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшеюся по небу.

— А ну, пора нам, пан бурсак! — сказал ему знакомый седой козак, подымаясь с места

вместе с Дорошем. — Пойдем на работу.

Хому опять таким же самым образом отвели в церковь; опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви.

— Что же, — произнес он, — теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно. Да! оно только с первого разу немного страшно, а там оно уже не страшно; оно уже совсем не страшно.

Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его зохолонуло.

Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие гла-

за. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятья и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова; хрипло всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинания.

Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце; зажмурив глаза, всё читал он заклятья и молитвы. Наконец вдруг что-то засвистало вдали: это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и от-

дохнул духом.

Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Он оперся спиною в стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его козаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедши на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивши ее, он пригладил на голове своей волосы и сказал:

— Много на свете всякой дряни водится! А страхи такие случаются — ну... — При этом философ махнул рукою.

Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот.

В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске, выказывавшей ее круглый и крепкий стан, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришить к своему очипку: или кусок ленточ-

ки, или гвоздику, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другого.

— Здравствуй, Хома! — сказала она, увидев философа. — Ай-ай-ай! что это с тобою? — вскричала она, всплеснув руками.

— Как что, глупая баба?

— Ах, боже мой! Да ты весь поседел!

— Эге-ге! Да она правду говорит! — произнес Спирид, всматриваясь в него пристально. — Ты точно поседел, как наш старый Явтух.

Философ, услышавши это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, обпачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натканы незабудки, барвинки и даже гирлянда из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов: половина волос его, точно, побелела.

Повесил голову Хома Брут и предался размышлению.

— Пойду к пану, — сказал он наконец, — расскажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же

час в Киев.

В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома.

Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице; та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и доньше. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

— Здравствуй, небоже, [132] — произнес он, увидев Хому, остановившегося с шапкою в руках у дверей. — Что, как идет у тебя? Все благополучно?

— Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетьвай, куда ноги несут.

— Как так?

— Да ваша, пан, дочка... По здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду; в том никто не станет прекословить, только не во гнев будь сказано, успокой Бог ее душу...

— Что же дочка?

— Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое Писание не учитывается.

— Читай, читай! Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.

— Власть ваша, пан: ей-богу, не вмоготу!

— Читай, читай! — продолжал тем же увещательным голосом сотник. — Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя.

— Да какие бы ни были награды... Как ты себе хочь, пан, а я не буду читать! — произнес Хома решительно.

— Слушай, философ! — сказал сотник, и голос его сделался крепок и грозен, — я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе. А у меня не так: я уже как отдеру, так не то что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные канчуки?

— Как не знать! — сказал философ, понизив голос. — Всякому известно, что такое кожаные канчуки: при большом количестве вещь нестерпимая.

— Да. Только ты не знаешь еще, как хлоп-

цы мои умеют парить! — сказал сотник грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение, обнаружившее весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью. — У меня прежде выпарят, потом впрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай! исправляй свое дело! Не исправишь — не встанешь; а исправишь — тысяча червонных!

«Ого-го! да это хват! — подумал философ, выходя. — С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель: я так наострю лыжи, что ты с своими собаками не угонишься за мною».

И Хома положил непременно бежать. Он выжидал только послеобеденного часу, когда вся дворня имела обыкновение забираться в сено под сараями и, открывши рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время наконец настало. Даже и Явтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда, ему казалось, удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад, по обыкновению, был страшно запущен и, стало

быть, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал, как будто сетью, вершину всего этого пестрого собрания деревьев и кустарников и составлял над ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границею сада, шел целый лес бурьяна, в который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, и коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвием своим одеревеневших толстых стеблей его.

Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то

голос: «Куда, куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно оступаясь о старые корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным и пройдя который он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив, вместо пошрины, куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. Верба разделившимися ветвями преклонялась инде почти до самой земли. Небольшой источник сверкал, чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую.

— Хорошая вода! — сказал он, утирая губы. — Тут бы можно отдохнуть.

— Нет, лучше побежим вперед: неравно будет погоня!

Эти слова раздалась у него над ушами. Он оглянулся: перед ним стоял Явтух.

«Чертов Явтух! — подумал в сердцах про

себя философ. — Я бы взял тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебе, побил бы дубовым бревном».

— Напрасно дал ты такой крюк, — продолжал Явтух, — гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шел я: прямо мимо конюшни. Да притом и сюртука жаль. А сукно хорошее. Почему платил за аршин? Однако ж погуляли довольно, пора домой.

Философ, почесываясь, побрел за Явтухом. «Теперь проклятая ведьма задаст мне пфейферу,[133] — подумал он. — Да, впрочем, что я, в самом деле? Чего боюсь? Разве я не козак? Ведь читал же две ночи, поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит».

Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривши себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытянуть сулею сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра, так что философ, вдруг поднявшись на ноги,

закричал: «Музыкантов! непременно музыкантов!» — и, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь, сказавши: «Вот это как долго танцует человек!» Наконец философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое козак и что он не должен бояться ничего на свете.

— Пора, — сказал Явтух, — пойдем.

«Спичка тебе в язык, проклятый кнур![134]» — подумал философ и, встав на ноги, сказал: — Пойдем.

Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатыми. Но Явтух молчал; сам Дорош был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен.

— Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк, — сказал Дорош.

Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показавшие, как мало заботился владетель поместья о боге и о душе своей. Явтух и Дорош по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно-знакомом виде. Он на минуту остановился. Посредине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. «Не побоюсь, ей-богу, не побоюсь!» — сказал он и, очертивши по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная; свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его: чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах

задержались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петель, и несметная сила чудовищ влетела в божью церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хомя вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился да читал как попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их; видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кру-

ГОМ.

— Приведите Вия! ступайте за Виєм! — раз-
дались слова мертвеца.

И вдруг настала тишина в церкви; слышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и все сонмище кинулось подымать ему веки.

«Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянул-

ся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха.

Раздался петуший крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги.

Когда слухи об этом дошли до Киева и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастье ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на ко-

локольню была чрезвычайно безалаберно сделана.

— Ты слышал, что случилось с Хоמוю? — сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который в то время был уже философ и носил свежие усы.

— Так ему Бог дал, — сказал звонарь Халява. — Пойдем в шинок да помянем его душу!



Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.

— Славный был человек Хома! — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. — Знатный был человек! А пропал ни за что.

— А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы.

На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.

Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем
*Глава I. Иван Иванович и Иван
Никифорович*

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки[135]! Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого либо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, — особенно если он станет с кем нибудь говорить, — взгляните сбоку: что это за объедение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бекешки! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию

Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя.

Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда делается слишком жарко, скинет с себя и бекешу и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только окно — так ветви и врываются в комнату. Это все перед домом; а посмотрели бы, что у него в саду! Чего там нет! Сливы, вишни, черешни, огорожина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит Гапке принести чернильницу и сам, собственною рукою, сделает над-

пись над бумажкой с семенами: «Сия дыня съедена такого ♦ то числа». Если при этом был какой ♦ нибудь гость, то: «участвовал такой ♦ то».

Покойный судья миргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ивановича. Да, домишко очень недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сеннички, так что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом[136]; ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промеж дерев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбеленными ставнями.

Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и комиссар полтавский! Дорош Тарасович Пухивочка, когда едет из Хорола, то всегда заезжает к нему. А протопоп отец Петр, что живет в Колиберде, когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг

христианский и умел жить, как Иван Иванович.

Боже, как летит время! уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носит ключи от комор и погребов; от большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Гапка, девка здоровая, ходит в запаске[137], с свежими икрами и щеками.

А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедши в нее, Иван Иванович, раскланявшись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтоб не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта.

— Здорово, небого[138]! — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу, в изодранном, сшитом из заплат платье. — Откуда ты, бедная?

— Я, паночку, из хутора пришла: третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети.

— Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?

— А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто ♦нибудь хоть на хлеб.

— Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? — обыкновенно спрашивал Иван Иванович.

— Как не хотеть! голодна, как собака.

— Гм! — отвечал обыкновенно Иван Иванович. — Так тебе, может, и мяса хочется?

— Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.

— Гм! разве мясо лучше хлеба?

— Где уж голодному разбирать. Все, что пожелуете, все хорошо.

При этом старуха обыкновенно протягивала руку.

— Ну, ступай же с богом, — говорил Иван Иванович. — Чего ж ты стоишь? ведь я тебя

не бью! — и, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничему.

Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравится.

Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собою приятели, какие свет не производил. Антон Прокофьевич Пупопуз, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется.

Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя проговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так, как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом на-

зади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым, без всякого сомнения, известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому.

Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения: Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь — и голову повесишь. Приятно! чрезвычайно приятно! как сон после купанья. Иван Никифорович, напротив; больше молчит, но зато если влепит словцо, то держись только: отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа

на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом; ввечеру же надевает бешкету и идет куда-нибудь — или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце, — если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, — и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство, и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется; тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит: «Довольно, довольно, Иван Никифорович; лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова». Иван Иванович очень сердится, если ему попадется в борщ муха: он тогда выходит из себя — и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрез-

вычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже сохрани, если что ◆нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если ж чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит; хоть и обрадуется чему ◆нибудь, то не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву ижицу; у Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. Иван Иванович если попотчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крыш-

ку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и, поднеся, скажет, если вы с ним знакомы: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?»; если же незнакомы, то: «Смею ли просить, государь мой, не имея чести знать чина, имени и отчества, об одолжении?» Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только: «Одолжайтесь». Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох; и оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жиды с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбрав наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру.

Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди.

Глава II. Из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем и чем он окончился

Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему; уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя: «Господи боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая прихоть, водка перегонная настоянная; в саду груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох... Чего ж еще нет у меня?.. Хотел бы я знать, чего нет у меня?»

Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался; а между тем глаза его отыскивали новые предметы, перешагнули чрез забор в двор Ивана Никифоровича и занялись неволью любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчовую кофту,

за ним высунулся дворянский, с гербовыми пуговицами, с отъеденным воротником; белые казимировые[139] панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро повисли другие, в виде буквы Л. Потом синий козацкий бешмет, который шил себе Иван Никифорович назад тому лет двадцать, когда готовился было вступить в милицию и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному, выставилась шпага, породившая на шпич, торчавший в воздухе. Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан травяно — зеленого цвета, с медными пуговицами величиною в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позументом, с большим вырезом наперед. Жилет скоро закрыла старая юбка покойной бабушки, с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище, между тем как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на

шпажном шпиге, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особенно когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего козу; за вертепом визжит скрыпка; цыган бренчит руками по губам своим вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок.

Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами.

«Вот глупая баба! — подумал Иван Иванович, — она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать!»

И точно: Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье.

«Что ж это значит? — подумал Иван Иванович, — я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что ж это он? стрелять не стреляет, а ружье держит! На что ж оно ему? А вещица славная! Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо; я люблю позабавиться ружьецом».

— Эй, баба, баба! — закричал Иван Иванович, кивая пальцем.

Старуха подошла к забору.

— Что это у тебя, бабуся, такое?

— Видите сами, ружье.

— Какое ружье?

— Кто его знает какое! Если б оно было мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано. Но оно панское.

Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагою проветривать.

— Оно, должно думать, железное, — продолжала старуха.

— Гм! железное. Отчего ж оно железное? — говорил про себя Иван Иванович. — А давно ли оно у пана?

— Может быть, и давно.

— Хорошая вещьца — продолжал Иван Иванович. — Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь. Что, бабуся, дома пан?

— Дома.

— Что он? лежит?

— Лежит.

— Ну, хорошо; я приду к нему.

Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел.

Двор Ивана Никифоровича хотя был возле двора Ивана Ивановича и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако ж Иван Иванович пошел улицею. С этой улицы нужно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался, как цветами, ре-

пейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулок выходили с одной стороны сарай Ивана Ивановича, с другой — амбар, ворота и голубятня Ивана Никифоровича.

Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой: извнутри поднялся собачий лай; но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Иван Иванович перешел двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифоровичем, корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке, — картина, которую любят живописцы! Тень от развешанных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на двух дубовых столбах — ненадежная защита от солнца которое в это время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким

потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобрести необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером.

Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретяных крыш, деревьев и развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет.

— Помоги бог! — сказал Иван Иванович.

— А! здравствуйте, Иван Иванович! — отвечал голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разостланном на полу ковре. — Извините, что я перед вами в натуре.

Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки.

— Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван

Никифорович?

— Почивал. А вы почивали, Иван Иванович?

— Почивал.

— Так вы теперь и встали?

— Я теперь встал? Христос с вами, Иван Никифорович! как можно спать до сих пор! Я только что приехал из хутора. Прекрасные жита по дороге! восхитительные! и сено такое рослое, мягкое, злачное!

— Горпина! — закричал Иван Никифорович, — принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаной.

— Хорошее время сегодня.

— Не хвалите, Иван Иванович. Чтоб его черт взял! некуда деваться от жару.

— Вот таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович! Вы вспомните мое слово, да уже будет поздно: достанется вам на том свете за богопротивные слова.

— Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел.

— Полно уже, полно, Иван Никифорович!

— Ей — богу, я не обидел вас, Иван Ивано-

вич!

— Странно, что перепела до сих пор нейдут под дудочку.

— Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, только я вас не обидел ничем.

— Не знаю, отчего они нейдут, — говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. — Время ли не пришло еще, только время, кажется, такое, какое нужно.

— Вы говорите, что жита хорошие?

— Восхитительные жита, восхитительные!

За сим последовало молчание.

— Что эти вы, Иван Никифорович, платье развешиваете? — наконец сказал Иван Иванович.

— Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти — и можно снова носить.

— Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович.

— Какая?

— Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? — Тут Иван Иванович поднес таба-

ку. — Смею ли просить об одолжении?

— Ничего, одолжайтесь! я понюхаю своего! — При этом Иван Никифорович пощупал вокруг себя и достал рожок. — Вот глупая баба, так она и ружье туда же повесила! Хороший табак жид делает в Сорочинцах. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое! На канупер[140] немножко похоже. Вот возьмите, раздуйте немножко во рту. Не правда ли, похоже на канупер? Возьмите, одолжайтесь!

— Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья: что вы будете с ним делать? ведь оно вам не нужно.

— Как не нужно? а случится стрелять?

— Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве по втором пришествии. Вы, сколько я знаю и другие запомнят, ни одной еще качки[141] не убили, да и ваша натура не так уже господом богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще, что же тогда? Нет,

вам нужно иметь покой, отдохновение. (Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил! Боже, как он говорил!) Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне!

— Как можно! это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я, еще как собирался в милицию, купил его у турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его? Как можно? это вещь необходимая.

— На что же она необходимая?

— Как на что? А когда нападут на дом разбойники... Еще бы не необходимая. Слава тебе господи! теперь я спокоен и не боюсь никого. А отчего? Оттого, что я знаю что у меня стоит в коморе ружье

— Хорошее ружье! Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен.

— Что ж, что испорчен? Можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтоб не ржавел.

— Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для ме-

ня в знак приязни.

— Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно! Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что ж? разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают чрез плетень в мой двор и играют с моими собаками — я ничего не говорю: пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали! пусть себе играют!

— Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.

— Что ж вы дадите мне за него? — При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича.


— Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу[142]. Славная свинья! Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.

— Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить, на что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать.

— Опять! без черта ♦ так нельзя обойтись! Грех вам, ей — богу, грех, Иван Никифорович!

— Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое: свинью!

— Отчего же она — черт знает что такое, Иван Никифорович?

— Как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь известная; а то — черт знает что такое: свинья! Если бы вы не говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону.

— Что ж нехорошего заметили вы в свинье?

— За кого же, в самом деле, вы принимаете меня? чтоб я свинью...

— Садитесь, садитесь! не буду уже... Пусть вам остается ваше ружье, пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в комод, — не хочу больше говорить о нем.

После этого последовало молчание.

— Говорят, — начал Иван Иванович, — что три короля объявили войну царю нашему.

— Да, говорил мне Петр Федорович. Что ж это за война? и отчего она?

— Наверное не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли

хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.

— Вишь, дурни, чего захотели! — произнес Иван Никифорович, приподнявши голову.

— Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову!

— Что ж? ведь наши побьют их, Иван Иванович!

— Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца?

— Мне странно, Иван Иванович: вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите, как недоросль. Что бы я за дурак такой...

— Садитесь, садитесь. Бог с ним! пусть оно себе околет; не буду больше говорить!..

В это время принесли закуску.

Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с сметаною.

— Слушайте, Иван Никифорович. Я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.

— Ей — богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись. (Это еще ничего, Иван Никифорович и не такие фразы от-

пускает.) Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось бекеши своей не поставите.

— Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам.

— Как! два мешка овса и свинью за ружье?

— Да что ж, разве мало?

— За ружье?

— Конечно, за ружье.

— Два мешка за ружье?

— Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью позабыли?

— Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!

— О! вас зацепи только! Увидите: нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговору с вами нужно и лицо и руки умыть, и самому окуриться.

— Позвольте, Иван Иванович; ружье вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное...

— Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как дурень с писаною торбою, — сказал Иван Иванович с досадою,

потому что действительно начинал уже сердиться.

— А вы, Иван Иванович, настоящий гусак [143].

Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, как всегда, приятелями; но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул.

— Что вы такое сказали, Иван Никифорович? — спросил он, возвысив голос.

— Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович!

— Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?

— Что ж тут поносного? Да чего вы, в самом деле, так размахались руками, Иван Иванович?

— Я повторяю, как вы осмелились, в противность всех приличий, назвать меня гусакком?

— Начхать я вам на голову, Иван Иванович! Что вы так раскудахтались?

Иван Иванович не мог более владеть со-

бою: губы его дрожали; рот изменил обыкновенное положение ижицы, а сделался похожим на О: глазами он так мигал, что сделалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить.

— Так я ж вам объявляю, — произнес Иван Иванович, — что я знать вас не хочу!

— Большая беда! ей — богу, не заплачу от этого! — отвечал Иван Никифорович.

Лгал, лгал, ей — богу, лгал! ему очень было досадно это.

— Нога моя не будет у вас в доме

— Эге — ге! — сказал Иван Никифорович, с досады не зная сам, что делать, и, против обыкновения, встав на ноги. — Эй, баба, хлопче! — При сем показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук. — Возьмите Ивана Ивановича за руки да выведите его за двери!

— Как! Дворянина? — закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. — Осмельтесь только! подступите! Я вас уничтожу с глупым вашим паном! Ворон не

найдет места вашего! (Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена.)

Вся группа представляла сильную картину: Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения! Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иван Иванович с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны! Это была необыкновенная минута! спектакль великолепный! И между тем только один был зрителем: это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос.

Наконец Иван Иванович взял шапку свою.

— Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович! прекрасно! Я это припомню вам.

— Ступайте, Иван Иванович, ступайте! да смотрите, не попадайтесь мне: а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!

— Вот вам за это, Иван Никифорович! — отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом захрипела и отворилась снова.

Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора.

Глава III. Что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем?

Итак, два почтенные мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздор, за гусака. Не захотели видеть друг друга, прервали все связи, между тем как прежде были известны за самых неразлучных друзей! Каждый день, бывало, Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг к другу узнать о здоровье и часто переговариваются друг с другом с своих балконов и говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. По воскресным дням, бывало, Иван Иванович в штаметовой[144] бекеше, Иван Никифорович в нанковом желто — коричневом казакине отправляются почти об руку друг с другом в церковь. И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргоро-

де, то всегда говорил Ивану Никифоровичу: «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иван Никифорович, с своей стороны, показывал тоже самые трогательные знаки дружбы и, где бы ни стоял далеко, всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком, примолвивши: «Одолжайтесь!» А какое прекрасное хозяйство у обоих!.. И эти два друга... Когда я услышал об этом, то меня как громом поразило! Я долго не хотел верить: боже праведный! Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем! Такие достойные люди! Что ж теперь прочно на этом свете?

Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, ест ли кобылка сено (у Ивана Ивановича кобылка саврасая, с лысинкой на лбу; хорошая очень лошадка); потом покормит индеек и поросенков из своих рук и тогда уже идет в покои, где или делает деревянную посуду (он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева), или читает книжку, печатанную у Любия Гария и Попова (названия ее Иван Иванович не пом-

нит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя), или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши Гапку, начал бранить, зачем она шатается без дела, между тем как она тащила крупу в кухню; кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей; и когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: «Тятя, тятя, дай пряника!» — то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал бог знает куда.

Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже ввечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила Гапка, выгнал совершенно утреннее происшествие. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе: «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича; пойду♦ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял

палку и шапку и отправился на улицу; но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича: «Назад! назад! не нужно!» Однако ж Ивану Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла в готовый погаснуть огонь вражды.

К Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня приехала Агафия Федосеевна. Агафия Федосеевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад; однако ж она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Ники-

Форовичу, однако ж он, к удивлению, слушал ее, как ребенок, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафия Федосеевна брала верх.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника? Или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, однако ж она схватила его за этот нос и водила за собою, как собачку. Он даже изменял при ней, невольно, обыкновенный свой образ жизни: не так долго лежал на солнце, если же и лежал, то не в натуре, а всегда надевал рубашку и шаровары, хотя Агафия Федосеевна совершенно этого не требовала. Она была неохотница до церемоний, и, когда у Ивана Никифоровича была лихорадка, она сама своими руками вытирала его с ног до головы скипидаром и уксусом. Агафия Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Весь стан ее похож был на кадушку, и оттого отыскать ее талию было так

же трудно, как увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были коротенькие, сформированные на образец двух подушек. Она сплетничала, и ела вареные бураки по утрам, и отлично хорошо ругалась, — и при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины.

Как только она проехала, все пошло навыворот.

— Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения: он тебя погубить хочет, это таковский человек! Ты его еще не знаешь.

Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче.

Все приняло другой вид: если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем ни попало; ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и с знаками розг на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как

человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только: «Экая скверная баба! хуже своего пана!»

Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз через плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью: в один день.

Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Он не показал, однако ж, никакого вида огорчения, несмотря на то, что хлев даже захватил часть его земли; но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие.

Так провел он день. Настала ночь... О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи! Я бы изобразил, как спит весь Миргород; как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды; как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак; как мимо их несется влюбленный пономарь

и перелазит через плетень с рыцарскою бесстрашностью; как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от деревьев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неутомонные рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил, как в одном из этих низеньких глиняных домиков разметавшейся на одинокой постели чернобровой горожанке с дрожащими молодыми грудями снится гусарский ус и шпоры, а свет луны смеется на ее щеках. Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает черная тень летучей мыши, садящейся на белые трубы домо в... Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Столько на лице у него было написано разных чувств! Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах; подлезши к ближнему столбу, приставил он к нему пи-

лу и начал пилить. Шум, производимый пилюю, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен; Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел: ему показался мертвец; но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб подпилен: здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу; уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось... Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативши пилу, в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствия своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке — все с дрекольями, предво-

дательствуемые Агафией Федосеевной, шли разорять и ломать его дом.

Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщение за это, по крайней мере, подожжет дом его. И потому он дал повеление Гапке поминутно обсматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в миргородский поветовый суд. В чем оно состояло, об этом можно узнать из следующей главы.

Глава IV. О том, что произошло в присутствии миргородского поветового суда

Чудный город Миргород! Какие в нем нет строения! И под соломенною, и под чертвяною, даже под деревянною крышею; направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы... Роскошь!

Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным: или напаянною плахтою[145], или сорочкою, или шароварами. В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вешает, что ему вздумается. Если будете подходить к площади, то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее.

Но я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый[146] суд. Дубовый ли он или березовый, мне нет дела; но в нем, милостивые государи, восемь окошек! восемь окошек в ряд, прямо на площадь и на то водное пространство, о котором я уже говорил и которое городничий называет озером! Один только он окрашен цветом гранита: прочие все дома в Миргороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное

для того масло канцелярские, приправивши луком, не съели, что было, как нарочно, во время поста, и крыша осталась некрашеною. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры, оттого что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается не нарочно, но единственно от неосторожности просителей. Он разделен на две половины: в одной присутствие, в другой арестантская. В той половине, где присутствие, находятся две комнаты чистые, выбеленные: одна — передняя для просителей; в другой стол, убранный чернильными пятнами; на нем зеркало[147]. Четыре стула дубовые с высокими спинками; возле стен сундуки, кованные железом, в которых сохранялись кипы поветовой ябеды. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тоньше Ивана Никифоровича, с доброю миною, в замасленном халате, с трубкою и чашкою чаю, разговаривал с подсудком[148]. У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верх-

нюю губу, сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. Итак, судья разговаривал с подсудком. Босая девка держала в стороне поднос с чашками.

В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и унынным тоном, что вам подсудимый заснул бы, слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор.

— Я нарочно старался узнать, — говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки, — каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд, года два тому назад. Что ж? вдруг испортился совсем. Начал петь бог знает что. Чем далее, хуже, хуже, стал картавить, хрипеть, — хоть выбрось! А ведь самый вздор! это вот отчего делается: под горлышком делается бобон[149], меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иглою. Меня научил этому Захар Прокофьевич, и именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом:

приезжаю я к нем у...

— Прикажете, Демьян Демьянович, читать другое? — прервал секретарь, уже несколько минут как окончивший чтение.

— А вы уже прочитали? Представьте, как скоро! Я и не услышал ничего! Да где ж оно? дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас?

— Дело козака Бокитька о краденой корове.

— Хорошо, читайте! Да, так приезжаю я к нему... Я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык, единственный! Да, не нашего балыка, которым, — при этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, — которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога под ложечкою. Но икры отведал; прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потом выпил я водки персиковой, настоянной на золототысячник. Была и шафранная; но шафранной, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: наперед, как говорят, раззадорить ап-

петит, а потом уже завершить... А! слыхом слыхать, видом видать... — вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича.

— Бог в помощь! желаю здравствовать! — произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны, с свойственною ему одному приятностию. Боже мой, как он умел обворожить всех своим обращением! Тонкости такой я нигде не видывал. Он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на всеобщее почтение смотрел, как на должное. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул с верхней губы весь табак, что всегда было у него знаком большого удовольствия.

— Чем прикажете потчевать вас, Иван Иванович? — спросил он. — Не прикажете ли чашку чаю?

— Нет, весьма благодарю, — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

— Сделайте милость, одну чашечку! — повторил судья.

— Нет, благодарю. Весьма доволен гостеприимством, — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.

— Одну чашку, — повторил судья.

— Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович!

При этом Иван Иванович поклонился и сел.

— Чашечку?

— Уж так и быть, разве чашечку! — произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу.

Господи боже! какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки!

— Не прикажете ли еще чашечку?

— Покорно благодарствую, — отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь.

— Сделайте одолжение, Иван Иванович!

— Не могу. Весьма благодарен. — При этом Иван Иванович поклонился и сел.

— Иван Иванович! сделайте дружбу, одну чашечку!

— Нет, весьма обязан за угощение.

Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел.

— Только чашечку! одну чашечку!

Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку.

Фу ты пропасть! как может, как найдется человек поддержать свое достоинство!

— Я, Демьян Демьянович, — говорил Иван Иванович, допивая последний глоток, — я к вам имею необходимое дело: я подаю позов [150]. — При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. — Позов на врага своего, на заклятого врага.

— На кого же это?

— На Ивана Никифоровича Довгочхуна.

При этих словах судья чуть не упал со стула.

— Что вы говорите! — произнес он, всплеснув руками. — Иван Иванович! вы ли это?

— Видите сами, что я.

— Господь с вами и все святые! Как! вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифоровичу? Ваши ли это уста говорят? Повторите еще! Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?..

— Что ж тут невероятного. Я не могу смотреть на него; он нанес мне смертную обиду,

оскорбил честь мою.

— Пресвятая троица! как же мне теперь уверить матушку! А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрою, говорит: «Вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья! то ♦ то приятели! то ♦ то достойные люди!» Вот тебе и приятели! Расскажите, за что же это? как?

— Это дело деликатное, Демьян Демьянович! на словах его нельзя рассказать. Прикажете лучше прочесть просьбу. Вот, возьмите с этой стороны, здесь приличнее.

— Прочитайте, Тарас Тихонович! — сказал судья, оборотившись к секретарю.

Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам, с помощью двух пальцев, начал читать:

— «От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошение; а о чем, тому следуют пункты:

1) Известный всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и вся-

кую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, сего 1810 года июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижение и конфузию чина моего и фамилии. Оный дворянин, и сам притом гнусного вида, характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами...»

Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя:

— Что за бойкое перо! Господи боже! как пишет этот человек!

Иван Иванович просил читать далее, и Тарас Тихонович продолжал:

— «Оный дворянин, Иван, Никифоров сын, Довгочхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно: гусаком, тогда как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. До-

казательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви Трех Святителей, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. Гусак же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему, в семинарии, достоверно известно. Но оный злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, не для чего иного, как чтобы нанести смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня оным гнусным словом.

2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, собственность, тем, что, в противность всяким законам, перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду, ибо оный хлев стоял до сего в изрядном месте

и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей: ибо известно, что всякий человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиный, для приличного дела. При таком противузаконном действии две передние сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, начинавшуюся от амбара и прямою линией до самого того места, где бабы моют горшки.

3) Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из нижеследующего явствуют: во-1-х, оный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда, по причине своей лени и гнусной тучности тела, не предпринимал; во-2-х, в людской его, примыкающей о самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родите-

ля моего, блаженной памяти Ивана, Онисиева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем.

И потому прошу оногo дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предосудительном присовокуплении к фамилии моей названия гусака, ко взысканию штрафа, удовлетворения проторей и убытков присудить и самого, яко нарушителя, в кандалы забить и, заковавши, в городскую тюрьму препроводить, и по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. — Писал и сочинял дворянин, миргородский помещик Иван, Иванов сын, Перерепенко».

По прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом:

— Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь! бросьте просьбу, пусть она пропадает! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь, да купите сантуринского, или никопольского, или хоть просто сделайте пуншику, да позовите меня! Разопьем вместе и позабудем все!

— Нет, Демьян Демьянович! не такое дело, — сказал Иван Иванович с важностию, которая так всегда шла к нему. — Не такое дело, чтобы можно было решить любовною сделкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа! — продолжал он с тою же важностию, оборотившись ко всем. — Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие. — И ушел, оставив в изумлении все присутствие.

Судья сидел, не говоря ни слова; секретарь нюхал табак; канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемый вместо чернильницы; и сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу.

— Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович? — сказал судья, после некоторого мол-

чания обратившись к подсудку.

— Ничего не скажу, — отвечал подсудок.

— Экие дела делаются! — продолжал судья.

Не успел он этого сказать, как дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие, остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича, и еще в суд, так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул; секретарь прервал свое чтение. Один канцелярист, в фризовой подобии полуфрака, взял в губы перо; другой проглотил муху. Даже отправлявший должность фельдъегеря и сторожа инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая в своей грязной рубашке с нашивкою на плече, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу.

— Какими судьбами! что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович?

Но Иван Никифорович был ни жив ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В перед-

ней находилась одна только старуха просительница, которая, несмотря на все усилия своих костистых рук, ничего не могла сделать. Тогда один из канцелярских, с толстыми губами, с широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими скоса и пьяна, с разодранными локтями, приблизился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытиснул он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. При чем канцелярский и его помощник, инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом.

— Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, которою потрите только поясницу и спину, и все пройдет.

Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных охов, ничего не

мог сказать. Наконец слабым, едва слышным от усталости голосом произнес он:

— Не угодно ли? — и, вынувши из кармана рожок, прибавил: — Возьмите, одолжайтесь!

— Весьма рад, что вас вижу, — отвечал судья. — Но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такую приятною нечаянностью.

— С просьбою... — мог только произнести Иван Никифорович.

— С просьбою? с какою?

— С позвом... — тут одышка произвела долгую паузу, — ох!.. с позвом на мошенника... Ивана Иванова Перерепенка.

— Господи! и вы туда! Такие редкие друзья! Позов на такого добродетельного человека!..

— Он сам сатана! — произнес отрывисто Иван Никифорович.

Судья перекрестился.

— Возьмите просьбу, прочитайте.

— Нечего делать, прочитайте, Тарас Иванович, — сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия, причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обык-

новенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сделавши обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом:

— «Просит дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун, а о чем, тому следуют пункты:

1) По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином, Иван Иванов сын, Перерепенко всякие пакости, убытки и иные ехидненские и в ужас приводящие поступки мне чинит и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать, с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и в находящийся в оном мой же собственный хлев, собственноручно и поносным образом его изрубил. На что, с моей стороны, я не подавал никакой причины к столь про-

тивозаконному и разбойническому поступку.

2) Оный же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою и до 7-го числа прошлого месяца, содержа втайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, с свойственною ему скупостью, многие негодные вещи, как♦то: свинью бурую и две мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался от одного уклонить его; но оный мошенник и подлец, Иван, Иванов сын, Перерепенко, выбрал меня мужчицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. Притом же оный, часто поминаемый, неистовый дворянин и разбойник, Иван, Иванов сын, Перерепенко, и происхождения весьма поносного: его сестра была известная всему свету потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею назад тому пять лет в Миргороде; а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и раз-

бойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела: постов не содержит, ибо накануне филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей незаконной девке Гапке, оговариваясь, аки бы ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи.

Посему прошу оногo дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличенного уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму, или государственный острог, препроводить, и там уже, по усмотрению, лиша чинов и дворянства, добре барбарами шмаровать[151] и в Сибирь на ка-торгу по надобности заточить; проторы, убытки велеть ему заплатить и по сему моему прошению решение учинить. — К сему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился, с намерением уйти.

— Куда же вы, Иван Никифорович? — говорил ему вслед судья. — Посидите немного! выпейте чаю! Орышко! что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай принеси чаю!

Но Иван Никифорович, с испугу, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив:

— Не беспокойтесь, я с удовольствием... — и затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие.

Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес, как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудка и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, краюх хлеба, пирогов, книшей и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствовавших, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на

конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хавронья убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествие произвело страшную суматоху, потому что даже копия не была еще списана с нее. Судья, то есть его секретарь и подсудок, долго трактовали об таком неслыханном обстоятельстве; наконец решено было на том, чтобы написать об этом отношении к городничему, так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции. Отношение за N389 послано было к нему того же дня, и по этому самому произошло довольно любопытное объяснение, о котором читатели могут узнать из следующей главы.

Глава V. В которой излагается совещание двух почетных в Миргороде особ

Как только Иван Иванович управился в своем хозяйстве и вышел, по обыкновению, полежать под навесом, как, к несказанному удивлению своему, увидел что♦то краснев-

шее в калитке. Это был красный обшлаг городничего, который, равномерно как и воротник его, получил политуру и по краям превращался в лакированную кожу. Иван Иванович подумал про себя: «Недурно, что пришел Петр Федорович поговорить», — но очень удивился, увидя, что городничий шел чрезвычайно скоро и размахивал руками, что случилось с ним, по обыкновению, весьма редко. На мундире у городничего посажено было восемь пуговиц, девятая как оторвалась во время процессии при освящении храма назад тому два года, так до сих пор десятские не могут отыскать, хотя городничий при ежедневных рапортах, которые отдают ему квартальные надзиратели, всегда спрашивает, нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговиц были насажены у него таким образом, как бабы садят бабы; одна направо, другая налево. Левая нога была у него прострелена в последней кампании, и потому он, прихрамывая, закидывал ее так далеко в сторону, что разрушал этим почти весь труд правой ноги. Чем быстрее действовал городничий своею пехотою, тем менее она подвигалась вперед. И потому, по-

камест дошел городничий к навесу, Иван Иванович имел довольно времени теряться в догадках, отчего городничий так скоро размахивал руками. Тем более это его занимало, что дело казалось необыкновенной важности, ибо при нем была даже новая шпага.

— Здравствуйте, Петр Федорович! — вскричал Иван Иванович, который, как уже сказано, был очень любопытен и никак не мог удержать своего нетерпения при виде, как городничий брал приступом крыльцо, но все еще не поднимал глаз своих вверх и ссорился с своею пехотою, которая никаким образом не могла с одного размаху взойти на ступеньку.

— Доброго дня желаю любезному другу и благодетелю Ивану Ивановичу! — отвечал городничий.

— Милости прошу садиться. Вы, как я вижу, устали, потому что ваша раненая нога мешает...

— Моя нога! — вскрикнул городничий, бросив на Ивана Ивановича один из тех взглядов, какие бросает великан на пигмея, ученый педант на танцевального учителя.

При этом он вытянул свою ногу и топнул ею об пол. Эта храбрость, однако ж, ему дорого стоила, потому что весь корпус его покачнулся и нос клюнул перила; но мудрый блюститель порядка, чтоб не подать никакого вида, тотчас оправился и полез в карман, как будто бы с тем, чтобы достать табакерку. — Я вам доложу о себе, любезнейший друг и благодетель Иван Иванович, что я делывал на веку своем не такие походы. Да, серьезно, делывал. Например, во время кампании тысяча восемьсот седьмого года... Ах, я вам расскажу, каким манером я перелез через забор к одной хорошенькой немке. — При этом городничий зажмурил один глаз и сделал бесовски плутовскую улыбку.

— Где ж вы бывали сегодня? — спросил Иван Иванович, желая прервать городничего и скорее навести его на причину посещения; ему бы очень хотелось спросить, что такое намерен объявить городничий; но тонкое познание света представляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иван Иванович должен был скрепиться и ожидать разгадки, между тем как сердце его колотилось с

необыкновенною силою.

— А позвольте, я вам расскажу, где был я, — отвечал городничий. — Во — первых, доложу вам, что сегодня отличное время...

При последних словах Иван Иванович почти что не умер.

— Но позвольте, — продолжал городничий. — Я пришел сегодня к вам по одному весьма важному делу. — Тут лицо городничего и осанка приняли то же самое озабоченное положение, с которым брал он приступом крыльцо.

Иван Иванович ожил и трепетал, как в лихорадке, не замедливши, по обыкновению своему, сделать вопрос:

— Какое же оно важное? разве оно важное?

— Вот извольте видеть: прежде всего осмелюсь доложить вам, любезный друг и благодетель Иван Иванович, что вы... с моей стороны, я, извольте видеть, я ничего; но виды правительства, виды правительства этого требуют: вы нарушили порядок благочиния!..

— Что это вы говорите, Петр Федорович? Я ничего не понимаю.

— Помилуйте, Иван Иванович! Как вы ничего не понимаете? Ваша собственная животи-
тина утащила очень важную казенную бума-
гу, и вы еще говорите после этого, что ничего
не понимаете!

— Какая животи-на?

— С позволения сказать, ваша собственная
бурая свинья.

— А я чем виноват? Зачем судейский сто-
рож отворяет двери!

— Но, Иван Иванович, ваше собственное
животное — стало быть, вы виноваты.

— Покорно благодарю вас за то, что с сви-
ньей меня равняете.

— Вот уж этого я не говорил, Иван Ивано-
вич! Ей — богу, не говорил! Извольте рассу-
дить по чистой совести сами: вам, без всякого
сомнения известно, что, согласно с видами
начальства, запрещено в городе, тем же паче
в главных градских улицах, прогуливаться
нечистым животным. Согласитесь сами, что
это дело запрещенное.

— Бог знает что это вы говорите! Большая
важность, что свинья вышла на улицу!

— Позвольте вам доложить, позвольте,

позвольте, Иван Иванович, это совершенно невозможно. Что ж делать? Начальство хочет — мы должны повиноваться. Не спорю, забегают иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси, — заметьте себе: куры и гуси; но свиней и козлов я еще в прошлом году дал предписание не впускать на публичные площади. Которое предписание тогда же приказал прочитать изустно, в собрании, пред целым народом.

— Нет, Петр Федорович, я здесь ничего не вижу, как только то, что вы всячески стараетесь обижать меня.

— Вот этого ♦ то не можете сказать, любезнейший друг и благодетель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я не сказал вам ни одного слова прошлый год, когда вы выстроили крышу целым аршином выше установленной меры. Напротив, я показал вид, как будто совершенно этого не заметил. Верьте, любезнейший друг, что и теперь бы я совершенно, так сказать... но мой долг, словом, обязанность требует смотреть за чистотою. Посудите сами, когда вдруг на главной улице...

— Уж хороши ваши главные улицы! Туда

всякая баба идет выбросить то, что ей не нужно.

— Позвольте вам доложить, Иван Иванович, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только под забором, сараями или коморами; но чтоб на главной улице, на площадь втесалась супоросная свинья, это такое дело...

— Что ж такое, Петр Федорович! Ведь свинья творение божие!

— Согласен! Это всему свету известно, что вы человек ученый, знаете науки и прочие разные предметы. Конечно, я наукам не обучался никаким: скорописному письму я начал учиться на тридцатом году своей жизни. Ведь я, как вам известно, из рядовых.

— Гм! — сказал Иван Иванович.

— Да, — продолжал городничий, — в тысяча восемьсот первом году я находился в сорок втором егерском полку в четвертой роте поручиком. Ротный командир у нас был, если изволите знать, капитан Еремеев. — При этом городничий запустил свои пальцы в табакерку, которую Иван Иванович держал открытою и переминал табак.

Иван Иванович отвечал:

— Гм!

— Но мой долг, — продолжал городничий, — есть повиноваться требованиям правительства. Знаете ли вы, Иван Иванович, что похитивший в суде казенную бумагу подвергается, наравне со всяким другим преступлением, уголовному суду?

— Так знаю, что, если хотите, и вас научу. Так говорится о людях, например если бы вы украли бумагу; но свинья животное, творение божие!

— Все так, но закон говорит: «виновный в похищении...» Прошу вас прислушаться внимательно: виновный! Здесь не означаетя ни рода, ни пола, ни звания, — стало быть, и животное может быть виновно. Воля ваша, а животное прежде произнесения приговора к наказанию должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка.

— Нет, Петр Федорович! — возразил хладнокровно Иван Иванович. — Этого ♦ то не будет!

— Как вы хотите, только я должен следовать предписаниям начальства.

— Что ж вы страшаете меня? Верно, хотите прислать за нею безрукого солдата? Я прикажу дворовой бабе его кочергой выпроводить. Ему последнюю руку переломят.

— Я не смею с вами спорить. В таком случае, если вы не хотите представить ее в полицию, то пользуйтесь ею, как вам угодно: заколите, когда желаете, ее к рождеству и сделайте из нее окороков, или так съедите. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку тех, которые у вас так искусно делает Гапка из свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень их любит.

— Колбас, извольте, пришлю парочку.

— Очень вам буду благодарен, любезный друг и благодетель. Теперь позвольте вам сказать еще одно слово: я имею поручение, как от судьи, так равно и от всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим, Иваном Никифоровичем.

— Как! с невежею? чтобы я примирился с этим грубияном? Никогда! Не будет этого, не будет! — Иван Иванович был в чрезвычайно решительном состоянии.

— Как вы себе хотите, — отвечал городничий, угощая обе ноздри табаком. — Я сам не смею советовать; однако ж позвольте доложить: вот вы теперь в ссоре, а как помиритесь...

Но Иван Иванович начал говорить о ловле перепелов, что обыкновенно случалось, когда он хотел замять речь.

Итак, городничий, не получив никакого успеха, должен был отправиться восвояси.

Глава VI. Из которой читатель легко может узнать все то, что в ней содержится

Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только: «Не бурая ли?»

Но Агафия Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу:

— Что ты, Иван Никифорович? Над тобой

будут смеяться, как над дураком, если тыпустишь! Какой ты после этого будешь дворянин! Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь!

И уговорила неугомонная! Нашла где♦то человечка средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно — синем, с заплатами на локтях, сюртуке — совершенную приказную чернильницу! Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за умом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы; съедал за одним разом девять пирогов, а десятый клал в карман, и в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханьем. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и наконец состряпало такую бумагу:

«В миргородский поветовый суд от дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

Вследствие оногo прошения моего, что отменя, дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна, к тому имело быть, совокупно с дворянином Иваном, Ивановым сыном, Пере-

репенком, чему и сам поветовый миргородский суд потворство свое изъявил. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит; ибо она свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги. Из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самим противником, называющим себя дворянином Иваном, Ивановым сыном, Перерепенком, уже уличенном в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но оный миргородский суд, с свойственным ему лицепрятием, тайное своей особы соглашение изъявил; без какового соглашения она свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги: ибо миргородский поветовый суд в прислуге весьма снабжен, для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время в приемной пребывающего, который хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но, чтобы выгнать свинью

и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности. Из чего достоверно видно потворство одного миргородского суда и бесспорно разделение жидовского от того барыша по взаимности совмещаясь. Оный же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иван, Иванов сын, Перерепенко в приточении ошельмовавшись состоялся. Почему и довожу одному поветовому суду я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, в надлежащее всеведение, если с оной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыщена не будет и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван, Никифоров сын, Довгочхун, о таком одного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. — Дворянин Миргородского повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Эта просьба произвела свое действие: судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю. Но секретарь пустил сквозь губы густой «гм» и показал на лице

своим ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось: примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться; но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа оборотился спиною назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенною быстротою, которою обыкновенно так славятся судилища. Бумагу пометили, записали, выставили номер, вшили, расписались — всё в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало — год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж; в Миргороде пробили новую улицу; у судьи выпал один коренной зуб и два боковых; у Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде: откуда они взялись, бог один знает! Иван Никифорович, в упрек Ивану Ивановичу, выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше

прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга, — и дело все лежало, в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен.

Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода.

Городничий давал ассамблею! Где возьму я кистей и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Возьмите часы, отк— ройте их и посмотрите, что там делается! Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себе, что почти столько же, если не больше, колес стояло среди двора городничего. Каких бричек и повозок там не было! Одна — зад широкий, а перед узенький; другая — зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху; другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи; иная была в профиле совершенная трубка с чубуком; другая была ни на что

не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. Кучера, в серых чекменях, свитках и серяках, в бараньих шапках и разнокалиберных фуражках, с трубками в руках, проводили по двору распряженных лошадей. Что за ассамблею дал городничий! Позвольте, я перечту всех, которые были там: Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихевич, Иван Иванович — не тот Иван Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елевферий Елевфериевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич... Не могу далее! не в силах! Рука устаёт писать! А сколько было дам! смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны городничего. Сколько чепцов! сколько платьев! красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных; платков, лент, ридикулей! Прощайте, бедные

глаза! вы никуда не будете годиться после этого спектакля. А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось все, какой шум подняли! Куда против этого мельница со всеми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! Не могу вам сказать наверно, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах, как ♦то: о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец Иван Иванович — не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, — сказал:

— Мне очень странно, что правый глаз мой (кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически) не видит Ивана Никифоровича господина Довгочхуна.

— Не хотел прийти! — сказал городничий.

— Как так?

— Вот уже, слава богу, есть два года, как поссорились они между собою, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем; и где один, туда другой ни за что не пойдет!

— Что вы говорите! — При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. — Что ж теперь, если уже люди

с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком!

На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий, худощавый человек, в байковом сюртуке, с пластырем на носу, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движения на своем лице, даже когда залетела к нему в нос муха, — этот самый господин встал с своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей кривого Ивана Ивановича.

— Послушайте! — сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество. — Послушайте! Вместо того что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим двух наших приятелей! Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами, — пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе.

Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом —

просить его во что бы ни стало приехать к городничему на обед. Но важный вопрос — на кого возложить это важное поручение? — повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части: наконец единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова: даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподнее — он благодарит; щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали: «Отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые?» — то он обыкновенно всегда отвечал: «А у вас и такого нет! Подождите, обносится, весь будет одинаковый!» И точно: голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь совершенно подходит под цвет сюртука! Но вот что странно: что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить

летом, а нанковое зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот и притом нужны были деньги на овес, то Антон Прокофьевич их променял на скрипку и дворовую девку, взявши придачи двадцатипятирублевую бумажку. Потом скрипку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет сафьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе и ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в «дураки» и «мельники». Повиноваться всегда было его стихиею, и потому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но, идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав сего, впрочем,

достойного человека делал его предприятие почти невозможным. Да и как, в самом деле, ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Но положим, что он встанет, как ему прийти туда, где находится, — что, без сомнения, он знает, — непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен; солнце жгло; пот лился с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря, что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела, — в ме'не только был он не так счастлив, — он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найтись в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться.

В то время как изобретательный ум его выдумывал средство, как убедить Ивана Никифоровича, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он наде-

вал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва только он предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его. Антон Прокофьевич поднял такой крик, — громче его никто не умел кричать, — что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему, и хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако ж это очень уменьшило его бодрость и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу.

Глава VII. И последняя

— **А**! Здравствуйте. На что вы собак дразните? — сказал Иван Никифорович, увидевши Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя.

— Чтоб они передохли все! Кто их дразнит? — отвечал Антон Прокофьевич.

— Вы врете.

— Ей — богу, нет! Просил вас Петр Федоро-

вич на обед.

— Гм!

— Ей — богу! так убедительно просил, что выразить не можно. Что это, говорит, Иван Никифорович чуждается меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить либо посидеть.

Иван Никифорович погладил свой подбородок.

— Если, говорит, Иван Никифорович и теперь не придет, то я не знаю, что подумать: верно, он имеет на меня какой умысел! Сделайте милость, Антон Прокофьевич, говорите Ивана Никифоровича! Что ж, Иван Никифорович? пойдём! там собралась теперь отличная компания!

Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло.

— Если бы вы знали, Иван Никифорович, — продолжал усердный депутат, — какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу!

При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислуши-

ваться.

Это ободрило депутата.

— Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич! Что ж вы? — прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. — Что ж? идем или неидем?

— Не хочу.

Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека, но вместо того услышал решительное «не хочу».

— Отчего же не хотите вы? — спросил он почти с досадою, которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий.

Иван Никифорович понюхал табаку.

— Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает.

— Чего я пойду? — проговорил наконец Иван Никифорович, — там будет разбойник! — Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича.

Боже праведный! А давно ли...

— Ей — богу, не будет! вот как бог свят, что не будет! Чтоб меня на самом этом месте громом убило! — отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться десять раз на один час. — Пойдемте же, Иван Никифорович!

— Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там?

— Ей — богу, ей — богу, нет! Чтобы я не сошел с этого места, если он там! Да и сами посудите, с какой стати мне лгать? Чтоб мне руки и ноги отсохли!.. Что, и теперь не верите? Чтоб я окошел тут же перед вами! чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать царствия небесного! Еще не верите?

Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принесть шаровары и нанковый казакин.

Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и

не отвечал ни слова на предложения Антона Прокофьевича — что ◆нибуддь променять на его турецкий кисет.

Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится наконец всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою; многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем, что не придет, но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он кривое око, — чем городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был второй час — время, в которое в Миргороде, даже в парадных случаях, давно уже обедают.

Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет». Едва только он это произнес, и уже град выговоров, браней, а может быть, и

целчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась и — вошел Иван Никифорович.

Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока, от радости, что так подшутил над всею компаниею.

Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было; он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен».

Между тем запах борща понесся чрез комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Вереница дам, говорливых и молчаливых, тощих и толстых, потянулась вперед, и длин-

ный стол зарябел всеми цветами. Не стану описывать кушаньев, какие были за столом! Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об утрибке[152], которую подавали к борщу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного повара, — о том соусе, который подавался обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам. Не стану говорить об этих кушаньях потому, что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбки косточки, он клал их на тарелку и как♦то нечаянно взглянул насупротив: творец небесный, как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович!

В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович!.. Нет!.. не могу!.. Дайте мне другое перо! Перо мое вяло, мертво, с тон-

ким расщепом для этой картины! Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти, как к приятелю неожиданному, и поднести рожок с словом: «одолжайтесь», или: «смею ли просить об одолжении»; но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование! Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующие, все, сколько их ни было за столом, онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором, о том, каким о разом делаются каплуны, вдруг прервали разговор. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великого художника!

Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться; а Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Городничий тотчас заметил это движение и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из друзей на-

чал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга.

Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, и Иван Иванович, — не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, — стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича, хотя и несколько косо, однако ж довольно еще удачно и в то место, где стоял Иван Иванович; но городничий сделал дирекцию слишком в сторону, потому что он никак не мог управиться с своевольною пехотою, не слушавшею на тот раз никакой команды и, как назло, закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно в противную сторону (что, может, происходило оттого, что за столом было чрезвычайно много разных наливок), так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которая из любопытства просунулась

в самую средину. Такое предзнаменование не предвещало ничего доброго. Однако ж судья, чтоб поправить это дело, занял место городничего и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей.

Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки.

— Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович! Скажите по совести, за что вы поспорились? не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед богом!

— Я не знаю, — сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости (заметно было, что он был

весьма не прочь от примирения), — я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу; за что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?

— Не повинен ни в каком злом умысле, — говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. — Клянусь и пред богом и пред вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию?

— Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред? — сказал Иван Никифорович.

Еще одна минута объяснения — и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать: «Одолжайтесь».

— Разве это не вред, — отвечал Иван Иванович, не подымая глаз, — когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать?

— Позвольте вам сказать по — дружески, Иван Иванович! (при этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана

Ивановича, что означало совершенное его расположение), — вы обиделись за черт знает что такое: за то, что я вас назвал гусакom...

Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово, но уже было поздно: слово было произнесено.

Все пошло к черту!

Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком не дай бог видывать человека, — что ж теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным? Поступи Иван Никифорович не таким образом, скажи он птица, а не гусак, еще бы можно было поправить.

Но — все кончено!

Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд — и какой взгляд! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами

разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтоб не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти!

Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче.

Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, из сундука были вынуты — что же? карбованцы! старые, дедовские карбованцы! И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы! с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжение десяти лет!

* * *

Назад тому лет пять я проезжал чрез город Миргород.

Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень с своею грустно — сырою погодою, грязью и туманом. Какая ♦ то ненатуральная зелень — творение скучных, непрерывных дождей —

покрывала жидкою сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику, розы — старухе. На меня тогда сильное влияние производила погода: я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! Я двенадцать лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей! Судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником; Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу; везде стояли шесты с привязанным вверху пучком соломы: производилась какая-то новая планировка! Несколько изб было снесено. Остатки заборов и плетней торчали уныло.

День был тогда праздничный; я приказал рогоженную кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратил на меня внимания. Правда, и некому было. Церковь была пуста. Народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи.

Свечи при пасмурном, лучше сказать — больном дне, как♦то были странно неприятны; темные притворы были печальны; продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и оборотился к одному почтенному старику с поседевшими волосами:

— Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?

В это время лампада вспыхнула живее пред иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые! Это был сам Иван Никифорович! Но как изменился!

— Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели!

— Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, — отвечал Иван Никифорович.

— Что вы говорите! вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду.

— Что ж делать! тяжба...

При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал:

— Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе,

и в мою пользу.

Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче.

— Иван Иванович здесь, — сказал мне кто-то, — он на крылосе.

Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые; но бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселою улыбкою, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал:

— Уведомить ли вас о приятной новости?

— О какой новости? — спросил я.

— Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала наверное.

Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу, и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливмя на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкой. Сырость меня проня-

ла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. — Скучно на этом свете, господа!

Повести



Невский проспект

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блесит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волосы и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только вступишь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, вер-

но, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюр-

ный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, — все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантазмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофей; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший вчера, как муха, с шоколадом, вылезает, с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее русские мужики,

спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах, с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В

это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, — никто этого не заметит.

В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностью изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабо-

нервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец выпивших чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, мамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите ба-

кенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, — предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленовою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, — пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мо-

тыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия,

иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и, если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало: они большею частью служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, — словом, большею частью всё порядочные люди. В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться

движущуюся столицей Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим добром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редет... В три часа — новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтись по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут

скоро, потупивши голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии.

С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого помытчика, пущенная по миру во фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару, иногда низкий ремесленник; больше никого не встретите вы на Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на дома и

улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большею частью холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частью сидят дома, или потому, что это народ женатый, или потому, что им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков,

которые с такою важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках гуляющим целую толпою и обыкновенно под руку.

— Стой! — закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. — Видел?

— Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.

— Да ты о ком говоришь?

— Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! Боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица — чудеса!

— Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

— О, как можно! — воскликнул, покрасневшись, молодой человек во фраке. — Как будто

она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, — продолжал он, вздохнувши, — один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

— Простак! — закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развеялся яркий плащ ее. — Ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись.

«Знаем мы вас всех», — думал про себя с самодовольною и самонадеянною улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развеялся вдали пестрый плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетающей вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, о какой намекал ему поручик Пирогов; но ему хотелось только видеть дом,

заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где всё или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большею частью добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о

любимом предмете и вовсе небрегающий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть, с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда почти на всем серенький мутный колорит — неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робки: звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижа-

ют цену своих произведений. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неоконченном их пейзаже, увидите вы иногда нарисованную вниз головою нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно; он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера. Это происходит оттого, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, стоящего в его комнате, или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвести. От этого он отвечает часто несвязно, иногда невпопад, и мешающиеся в его голове предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду принад-

лежал описанный нами молодой человек, художник Пискарев, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным трепетом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, и, казалось, дивился сам своей дерзости. Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, — все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде затрепетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лице при виде та-

кого наглого преследования; но на этом прекрасном лице и самый гнев был обворожителен. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза; но как утратить это божество и не узнать даже той святыни, где оно опустилось гостить? Такие мысли пришли в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но, чтобы не дать этого заметить, он отдалился на дальнейшее расстояние, беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки; нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели, и все перед ним окунулось каким-то туманом. Тротуар несея под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломал-

ся на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он несся по легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение: точно ли выражение лица ее было так благосклонно, — и тогда он на минуту останавливался, но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремилась его вперед. Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом, и перилы у подъезда противопоставили ему железный толчок свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, положила на губы палец и дала знак следовать за собой. Колени его дрожали; чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта! Бо-

же! столько счастья в один миг! такая чудесная жизнь в двух минутах!

Но не во сне ли это все? ужель та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужель та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более осватило их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это доверие наложило на него обет строгости рыцарской, обет рабски исполнять все повеления ее. Он только желал, чтоб эти веления были как можно более трудны и неудобноисполняемы, чтобы с большим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку

ему вверяться; что от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все.

Лестница вилась, и вместе с нею вились его быстрые мечты. «Идите осторожнее!» — зазвучал, как арфа, голос и наполнил все жилы его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь, — она отворилась, и они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечою в руке, но так странно и нагло посмотрела на Пискарева, что он опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью;

паук застилал свою паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира; громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения.

Боже, куда зашел он! Сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату; но голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки; изношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его рассматривала, как пятно на чужом платье, — все это уверило его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностью и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и

отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарев мерил ее с ног до головы изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша; волосы ее были так же прекрасны; глаза ее казались все еще небесными. Она была свежа; ей было только семнадцать лет; видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат; он еще не смел коснуться к ее щекам, они были свежи и легко оттенены тонким румянцем, — она была прекрасна.

Он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости; она так была странна и так же шла к ее лицу, как идет выражение набожности рожее взяточника или бухгалтерская книга по эту. Он содрогнулся. Она раскрыла свои хоро-

шенькие уста и стала говорить что-то, но все это было так глупо, так пошло... Как будто вместе с непорочностью оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост, как дитя. Вместо того чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу.

Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море. «Такая красавица, такие божественные черты — и где же? в каком месте!..» Вот все, что он мог выговорить.

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была действительно чу-

десное, необыкновенное явление. Ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным. Все черты ее были так чисто образованы, все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников; но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидел он перед загоревшею свечою. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, вос-

пользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притом в такое необыкновенное время... Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея.

— Та барыня, — произнес с учтивым поклоном лакей, — у которой вы изволили за несколько часов пред сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету.

Пискарев стоял в безмолвном удивлении: «Карету, лакей в ливрее!.. Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка...»

— Послушайте, любезный, — произнес он с робостью, — вы, верно, не туда изволили зайти. Вас барыня, без сомнения, прислала за кем-нибудь другим, а не за мною.

— Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа?

— Я.

— Ну, так пожалуйста поскорее, барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом.

Пискарев сбежал с лестницы. На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами— и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее... — все это он никак не мог согласить с комнатою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом.

Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и его разом поразили: ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он уже

был на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров, — все было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук,

дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что... но один уже смиренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнию к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила танцующую группу.

Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха; небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась, и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасные длинные ресницы опустили равнодушно, и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее.

Пискарев употребил все усилия, чтобы раз-

двинуть толпу и рассмотреть ее; но, к величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно; притом толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично оправиться. Творец небесный, что это! На нем был сюртук и весь запачканный красками: спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда: камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенною стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял он глаза посмотреть, не глядит ли она на него: Боже! она стоит перед ним... Но что это? что это? «Это она!» — вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу. Она подняла

между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай, ай, ай, как хороша!..» — мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала знак, но не рукою, не наклоением головы, нет, в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец — конец! Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (создатель, какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означал яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуть-

ся бы только ее — и ничего больше! Никаких других желаний — они все дерзки... Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать.

— Вам было скучно? — произнесла она. — Я также скучала. Я замечаю, что вы меня ненавидите... — прибавила она, потупив свои длинные ресницы.

— Вас ненавидеть! мне? я... — хотел было произнести совершенно потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел камергер с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждую остроту своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастью, обратился к камергеру с каким-то вопросом.

— Как это несносно! — сказала она, подняв на него свои небесные глаза. — Я сяду на другом конце зала; будьте там!

Она проскользнула между толпою и исчезла. Он как помешанный растолкал толпу и был уже там.

Так, это она! она сидела, как царица, всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами.

— Вы здесь, — произнесла она тихо. — Я буду откровенна перед вами: вам, верно, странным показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну: будете ли вы в состоянии, — произнесла она, устремив пристально на его глаза свои, — никогда не изменить ей?

— О, буду! буду! буду!..

Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст. Он отправился вслед за нею; но толпа разделила их. Он уже не видел сиреневого платья; с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных, но во

всех комнатах всё сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание. В одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскою; в другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек с почтенною наружностью схватил за пуговицу его фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату — и там нет ее. В третью — тоже нет. «Где же она? дайте ее мне! о, я не могу жить, не взглянувши на нее! мне хочется выслушать, что она хотела сказать», — но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный, он прижался к углу и смотрел на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза; перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глуби-

не его; вся свеча истаяла; сало было налито на столе его.

Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? зачем было одной минуты не подождать: она бы, верно, опять явилась! Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке... О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть: то поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то рисовал портрет, и тому подобная чепуха.

До самого полудня пролежал он в постели, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула перед ним.

Все отринувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное в двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: «Старого платья продать». Ежедневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностью бросился в постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. «Боже, умиლოსердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник, и фагот; о, это нестерпимо! Наконец она явилась! ее головка и локоны... она глядит... О, как ненадолго! опять туман, опять какое-то глупое сновидение.

Наконец сновидения сделались его жизнью, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-ни-

будь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то, верно бы, принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого значения, природная рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи.

Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что наконец сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средство восстановить сон — для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шалей, который всегда почти, когда ни встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его сидя на диване и поджавши под себя ноги.

— На что тебе опиум? — спросил он его. Пискарев рассказал ему про свою бессонницу.

— Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были черные и очи большие, как маслины; а я сам чтобы лежал возле нее и курил трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискарев обещал все. Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву с наставлением употреблять не больше как по семи капель в воде. С жадностию схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за грудку золота, и опрометью побежал домой.

Пришедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водою и, проглотив, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она! но уже совершенно в другом виде. О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика! наряд ее дышит такою простотою, в какую только облекается мысль поэта. Прическа на голове ее... Создатель, как проста эта прическа и как она идет к ней! Коротенькая косынка

была слегка накинута на стройной ее шейке; все в ней скромно, все в ней — тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Как мила ее грациозная походка! как музыкален шум ее шагов и простенького платья! как хороша рука ее, стиснутая волосяным браслетом! Она говорит ему со слезою на глазах: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна к тому, что вы думаете?» — «О! нет, нет! пусть тот, кто осмелится подумать, пусть тот...» Но он проснулся, растроганный, растерзанный, с слезами на глазах. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою, и я бы был тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирал далее. Я бы призывал тебя, как ангела-хранителя, пред сном и бдением, и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить Божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы в том, что она живет? Разве

жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!» Почти такие мысли занимали его беспрестанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с нетерпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения. Беспрестанное устремление мыслей к одному наконец взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему почти каждый день, всегда в положении противоположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. Через эти сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался.

Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он.

Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представилась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрою в руках! И она тут же. Она

была уже его женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства; все в комнате его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! она склонилась к нему на грудь прелестную свою головку... Лучшего сна он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, нежели прежде. В голове его родились странные мысли. «Может быть, — думал он, — она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель, и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления?» Мысли его простирались еще далее. «Меня никто не знает, — говорил он сам себе, — да и кому какое до меня дело, да и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю го-

раздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение».

Составивши такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице; он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться; приумылся, пригладил волоса, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Ондохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи.

Долго он искал дома; казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь: дверь от-

ворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил, так ужасно, так страдательно, так сладко жил. Она сама стояла перед ним: он затрепетал; он едва мог удержаться на ногах от слабости, обхваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заspanы, хотя бледность кралась на лице ее, уже не так свежем, но она все была прекрасна.

— А! — вскрикнула она, увидевши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа). — Зачем вы убежали тогда от нас?

Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее.

— А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна, — прибавила она с улыбкою.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи! Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его уве-

щания. Собравшись с духом, он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ей ужасное ее положение. Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъясняем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидевшую в углу свою приятельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника.

— Правда, я беден, — сказал наконец после долгого и поучительного увещания Пискарев, — но мы станем трудиться; мы постараемся наперерыв, один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка.

— Как можно! — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, — жизнь, испол-

ненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

— Женитесь на мне! — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. — Если я буду женою, я буду сидеть вот как!

При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

О, это уже слишком! этого нет сил перенести. Он бросился вон, потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет; на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице. Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконец прошла неделя, и комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа; наконец выломали дверь и нашли

бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело.

Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городского лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту; за ним идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем, ему было вовсе не до того: он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему.

Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином, нюхает левою рукою табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба; но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка и только одна какая—нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интересное созданище. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окна кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка, моя!» — говорил с самоуверенностию Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое ворот-

ником шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был поручик Пирогов.

Но прежде нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил этот чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы — все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе, между благодравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во

всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: «Ах, перестаньте! не стыдно ли вам так смешить!» — бывают им часто лучшею наградою. В высшем классе они попадают очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове. Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играют какие-нибудь «Филатки», которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменно. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень

любят громко вызывать актеров; многие из них, преподавая в казенных заведениях или готовя к казенным заведениям, заводятся наконец кабриолетом и парю лошадей. Тогда круг их становится обширнее; они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или около того наличных и кучею бородатой родни. Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина. Потому что русские бородки, несмотря на то, что от них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов имел множество талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из «Дмитрия Донского» и «Горе от ума», имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка

сама по себе, а единорог сам по себе. Впрочем, оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?» — но втайне его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему изящному и поощрял художника Пискарева; впрочем, это происходило, может быть, оттого, что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портре-

те. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно.

Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов — за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового.

Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом.

Перед ним сидел Шиллер, — не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, — не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки

только «гут морген», ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем.

«Я не хочу, мне не нужен нос! — говорил он, размахивая руками. — У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку, я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по сорок копеек; это будет рубль двадцать копеек; двенадцать раз рубль двадцать копеек — это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, друг мой Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек! Да по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю два фунта рапе, по два рубля фунт. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорок копеек на один табак. Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли? — Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно. — Двадцать рублей сорок копеек! Я — швабский немец; у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! режь мне нос! вот мой

нос!»

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрощеное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственной ему приятностию сказал:

— Вы извините меня...

— Пошел вон! — отвечал протяжно Шиллер. Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал:

— Мне странно, милостивый государь... вы, верно, не заметили...я офицер...

— Что такое офицер! Я — швабский немец. Мой сам (при этом Шиллер ударил кулаком по столу) будет офицер: полтора года юнкер, два года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак: фу! — при этом Шиллер подставил ладонь и фукнул на нее.

Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться; однако ж такое обхождение, вовсе не приличное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз останавливался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом; к тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила:

— Что вам угодно?

— А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какие хорошенькие глазки! — при этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок.

Но блондинка произнесла пугливое восклицание и с тою же суровостью спросила:

— Что вам угодно?

— Вас видеть, больше ничего мне не угодно, — произнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе; но, заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: — Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры? хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!

Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода.

— Я сейчас позову моего мужа, — вскрикнула немка и ушла, и чрез несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходявшего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне, происше-

ствие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом.

— Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей, — произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя, тремя приятелями, и закирался на это время даже от своих работников.

— Зачем же так дорого? — ласково сказал Пирогов.

— Немецкая работа, — хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. — Русский возьмется сделать за два рубля.

— Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей.

Шиллер минуту оставался в размышлении: ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше двух

недель не может сделать. Но Пирогов без всякого прекословия изъявил совершенное согласие.

Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила пятнадцать рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.

— Мейн фрау![153] — закричал он.

— Вас волен зидох?[154] — отвечала блондинка.

— Гензи на кухня![155] — Блондинка удалилась.

— Так через две недели? — сказал Пирогов.

— Да, через две недели, — отвечал в размышлении Шиллер, — у меня теперь очень много работы.

— До свидания! я к вам зайду.

— До свидания, — отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.

Поручик Пирогов решил не оставлять

своих исканий, несмотря на то что немка оказалась явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно было ему противиться, тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью; но исчезни она — и женщине нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то, по крайней мере, уважение. Впрочем, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии; но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и

блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто освещать о шпорах, так что Шиллеру это наконец наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры; наконец шпоры были готовы.

— Ах, какая отличная работа! — закричал поручик Пирогов, увидевши шпоры. — Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет таких шпор.

Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер — умный человек», — думал он сам про себя.

— Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к кинжалу или другим вещам?

— О, очень могу, — сказал Шиллер с улыбкою.

— Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу; у меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую.

Шиллера это как бомбою хватило. Лоб его

вдруг наморщился. «Вот тебе на!» — подумал он про себя, внутренне ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, притом же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавши головою, изъявил свое согласие; но поцелуй, который, уходя, Пирогов вlepил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю не излишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец в полном смысле всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на фу-фу, уже Шиллер измерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится перемем-

нить свое слово.

Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек, и, если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но, однако же, призывал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишней раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп; впрочем, в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бранил. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницею. Таков был характер благородного Шиллера, который наконец был приведен в чрезвычайно затруднительное положение.

ние. Хотя он был флегматик и немец, однако ж поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей, — потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, — куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою, с которою, по словам его, он уже совершенно был на коротке и которую он на самом деле едва ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону.

В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами; к величайшей радости своей, увидел он головку блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкою и сказал: «Гут морген!» Блондинка поклонилась ему как знакомому.

— Что, ваш муж дома?

— Дома, — отвечала блондинка.

— А когда он не бывает дома?

— Он по воскресеньям не бывает дома, — сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно, — подумал про себя Пирогов, — этим нужно воспользоваться».

И в следующее воскресенье как снег на голову явился пред блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходивши со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду: во-первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торньюру и ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и проло-

жить начало всему; короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова; он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась, и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцом. Все эти достойные ремесленники были пьяны как сапожники.

Но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера.

— Грубиян! — закричал он в величайшем негодовании, — как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер. Черт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья!

Гофман отвечал утвердительно.

— О, я не хочу иметь роги! бери его, мой друг Гофман, за воротник, я не хочу, — продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно

его жилета. — Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюрнберге; я немец, а не рогатая говядина! прочь с него всё, мой друг Гофман! держи его за рука и нога, камрат мой Лунц!

И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился он отбиваться; эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события.

Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции, что он Бог знает чего бы не дал, чтобы все происходившее вчера было во сне. Но что уже было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, опи-

сать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в главный штаб. Если же главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в государственный совет, а не то самому государю.

Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту; к девяти часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала, притом он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров.

«Дивно устроен свет наш! — думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия. — Как

странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, — тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку главного штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!»

Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот гос-

подин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему все офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете. Вы думаете, что эти дамы... но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать.

Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский

проспект, но более всего тогда, когда ночь стущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валяются с мостов, фореиторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.

Нос

I

Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с запыленною щекою и надписью: «И кровь отворяют» — не выставлено ничего более), цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофей, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

— Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлеба с луком.

(То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) «Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше, — подумала про себя супруга, — останется кофию лишняя порция». И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное! — сказал он сам про себя, — что бы это такое было?»

Он засунул пальцы и вытащил — нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще ка-

залось, как будто чей-то знакомый, Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

— Где это ты, зверь, отрезал нос? — закричала она с гневом. — Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив ни мертв. Он узнал, что этот нос был не чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье.

— Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок: пусть там маленечко полежит, а после его вынесу.

— И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты, пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я

духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал — и не знал, что подумать.

— Черт его знает, как это сделалось, — сказал он наконец, почесав рукою за ухом. — Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..

Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага... и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но, на беду, ему попался какой-ни-

будь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «Куда идешь?», или «Кого так рано собрался брить?» — так что Иван Яковлевич никак не мог улучшить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «Подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.

Он решил идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий; то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лос-

нился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» — то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» — «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бороною — одним словом, где только ему была охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегаёт, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд; Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами,

в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем кварталный кивал ему пальцем и говорил:

— А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал:

— Желаю здравия вашему благородию!

— Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!

— Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия, — отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.

Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: «брр...» — что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к оберполицмейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллеж-

ские ассессоры... Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском ассессоре, то все коллежские ассессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумеи и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский ассессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским ассессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка, — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, — ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет майор Ковалев? — тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского ассессора называть майором.

Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда

чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные, румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямохонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано: среда, четверг, понедельник и проч. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капитала. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Но авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос пропал сдуру», — подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотретья в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было; мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофею вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет, — произнес он, — теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь! — произнес он, плюнувши. — Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решил, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом

остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переверотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считается в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «Подавай!» — сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, — был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к сча-

стию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.

Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Модельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.

«Как подойти к нему? — думал Ковалев. — По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!»

Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвечивал поклоны.

— Милостивый государь... — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться, — милостивый государь...

— Что вам угодно? — отвечал нос, оборотившись.

— Мне странно, милостивый государь... мне кажется... вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? — в церкви. Согласитесь...

— Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить... Объяснитесь.

«Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал:

— Конечно, я... впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить... притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие... Вы посудите сами... я не знаю, милостивый государь. (При этом майор Ковалев пожал плечами.) Извините... если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести... вы сами можете понять...

— Ничего решительно не понимаю, — отвечал нос. — Изъяснитесь удовлетворительнее.

— Милостивый государь... — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — я не знаю, как понимать слова ваши... Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно... Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос!

Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству.

Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья; подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.

Ковалев подступил поближе, высунул ба-

тистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печати и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос... Но носа уже не было; он успел ускакать, вероятно опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колонадою, тщательно смотря во все стороны, не попадет ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и

мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма; дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особенно ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоничальник в сенате, большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему...

— А, черт возьми! — сказал Ковалев. — Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю ивановскую!»

— У себя обер-полицмейстер? — вскричал

он, зашедши в сени.

— Никак нет, — отвечал привратник, — только что уехал.

— Вот тебе раз!

— Да, — прибавил привратник, — оно и не так давно, по уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом:

— Пошел!

— Куда? — сказал извозчик.

— Пошел прямо!

— Как прямо? тут поворот: направо или налево?

Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния, не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого челове-

ка ничего не было священного и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять, удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города, — и тогда все искания будут тщетны, или могут продолжиться, чего боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тужить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! скорей, мошенник!» — «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжей свою лошадь, на которой шерсть бы-

ла длинная, как на болонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

— Кто здесь принимает объявления? — закричал Ковалев. — А, здравствуйте!

— Мое почтение, — сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.

— Я желаю припечатать...

— Позвольте. Прошу немножко повременить, — произнес чиновник, ставя одною рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.

Лакей с галунами и наружностью, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола, с запискою в руках, и почел приличным показать своюобщезительность:

— Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит восьми гривен, то есть я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-богу, любит, — и вот тому, кто ее отыщет, сто

рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая.

Почтенный чиновник слушал это с значительною миною и в то же время занимался сметою: сколько букв принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподдержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка девятнадцати лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры; молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду; новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса; дача со всеми удобствами: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с

приглашением явиться к переторжке каждый день от восьми до трех часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в какие местах.

— Милостивый государь, позвольте вас попросить... Мне очень нужно, — сказал он наконец с нетерпением.

— Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки! — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. — Вам что угодно? — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

— Я прошу... — сказал Ковалев, — случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого поддлеца представит, получит достаточное вознаграждение.

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя

сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша... Вдруг узнают, боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине.

— А сбежавший был ваш дворовый человек?

— Какое дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня... нос...

— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?

— Нос то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!

— Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.

— Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой

заметной части тела? Это не тот что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог — и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехtareвой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться.

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.

— Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах, — сказал он наконец после долгого молчания.

— Как? отчего?

— Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.

— Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.

— Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расче-

ту пришлось два рубля семьдесят три копейки, и все объявление состояло в том, что сбегал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.

— Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.

— Нет, такого объявления я никак не могу поместить.

— Да когда у меня точно пропал нос!

— Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.

— Клянусь вам, вот как бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.

— Зачем беспокоиться! — продолжал чиновник, нюхая табак. — Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы взглянуть.

Коллежский ассессор отнял от лица платок.

— В самом деле, чрезвычайно странно! — сказал чиновник, — место совершенно глад-

кое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!

— Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен; и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться...

Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.

— Напечатать-то, конечно, дело небольшое, — сказал чиновник, — только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение природы и напечатать эту статейку в «Северной пчеле» (тут он понюхал еще раз табак) для пользы юношества (тут он утер нос) или так, для общего любопытства.

Коллежский ассессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза в низ газеты, где было извещение о спектаклях; уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Кова-

лева, должны сидеть в креслах, — но мысль о носе все испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах:

— Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? это разбивает головные боли и печальные расположения; даже в отношении к геморроидам это хорошо.

Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпе.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.

— Я не понимаю, как вы находите место шуткам, — сказал он с сердцем, — разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе.

Сказавши это, он вышел, глубоко раздоса-

дованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахара. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную треугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его; и он, после боевой, бранной жизни, готовился вкушать удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крикнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя; и не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь, — обыкновенно говорил он, — уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет немного, в кар-

мане всегда поместится, уронишь — не расшибется».

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.

То есть не в бровь, а прямо в глаз! Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив

свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить...» — и вышел.

Он приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальной или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Вошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его; он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»

Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ.

Вошедши в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресла и наконец после нескольких вздохов сказал:

— Боже мой! боже мой! За что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин, — просто возьми да и вышвырни

за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про что, пропал даром, ни за грош!.. Только нет, не может быть, — прибавил он, немного подумав. — Невероятно, чтобы нос пропал; никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится; может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее.

Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши:

— Экой пасквильный вид!

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное; но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной

квартире!.. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволочнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решила его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверг нос у него был цел — это он помнил и знал очень хорошо; притом была бы им чувствуема боль, и, без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы: звать ли

штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как слышался в передней незнакомый голос, произнесший:

— Здесь ли живет коллежский ассессор Ковалев?

— Войдите. Майор Ковалев здесь, — сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исакиевского моста.

— Вы изволили затерять нос свой?

— Так точно.

— Он теперь найден.

— Что вы говорите? — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба на стоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. — Каким образом?

— Станным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит.

Ковалев был вне себя.

— Где же он? Где? Я сейчас побегу.

— Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, кото-

рый сидит теперь на съезжей. Я давно подзрел его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.

При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

— Так, он! — закричал Ковалев. — Точно, он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю.

— Почел бы за большую приятность, но никак не могу: мне нужно заехать отсюда в смиренный дом... Очень большая поднялась дороговизна на все припасы... У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких...

Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своею телегою как раз на бульвар.

Коллежский асессор по уходе квартально-го несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспмятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.

— Так, он, точно он! — говорил майор Ковалев. — Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня.

Майор чуть не засмеялся от радости.

Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и наконец незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено: нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

— А что, если он не пристанет?

При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел.

С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О ужас! Нос не приклеивался!.. Он поднес его во рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

— Ну! ну же! полезай, дурак! — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. — Неужели он не прирастет? — говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и

держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Гм!» Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Гм!» — и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал:

— Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уве-

рю, что это для вас хуже.

— Вот хорошо! как же мне оставаться без носа? — сказал Ковалев. — Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда же я с этакою пасквильностью покажусь? Я имею хорошее знакомство; вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком: статская советница Чехтарева, Подточина — штаб-офицерша... хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только чрез полицию. Сделайте милость, — произнес Ковалев умоляющим голосом, — нет ли средства? как-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же при том и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозvoлят мои средства...

— Верите ли, — сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим, — что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам

и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос; но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой природы. Мойте чаще холодной водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом или, еще лучше, влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса, — и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.

— Нет, нет! ни за что не продам! — вскричал отчаянный майор Ковалев, — лучше пусть он пропадет!

— Извините! — сказал доктор, откланиваясь, — я хотел быть вам полезным... Что ж делать! По крайней мере, вы видели мое старание.

Сказавши это, доктор с благородною осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности

видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки.

Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания:

«Милостивая государыня
Александра Григорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствие волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я с своей стороны по-

читаю долгом вас предупредить: если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть.

Ваш покорный слуга

Платон Ковалев».

«Милостивый государь

Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предупреждаю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с

носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

Александра Подточина».

«Нет, — говорил Ковалев, прочитавши письмо. — Она точно не виновата. Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлений. — Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был послан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. — Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он наконец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице, и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что

занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера — и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за восемьдесят копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу; но, к большому негодованию своему, увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-

за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою, — картинку, уже более десяти лет висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою: «Как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?»

Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием,

что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во все, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

III

Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля седьмого числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! — хватъ рукою — точно нос! «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в

зеркало: нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!

— А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, — сказал он и между тем думал: «Вот беда, как Иван скажет: да нет, судырь, не только прыщика, и самого носа нет!»

Но Иван сказал:

— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!

«Хорошо, черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время взглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.

— Говори вперед: чисты руки? — кричал еще издали ему Ковалев.

— Чисты.

— Врешь!

— Ей-богу-с, чисты, судырь.

— Ну, смотри же.

Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновение с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих име-

нинах.

«Вишь ты! — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку. — Вона! эх его, право, как подумаешь», — продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца, с тем чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.

— Ну, ну, ну, смотри! — закричал Ковалев.

Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою; и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.

Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» — а

сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос! Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя чрез приемную, он взглянул в зеркало: есть нос! Потом поехал он к другому коллежскому асессору, или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что ни есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаньями: стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, наби-

вал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам, бабьё, куриный народ! а на дочке все-таки не женюсь. Так просто, *par amour*[156], - изволь!» И майор Ковалев с тех пор прогуливался как ни в чем не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже как ни в чем не бывало сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена.

Вот такая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника, — как Ковалев не смекнул, что нельзя

через газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже — как нос очутился в печеном хлебе и как сам Иван Яковлевич?.. нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего, — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это...

А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают.

Портрет

Часть I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукинском дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтри-

са Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей — куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризowych шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренне смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Ерусланов Лазаревичей*, на *объедал* и *обпивал*, на *Фому* и *Ерему*, это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей

бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобвыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже наконец не думая вовсе о них, а между тем, хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, не бритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно.

— Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима! — Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно что-

бы показать всю доброту зимы. — Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку.

— Постой, брат, не так скоро, — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал:

— А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь, — и, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, — словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.

Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, приняв обычное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку: «Сюда, батюшка, вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупро­тив его также у дверей своей лавочки, и, наконец вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отпра­вился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.

Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движе­ния и отзывались не северною силою. Пла­менный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский ко­стюм. Как ни был поврежден и запылен порт-

рет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна.

Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», — и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

— А что ж, возьмите портрет! — сказал хозяин.

— А сколько? — сказал художник.

— Да что за перо дорожитья? три четвертачка давайте!

— Нет.

— Ну, да что ж дадите?

— Двугривенный, — сказал художник, го-

говясь идти.

— Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только что первый покупатель.

Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней за-

ри оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон!» — и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг.

Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в Пятнадцатую линию на Васильевский остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались наконец позади его шаги парня в синей рубашке, его приспешника, натурщика, краскотерцика и выметателя полов, пачкавшего их тут же

своими сапогами. Парень назывался Никитой и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе не заметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожей, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлег-

шись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он наконец спросил свечу.

— Свечи нет, — сказал Никита.

— Как нет?

— Да ведь и вчера еще не было, — сказал Никита. Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

— Да вот еще, хозяин был, — сказал Никита.

— Ну, приходил за деньгами? знаю, — сказал художник, махнув рукой.

— Да он не один приходил, — сказал Никита.

— С кем же?

— Не знаю, с кем... какой-то квартальный.

— А квартальный зачем?

— Не знаю зачем; говорит, затем, что за квартиру не плачено.

— Ну, что ж из того выйдет? — Я не знаю, что выйдет; он говорил: коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

— Пусть их приходят, — сказал с грустным

равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, гибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, — говорил ему не раз его профессор, — у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится — ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском... Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не

развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть — словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренне не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосыгаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает моло-

дость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванию, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

— Да! терпи, терпи! — произнес он с досадою. — Есть же наконец и терпению конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду отдавать? Взаимы ведь никто не даст. А понеси я

продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята не даром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки — и все будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? да и кому нужны рисунки с антиков из натурального класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что, в самом деле? Зачем я мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатыр-

ское храпенье; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Обмакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные

в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? — невольно вопрошал себя художник. — Ведь это, однако же, натура, это живая натура; отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постиг-

нуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Он опять подошел к портрету, с тем чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неиз-

вестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не смотреть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительно вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое смотреть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схва-

тил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего.

Сделавши это, он лег в постель покоее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но наконец уже в самом деле... он видит, видит ясно: простыни уже нет... портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь... У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С заняв-

шимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть — и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевелиться, сделать какое-нибудь движение — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе, и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено: «1000 червонных». Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в ко-

стистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полным страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянув на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он слышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг слышал, что шаги вновь приближаются к ширмам, — видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всю силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул — и проснулся.

Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться; грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши

себя обеими руками за голову; но страшная живость явления не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон: черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать... С воплем отчаянья отскочил он — и проснулся.

«Неужели и это был сон?» С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели в таком точно положении, как заснул. Пред ним ширмы; свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, — так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это!» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся.

И это был также сон! Он вскочил с постели полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давление ли кошмара или домового, бред ли горячки или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волнение и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к ок-

ну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара; голова его неприятно болела.

В комнате было тускло; неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что

приняться, что делать, и вспомнил наконец весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображение так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его почувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что, если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.

«Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнув, и в воображение его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: «1000 червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянии оторваться от такого предмета, — как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владельцы домов где-нибудь в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны, — творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и

крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп; но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задибался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать; одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич, — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки, — вот не платит за квартиру, не платит.

— Что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу.

— Мне, батюшка, ждать нельзя, — сказал

хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке, — у меня вот Потогонкин, подполковник, живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай, и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека, — вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

— Да, уж если порядились, так извольте платить, — сказал квартальный надзиратель, с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

— Да чем платить? — вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

— В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича изделиями своей профессии, — сказал квартальный, — он, может быть, согласится взять картинами.

— Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика на-

рисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, извольте сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна... Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи Бог.

И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриваньем картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

— Хе, — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, — предмет, того... игривый. А у этого зачем так под носом черно? табаком, что ли, он себе засыпал?

— Тень, — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

— Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место, — сказал квартальный, — а это чей портрет? — продолжал он, подходя к портрету старика, — уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит! Эх, какой Громобой! С кого вы писали?

— А это с одного... — сказал Чартков и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: «1000 червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

— Никак, деньги зазвенели, — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидеть его за быстротой

движенья, с какою бросился Чартков при-
братъ.

— А вам какое дело знать, что у меня есть?

— А такое дело, что вы сейчас должны за-
платить хозяину за квартиру; что у вас есть
деньги, да вы не хотите платить, — вот что.

— Ну, я заплачу ему сегодня.

— Ну, а зачем же вы не хотели заплатить
прежде, да доставляете беспокойство хозяину,
да вот и полицию тоже тревожите?

— Потому что этих денег мне не хотелось
трогать; я ему сегодня же ввечеру все заплачу
и съеду с квартиры завтра же, потому что не
хочу оставаться у такого хозяина.

— Ну, Иван Иванович, он вам заплатит, —
сказал квартальный, обращаясь к хозяину. —
А если насчет того, что вы не будете удовле-
творены как следует сегодня ввечеру, тогда
уж извините, господин живописец.

Сказавши это, он надел свою треугольную
шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, дер-
жа вниз голову и, как казалось, в каком-то
раздумье.

— Слава Богу, черт их унес! — сказал Чарт-
ков, когда услышал затворившуюся в перед-

ней дверь.

Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и все еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящичками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: «Не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета?» Полный романтического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою: не связано ли существование порт-

рета с его собственным существованием, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз; они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякий раз невольное неприятное чувство. «Нет, — сказал он сам в себе, — чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. «Что с ними сделать? — думал он, уставив на них глаза. — Теперь я обеспечен, по крайней мере, на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержание, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не ста-

нет; куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформирую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником».

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но извнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем двадцать два года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилося ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее, — и он, схвативши деньги, был уже на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестранно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском про-

спекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более, нежели было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфетов в кондитерской и зашел к ресторану-французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, навдя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем.

Все вещи и все, что ни было: станок, холст,

картины — были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже — забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желание непреодолимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился невесть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: «*О необыкновенных талантах Чарткова*»: «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным,

можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж — всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кухне, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести ки-

сти. Хвала вам, художник! вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградой».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно — это было для него новостью; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству — честь, доньше ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался коло-

кольчик у дверей его; он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее.

— Вы мсьё Чартков? — сказала дама. Художник поклонился.

— Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. — Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. — А где же ваши портреты?

— Вынесли, — сказал художник, несколько смешавшись, — я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге... не доехали.

— Вы были в Италии? — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навестить его.

— Нет, я не был, но хотел быть... впрочем, теперь покамест я отложил... Вот кресла-с, вы устали?..

— Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон наконец вижу вашу работу! — сказала дама, побежала к супротивной стене и наводя

лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. — *C'est charmant! Lise, Lise, venez ici!*[157] Комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, — видишь, как пыль нарисована! *C'est charmant!* А вон на другом холсте женщина, моющая лицо, — *quelle jolie figure!*[158] Ах, мужичок! *Lise, Lise,* мужичок в русской рубашке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

— О, это вздор... Так, шалил... этюды...

— Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль... ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?

— Кто этот Ноль? — спросил художник.

— Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал

с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.

— Как же, я готов сию минуту.

И в одно мгновение придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с

строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

— Знаете ли, — сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, — я бы хотела... на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли; я бы хотела, чтобы она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща... чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств... простоты, простоты чтобы было больше.

Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми.

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали — и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею,

он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

— Довольно, на первый раз довольно, — сказала дама.

— Еще немножко, — говорил позабывшийся художник.

— Нет, пора! Lise, три часа! — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула: — Ах, как поздно!

— Минуточку только, — говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того

просидеть в другой раз доле.

«Это, однако ж, досадно, — подумал про себя Чартков, — рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте — пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул, и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к

нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготавливался и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в

кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. «Ах, зачем это? это не нужно, — говорила дама. — У вас тоже... вот, в некоторых местах... как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской», — сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо пора-

жает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивление, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную го-

ловку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Сломленные им черты, оттенки и тоны здесь лежали в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со

станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

— Lise, Lise! Ах, как похоже! *Superbe, superbe!*[159] Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестьясь и потупя голову, он произнес тихо:

— Это Психея.

— В виде Психеи? *C'est charmant!* — сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь. — Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? *Quelle idee delicieuse!*[160] Но какая работа! Это Корредж. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.

Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать? — подумал художник. — Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется», — и произнес вслух:

— Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

— Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не... она так теперь похожа.

Но художник понял, что опасения были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по справедливости, ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали наконец выходить яснее из облика Психеи.

— Довольно! — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконец уже чересчур близко.

Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатием руки, приглашением на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. По-

следнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но, на беду, это все был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету, — стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Охватывать одно только целое, одно общее выражение и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изоб-

ражались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъясны и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться.

И вследствие этого, садясь писать, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумление художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался наконец в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими

словами было написано: «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требованья: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положение и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обще-

ству, что нужно поддержать его звание, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хо-

рошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут, натурально, невольным образом доходило дело и до себя.

— Нет, я не понимаю, — говорил он, — напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по несколько месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, — этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я... я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уж ремесло, а не художество.

Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав,

как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il y quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!»[161]

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался, как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и, будто бы ненарочно, показывал его знакомым и приятелями, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положение и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он ста-

рался сыграть роль светского человека, — все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они все еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в

человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры steepности ума и лет; стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные:

«почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, — не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятия молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновенья свыше нет, и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все, дышащее поры-

вом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновение красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадает в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они дви-

жущимися каменными гробами с мертвецом внутри наместо сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствованного там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своею, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, — в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в не развлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника сво-

им скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердились ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с теми великими учителями и чтобы не прочесть в их созданных безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая из всего только то, что было в нем прекрасно, и наконец оставил себе в учителя одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял наконец себе настольною книгой одну только «Илиаду» Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет ничего, что бы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею создания,

могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиономию знатока и приблизился к картине; но, Боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила создання, уже заключенная в душе самого художника. Послед-

ний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объаты все, вперившие глаза на картину, — ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все

дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что; видно, что хотел он выразить что-то; однако же, что касается до главного...» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто моло-

дость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя брошенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длин-

ную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. До сада его проникла. Он велел вынести прочь из своей мастерской все последние произведения, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял непреодолимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

«Но точно ли был у меня талант? — сказал

он наконец, — не обманулся ли я?» И, произнеши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке на уединенном Васильевском острове, вдали людей, изобилия и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представлять в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да, — проговорил он отчаянно, — у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы...»

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный порт-

рет, был причиной его превращения, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побуждения, погубившие его талант, — почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту ж минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волнение оттого не умирилось: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться; ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду; ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполне-

ние. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслаждения. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова

и вечного порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточно отравить потом весь день.

К счастью мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жесточая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперив-

шими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользоваться и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

Часть II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного

из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самую пеструю толпой посетителей, налетевших, как хищные птицы на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и выраженья лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то, что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами снести

пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, навязываемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец, те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владельца, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными

лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты — все было навалено, и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелью и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатления.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль», — не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших

сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был ресторирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лица; но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли вниманье почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили невероятную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретения. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:

— Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет.

Слова эти вмиг обратили на него внима-

ние всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.

— Как ни странным вам покажутся слова мои, — продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, — но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяют, что портрет есть тот самый, которого я ищу.

Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготавливаясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.

— Вам известна та часть города, которую

называют Коломною. — Так он начал. — Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, — людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных совет-

ников, отставных питомцев Марса с выколоченным глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофею поутру. Вдовы, получающие пенсией, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и

капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда мило-видное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслаждения. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеют из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи — таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный оса-

док человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние.

Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам; и тогда поселяются между ними особого рода ростовщичество, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщичество бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один... но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться.

Итак, между ростовщиками был один — существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависнувшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение, вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, — с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон кото-

рых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих — это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи — это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны.

Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых годах на государственном поприще, жаркий почита-

тель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и наконец расстроился. Но, полный великодушного движения, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и наконец обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда, на беду, случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием

ем для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал наконец подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть наконец престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движения души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных поли-

тических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волнение и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды — все соединилось вместе, и в припадках

страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.

Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слиянье нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом, и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандисон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положение дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на

время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и спустя непродолжительное время является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог, наверно, изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал ти-

раном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движении неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя — и в ужаснейших муках окончил жизнь.

Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род ка-

кого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волосы и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки... словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерную высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы

невольню приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды — все, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: «Дьявол, совершенный дьявол!» Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории.

Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною

только указанною из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники чествят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы, и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой истинное значение слова «историческая живопись»; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет *tableau de genre*[162] несмотря на все притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, по-

крытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывающийся о людях вместе и снисходительно и резко. «Что на них глядеть, — обыкновенно говорил он, — ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймет меня — поблагодарит, не поймет — все-таки помолится Богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картинах, знает толк в хорошем вине, в лошадях, — зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне, уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художни-

ку; веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выражение, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то — на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола». Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь, и вслед за тем прямо вошел и нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутрен-

ней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

— Ты художник? — сказал он без всяких церемоний моему отцу.

— Художник, — сказал отец в недоуменье, ожидая, что будет далее.

— Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?

Отец мой подумал: «Чего лучше? — он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые странными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, — все это произвело на него странное впечатление. Окна, как нарочно, были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» — сказал он про

себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещение. «Экая сила! — повторил он про себя. — Если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов; они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» — повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальной точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну... Но как только начал он входить и углубляться в них ки-

стью, в душе его возродилось такое странное отвращенье, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти и палитру и бросился опрометью вон из комнаты.

Мысль о том тревожила его весь день и

всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Вечеру того же дни узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал беспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к довершению досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет,

не дам же молокососу восторжествовать! — говорил он. — Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь». И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился наконец того, что на картину объявлен был конкурс, и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть.

Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника, точно, есть много таланта, — сказал он, — но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в ис-

тине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был, к неописанной своей досаде, услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движении застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не наносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

— Что ты делаешь, что собираешься жечь? — сказал он и подошел к портрету. — Помилуй, это одно из самых лучших твоих

произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.

— А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне, — сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.

— Остановись, ради Бога! — сказал приятель, удержав его, — отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес:

— Нет, это Бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демон-

ское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней.

Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался сколько мог загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:

— Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное... Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит нечистая сила...

— Как? — сказал отец мой.

— А так, что с тех пор как повесил я к себе

его в комнату, почувствовал тоску такую... точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие... я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое: точно домовый тебя душит, и все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта!

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и наконец спросил:

— И портрет теперь у твоего племянника?

— Куда у племянника! не выдержал, — сказал весельчак, — знать, душа самого ростов-

щика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате; и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.

Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и наконец совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бевольские побуждения, свращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастья, три внезапные смерти — жены, дочери и малолетнего сына — почел он небесною казнию себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там строгостью жизни, неусып-

ным соблюдением всех монастырских правил он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостойн взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение

нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было, точно, чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство Божественного смирения и кротости в лице Пречистой Матери, склонившейся над Младенцем, глубокий разум в очах Божественного Младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных Божественным Чадом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, — все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое. Вся братья поверглась на колена пред

новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословенье небес почило на труде твоём».

В это время окончил я свое ученье в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию — лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько слышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти Божественный старец! И следов измождения не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же

серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой со- брат сделал то же.

— Я ждал тебя, сын мой, — сказал он, когда я подошел к его благословенью. — Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар Бога — не погуби его. Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори всё кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья.

Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное

уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о Божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, — во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое создание искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты...

Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако.

— Есть одно происшествие в моей жизни, — сказал он. — Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, — не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассеивает томительные впечатленья, зарождаая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя Всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот

чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызгнута одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна.

Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах.

— Исполни, сын мой, одну мою просьбу, — сказал он мне уже при самом расставанье. — Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению, — во что бы то ни было истреби его...

Вы можете судить сами, мог ли я не обе-

щать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случилось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь, на аукционе...

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем слышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманием слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

Шинель

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем *одним департаментом*. Итак, *в одном департаменте служил один чиновник*; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват,

несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Ака-

кий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переверотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он на-

зываются, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько не менялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то хо-

лодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И

что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменялось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выразалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в

том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжеватого-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длиною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не

обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того пронизательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось,

он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло после департаментского скрыпенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неутомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или

иной вещицей, стоившей многих жертво-
ваний, отказов от обедов, гуляний, — словом,
даже в то время, когда все чиновники рассеи-
ваются по маленьким квартиркам своих при-
ятелей поиграть в штурмовой вист, прихле-
бывая чай из стаканов с копеечными сухаря-
ми, затягиваясь дымом из длинных чубуков,
рассказывая во время сдачи какую-нибудь
сплетню, занесшуюся из высшего общества,
от которого никогда и ни в каком состоянии
не может отказаться русский человек, или да-
же, когда не о чем говорить, пересказывая
вечный анекдот о коменданте, которому при-
шли сказать, что подрублен хвост у лошади
Фальконетова монумента, — словом, даже то-
гда, когда все стремится развлечься, — Ака-
кий Акакиевич не предавался никакому раз-
влечению. Никто не мог сказать, чтобы ко-
гда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере.
Написавшись всласть, он ложился спать, улы-
баясь заранее при мысли о завтрашнем дне:
что-то Бог пошлет переписывать завтра? Так
протекала мирная жизнь человека, который
с четырьмястами жалованья умел быть до-
вольным своим жребием, и дотекла бы, мо-

жет быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб, и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким обра-

зом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка; сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом все более и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу,

портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, — разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то, нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям, и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что

у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обы-

чаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, варварка; уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут,

несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на пятый двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил:

— Здравствуй, Петрович!

— Здравствовать желаю, судырь, — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

— А я вот к тебе, Петрович, того...

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предложениями, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, право, совершенно того...» — а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.

— Что ж такое? — сказал Петрович и посмотрел в то же время своим единственным

глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей, — что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных: это первое, что он сделает при встрече.

— А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того... на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и все. И работы немного...

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четверугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь пока-

чал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и наконец сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!

У Акакия Акакиевича при этих словах екнуло сердце.

— Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка, — ведь только всего что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...

— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, — сказал Петрович, — да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.

— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.

— Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, поддержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится.

— Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..

— Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому

что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки.

— Как же новую? — сказал он, все еще как будто находясь во сне, — ведь у меня и денег на это нет.

— Да, новую, — сказал с варварским спокойствием Петрович.

— Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...

— То есть что будет стоить?

— Да.

— Да три полсотни с лишком надо будет приложить, — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после

таких слов.

— Полтораста рублей за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич, вскрикнул, может быть, в первый раз от роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

— Да-с, — сказал Петрович, — да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу да пустить капишон на шелковой подкладке, так и в двести войдет.

— Петрович, пожалуйста, — говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов, — как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.

— Да нет, это выйдет: и работу убивать, и деньги попусту тратить, — сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный.

А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. «Этаково-то дело этокое, — гово-

рил он сам себе, — я, право, и не думал, чтобы оно вышло того... — а потом, после некоторого молчания, прибавил: — Так вот как! наконец вот что вышло, а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак». Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: «Так этак-то! вот какое уж, точно, никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!» Сказавши это, он, вместо того чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал

разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле, самом сердечном и близком. «Ну нет, — сказал Акакий Акакиевич, — теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того... жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее и шинель тогда и того...» Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. «Нельзя, — сказал, — извольте заказать новую». Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек. «Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здоро-

вье, сказал Петрович, — а уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим».

Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: «Уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под апплике».

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же, в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уж размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слогe, — словом, все деньги совершенно должны были разойтись; и если бы даже ди-

ректор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать; однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он

ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и, таким образом, в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занасивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то при-

выключь и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «ух!» и перекрестился.

В продолжение каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей; уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще какие-нибудь два-три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петро-

вич сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно

крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плечá Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так толь-

ко, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не заметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в

особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь покрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знает даже с низшими себя, сказал: «Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники, на-

турально, тут же поздравили помощника столначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрез то случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравнения, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плечá шинель и вы-

шел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и всё, что ни есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, — стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками, — напротив, все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич

глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе не знакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну, уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того...» А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать все, что он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на

лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий

Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его, и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более что уж давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора до-

мой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плечи и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись пе-

ред ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные дома, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видимыми на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом

какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забило в груди. «А ведь шинель-то моя!» — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, при молвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка поленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит,

как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, опреде-

лилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела, и что такое случилось. Так что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого

писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же, многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отдела-

ния, который был приятелем сочинителю, — итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он поспел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к *одному значительному лицу*, что *значительное лицо*, спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к *значительному лицу*. Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется та-

кой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже, таким образом, доходило дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капелдинеров с красными воротниками, в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в «комнате присутствия» насилу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи

значительного лица были солидны и величественны, но не многосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и строгость», — говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе; завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с равными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отно-

шениях даже не глупый человек; но как только случилось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно, и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакиевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем дет-

ства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник. — «А! может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепывая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович» — «Этак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник; ска-

жите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заране у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамильярным.

— Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать

просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне...

— Но, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, — я, ваше превосходительство, осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ...

— Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было за семьдесят лет.

— Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимае-

те ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.

Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с

тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распе-канье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодуш-ному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сде-лать, как только прописать припарку, един-ственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медици-ны; а впрочем, тут же объявил ему чрез пол-тора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матуш-ка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что ду-бовый будет для него дорог». Слышал ли Ака-кий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожа-лел ли он о горемычной своей жизни, — ни-

чего это не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват ваше превосходительство!» — то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за слогом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комна-

ты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, Бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обру-

шивалось на царей и повелителей мира... Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос «почему?» выразился словами: «Да так, уж он умер, четвертого дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом ста-

ценной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы — словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на поку-

шении сдернуть фризую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку примороженный нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своею дорогою!» — и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили *одно значительное лицо*, который, по-на-

стоящему, едва ли не был причиною фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо* скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то, что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на

вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что всего лучше — все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен — словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и милостивая шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: «bonjour, papa»[163]. Супруга его, еще

женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переверотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: «К Каролине Ивановне», — а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторял вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как и прежде, а пото-

му не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг Бог знает откуда и неведь от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, — отдавай же теперь свою!» Бедное *значительное лицо* чуть не умер. Как ни был он

характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: «У, какой характер!» — но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался как стрела. Минут в шесть с небольшим значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том,

что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеее, понимаете ли, кто перед вами?»; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на та-

бак, — итак, будучи бессилён, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», — да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

Коляска

Городок Б. очень повеселел, когда начал в нем стоять *** кавалерийский полк. А до того времени было в нем страх скучно. Когда, бывало, проезжаешь его и взглянешь на низенькие мазанные домики, которые смотрят на улицу до невероятности кисло, то... невозможно выразить, что делается тогда на сердце: тоска такая, как будто бы или проигрался, или отпустил некстати какую-нибудь глупость, — одним словом: нехорошо. Глина на них обвалилась от дождя, и стены вместо бе-

лых сделались пегими; крыши большею частью крыты тростником, как обыкновенно бывает в южных городах наших; садики, для лучшего вида, городничий давно приказал вырубить. На улицах ни души не встретишь, разве только петух перейдет чрез мостовую, мягкую, как подушка, от лежащей на четверть пыли, которая при малейшем дожде превращается в грязь, и тогда улицы городка Б. наполняются теми дородными животными, которых тамошний городничий называет французами. Выставив серьёзные морды из своих ванн, они поднимают такое хрюканье, что проезжающему остается только погонять лошадей поскорее. Впрочем, проезжающего трудно встретить в городке Б. Редко, очень редко какой-нибудь помещик, имеющий одиннадцать душ крестьян, в нанковом сюртуке, тарбанит по мостовой в какой-то полубричке и полутележке, выглядывая из мучных наваленных мешков и пристегивая гнедую кобылу, вслед за которою бежит жеребенок. Самая рыночная площадь имеет несколько печальный вид: дом портного выходит чрезвычайно глупо не всем фасадом, но

углом; против него строится лет пятнадцать какое-то каменное строение о двух окнах; далее стоит сам по себе модный дощатый забор, выкрашенный серою краскою под цвет грязи, который, на образец другим строениям, воздвиг городничий во время своей молодости, когда не имел еще обыкновения спать тотчас после обеда и пить на ночь какой-то декокт, заправленный сухим крыжовником. В других местах всё почти плетень; посреди площади самые маленькие лавочки; в них всегда можно заметить связку баранков, бабу в красном платке, пуд мыла, несколько фунтов горького миндаля, дробь для стрельяния, демикотон и двух купеческих приказчиков, во всякое время играющих около дверей в свайку. Но как начал стоять в уездном городке Б. кавалерийский полк, всё переменилось. Улицы запестрели, оживились — словом, приняли совершенно другой вид. Низенькие домики часто видели проходящего мимо ловкого, статного офицера с султаном на голове, шедшего к товарищу поговорить о производстве, об отличнейшем табаке, а иногда поставить на карточку дрожжи, которые можно было назвать

полковыми, потому что они, не выходя из полку, успевали обходить всех: сегодня катался в них майор, завтра они появлялись в поручиковой конюшне, а чрез неделю, смотри, опять майорский денщик подмазывал их салом. Деревянный плетень между домами весь был усеян висевшими на солнце солдатскими фуражками; серая шинель торчала непременно где-нибудь на воротах; в переулках попадались солдаты с такими жесткими усами, как сапожные щетки. Усы эти были видны во всех местах. Соберутся ли на рынке с ковшиками мещанки, из-за плеч их, верно, выглядывают усы. На лобном месте солдат с усами, уж верно, мылил бороду какому-нибудь деревенскому пентюху, который только покряхтывал, выпуча глаза вверх. Офицеры оживили общество, которое до того времени состояло только из судьи, жившего в одном доме с какою-то диаконицею, и городничего, рассудительного человека, но спавшего решительно весь день: от обеда до вечера и от вечера до обеда. Общество сделалось еще многолюднее и занимательнее, когда переведена была сюда квартира бригадного генерала. Окруж-

ные помещики, о которых существовании никто бы до того времени не догадался, начали приезжать почаще в уездный городок, чтобы видеться с господами офицерами, а иногда поиграть в банчик, который уже чрезвычайно темно грезился в голове их, захлопотанной посевами, жениными поручениями и зайцами. Очень жаль, что не могу припомнить, по какому обстоятельству случилось бригадному генералу давать большой обед; заготовление к нему было сделано огромное: стук поваренных ножей на генеральской кухне был слышен еще близ городской заставы. Весь рынок был забран совершенно для обеда, так что судья с своею диаконицею должен был есть одни только лепешки из гречневой муки да крахмальный кисель. Небольшой дворик генеральской квартиры был весь уставлен дрожками и колясками. Общество состояло из мужчин: офицеров и некоторых окружных помещиков. Из помещиков более всех был замечателен Пифагор Пифагорович Чертокуцкий, один из главных аристократов Б... уезда, более всех шумевший на выборах и приезжавший туда в щегольском экипаже. Он слу-

жил прежде в одном из кавалерийских полков и был один из числа значительных и видных офицеров. По крайней мере его видали на многих балах и собраниях, где только кочевал их полк; впрочем, об этом можно спросить у девиц Тамбовской и Симбирской губерний. Весьма может быть, что он распустил бы и в прочих губерниях выгодную для себя славу, если бы не вышел в отставку по одному случаю, который обыкновенно называется неприятною историею: он ли дал кому-то в старые годы оплеуху, или ему дали ее, об этом наверно не помню, дело только в том, что его попросили выдти в отставку. Впрочем, он этим ничуть не уронил своего весу: носил фрак с высокою талией на манер военного мундира, на сапогах шпоры и под носом усы, потому что без того дворяне могли бы подумать, что он служил в пехоте, которую он презрительно называл иногда пехтурой, а иногда пехонтарией. Он бывал на всех многолюдных ярмарках, куда внутренность России, состоящая из мамок, детей, дочек и толстых помещиков, наезжала веселиться бричками, таратайками, тарантасами и такими карета-

ми, какие и во сне никому не снились. Он пронюхивал носом, где стоял кавалерийский полк, и всегда приезжал видеться с господами офицерами. Очень ловко соскакивал перед ними с своей легонькой колясочки или дрожек и чрезвычайно скоро знакомился. В прошлые выборы дал он дворянству прекрасный обед, на котором объявил, что если только его выберут предводителем, то он поставит дворян на самую лучшую ногу. Вообще вел себя по-барски, как выражаются в уездах и губерниях, женился на довольно хорошенькой, взял за нею двести душ приданого и несколько тысяч капитала. Капитал был тотчас употреблен на шестерку действительно отличных лошадей, вызолоченные замки к дверям, ручную обезьяну для дома и французского дворецкого. Двести же душ вместе с двумястами его собственных были заложены в ломбард для каких-то коммерческих оборотов. Словом, он был помещик как следует... Изрядный помещик. Кроме него, на обеде у генерала было несколько и других помещиков, но об них нечего говорить. Остальные были все военные того же полка и два штаб-офицера:

полковник и довольно толстый майор. Сам генерал был дюж и тучен, впрочем хороший начальник, как отзывались о нем офицеры. Говорил он довольно густым, значительным басом. Обед был чрезвычайный: осетрина, белуга, стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы доказывали, что повар еще со вчерашнего дня не брал в рот горячего, и четыре солдата с ножами в руках работали на помощь ему всю ночь *фрикасеи* и *желеи*. Бездна бутылок, длинных с лафитом, короткошейных с мадерою, прекрасный летний день, окна, открытые напролет, тарелки со льдом на столе, отстегнутая последняя пуговица у господ офицеров, растрепанная манишка у владельцев укладистого фрака, перекрестный разговор, покрываемый генеральским голосом и заливаемый шампанским, — всё отвечало одно другому. После обеда все встали с приятною тяжестью в желудках и, закурив трубки с длинными и короткими чубуками, вышли с чашками кофию в руках на крыльцо.

У генерала, полковника и даже майора мундиры были вовсе расстегнуты, так что

видны были слегка благородные подтяжки из шелковой материи, но господа офицеры, сохраняя должное уважение, пребыли с застегнутыми, выключая трех последних пуговиц.

— Вот ее можно теперь посмотреть, — сказал генерал. — Пожалуйста, любезнейший, — примолвил он, обращаясь к своему адъютанту, довольно ловкому молодому человеку приятной наружности, — прикажи, чтобы привели сюда гнедую кобылу! Вот вы увидите сами. — Тут генерал потянул из трубки и выпустил дым. — Она еще не слишком в холе: проклятый городишко, нет порядочной конюшни. Лошадь, пуф, пуф, очень порядочная!

— И давно, ваше превосходительство, пуф, пуф, изволите иметь ее? — сказал Чертокуцкий.

— Пуф, пуф, пуф, пу... пуф, не так давно. Всего только два года, как она взята мною с завода!

— И получить ее изволили объезженную или уже здесь изволили объездить?

— Пуф, пуф, пу, пу, пу... у... у... ф, здесь, — сказавши это, генерал весь исчезнул в дыме.

Между тем из конюшни выпрыгнул сол-

дат, послышался стук копыт, наконец показался другой, в белом балахоне, с черными огромными усами, ведя за узду вздрагивавшую и пугавшуюся лошадь, которая, вдруг подняв голову, чуть не подняла вверх присевшего к земле солдата вместе с его усами. «Ну ж, ну! Аграфена Ивановна!» — говорил он, подводя ее под крыльцо.

Кобыла называлась Аграфена Ивановна; крепкая и дикая, как южная красавица, она грянула копытами в деревянное крыльцо и вдруг остановилась.

Генерал, опустивши трубку, начал смотреть с довольным видом на Аграфену Ивановну. Сам полковник, сошедши с крыльца, взял Аграфену Ивановну за морду. Сам майор потрепал Аграфену Ивановну по ноге, прочие пощелкали языком.

Чертокуцкий сошел с крыльца и зашел ей в зад. Солдат, вытянувшись и держа узду, глядел прямо посетителям в глаза, будто бы хотел вскочить в них.

— Очень, очень хорошая, — сказал Чертокуцкий, — статистая лошадь! А позвольте, ваше превосходительство, узнать, как она хо-

дит?

— Шаг у нее хорош; только... черт его знает... этот дурак фершел дал ей каких-то пилюль, и вот уже два дня всё чихает.

— Очень, очень хороша. А имеете ли, ваше превосходительство, соответствующий экипаж?

— Экипаж?.. Да ведь это верховая лошадь.

— Я это знаю; но я спросил ваше превосходительство для того, чтобы узнать, имеете ли и к другим лошадям соответствующий экипаж.

— Ну, экипажей у меня не слишком достаточно. Мне, признаться вам сказать, давно хочется иметь нынешнюю коляску. Я писал об этом к брату моему, который теперь в Петербурге, да не знаю, пришлет ли он, или нет.

— Мне кажется, ваше превосходительство, — заметил полковник, — нет лучше коляски, как венская.

— Вы справедливо думаете, пуф, пуф, пуф.

— У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска настоящей венской работы.

— Какая? Та, в которой вы приехали?

— О нет. Это так, разъездная, собственно для моих поездок, но та... это удивительно, легка как перышко; а когда вы сядете в нее, то просто как бы, с позволения вашего превосходительства, нянька вас в люльке качала!

— Стало быть, покойна?

— Очень, очень покойна; подушки, рессоры — это всё как будто на картинке нарисовано.

— Это хорошо.

— А уж укладиста как! то есть я, ваше превосходительство, и не видывал еще такой. Когда я служил, то у меня в ящики помещалось десять бутылок рому и двадцать фунтов табаку; кроме того, со мною еще было около шести мундиров, белье и два чубука, ваше превосходительство, такие длинные, как, с позволения сказать, солитер, а в карманы можно целого быка поместить.

— Это хорошо.

— Я, ваше превосходительство, заплатил за нее четыре тысячи.

— Судя по цене, должна быть хороша; и вы купили ее сами?

— Нет, ваше превосходительство; она досталась по случаю. Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства, с которым бы вы сошлись совершенно; мы с ним — что твое, что мое, всё равно. Я выиграл ее у него в карты. Не угодно ли, ваше превосходительство, сделать мне честь пожаловать завтра ко мне отобедать, и коляску вместе посмотрите.

— Я не знаю, что вам на это сказать. Мне одному как-то... Разве уж позволите вместе с господами офицерами?

— И господ офицеров прошу покорнейше. Господа, я почту себе за большую честь иметь удовольствие видеть вас в своем доме!

Полковник, майор и прочие офицеры отблагодарили учтивым поклоном.

— Я, ваше превосходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую, а если дурную, то нечего и заводить. Вот у меня, когда сделаете мне честь завтра пожаловать, я покажу кое-какие статьи, которые я сам завел по хозяйственной части.

Генерал посмотрел и выпустил изо рта дым.

Чертокуцкий был чрезвычайно доволен, что пригласил к себе господ офицеров; он заранее заказывал в голове своей паштеты и соусы, посматривал очень весело на господ офицеров, которые также с своей стороны как-то удвоили к нему свое расположение, что было заметно из глаз их и небольших телодвижений вроде полупоклонов. Чертокуцкий выступал вперед как-то развязнее, и голос его принял расслабление: выражение голоса, обремененного удовольствием.

— Там, ваше превосходительство, познакомьтесь с хозяйкой дома.

— Мне очень приятно, — сказал генерал, поглаживая усы.

Чертокуцкий после этого хотел немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить всё к принятию гостей к завтрашнему обеду; он взял уже было и шляпу в руки, но как-то так странно случилось, что он остался еще на несколько времени. Между тем уже в комнате были расставлены ломберные столы. Скоро всё общество разделилось на четверные партии в вист и расселось в разных углах генеральских комнат.

Подали свечи. Чертокуцкий долго не знал, садиться или не садиться ему за вист. Но как господа офицеры начали приглашать, то ему показалось очень несогласно с правилами общежития отказаться. Он присел. Нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил. Сыгравши два роберта, Чертокуцкий опять нашел под рукою стакан с пуншем, который тоже, позабывшись, выпил, сказавши наперед: «Пора, господа, мне домой, право пора». Но опять присел и на вторую партию. Между тем разговор в разных углах комнаты принял совершенно частное направление. Играющие в вист были довольно молчаливы; но неигравшие, сидевшие на диванах в стороне, вели свой разговор. В одном углу штаб-ротмистр, подложивши себе под бок подушку, с трубкою в зубах, рассказывал довольно свободно и плавно любовные свои приключения и овладел совершенно вниманием собравшегося около него кружка. Один чрезвычайно толстый помещик с короткими руками, несколько похожими на два выросшие картофеля, слушал с необыкновенно сладкою ми-

ною и только по временам силился запустить коротенькую свою руку за широкую спину, чтобы вытащить оттуда табакерку. В другом углу завязался довольно жаркий спор о батальонном учении, и Чертокуцкий, который в это время уже вместо дамы два раза сбросил валета, вмешивался вдруг в чужой разговор и кричал из своего угла: «в котором году?», или: «какого полка?», не замечая, что иногда вопрос совершенно не приходился к делу. Наконец, за несколько минут до ужина, вист прекратился, но он продолжался еще на словах, и казалось, головы всех были полны вистом. Чертокуцкий очень помнил, что выиграл много, но руками не взял ничего и, вставши из-за стола, долго стоял в положении человека, у которого нет в кармане носового платка. Между тем подали ужин. Само собою разумеется, что в винах не было недостатка и что Чертокуцкий почти невольно должен был иногда наливать в стакан себе потому, что направо и налево стояли у него бутылки.

Разговор затянулся за столом предлинный, но, впрочем, как-то странно он был веден. Один помещик, служивший еще в кампанию

1812 года, рассказал такую баталию, какой никогда не было, и потом, совершенно неизвестно по каким причинам, взял пробку из графина и воткнул ее в пирожное. Словом, когда начали разъезжаться, то уже было три часа, и кучера должны были нескольких особ взять в охапку, как бы узелки с покупкою, и Чертокуцкий, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в коляске, так низко кланялся и с таким размахом головы, что, приехавши домой, привез в усах своих два репейника.

В доме всё совершенно спало; кучер едва мог сыскать камердинера, который проводил господина чрез гостиную, сдал горничной девушке, за которою кое-как Чертокуцкий добрался до спальни и уложился возле своей молоденькой и хорошенькой жены, лежавшей прелестнейшим образом, в белом, как снег, спальном платье. Движение, произведенное падением ее супруга на кровать, разбудило ее. Протянувшись, поднявши ресницы и три раза быстро зажмуривши глаза, она открыла их с полусердитою улыбкою; но, видя, что он решительно не хочет оказать на этот раз никакой ласки, с досады поворотилась на

другую сторону и, положив свежую свою щеку на руку, скоро после него заснула.

Было уже такое время, которое по деревням не называется *рано*, когда проснулась молодая хозяйка возле храпевшего супруга. Вспомнивши, что он возвратился вчера домой в четвертом часу ночи, она пожалела будить его и, надев спальные башмачки, которые супруг ее выписал из Петербурга, в белой кофточке, драпировавшейся на ней, как льющаяся вода, она вышла в свою уборную, умылась свежую, как сама, водою и подошла к туалету. Взглянувши на себя раза два, она увидела, что сегодня очень недурна. Это по видимому незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом ровно два часа лишних. Наконец она оделась очень мило и вышла освежиться в сад. Как нарочно, время было тогда прекрасное, каким может только похвалиться летний южный день. Солнце, вступивши на полдень, жарило всею силою лучей, но под темными густыми аллеями гулять было прохладно, и цветы, пригретые солнцем, утroyали свой запах. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о том, что уже

двенадцать часов и супруг ее спит. Уже доходило до слуха ее послеобеденное храпенье двух кучеров и одного форейтора, спавших в конюшне, находившейся за садом. Но она всё сидела в густой аллее, из которой был открыт вид на большую дорогу, и рассеянно глядела на безлюдную ее пустынность, как вдруг показавшаяся вдали пыль привлекла ее внимание. Всмотревшись, она скоро увидела несколько экипажей. Впереди ехала открытая двухместная легонькая колясочка; в ней сидел генерал с толстыми, блестящими на солнце эполетами и рядом с ним полковник. За ней следовала другая, четвероместная; в ней сидел майор с генеральским адъютантом и еще двумя насупротив сидевшими офицерами; за коляской следовали известные всем полковые дрожки, которыми владел на этот раз тучный майор; за дрожками четвероместный бонвояж, в котором сидели четыре офицера и пятый на руках; за бонвояжем рисовались три офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках.

«Неужели это к нам? — подумала хозяйка дома. — Ах, Боже мой! в самом деле они пово-

ротили на мост!» Она вскрикнула, всплеснула руками и побежала чрез клумбы и цветы прямо в спальню своего мужа. Он спал мертвецки.

— Вставай, вставай! вставай скорее! — кричала она, дергая его за руку.

— А? — проговорил, потягиваясь, Чертокуцкий, не раскрывая глаз.

— Вставай, пульпультик! слышишь ли? гости!

— Гости, какие гости? — сказавши это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордою сосцов своей матери. — Мм... — ворчал он, — протяни, моньмуня, свою шейку! я тебя поцелую.

— Душенька, вставай ради Бога, скорей. Генерал с офицерами! Ах, Боже мой, у тебя в усах репейник.

— Генерал? А, так он уже едет? Да что же это, черт возьми, меня никто не разбудил? А обед, что ж обед, всё ли там как следует готово?

— Какой обед?

— А я разве не заказывал?

— Ты? ты приехал в четыре часа ночи, и,

сколько я ни спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне. Я тебя, пульпультик, потому не будила, что мне жаль тебя стало: ты ничего не спал... — Последние слова сказала она чрезвычайно томным и умоляющим голосом.

Чертокуцкий, вытаращив глаза, минуту лежал на постеле как громом пораженный. Наконец вскочил он в одной рубашке с постели, позабывши, что это вовсе неприлично.

— Ах я лошадь! — сказал он, ударив себя по лбу. — Я звал их на обед. Что делать? далеко они?

— Я не знаю... они должны сию минуту уже быть.

— Душенька... спрячься!.. Эй, кто там! ты, девчонка! ступай, чего, дура, боишься? Приедут офицеры сию минуту. Ты скажи, что барина нет дома, скажи, что и не будет совсем, что еще с утра выехал, слышишь? И дворовым всем объяви, ступай скорее!

Сказавши это, он схватил наскоро халат и побежал спрятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасным. Но, ставши в углу сарая, он увидел, что и здесь можно было его как-нибудь уви-

деть. «А вот это будет лучше», — мелькнуло в его голове, и он в одну минуту отбросил ступени близ стоявшей коляски, вскочил туда, закрыл за собою дверцы, для большей безопасности закрылся фартуком и кожею и притих совершенно, согнувшись в своем халате.

Между тем экипажи подъехали к крыльцу.

Вышел генерал и встряхнулся, за ним полковник, поправляя руками султан на своей шляпе. Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа под мышкою саблю. Потом выпрыгнули из бонвояжа тоненькие подпоручики с сидевшим на руках прапорщиком, наконец сошли с седел рисовавшиеся на лошадях офицеры.

— Барина нет дома, — сказал, выходя на крыльцо, лакей.

— Как нет? стало быть, он, однако ж, будет к обеду?

— Никак нет. Они уехали на весь день. Завтра разве около этого только времени будут.

— Вот тебе на! — сказал генерал. — Как же это?..

— Признаюсь, это штука, — сказал полковник смеясь.

— Да нет, как же этак делать? — продолжал генерал с неудовольствием. — Фить... Черт... Ну, не можешь принять, зачем напрашиваться?

— Я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать, — сказал один молодой офицер.

— Что? — сказал генерал, имевший обыкновение всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорил с обер-офицером.

— Я говорил, ваше превосходительство: как можно поступать таким образом?

— Натурально... Ну, не случилось, что ли, — дай знать по крайней мере, или не проси.

— Что ж, ваше превосходительство, нечего делать, поедемте назад! — сказал полковник.

— Разумеется, другого средства нет. Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее не взял с собою. Эй, кто там, подойди, братец, сюда!

— Чего изволите?

— Ты конюх?

— Конюх, ваше превосходительство.

— Покажи-ка нам новую коляску, которую

недавно достал барин.

— А вот пожалуйста в сарай!

Генерал отправился вместе с офицерами в сарай.

— Вот извольте, я ее немного выкачу, здесь темненько.

— Довольно, довольно, хорошо!

Генерал и офицеры обошли вокруг коляску и тщательно осмотрели колеса и рессоры.

— Ну, ничего нет особенного, — сказал генерал, — коляска самая обыкновенная.

— Самая неказистая, — сказал полковник, — совершенно нет ничего хорошего.

— Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит четырех тысяч, — сказал один из молодых офицеров.

— Что?

— Я говорю, ваше превосходительство, что, мне кажется, она не стоит четырех тысяч.

— Какое четырех тысяч! она и двух не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное... Пожалуйста, любезный, отстегни кожу...

И глазам офицеров предстал Чертокуцкий, сидящий в халате и согнувшийся необычно-

венным образом.

— А, вы здесь!.. — сказал изумившийся генерал.

Сказавши это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокуцкого фартуком и уехал вместе с господами офицерами.

Записки сумасшедшего

Октября 3.

Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавши, что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит: «Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешься как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет, в титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера». Проклятая цапля! он, верно, завидует, что я сижу

в директорском кабинете и очиниваю перья для его превосходительства. Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видетсья с казначеем и авось-либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь из жалованья вперед. Вот еще создание! Чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги — господи боже мой, да скорее Страшный суд придет. Проси, хоть тресни, хоть будь в разнужде, — не выдаст, седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам. Это всему свету известно. Я не понимаю выгод служить в департаменте. Никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении, гражданских и казенных палатах совсем другое дело: там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фарфоровой вызолоченной чашки и не носи к нему: «Это», говорит, «докторский подарок»; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста. С виду такой тихенький, говорит так деликатно: «Одолжите ножичка починить перышко», — а там обчистит так,

что только одну рубашку оставит на просителе. Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению: столы из красного дерева, и все начальники на вы. Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент.

Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной дождик. На улицах не было никого; одни только бабы, накрывшись полами платья, да русские купцы под зонтиками, да курьеры попадались мне на глаза. Из благородных только наш брат чиновник попался мне. Я увидел его на перекрестке. Я, как увидел его, тотчас сказал себе: «Эге! нет, голубчик, ты не в департамент идешь, ты спешишь вон за тою, что бежит впереди, и глядишь на ее ножки». Что это за бестия наш брат чиновник! Ей-богу, не уступит никакому офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит. Когда я думал это, увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил. Я сейчас узнал ее: это была карета нашего директора. «Но ему незачем в магазин, — я подумал, — верно, это

его дочка». Я прижался к стенке. Лакей отворил дверцы, и она выпорхнула из кареты, как птичка. Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами... Господи, боже мой! пропал я, пропал совсем. И зачем ей выезжать в такую дождевую пору. Утверждай теперь, что у женщин не велика страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом; да и сукно совсем не дегатированное. Собачонка ее, не успевши вскочить в дверь магазина, осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут Меджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок: «Здравствуй, Меджи!» Вот тебе на! кто это говорит? Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам: одну старушку, другую молоденькую; но они уже прошли, а возле меня опять раздалось: «Грех тебе, Меджи!» Что за черт! я увидел, что Меджи обнюхивалась с собачонкою, шедшею за дамами. «Эге!»

сказал я сам себе: «да полно, не пьян ли я? Только это, кажется, со мною редко случается». — «Нет, Фидель, ты напрасно думаешь», — я видел сам, что произнесла Меджи: «я была, ав! ав! я была, ав, ав, ав! очень больна». Ах ты ж, собачонка! Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящею по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю. Но, признаюсь, я гораздо более удивился, когда Меджи сказала: «Я писала к тебе, Фидель; верно, Полкан не принес письма моего!» Да чтоб я не получил жалованья! Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крепостной народ дописывает иногда; но их

писание большею частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал. «Пойду-ка я», сказал я сам себе: «за этой собачонкою и узнаю, что она и что такое думает».

Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. «Этот дом я знаю», сказал я сам себе. «Это дом Зверкова». Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих! а нашей братьи чиновников — как собак, один на другом сидит. Там есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Дамы взошли в пятый этаж. «Хорошо», подумал я: «теперь не пойду, а замечу место и при первом случае не премину воспользоваться».

Октябрь 4.

Сегодня среда, и потому я был у нашего начальника в кабинете. Я нарочно пришел пораньше и, засевши, перечинил все перья. Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал название некоторых: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет: все или на французском, или на немецком. А посмотреть в лицо ему: фу, какая важность сияет в глазах! Я еще никогда не слышал, чтобы он сказал лишнее слово. Только разве, когда подашь бумаги, спросит: «Каково на дворе?» — «Сыро, ваше превосходительство!» Да, не нашему брату чета! Государственный человек. Я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если бы и дочка... эх, канальство!.. Ничего, ничего, молчание! Читал «Пчелку». Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? Взял бы, ей-богу, их всех, да и перепорол розгами! Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут. После этого заметил я, что уже било половину первого, а наш не выходил из своей спальни. Но около половины

второго случилось происшествие, которого никакое перо не опишет. Отворилась дверь, я думал, что директор, и вскочил со стула с бумагами; но это была она, она сама! Святители, как она была одета! платье на ней было белое, как лебедь: фу, какое пышное! а как глянула: солнце, ей-богу, солнце! Она поклонилась и сказала: «Папа здесь не было?» Ах, ай, ай! какой голос! Канарейка, право, канарейка! «Ваше превосходительство, — хотел я было сказать, — не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою». Да, черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: «Никак нет-с». Она поглядела на меня, на книги и уронила платок. Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа, однако ж удержался и достал платок. Святые, какой платок! тончайший, батистовый — амбра, совершенная амбра! так и дышит от него генеральством. Она поблагодарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись, и после этого ушла. Я еще час сидел, как вдруг пришел лакей и сказал: «Ступайте, Аксентий

Иванович, домой, барин уже уехал из дому». Я терпеть не могу лакейского круга: всегда развалится в передней, и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: один раз одна из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, потчевать табачком. Да знаешь ли ты, глупый холоп, что я чиновник, я благородного происхождения. Однако ж я взял шляпу и надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут, и вышел. Дома большую часть лежал на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки: «Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Лъзя ли жить мне, я сказал». Должно быть, Пушкина сочинение. Вечеру, закутавшись в шинель, ходил к подъезду ее превосходительства и поджидал долго, не выйдет ли сесть в карету, чтобы посмотреть еще разик, — но нет, не выходила.

Ноября 6.

Разбесил начальник отделения. Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал мне говорить так: «Ну, скажи, пожалуйста, что ты делаешь?» — «Как что? Я

ничего не делаю», отвечал я. «Ну, размысли хорошенько! ведь тебе уже за сорок лет — пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себе? Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Ведь ты волочишься за директорскою дочерью! Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? ведь ты нуль, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душою. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо, куды тебе думать о том!» Черт возьми, что у него лицо похоже несколько на аптекарский пузырек, да на голове клочок волос, завитый хохолком, да держит ее кверху, да примазывает ее какою-то розеткою, так уже думает, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего он злится на меня. Ему завидно; он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный советник! вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати рублей — да черт его побери! я разве из какие-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин. Что ж, и я могу дослужиться. Мне еще сорок два года — время та-

кое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба. Погоди, приятель! будем и мы полковником, а может быть, если бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведем и мы себе репутацию еще и получше твоей. Что ж ты себе забрал в голову, что, кроме тебя, уже нет вовсе порядочного человека? Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук, — тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет — вот беда.

Ноября 8.

Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на стряпчих, особенно на одного коллежского регистратора, весьма вольно написанные, так что я дивился, как пропустила цензура, а о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебошничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет: что они любят все бранить и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители. Я люб-

лю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане — никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи чиновников есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; разве уже дашь ему билет даром. Пела одна актриса очень хорошо. Я вспомнил о той... эх, канальство!.. ничего, ничего... молчание.

Ноября 9.

В восемь часов отправился в департамент. Начальник отделения показал такой вид, как будто бы он не заметил моего прихода. Я тоже с своей стороны, как будто бы между нами ничего не было. Пересматривал и сверял бумаги. Вышел в четыре часа. Проходил мимо директорской квартиры, но никого не было видно. После обеда большею частью лежал на кровати.

Ноября 11.

Сегодня сидел в кабинете нашего директора, спочинил для него двадцать три пера и для нее, ай! ай!.. для ее превосходительства четыре пера. Он очень любит, чтобы стояло поболь-

ше перьев. У! должен быть голова! Все молчит, а в голове, я думаю, все обсуживает. Желалось бы мне узнать, о чем он больше всего думает; что такое затевается в этой голове. Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки — как они, что они делают в своем кругу, — вот что бы мне хотелось узнать! Я думал несколько раз завести разговор с его превосходительством, только, черт возьми, никак не слушается язык: скажешь только, холодно или тепло на дворе, а больше решительно ничего не выговоришь. Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиною еще в одну комнату. Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и фарфоры! Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство, — вот куда хотелось бы мне! В будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что идохнуть на них страшно; как лежит там разбросанное ее платье, больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню... там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на

небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становится, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек... ай! ай! ай! ничего, ничего... молчание.

Сегодня, однако ж, меня как бы светом озарило: я вспомнил тот разговор двух собачонки, который слышал я на Невском проспекте. «Хорошо, — подумал я сам в себе, — я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянные собачонки. Там я, верно, кое-что узнаю». Признаюсь, я даже подозвал было к себе один раз Меджи и сказал: «Послушай, Меджи, вот мы теперь одни; я, когда хочешь, и дверь запру, так что никто не будет видеть, — расскажи мне все, что знаешь про барышню, что она и как? Я тебе побожусь, что никому не открою». Но хитрая собачонка поджала хвост, съежилась вдвое и вышла тихо в дверь так, как будто бы ничего не слышала. Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека; я даже был уверен, что она может говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политик: все замечает,

все шаги человека. Нет, во что бы то ни стало, я завтра же отправлюсь в дом Зверкова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Меджи.

Ноября 12.

В два часа пополудни отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской; к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться. Когда я пробрался в шестой этаж и зазвонил в колокольчик, вышла девчонка, не совсем дурная собою, с маленькими веснушками. Я узнал ее. Это была та самая, которая шла вместе со старушкой. Она немножко покраснелась, и я тотчас смекнул: ты, голубушка, жениха хочешь. «Что вам угодно?» сказала она. «Мне нужно поговорить с вашей собачонкой». Девчонка была глупа! я сейчас

узнал, что глупа! Собачонка в это время прибежала с лаем; я хотел ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за нос. Я увидал, однако же, в углу ее лукошко. Э, вот этого мне и нужно! Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и, к необыкновенному удовольствию своему, вытащил небольшую связку маленьких бумажек. Скверная собачонка, увидевши это, сначала укусила меня за икру, а потом, когда пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказал: «Нет, голубушка, прощай!» и бросился бежать. Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотел было тот же час приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свечах несколько дурно вижу. Но Мавра вздумала мыть пол. Эти глупые чухонки всегда некстати чистоплотны. И потому я пошел прохаживаться и обдумывать это происшествие. Теперь-то наконец я узнаю все дела, помышления, все эти пружины и доберусь наконец до всего. Эти письма мне все откроют. Собаки народ умный, они знают все политиче-

ские отношения, и потому, верно, там будет все: портрет и все дела этого мужа. Там будет что-нибудь и о той, которая... ничего, молчание! К вечеру я пришел домой. Большею частью лежал на кровати.

Ноября 13.

А ну, посмотрим: письмо довольно четкое. Однако же в почерке все есть как будто что-то собачье. Прочитаем:

Милая Фидель! я все не могу привыкнуть к твоему меццанскому имени. Как будто бы уже не могли дать тебе лучшего? Фидель, Роза — какой пошлый тон! однако ж все это в сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать друг к другу.

Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква ъ везде на своем месте. Да эдак просто не напишет и наш начальник отделения, хотя он и толкует, что где-то учился в университете. Посмотрим далее:

Мне кажется, что разделять мысли, чув-

ства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете.

Гм! мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Названия не припомню.

Я говорю это по опыту, хотя и не бегала по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии? Моя барышня, которую папа называет Софи, любит меня без памяти.

Ай, ай!.. ничего, ничего. Молчание!

Папа тоже очень часто ласкает. Я пью чай и кофей со сливками. Ах, та chere[164], я должна тебе сказать, что я вовсе не вижу удовольствия в больших обглоданных костях, которые жрет на кухне наш Полкан. Кости хорошо только из дичи, и притом тогда, когда еще никто не высосал из них мозга. Очень хорошо мешать несколько соусов вместе, но только без каперсов и без зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновения давать собакам скатан-

ные из хлеба шарики. Какой-нибудь сидящий за столом господин, который в руках своих держал всякую дрянь, начнет мять этими руками хлеб, подзовет тебя и сунет тебе в зубы шарик. Отказаться как-то неучтиво, ну и ешь; с отвращением, а ешь...

Чорт знает что такое! Экой вздор! Как будто бы не было предмета получше, о чем писать. Посмотрим на другой странице. Не будет ли чего поделнее.

Я с большою охотою готова тебя уведомлять о всех бывающих у нас происшествиях. Я уже тебе кое-что говорила о главном господине, которого Софи называет папа. Это очень странный человек.

А! вот наконец! Да, я знал: у них политический взгляд на все предметы. Посмотрим, что папа:

...очень странный человек. Он больше молчит. Говорит очень редко; но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою: «Полу-

чу или не получу?» Возьмет в одну руку бумажку, другую сложит пустую и говорит: «Получу или не получу?» Один раз он обратился и ко мне с вопросом: «Как ты думаешь, Меджи получу или не получу?» Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапог и ушла прочь. Потом, *ma chere*, через неделю папа пришел в большой радости. Все утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли. За столом он был так весел, как я еще никогда не видала, отпускал анекдоты, а после обеда поднял меня к своей шее и сказал: «А посмотри, Меджи, что это такое». Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата; наконец потихоньку лизнула: соленое немного.

Гм! Эта собачонка, мне кажется, уже слишком... чтобы ее не высекли! А! так он честолобец! Это нужно взять к сведению.

Прощай! *ma chere*! я бегу и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо. Ну, здравствуй! Я теперь снова с тобою. Сегодня барышня моя Софи...

А! ну, посмотрим, что Софи. Эх, канальство!.. Ничего, ничего... будем продолжать.

...барышня моя Софи была в чрезвычайной суматохе. Она собиралась на бал, и я обрадовалась, что в отсутствие ее могу писать к тебе. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ехать на бал, хотя при одевании всегда почти сердится. Я никак не понимаю, та *chere*, удовольствия ехать на бал. Софи приезжает с балу домой в шесть часов утра, и я всегда почти угадываю по ее бледному и тощему виду, что ей, бедняжке, не давали там есть. Я, признаюсь, никогда бы не могла так жить. Если бы мне не дали соуса с рябчиком или жаркого куриных крылышек, то... я не знаю, что бы со мною было. Хорош также соус с кашкою. А морковь, или репа, или артишоки никогда не будут хорошо...

Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. Посмотрим-ка еще в одно письмецо. Что-то длинновато. Гм! и

числа не выставлено.

Ах! милая, как ощутительно приближение весны. Сердце мое бьется, как будто все чего-то ожидает. В ушах у меня вечный шум, так что я часто, поднявши ножку, стою несколько минут, прислушиваясь к дверям. Я тебе открою, что у меня много куртизанов. Я часто, сидя на окне, рассматриваю их. Ах, если б ты знала, какие между ними есть уроды. Иной преаляповатый, дворняга, глуп страшно, на лице написана глупость, преважно идет по улице и воображает, что он презнатная особа, думает, что так на него и заглядятся все. Ничуть. Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается перед моим окном! Если бы он стал на задние лапы, чего, грубиян, он, верно, не умеет, — то он бы был целою головою выше папа моей Софи, который тоже довольно высокого роста и толст собою. Этот болван, должно быть, наглец преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало. Хотя бы поморщился! высунул свой язык, повесил огромные уши и глядит в окно — такой

мужик! Но неужели ты думаешь, та сhere, что сердце мое равнодушно ко всем исканиям, — ах нет... Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома, именем Трезора. Ах, та сhere, какая у него мордочка!

Тьфу, к чорту!.. Экая дрянь!.. И как можно наполнять письма эдакими глупостями. Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пици — той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вместо того эдакие пуствяки... перевернем через страницу, не будет ли лучше:

...Софи сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг вошел лакей и сказал: «Теплов» — «Проси, — закричала Софи и бросилась обнимать меня... — Ах, Меджи, Меджи! Если б ты знала, кто это: брюнет, камер-юнкер, а глаза какие! черные и светлые, как огонь», — и Софи убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер-юнкер с черными бакенбардами, подошел к зеркалу,

поправил волоса и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье; а я себе так, как будто не замечая ничего, продолжала глядеть в окошко; однако ж голову наклонила несколько набок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах, та chere, о каком вздоре они говорили. Они говорили о том, как одна дама в танцах вместо одной какой-то фигуры сделала другую; также, что какой-то Бобов был очень похож в своем жабо на аиста и чуть было не упал; что какая-то Лидина воображает, что у ней голубые глаза, между тем как они зеленые, — и тому подобное. «Куда ж, — подумала я сама в себе, — если сравнить камер-юнкера с Трезором!» Небо! какая разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю, та chere, что она нашла в своем Теплове. Отчего она

так им восхищается?..

Мне самому кажется, здесь что-нибудь да не так. Не может быть, чтобы ее мог так обворовать камер-юнкер. Посмотрим далее:

Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папа в кабинете. Ах, та there, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке...

Какой же бы это чиновник?..

Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа всегда посылает его вместо слуги.

Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?

Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него.

Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык! Как будто я не знаю, что это дело зависти. Как будто я не знаю, чьи здесь штуки. Это штуки начальника отделения. Ведь поклялся же человек непримиримую ненавистью — и вот вредит да и вредит, на каждом шагу вредит. Посмотрим, однако же, еще одно письмо. Там, может быть, дело раскроется само собою.

Ma chere Фидель, ты извини меня, что так давно не писала. Я была в совершенном упоении. Подлинно справедливо сказал какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. При этом же у нас в доме теперь большие перемены. Камер-юнкер теперь у нас каждый день. Софи влюблена в него до безумия. Папа очень весел. Я даже слышала от нашего Григория, который метет пол и всегда почти разговаривает сам с собою, что скоро будет свадьба; потому что папа хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником...

Черт возьми! я не могу более читать... Все

или камер-юнкер, или генерал. Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал. Черт побери! Желал бы я сам сделаться генералом: не для того, чтобы получить руку и прочее, нет, хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас обоих. Черт побери. Досадно! Я изорвал в клочки письма глупой собачонки.

Декабря 3.

Не может быть. Враки! Свадьбе не бывать! Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я неколько раз

уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь сколько примеров по истории: какой-нибудь простой, не то уже чтобы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин, — и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь. Когда из мужика да иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире: у меня и на правом плече эполета, и на левом плече эполета, через плечо голубая лента — что? как тогда запоет красавица моя? что скажет и сам папа, директор наш? О, это большой честолюбец! это масон, непременно масон, хотя он и прикидывается таким и эдаким, но я тотчас заметил, что он масон: он если даст кому руку, то высовывает только два пальца. Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там другим каким-нибудь? Мне бы хоте-

лось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

Декабря 5.

Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? Говорят, какая-то донна должна взойти на престол. Не может взойти донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король. Да, говорят, нет короля, — не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он, статься может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то: Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины.

Декабря 8.

Я было уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины и размышления меня удержали. У меня все не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы донна сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да притом и дела политические всей Европы: австрийский император, наш государь... Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большею частью лежал на кровати и рассуждал о делах Испании.

Год 2000 апреля 43 числа.

Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскан. Этот король я. Именно только се-

годня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях. Она испугалась оттого, что находится в уверенности, будто все короли в Испании похо-

жи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства и что у меня нет ни одного капуцина... В департамент не ходил... Черт с ним! Нет, приятели, теперь не заманить меня; я не стану переписывать гадких бумаг ваших!

Мартобря 86 числа. Между днем и ночью.

Сегодня приходил наш экзекутор с тем, что бы я шел в департамент, что уже более трех недель как я не хожу на должность. Я для шутки пошел в департамент. Начальник отделения думал, что я ему поклонюсь и стану извиняться, но я посмотрел на него равнодушно, не слишком гневно и не слишком благосклонно, и сел на свое место, как будто никого не замечая. Я глядел на всю канцелярскую сволочь и думал: «Что, если бы вы знали, кто между вами сидит... Господи боже! какую бы вы ералашь подняли, да и сам начальник отделения начал бы мне так же кланяться в пояс, как он теперь кланяется перед директором». Передо мною положили какие-то бумаги, чтобы я сделал из них экстракт. Но я и пальцем не притронулся. Через несколько

минут все засуетилось. Сказали, что директор идет. Многие чиновники побежали наперерыв, чтобы показать себя перед ним. Но я ни с места. Когда он проходил чрез наше отделение, все застегнули на пуговицы свои фраки, но я совершенно ничего! Что за директор! чтобы я встал перед ним — никогда! Какой он директор? Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которою закупоривают бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсунули мне бумагу, чтобы я подписал. Они думали, что я напишу на самом кончике листа: столоначальник такой-то. Как бы не так! а я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул: «Фердинанд VIII». Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось; но я кивнул только рукою, сказав: «Не нужно никаких знаков подданничества!» — и вышел. Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотел меня не впустить, но я ему такое сказал, что он и руки опустил. Я прямо пробрался в уборную. Она сидела перед зеркалом, вскочила и отступила от меня. Я, однако

же, не сказал ей, что я испанский король. Я сказал только, что счастье ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может, и что, несмотря на козни неприятелей, мы будем вместе. Я больше ничего не хотел говорить и вышел. О, это коварное существо — женщина! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то, — она любит только одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него. Выйдет. А вот эти все, чиновные отцы их, вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору и говорят, что они патриоты и то и се: аренды, аренды хотят эти патриоты! Мать, отца, бога продадут за деньги, честолубцы, христородавцы! Все это честолубие, и честолубие оттого, что под язычком находится маленький пузы-

рек и в нем небольшой червячок величиною с булавочную головку, и это все делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой. Я не помню, как его зовут; но достоверно известно, что он, вместе с одною повивальною бабкою, хочет по всему свету распространить магометанство, и оттого уже, говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета.

Никакого числа. День был без числа.

Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь император. Весь город снял шапки, и я также; однако же не подал никакого вида, что я испанский король. Я почел неприличным открыться тут же при всех; потому, что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенные ослы, притом же они совсем небрегут своею работою, ударились в аферу и большею частию мостят камни на улице. Я решился сделать мантию из нового вицмунди-

ра, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить, заперши дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой.

Числа не помню. Месяца тоже не было. Было чорт знает, что такое.

Мантия совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться ко двору. До сих пор нет депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часа на час.

Число I.

Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов. Какие бы причины могли их остановить. Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту, не прибыли ли испанские депутаты. Но почтмейстер чрезвычайно глуп, ничего не знает: нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов, а письма если

удобно написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми! что письмо? Письмо вздор. Письма пишут аптекари...

Мадрид, Февруарий тридцатый.

Итак, я в Испании, и это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету. Мне показалась странною необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Впрочем, ведь теперь по всей Европе чугунные дороги, и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испания: когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку; он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: «Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ниче-

го кроме искушение, отвечал отрицательно, — за что канцлер ударил меня два раза палкою по спине так больно, что я чуть было не вскрикнул, но удержался, вспомнивши, что это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и доньне ведутся рыцарские обычаи. Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил

смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые гранды, которых я застал в зале государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал: «Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее», — то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену, с тем чтобы достать луну; но в это время вошел великий канцлер. Увидевши его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкою и прогнал в мою комнату. Таковую имеют власть в Испа-

нии народные обычаи!

Январь того же года, случившийся после февраля.

До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мне голову, несмотря на то что я кричал изо всей силы о нежелании быть монахом. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мне на голову капать холодной водою. Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был упасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный! Для меня непостижима безрассудность королей, которые до сих пор не уничтожают его. Судя по всем вероятностям, догадываюсь: не попался ли я в руки инквизиции, и тот, которого я принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор. Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и особенно Полиньяк. О, это бес-

тия Полинияк! Поклялся вредить мне по смерть. И вот гонит да и гонит; но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. Он везде юлит. Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает.

Число 25.

Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: «Поприщин!» — я ни слова. Потом: «Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин!» Я все молчу. «Фердинанд VIII, король испанский!» Я хотел было высунуть голову, но после подумал: «Нет, брат, не надуешь! знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову». Однако же он увидел меня и выгнал палкою из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня нынешнее открытие: я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями. Великий инквизитор, однако же, ушел от ме-

ня разгневанный и грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бесильною злобою, зная, что он действует, как машина, как орудие англичанина.

Чи 34 сло Мц гдао. февраль 349.

Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синее вдали?

Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?

Рим

Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Всё напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косяю вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица — образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем — благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится

ли затылко с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту невиданных землею плеч — и там она чудо. Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замиранье в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Всё в ней венец созданья, от плеч до античной дышущей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она — уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с кованой медной вазой на голове — вся проникается чудным согласием обнимающая ее окрестность: легче уходят в даль чудесные линии альбанских гор, синее глубина римского неба, прямей летит вверх кипарис, и красавица южных деревьев, римская пинна, тонее и чище рисуется на небе своею зонтикообразною, почти плывущею на воздухе, верхушкою. И всё: и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях, одна выше другой, альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьет вода

звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны, и самый фонтан, и самая толпа — всё кажется для нее, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою придворный чин свой. В праздничный ли день, когда темная древесная галерея, ведущая из Альбано в Кастель-Гандольфо, вся полна празднично-убранного народа, когда мелькают под сумрачными ее сводами щеголи миненти в бархатном убранстве, с яркими поясами и золотистым цветком на пуховой шляпе, бредут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глазами, живописно неся на себе стройных и сильных альбанских и фраскатанских женщин, далеко блистающих белыми головными уборами, или таща вовсе не живописно, с трудом и спотыкаясь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроницаемом макинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли, или неся художника в блузе, с деревянным ящиком на ремне и ловкой вандиковской бородкой, а тень и солнце бегут попеременно по

всей группе, — и тогда, и в оный праздничный день при ней далеко лучше, чем без нее. Глубина галереи выдает ее из сумрачной темноты своей всю сверкающую, всю в блеске. Пурпурное сукно альбанского ее наряда вспыхивает, как ищерь, тронутое солнцем. Чудный праздник летит из лица ее навстречу всем. И, повстречав ее, останавливаются как вкопанные: и щеголь миненте с цветком за шляпой, издавши невольное восклицание; и англичанин в гороховом макинтоше, показав вопросительный знак на неподвижном лице своем; и художник с вандиковской бородкой, долее всех остановившийся на одном месте, подумывая: “то-то была бы чудная модель для Дианы, гордой Юноны, соблазнительных Граций и всех женщин, какие только передавались на полотно!” и дерзновенно думая в то же время: то-то был бы рай, еслиб такое диво украсило навсегда смиренную его мастерскую!

Но кто же тот, чей взгляд неотразимее вперился за ее следом? Кто сторожит ее речи, движенья, и движенья мыслей на ее лице? Двадцатипятилетний юноша, римский князь,

потомок фамилии, составлявшей когда-то честь, гордость и бесславие средних веков, ныне пустынно догорающей в великолепном дворце, исписанном фресками Гверчина и Караччей, с потускневшей картинной галлереей, с полинявшими штофами, лазурными столами и поседевшим, как лунь, *maestro di casa* [165]. Его-то увидали недавно римские улицы, несущего свои черные очи, метатели огней из-за перекинутого через плечо плаща, нос, очеркнутый античной линией, слоновую белизну лба и брошенный на него летучий шелковый локон. Он появился в Риме после пятнадцати лет отсутствия, появился гордым юношею вместо еще недавно бывшего дитяти.

Но читателю нужно знать непременно, как всё это свершилось, и потому пробежим наскоро историю его жизни, еще молодой, но уже обильной многими сильными впечатлениями. Первоначальное детство его протекло в Риме; воспитывался он так, как в обычае у доживающих век свой римских вельмож. Учитель, гувернер, дядька и всё, что угодно, был у него аббат, строгий классик, почита-

тель писем Пиетра Бембо, сочинений Джiovанни делла Casa и пяти-шести песней Данта, читавший их не иначе, как с сильными восклицаниями: “dio, che cosa divina!”[166] и потом через две строки: “diavolo, che divina cosa!”, в чем состояла почти вся художественная оценка и критика, обращавший остальной разговор на брокколи и артишоки, любимый свой предмет, знавший очень хорошо, в какое время лучше телятина, с какого месяца нужно начинать есть козленка, любивший обо всем этом поболтать на улице, встретясь с приятелем, другим аббатом, обтягивавший весьма ловко полные икры свои в шелковые черные чулки, прежде запихнувши под них шерстяные, чистивший себя регулярно один раз в месяц лекарством *olio di ricino*[167] в чашке кофию и полневший с каждым днем и часом, как полнеют все аббаты. Естественно, что молодой князь узнал немного под таким началом. Узнал он только, что латинский язык есть отец италиянского, что монсиньоры бывают трех родов — одни в черных чулках, другие в лиловых, а третьи такие, которые бывают почти то же, что кардиналы;

узнал несколько писем Пиетра Бембо к тогдашним кардиналам, большую часть поздравительных; узнал хорошо улицу Корсо, по которой ходил прогуливаться с аббатом, да виллу Боргезе, да две-три лавки, перед которыми останавливался аббат для закупки бумаги, перьев и нюхательного табаку, да аптеку, где брал он свое *olio di ricino*. В этом заключался весь горизонт сведений воспитанника. О других землях и государствах аббат намекнул в каких-то неясных и нетвердых чертах: что есть земля Франция, богатая земля, что англичане — хорошие купцы и любят ездить, что немцы — пьяницы, и что на севере есть варварская земля Московия, где бывают такие жестокие морозы, от которых может лопнуть мозг человеческий. Далее сих сведений воспитанник вероятно бы не узнал, достигнув до 25-летнего своего возраста, если бы старому князю не пришла вдруг в голову идея переменить старую методу воспитанья и дать сыну образование европейское, что можно было отчасти приписать влиянию какой-то французской дамы, на которую он с недавнего времени стал наводить беспрестанно лор-

нет на всех театрах и гуляньях, засовывая по-минутно свой подбородок в огромный белый жабо и поправляя черный локон на парике. Молодой князь был отправлен в Лукку, в университет. Там, во время шестилетнего его пребывания, развернулась его живая италиянская природа, дремавшая под скучным надзором аббата. В юноше оказалась душа, жадная наслаждений избранных, и наблюдательный ум. Италиянский университет, где наука влачилась, скрытая в черствых схоластических образах, не удовлетворял новой молодежи, которая уже слышала урывками о ней живые намеки, перелетавшие через Альпы. Французское влияние становилось заметно в Верхней Италии: оно заносилось туда вместе с модами, виньетками, водевилями и напряженными произведениями необузданной французской музыки, чудовищной, горячей, но местами не без признаков таланта. Сильное политическое движение в журналах с июльской революции отозвалось и здесь. Мечтали о возвращении погибшей италиянской славы, с негодованием глядели на ненавистный белый мундир австрийского солдата. Но италиян-

ская природа, любительница покойных наслаждений, не вспыхнула восстанием, над которым не позадумался бы француз; всё окончилось только непреодолимым желанием побывать в заальпийской, в настоящей Европе. Вечное ее движение и блеск заманчиво мелькали вдали. Там была новость, противоположность ветхости италиянской, там начиналось XIX столетие, европейская жизнь. Сильно порывалась туда душа молодого князя, чая приключений и света, и всякой раз тяжелое чувство грусти его осеняло, когда он видел совершенную к тому невозможность: ему был известен непреклонный деспотизм старого князя, с которым было не под силу ладить, — как вдруг получил он от него письмо, в котором предписано было ему ехать в Париж, окончить ученье в тамошнем университете, и дождаться в Лукке только приезда дяди, с тем чтобы отправиться с ним вместе. Молодой князь прыгнул от радости, перецеловал всех своих друзей, угостил всех в загородной остерии и через две недели был уже в дороге, с сердцем, готовым встретить радостным биением всякой предмет. Когда переехали Сим-

плон, приятная мысль пробежала в голове его: он на другой стороне, он в Европе! Дикое безобразие швейцарских гор, громоздившихся без перспективы, без легких далей, несколько ужаснуло его взор, приученный к высокосокойной нежащей красоте италиянской природы. Но он просветлел вдруг при виде европейских городов, великолепных светлых гостиниц, удобств, расставленных всякому путешественнику, располагающемуся как дома. Щеголеватая чистота, блеск — всё было ему ново. В немецких городах несколько поразил его странный склад тела немцев, лишенный стройного согласия красоты, чувство которой зарождено уже в груди италиянца; немецкий язык также поразил неприятно его музыкальное ухо. Но перед ним была уже французская граница, сердце его дрогнуло. Порхающие звуки европейского модного языка, лаская, облобызали слух его. Он с тайным удовольствием ловил скользящий шелест их, который уже в Италии казался ему чем-то возвышенным, очищенным от всех судорожных движений, какими сопровождаются сильные языки полуденных наро-

дов, не умеющих держать себя в границах. Еще большее впечатление произвел на него особый род женщин — легких, порхающих. Его поразило это улетучившееся существо с едва вызначавшимися легкими формами, с маленькой ножкой, с тоненьким воздушным станом, с ответным огнем во взорах и легкими, почти невыговаривающимися речами. Он ждал с нетерпением Парижа, населял его башнями, дворцами, составил себе по-своему образ его и с сердечным трепетом увидел, наконец, близкие признаки столицы: наклеенные афиши, исполинские буквы, умножавшиеся дилижансы, омнибусы... наконец, понеслись дома предместья. И вот он в Париже, бессвязно обнятый его чудовищною наружностью, пораженный движением, блеском улиц, беспорядком крыш, гущиной труб, безархитектурными сплоченными массами домов, облепленных тесной лоскутностью магазинов, безобразьем нагих неприслоненных боковых стен, бесчисленной смешанной толпой золотых букв, которые лезли на стены, на окна, на крыши и даже на трубы, светлой прозрачностью нижних этажей, состоявших

только из одних зеркальных стекол. Вот он, Париж, это вечное, волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещения, мод, изысканного вкуса и мелких, но сильных законов, от которых не властны оторваться и сами порицатели их, великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невидных углах Европы, трепет и любимая мечта двадцатилетнего человека, размен и ярмарка Европы! Как ошеломленный, не в силах собрать себя, пошел он по улицам, пересыпавшимся всяким народом, исчерченным путями движущихся омнибусов, поражаясь то видом кафе, блиставшего неслыханным царским убранством, то знаменитыми крытыми переходами, где оглушал его глухой шум нескольких тысяч шумевших шагов сплошной двигавшейся толпы, которая вся почти состояла из молодых людей, и где ослеплял его трепещущий блеск магазинов, озаряемых светом, падавшим сквозь стеклянный потолок в галерею; то останавливаясь перед афишами, которые миллионами пестрели и толпились в глаза, крича о 24-х ежедневных представле-

ниях и бесчисленном множестве всяких музыкальных концертов; то растерявшись, наконец, совсем, когда вся эта волшебная куча вспыхнула ввечеру при волшебном освещении газа — все дома вдруг стали прозрачными, сильно засиявши снизу; окна и стекла в магазинах, казалось, исчезли, пропали вовсе, и всё, что лежало внутри их, осталось прямо среди улицы нехранимо, блистая и отражаясь в углубленьи зеркалами. “Ma quest'è una cosa divina!”[168] повторял живой: италиянец.

И жизнь его потекла живо, как течет жизнь многих парижан и толпы молодых иностранцев, наезжающих в Париж. В девять часов утра, схватившись с постели, он уже был в великолепном кафе с модными фресками за стеклом, с потолком, облитым золотом, с листами длинных журналов и газет, с благородным приспешником, проходившим мимо посетителей, держа великолепный серебряный кофейник в руке. Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофий из громадной чашки, нежась на эластическом, упругом диване и вспоминая о низеньких, темных италиянских кафе с неопрятным бот-

тегой, несущим невымытые стеклянные стаканы. Потом принимался он за чтение колоссальных журнальных листов, и вспомнил о чахоточных журналишках Италии, о каком-нибудь *Diario di Roma, il Pirato*[169] и тому подобных, где помещались невинные политические известия и анекдоты чуть не о Термопилах и персидском царе Дарие. Тут, напротив, везде видно было кипевшее перо. Вопросы на вопросы, возраженья на возраженья — казалось, всякий из всех сил топорщился: тот грозил близкой переменой вещей и предвещал разрушение государству; всякое чуть заметное движение и действие камер и министерства разрасталось в движение огромного размаха между упорными партиями и почти отчаянным криком слышалось в журналах. Даже страх чувствовал италиянец, читая их, думая, что завтра же вспыхнет революция, как будто в чаду выходил из литературного кабинета, и только один Париж с своими улицами мог выветрить в одну минуту из головы весь этот груз. Его порхающий по всему блеск и пестрое движение, после этого тяжелого чтения, казались чем-то похожим

на легкие цветки, взбежавшие по оврагу пропасти. В один миг он переселялся весь на улицу и сделался подобно всем зевакою во всех отношениях. Он зевал пред светлыми, легкими продавицами, только что вступившими в свою весну, которыми были наполнены все парижские магазины, как будто бы суровая наружность мужчины была неприлична и мелькала бы темным пятном из-за цельных стекол. Он глядел, как заманчиво щегольские тонкие руки, вымытые всякими мылами, блистая, заворачивали бумажки конфет, меж тем как глаза светло и пристально вперялись на проходящих, как рисовалась в другом месте светловолосая головка в картинном склоне, опустивши длинные ресницы в страницы модного романа, не видя, что около нее собралась уже куча молодежи, рассматривающая и ее легкую снежную шейку, и всякой волосок на голове ее, подслушивающая самое колебание груди, произведенное чтением. Он зевал и перед книжной лавкой, где, как пауки, темнели на слоновой бумаге черные виньетки, набросанные размашисто, сторяча, так что иногда и разобрать нельзя было,

что́ на них такое, и глядели иероглифами странные буквы. Он зевал и перед машиной, которая одна занимала весь магазин и ходила за зеркальным стеклом, катая огромный вал, растирающий шеколад. Он зевал перед лавками, где останавливаются по целым часам парижские крокодилы, засунув руки в карманы и разинув рот, где краснел в зелени огромный морской рак, воздымалась набитая трюфелями индейка с лаконической надписью: 300 fr., и мелькали золотистым пером и хвостами желтые и красные рыбы в стеклянных вазах. Он зевал и на широких бульварах, царственно проходящих поперек весь тесный Париж, где среди города стояли деревья в рост шестиэтажных домов, где на асфальтовые тротуары валила наездная толпа и куча доморощенных парижских львов и тигров, не всегда верно изображаемых в повестях. И, назевавшись вдоволь и досыта, взбирался он к ресторану, где уже давно сияли газом зеркальные стены, отражая в себе бесчисленные толпы дам и мужчин, шумевших речами за маленькими столиками, разбросанными по залу. После обеда уже он спешил в театр, недо-

умевая только, который выбрать: на каждом из них своя знаменитость, на каждом свой автор, свой актер. Везде новость. Там блещет водевиль, живой, ветреный как сам француз, новый всякий день, создавшийся весь в три минуты досуга, смешивший весь от начала до конца, благодаря неистощимым капризам веселости актера; там горячая драма. — И он невольно сравнил сухую, тощую драматическую сцену Италии, где повторялись один и тот же старик Гольдони, знаемый всеми наизусть, или же новые комедийки, невинные и наивные до того, что ребенок бы соскучился над ними; он сравнил их тощую группу с этим живым торопливым драматическим наводнением, где всё ковалось пока было горячо, где всякой боялся только, чтобы не остыла его новость. Насмеявшись досыта, наволновавшись, нагладевшись, утомленный, подавленный впечатлениями, возвращался он домой и бросался в постель, которая, как известно, одна только нужна французам в его комнате: кабинетом, обедом и вечерним освещением он пользуется в публичных местах. Но князь, однакоже, не позабыл с этим разно-

образным зеваньем соединить занятий ума, которых требовала нетерпеливо душа его. Он принялся слушать всех знаменитых профессоров. Живая речь, часто восторженная, новые точки и стороны, подмеченные речивым профессором, были неожиданны для молодого италиянца. Он чувствовал, как стала спадать с глаз его пелена, как в другом, ярком, виде восставали перед ним прежде незамеченные предметы, и самый приобретенный им хлам кое-каких знаний, которые обыкновенно погибают у большей части людей без всяких применений, пробуждался и, оглянутый другим глазом, утверждался навсегда в его памяти. Он не пропустил также услышать ни одного знаменитого проповедника, публициста, оратора, камерных прений и всего, чем шумно гремит в Европе Париж. Несмотря на то, что не всегда доставало ему средств, что старый князь присылал ему содержание как студенту, а не как князю, он успел, однакоже, найти случай побывать везде, найти доступ ко всем знаменитостям, о которых трубят, повторяя друг друга, европейские листки, даже увидал в лицо тех модных писателей, кото-

рых странными созданными была поражена, на ряду с другими, его пылкая, молодая душа, и в которых всем мнилось слышать еще небранные дотоле струны, неуловимые доселе изгибы страстей. Словом, жизнь италиянца приняла широкий, многосторонний образ, обнялась всем громадным блеском европейской деятельности. Разом, в один и тот же день, беззаботное зеванье и тревожное пробужденье, легкая работа глаз и напряженная ума, водевиль на театре, проповедник в церкви, политический вихрь журналов и камер, рукоплесканье в аудиториях, потрясающий гром консерваторного оркестра, воздушное блистанье танцующей сцены, громотня уличной жизни — какая исполинская жизнь для двадцатилетнего юноши! Нет лучшего места, как Париж; ни за что не променял бы он такой жизни. Как весело и любо жить в самом сердце Европы, где, идя, поднимаешься выше, чувствуешь, что член великого всемирного общества! В голове его даже вертелась мысль отказаться вовсе от Италии и основаться навсегда в Париже. Италия казалась ему теперь каким-то темным, заплеснелым углом Евро-

пы, где заглохла жизнь и всякое движение.

Так пронеслись четыре пламенные года его жизни, — четыре года, слишком значительные для юноши, и к концу их уже многое показалось не в том виде, как было прежде. Во многом он разочаровался. Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев, вечная страсть парижан, уже показался ему много, много не тем, чем был прежде. Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезала без выводов и плодоносных душевных осадков. В движении вечного его кипенья и деятельности выделась теперь ему странная недеятельность. Страшное царство слов вместо дел. Он видел, как всякой француз, казалось, только работал в одной разгоряченной голове; как это журнальное чтение огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как всякой француз воспитывался этим странным вихрем книжной, типографски движущейся политики, и, еще чуждый сословия, к которому принадлежал, еще не узнав на деле всех прав и отношений своих, уже приставал к той или другой партии, горячо и жарко при-

нимая к сердцу все интересы, становясь свирепо против своих супротивников, еще не зная в глаза ни интересов своих, ни супротивников... и слово политика опротивело, наконец, сильно италиянцу.

В движении торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один силился пред другим, во что бы то ни стало, взять верх, хотя бы на одну минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся внимание. Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овладеть читателем. Всё, казалось, нагло навязывалось и напрашивалось само без зазыва, как непотребная женщина, ловящая человека ночью на улице; всё, одно перед другим, вытягивало повыше свою руку, как обступившая толпа надоедливых нищих. В самой науке, в ее одушевленных лекциях,

которых достоинство не мог не признать он, теперь стало ему заметно везде желание выказаться, хвастнуть, выставить себя; везде блестящие эпизоды, и нет торжественного, величавого течения всего целого. Везде усилия поднять доселе незамеченные факты и дать им огромное влияние иногда в ущерб гармонии целого, с тем только, чтобы оставить за собой честь открытия; наконец, везде почти дерзкая уверенность и нигде смиренного сознания собственного неведения, — и он привел себе на память стих, которым италиянец Альфиери, в едком расположеньи своего духа, попрекнул французов:

Tutto fanno, nulla sanno, Tutto sanno, nulla fanno: Gira volta son Francesi, Piu gli pesi, men ti danno [170]..

Тоскливое расположение духа им овладело. Напрасно старался он развлекать себя, старался сойтись с людьми, которых уважал, но не сошлась италийнская природа с французским элементом. Дружба завязывалась быстро, но уже в один день француз выказывал себя всего до последней черты: на другой

день нечего было и узнавать в нем, далее известной глубины уже нельзя было погрузить вопроса в его душу, не вонзалось далее острие мысли; а чувства италиянца были слишком сильны, чтобы встретить себе полный ответ в легкой природе. И нашел он какую-то странную пустоту даже в сердцах тех, которым не мог отказать в уваженьи. И увидел он, наконец, что при всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках, вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей; везде полустрасти, и нет страстей, всё не окончено, всё наметано, набросано с быстрой руки; вся нация — блестящая виньетка, а не картина великого мастера.

Нашедшая ли внезапно на него хандра дала ему возможность увидеть всё в таком виде, или внутреннее верное и свежее чувство италиянца было тому причиною, то или другое, только Париж со всем своим блеском и шумом скоро сделался для него тягостной пу-

стыней, и он невольно выбирал глухие отдаленные концы его. Только в одну еще итальянскую оперу заходил он, там только как будто отдыхала душа его, и звуки родного языка теперь выросли пред ним во всем могуществе и полноте. И стала представляться ему чаще забытая им Италия, вдали, в каком-то манящем свете; с каждым днем зазывы ее становились слышнее, и он решился, наконец, писать к отцу, чтобы позволил ему возвратиться в Рим, что в Париже оставаться более он не видит для себя нужды. Два месяца не получал он никакого ответа, ни даже обычных векселей, которые давно следовало ему получить. Сначала ожидал он терпеливо, зная капризный характер своего отца; наконец, начало овладевать им беспокойство. Несколько раз на неделю наведывался к своему банкиру и всегда получал один и тот же ответ, что из Рима нет никаких известий. Отчаяние готово было вспыхнуть в душе его. Средства содержания уже давно у него все прекратились, уже давно сделал он у банкира заем, но и эти деньги давно вышли, давно уже он обедал, завтракал и жил кое-как в

долг; косо и неприятно начинали посматривать на него — и хоть бы от кого-нибудь из друзей какое-нибудь известие. Тут-то он сильно почувствовал свое одиночество. В беспокойном ожидании бродил он в этом надоевшем насмерть городе. Летом он был для него еще невыносимее: все наездные толпы разлетелись по минеральным водам, по европейским гостиницам и дорогам. Призрак пустоты виделся на всем. Дома и улицы Парижа были несносны, сады его томились сокрушительно между домов, палимых солнцем. Как убитый останавливался он над Сеной, на грузном, тяжелом мосту, на ее душной набережной, напрасно стараясь чем-нибудь позабыться, на что-нибудь заглядеться; тоска необъятная жрала его и безымянный червь точил его сердце. Наконец, судьба над ним умилилась — и в один день банкир вручил ему письмо. Оно было от дяди, который извещал его, что старый князь уже не существует, что он может приехать распорядиться наследством, которое требует его личного присутствия, потому что расстроено сильно. В письме был тощий билет, едва доставший на доро-

гу и на расплату четвертой доли долгов. Молодой князь не хотел медлить минуты, уговорил кое-как банкира отсрочить долг и взял место в курьерской карете. Казалось, страшная тягость свалилась с души его, когда скрылся из вида Париж и дохнуло на него свежим воздухом полей. В двое суток он уже был в Марселе, не хотел отдохнуть часу, и того же вечера пересел на пароход. Средиземное море показалось ему родным: оно омывало берега его отчизны, и он посвежел уже, только глядя на одни бесконечные его волны. Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при виде первого италийанского города, — это была великолепная Генуя! В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее, вдруг обнесший его со всех сторон, когда пароход пришел к пристани. Никогда не видал он Генуи. Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берег, он очутился вдруг в этих темных, чудных, узеньких, мо-

ценных плитами улицах, с одной узенькой
вверху полоской голубого неба. Его поразила
эта теснота между домами высокими, огром-
ными, отсутствие экипажного стуку, тре-
угольные маленькие площадки и между ни-
ми, как тесные коридоры, изгибающиеся ли-
нии улиц, наполненных лавочками генуэз-
ских серебрянников и золотых мастеров. Жи-
вописные кружевные покрывала женщин,
чуть волнуемые теплым широко; их твер-
дые походки, звонкий говор в улицах; отво-
ренные двери церквей, кафельный запах, нес-
шийся оттуда, — всё это дунуло на него чем-
то далеким, минувшим. Он вспомнил, что
уже много лет не был в церкви, потерявшей
свое чистое высокое значение в тех умных
землях Европы, где он был. Тихо вошел он и
стал в молчании на колени у великолепных
мраморных колонн, и долго молился, сам не
зная за что, — молился, что его приняла Ита-
лия, что снизошло на него желание молиться,
что празднично было у него на душе, и мо-
литва эта, верно, была лучшая. Словом, как
прекрасную станцию унес он за собою Геную:
в ней принял он первый поцелуй Италии. С

таким же ясным чувством увидел он Ливорно, пустеющую Пизу, Флоренцию, слабо знаемую им прежде. Величаво глянул на него тяжелый граненый купол ее собора, темные дворцы царственной архитектуры и строгое величие небольшого городка. Потом понесся через Аппенины, сопровождаемый тем же светлым расположением духа, и когда, наконец, после шестидневной дороги показался в ясной дали, на чистом небе, чудесно круглившийся купол — о!.. сколько чувств тогда столпилось разом в его груди! Он не знал и не мог передать их; он оглядывал всякой холмик и отлогость. И вот уже наконец, Ponte Molle, городские ворота, и вот обняла его красавица площадей Piazza del Popolo, глянул Monte Pincio с террасами, лестницами, статуями и людьми, прогуливающимися на верхушках. Боже! как забилося его сердце! Ветурин понесся по улице Корсо, где когда-то ходил он с аббатом, невинный, простодушный, знавший только, что латинский язык есть отец итальянского. Вот предстали пред ним опять все дома, которые он знал наизусть: Palazzo Ruspoli с своим огромным кафе, Piazza Colonna,

Palazzo Sciarra, Palazzo Doria; наконец, поворотил он в переулки, так бранимые иностранцами, не кипящие переулки, где изредка только попадалась лавка брадобрея с нарисованными лилиями над дверьми, да лавка шляпочника, высунувшего из дверей долгополую кардинальскую шляпу, да лавчонка плетеных стульев, делавшихся тут же на улице. Наконец, карета остановилась перед величавым дворцом Брамантовского стиля. Никого не было в нагих неубранных сенях. На лестнице встретил его дряхлый *maestro di casa*, потому что швейцар с своей булавой ушел, по обыкновению, в кафе, где проводил всё время. Старик побежал отворять ставни и освещать мало-по-малу старинные величественные залы. Грустное чувство овладело им, — чувство, понятное всякому приезжающему, после нескольких лет отсутствия, домой, когда всё что ни было кажется еще старше, еще пустее, и когда тягостно говорит всякой предмет, знаемый в детстве, и чем веселее были с ним сопряженные случаи, тем сокрушительней грусть, насылаемая им на сердце. Он прошел длинный ряд зал, оглянул

кабинет и спальню, где еще не так давно старый владетель дворца засыпал в кровати под балдахин с кистями и гербом, и потом выходил в шлафроке и туфлях в кабинет выпить стакан ослиного молока, с намереньем пополнить; уборную, где он наряжался с утонченным стараньем старой кокетки и откуда отправлялся потом в коляске с своими лакеями на гулянье в виллу Боргезе, лорнировать постоянно какую-то англичанку, приезжавшую туда также прогуливаться. На столах и в ящиках видны были еще остатки румян, белил и всяких притираний, которыми молодил себя старик. *Maestro di casa* объявил, что уже за две недели до смерти он принял было твердое намерение жениться, и сделал нарочно консультацию с иностранными докторами, как поддержать *con onore i doveri di marito*[171]; но что в один день, сделавши два или три визита кардиналам и какому-то приору, он возвратился усталый домой, сел в креслы и умер смертью праведника, хотя смерть его была бы еще блаженнее, если бы он, по словам *maestro di casa*, догадался послать за две минуты прежде за своим духовником *il padre*

Benvenuto. Всё это слушал молодой князь рассеянный, не принадлежа мыслью ни к чему. Отдохнувши от дороги и от странных впечатлений, он занялся своими делами. Его поразила страшный беспорядок их. Всё, от малого до большого, было в бестолковом, запутанном виде. Четыре бесконечные тяжбы за обвалившиеся дворцы и земли в Ферраре и Неаполе, совершенно опустошенные доходы за три года вперед, долги и нищенский недостаток среди великолепия — вот что представилось глазам его. Старый князь был непонятное соединение скупости и пышности. Он держал огромную прислугу, которая не получала никакой платы, ничего, кроме ливрей, и довольствовалась подажаниями иностранцев, приходивших смотреть галерею. При князе были егеря, официанты, лакеи, которые ездили у него за коляской, лакеи, которые никуда не ездили и просиживали по целым дням в ближнем кафе, или остерии, болтая всякой вздор. Он распустил тот же час всю эту сволочь, всех егерей и охотников, и оставил одного только старика *maestro di casa*; уничтожил почти вовсе конюшню, продав никогда

не употреблявшихся лошадей; призвал адвокатов и распорядился с своими тяжбами, по крайней мере, так, что из четырех составил две, бросив остальные, как вовсе бесполезные; решился ограничить себя во всем и вести жизнь со всею строгостью экономии. Это было ему не трудно сделать, потому что уже заблаговременно он привык ограничивать себя. Ему не трудно было также отказаться от всякого сообщества с своим сословием, — которое, впрочем всё состояло из двух-трех доживавших фамилий, — общества, воспитанного кое-как отголосками французского образования, да богача банкира, собиравшего около себя круг иностранцев, да неприступных кардиналов, людей необщительных, черствых, уединенно проводивших время за карточной игрой в *tresette*[172] с своим камердинером или брадобреем. Словом, он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами, и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в пере-

улок: где же огромный древний Рим? и потом уже узнает его, когда мало-по-малу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед нестаринной церковью, и наконец далеко, там где оканчивается вовсе живущий город, громадно воздымается он среди тысячелетних плющей, алоэ и открытых равнин, необъятным Колизеем, триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям; и уже не видит иноземец нынешних тесных его улиц и переулков, весь объятый древним миром: в памяти его восстают колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо...

Но не так, как иностранец, преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма скрыть весь новый город, — нет, он находил всё рав-

но прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век с толпящимся новым народонаселением. Ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе: дворец, колонны, трава, дикие кусты, бегущие по стенам, трепещущий рынок среди темных молчаливых, заслоненных снизу, громад, живой крик рыбного продавца у портика, лимонадчик с воздушной украшенной зеленью лавчонкой перед Пантеоном. Ему нравилась самая невзрачность улиц темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдохавшее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всем ясной торжественной тишины, обнимавшей человека. Ему нравились эти непрерывные внезапности, неожиданности, поражающие в Риме. Как охотник, выходящий с утра на ловлю, как старинный рыцарь, искатель приключений, он

отправлялся отыскивать всякой. день новых и новых чудес, и останавливался невольно, когда вдруг среди ничтожного переулка возносился пред ним дворец, дышавший строгим сумрачным величием. Из темного травертина были сложены его тяжелые несокрушимые стены, вершину венчал великолепно набранный колоссальный карниз, мраморными брусьями обложена была большая дверь и окна глядели величаво, обремененные роскошным архитектурным убранством; — или как вдруг нежданно вместе с небольшой площадью выглядывал картинный фонтан, обрызгивавший себя самого и свои обезображенные мхом гранитные ступени; — как темная грязная улица оканчивалась нежданно играющей архитектурной декорацией Бернини, или летящим кверху обелиском, или церковью и монастырской стеною, вспыхивавшими блеском солнца на темнолазурном небе с черными, как уголь, кипарисами. И чем далее вглубь уходили улицы, тем чаще росли дворцы и архитектурные созданья Браманта, Борромини, Сангалло, Деллапорта, Виньолы, Бонаротти — и понял он наконец яс-

но, что только здесь, только в Италии слышно присутствие архитектуры и строгое ее величие как художества. Еще выше было духовное его наслажденье, когда он переносился во внутренность церквей и дворцов, где арки, плоские столпы и круглые колонны из всех возможных сортов мрамора, перемешанные с базальтовыми, лазурными карнизами, порфиром, золотом и античными камнями сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли, и выше их всех вознеслось бессмертное создание кисти. Они были высоко прекрасны, эти обдуманные убранства зал, полные царского величия и архитектурной роскоши, везде умевшей почтительно преклониться пред живописью в сей плодотворный век, когда художник бывал и архитектор, и живописец, и даже скульптор вместе. Могучие созданья кисти, уже неповторяющейся ныне, возносились сумрачно пред ним на потемневших стенах, всё еще непостижимые и недоступные для подражания. Входя и погружаясь более и более в созерцание их, он чувствовал, как развивался видимо его вкус, залог которого уже хранился в душе его. И как

перед этой величественной прекрасной роскошью показалась ему теперь низкой роскошью XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшения магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых, и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов, низведшая к ремеслу искусство. Как низкой показалась ему эта роскошь, поражающая только первый взгляд и озираемая потом равнодушно, перед этой величавой мыслию украсить стены вековечным созданием кисти, перед этой прекрасной мыслью владельца дворца доставить себе вечный предмет наслаждения в часы отдыха от дел и от шумного жизненного дрызга, уединившись там, в углу, на старинной софе, далеко от всех, вперя безмолвно взор и вместе со взором входя глубже душою в тайны кисти, зрея невидимо в красе душевных помыслов. Ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и красоту чудную движеньям души. Как низки казались ему перед этой незыблемой плодотворной роскошью, окружившею человека предметами

движущими и воспитывающими душу, нынешние мелочные убранства, ломаемые и выбрасываемые ежегодно беспокойною модою, странным непостижимым порожденьем XIX века, пред которым безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято. При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль: не оттого ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый, низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств. Иконы вынесли из— храма — и храм уже не храм: летучие мыши и злые духи обитают в нем.

Чем более он всматривался, тем более поражала его сия необыкновенная плодотворность века, и он невольно восклицал: когда и как успели они это наделать! Эта великолепная сторона Рима как будто бы росла перед ним ежедневно. Галереи и галереи, и конца им нет... И там, и в той церкви хранится какое-нибудь чудо кисти. И там на дряхлеющей стене еще дивит готовый исчезнуть фреск. И там на вознесенных мраморах и столпах, на-

бранных из древних языческих храмов, блещет неувядаемой кистью плафон. Всё это было похоже на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокопу. Как полно было у него всякой раз на душе, когда возвращался он домой; как было различно это чувство, объятые спокойной торжественностью тишины, от тех тревожных впечатлений, которыми бессмысленно наполнялась душа его в Париже, когда он возвращался домой усталый, утомленный, редко будучи в силах поверить итог их.

Теперь ему казалась еще более согласною с этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, потемневшая, запачканная наружность, так бранимая иностранцами. Ему неприятно бы было выйти после всего этого в модную улицу с блестящими магазинами, щеголеватостью людей и экипажей: это было бы чем-то развлекающим, святотатственным. Ему лучше нравилась эта скромная тишина улиц, это особенное выражение римского населения, этот призрак восемнадцатого века, еще мелькавший по улице то в виде черного

аббата с трехугольной шляпой, черными чулками и башмаками, то в виде старинной пурпурной кардинальской кареты с позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами — всё как-то согласовалось с важностью Рима: этот живой, неторопящийся народ, живописно и покойно расхаживающий по улицам, закинув полуплащ, или набросив себе на плечо куртку, без тягостного выраженья в лицах, которое так поражало его на синих блузах и на всем народонаселении Парижа. Тут самая нищета являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незнакомая с терзаньем и слезами, беспечно и живописно протягивавшая руку; картинные полки монахов, переходившие улицы в длинных белых или черных одеждах; нечистый рыжий капуцин, вдруг вспыхнувший на солнце светловерблюжьим цветом; наконец, это население художников, собравшихся со всех сторон света, которые бросили здесь узенькие лоскуточки одеяний европейских и явились в свободных живописных нарядах; их величественные осанистые бороды, снятые с портретов Леонарда да Винчи и Тициана, так непохожие на те урод-

ливые, узкие бородки, которые француз переделывает и стрижет себе по пяти раз в месяц. Тут художник почувствовал красоту длинных волнующихся волос и позволил им рассыпаться кудрями. Тут самый немец с кривизной ног своих и бесперехватностью стана получил значительное выражение, разнеся по плечам золотистые свои локоны, драпируясь легкими складками греческой блузы, или бархатным нарядом, известным под именем cinquecento, которое усвоили себе только одни художники в Риме. Следы строгого спокойствия и тихого труда отражались на их лицах. Самые разговоры и мненья, слышимые на улицах, в кафе, в остериях, были вовсе противоположны или не похожи на те, которые слышались ему в городах Европы. Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных преньях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров, раздавались споры и разногласья о выставленном произведении нового художника, толки о народных праздниках и, наконец, частные разговоры, в которых раскрывался

человек, вытесненные из Европы скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнавшими сердечное выражение из лиц.

Часто оставлял он город для того, чтобы оглянуть его окрестности, и тогда его поражали другие чудеса. Прекрасны были эти немые пустынные Римские поля, усеянные останками древних храмов, с невыразимым спокойствием расстилавшиеся вокруг, где пламенея сплошным золотом от слившихся вместе желтых цветков, где блеща жаром раздутого угля от пунцовых листов дикого мака. Они представляли четыре чудные вида на четыре стороны: с одной соединялись они прямо с горизонтом одной резкой ровной чертой, арки водопроводов казались стоящими на воздухе и как бы наклеенными на блистающем серебряном небе. С другой над полями сияли горы; не вырываясь порывисто и безобразно, как в Тироле или Швейцарии, но согласными плывучими линиями выгибаясь и склоняясь, озаренные чудною ясностью воздуха, они готовы были улететь в небо; у подошвы их неслася длинная аркада водопроводов подобно длин-

ному фундаменту, и вершина гор казалась воздушным продолжением чудного зданья, и небо над ними было уже не серебряное, но невыразимого цвету весенней сирени. С третьей — эти поля увенчивались тоже горами, которые уже ближе и выше возносились, выступая сильнее передними рядами и легкими уступами уходя в даль. В чудную постепенность цветов облекал их тонкий голубой воздух; и сквозь это воздушно-голубое их покрывало сияли чуть приметные дома и виллы Фраскати, где тонко и легко тронутые солнцем, где уходящие в светлую мглу пылившихся вдали чуть приметных роц. Когда же обращался он вдруг назад, тогда представлялась ему четвертая сторона вида: поля оканчивались самим Римом. Сияли резко и ясно углы и линии домов, круглость куполов, статуи Латранского Иоанна и величественный купол Петра, вырастающий выше и выше по мере отдаленья от него, и властительно остающийся наконец один на всем полгоризонте, когда уже совершенно скрылся весь город. Еще лучше любил он оглянуть эти поля с террасы которой-нибудь из вилл Фраскати или Альбано,

в часы захождения солнца. Тогда они казались необозримым морем, сиявшим и возносившимся из темных перил террасы; отлогости и линии исчезали в обнявшем их свете. Сначала они еще казались зеленоватыми, и по ним еще виднелись там и там разбросанные гробницы и арки, потом они сквозили уже светлой желтизною в радужных оттенках света, едва выказывая древние остатки, и, наконец, становились пурпурней и пурпурней, поглощая в себе и самый безмерный купол и сливаясь в один густой малиновый цвет, и одна только сверкающая вдали золотая полоса моря отделяла их от пурпурного, так же как и они, горизонта. Нигде, никогда ему не случалось видеть, чтобы поле превращалось в пламя, подобно небу. Долго полный невыразимого восхищенья, стоял он пред таким видом, и потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв всё, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер, над развалинами огнистыми фонтанами подымались светящиеся мухи, и неуклюжее

крылатое насекомое, несущееся стоймя, как человек, известное под именем дьявола, удалялось без толку ему в очи. Тогда только он чувствовал, что наступивший холод южной ночи уже прохватил его всего, и спешил в городские улицы, чтобы не схватить южной лихорадки.

Так протекала жизнь его в созерцаньях природы, искусств и древностей. Среди сей жизни почувствовал он, более нежели когда-либо, желание проникнуть поглубже историю Италии, доселе ему известную эпизодами, отрывками; без нее казалось ему неполно настоящее, и он жадно принялся за архивы, летописи и записки. Он теперь мог их читать не так, как италиянец-домосед, входящий и телом, и душою в читаемые события и не видящий из-за обступивших его лиц и происшествий всей массы целого, — он теперь мог оглядывать всё покойно, как из ватиканского окна. Пребыванье вне Италии, в виду шума и движенья действующих народов и государств, служило ему строгою поверкою всех выводов, сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство его глазу. Читая, те-

перь он еще более и вместе с тем беспристрастней был поражен величием и блеском минувшей эпохи Италии. Его изумляло такое быстрое разнообразное развитие человека на таком тесном углу земли, таким сильным движением всех сил. Он видел, как здесь кипел человек, как каждый город говорил своею речью, как у каждого города были целые томы истории; как разом возникли здесь все образы и виды гражданства и правлений: волнующиеся республики сильных непокорных характеров и полновластные деспоты среди их; целый город царственных купцов, опутанный сокровенными правительственными нитями, под призраком единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцев; сильные напоры и отпоры в недрах незначительного городка; почти сказочный блеск герцогов и монархов крохотных земель; меценаты, покровители и гонители; целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время; лира, циркуль, меч и палитра; храмы, воздвигающиеся среди браней и волнений; вражда, кровавая месть, великодушные черты и кучи романических происшествий част-

ной жизни среди политического общественного вихря и чудная связь между ними: такое изумляющее раскрытие всех сторон жизни политической и частной, такое пробуждение в столь тесном объеме всех элементов человека, совершавшихся в других местах только частями и на больших пространствах! — И всё это исчезло и прошло вдруг, всё застыло, как погаснувшая лава, и выброшено даже из памяти Европою как старый ненужный хлам. Нигде, даже в журналах, не выказывает бедная Италия своего развенчанного чела, лишенная значенья политического, а с ним и влиянья на мир.

И неужели, думал он, не воскреснет никогда ее слава? Неужели нет средств возвратить минувший блеск ее? И вспомнил он то время, когда еще в университете, в Лукке, бредил он о возобновлении ее минувшей славы, как это было любимой мыслью молодежи, как за стаканами добродушно и простосердечно мечтала она о том, и увидел он теперь, как близорука была молодежь, и как близоруки бывают политики, упрекающие народ в беспечности и лени. Почуял он теперь, смутясь, великий

перст, пред ним же повергается в прах немеющий человек, — великий перст, чертящий свыше всемирные события. Он вызвал из среды ее же гонимого ее гражданина, бедного генуэзца, который один убил свою отчизну, указав миру неведомую землю и другие широкие пути. Раздался всемирный горизонт, огромным размахом закипели движенья Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув могучие северные силы. Осталось пусто Средиземное море; как обмелевшее речное русло, обмелела обойденная Италия. Стоит Венеция, отразив в Адриатические волны свои потухнувшие дворцы, и разрывающей жалостью проникается сердце иностранца, когда поникший гондольер влечет его под пустынными стенами и разрушенными перилами безмолвных мраморных балконов. Онемела Феррара, пугая дикой мрачностью своего герцогского дворца. Глядят пустынно на всем пространстве Италии ее наклонные башни и архитектурные чудеса, очутясь среди равнодушного к ним поколенья. Звонкое эхо раздастся в шумевших когда-то улицах, и бедный ветурин подъезжает к грязной остерии, поселившейся

в великолепном дворце. В нищенском вретиче очутилась Италия, и пыльными отрепьями висят на ней куски ее померкнувшей царственной одежды. В порыве душевной жалости готов он был даже лить слезы. Но утешительная, величественная мысль приходила сама к нему в душу, и чуял он другим высшим чутьем, что не умерла Италия, что слышится ее неотразимое вечное владычество над всем миром, что вечно веет над нею ее великий гений, уже в самом начале завязавший в груди ее судьбу Европы, внесший крест в европейские темные леса, захвативший гражданским багром на дальнем краю их дикообразного человека, закипевший здесь впервые всемирной торговлей, хитрой политикой и сложностью гражданских пружин, вознесшийся потом всем блеском ума, венчавший чело свое святым венцом поэзии и, когда уже политическое влияние Италии стало исчезать, развернувшийся над миром торжественными дивами — искусствами, подарившими человеку неведомые наслажденья и божественные чувства, которые дотоле не подымались из лона души его. Когда же и век искус-

ства сокрылся, и к нему охладели погруженные в расчеты люди, он веет и разносится над миром в завывающих воплях музыки, и на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира, и на отдаленных, еще недавно диких, островах гремят восторженные плески звонким певцам. Наконец, самой ветхостью и разрушеньем своим он грозно владычествует ныне в мире: эти величавые архитектурные чудеса остались, как призраки, чтобы попрекнуть Европу в ее китайской мелочной роскоши, в игрушечном раздроблении мысли. И самое это чудное собрание отживших миров, и прелесть соединенья их с вечно-цветущей природой — всё существует для того, чтобы будить мир, чтоб жителю севера, как сквозь сон, представлялся иногда этот юг, чтоб мечта о нем вырывала его из среды хладной жизни, преданной занятиям, очерствляющим душу, — вырывала бы его оттуда, блеснув ему нежданно уносящею в даль перспективой, колизейскою ночью при луне, прекрасно умирающей Венецией, невидимым небесным блеском и теплыми поцелуями чудесного воздуха, — чтобы хоть раз в

жизни был он прекрасным человеком...

В такую торжественную минуту он примирился с разрушением своего отечества, и зрелись тогда ему во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный творец. В такие минуты он даже весьма часто задумывался над нынешним значением римского народа. Он видел в нем материал еще непочатый. Еще ни разу не играл он роли в блестящую эпоху Италии. Отмечали на страницах истории имена свои папы, да аристократические дома, но народ оставался незаметен. Его не зацеплял ход двигавшихся внутри и вне его интересов. Его не коснулось образование и не взметнуло вихрем сокрытые в нем силы. В его природе заключалось что-то младенчески благородное. Эта гордость римским именем, вследствие которой часть города, считая себя потомками древних квиритов, никогда не вступала в брачные союзы с другими. Эти черты характера, смешанного из добродушия и страстей, показывающие светлую его натуру: никогда римлянин не забывал ни зла, ни добра, он или добрый, или злой, или расточи-

тель, или скряга, в нем добродетели и пороки в своих самородных слоях и не смешались, как у образованного человека, в неопределенные образы, у которого всяких страстишек понемногу под верховным начальством эгоизма. Эта невоздержность и порыв развернуться на все деньги, — замашка сильных народов, — всё это имело для него значение. Эта светлая непритворная веселость, которой теперь нет у других народов: везде, где он ни был, ему казалось, что стараются тешить народ; здесь, напротив, он тешится сам. Он сам хочет быть участником, его насилу удержишь в карнавале; всё, что ни накоплено им в продолжение года, он готов промотать в эти полторы недели; всё усадит он на один наряд: оденется паяцом, женщиной, поэтом, доктором, графом, врет чепуху и лекции, и слушающему, и неслушающему, — и веселость эта обнимает как вихорь всех от сорокалетнего до ребятишки: последний бобыль, которому не во что одеться, выворачивает себе куртку, вымазывает лицо углем и бежит туда же, в пеструю кучу. И веселость эта прямо из его природы; ею не хмель действует, — тот же самый

народ освищет пьяного, если встретит его на улице. Потом черты природного художественного инстинкта и чувства: он видел, как простая женщина указывала художнику погрешность в его картине; он видел, как выражалось невольно это чувство в живописных одеждах, в церковных убранствах, как в Дженсано народ убирал цветочными коврами улицы, как разноцветные листики цветов обращались в краски и тени, на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы, портрет папы, вензеля, птицы, звери и арабески. Как накануне светлого воскресенья продавцы съестных припасов, *пиццикаролы*, убрали свои лавчонки: свиные окорока, колбасы, белые пузыри, лимоны и листья обращались в мозаику и составляли плафон; круги пармезанов и других сыров, ложась один на другой, становились в колонны; из сальных свечей составлялась бахрома мозаичного занавеса, драпировавшего внутренние стены; из сала белого, как снег, отливались целые статуи, исторические группы христианских и библейских содержаний, которые изумленный зритель принимал за алебастровые — вся лавоч-

ка обращалась в светлый храм, сияя позлащенными звездами, искусно освещаясь развешенными шкаликами и отражая зеркалами бесконечные кучи яиц. Для всего этого нужно было присутствие вкуса, и пиццакароло делал это не из каких-нибудь доходов, но для того, чтобы полюбовались другие и любоваться самому. Наконец, народ, в котором живет чувство собственного достоинства: здесь он il popolo[173], а не чернь, и носит в своей природе прямые начала времен первоначальных квиритов; его не могли даже совратить наезды иностранцев, развратителей недействующих наций, порождающие по трактирам и дорогам презреннейший класс людей, по которым путешественник произносит часто суждение обо всем народе. Самая нелепость правительственных постановлений, эта бессвязная куча всяких законов, возникших во все времена и отношения и не уничтоженных поныне, между которыми даже есть эдикты времен древней римской республики, — всё это не искоренило высокого чувства справедливости в народе. Он порицает несправедливого притязателя, освистывает гроб покойника и

впрягается великодушно в колесницу, везущую тело, любезное народу. Самые поступки духовенства, часто соблазнительные, произведшие бы в других местах разврат, почти не действуют на него: он умеет отделить религию от лицемерных исполнителей и не заразился холодной мыслью неверия. Наконец, самая нужда и бедность, неизбежный удел стоячего государства, не ведут его к мрачному злодейству: он весел и переносит всё, и только в романах да повестях режет по улицам. Всё это показывало ему стихии народа сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди. Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования. Самое духовное правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния, чтоб никто из честолюбивых соседей не посягнул на его личность, чтобы до времени в тишине таилась его гордая народность. Притом здесь, в Риме, не слышалось что-то умершее; в самых развалинах

и великолепной бедности Рима не было того томительного, проникающего чувства, которым объемлется невольно человек, созерцающий памятники заживо умирающей нации. Тут противоположное чувство: тут ясное, торжественное спокойство. И всякой раз, соображая всё это, князь предавался невольно размышлениям, и стал подозревать какое-то таинственное значение в слове “вечный Рим”.

Итог всего этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ. Он его следил на улицах, в кафе, где в каждом были свои посетители: в одном антикварианте, в другом стрелки и охотники, в третьем кардинальские слуги, в четвертом художники, в пятом вся римская молодежь и римское щегольство; следил в остериях, чисто-римских остериях, куда не заходит иностранец, где римский *pobile* садится иногда рядом с миненте, и общество скидает с себя сюртуки и галстухи в жаркие дни; следил его в загородных живописно-невзрачных трактиришках, с воздушными окнами без стекол, куда фамилиями и компаниями наезжали римляне обедать, или, по их выражению, *far allegria* (Веселиться).

(итал.)). Он садился и обедал вместе с ними, вмешивался охотно в разговор, дивясь весьма часто простому здравомыслию и живой оригинальности рассказа простых неграмотных горожан. Но более всего он имел случай узнавать его во время церемоний и празднеств, когда всплывает наверх всё народонаселение Рима и вдруг показывается несметное множество дотоле неподозреваемых красавиц, — красавиц, чьи образы мелькают только в барельефах, да в древних антологических стихотворениях. Эти полные взоры, алебастровые плечи, смолистые волосы, в тысяче разных образов поднятые на голову, или опрокинутые назад, картинно пронзенные насквозь золотой стрелой, руки, гордая походка, везде черты и намеки на серьезную классическую красоту, а не легкую прелесть грациозных женщин. Тут женщины казались подобны зданьям в Италии: они или дворцы, или лачужки, или красавицы, или безобразные; середины нет между ними: хорошеньких нет. Он ими наслаждался, как наслаждался в прекрасной поэме стихами, выбившимися из ряду других и насылавшими свежитель-

ную дрожь на душу. Но скоро к таким наслаждениям присоединилось чувство, объявившее сильную борьбу всем прочим, — чувство, которое вызвало из душевного дна сильные человеческие страсти, поднимающие демократический бунт против высокого единодержавия души: он увидел Аннунциату. И вот таким образом мы добрались, наконец, до светлого образа, который озарил начало нашей повести.

Это было во время карнавала. — Сегодня я не пойду на Корсо, сказал принчипе своему *maestro di casa*, выходя из дому: мне надоедет карнавал, мне лучше нравятся летние праздники и церемонии...

— Но разве это карнавал? — сказал старик, — это карнавал ребят. Я помню карнавал: когда по всему Корсо ни одной кареты не было, и всю ночь гремела по улицам музыка; когда живописцы, архитекторы и скульпторы выдумывали целые группы, истории; когда народ, — князь понимает: весь народ, все, все золотильщики, рамщики, мозаичисты, прекрасные женщины, вся синьория, все *nobili*, все, все, все... *o quanta allegria*[174]! Вот когда

был карнавал так карнавал, а теперь что́ за карнавал? Э! сказал старик и пожал плечами, потом опять сказал: э! — и пожал плечами, и потом уже произнес: *E una porcheria*[175]. — Затем *maestro di casa* в душевном порыве сделал необыкновенно сильный жест рукою, но утишился, увидев, что князя давно пред ним не было. Он был уже на улице. Не желая участвовать в карнавале, он не взял с собой ни маски, ни железной сетки на лицо, и забросившись плащом, хотел только пробраться через Корсо на другую половину города. Но народная толпа была слишком густа. Едва только продрался он между двух человек, как уже попотчивали его сверху мукой; пестрый арлекин ударил его по плечу трещоткою, пролетев мимо с своей коломбиною; конфетти и пучки цветов полетели ему в глаза, с двух сторон стали ему жужжать в уши: с одной стороны граф, с другой медик, читавший ему длинную лекцию о том, что у него находится в желудочной кишке. Пробраться между них не было сил, потому что народная толпа возросла; цепь экипажей, уже не будучи в возможности двинуться, остановилась. Внима-

ние толпы занял какой-то смельчак, шагавший на ходулях вравне с домами, рискуя всякую минуту быть сбитым с ног и грохнуться насмерть о мостовую. Но об этом, кажется, у него не было забот. Он тащил на плечах чучело великана, придерживая его одной рукою, неся в другой написанный на бумаге сонет, с приделанным к нему бумажным хвостом, какой бывает у бумажного змея, и крича во весь голос: *Ecco il gran poeta morto! Ecco il suo sonetto colla coda*[176]. Этот смельчак сгустил за собою толпу до такой степени, что князь едва мог перевести дух. Наконец, вся толпа двинулась вперед за мертвым поэтом; цепь экипажей тронулась, чему он обрадовался сильно, хоть народное движение сбilo с него шляпу, которую он теперь бросился подымать. Поднявши шляпу, он поднял вместе и глаза, и остолбенел: перед ним стояла неслышанная красавица. Она была в сияющем альбанском наряде в ряду двух других тоже прекрасных женщин, которые были пред ней как ночь пред днем. Это было чудо в высшей степени. Всё должно было померкнуть пред этим блеском. Глядя на нее, становилось ясно, по-

чему итальянские поэты и сравнивают красавиц с солнцем. Это именно было солнце, полная красота. Всё, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, всё это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого обратить в художника, — как художник, глядел бы он на них вечно, не смеядохнуть. Пред ее ногами показались бы щепками ноги англичанок, немок, француженок и женщин всех других наций; одни только древние ваятели удержали высокую идею красоты их в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить! Тут не нужно было иметь какой-нибудь особенный вкус; тут все вкусы должны были сойтись, все должны были повергнуться ниц; и верующий и неверующий упали бы пред ней как пред внезапным явлением божества. Он видел, как весь народ, сколько его там ни было, загляделся на нее, как женщины выра-

зили невольное изумленье на своих лицах, смешанное с наслажденьем, и повторяли: “O, bella” [177], как всё что́ ни было, казалось, превратилось в художника и смотрело пристально на одну ее. Но в лице красавицы написано было только одно вниманье к карнавалу: она смотрела только на толпу и на маски, не замечая обращенных на нее глаз, едва слушая стоявших позади ее мужчин в бархатных куртках, вероятно, родственников, пришедших вместе с ними. Князь принимался было спрашивать у близ стоявших около себя, кто была такая чудная красавица и откуда. Но везде получал в ответ одно только пожатье плечьми, сопровождаемое жестом, и слова: “не знаю, должно быть, иностранка”. Недвижный, утаив дыханье, он поглощал ее глазами. Красавица, наконец, навела на него свои полные очи, но тут же смутилась и отвела их в другую сторону. Его пробудил крик: пред ним остановилась громадная телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним длинным восклицаньем: у, у, у... И в одну минуту с ног до голо-

вы был он обсыпан белой пылью, при громком смехе всех обступивших его соседей. Весь белый, как снег, даже с белыми ресницами, князь побежал наскоро домой переодеться.

Покамест он сбегал домой, пока успел переодеться, уже только полтора часа оставалось до Ave Maria. С Корсо возвращались пустые кареты: сидевшие в них перебрались на балконы смотреть оттуда не перестававшую двигаться толпу, в ожидании конного бега. При повороте на Корсо встретил он телегу, полную мужчин в куртках и сияющих женщин с цветочными венками на головах, с бубнами и тимпанами в руках. Телега, казалось, весело возвращалась домой, бока ее были убраны гирляндами, спицы и ободья колес увиты зелеными ветвями. Сердце его захолонуло, когда он увидел, что среди женщин сидела в ней поразившая его красавица. Сверкающим смехом озарялось ее лицо. Телега быстро промчалась при кликах и песнях. Первым делом его было бежать вслед ее, но дорогу перегородил ему огромный поезд музыкантов: на шести колесах везли страшилищной величины скрипку. Один человек сидел верхом на

подставке, другой, идя сбоку ее, водил громадным смычком по четырем канатам, натянутым на нее вместо струн. Скрыпка, вероятно, стоила больших трудов, издержек и времени. Впереди шел исполинский барабан. Толпа народа и мальчишек тесно валила вслед за музыкальным поездом, и шествие замыкал известный в Риме своей толщиною пиццикароло, неся клистирную трубку вышиною в колокольню. Когда улица очистилась от поезда, князь увидел, что бежать за телегой глупо и поздно, и притом неизвестно, по каким дорогам понеслась она. Он не мог, однакоже, откаться от мысли искать ее. В воображеньи его порхал этот сияющий смех и открытые уста с чудными рядами зубов. “Это блеск молнии, а не женщина”, повторял он в себе, и в то же время с гордостью прибавлял: “Она римлянка. Такая женщина могла только родиться в Риме. Я должен непременно ее увидеть. Я хочу ее видеть, не с тем, чтобы любить ее, нет, я хотел бы только смотреть на нее, смотреть на всю ее, смотреть на ее очи, смотреть на ее руки, на ее пальцы, на блистающие волосы. Не целовать ее, хотел бы только глядеть на нее.

И что же? Ведь это так должно быть, это в законе природы; она не имеет права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того в мир, чтобы всякой ее увидал, чтобы идею о ней сохранял навечно в своем сердце. Если бы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имела право принадлежать одному, ее бы мог он унести в пустыню, скрыть от мира. Но красота полная должна быть видима всем. Разве великолепный храм строит архитектор в тесном переулке? Нет, он ставит его на открытой площади, чтобы человек со всех сторон мог оглянуть его и подивиться ему. Разве для того зажжен светильник, сказал божественный учитель, чтобы скрывать его и ставить под стол? Нет, светильник зажжен для того, чтобы стоять на столе, чтобы всем было видно, чтобы все двигались при его свете. Нет, я должен ее видеть непременно". — Так рассуждал князь, и потом долго передумывал и перебирал все средства, как достигнуть этого, — наконец, как казалось, остановился на одном, и отправился тут же, ни мало не медля, в одну из тех отдаленных улиц, которых много в Ри-

ме, где нет даже кардинальского дворца с выставленными росписными гербами на деревянных овальных щитах, где виден номер над каждым окном и дверью тесного домишка, где идет горбом выпученная мостовая, куда из иностранцев заглядывает только разве пройдоха немецкий художник с походным стулом и красками, да козел, отставший от проходящего стада и остановившийся посмотреть с изумленьем, что за улица, им никогда не виданная. Тут раздается звонко лепет римлянок: со всех сторон, из всех окон несутся речи и переговоры. Тут всё откровенно, и проходящий может совершенно знать все домашние тайны; даже мать с дочерью разговаривают не иначе между собою, как высунув обе свои головы на улицу; тут мужчин незаметно вовсе. Едва только блеснет утро, уже открывает окно и высовывается сьора Сусанна, потом из другого окна выказывается сьора Грация, надевая юбку. Потом открывает окно сьора Нанна. Потом вылезает сьора Лучия, расчесывая гребнем косу; наконец, сьора Чечилия высовывает руку из окна, чтобы достать белье на протянутой веревке,

которое тут же и наказывается за то, что долго не дало достать себя, наказывается скомканьем, киданьем на пол и словами: *che bestia!* [178]. Тут всё живо, всё кипит: летит из окна башмак с ноги в шалуна сына или в козла, который подошел к корзинке, где поставлен годовой ребенок, принялся его нюхать и наклоня голову, готовился ему объяснить, что такое значат рога. Тут ничего не было неизвестного: всё известно. Синиоры всё знали, что ни есть: какой съора Джюдита купила платок, у кого будет рыба за обедом, кто любовник у Барбаручьи, какой капуцин лучше исповедует. Изредка только вставляет свое слово муж, стоящий обыкновенно на улице, облокотясь у стены, с коротенькою трубкою в зубах, почитавший необходимостью, услыша о капуцине, прибавить короткую фразу: “все мошенники”, после чего продолжал снова пускать под нос себе дым. Сюда не заезжала никакая карета, кроме разве только одной двухколесной трясушки, запряженной мулом, привезшим хлебнику муку, и сонного осла, едва дотащившего перекидную корзину с брокколиями, несмотря на все понуканья мальчишек,

утобжающих камнями его нещекотливые бока. Тут нет никаких магазинов, кроме лавчонки, где продавался хлеб и веревки, с стеклянными бутылками, да темного узенького кофе, находившегося в самом углу улицы, откуда виден был беспрестанно выходивший боттега, разносивший синиорам кофей или шеколад на козьем молоке, в жестяных маленьких кофейничках, известный под именем: Авроры. Дома тут принадлежали двум, трем, а иногда и четырем владельцам, из которых один имеет только пожизненное право, другой владеет одним этажем и имеет право пользоваться с него доходом только два года, после чего, вследствие завещания, этаж должен был перейти от него к padre Vincenzo на 10 лет, у которого, однакоже, хочет оттянуть его какой-то родственник прежней фамилии, живущий во Фраскати и уже заблаговременно затеявший процесс. Были и такие владельцы, которые владели одним окном в одном доме, да другими двумя в другом доме, да пополам с братом пользовались доходами с окна, за которое, впрочем, вовсе не платил неисправный жилец — словом, предмет неистоцимый

тяжб и продовольствия адвокатов и куриалов, наполняющих Рим. Дамы, о которых только что было упомянуто, все, как перво-классные, честимые полными именами, так и второстепенные, называвшиеся уменьшительными именами, все Тетты, Тутты, Нанны, большею частию ничем не занимались; они были супруги: адвоката, мелкого чиновника, мелкого торгоша, носильщика, факина, а чаще всего незанятого гражданина, умевшего только красиво драпироваться не весьма надежным плащом.

Многие из синиор служили моделями для живописцев. Тут были всех родов модели. Когда бывали деньги, они проводили весело время в остерии с мужьями и целой компанией, не было денег — не были скучны и глядели в окно. Теперь улица была тише обыкновенного, потому что некоторые отправились в народную толпу на Корсо. Князь подошел к ветхой двери одного домишка, которая вся была выверчена дырами, так что сам хозяин долго тыкал в них ключем, покамест попадал в настоящую. Уже готов он был взяться за кольцо, как вдруг услышал слова: “Сиор

прин-чипе хочет видеть Пеппе?” Он поднял голову вверх: из третьего этажа глядела, высунувшись, сьора Тутта.

— Экая крикунья, сказала из супротивного окна сьора Сусанна: — Принчипе, может быть, совсем пришел не с тем, чтоб видеть Пеппе.

— Конечно с тем, чтобы видеть Пеппе, не правда ли, князь? С тем, чтобы видеть Пеппе, не так ли, князь? Чтобы увидеть Пеппе?

— Какой Пеппе, какой Пеппе! продолжала с жестом обеими руками сьора Сусанна. — Князь стал бы думать теперь о Пеппе! Теперь время карнавала, князь поедет вместе с своей куджиной, маркезой Монтелли, поедет с друзьями в карете бросать цветы, поедет за город *far allegria*. Какой Пеппе! Какой Пеппе!

Князь изумился таким подробностям о своем препровождении времени; но изумляться ему было нечего, потому что сьора Сусанна знала всё.

— Нет, мои любезные синиоры, сказал князь: мне, точно, нужно видеть Пеппе.

На это дала ответ князю уже синиора Грация, которая давно высунулась из окошка

второго этажа и слушала. Ответ дала она, слегка пощелкав языком и покрутив пальцем — обыкновенный отрицательный знак у римлян — и потом прибавила: нет дома.

— Но, может быть, вы знаете, где он, куда ушел?

— Э! куды ушел! повторила съора Грация, приклонив голову к плечу. — Статься может, в остерии, на площади, у фонтана; верно, кто-нибудь позвал его, куда-нибудь ушел, *chi lo sa* [179]!

— Если хочет принчипе что-нибудь сказать ему, подхватила из супротивного окна Барбаручья, надевая в то же время серьгу в свое ухо: пусть скажет мне, я ему передам.

— Ну нет, подумал князь и поблагодарил за такую готовность. В это время выглянул из перекрестного переулка огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ним губами и всем лицом. Это был сам Пеппе.

— Вот Пеппе! вскрикнула съора Сусанна.

— Вот идет Пеппе, *sior principe*[180], вскрикнула живо из своего окна синиора Грация.

— Идет, идет Пеппе! зазвенела из самого угла улицы съора Чечилия.

— Принчипе, принчипе! вон Пеппе, вон Пеппе (ессо Рерре, ессо Рерре)! кричали на улице ребятишки.

— Вижу, вижу — сказал князь, оглушенный таким живым криком.

— Вот я, *esselenza*[181], вот! сказал Пеппе, снимая шапку. Он, как видно, уже успел по-пробовать карнавала. Его откуда-нибудь сбокухватило сильно мукою. Весь бок и спина были у него выбелены совершенно, шляпа изломана, и всё лицо было убито белыми гвоздями. Пеппе уже был замечателен потому, что всю жизнь свою остался с уменьшительным именем своим Пеппе. До Джьузеппе он никак не добрался, хотя и поседел. Он происходил даже из хорошей фамилии, из богатого дома негоцианта, но последний домишка был у него оттяган тяжбой. Еще отец его, человек тоже в роде самого Пеппе, хотя и назывался *signor* Джюванни, проел последнее имущество, и он мыкал теперь свою жизнь подобно многим, то есть как приходилось: то вдруг определялся слугой у какого-нибудь иностранца,

то был на посылках у адвоката, то являлся убирателем студии какого-нибудь художника, то сторожем виноградника или виллы, и по мере того изменялся на нем беспрестанно костюм. Иногда Пеппе попадался на улице в круглой шляпе и широком сюртуке, иногда в узеньком кафтане, лопнувшем в двух или трех местах, с такими узенькими рукавами, что длинные руки его выглядывали оттуда как метлы, иногда на ноге его являлся поповский чулок и башмак, иногда он показывался в таком костюме, что уж и разобрать было трудно, тем более, что всё это было надето вовсе не так, как следует: иной раз просто можно было подумать, что он надел на ноги вместо панталон куртку, собравши и завязавши ее кое-как сзади. Он был самый радушный исполнитель всех возможных поручений, часто вовсе безынтересно: тащил продавать всякую ветошь, которую поручали дамы его улицы, пергаментные книги разорившегося аббата или антиквария, картину художника; заходил по утрам к аббатам забирать их панталоны и башмаки для почистки к себе на дом, которые потом позабывал в урочное время от-

нести назад, от излишнего желанья услужить кому-нибудь попавшемуся третьему, и аббаты оставались арестованными без башмаков и панталон на весь день. Часто ему перепали порядочные деньги, но деньгами он распоряжался по-римски, то есть на завтра никогда почти их не ставало, не потому чтобы он тратил на себя или проедал, но потому что всё у него шло на лотерею, до которой был он страшный охотник. Вряд ли существовал такой номер, которого бы он не попробовал. Всякое незначащее ежедневное происшествие у него имело важное значение. Случилось ли ему найти на улице какую-нибудь дрянь, он тот же час справлялся в гадательной книге, за каким номером она там стоит, с тем чтобы его тотчас же взять в лотерею. Приснился ему однажды сон, что сатана, который и без того ему снился неизвестно по какой причине в начале каждой весны, — что сатана потащил его за нос по всем крышам всех домов, начиная от церкви св. Игнатия, потом по всему Корсо, потом по переулку *tre Ladroni* [182], потом по *via della stamperia* [183] и остановился наконец у самой *trinita* [184] на лест-

нице, приговаривая: вот тебе, Пеппе, за то что ты молился св. Панкратию: твой билет не выиграет. — Сон этот произвел большие толки между сьорой Чечилией, сьорой Сусанной и всей почти улицей; но Пеппе разрешил его по-своему: сбегал тот же час за гадательной книгой, узнал, что чорт значит 13 номер, нос 24, святой Панкратий 30, и взял того же утра все три нумера. Потом сложил все три нумера, вышел: 67, он взял и 67. Все четыре нумера по обыкновенью лопнули. В другой раз случилось ему завести перепалку с виноградарем, толстым римлянином, сиором Рафаэлем Томачели. За что они поссорились, — бог их ведает, но кричали они громко, производя сильные жесты руками, и, наконец, оба побледнели — признак ужасный, при котором обыкновенно со страхом высовываются из окон все женщины и проходящий пешеход отсторонивается подальше, — признак, что дело доходит, наконец, до ножей. И точно, толстый Томачели запустил уже руку за ременное голенище, обтягивавшее его толстую икру, чтобы вытащить оттуда нож, и сказал: “Погоди ты, вот я тебя, телячья голова!” как вдруг Пеппе

ударил себя рукою по лбу и убежал с места битвы. Он вспомнил, что на телячью голову он еще ни разу не взял билета; отыскал номер телячьей головы и побежал бегом в лотерейную контору, так что все, приготовившиеся смотреть кровавую сцену, изумились такому неожиданному поступку, и сам Рафаэль Томачели, засунувши обратно нож в голенище, долго не знал, что ему делать, и наконец сказал: *che uomo curioso!*[185] Что билеты лопались и пропадали, этим не смущался Пеппе. Он был твердо уверен, что будет богачем, и потому, проходя мимо лавок, спрашивал почти всегда, что стоит всякая вещь. Один раз, узнавши, что продается большой дом, он зашел нарочно поговорить об этом с продавцом, и когда стали над ним смеяться знавшие его, он отвечал очень простодушно: “но к чему смеяться, к чему смеяться? Я ведь не теперь хотел купить, а после, со временем, когда будут деньги. Тут ничего нет такого... всякой должен приобретать состояние, чтобы оставить потом детям, на церковь, бедным, на другие разные вещи... *chi lo sa!*”[186]. Он уже давно был известен князю, был даже когда-то взят

отцом его в дом в качестве официанта, и тогда же прогнан, за то, что в месяц износил свою ливрею и выбросил за окно весь туалет старого князя, нечаянно толкнув его локтем.

— Послушай, Пеппе — сказал князь.

— Что хочет приказать есселенза? говорил Пеппе, стоя с открытою головою: князю стоит только сказать: “Пеппе!” а я: “Вот я.” Потом князь пусть только скажет: “Слушай, Пеппе”, а я: “ессо те, есселенза!”[187].

— Ты должен, Пеппе, сделать мне теперь вот какую услугу... При сих словах князь взглянул вокруг себя и увидел, что все съоры Грации, съоры Сусанны, Барбаручьи, Тетты, Тутты, — все, сколько их ни было, выставились любопытно из окна, а бедная съора Чечилия чуть не вывалилась вовсе на улицу.

— Ну, дело плохо! подумал князь. — Пойдем, Пеппе, ступай за мною.

Сказавши это, он пошел вперед, а за ним Пеппе, потупив голову и разговаривая сам с собою: “Э! женщины, потому и любопытны, потому что женщины, потому что любопытны”.

Долго шли они из улицы в улицу, погру-

зьясь каждый в свои соображения. Пеппе думал вот о чем: князь даст верно, какое-нибудь поручение, может быть, важное, потому что не хочет сказать при всех; стало быть, даст хороший подарок или деньги. Если же князь даст денег, что с ними делать? Отдавать ли их сиору Сервилию, содержателю кафе, которому он давно должен? потому что сиор Сервилио на первой же неделе поста непременно потребует с него денег, потому что сиор Сервилио усадил все деньги на чудовищную скрыпку, которую собственноручно делал три месяца для карнавала, чтоб проехаться с нею по всем улицам, — теперь, вероятно, сиор Сервилио долго будет есть, вместо жареного на вертеле козленка, одни брокколи, вареные в воде, пока не наберет вновь денег за кофий. Или же не платить сиору Сервилию, да вместо того позвать его обедать в остерию, потому что сиор Сервилио *il vero Romano*[188] и за предложенную ему честь будет готов потерпеть долг, — а лотерея непременно начнется со второй недели поста. Только каким образом до того времени уберечь деньги, как сохранить их так, чтобы не узнал ни Дзякомо,

ни мастер Петруччо, точильщик, которые непременно попросят у него займы, потому что Джякомо заложил в Гету жидам всё свое платье, а мастер Петруччо тоже заложил свое платье в Гету жидам и разорвал на себе юбку и последний платок жены, нарядясь женщиною... как сделать так, чтобы не дать им займы? Вот о чем думал Пеппе.

Князь думал вот о чем: Пеппе может разыскать и узнать имя, где живет, и откуда, и кто такая красавица. Во-первых, он всех знает, и потому больше, нежели всякой другой, может встретить в толпе приятелей, может чрез них разведать, может заглянуть во все кафе и остерии, может заговорить даже, не возбудив ни в ком подозрения своей фигурой. И хотя он подчас болтун и рассеянная голова, но, если обязать его словом настоящего римлянина, он сохранит всё втайне.

Так думал князь, идя из улицы в улицу, и наконец остановился, увидевши, что уже давно перешел мост, давно уже был в Транстиверской стороне Рима, давно взбирается на гору, и не далеко от него церковь S. Pietro in Montorio. Чтобы не стоять на дороге, он взо-

шел на площадку, с которой открывался весь Рим, и произнес, оборотившись к Пеппе: “слушай, Пеппе, я от тебя потребую одной услуги”.

— Что хочет есселенза? сказал опять Пеппе.

Но здесь князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город. Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке один из-за другого выходили дома, крыши, статуи, воздушные террасы и галлерей; там пестрела и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколен и куполов с узорною капризностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол Пантеона; там убранная верхушка Антониновской колонны с капителью и статуей апостола Павла; еще правее возносили верхи капитолийские здания с конями, статуями; еще правее над блестящей толпой домов и крыш величественно и строго подымалась темная ширина Колизейской громады; там опять играющая толпа стен, террас и куполов, покрытая ослепительным блеском солнца. И над всей сверкающей

сей массой темнели вдали своей черною зеленью верхушки каменных дубов из вилл Людовизи, Медичис, и целым стадом стояли над ними в воздухе куполообразные верхушки римских пинн, поднятые тонкими стволами. И потом во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом. Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и сочетанья всех планов этой картины. Воздух был до того чист и прозрачен, что малейшая черточка отдаленных зданий была ясна, и всё казалось так близко, как будто можно было схватить рукою. Последний мелкий архитектурный орнамент, узорное убранство карниза — всё вызначалось в непостижимой чистоте. В это время раздались: пушечный выстрел и отдаленный слившийся крик народной толпы, — знак, что уже пробежали кони без седоков, завершающие день карнавала. Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе: еще живей и ближе сделался город; еще темней зачернели пинны; еще голубее и фосфорнее

стали горы; еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух... Боже, какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и всё что ни есть на свете.

Мёртвые души (поэма)

Том первый



Глава первая

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так,

чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах,

живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать ниспосланный ему Богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был

выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и банками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около

лошадей, а лакей Петрушка стал устраиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие сверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда

половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками, — словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусства, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пи-

рожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему все это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор — о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой, по обыкновению, отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, — словом, не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ

крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии — повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностью, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой номер, где, при-

легши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям». Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно была в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского

портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконической надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что «город

наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день», и что при этом «было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику». Расспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу, с тем чтобы, пришедши домой, прочесть ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее, с узелком в руке, и, еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу,

поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору — девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом перевернул на другую сторону: узнать, нет ли там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.

Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был

большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками... жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будочников; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкою два раза: «ваше

превосходительство», что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю.

О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностью, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он не значащий червь мира сего и не достоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за неприменный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приез-

жем оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их извнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляска с фонарями, перед подъездом два жандарма, фрейторские крики вдали — словом, всё как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами

там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, поднимающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяйева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приез-

жий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский

слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как говорят французы, — волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь — и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены,

потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», — человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, — которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько

набок, впрочем, не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!», если же король: «Пошел, тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я ее по усам!» Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «А! была не была, не с чего, так с бубен!» Или же просто восклицания: «черви! червоточина! пикенция!» или: «пи-

кендрас! пичурущух пичура!» и даже просто: «пичук!» — названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но: «вы изволили пойти», «я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находятся их имения, а потом уже осведомился, как

имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только пятнадцать верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклонением головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «И ко мне прошу», — шаркнувши ногою, обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, челове-

ком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырёх слов начал говорить «ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески; но, когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого; на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о

хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре — и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор — что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты — что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер — что он почтенный и лю-

безный человек; жена полицеймейстера — что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!» — и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти всего города.

Глава вторая

Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится,

очень приятно время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более серьезное, ближе к сердцу... Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку; Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, — но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем и с этой стороны, несмотря на то что сам человек рус-

ский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, не много времени и места, потому что не много нужно прибавить к тому, что уже читатель знает, то есть что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел, по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы. Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, — он всё читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновен-

ния, составлявшие две другие его характерические черты: спать не раздеваясь, так, как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет десять жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувши к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом; или подходил с щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал, — может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош, не надоело тебе сорок раз повторять одно и то же», — Бог ведает, трудно знать, что думает дворовый крепост-

ной человек в то время, когда барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек... Но автор весьма сожалеет, занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими условиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаваться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни при- скорбно то и другое, а все, однако ж, нужно возвратиться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поут-

ру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрою губкой, что делалось только по воскресным дням, — а в тот день случись воскресенье, — выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротинке!» Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыснул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю,

чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по снурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков, по обыкновению, зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшие навстречу, то вряд ли бы довелось им пографить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал:

— Маниловка, может быть, а не Заманиловка?

— Ну да, Маниловка.

— Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть, так прямо направо.

— Направо? — отозвался кучер.

— Направо, — сказал мужик. — Это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный, в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь и не было.

Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим

местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частью по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые героиня наша, неизвестно по каким причинам, в ту же минуту принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в

пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попова; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то что голова продолблена была до самого мозга носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже хлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к

крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.

— Павел Иванович! — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. — На силу вы таки нас вспомнили!

Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ — и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей, — эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напря-

гать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.

Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует прикнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» — и отойдешь подальше; если же не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если кос-

нешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтись на гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности стационарного зрителя или ямщиков, — словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказ-

чик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать», — «Да, недурно», — отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да, именно недурно», — повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, по́дать заработать», — «Ступай», — говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложённая закладкою на четырнадцатой стра-

нице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недоставало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутрным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или

кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготавлиемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были, то что говорится, счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и

повесничают все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время; все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепьяно. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова... но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям,

которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.

— Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после, — говорил Чичиков.

— Нет, Павел Иванович, нет, вы гость, — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

— Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите, — говорил Чичиков.

— Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.

— Почему ж образованному?.. Пожалуйста, проходите.

— Ну да уж извольте проходить вы.

— Да отчего ж?

— Ну да уж оттого! — сказал с приятною улыбкою Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.

— Позвольте мне вам представить жену мою, — сказал Манилов. — Душенька! Павел Иванович!

Чичиков, точно, увидел даму, которую он совершенно было не заметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была недурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета; тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела; Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем.

— Да, — примолвил Манилов, — уж она, бывало, все спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» — «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение... майский день... именины сердца...

Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного.

— Вы всё имеете, — прервал Манилов с такою же приятною улыбкою, — всё имеете, даже еще более.

— Как вам показался наш город? — примолвила Манилова. — Приятно ли провели там время?

— Очень хороший город, прекрасный город, — отвечал Чичиков, — и время провел очень приятно: общество самое обходительное.

— А как вы нашли нашего губернатора? — сказала Манилова.

— Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек? — прибавил Манилов.

— Совершенная правда, — сказал Чичиков, — препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее! Нужно желать побольше таких людей.

— Как он может этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатность в своих поступках, — присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.

— Очень обходительный и приятный человек, — продолжал Чичиков, — и какой искусник! я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры! Он мне показывал своей работы кошелек: редкая дама может так искусно вышить.

— А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек? — сказал Манилов, опять несколько прищуриив глаза.

— Очень, очень достойный человек, — отвечал Чичиков.

— Ну, позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?

— Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних пестухов; очень, очень достойный человек.

— Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера? — прибавила Манилова. — Не правда ли, прелюбезная женщина?

— О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю, — отвечал Чичиков.

Засим не пропустили председателя пала-

ты, почтмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

— Вы всегда в деревне проводите время? — сделал наконец, в свою очередь, вопрос Чичиков.

— Больше в деревне, — отвечал Манилов. — Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти.

— Правда, правда, — сказал Чичиков.

— Конечно, — продолжал Манилов, — другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое... — Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарাপортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал: — Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого... Вот только ино-

гда почитаешь «Сын отечества».

Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединенье, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу...

— Но знаете ли, — прибавил Манилов, — все если нет друга, с которым бы можно поделиться...

— О, это справедливо, это совершенно справедливо! — прервал Чичиков. — Что все сокровища тогда в мире! «Не имей денег, имей хороших людей для обращения», — сказал один мудрец.

— И знаете, Павел Иванович! — сказал Манилов, явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента. — Тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение... Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором...

— Помилуйте, что ж за приятный разговор?.. Ничтожный человек, и больше ничего, — отвечал Чичиков.

— О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным: я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы!..

— Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее...

Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.

— Прошу покорнейше, — сказал Манилов. — Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу.

Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чичиков вошел боком в столовую.

В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, покло-

нившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку; гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки.

— Какие миленькие дети, — сказал Чичиков, посмотрев на них, — а который год?

— Старшему осьмой, а меньшему вчера только минуло шесть, — сказала Манилова.

— Фемистоклюс! — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку.

Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому, неизвестно почему, Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привести лицо в обыкновенное положение.

— Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?

Здесь учитель обратил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но наконец совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал: «Париж».

— А у нас какой лучший город? — спросил

опять Манилов.

Учитель опять настроил внимание.

— Петербург, — отвечал Фемистоклюс.

— А еще какой?

— Москва, — отвечал Фемистоклюс.

— Умница, душенька! — сказал на это Чичиков. — Скажите, однако ж... — продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым, — в такие лета и уже такие сведения! Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности.

— О, вы еще не знаете его, — отвечал Манилов, — у него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшей, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс, — продолжал он, снова обратясь к нему, — хочешь быть посланником?

— Хочу, — отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.

В это время стоявший позади лакей утер

посланнику нос, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемый замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал по столу, устремив глаза на сидевших насупротив его детей. Это было у места, потому что Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий

раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда».

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.

— В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет, — сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. — Вот мой уголок, — сказал Манилов.

— Приятная комнатка, — сказал Чичиков, окинувши ее глазами.

Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой, четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенною закладкою, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучею на

столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени.

— Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах, — сказал Манилов. — Здесь вам будет попокойнее.

— Позвольте, я сяду на стуле.

— Позвольте вам этого не позволить, — сказал Манилов с улыбкою. — Это кресло у меня уж ассигновано для гостя: ради или не ради, но должны сесть.

Чичиков сел.

— Позвольте мне вас попотчевать трубкою.

— Нет, не курю, — отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.

— Отчего? — сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления.

— Не сделал привычки, боюсь; говорят, трубка сушит.

— Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать та-

бак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, но, благодаря Бога, до сих пор так здоров, как нельзя лучше.

Чичиков заметил, что это, точно, случается и что в натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума.

— Но позвольте прежде одну просьбу... — проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем неизвестно отчего оглянулся назад. Манилов тоже неизвестно отчего оглянулся назад. — Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?[189]

— Да уж давно; а лучше сказать, не припомню.

— Как с того времени много у вас умерло крестьян?

— А не могу знать; об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек! позови приказчика, он должен быть сегодня здесь.

Приказчик явился. Это был человек лет

под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики: был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики: водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягла[190] победнее, проснувшись в девятом часу утра, поджидал самовара и пил чай.

— Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?

— Да как сколько? Многие умирали с тех пор, — сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою, наподобие щитка.

— Да, признаюсь, я сам так думал, — подхватил Манилов, — именно, очень многие умирали! — Тут он оборотился к Чичикову и прибавил еще: — Точно, очень многие.

— А как, например, числом? — спросил Чичиков.

— Да, сколько числом? — подхватил Манилов.

— Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало, их никто не считал.

— Да, именно, — сказал Манилов, обратясь к Чичикову, — я тоже предполагал, большая смертность; совсем неизвестно, сколько умерло.

— Ты, пожалуйста, их перечти, — сказал Чичиков, — и сделай подробный реестрик всех поименно.

— Да, всех поименно, — сказал Манилов.

Приказчик сказал: «Слушаю!» — и ушел.

— А для каких причин вам это нужно? — спросил по уходе приказчика Манилов.

Этот вопрос, казалось, затруднил гостя, в лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел, — напряжение что-то выразить, не со-

всем покорное словам. И в самом деле, Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши.

— Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот какие: я хотел бы купить крестьян... — сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.

— Но позвольте спросить вас, — сказал Манилов, — как желаете вы купить крестьян: с землею или просто на вывод, то есть без земли?

— Нет, я не то чтобы совершенно крестьян, — сказал Чичиков, — я желаю иметь мертвых...

— Как-с? извините... я несколько тут на ухо, мне послышалось престранное слово...

— Я полагаю приобрести мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые, — сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижи-

мы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он; но ничего не было видно такого, напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегают в глазах сумасшедшего человека, все было прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею.

— Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить или как вам заблагорассудится лучше?

Но Манилов так сконфузился и смешался,

что только смотрел на него.

— Мне кажется, вы затрудняетесь?.. — заметил Чичиков.

— Я?.. нет, я не то, — сказал Манилов, — но я не могу постичь... извините... я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться... Может быть, здесь... в этом, вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое... Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?

— Нет, — подхватил Чичиков, — нет, я разумею предмет таков как есть, то есть те души, которые, точно, уже умерли.

Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос — черт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а чрез носовые ноздри.

— Итак, если нет препятствий, то с Богом можно бы приступить к совершению купчей крепости, — сказал Чичиков.

— Как, на мертвые души купчую?

— А, нет! — сказал Чичиков. — Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон — я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал наконец хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства; но чубук хрипел, и больше ничего.

— Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?

— О! помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть, критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция,[191] — так не будет ли эта негоция несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам Рос-

сии?

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины.

— Так вы полагаете?..

— Я полагаю, что это будет хорошо.

— А, если хорошо, это другое дело: я против этого ничего, — сказал Манилов и совершенно успокоился.

— Теперь остается условиться в цене.

— Как в цене? — сказал опять Манилов и остановился. — Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в неко-

тором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам безынтересно и купчую беру на себя.

Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он повернулся так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивавшая подушку; сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностью, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и наконец уже выразился, что это сущее ничего, что он, точно, хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь.

— Очень не дрянь, — сказал Чичиков, по-

жав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным изливаниям; не без чувства и выражения произнес он наконец следующие слова: — Если б вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду! Да и действительно, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн... Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте-горемыке!.. — Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу.

Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были наверху наивысшие слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать ее так горячо, что тот уже не знал, как ее выручить. Наконец, выдернув ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить поскорее и хорошо бы, если бы он сам понаведалься в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться.

— Как? вы уже хотите ехать? — сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись.

В это время вошла в кабинет Манилова.

— Лизанька, — сказал Манилов с несколько жалостливым видом, — Павел Иванович оставляет нас!

— Потому что мы надоели Павлу Ивановичу, — отвечала Манилова.

— Сударыня! здесь, — сказал Чичиков, — здесь, вот где, — тут он положил руку на сердце, — да, здесь пребудет приятность времени, проведенного с вами! и поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами если не в одном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве.

— А знаете, Павел Иванович, — сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль, — как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!..

— О! это была бы райская жизнь! — сказал Чичиков, вздохнувши. — Прощайте, сударыня! — продолжал он, подходя к ручке Манило-

вой. — Прощайте, почтеннейший друг! Не забудьте просьбы!

— О, будьте уверены! — отвечал Манилов. — Я с вами расстанусь не более как на два дни.

Все вышли в столовую.

— Прощайте, миленькие малютки! — сказал Чичиков, увидевши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. — Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете, но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю; хочешь саблю?

— Хочу, — отвечал Фемистоклюс.

— А тебе барабан; не правда ли, тебе барабан? — продолжал он, наклонившись к Алкиду.

— Парапан, — отвечал шепотом и потупив голову Алкид.

— Хорошо, я тебе привезу барабан. Такой славный барабан, этак все будет: туррр... ру... тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька! про-

щай! — Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей.

— Право, останьтесь, Павел Иванович! — сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. — Посмотрите, какие тучи.

— Это маленькие тучки, — отвечал Чичиков.

— Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?

— Об этом хочу спросить вас.

— Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру. — Тут Манилов с такою же любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы».

Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третий, сказал: «Потрафим, ваше благородие», — и Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханьями платка приподымавшихся на цыпочках хозяев.

Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала не видна, он все

еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромный дом с таким высоким бельведером,[192] что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и все вре-

мя сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.

Глава третья

А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей, а потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом и душою. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его кучер, довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудились от всего сердца, так что даже в глазах их

было заметно получаемое ими от того удовольствия. «Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! — говорил Селифан, приподнявшись и хлыснув кнутом ленивца. — Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой — почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему с охотою дам лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тож хороший конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь куда ползет!» Здесь он опять хлыснул его кнутом, примолвив: «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» — и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек; с человеком хорошим мы всегда свои друзья, тонкие приятели: выпить ли чаю или закусить — с охотою,

коли хороший человек. Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает, потому что он, слышь ты, сполнял службу государскую, он сколеской [193] советник...»

Так рассуждая, Селифан забрался наконец в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя; все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменивши образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо в верх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание до-

рожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други, почтенные!» — и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога.

Дождь, однако же, казался, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так

долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи.

— Селифан! — сказал он наконец, высунувшись из брички.

— Что, барин? — отвечал Селифан.

— Погляди-ка, не видно ли деревни?

— Нет, барин, нигде не видно! — После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло: все ободрительные и побудительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого; прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попало на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их наконец секретарями.

Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не гово-

рил ни слова.

— Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? — сказал Чичиков.

— Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма! — Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял.

— Держи, держи, опрокинешь! — кричал он ему.

— Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, — говорил Селифан. — Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину. — Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец выворотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил, впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, сиюсь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления:

«Вишь ты, и перекинулась!»

— Ты пьян как сапожник! — сказал Чичиков.

— Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого; и закусили вместе. Закуска не обидное дело; с хорошим человеком можно закусить.

— А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? а? забыл? — сказал Чичиков.

— Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл. Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что...

— Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком!

— Как милости вашей будет завгодно, — отвечал на все согласный Селифан, — коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посечь, коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать.

Коли за дело, то и посеки; почему ж не посечь?

На такое рассуждение барин совершенно не нашелся, что отвечать. Но в это время, казалось, как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя ни зги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился только тогда, когда бричка ударилася оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и достигнул туманною струею до забора, указавши нашим дорожным ворота. Селифан принялся

стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос:

— Кто стучит? чего расходились?

— Приезжие, матушка, пусти переночевать, — произнес Чичиков.

— Вишь ты, какой востроногий, — сказала старуха, — приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор: помещица живет.

— Что ж делать, матушка: вишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи.

— Да, время темное, нехорошее время, — прибавил Селифан.

— Молчи, дурак, — сказал Чичиков.

— Да кто вы такой? — сказала старуха.

— Дворянин, матушка.

Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать.

— Погодите, я скажу барыне, — произнесла она и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке.

Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавши на двор, оста-

новилась перед небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходившим из окон; видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалованье; другой хватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неутомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это, наконец, поворачивал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе: тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой тря-

сутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная; но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда: комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев; за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате... невмочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек,

небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтиннички, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комодe ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого салопa, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами[194] или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою; бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.

Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом.

— Ничего, ничего, — сказала хозяйка. — В какое это время вас Бог принес! Сумятица и вьюга такая... С дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить

нельзя.

Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и, наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево.

Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что, кроме постели, он ничего не требует, и любопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика вовсе нет.

— По крайней мере, знаете Манилова? — сказал Чичиков.

— А кто таков Манилов?

— Помещик, матушка.

— Нет, не слыхивала, нет такого помещи-

ка.

— Какие же есть?

— Бобров, Свиньин, Канапатьяев, Харпакин, Трепакин, Плешаков.

— Богатые люди или нет?

— Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб по сотне, таких нет.

Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь.

— Далеко ли, по крайней мере, до города?

— А верст шестьдесят будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать! не хотите ли, батюшка, выпить чаю?

— Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели.

— Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время послал Бог: гром такой — у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! где так изволил засалиться?

— Еще слава Богу, что только засалился,

нужно благодарить, что не отломал совсем боков.

— Святители, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину?

— Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а прикажите только вашей девке повысушить и вычистить мое платье.

— Слышишь, Фетинья! — сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходявшей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате. — Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как дельвали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько.

— Слушаю, сударыня! — говорила Фетинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.

— Ну, вот тебе постель готова, — сказала хозяйка. — Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.

Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему: одна села ему на губу, другая на ухо, третья норвила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к носовой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его

крепко чихнуть, — обстоятельство, бывшее причиною его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух — окно же было очень близко от земли — заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно «желаю здравствовать», на что Чичиков сказал ему дурака. Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно гляде-

ло едва ли не в курятник; по крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик, или курятник, преграждал дощатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косяками переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах, с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, ко-

торые хотя были выстроены врассыпную и не заключены в правильные улицы, но, по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует: изветшавший тес на крышах везде был заменен новым; ворота нигде не покосились, а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленька», — сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом.

— Здравствуйте, батюшка. Каково почивали? — сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера, — в темном платье и уже не в спальном чепце, но на шее все так же было что-то навязано.

— Хорошо, хорошо, — говорил Чичиков, садясь в кресла. — Вы как, матушка?

— Плохо, отец мой.

— Как так?

— Бессонница. Все поясница болит, и нога, что повыше косточки, так вот и ломит.

— Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть.

— Дай бог, чтобы прошло. Я-то смазывала свиным салом и скипидаром тоже смачивала. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая.

— Недурно, матушка, хлебом и фруктовой.

Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у нас на Руси если не утнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудре-

цы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных, — да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превраще-

ние, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович, — говоришь, глядя на него. — Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот черт знает что: пищит птицей и все смеется». Подходишь ближе, глядишь — точно Иван Петрович! «Эхе-хе», — думаешь себе... Но, однако ж, обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться и потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовой, повел такие речи:

— У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?

— Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят, — сказала хозяйка, — да беда, времена плохи, вот и прошлый год был такой неурожай, что Боже храни.

— Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся... приехал в ночное время...

— Коробочка, коллежская секретарша.

— Покорнейше благодарю. А имя и отчество?

— Настасья Петровна.

— Настасья Петровна? хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.

— А ваше имя как? — спросила помещица. — Ведь вы, я чай, заседатель?

— Нет, матушка, — отвечал Чичиков, усмехнувшись, — чай, не заседатель, а так ездим по своим делишкам.

— А, так вы покупщик! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил.

— А вот меду и не купил бы.

— Что ж другое? Разве пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.

— Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?

— Ох, батюшка, осьмнадцать человек! — сказала старуха, вздохнувши. — И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да что в них: всё такая мелюзга; а заседатель подъехал — подать, го-

ворит, оплачивать с души. Народ мертвый, а плати, как за живого. На прошлой неделе сторел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал.

— Разве у вас был пожар, матушка?

— Бог приберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сторел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почернел, как уголь, а такой был преискусный кузнец! и теперь мне выехать не на чем: некому лошадей подковать.

— На все воля Божья, матушка! — сказал Чичиков, вздохнувши, — против мудрости Божией ничего нельзя сказать... Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?

— Кого, батюшка?

— Да вот этих-то всех, что умерли.

— Да как же уступить их?

— Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.

— Да как же? Я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?

Чичиков увидел, что старухахватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать,

в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.

— Да на что ж они тебе? — сказала старуха, выпучив на него глаза.

— Это уж мое дело.

— Да ведь они ж мертвые.

— Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?

— Право, не знаю, — произнесла хозяйка с расстановкой. — Ведь я мертвых никогда еще не продавала.

— Еще бы! Это бы скорей походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?

— Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые.

«Ну, баба, кажется, крепколобая!» — поду-

мал про себя Чичиков.

— Послушайте, матушка. Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы разоряетесь, платите за него подать, как за живого...

— Ох, отец мой, и не говори об этом! — подхватила помещица. — Еще третью неделю взнесла больше полуторапта. Да заседателя подмаслила.

— Ну, видите, матушка. А теперь примите в соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них; я, а не вы; я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?

Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик; приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное время.

— Так что ж, матушка, по рукам, что ли? — говорил Чичиков.

— Право, отец мой, никогда еще не случилось продавать мне покойников. Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух

девок, по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткут.

— Ну, да не о живых дело; бог с ними. Я спрашиваю мертвых.

— Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того... они больше как-нибудь стоят.

— Послушайте, матушка... эх, какие вы! что ж они могут стоять? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например, даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть, по крайней мере, купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?

— Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что ведь они уже мертвые.

«Эк ее, дубинноголовая какая! — сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения. — Пойди ты сладь с нею! в пот бросила, проклятая старуха!» Тут он, вынувши из кармана платок, начал отирать пот, в самом

деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не переси-лишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены. Отерши пот, Чичиков решил попробовать, нельзя ли ее навести на путь какую-нибудь иною стороною.

— Вы, матушка, — сказал он, — или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить... Я вам даю деньги: пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почему продали мед?

— По двенадцати рублей пуд.

— Хватили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали.

— Ей-богу, продала.

— Ну видите ль? Так зато это мед. Вы собирали его, может быть, около года, с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили

пчел, кормили их в погребке целую зиму; а мертвые души дело не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания, на то была воля Божия, чтоб они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а всё синими ассигнациями. — После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец поддастся.

— Право, — отвечала помещица, — мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маменько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.

— Страм, страм, матушка! просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто же станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?

— А может, в хозяйстве-то как-нибудь подслучай понадобятся... — возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

— Мертвые в хозяйстве! Эх куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

— С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! — проговорила старуха, крестясь.

— Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы — все вам остается, перевод только на бумаге. Ну, так что же? Как же? отвечайте, по крайней мере.

Старуха вновь задумалась.

— О чем же вы думаете, Настасья Петровна?

— Право, я все не приберу, как мне быть; лучше я вам пеньку продам.

— Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете! Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?

— Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый!

Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта.

Черта помещица испугалась необыкновенно.

— Ох, не припоминай его, бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев. — Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то Бог и наслал его. Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих.

— Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду... да пропади и околей со всей вашей деревней!..

— Ах, какие ты забранки пригинаешь! — сказала старуха, глядя на него со страхом.

— Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене: и сама не ест сена, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду... — Здесь он прилгнул, хоть и вскользь, и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну, по крайней мере, она произнесла уже почти проси-

ТЕЛЬНЫМ ГОЛОСОМ:

— Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсем тебе и не прекословила.

— Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!

— Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацией! Только смотри, отец мой, насчет подрядов-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня.

— Нет, матушка не обижу, — говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует.

— Как же, протопопа, отца Кирила, сын служит в палате, — сказала Коробочка.

Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить.

«Хорошо бы было, — подумала между тем

про себя Коробочка, — если бы он забирал у меня в казну муку и скотину. Нужно его за- добрить: теста со вчерашнего вечера еще осталось, так пойти сказать Фетинье, чтоб спекла блинов; хорошо бы также загнуть пирог пресный с яйцом, у меня его славно заги- бают, да и времени берет немного». Хозяйка вышла, с тем чтобы привести в исполнение мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями до- машней пекарни истряпни; а Чичиков вы- шел в гостиную, где провел ночь, с тем чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было все прибрано, рос- кошные перины вынесены вон, перед дива- ном стоял покрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чув- ствовал, что был весь в поту, как в реке: все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, все было мокро. «Эк уморила как про- клятая старуха!» — сказал он, немного отдох- нувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему

же не удовлетворить! Вот оно, внутреннее расположение: в самой середине мыльница, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист, потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что наверно нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, очинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка.

— Хорош у тебя ящик, отец мой, — сказала она, подсевши к нему. — Чай, в Москве купил его?

— В Москве, — отвечал Чичиков, продол-

жая писать.

— Я уж знала это: там все хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей: такой прочный товар, до сих пор носится. Ахти, сколько у тебя тут гербовой бумаги! — продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле, гербовой бумаги было там немало. — Хоть бы мне листок подарил! а у меня такой недостаток; случится в суд просьбу подать, а и не на чем.

Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепостей, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть; он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то

Петр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать: «Экой длинный!» Другой имел прицепленный к имени «Коровий кирпич», иной оказался просто: Колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.

— Прошу покорно закусить, — сказала хозяйка.

Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было.

— Пресный пирог с яйцом! — сказала хозяйка.

Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половиною, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.

— А блинков? — сказала хозяйка.

В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное мас-

ло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинов.

— У вас, матушка, блинцы очень вкусны, — сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.

— Да у меня-то их хорошо пекут, — сказала хозяйка, — да вот беда: урожай плох, мука уж такая неавантажная... Да что же, батюшка, вы так спешите? — проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз, — ведь и бричка еще не заложена.

— Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают.

— Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов.

— Не забуду, не забуду, — говорил Чичиков, выходя в сени.

— А свиного сала не покупаете? — сказала хозяйка, следуя за ним.

— Почему не покупать? Покупаю, только после.

— У меня о Святках и свиное сало будет.

— Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим.

— Может быть, понадобится птичьих перьев. У меня к Филиппову посту будут и птичььи перья.

— Хорошо, хорошо, — говорил Чичиков.

— Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова, — сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

— Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги.

— Как же бы это сделать? — сказала хозяйка. — Рассказать-то мудрено, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила. Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей.

— Как не быть.

— Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у меня знает дорогу, только ты смотри! не завези ее, у меня уже одну завезли купцы.

Чичиков уверил ее, что не завезет, и Коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать все, что было во дворе ее; вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой дере-

вянную побратиму[195] с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосыгаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных благодаря незнанию хозяйственного дела, а о

том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм. Но мимо, мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумяющих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя: еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо...

— А вот бричка, вот бричка! — вскричал Чичиков, увидя наконец подъезжавшую свою бричку. — Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрило.

Селифан на это ничего не отвечал.

— Прощайте, матушка! А что же, где ваша девчонка?

— Эй, Пелагея! — сказала помещица стоявшей около крыльца девчонке лет одиннадцати, в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежеею грязью. — Покажи-ка барину дорогу.

Селифан помог взлезть девчонке на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую сту-

пеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился, сказавши:

— А! теперь хорошо! прощайте, матушка!

Кони тронулись.

Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случалось с ним всегда после того, когда либо в чем провинился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотолле почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках словоохотного возницы и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно

неприятные восклицания: «Ну же, ну, ворона! зевай! зевай!» — и больше ничего. Даже сам гнедой и Заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни «любезные», ни «почтенные». Чубарый чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его! — думал он сам про себя, несколько припрыгивая ушами. — Небось знает, где бить! Не хлыснет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее: по ушам зацепит или под брюхо захлыснет».

— Направо, что ли? — с таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между ярко-зелеными, освеженными полями.

— Нет, нет, я уж покажу, — отвечала девчонка.

— Куда ж? — сказал Селифан, когда подъехали поближе.

— Вот куды, — отвечала девчонка, показывая рукою.

— Эх ты! — сказал Селифан. — Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!

Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к тому же почва была глинистая и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукою на черневшее вдали строение, сказавши:

— Вон столбовая дорога!

— А строение? — спросил Селифан.

— Трактир, — сказала девчонка.

— Ну, теперь мы сами доедем, — сказал Селифан, — ступай себе домой.

Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Эх ты, черноногая!»

Чичиков дал ей медный грош, и она побрела восвояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.

Глава четвертая

Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю; глотающие устерс,[196] морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая

расстегаем или кулебякой с сомовьим плёсом,[197] так что вчуже понимает аппетит, — вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба! Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки; но то беда, что ни за какие деньги, ниже имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобрести такого желудка, какой бывает у господина средней руки.

Деревянный, потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами.

Взобравшись узенькою деревянною лест-

ницею наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда пожалуйста!» В комнате попались все старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно: заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку; наконец натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего.

— Поросенок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.

— Есть.

— С хреном и со сметаною?

— С хреном и со сметаною.

— Давай его сюда!

Старуха пошла копаться и принесла тарел-

ку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол.

Герой наш, по обыкновению, сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир, или есть хозяин, и сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе, — словом, не пропустил ничего. Само собою разумеется, что любопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики: Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков-полковник, Собакевич. «А! Собакевича знаешь?» — спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова, и что Манилов будет по деликатней Собакевича: велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки; коли есть

баранья печенка, то и бараньей печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато всё съест, даже и подбавки потребует за ту же цену.

Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колясочка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице вверх, между тем как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляске. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока

он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый, или что называют издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то, по крайней мере, табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжение немногих минут они вероятно бы разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем и теперь ехать и прохладно и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодецкато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его.

— Ба, ба, ба! — вскричал он вдруг, расста-

вив обе руки при виде Чичикова. — Какими судьбами?

Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода.

— Куда ездил? — говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал: — А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно! — Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку. — Видишь, какая дрянь! Насилу дотащили, проклятые, я уже перелез вот в его бричку. — Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища. — А вы еще не знакомы? Зять мой Мижуев! Мы с ним все утро говорили о тебе. «Ну, смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова». Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков — всё спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни ча-

сов... — Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. — А ведь будь только двадцать рублей в кармане, — продолжал Ноздрев, — именно не больше как двадцать, я отыграл бы всё, то есть кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник.

— Ты, однако, и тогда так говорил, — отвечал белокурый, — а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их.

— И не просадил бы! ей-богу, не просадил бы! Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после пароле на проклятой семерке утку,[198] я бы мог сорвать весь банк.

— Однако ж не сорвал, — сказал белокурый.

— Не сорвал потому, что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?

— Хорошо или не хорошо, однако ж он тебя обыграл.

— Эка важность! — сказал Ноздрев, — этак

и я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом, [199] так вот тогда я посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок! Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни! Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили! Теперь даже, как вспомнишь... черт возьми! то есть как жаль, что ты не был. Вообрази, что в трех верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе; как начали мы, братец, пить... Штабс-ротмистр Поцелуев... такой славный! усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой. «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки!» Поручик Кувшинников... Ах, братец, какой премилый человек! вот уж, можно сказать, во всей форме кутила. Мы всё были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь: сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, затирает; но зато

уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку — ну просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое — что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? — розетка и все что хочешь. Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, всё офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского.

— Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь, — заметил белокурый.

— Как честный человек говорю, что выпил, — отвечал Ноздрев.

— Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь.

— Ну хочешь об заклад, что выпью!

— К чему же об заклад?

— Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе.

— Не хочу.

— Ну да поставь, попробуй!

— И пробовать не хочу.

— Да, был бы ты без ружья, как без шапки.

Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик,[200] и в банчишку, и во все что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя! Мижуев, смотри, вот судьба свела: ну что он мне или я ему? Он приехал бог знает откуда, я тоже здесь живу... А сколько было, брат, карет, и все это en gros.[201] В фор-тунку[202] крутнул: выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потом опять поставил один раз и прокрутил, канальство, еще сверх шесть целковых. А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников! Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши, и черт знает

чего не было... я думаю себе только: «черт возьми!» А Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты... Пове-ришь ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собою один; хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?

— А я к человечку к одному, — сказал Чичиков.

— Ну, что человечек, брось его! поедем ко мне!

— Нет, нельзя, есть дело.

— Ну вот уж и дело! уж и выдумал! Ах ты, Оподелдок Иванович!

— Право, дело, да еще и нужное.

— Пари держу, врешь! Ну скажи только, к кому едешь?

— Ну, к Собакевичу.

Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и

прыгают щеки, и сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытирает очи и произнося: «Эк его разобрало!»

— Что ж тут смешного? — сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом.

Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая:

— Ой, пощади, право, тресну со смеху!

— Ничего нет смешного: я дал ему слово, — сказал Чичиков.

— Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор! Ведь я знаю твой характер, ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец: ну к черту Собакевича, поедем ко мне! каким балыком попотчую! Пономарев, бестия, так раскланивался, говорит: «Для вас только, всю ярмарку, говорит, общите, не найдете такого». Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники!» Смеется, бестия, поглаживая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать: знаю, что

ты теперь не отстанешь, но за десять тысяч не отдам, наперед говорю. Эй, Порфирий! — закричал он, подошедши к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. — Эй, Порфирий, — кричал Ноздрев, — принеси-ка щенка! Каков щенок! — продолжал он, обращаясь к Чичикову. — Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева... — Чичиков, впрочем, отроду не видел ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

— Барин! ничего не хотите закусить? — сказала в это время, подходя к нему, старуха.

— Ничего. Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки; какая у тебя есть?

— Анисовая, — отвечала старуха.

— Ну, давай анисовой, — сказал Ноздрев.

— Давай уж и мне рюмку! — сказал белокурый.

— В театре одна актриса так, каналья, пела, как канарейка! Кувшинников, который сидел возле меня, — «Вот, говорит, брат, по-

пользоваться бы насчет клубнички!» Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди [203] четыре часа вертелся мельницею. — Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему за то низко поклонилась. — А, давай его сюда! — закричал он, увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет, так же как и барин, в каком-то архалуке, стеганном на вате, но несколько позамасленней.

— Давай его, клади сюда на пол!

Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю.

— Вот щенок! — сказал Ноздрев, взявши его за спинку и приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой.

— Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил, — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка, — и не подумал вычесать его?

— Нет, я его вычесывал.

— А отчего же блохи?

— Не могу знать. Статься может, как-нибудь из брички поналезли.

— Врешь, врешь, и не воображал чесать; я думаю, дурак, еще своих напустил. Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка пощупай рукою.

— Да зачем, я и так вижу: доброй породы! — отвечал Чичиков.

— Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши! Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши:

— Да, хорошая будет собака.

— А нос, чувствуешь, какой холодный? возьми-ка рукою.

Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши:

— Хорошее чутье.

— Настоящий мордаш,[204] — продолжал Ноздрев, — я признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его!

Порфирий, взявши щенка под брюхо, унес его в бричку.

— Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне, пять верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу.

«А что ж, — подумал про себя Чичиков, —

заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других, такой же человек, да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на все, стало быть, у него даром можно кое-что выпросить».

— Изволь, едем, — сказал он, — но чур не задержать, мне время дорого.

— Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо, постой же, я тебя поцелую за это. — Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. — И славно: втроем и покатим!

— Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти, — говорил белокурый, — мне нужно домой.

— Пустяки, пустяки, брат, не пущу.

— Право, жена будет сердиться; теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку.

— Ни, ни, ни! И не думай.

Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согла-

сятя плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку, — словом, начнут гладью, а кончат гадью.

— Вздор! — сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление белокурого, надел ему на голову картуз, и — белокурый отправился вслед за ними.

— За водочку, барин, не заплатили... — сказала старуха.

— А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек! заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане.

— Сколько тебе? — сказал зятек.

— Да что, батюшка, двугривенник всего, — сказала старуха.

— Врешь, врешь. Дай ей полтину,[205] предовольно с нее.

— Маловато, барин, — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностию и еще побежала впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчет-

веро против того, что стоила водка.

Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между собою разговаривать в продолжение дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колясочка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком.

Так как разговор, который путешественники вели между собою, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме.

Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слынут еще в детстве и в школе за хороших товарищей и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажется, навек: но всегда по-

что так случается, что подружившийся поделится с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и двадцать: охотник погулять. Женитьба его ничуть не переменяла, тем более что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши двух ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами; он уж в одно мгновенье ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам. В картишки, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим бакенбардам, так что возвращался домой он иногда

с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро выростали вновь, еще даже лучше прежних. И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он чрез несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался как ни в чем не бывало, и он, как говорится, ничего, и они ничего.

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет: или нарежется в буфете таким образом, что только смеется, или провретя самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голу-

бой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнеся: «Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородною наружностью, со звездой на груди,[206] будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом, смотришь, тут же, пред вашими глазами, и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди, разговаривающий о предметах, вызывающих на размышление, так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходил, тому он скорее всех насаливал: распускал небывлицу, глупее которой трудно выдумать, расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем; напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой

подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: это происходило просто от какой-то неутомимой юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомоЙник, голландского холста, крупчатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду — насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено домой; почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком, а в другой раз и вся четверня со всем: с коляской и

кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был Ноздрев! Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком.

Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню; пол весь был обрызган белилами. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеления. Гости слышали, как он заказывал повару обед; сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что

раньше пяти часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на деревне, и в два часа с небольшим показал решительно все, так что ничего уж больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели двух кобыл, одну серую в яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч.

— Десять тысяч ты за него не дал, — заметил зять. — Он и одной не стоит.

— Ей-богу, дал десять тысяч, — сказал Ноздрев.

— Ты себе можешь божиться, сколько хочешь, — отвечал зять.

— Ну, хочешь, побьемся об заклад! — сказал Ноздрев.

Об заклад зять не захотел биться.

Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого, по старому поверью, почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось,

был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи. «Вот волчонок! — сказал он. — Я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем!» Пошли смотреть пруд, в котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако ж, родственник не преминул усомниться. «Я тебе, Чичиков, — сказал Ноздрев, — покажу отличнейшую пару собак: крепость черных мясов[207] просто наводит изумление, щиток[208] — игла!» — и повел их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большим загороженным со всех сторон двором. Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих... Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай,[209] допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был

среди их совершенно как отец среди семейства; все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев правíлами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов, — хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука; осмотрели и суку — сука, точно, была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, — «порхающий», по чудному выражению русского мужика.

— А вот тут скоро будет и кузница! — сказал Ноздрев.

Немного прошедши, они увидели, точно, кузницу, осмотрели и кузницу.

— Вот на этом поле, — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги.

— Ну, русака ты не поймаешь рукою! — заметил зять.

— А вот же поймал, нарочно поймал! — отвечал Ноздрев. — Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — границу, где оканчивается моя земля.

Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичиков начал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где большая, а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, увидели, точно, границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва.

— Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синееет, и все, что за лесом, все мое.

— Да когда же этот лес сделался твоим? — спросил зять. — Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой.

— Да, я купил его недавно, — отвечал Ноздрев.

— Когда же ты успел его так скоро купить?

— Как же, я еще третьего дня купил, и дорого, черт возьми, дал.

— Да ведь ты был в то время на ярмарке.

— Эх ты, Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил.

— Да, ну разве приказчик! — сказал зять, но и тут усумнился и покачал головою.

Гости воротились тою же гадкою дорогою к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья — одно в триста, а другое в восемьсот рублей. Зять,

осмотревши, покачал только головою. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показала гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в середине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею: «Мальбруг в поход поехал», а «Мальбруг в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна. Потом показались трубки — деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, кисет, вышитый какою-то графинею, где-то на почтовой станции влюбившеюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самой субдительной суперфлю,[210] — слово, вероятно означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ

пяти часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попала — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох — словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет. Зато Ноздрев налег на вина: еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому гостотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера, точно, даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что всё вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принести какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоньон и шампаньон вместе. Он

наливал очень усердно в оба стакана, и направо и налево, и зятю и Чичикову; Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он не много прибавлял. Это заставило его быть осторожным, и как только Ноздрев как-нибудь заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушица во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз назвал его уже другим именем. Обед давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости всё еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевался носом. Заметив и сам,

что находился не в надежном состоянии, он стал наконец отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут.

— И ни-ни! не пуцу! — сказал Ноздрев.

— Нет, не обижай меня, друг мой, право, поеду, — говорил зять, — ты меня очень обидишь.

— Пустяки, пустяки! мы соорудим сию минуту банчишку.

— Нет, сооружай, брат, сам, а я не могу, жена будет в большой претензии, право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня!

— Ну ее, жену, к ...! важное в самом деле дело станете делать вместе!

— Нет, брат! она такая почтенная и верная! Услуги оказывает такие... поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня; как честный человек, поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести.

— Пусть его едет, что в нем проку! — сказал тихо Чичиков Ноздреву.

— А и вправду! — сказал Ноздрев. — Смерть не люблю таких растепелей![211] — и прибавил вслух: — Ну, черт с тобою, поезжай бабиться с женою, фетюк![212]

— Нет, брат, ты не ругай меня фетюком, — отвечал зять, — я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает... до слез разбирает; спросит, что видел на ярмарке, нужно всё рассказать, такая, право, милая.

— Ну поезжай, ври ей чепуху! Вот картуз твой.

— Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться; этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая.

— Ну, так и убирайся к ней скорее!

— Да, брат, поеду, извини, что не могу остаться. Душой рад бы был, но не могу.

Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно выехал за ворота и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена не много слышала подробностей о ярмарке.

— Такая дрянь! — говорил Ноздрев, стоя

перед окном и глядя на уезжавший экипаж. — Вон как потащился! конек пристяжной недурен, я давно хотел подцепить его. Да ведь с ним нельзя никак сойтись. Фетюк, просто фетюк!

Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.

— А что, брат, — говорил Ноздрев, прижав бока колоды пальцами и несколько погнувши ее, так что треснула и отскочила бумажка. — Ну, для препровождения времени, держу триста рублей банку!

Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив:

— А! чтоб не позабыть: у меня к тебе просьба.

— Какая?

— Дай прежде слово, что исполнишь.

— Да какая просьба?

— Ну, да уж дай слово!

— Изволь.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Вот какая просьба: у тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии?

— Ну есть, а что?

— Переведи их на меня, на мое имя.

— А на что тебе?

— Ну да мне нужно.

— Да на что?

— Ну да уж нужно... уж это мое дело, — словом, нужно.

— Ну уж, верно, что-нибудь затеял. Признайся, что?

— Да что ж затеял? из такого пустяка и затеять ничего нельзя.

— Да зачем же они тебе?

— Ох, какой любопытный! ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать!

— Да к чему ж ты не хочешь сказать?

— Да что же тебе за прибыль знать? ну, просто так, пришла фантазия.

— Так вот же: до тех пор, пока не скажешь, не сделаю!

— Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны: слово дал, да и на попятный двор.

— Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что.

«Что бы такое сказать ему?» — подумал Чичиков и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он помещиков больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.

— Врешь, врешь! — сказал Ноздрев, не давши окончить. — Врешь, брат!

Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб.

— Ну, так я ж тебе скажу прямее, — сказал он, поправившись, — только, пожалуйста, не проговоришься никому. Я задумал жениться; но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбиционные люди. Такая, право, комиссия: не рад, что связался, хотя непременно, чтоб у жениха было никак не меньше трехсот душ, а так как у меня целых почти полтора-ста крестьян недостает...

— Ну врешь! врешь! — закричал опять Ноздрев.

— Ну вот уж здесь, — сказал Чичиков, — ни вот на столько не солгал, — и показал

большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.

— Голову ставлю, что врешь!

— Однако ж это обидно! что же я такое в самом деле! почему я непременно лгу?

— Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве.

Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.

— Ей-богу, повесил бы, — повторил Ноздрев, — я тебе говорю это откровенно, не с тем чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.

— Всему есть границы, — сказал Чичиков с чувством достоинства. — Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы, — и потом присовокупил: — Не хо-

чешь подарить, так продай.

— Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них?

— Эх, да ты ведь тоже хорош! смотри ты! что они у тебя бриллиантовые, что ли?

— Ну, так и есть. Я уж тебя знал.

— Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение! Ты бы должен просто отдать мне их.

— Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник,[213] я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу.

— Помилуй, на что ж мне жеребец? — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.

— Как на что? да ведь я за него заплатил десять тысяч, а тебе отдаю за четыре.

— Да на что мне жеребец? завода я не держу.

— Да послушай, ты не понимаешь: ведь я с тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мне после.

— Да не нужен мне жеребец, бог с ним!

— Ну, купи каурую кобылу.

— И кобылы не нужно.

— За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только две тысячи.

— Да не нужны мне лошади.

— Ты их продашь, тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.

— Так лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое.

— Я знаю, что выиграю, да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду.

Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы.

— Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает! Брудастая, [214] с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребр уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет.

— Да зачем мне собаки? я не охотник.

— Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку, чудная шарманка; самому, как честный человек, обошлась в пол-

торы тысячи: тебе отдаю за девятьсот рублей.

— Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащась с ней по дорогам, выпрашивать деньги.

— Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган; посмотри нарочно: вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще! — Здесь Ноздрев, схвативши за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату, и как тот ни упирался ногами в пол и ни уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбруг. — Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай: я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвые души, а ты мне дай свою бричку и триста рублей придачи.

— Ну вот еще, а я-то в чем поеду?

— Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее! Ты ее только переокрасишь, и будет чудо бричка.

«Эк его неутомонный бес как обуял!» — подумал про себя Чичиков и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на

непостижимую уму бочковатость ребр и ком-
кость лап.

— Да ведь бричка, шарманка и мертвые ду-
ши, всё вместе!

— Не хочу, — сказал еще раз Чичиков.

— Отчего ж ты не хочешь?

— Оттого, что просто не хочу, да и полно.

— Экой ты, право, такой! с тобой, как я ви-
жу, нельзя, как водится между хорошими дру-
зьями и товарищами, такой, право!.. Сейчас
видно, что двуличный человек!

— Да что же я, дурак, что ли? ты посуди
сам: зачем же приобретать вещь, решительно
для меня ненужную?

— Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я
очень хорошо тебя знаю. Такая, право, рака-
лия! Ну, послушай, хочешь метнем банчик? Я
поставлю всех умерших на карту, шарманку
тоже.

— Ну, решаться в банк значит подвергать-
ся неизвестности, — говорил Чичиков и меж-
ду тем взглянул искоса на бывшие в руках у
него карты. Обе талии ему показались очень
похожими на искусственные, и самый крап
глядел весьма подозрительно.

— Отчего ж неизвестности? — сказал Ноздрев. — Никакой неизвестности! будь только на твоей стороне счастье, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она! экое счастье! — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. — Экое счастье! экое счастье! вон: так и колотит! вот та проклятая девятка, на которой я всё просадил! Чувствовал, что продаст, да уже, зажмурив глаза, думаю себе: «Черт тебя побери, продавай, проклятая!»

Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.

— Отчего ж ты не хочешь играть? — сказал Ноздрев.

— Ну оттого, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть.

— Отчего ж не охотник?

Чичиков пожал плечами и прибавил:

— Потому что не охотник.

— Дрянь же ты!

— Что ж делать? так Бог создал.

— Фетюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек,

а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким... никакого прямодушия, ни искренности! совершенный Собакевич, такой подлец!

— Да за что же ты бранишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздору.

— Черта лысого получишь! хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же! Хоть три царства давай, не отдам. Такой шильник,[215] печник гадкий! С этих пор с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено.

Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.

— Лучше б ты мне просто на глаза не показывался! — сказал Ноздрев.

Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было

то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель:

— Вот тебе постель! Не хочу и доброй ночи желать тебе!

Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренне досадовал на себя, бранил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время. Но еще более бранил себя за то, что заговорил с ним о деле, поступил неосторожно, как ребенок, как дурак: ибо дело совсем не такого рода, чтобы быть вверену Ноздреву... Ноздрев человек-дрянь, Ноздрев может наврать, прибавить, распустишь черт знает что, выйдут еще какие-нибудь сплетни — нехорошо, нехорошо. «Просто дурак я», — говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие пребойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А, чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, от-

правиться через двор в конюшню приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах.

Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось.

— Так себе, — отвечал Чичиков весьма сухо.

— А я, брат, — говорил Ноздрев, — такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать, и во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь: снилось, что меня высекли, ей-ей! и, вообрази, кто? Вот ни за что не угадаешь: штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым.

«Да, — подумал про себя Чичиков, — хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».

— Ей-богу! да пребольно! Проснулся: черт возьми, в самом деле что-то почесывается, — верно, ведьмы блохи. Ну, ты ступай теперь одевайся, я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика.

Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там

уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам, или выстриженных под гребенку.

— Ну, так как же думаешь? — сказал Ноздрев, немного помолчавши. — Не хочешь играть на души?

— Я уже сказал тебе, брат, что не играю; купить — изволь, куплю.

— Продать я не хочу, это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевры с черт знает чего. В банчик — другое дело. Прокинем хоть талию![216]

— Я уж сказал, что нет.

— А меняться не хочешь?

— Не хочу.

— Ну, послушай, сыграем в шашки, выигрываешь — твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу.

— Напрасен труд, я не буду играть.

— Да ведь это не в банк; тут никакого не может быть счастья или фальши: все ведь от искусства; я даже тебя предвещаю, что я совсем не умею играть, разве что-нибудь мне дашь вперед.

«Сем-ка я, — подумал про себя Чичиков, — сыграю с ним в шашки! В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться».

— Изволь, так и быть, в шашки сыграю.

— Души идут в ста рублях!

— Зачем же? довольно, если пойдут в пятидесяти.

— Нет, что ж за куш пятьдесят? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам.

— Ну, изволь! — сказал Чичиков.

— Сколько же ты мне дашь вперед? — ска-

зал Ноздрев.

— Это с какой стати? Конечно, ничего.

— По крайней мере, пусть будут мои два хода.

— Не хочу, я сам плохо играю.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку.

— Давненько не брал я в руки!.. Э, э! это, брат, что? отсади-ка ее назад! — говорил Чичиков.

— Кого?

— Да шашку-то, — сказал Чичиков и в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиравалась в дамки; откуда она взялась, это один

только Бог знал. — Нет, — сказал Чичиков, вставши из-за стола, — с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг.

— Отчего ж по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь.

— А другая-то откуда взялась?

— Какая другая?

— А вот эта, что пробирается в дамки?

— Вот тебе на, будто не помнишь!

— Нет, брат, я все ходы считал и всё помню; ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где!

— Как, где место? — сказал Ноздрев, покрасневши. — Да ты, брат, как я вижу, сочинитель!

— Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.

— За кого ж ты меня считаешь? — говорил Ноздрев. — Стану я разве плутовать?

— Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду.

— Нет, ты не можешь отказаться, — говорил Ноздрев, горячась, — игра начата!

— Я имею право отказаться, потому что ты

не так играешь, как прилично честному человеку.

— Нет, врешь, ты этого не можешь сказать!

— Нет, брат, сам ты врешь!

— Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию!

— Этого ты меня не заставишь сделать, — сказал Чичиков хладнокровно и, подошедши к доске, смешал шашки.

Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага два назад.

— Я тебя заставлю играть! Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.

— Нет, брат, дело кончено, я с тобою не стану играть.

— Так ты не хочешь играть?

— Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть.

— Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? — говорил Ноздрев, подступая все ближе.

— Не хочу! — сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жар-

ко.

Эта предосторожность была весьма у места, потому что Ноздрев размахнулся рукой... и очень бы могло стать, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестьем; но, счастливо отведши удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко.

— Порфирий, Павлушка! — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.

Услыша эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.

— Так ты не хочешь оканчивать партии? — говорил Ноздрев. — Отвечай мне напрямик!

— Партии нет возможности оканчивать, — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комна-

ты не было никакой возможности выбраться: в дверях стояли два дюжих крепостных дурака.

— Так ты не хочешь доканчивать партии? — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне.

— Если бы ты играл, как прилично честному человеку. Но теперь не могу.

— А! так ты не можешь, подлец! когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь! Бейте его! — кричал он исступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.

— Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный при-

каз держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажмурив глаза, ни жив ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и бог знает чего бы ни случилось с ним; но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные ча-

сти нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задрезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно: кто-то, с усами, в полувоенном сюртуке, вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный.

— Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? — сказал незнакомец, посмотревши в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения.

— Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить? — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе.

— Капитан-исправник.

— А что вам угодно?

— Я приехал вам объявить сообщенное

мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу.

— Что за вздор, по какому делу? — сказал Ноздрев.

— Вы были замешаны в историю, по случаю нанесения помещику Максиму личной обиды розгами в пьяном виде.

— Вы врете! я и в глаза не видал помещика Максимова!

— Милостивый государь! позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне.

Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку да поза спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.

Глава пятая

Герой наш трухнул, однако ж, порядком. Хотя бричка мчалась во всю пропалую и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он все еще поглядывал назад со стра-

хом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. «Эк какую баню задал! смотри ты какой!» Тут много было посулено Ноздреву всяких нелегких и сильных желаний; попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да еще и в сердцах. К тому же дело было совсем нешуточное. «Что ни говори, — сказал он сам себе, — а не подоспей капитан-исправник, мне бы, может быть, не удалось бы более и на свет божий взглянуть! Пропал бы, как волдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени!» Герой наш очень заботился о своих потомках.

«Экой скверный барин! — думал про себя Селифан. — Я еще не видал такого барина. То есть плюнуть бы ему за это! Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен накормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство: что, примером, нам кошт, то для него овес, он его продовольство».

Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздреве: не только гнедой и Заседатель, но и сам чубарый был не в духе. Хотя ему на часть и доставался всегда овес похуже и Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавши прежде: «Эх ты, подлец!» — но, однако ж, это все-таки был овес, а не простое сено, он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корытца к товарищам поотведать, какое у них было продовольствие, особенно когда Селифана не было в конюшне, но теперь одно сено... нехорошо; все были недовольны.

Но скоро все недовольные были прерваны среди излиятий своих внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая и самого кучера, опомнились и очнулись только тогда, когда на них наскочила коляска с шестериком коней и почти над головами их раздались крик сидевших в коляске дам, брань и угрозы чужого кучера: «Ах ты мошенник эдакой; ведь я тебе кричал в голос: сворачивай, ворона, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность, но так как русский человек не любит сознаться перед

другим, что он виноват, то тут же вымолвил он, приосанясь: «А ты что так расскакался? глаза-то свои в кабаке заложил, что ли?»

Вслед за сим он принялся отсаживать назад бричку, чтобы высвободиться таким образом из чужой упряжи, но не тут-то было, все перепуталось. Чубарый с любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые очутились по обеим сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в лицах. Одна была старуха, другая молоденькая, шестнадцатилетняя, с золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какою-то прозрачною белизною, когда свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца; ее тоненькие ушки также сквозили, рдея проникавшим их теплым светом. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы — все это в ней было так мило, что герой наш глядел на нее

несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши постромки. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами.

На такую сумятицу успели, однако ж, собраться мужики из деревни, которая была, к счастью, неподалеку. Так как подобное зрелище для мужика суцая благодать, все равно что для немца газеты или клуб, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята. Постромки отвязали; несколько тычков чубарому коню в морду заставили его попя-

титься; словом, их разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали приезжие кони за то, что разлучили их с приятелями, или просто дурь, только, сколько ни хлыстал их кучер, они не двигались и стояли как вкопанные. Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый наперерыв совался с советом: «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя Митяй пусть сядет верхом на коренного! Садись, дядя Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и сделался похожим на деревенскую колокольню, или, лучше, на крючок, которым достают воду в колодцах. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было, ничего не пособил дядя Митяй. «Стой, стой! — кричали мужики. — Садись-ка ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядя Миняй!» Дядя Миняй, широкоплечий мужик с черною, как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка, с охотою сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли. «Теперь

дело пойдет! — кричали мужики. — Накаливай, накаливай его! пришпандорь кнутом вон того, того, солового, что он корячится, как ко-рамора!»[217] Но, увидевши, что дело не шло и не помогло никакое накаливанье, дядя Митяй и дядя Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец кучер, потерявши терпение, прогнал и дядю Митяя и дядю Миняя, и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватали не переводя духа станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою. Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и неопрятно-плеснеющих низменных ря-

дов ее или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явление, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде попереки каким бы ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжкой, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не выдавшей ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом оказалась в нашей повести и так же скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он или просто только что начавший жизненное поприще, — и боже! чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заго-

ворило в нем! Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи в даль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры, и распеканья за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что ни есть в мире.

Но герой наш уже был средних лет и осмотнительно-охлажденного характера. Он тоже задумался и думал, но положительнее, не так безотчетны и даже отчасти очень основательны были его мысли. «Славная бабушка! — сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. — Но ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя, все в ней просто, она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выйдет дрянь! Вот пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнят всяким бабьем, что сам род-

ной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость и чопорность, станет ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть, всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно, запутается наконец сама, и кончится тем, что станет наконец врать всю жизнь, и выдет просто черт знает что!»

Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, чьих она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека». Двести тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренне начал досадовать на самого себя, зачем в продолжение хлопотни около экипажей не разведал от форейтора или кучера, кто такие были проезжающие. Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Соба-

кевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету.

Деревня показалась ему довольно велика; два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами, — дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и повертел на место их одно маленькое, вероятно понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кух-

ни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирчёных[218] стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихоструйного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вы-

шел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто: «Прошу!» — и повел его во внутренние жилища.

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинные, панталоны длинные, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со своего плеча:хватила топором раз — вышел нос,хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши,пустила на свет, сказавши: «Живет!» Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но

всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства.

Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: «Прошу!» Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канари.[219] Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, помещился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пуш-

ками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, [220] которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиную отворилась и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма.

— Это моя Феодулия Ивановна! — сказал Собакевич.

Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом.

— Душенька, рекомандую тебе, — продолжал Собакевич, — Павел Иванович Чичиков!

У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться.

Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» — и сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью.

Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке.

Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раздавался только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, — все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства, — словом, каждый предмет, каж-

дый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на Собакевича!»

— Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича, — сказал наконец Чичиков, видя, что никто не располагает начинать разговора, — в прошедший четверг. Очень приятно провели там время.

— Да, я не был тогда у председателя, — отвечал Собакевич.

— А прекрасный человек!

— Кто такой? — сказал Собакевич, глядя на угол печи.

— Председатель.

— Ну, может быть, это вам так показалось: он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.

Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал:

— Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек!

— Губернатор превосходный человек?

— Да, не правда ли?

— Первый разбойник в мире!

— Как, губернатор разбойник? — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. — Признаюсь, этого я бы никак не подумал, — продолжал он. — Но позвольте, однако же, заметить: поступки его совершенно не такие, напротив, скорее даже мягкости в нем много. — Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.

— И лицо разбойничье! — сказал Собакевич. — Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор — это Гога и Магога![221]

«Нет, он с ними не в ладах, — подумал про себя Чичиков. — А вот заговорю я с ним о полицеймейстере: он, кажется, друг его».

— Впрочем, что до меня, — сказал он, — мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, открытый; в лице видно что-то просто-сердечное.

— Мошенник! — сказал Собакевич очень хладнокровно, — продаст, обманет, еще и пообедаст с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.

После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.

— Что ж, душенька, пойдем обедать, — сказала Собакевичу его супруга.

— Прошу! — сказал Собакевич.

Засим, подошедши к столу, где была закуска, гость и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую; впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на четыре прибора. На четвертое место яви-

лась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме: что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто: ого-го!

— Щи, моя душа, сегодня очень хороши! — сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. — Эдакой няни, — продолжал он, обратившись к Чичикову, — вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут!

— У губернатора, однако ж, недурен стол, — сказал Чичиков.

— Да знаете ли, из чего это все готовится? вы есть не станете, когда узнаете.

— Не знаю, как готовится, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны.

— Это вам так показалось. Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца.

— Фу! какую ты неприятность говоришь, — сказала супруга Собакевича.

— А что ж, душенька, так у них делается, я не виноват, так у них у всех делается. Все что ни есть ненужного, что Акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп! да в суп! туда его!

— Ты за столом всегда эдакое расскажешь! — возразила опять супруга Собакевича.

— Что ж, душа моя, — сказал Собакевич, — если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что дела-

ются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке валяется! Это все выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это всё не то, это всё выдумки, это всё... — Здесь Собакевич даже сердито покачал головою. — Толкуют: просвещение, просвещение, а это просвещение — фук! Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня когда свинина — всю свинью давай на стол, баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует. — Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки.

«Да, — подумал Чичиков, — у этого губа не дура».

— У меня не так, — говорил Собакевич, вытирая салфеткою руки, — у меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина: восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха!

— Кто такой этот Плюшкин? — спросил Чичиков.

— Мошенник, — отвечал Собакевич. — Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом.

— Вправду! — подхватил с участием Чичиков. — И вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом количестве?

— Как мухи мрут.

— Неужели как мухи! А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?

— В пяти верстах.

— В пяти верстах! — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. — Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?

— Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке! — сказал Собакевич. — Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему.

— Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только, что интересуюсь познанием всякого рода мест, — отвечал на это Чичиков.

За бараньим боком последовали ватруш-

ки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился; но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье — ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла, с тем чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только побряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами:

— Я хотел было поговорить с вами об одном дельце.

— Вот еще варенье, — сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком, — редька, варенная в меду!

— А вот мы его после! — сказал Собакевич. — Ты ступай теперь в свою комнату, мы

с Павлом Ивановичем скинем фракки, маленько приотдохнем!

Хозяйка уже изъявила было готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах», — и хозяйка ушла.

Собакевич слегка принагнул голову, приготавливаясь слышать, в чем было дельце.

Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются... Собакевич все слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончивши жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтоб таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного механизма... Собакевич все слушал, наклонивши го-

лову, — и что, однако же, при всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их вносить подати так, как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими.

Собакевич слушал все по-прежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности.

— Итак?.. — сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа.

— Вам нужно мертвых душ? — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

— Да, — отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: — несуществующих.

— Найдутся, почему не быть... — сказал Собакевич.

— А если найдутся, то вам, без сомнения... будет приятно от них избавиться?

— Извольте, я готов продать, — сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупатель, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.

«Черт возьми, — подумал Чичиков про себя, — этот уж продает прежде, чем я заикнулся!» — и проговорил вслух:

— А, например, как же цена? хотя, впрочем, это такой предмет... что о цене даже странно...

— Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту рублей за штуку! — сказал Собакевич.

— По сту! — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.

— Что ж, разве это для вас дорого? — про-

изнес Собакевич и потом прибавил: — А какая бы, однако ж, ваша цена?

— Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю с своей стороны, положила руку на сердце: по восьми гривен за душу, это самая красная цена!

— Эх куда хватили — по восьми гривенок!

— Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя.

— Ведь я продаю не лапти.

— Однако ж согласитесь сами: ведь это тоже и не люди.

— Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по двугривенному ре-визскую душу?

— Но позвольте: зачем вы их называете ре-визскими, ведь души-то самые давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по полтора рубли, извольте, дам, а больше не могу.

— Стыдно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!

— Не могу, Михаил Семенович, поверьте

моей совести, не могу: чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать, — говорил Чичиков, однако ж по полтинке еще прибавил.

— Да чего вы скупитесь? — сказал Собакевич. — Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, — прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

Чичиков открыл рот, с тем чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова:

— А Пробка Степан, плотник? я голову прокладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но Собакевича, как видно, пронесло: полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

— Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.

— Но позвольте, — сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было, — зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это всё народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.

— Да, конечно, мертвые, — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: — Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живу-

цами? Что это за люди? Мухи, а не люди.

— Да всё же они существуют, а это ведь мечта.

— Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машинища такая, что в эту комнату не войдет; нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!

Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони,[222] как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг, неизвестно почему, обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники; и несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надле-

жащее приличие, и потом уже уйти прочь.

— Нет, больше двух рублей я не могу дать, — сказал Чичиков.

— Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте — по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнациями, право, только для знакомства!

«Что он в самом деле, — подумал про себя Чичиков, — за дурака, что ли, принимает меня?» — и прибавил потом вслух:

— Мне странно, право: кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия, иначе я не могу себе объяснить... Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит? кому нужен?

— Да вот вы же покупаете, стало быть, нужен.

Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные и семейственные, но Собакевич отвечал просто:

— Мне не нужно знать, какие у вас отно-

шения; я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться, что не купили.

— Два рублика, — сказал Чичиков.

— Эк, право, затвердила сорока Якова одно про всякого, как говорит пословица; как наладили на два, так не хотите с них и съехать. Вы давайте настоящую цену!

«Ну, уж черт его побери, — подумал про себя Чичиков, — по полтине ему прибавлю, собаке, на орехи!»

— Извольте, по полтине прибавлю.

— Ну, извольте, и я вам скажу тоже мое последнее слово: пятьдесят рублей! право, убыток себе, дешевле нигде не купите такого хорошего народа!

«Экой кулак!» — сказал про себя Чичиков и потом продолжал вслух с некоторою досадою:

— Да что в самом деле... как будто точно сурьезное дело; да я в другом месте нипочем возьму. Еще мне всякий с охотой сбудет их, чтобы только поскорей избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить

за них подати!

— Но знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами, по дружбе, не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной — такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства.

«Вишь, куды метит, подлец!» — подумал Чичиков и тут же произнес с самым хладнокровным видом:

— Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по склонности собственных мыслей. Два с полтиною не хотите — прощайте!

«Его не собьешь, неподатлив!» — подумал Собакевич.

— Ну, бог с вами, давайте по тридцати и берите их себе!

— Нет, я вижу, вы не хотите продать, прощайте!

— Позвольте, позвольте! — сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу, ибо герой наш позабыл побережться, в наказание за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге.

— Прошу прощения! я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйста, садитесь сюда! Прошу! — Здесь он усадил его в кресла с некоторою даже ловкостью, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевертываться, и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся» или: «А как, Миша, малые ребята горох крадут?»

— Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить.

— Посидите одну минуточку, я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово. — Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет: — Хотите угол?

— То есть двадцать пять рублей? Ни, ни, ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю.

Собакевич замолчал. Чичиков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку.

— Какая ж ваша будет последняя цена? — сказал наконец Собакевич.

— Два с полтиною.

— Право, у вас душа человеческая все рав-

но что пареная репа. Уж хоть по три рубли дайте!

— Не могу.

— Ну, нечего с вами делать, извольте! Убыток, да уж нрав такой собачий: не могу не доставить удовольствия ближнему. Ведь, я чай, нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке.

— Разумеется.

— Ну вот то-то же, нужно будет ехать в город.

Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичиков попросил списочка крестьян. Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бюро, собственноручно принялся выписывать всех не только поименно, но даже с означением похвальных качеств.

А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади, рассматриваньем всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренно: «Эк наградил-то

тебя Бог! вот уж точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит!.. Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты чрез них сделался то, что называют человек-кулак? Но нет: я думаю, ты все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. Вся разница в том, что теперь ты упишешь полбараньего бока с кашей, закусивши ватрушкою в тарелку, а тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями. Да вот теперь у тебя под властью мужики: ты с ними в ладу и, конечно, их не обидишь, потому что они твои, тебе же будет хуже; а тогда бы у тебя были чиновники, которых бы ты сильно пощелкивал, смекнувши, что они не твои же крепостные, или грабил бы ты казну! Нет! кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь! А разогни кулаку один или два пальца, выдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать потом, занявши место повиднее, всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку. Да еще, пожалуй, скажет потом:

„Дай-ка себя покажу!“ Да такое выдумает мудрое постановление, что многим придется со-лоно... Эх, если бы все кулаки!..»

— Готова записка, — сказал Собакевич, оборотившись.

— Готова? Пожалуйста ее сюда! — Он пробежал ее глазами и подивился аккуратности и точности: не только было обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, но даже на полях находились особенные отметки насчет поведения, трезвости, — словом, любо было глядеть.

— Теперь пожалуйста же задаточек! — сказал Собакевич.

— К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги.

— Все, знаете, так уж водится, — возразил Собакевич.

— Не знаю, как вам дать, я не взял с собою денег. Да, вот десять рублей есть.

— Что ж десять! Дайте, по крайней мере, хоть пятьдесят!

Чичиков стал было отговариваться, что нет; но Собакевич так сказал утвердительно, что у него есть деньги, что он вынул еще бу-

мажку, сказавши:

— Пожалуй, вот вам еще пятнадцать, итого двадцать пять. Пожалуйте только расписку.

— Да на что ж вам расписка?

— Все, знаете, лучше расписку. Не ровен час, все может случиться.

— Хорошо, дайте же сюда деньги!

— На что ж деньги? У меня вот они в руке! как только напишете расписку, в ту же минуту их возьмете.

— Да позвольте, как же мне писать расписку? прежде нужно видеть деньги.

Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывши их пальцами левой руки, другою написал на лоскутке бумаги, что задаток двадцать пять рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна. Написавши записку, он пересмотрел еще раз ассигнации.

— Бумажка-то старенькая! — произнес он, рассматривая одну из них на свете, — немножко разорвана, ну да между приятелями нечего на это глядеть.

«Кулак, кулак! — подумал про себя Чичи-

ков, — да еще и бестия в придачу!»

— А женского пола не хотите?

— Нет, благодарю.

— Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку.

— Нет, в женском поле не нуждаюсь.

— Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона: кто любит попа, а кто попадью, говорит пословица.

— Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами, — говорил Чичиков, прощаясь.

— Да уж само собою разумеется. Третьего сюда нечего мешать; что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте! Благодарю, что посетили; прошу и вперед не забывать: коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу.

«Да, как бы не так! — думал про себя Чичиков, садясь в бричку. — По два с полтиною содрал за мертвую душу, чертов кулак!»

Он был недоволен поведением Собакеви-

ча. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый, и у губернатора, и у полицеймейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой, за дрянь взял деньги! Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет.

— Подлец, до сих пор еще стоит! — проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поверотивши к крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали, как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, попавши где-то на дороге претолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу.

— Эй, борода! а как проехать отсюда к Плюшкину, так чтоб не мимо господского дома?

Мужик, казалось, затруднился сим вопро-

СОМ.

— Что ж, не знаешь?

— Нет, барин, не знаю.

— Эх ты! А и седым волосом еще подернуло! скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей?

— А! заплатанной, заплатанной! — вскрикнул мужик.

Было им прибавлено и существительное к слову «заплатанной», очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все

свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а вlepливает сразу, как паспорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, — одной чертой обрисован ты с ног до головы!

Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами, рассыпано на святой, благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенностью и других даров бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженье его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзо-

вется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.

Глава шестая

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, — любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатленье какой-нибудь заметной особенности, — все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом, известной архитектуры с половиною фальшивых окон, один-одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков, круглый ли правиль-

ный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, фронт ли уездный, попавшийся среди города, — ничто не ускользало от свежего тонкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфет, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке[223] на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо — я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в мони-

стах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали сквозь древесную зелень красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою, наружностью; и по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприятно, мне не смешно, и то, что

пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!

Покамест Чичиков думал и внутренне посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками Плюшкину, он не заметил, как въехал в средину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако же, дал заметить ему это препорядочный толчок, произведенный бревенчатою мостовою, пред которою городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и необерегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостик собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и,

конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в вёдро и сама не каплет, бабиться же в ней незачем, когда есть простор и в кабаке, и на большой дороге, — словом, где хочешь. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном; балкончики под крышами с перилами, неизвестно для каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные клады хлеба, застоявшиеся, как видно, долго; цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник. Хлеб, как видно, был господский. Из-за хлебных кладей и ветхих крыш возносились и мелькали на чистом воздухе, то справа, то слева, по мере того как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой: опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями стал выказываться господский дом и наконецглянул весь в том месте, где цепь изб прервалась и наместо их остался пустырем огород или ка-

пустник, обнесенный низкою, местами изломанною городьбою. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшей их краски. Стены дома оцеливали местами нагую штукатурную решетку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна, с своей стороны, были тоже подслеповаты; на одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги.

Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходявший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежа-

ли на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвященное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся

беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, [224] густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листья, под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороны гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создано в

хладе размеренной чистоты и опрятности.

Сделав один или два поворота, герой наш очутился наконец перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений: людских, амбаров, погребов, видимо ветшавших, — наполняла двор; возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину: ни отворявшихся дверей, ни вышедших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома! Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженной телегой, покрытою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места; в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: ба-

ба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сильным для женщины. «Ой, баба! — подумал он про себя и тут же прибавил: — ой, нет!» — «Конечно, баба!» — наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у ней за поясом ключам и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, верно, ключница.

— Послушай, матушка, — сказал он, выходя из брички, — что барин?..

— Нет дома, — прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом, спустя минуту, прибавила: — А что вам нужно?

— Есть дело!

— Идите в комнаты! — сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже.

Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходявшим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюро, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с ка-

кою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов.

По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин: длинный пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что поглубже и что недостойно лежать на столах. Что именно на-

ходилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребыванье старый, поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь и вошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница: ключница, по крайней мере, не бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей. Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпеньем, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец последний, удивленный таким стран-

ным недоумением, решился спросить:

— Что ж барин? у себя, что ли?

— Здесь хозяин, — сказал ключник.

— Где же? — повторил Чичиков.

— Что, батюшка, слепы-то, что ли? — спросил ключник. — Эхва! А вить хозяин-то я!

Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случилось видеть немало всякого рода людей, даже таких, каких нам с читателем, может быть, никогда не придется увидеть; но такого он еще не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, настоорожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями

нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, [225] какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых хлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы [226] загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. [227] Заглянул бы кто-

нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, — ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы и где горами белеет всякое дерево — шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны, [228] жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, [229] куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, — но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладыны и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, — все тащил к се-

бе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон уже рыболов пошел на охоту!» — говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь; но если только она попадала в кучу, тогда все кончено: он божился, что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола все, что ни видел: сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и все это клал на бюро или на окошко.

А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки,

прядильни; везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум; опытностию и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать; приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебо-сольством; навстречу выходили две миловидные дочери, обе белокурые и свежие, как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли или не рад был этому гость. В доме были открыты все окна, антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок: приносил всегда к обеду тетерек или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом доме никто ее не ел. На антресолях жила также его компатриотка, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были в порядке: нигде никакой запла-

ты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александру Степановну он не мог во всем положиться, да и был прав, потому что Александра Степановна скоро убежала с штабс-ротмистром, бог весть какого кавалерийского полка, и обвенчалась с ним где-то наскоро в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров по странному предубеждению, будто бы все военные картежники и мотишки. Отец послал ей на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало еще пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость, сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться; учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу; мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешною в похищении Александры Степановны; сын, будучи отправлен в губернский город, с тем чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в

полк и написал к отцу уже по своем определении, прося денег на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш. Наконец последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владельцем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится ненасытнее; человеческие чувства, которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в карты; он послал ему от души свое отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою; с каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бу-

мажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате; неуступчивее становился он к покупателям, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения; покупщики торговались, торговались и наконец бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек; сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее рубить, к сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему: столько же оброку должен был принести мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба; столько же поставов холста должна была наткать ткачиха, — все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, и сам он обратился

наконец в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаюсь, нельзя ли чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у бабушки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадах, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала Александра Степановна.

Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! Должно сказать, что подобное явление редко попадает на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежить-

ся, и тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких, темных владельцев: дворцами глядят его белые каменные дома с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещеньями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад. Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в сем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнее, и суровее, и в двадцать раз грознее является чрез то ночное небо и, далеко трепеща листьями в вышине, уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный

блеск, осветивший снизу их корни.

Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искося бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно бы было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум.

На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было, что именно,

неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: «А побрал бы тебя черт с твоим почтением!» Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться!»

— Я давненько не вижу гостей, — сказал он, — да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения... да и лошадей их корми сеном! Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсем развалилась: начнешь топить, еще пожару наделаешь.

«Вон оно как! — подумал про себя Чичиков. — Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока».

— И такой скверный анекдот, что сена хоть бы клочок в целом хозяйстве! — продолжал Плюшкин. — Да и в самом деле, как прибережешь его? землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак... того и гляди, пойдешь на старости лет по миру!

— Мне, однако же, сказывали, — скромно

заметил Чичиков, — что у вас более тысячи душ.

— А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал! Он, пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают, тысячи душ, а поди-тка сосчитай, а и ничего не начтешь! Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков.

— Скажите! и много выморила? — воскликнул Чичиков с участием.

— Да, снесли многих.

— А позвольте узнать: сколько числом?

— Душ восемьдесят.

— Нет?

— Не стану лгать, батюшка.

— Позвольте еще спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?

— Это бы еще слава богу, — сказал Плюшкин, — да лих-то, что с того времени до ста двадцати наберется.

— Вправду? Целых сто двадцать? — воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.

— Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десяток живу! — сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнает.

— Да ведь соболезнавание в карман не положишь, — сказал Плюшкин. — Вот возле меня живет капитан; черт знает его, откуда взялся, говорит — родственник: «Дядюшка, дядюшка!» — и в руку целует, а как начнет соболезнавать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный: пеннику, чай, на смерть придерживается. Верно, спустил денежки, служба в офицерах, или театральная актриса выманила, так вот он теперь и соболезнает!

Чичиков постарался объяснить, что его соболезнавание совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его и, не откладывая дела далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших та-

кими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и наконец спросил:

— Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?

— Нет, — отвечал Чичиков довольно лукаво, — служил по статской.

— По статской? — повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал. — Да ведь как же? Ведь это вам самим-то в убыток?

— Для удовольствия вашего готов и на убыток.

— Ах, батюшка! ах, благодетель мой! — вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак, на образец густого кофия, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматриванья. — Вот утешили старика! Ах, господи ты мой! ах, святители вы мои!.. — Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и прошла,

будто ее вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувши его в комок, стал им возить себя по верхней губе.

— Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них подать? и деньги будете выдавать мне или в казну?

— Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали.

— Да, купчую крепость... — сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами. — Ведь вот купчую крепость — всё издержки. Приказные такие бессовестные! Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание; сказал бы какое-нибудь поучение: ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь.

«Ну, ты, я думаю, устоишь!» — подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что, из уважения к нему, он готов принять даже издерж-

ки по купчей на свой счет.

Услыша, что даже издержки по купчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по статской, а, верно, был в офицерах и волочился за актерками. При всем том он, однако ж, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него или нет. Подошед к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал: «Эй, Прошка!» Через минуту было слышно, что кто-то вбежал впопыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами, наконец дверь отворилась и вошел Прошка, мальчик лет тринадцати, в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же: у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом

являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул из окошка в осеннее время и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие скачки, какие вряд ли удастся выделывать на театрах самому бойкому танцовщику.

— Вот посмотрите, батюшка, какая рожка! — сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. — Глуп ведь как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдет! Ну, чего ты пришел, дурак, скажи, чего? — Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием. — Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю!.. Пстой, куда же ты? Дурачина! эхва, дурачина! Бес у тебя в ногах, что ли, чешется?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, поиспортился, так пусть соскоблит его ножом да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри ты, ты не

входи, брат, в кладовую, не то я тебя, знаешь! березовым-то веником, чтобы для вкуса-то! Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше! Вот попробуй-ка пойти в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять, — продолжал он, обратившись к Чичикову, после того как Прошка убрался вместе с своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал про себя: «Ведь черт его знает, может быть, он просто хвастун, как все эти мотишки; наврет, наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет!» А потому из предосторожности и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчую поскорее, потому что-де в человеке не уверен: сегодня жив, а завтра и бог весть.

Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списка всем крестьянам.

Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать, и точно,

взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и наконец произнес:

— Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили! народ такие воры! А вот разве не это ли он? — Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке. — Еще покойница делала, — продолжал Плюшкин, — мошенница ключница совсем было его забросила и даже не закупорила, каналья! Козявки и всякая дрянь было напичкались туда, но я весь сор-то повынул, и теперь вот чистенькая; я вам налью рюмочку.

Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил и ел.

— Пили уже и ели! — сказал Плюшкин. — Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь: он не ест, а сыт; а как эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми... Ведь вот капитан — приедет: «Дядюшка, говорит, дайте чего-нибудь поесть!» А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего, так вот он и

шатается! Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев? Как же, я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть.

Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такую пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю испи-санную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие: и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий Доезжай-не-доедешь; всех было сто двадцать с лишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.

— В город? Да как же?.. а дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник: в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить.

— Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?

— Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, ба-

тюшка! как не иметь, имею! — вскричал он. — Ведь знаком сам председатель, ездил даже в старые годы ко мне, как не знать! однокорытниками были, вместе по заборам лазили! как не знакомый? уж такой знакомый! так уж не к нему ли написать?

— И, конечно, к нему.

— Как же, уж такой знакомый! в школе были приятели.

И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки, — явление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустынное становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее.

— Лежала на столе четвертка чистой бумаги, — сказал он, — да не знаю, куда запропастилась: люди у меня такие негодные! — Тут стал он заглядывать и под стол и на стол, шарил везде и наконец закричал: — Мавра! а Мавра!

На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор:

— Куда ты дела, разбойница, бумагу?

— Ей-богу, барин, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку.

— А вот я по глазам вижу, что подтибрила.

— Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого; я грамоте не знаю.

— Врешь, ты снесла пономаренку: он маракует, так ты ему и снесла.

— Да пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка!

— Вот погоди-ка: на Страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками! вот посмотришь, как припекут!

— Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвертки? Уж скорее другой какой бабьей слабостью, а воровством меня еще никто не попрекал.

— А вот черти-то тебя и припекут! скажут: «А вот тебе, мошенница, за то, что барина-то обманывала!», да горячими-то тебя и припекут!

— А я скажу: «Не за что! ей-богу, не за что, не брала я...» Да вон она лежит на столе. Всегда понапраслиной попрекаете!

Плюшкин увидел, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес:

— Ну, что ж ты расходилась так? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она уж в ответ десяток! Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой, ты схватишь сальную свечу, сало дело топкое: сторит — да и нет, только убыток, а ты принеси-ка мне лучинку!

Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресла и взявши в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четвертку, придумывая: нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, но наконец

убедился, что никак нельзя; всунул перо в чернильницу с какою-то заплесневшею жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая раскакивалась по всей бумаге, лепя скупно строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела.

И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может стать с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек!», но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловеч-

ной старости.

— А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, — сказал Плюшкин, складывая письмо, — которому бы понадобились беглые души?

— А у вас есть и беглые? — быстро спросил Чичиков, очнувшись.

— В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки: говорит, будто и след простыл, но ведь он человек военный: мастер притопывать шпорой, а если бы похлопотать по судам...

— А сколько их будет числом?

— Да десятков до семи тоже наберется.

— Нет?

— А ей-богу, так! Ведь у меня что год, то бегают. Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего... А уж я бы за них что ни дай взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то: отыщись ведь только десяток, так вот уж у него славная денюга. Ведь ревизская душа стóит в пятистах рублях.

«Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», — сказал про себя Чичиков и потом

объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более, ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана да уходить подальше; но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать... но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить.

— А сколько бы вы дали? — спросил Плюшкин и сам оживовел: руки его задрожали, как ртуть.

— Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу.

— А как вы покупаете, на чистые?

— Да, сейчас деньги.

— Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока копеек.

— Почтеннейший! — сказал Чичиков, — не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! с удовольствием заплатил бы, потому что вижу — почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.

— А ей-богу, так! ей-богу, правда! — сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокруши-

тельно покачав ее. — Всё от добродушия.

— Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему ж не дать бы мне по пятисот рублей за душу, но... состоянья нет; по пяти копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась, таким образом, в тридцать копеек.

— Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две копейки пристегните.

— По две копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили семьдесят?

— Нет. Всего наберется семьдесят восемь.

— Семьдесят восемь, семьдесят восемь, по тридцати копеек за душу, это будет... — здесь герой наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: — это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек! — он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедши к бюро, он переглядел их еще раз и уложил, тоже чрез-

вычайно осторожно, в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребенными до тех пор, покамест отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого, к неописанной радости зятя и дочери, а может быть, и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресла и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.

— А что, вы уж собираетесь ехать? — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок.

Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать.

— Да, мне пора! — произнес он, взявшись за шляпу.

— А чайку?

— Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время.

— Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю: напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прощка! не нужно самовара! Сахарь отнеси Мавре, слышишь: пусть его поло-

жит на то же место, или нет, подай его сюда, я ужо снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благословит вас Бог, а письмо-то председателю вы отдайте. Да! пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же! были с ним однокорытниками!

Засим это странное явление, этот съезжившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые, с тем чтобы осмотреть, на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок, наместо чугунной доски; после того заглянул в кухню, где под видом того чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся препорядочно щей с кашею и, выбравивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы ему возблагодарить гостя за такое в самом деле беспримерное великодушие. «Я ему подарю, — подумал он про себя, — карманные часы: они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые или бронзовые; немножко поиспорчены, да

ведь он себе переправит; он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте! Или нет, — прибавил он после некоторого размышления, — лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне».

Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего двести с лишком человек! Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой прибыточной никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и наконец затянул какую-то песню, до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал и потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и казалось, самые

предметы перемешались тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет; усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка въехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ, в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания: «Врешь, пьяница! я никогда не позволяла ему такого грубиянства!» — или: «Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!..» Словом, те слова, которые вдруг обдадут, как варом, какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего

юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его? он в небесах и к Шиллеру заехал в гости — и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь.

Наконец бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась, как будто в яму, в ворота гостиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, который одною рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал, со свечою в руке и салфеткою на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно, по крайней мере, они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась.

— Долго изволили погулять, — сказал половой, освещая лестницу.

— Да, — сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. — Ну, а ты что?

— Слава богу, — отвечал половой, кланяясь. — Вчера приехал поручик какой-то военный, занял шестнадцатый номер.

— Поручик?

— Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади.

— Хорошо, хорошо, веди себя и вперед хорошо! — сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: — Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер!

— Да я их отпирал, — сказал Петрушка, да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавши самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливицы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.

Глава седьмая

Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут перед ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!

Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих и печальной своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бед-

ным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался и в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах... Нет равного ему в силе — он бог! Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и

крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлечением; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнца и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторжен-

ный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомоороха! Не признаёт сего современный суд и все обратит в упрек и поношенье непризанному писателю; без разделенья, без ответа, без участия, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество.

И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подыметя из облеченной в святой ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...

В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотрим, что делает Чичиков.

Чичиков проснулся, потянул руки и ноги и

почувствовал, что выспался хорошо. Полежав минуты две на спине, он щелкнул рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого четыреста душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно и в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им перед кем-нибудь из приятелей, особливо если это происходило во время бритья. «Вот, посмотри, — говорил он обыкновенно, поглаживая его рукою, — какой у меня подбородок: совсем круглый!» Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо, так, как был, надел сафьяновые сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок благодаря халатным побуждениям русской природы, и, по-шотландски, в одной короткой рубашке, позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, приклепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу: перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкуп-

ный земский суд, подходящий к закуске, и тот же час вынул из нее бумаги. Ему хотелось поскорее кончить все, не откладывая в долгий ящик. Сам решился он сочинить крепости, написать и переписать, чтоб не платить ничего подьячим. Форменный порядок был ему совершенно известен: бойко выставил он большими буквами: «Тысяча восемьсот такого-то года», потом вслед за тем мелкими: «помещик такой-то», и все, что следует. В два часа готово было все. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то особенный характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью в слоге: часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств и потом две точки.

Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностью, ни одно из качеств мужика не было пропущено; об одном было сказано: «хороший столяр», к другому приписано: «дело смыслит и хмельного не берет». Означено было также обстоятельно, кто отец, и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: «отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор». Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, подельывали на веку своем? как перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамилии: это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «Эх, какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли ты был или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли, или

среди дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государственную[230] зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог, — где тебя прибрало? Взмогнулся ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись, оттуда, с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!» — а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник. Хе, сапожник! «Пьян, как сапожник», говорит поговорка. Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, всю историю твою расскажу: учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо,

а не сапожник, и не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с камрадом. А как кончилось твое ученье: «А вот теперь я заведу свой домком, — сказал ты, — да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею». И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты лавчонку, набрав заказов кучу, и пошел работать. Достал где-то втридешева гнилушки кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да через недели две перелопались твои сапоги, и выбрали тебя подлеишим образом. И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошел попить да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на свете! Нет жистья русскому человеку, всё немцы мешают». Это что за мужик: Елизавета Воробей. Фу-ты пропасть: баба! она как сюда затесалась? Подлец, Собакевич, и здесь надул!» Чичиков был прав: это была, точно, баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика, и даже имя оканчивалось на букву ъ, то есть не Елизавета, а Елизаветъ. Однако же он это не принял в уважение, и тут же ее вычеркнул. «Григорий Доезжай-не-доедешь! Ты

что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу Богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может, и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай как звали. Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью! А вы что, мои голубчики? — продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина, — вы хоть и в живых еще, а что в вас толку! то же, что и мертвые, и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги? Плохо ли вам было у Плюшкина или просто, по своей охоте, гуляете по лесам да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита — эти, и по прозвищу видно, что хорошие бегу-

ны. Попов, дворовый человек, должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя беспашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. „Чей ты?“ — говорит капитан-исправник, ввернувши тебе при сей верной okazji кое-какое крепкое словцо. „Такого-то и такого-то помещика“, — отвечаешь ты бойко. „Зачем ты здесь?“ — говорит капитан-исправник. „Отпущен на оброк“, — отвечаешь ты без запинки. „Где твой паспорт?“ — „У хозяина, помещанина Пименова“. — „Позвать Пименова! Ты Пименов?“ — „Я Пименов“. — „Давал он тебе паспорт свой?“ — „Нет, не давал он мне никакого паспорта“. — „Что ж ты врешь?“ — говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. „Так точно, — отвечаешь ты бойко, — я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову, звонарю“. — „Позвать звонаря! Давал он тебе паспорт?“ — „Нет, не получал я от него паспорта“. — „Что ж ты опять врешь! — говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом. —

Где ж твой паспорт?“ — „Он у меня был, — говоришь ты проворно, — да, статья может, видно, как-нибудь дорогой пообронил его“. — „А солдатскую шинель, — говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо, — зачем стащил? и у священника тоже сундук с медными деньгами?“ — „Никак нет, — говоришь ты, не сдвинувшись, — в воровском деле никогда еще не оказывался“. — „А почему же шинель нашли у тебя?“ — „Не могу знать: верно, кто-нибудь другой принес ее“. — „Ах ты bestия, bestия! — говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бок. — А набейте ему на ноги колодки да сведите в тюрьму“. — „Извольте! я с удовольствием“, — отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты потчевашь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и спрашивашь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, покамест в суде производится твое дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет

опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весъегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: „Нет, вот весъегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!“ Абакум Фыров! ты, брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу и влюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?..» Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова или задумался так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни? И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканьях, нацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят

кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки[231] и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню.

«Эхе, хе! двенадцать часов! — сказал наконец Чичиков, взглянув на часы. — Что ж я так закопался? Да еще пусть бы дело делал, а то ни с того ни с другого сначала загородил околесину, а потом задумался. Экой я дурак в самом деле!» Сказавши это, он переменял свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, вспрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и бумаги под мышку и отправился в гражданскую палату совершать купчую. Он спешил не потому, что боялся опоздать, — опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанию присутствие, подобно

древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средство додраться, но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дела к концу; до тех пор ему казалось все беспокойно и неловко; все-таки приходила мысль: что души не совсем настоящие и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее с плеч. Не успел он выйти на улицу, размышляя об всем этом и в то же время таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся тоже с господином в медведях, крытых коричневым сукном, и в теплом картузе с ушами. Господин вскрикнул, это был Манилов. Они заключили тут же друг друга в объятия и минут пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах самых тонких и

приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича; речь была заключена таким комплиментом, какой разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовою ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами.

— Это что?

— Мужички.

— А! — Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. — Славно написано, — сказал он, — не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг! кто это так искусно сделал каемку?

— Ну, уж не спрашивайте, — сказал Манилов.

— Вы?

— Жена.

— Ах боже мой! мне, право, совестно, что нанес столько затруднений.

— Для Павла Ивановича не существует затруднений.

Чичиков поклонился с признательностью.

Узнавши, что он шел в палату за совершением купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении, или горке, или ступеньке, Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятною улыбкою, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что несколько был тяжеленек. Во взаимных услугах они дошли наконец до площади, где находились присутственные места: большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно для изображения чистоты душ помещавшихся в нем должностей; прочие здания на площади не отвечали огромностию каменному дому. Это были: караульная будка, у которой стоял солдат с ружьем, две-три извозчичьи биржи и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом; более не находилось ничего на сей уединенной, или, как у нас выражаются, красивой площади. Из окон второго и третье-

го этажа высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды и в ту ж минуту прятались опять: вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избежать поддерживанья под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже, с своей стороны, летел вперед, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в темный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней, и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не знает,

как там все благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, и черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сертуки губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову набок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттяганье земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей и внуков под его покровом, да слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельце за № 368!» — «Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казенной чернильницы!» Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги и просидишь ты у меня шесть суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими

листьями.

Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели два чиновника еще юных лет, и спросили:

— Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?

— А что вам нужно? — сказали оба чиновника, оборотившись.

— А мне нужно подать просьбу.

— А вы что купили такое?

— Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте?

— Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем где, а так нельзя знать.

Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значения себе и своим занятиям.

— Послушайте, любезные, — сказал он, — я очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол, а если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других.

Чиновники на это ничего не отвечали, один из них только тыкнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно.

— Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь дела по крепостям?

Старик поднял глаза и произнес с расстановкою:

— Здесь нет дел по крепостям.

— А где же?

— Это в крепостной экспедиции.

— А где же крепостная экспедиция?

— Это у Ивана Антоновича.

— А где же Иван Антонович?

Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился еще внимательнее в писание.

— Позвольте узнать, — сказал Чичиков с поклоном, — здесь крепостной стол?

Иван Антонович как будто бы и не слышал и углубился совершенно в бумаги, не отвечая ничего. Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за сорок лет; волос на нем был черный, густой; вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос, — словом, это было то лицо, которое называют в общежитье кувшинным рылом.

— Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция? — сказал Чичиков.

— Здесь, — сказал Иван Антонович, повернул свое кувшинное рыло и приложился опять писать.

— А у меня дело вот какое: куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод: купчая есть, остается совершить.

— А продавцы налицо?

— Некоторые здесь, а от других доверенность.

— А просьбу принесли?

— Принес и просьбу. Я бы хотел... мне нужно поторопиться... так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?

— Да, сегодня! сегодня нельзя, — сказал Иван Антонович. — Нужно навести еще справки, нет ли еще запрещений.

— Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг...

— Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и другие, — сказал сурово Иван Антонович.

Чичиков понял закавыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал:

— Другие тоже не будут в обиде, я сам служил, дело знаю...

— Идите к Ивану Григорьевичу, — сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее, — пусть он даст приказ, кому следует, а за нами дело не постоит.

Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать.

— Вот он вас проведет в присутствие! — сказал Иван Антонович, кивнув головою, и

один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Virgiliy прислужился Данту, [232] и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом, за зеркалом[233] и двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Virgiliy почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую, как рогожка, с прилипнувшим где-то куриным пером. Вошедши в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один, подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зеркалом. Приход гостей произвел восклицание, правительственные кресла были отодвинуты с шумом. Собакевич тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон с длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова в объятия, и комната присутствия

огласилась поцелуями, спросили друг друга о здоровье; оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлен Собакевичем о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько смешало нашего героя, особенно когда он увидел, что и Собакевич и Манилов, оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к Собакевичу, спросил:

— А ваше как здоровье?

— Слава богу, не пожалуюсь, — сказал Собакевич.

И точно, не на что было жаловаться: скорее железо могло простудиться и кашлять, чем этот на диво сформованный помещик.

— Да вы всегда славились здоровьем, — сказал председатель, — и покойный ваш батюшка был также крепкий человек.

— Да, на медведя один хаживал, — отвечал Собакевич.

— Мне кажется, однако ж, — сказал предсе-

датель, — вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него.

— Нет, не повалю, — отвечал Собакевич, — покойник был меня покрепче, — и, вздохнувши, продолжал: — Нет, теперь не те люди; вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? так как-то себе...

— Чем же ваша жизнь не красна? — сказал председатель.

— Нехорошо, нехорошо, — сказал Собакевич, покачав головою. — Вы посудите, Иван Григорьевич: пятый десяток живу, ни разу не был болен; хоть бы горло заболело, веред или чирей выскочил... Нет, не к добру! когда-нибудь придется поплатиться за это. — Тут Собакевич погрузился в меланхолию.

«Эк его, — подумали в одно время и Чичиков и председатель, — на что вздумал пенять!»

— К вам у меня есть письмецо, — сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина.

— От кого? — сказал председатель и, распечатавши, воскликнул: — А! от Плюшкина. Он еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба,

ведь какой был умнейший, богатейший человек! а теперь...

— Собака, — сказал Собакевич, — мошенник, всех людей переморил голодом.

— Извольте, извольте, — сказал председатель, прочитав письмо, — я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после?

— Теперь, — сказал Чичиков, — я буду просить даже вас, если можно, сегодня, потому что мне завтра хотелось бы выехать из города; я принес и крепости, и просьбу.

— Все это хорошо, только, уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы все-таки с нами поживите. Вот я сейчас отдам приказ, — сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам: — Иван Антонович здесь?

— Здесь, — отозвался голос изнутри.

— Позовите его сюда!

Уже известный читателям Иван Антоно-

вич кувшинное рыло показался в зале при-
сутствия и почтительно поклонился.

— Вот возьмите, Иван Антонович, все эти крепости их...

— Да не позабудьте, Иван Григорьевич, — подхватил Собакевич, — нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите теперь же к прокурору, он человек праздный и, верно, сидит дома, за него все делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный и, верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты, да еще тут много есть, кто поближе, — Трухачевский, Бегушкин, они все даром бременят землю!

— Именно, именно! — сказал председатель и тот же час отрядил за ними всеми канцелярского.

— Еще я попрошу вас, — сказал Чичиков, — пошлите за поверенным одной помещицы, с которой я тоже совершил сделку, сыном протопопа отца Кирила; он служит у вас же.

— Как же, пошлем и за ним! — сказал председатель. — Все будет сделано, а чинов-

ным вы никому не давайте ничего, об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить. — Сказавши это, он тут же дал какое-то приказанье Ивану Антоновичу, как видно ему не понравившееся. Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо когда он увидел, что всех покупок было почти на сто тысяч рублей. Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выраженьем большого удовольствия и наконец сказал:

— Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! так вот вы приобрели.

— Приобрел, — отвечал Чичиков.

— Благое дело, право, благое дело!

— Да я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал наконец твердой стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности. — Тут он весьма кстати выбранил за либерализм, и поделом, всех молодых людей. Но замечательно, что в словах его была все какая-то нетвердость, как будто бы тут же сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь

ты, да еще и сильно!» Он даже не взглянул на Собакевича и Манилова из боязни встретить что-нибудь на их лицах. Но напрасно боялся он: лицо Собакевича не шевельнулось, а Манилов, обвороженный фразою, от удовольствия только потряхивал одобрительно головою, погрузясь в такое положение, в каком находится любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрыпку и пискнула такую тонкую ноту, какая невмочь и птичьему горлу.

— Да, что ж вы не скажете Ивану Григорьевичу, — отозвался Собакевич, — что такое именно вы приобрели; а вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ! просто золото. Ведь я им продал и каретника Михеева.

— Нет, будто и Михеева продали? — сказал председатель. — Я знаю каретника Михеева: славный мастер; он мне дрожки переделал. Только позвольте, как же... Ведь вы мне сказывали, что он умер...

— Кто, Михеев умер? — сказал Собакевич, ничуть не смешавшись. — Это его брат умер, а он преживехонький и стал здоровее преж-

него. На днях такую бричку наладил, что и в Москве не сделать. Ему, по-настоящему, только на одного государя и работать.

— Да, Михеев славный мастер, — сказал председатель, — и я дивлюсь даже, как вы могли с ним расстаться.

— Да будто один Михеев! А Пробка Степан, плотник, Милушкин, кирпичник, Телятников Максим, сапожник, — ведь все пошли, всех продал! — А когда председатель спросил, за чем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, махнувши рукой: — А! так просто, нашла дурь: дай, говорю, продам, да и продал сдуру! — Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: — Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума.

— Но позвольте, Павел Иванович, — сказал председатель, — как же вы покупаете крестьян без земли? разве на вывод?

— На вывод.

— Ну, на вывод другое дело. А в какие места?

— В места... в Херсонскую губернию.

— О, там отличные земли! — сказал председатель и отозвался с большою похвалою насчет рослости тамошних трав. — А земли в достаточном количестве?

— В достаточном; столько, сколько нужно для купленных крестьян.

— Река или пруд?

— Река. Впрочем, и пруд есть. — Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича, и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице его: «Ой, врешь ты! вряд ли есть река, и пруд, да и вся земля!»

Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели: знакомый читателю прокурор-моргун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову: недостававшие и лишние набраны были тут же, из палатских чиновников. Привели также не только сына протопопа отца Кирила, но даже и самого протопопа. Каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чина-

ми, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто просто чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже и не видано было в русском алфавите. Известный Иван Антонович управился весьма проворно: крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентных и за припечатку в «Ведомостях», и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая, неизвестно каким образом, отнесена была на счет какого-то другого просителя.

— Итак, — сказал председатель, когда все было кончено, — остается теперь только вспрыснуть покупочку.

— Я готов, — сказал Чичиков. — От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для эдакого приятного общества да не раскупорить другую-третью бутылочку шипучего.

— Нет, вы не так приняли дело: шипучего мы сами поставим, — сказал председатель, — это наша обязанность, наш долг. Вы у нас гость: нам должно угощать. Знаете ли что,

господа! Покамест что, а мы вот как сделаем: отправимтесь-ка все, так как есть, к полицеймейстеру; он у нас чудотворец: ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба, так мы, знаете ли, так закусим! да при этой okazji и в вистишку.

От такого предложения никто не мог отказаться. Свидетели уже при одном наименованьe рыбного ряда почувствовали аппетит; взялись все тот же час за картузы и шапки, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович кувшинное рыло, учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову:

— Крестьян закупили на сто тысяч, а за труды дали только одну беленькую.[234]

— Да ведь какие крестьяне, — отвечал ему на это тоже шепотом Чичиков, — препустой и преничтожный народ, и половины не стоит.

Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и больше не даст.

— А почему купили душу у Плюшкина? — шепнул ему на другое ухо Собакевич.

— А Воробья зачем приписали? — сказал ему в ответ на это Чичиков.

— Какого Воробья? — сказал Собакевич.

— Да бабу, Елизавету Воробья, еще и букву
ъ поставили на конце.

— Нет, никакого Воробья я не приписывал, — сказал Собакевич и отошел к другим гостям.

Гости добрались наконец гурьбой к дому полицеймейстера. Полицеймейстер, точно, был чудотворец: как только услышал он, в чем дело, в ту ж минуту кликнул квартального, бойкого малого в лакированных ботфортах, и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо да прибавил только: «Понимаешь!» — а уж там, в другой комнате, в продолжение того времени, как гости резались в вист, появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свежепросольная, селедки, севрюжки, сыры, копченые языки и балыки, — это все было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны, изделия кухни: пирог с головизною, куда вошли хряц и щеки девятипудового осетра, другой пирог — с груздями, пряженцы, масляницы, [235] взваренцы. [236]

Полицеймейстер был некоторым образом

отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую. Вообще он сидел, как говорится, на своем месте и должность свою постигнул в совершенстве. Трудно было даже и решить, он ли был создан для места или место для него. Дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов противу всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не горд; и точно, он крестил у них детей, кумился с ними и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко: и по плечу потреплет, и засмеется, и чаем напоит, пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем: как делишки, что и как. Если узнает, что детеныш как-нибудь прихворнул, и лекарство присоветует, — словом, молодец! Поедет на дрожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит тому-другому: «Что, Михеич! нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку».[237] — «Да, Алексей Иванович, — отвечал тот, снимая шап-

ку, — нужно бы». — «Ну, брат, Илья Парамонич, приходи ко мне поглядеть рысака: в обгон с твоим пойдет, да и своего заложу в беговые; попробуем». Купец, который на рысаке был помешан, улыбался на это с особенною, как говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович!» Даже все сидельцы[238] обыкновенно в это время, снявши шапки, с удовольствием посматривали друг на друга и как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович хороший человек!» Словом, он успел приобрести совершенную народность, и мнение купцов было такое, что Алексей Иванович «хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст».

Заметив, что закуска была готова, полицеймейстер предложил гостям окончить вист после завтрака, и все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на большом блюде. Гости, выпивши по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях,

из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру, и, покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего, так что когда полицеймейстер вспомнил было о нем и, сказавши: «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?» — подошел было к нему с вилокю вместе с другими, то увидел, что от произведения природы оставался всего один хвост; а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, которая была подалше прочих, тыкал вилокю в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресла и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицеймейстер, кажется, не любил жалеть вина; тостам не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, и сами догадаются, за здоровье нового херсонского помещика, потом за благоденствие кре-

стыян его и счастливое их переселение, потом за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвало приятную улыбку с уст нашего героя. Приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на две недели в городе:

— Нет, Павел Иванович! как вы себе хотите, это выходит избу только выхолаживать: на порог, да и назад! нет, вы проведите время с нами! Вот мы вас женим: не правда ли, Иван Григорьевич, женим его?

— Женим, женим! — подхватил председатель. — Уж как ни упирайтесь руками и ногами, мы вас женим! Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь. Мы шутить не любим.

— Что ж? зачем упираться руками и ногами, — сказал, усмехнувшись, Чичиков, — женьитьба еще не такая вещь, чтобы того, была бы невеста.

— Будет и невеста, как не быть, все будет, все, что хотите!..

— А коли будет...

— Bravo, остается! — закричали все. — Виват, ура, Павел Иванович! ура! — И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках.

Чичиков перечекался со всеми. «Нет, нет, еще!» — говорили те, которые были позадорнее, и вновь перечекались; потом полезли в третий раз чокаться, перечекались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, который был премилый человек, когда развешался, обнимал несколько раз Чичикова, произнеся в излиянии сердечном: «Душа ты моя! маменька моя!» — и даже, щелкнув пальцами, пошел приплясывать вокруг него, припевая известную песню: «Ах ты такой и такой камаринский мужик». После шампанского раскупорили венгерское, которое придало еще более духу и развеселило общество. Об висте решительно позабыли; спорили, кричали, говорили обо всем: об политике, об военном даже деле, излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество самых затруднительных вопросов. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком веселом расположении, воображал себя уже настоящим херсонским помещиком, говорил об разных улучшениях: о трехпольном хозяйстве, о сча-

стии и блаженстве двух душ, и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте,[239] на которое тот хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо после осетра чувствовал большой позыв ко сну. Чичиков смекнул и сам, что начал уже слишком развязываться, попросил экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорский кучер, как оказалось в дороге, был малый опытный, потому что правил одной только рукой, а другую засунув назад, придерживал ею барина. Таким образом, уже на прокурорских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где долго еще у него вертелся на языке всякий вздор: белокурая невеста с румянцем и ямочкой на правой щеке, херсонские деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания: собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку. Селифан молча слушал очень долго и потом вышел из комнаты, сказавши Петрушке: «Ступай раздевать барина!» Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на пол и самого барина. Но нако-

нец сапоги были сняты; барин разделся как следует и, поворочавшись несколько времени на постеле, которая скрипела немилосердно, заснул решительно херсонским помещиком. А Петрушка между тем вынес на коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой, который, растопыривши на деревянную вешалку, начал бить хлыстом и щеткой, напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они встретились взглядами и чутьем поняли друг друга: барин-де завалился спать, можно и заглянуть кое-куда. Тот же час, отнеся в комнату фрак и панталоны, Петрушка сошел вниз, и оба пошли вместе, не говоря друг другу ничего о цели путешествия и балагурия дорогою совершенно о постороннем. Прогулку сделали они недалекую: именно, перешли только на другую сторону улицы, к дому, бывшему насупротив гостиницы, и вошли в низенькую стеклянную закоптившуюся дверь, приводившую почти в подвал, где уже сидело за деревянными столами много всяких: и бривших и не бривших бороды, и в на-

гольных тулупах и просто в рубаше, а кое-кто и во фризовой шинели.[240]

Что делали там Петрушка с Селифаном, бог их ведает, но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу, наконец одолели ее и взошли. Петрушка остановился с минуту перед низенькою своею кроватью, придумывая, как бы лечь приличнее, и лег совершенно поперек, так что ноги его упирались в пол. Селифан лег и сам на той же кровати, поместив голову у Петрушки на брюхе и позабыв о том, что ему следовало спать вовсе не здесь, а, может быть, в людской, если не в конюшне близ лошадей. Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп неслыханной густоты, на который барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними все утомилось, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Ря-

зани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и надиво стачанный каблук.

Глава восьмая

Покупки Чичикова сделались предметом празговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. «Конечно, — говорили иные, — это так, против этого и спору нет: земли в южных губерниях, точно, хороши и плодородны; но каково будет крестьянам Чичикова без воды? реки ведь нет никакой». — «Это бы еще ничего, что нет воды, это бы ничего, Степан Дмитриевич, но переселение-то ненадежная вещь. Дело известное, что мужик: на новой земле, да заняться еще хлебопашеством, да ничего у него нет, ни избы, ни двора, — убежит, как дважды

два, наострит так лыжи, что и следа не отыщешь». — «Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу». — «Но, Иван Григорьевич, ты упустил из виду важное дело: ты не спросил еще, каков мужик у Чичикова. Позабыл то, что ведь хорошего человека не продаст помещик; я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения». — «Так, так, на это я согласен, это правда, никто не продаст хороших людей, и мужики Чичикова пьяницы, но нужно принять во внимание, что вот тут-то и есть мораль, тут-то и заключена мораль: они теперь негодяи, а, переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Уж было немало таких примеров: просто в мире, да и по истории тоже». — «Никогда, никогда, — говорил управляющий казенными фаб-

риками, — поверьте, никогда это не может быть. Ибо у крестьян Чичикова будут теперь два сильные врага. Первый враг есть близость губерний малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю: в две недели они изопьются и будут стельки. Другой враг есть уже самая привычка к бродяжнической жизни, которая необходимо приобретется крестьянами во время переселения. Нужно разве, чтобы они вечно были перед глазами Чичикова и чтоб он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за всякий вздор, да и не то чтобы полагаясь на другого, а чтобы сам таки лично, где следует, дал бы и зуботычину и подзатыльника». — «Зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники, он может найти и управителя». — «Да, найдете управителя: все мошенники!» — «Мошенники потому, что господа не занимаются делом». — «Это правда, — подхватили многие. — Знай господин сам хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве да умеи различать людей — у него будет всегда хороший управитель». Но управляющий сказал, что меньше как за пять тысяч нельзя найти

хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за три тысячи сыскать. Но управляющий сказал: «Где же вы его сыщете? разве у себя в носу?» Но председатель сказал: «Нет, не в носу, а в здешнем же уезде, именно. Петр Петрович Самойлов: вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова!» Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их чрезвычайно устрашала; стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. На это полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не ездит, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода: были такие, которые уже чересчур отзывались военною жестокостью и строгостью, едва ли не излишнею; были, од-

нако же, и такие, которые дышали кротостию. Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом, по его выражению, ввести даже благодетельное просвещение, и при этом случае отозвался с большою похвалою об Ланкастеровой школе[241] взаимного обучения.

Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие, побуждаемые участием, сообщили даже Чичикову лично некоторые из сих советов, предлагали даже конвой для безопасного препровожденья крестьян до места жительства. За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не преминет ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им крестьяне отменно смирного характера, чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в каком случае между ними быть не может.

Все эти толки и рассуждения произвели, однако ж, самые благоприятные следствия,

каких только мог ожидать Чичиков. Именно, пронеслись слухи, что он не более, не менее как миллионщик. Жители города и без того, как уже мы видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь, после таких слухов, полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они всё были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости: «Любезный друг Илья Ильич», «Послушай, брат, Антипатор Захарьевич!», «Ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич». К почтмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: «Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?» — словом, все было очень семейственно. Многие были не без образования: председатель палаты знал наизусть «Людмилу» Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостью, и мастерски читал многие места, особенно: «Борзаснул, долина спит», и слово «чу!» так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза. Почтмейстер вдался более в

философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы «Ночи» и «Ключ к тайнствам натуры» Эккартсгаузена,[242] из которых делал весьма длинные выписки, но какого рода они были, это никому не было известно; впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как-то: «судырь ты мой, эдакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так сказать, некоторым образом», и прочими, которые сыпал он мешками; уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в каком случае.

Насчет благовидности уже известно, все они были люди надежные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали названия: кубышки, толстунчика, пузантика, чернушки, кики, жужу и проч. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба-соли или просидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким, тем более Чичиков с своими оборотительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну нравиться. Они так полюбили его, что он не видел средств, как вырваться из города; только и слышал он: «Ну, недельку, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович!» — словом, он был носим, как говорится, на руках. Но несравненно замечательнее было впечатление (совершенный предмет изумления!), которое произвел Чичиков на дам. Чтоб это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое о самих дамах, об их обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества; но для автора это очень

трудно. С одной стороны, останавливает его неограниченное почтение к супругам сановников, а с другой стороны... с другой стороны — просто трудно. Дамы города N. были... нет, никаким образом не могу: чувствуется точно робость. В дамах города N. больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть: о характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого поживее краски и побольше их на палитре, а нам придется разве слова два о наружности да о том, что поповерхностней. Дамы города N. были то, что называют презентабельны, и в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких, а особенно наблюдать моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом, разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода, сзади покачивался лакей, и ливрея в золотых позументах. Визитная кар-

точка, будь она писана хоть на трефовый двойке или бубновом тузе, но вещь была очень священная. Из-за нее две дамы, большие приятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно, именно за то, что одна из них как-то манкировала контрвизитом. И уж как ни старались потом мужья и родственники примирить их, но нет, оказалось, что все можно сделать на свете, одного только нельзя: примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского света. Насчет занятия первых мест происходило тоже множество весьма сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские, великодушные понятия о заступничестве. Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли. В нравах дамы города N. были строги, исполнены благородного негодования противу всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады

всякие слабости. Если же между ими и происходило какое-нибудь то, что называют *другое-третье*, то оно происходило втайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило; сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел *другое-третье* или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицею: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела». Еще нужно сказать, что дамы города N. отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили: «я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: «этот стакан нехорошо ведет себя» или что-нибудь вроде этого. Чтоб еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому

языку, зато уж там, по-французски, другое дело: там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города, говоря поповерхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей; но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничась поповерхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения; но с тех пор как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки; виною всему слово «миллионщик», — не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших, — словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость, совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают,

что ничего не получают от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть попросят насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами; однако же в многих гостиных стали говорить, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, что будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины: что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человек. В дамских нарядах оказались многие разные прибавления. В гостинном дворе сделалась толкотня, чуть не давка; образовалось даже гулянье, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материй, привезенных ими с ярмарки и не сходявших с рук по причине цены, показавшейся высокою, пошли вдруг в ход и были раскуплены нарасхват. Во время обедни у одной из дам заметили внизу платья

такое руло,[243] которое растопырило его на полцеркви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подалее, то есть поближе к паперти, чтоб как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия. Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел на столе у себя письмо; откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать; трактирный слуга отозвался, что принесли-де и не велели сказывать от кого. Письмо начиналось очень решительно, именно так: «Нет, я должна к тебе писать!» Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами; эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки; потом следовало несколько мыслей, весьма замечательных по своей справедливости, так что считаем почти необходимым их выписать: «Что жизнь наша? — Долина, где поселились горести. Что свет? — Толпа людей, которая не чувствует». Затем писавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери, которая, протекло двадцать пять лет,

как уже не существует на свете; приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом; окончание письма отзывалось даже решительным отчаяньем и заключалось такими стихами:

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах.
Воркуя томно, скажут,
Что она умерла во слезах.

В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего: письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой подписи тоже не было: ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа. В *postscriptum*[244] было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую и что на бале у губернатора, имеющем быть завтра, будет присутствовать сам оригинал.

Это очень его заинтересовало. В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытство, что он перечел и в другой и в третий раз письмо и наконец сказал: «Любопытно бы, однако ж, знать, кто бы такая была писавшая!» Словом, дело, как видно, сдела-

лось сурьезно; более часу он все думал об этом, наконец, расставив руки и наклоня голову, сказал: «А письмо очень, очень кудряво написано!» Потом, само собой разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с какою-то афишею и приглашительным свадебным билетом, семь лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте. Немного спустя принесли к нему, точно, приглашение на бал к губернатору, — дело весьма обыкновенное в губернских городах: где губернатор, там и бал, иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства.

Все постороннее было в ту же минуту оставлено и отстранено прочь, и все было устремлено на приготовление к балу; ибо, точно, было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого созданья света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то

просто почтительное без улыбки; отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты мордашка эдакой!» — и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания: надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостью и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал комод, и упала со стола щетка.

Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу, кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора произнесши: «а нижний земский суд отвеча-

ет на это...», но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах боже мой, Павел Иванович! Любезный Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя, Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он, наш Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уже в объятиях полицеймейстера; полицеймейстер сдал его инспектору врачебной управы; инспектор врачебной управы — откупщику, откупщик — архитектору... Губернатор, который в это время стоял возле дам и держал в одной руке конфетный билет, а в другой болонку, увидя его, бросил на пол и билет и болонку, — только завизжала собачонка; словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или, по крайней мере, отражение всеобщего удо-

вольствия. Так бывает на лицах чиновников во время осмотра приехавшим начальником вверенных управлению их мест: после того как уже первый страх прошел, они увидели, что многое ему нравится, и он сам изволил наконец пошутить, то есть произнести с приятною усмешкой несколько слов. Смеются вдвое в ответ на это обступившие его приближенные чиновники; смеются от души те, которые, впрочем, несколько плохо услышали произнесенные им слова, и, наконец, стоящий далеко у дверей у самого выхода какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший перед тем народу кулак, и тот по неизменным законам отражения выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку. Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную: раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающею гирляндой и

нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий: одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиков подымал только нос кверху да нюхал. В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах и, казалось, говорил: «Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!» Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N. были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько

нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем «поцелуя», эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем «скромностей». Эти «скромности» скрывали наперед и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, — словом, кажется, как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж! Только местами вдруг высовывался какой-нибудь не виданный землею чепец

или даже какое-то чуть не павлиное перо в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется. Чичиков, стоя перед ними, думал: «Которая, однако же, сочинительница письма?» — и высунул было вперед нос; но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток и платьев. Галопад летел во всю пропалю: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзе, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — все поднялось и понеслось...

— Вона! пошла писать губерния! — проговорил Чичиков, попятившись назад, и как только дамы расселись по местам, он вновь начал выглядывать: нельзя ли по выражению в лице и в глазах узнать, которая была сочинительница; но никак нельзя было узнать ни по выражению в лице, ни по выражению в глазах, которая была сочинительница. Везде было заметно такое чуть-чуть обнаруженное,

такое неуловимо-тонкое, у! какое тонкое!.. «Нет, — сказал сам в себе Чичиков, — женщины, это такой предмет... — Здесь он и рукой махнул: — просто и говорить нечего! Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегают на их лицах, все те излучинки, намеки, — а вот просто ничего не передашь. Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек — и поминай как звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну попробуй, например, рассказать один блеск их: влажный, бархатный, сахарный. Бог их знает какого нет еще! и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге, или без неги, но пуще, нежели в неге — так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова: галантёрная половина человеческого рода, да и ничего больше!»

Виноват! Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? Таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели,

и прежде всего читатели высшего общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделают в таком количестве, что и не захочешь, и наделают даже с сохранением всех возможных произношений: по-французски в нос и картавя, по-английски произнесут, как следует птице, и даже физиономию сделают птичьей, и даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии; а вот только русским ничем не наделают, разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию! А между тем какая взыскательность! Хотят непременно, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным, — словом, хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как только разинуть рты да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода; но почтенные читатели,

надо признаться, бывают еще мудренее.

А Чичиков приходил между тем в совершенное недоумение решить, которая из дам была сочинительница письма. Попробовавши устремить внимательнее взор, он увидел, что с дамской стороны тоже выразалось что-то такое, ниспосылающее вместе и надежду, и сладкие муки в сердце бедного смертного, что он наконец сказал: «Нет, никак нельзя угадать!» Это, однако же, никак не уменьшило веселого расположения духа, в котором он находился. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным, мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички щеголи на высоких каблуках, называемые мышинными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскивали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное

выражение в лице, что-то даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться: заметивши, что он становился обыкновенно около дверей, некоторые наперерыв спешили занять стул поближе к дверям, и когда одной посчастливилось сделать это прежде, то едва не произошла пренеприятная история, и многим, желавшим себе сделать то же, показалась уже чересчур отвратительною подобная наглость.

Чичиков так занялся разговорами с дамами, или, лучше, дамы так заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий, которые все нужно было разгадывать, отчего даже выступил у него на лбу пот, — что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. Губернаторша произнесла несколько ласковым и лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «А, Павел Иванович, так вот как вы!..» В точности не могу передать

слов губернаторши, но было сказано что-то исполненное большой любезности, в том духе, в котором изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников описывать гостинные и похвалиться знанием высшего тона, в духе того, что «неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами». Герой наш воротился в ту ж минуту к губернаторше и уже готов был отпустить ей ответ, вероятно ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины и всякие ловкие военные люди, как, невзначай поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом.

Перед ним стояла не одна губернаторша: она держала под руку молоденькую шестнадцатилетнюю девушку, свеженькую блондинку с тоненькими и стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно круглившимся овалом лица, какое художник взял бы в образец для Мадонны и какое только редким случаем попадает на Руси, где любит все оказаться в широком размере, всё

что ни есть: и горы и леса и степи, и лица и губы и ноги; ту самую блондинку, которую он встретил на дороге, ехавши от Ноздрева, когда, по глупости кучеров или лошадей, их экипажи так странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй с дядею Миняем взялись распутывать дело. Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова, и пробормотал черт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин.

— Вы не знаете еще моей дочери? — сказала губернаторша, — институтка, только что выпущена.

Он отвечал, что уже имел счастье нечаянным образом познакомиться; попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губернаторша, сказав два-три слова, наконец отошла с дочерью в другой конец залы к другим гостям, а Чичиков все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу, с тем чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то и

уж тогда глупее ничего не может быть такого человека: вмиг беззаботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что позабыл он, — не платок ли? но платок в кармане; не деньги ли? но деньги тоже в кармане, все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянно и смутно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску — и ничего хорошо не видит. Так и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него. В это время из дамских благовоющих уст к нему устремилось множество намеков и вопросов, проникнутых насквозь тонкостью и любезностью. «Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете?» — «Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша?» — «Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?» Но он отвечал на все решительным невниманием, и приятные фразы канули, как в воду. Он даже до того был

неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша с своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро; каждая внутренне решилась употребить всевозможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход все, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам, — я говорю у некоторых, это не то, что у всех, — есть маленькая слабость: если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что лучшая часть лица их так первая и бросится всем в глаза и все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческий нос!» или: «Какой правильный, очаровательный лоб!» У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно восхищены и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи», — а на лицо, волосы, нос, лоб даже не взглянут, если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет

быть как можно очаровательней в танцах и показать во всем блеске превосходство того, что у нее было самого превосходного. Почтмейстерша, вальсируя, с такой томностью опустила набок голову, что слышалось в самом деле что-то неземное. Одна очень любезная дама, — которая приехала вовсе не с тем чтобы танцевать, по причине приключившегося, как сама выразилась, небольшого инкомодите[245] в виде горошинки на правой ноге, вследствие чего должна была даже надеть плисовые сапоги, — не вытерпела, однако же, и сделала несколько кругов в плисовых сапогах, для того именно, чтобы почтмейстерша не забрала в самом деле слишком много себе в голову.

Но все это никак не производило предполагаемого действия на Чичикова. Он даже не смотрел на круги, производимые дамами, но беспрестанно подымался на цыпочки выглядывать поверх голов, куда бы могла забраться занимательная блондинка; приседал и вниз тоже, высматривая промеж плечей и спин, наконец доискался и увидел ее, сидящую вместе с матерью, над которою величаво колеба-

лась какая-то восточная чалма с пером. Казалось, как будто он хотел взять их приступом; весеннее ли расположение подействовало на него, или толкал его кто сзади, только он протеснялся решительно вперед, несмотря ни на что; откупщик получил от него такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ноге, не то бы, конечно, повалил за собою целый ряд; почтмейстер тоже отступился и посмотрел на него с изумлением, смешанным с довольно тонкой иронией, но он на них не поглядел; он видел только вдали блондинку, надевавшую длинную перчатку и, без сомнения, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж там в стороне четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душою и телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать. Чичиков прошмыгнул мимо мазурки почти по самым каблукам и прямо к тому месту, где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж он подступил к ним очень робко, не семенил так бойко и франтовски ногами, даже несколько замялся, и во всех движениях ока-

залась какая-то неловкость.

Нельзя сказать наверно, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви, — даже сомнительно, чтобы господя такого рода, то есть не так чтобы толстые, однако ж и не то чтобы тонкие, способны были к любви; но при всем том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить: ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал, со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдали; скрипки и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки: ее овально-круглившееся личико, ее тоненький, тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платье, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в каких-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку,

отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы.

Видно, так уж бывает на свете; видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов; но слово «поэт» будет уже слишком. По крайней мере, он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. Увидевши возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дело пошло, и он начал даже получать форс, но... здесь, к величайшему прискорбию, надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами; на это мастера господа поручики и никак не далее капитанских чинов. Как они делают, бог их ведает: кажется, и не очень мудреные вещи говорят, а девица то и дело качается на стуле от смеха; статский же советник бог знает что расскажет: или поведет речь о том, что Россия очень пространное государство, или отпустит комплимент, который, конечно, выдуман не без остроумия, но

от него ужасно пахнет книгою; если же скажет что-нибудь смешное, то сам несравненно больше смеется, чем та, которая его слушает. Здесь это замечено для того, чтобы читатели видели, почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случилось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами — Софией Александровной и Маклатурой Алексан-

дровной.

Всем дамам совершенно не понравилось такое обхождение Чичикова. Одна из них нарочно прошла мимо его, чтобы дать ему это заметить, и даже задела блондинку довольно небрежно толстым руло своего платья, а шарфом, который порхал вокруг плеч ее, распорядилась так, что он махнул концом своим ее по самому лицу; в то же самое время позади его из одних дамских уст изнеслось вместе с запахом фиалок довольно колкое и язвительное замечание. Но, или он не услышал в самом деле, или прикинулся, что не услышал, только это было нехорошо, ибо мнением дам нужно дорожить: в этом он и раскаялся, но уже после, стало быть поздно.

Негодование, во всех отношениях справедливое, изобразилось во многих лицах. Как ни велик был в обществе вес Чичикова, хотя он и миллионщик, и в лице его выражалось величие и даже что-то марсовское и военное, но есть вещи, которых дамы не простят никому, будь он кто бы ни было, и тогда прямо пиши пропало! Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с

мужчиною, но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего что ни есть на свете. Пренебрежение, оказанное Чичиковым, почти неумышленное, восстановило между дамами даже согласие, бывшее было на краю гибели по случаю завладения стулом. В произнесенных им невзначай каких-то сухих и обыкновенных словах нашли колкие намеки. В довершение бед какой-то из молодых людей сочинил тут же сатирические стихи на танцевавшее общество, без чего, как известно, никогда почти не обходится на губернских балах. Эти стихи были приписаны тут же Чичикову. Негодованье росло, и дамы стали говорить о нем в разных углах самым неблагоприятным образом; а бедная институтка была уничтожена совершенно, и приговор ее уже был подписан.

А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность: в то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историйки, и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Из буфета ли он вырвался

или из небольшой зеленой гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своей ли волею или вытолкали его, только он явился веселый, радостный, ухвативши под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны свои густые брови, как бы придумывая средство выбраться из этого дружеского подручного путешествия. В самом деле, оно было невыносимо. Ноздрев, захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно не без рома, врал немилосердно. Завидев еще издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться: ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но, как на беду, в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича, и остановил его, прося быть судьей в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет; а между тем Ноздрев уже увидел его и шел прямо навстречу.

— А, херсонский помещик, херсонский по-

мещик! — кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенняя роза, щеки. — Что? много наторговал мертвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство, — горланил он тут же, обратившись к губернатору, — он торгует мертвыми душами! Ей-богу! Послушай, Чичиков! ведь ты, — я тебе говорю по дружбе, вот мы все здесь твои друзья, вот и его превосходительство здесь, — я бы тебя повесил, ей-богу, повесил!

Чичиков просто не знал, где сидел.

— Поверите ли, ваше превосходительство, — продолжал Ноздрев, — как сказал он мне: «Продай мертвых душ», — я так и лопнул со смеха. Приезжаю сюда, мне говорят, что накупил на три миллиона крестьян на вывод: каких на вывод! да он торговал у меня мертвых. Послушай, Чичиков, да ты скотина, ей-богу, скотина, вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор?

Но прокурор, и Чичиков, и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашлись совершенно, что отвечать, а между тем Ноздрев, нимало не обращая внимания,

нес полутрезвую речь:

— Уж ты, брат, ты, ты... я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно, у тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор? Вы не поверите, ваше превосходительство, как мы друг к другу привязаны, то есть, просто если бы вы сказали, вот, я тут стою, а вы бы сказали: «Ноздрев! скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков?» — скажу: «Чичиков», ей-богу... Позволь, душа, я тебе влеплю один безе.[246] Уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его. Да, Чичиков, уж ты не противься, одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою!

Ноздрев был так оттолкнут с своими безе, что чуть не полетел на землю: от него все отступились и не слушали больше; но все же слова его о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождаемы таким громким смехом, что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых даль-

них углах комнаты. Эта новость так показалась странною, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какою-то злобною, едкою усмешкою и в выражении некоторых лиц показалось что-то такое двусмысленное, которое еще более увеличило это смущение. Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем, и вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу; но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный: как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того только, чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!» — а другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после скажет сам: «Да это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания!» — и вслед за тем сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавши ему, после вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием: «Какая пошлая ложь!» И это непременно

обойдет весь город, и все смертные, сколько их ни есть, наговорятся непременно досыта и потом признают, что это не стоит внимания и не достойно, чтобы о нем говорить.

Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно: точь-в-точь как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую лужу; словом, нехорошо, совсем нехорошо! Он пробовал об этом не думать, старался рассеяться, развлечься, присел в вист, но все пошло как кривое колесо: два раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил сдору свою же. Председатель никак не мог понять, как Павел Иванович, так хорошо и, можно сказать, тонко разумевший игру, мог сделать подобные ошибки и подвел даже под обух его пикового короля, на которого он, по собственному выражению, надеялся, как на Бога. Конечно, почтмейстер и председатель и даже сам полицеймейстер, как водится, под-

шучивали над нашим героем, что уж не влюблен ли он и что мы знаем, дескать, что у Павла Ивановича сердечишко прихрамывает, знаем, кем и подстрелено; но все это никак его не утешало, как он ни пробовал усмехаться и отшучиваться. За ужином тоже он никак не был в состоянии развернуться, несмотря на то что общество за столом было приятное и что Ноздрева давно уже вывели; ибо сами даже дамы наконец заметили, что поведение его чересчур становилось скандально. Посреди котильона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих, что было уже ни на что не похоже, по выражению дам. Ужин был очень весел, все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, конфетами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки — все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать у слуг блюда, чтобы с необыкновенною ловкостью предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги. Мужчины почтенных лет, между которыми сидел Чичи-

ков, спорили громко, заедая дельное слово рыбой или говядиной, обмакнутой нещадным образом в горчицу, и спорили о тех предметах, в которых он даже всегда принимал участие; но он был похож на какого-то человека, уставшего или разбитого дальней дорогой, которому ничто не лезет на ум и который не в силах войти ни во что. Даже не дождался он окончания ужина и уехал к себе несравненно ранее, чем имел обыкновение уезжать.

Там, в этой комнатке, так знакомой читателю, с дверью, заставленной комодом, и выглядывавшими иногда из углов тараканами, положение мыслей и духа его было так же беспокойно, как беспокойны те кресла, в которых он сидел. Неприятно, смутно было у него на сердце, какая-то тягостная пустота оставалась там. «Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал эти балы! — говорил он в сердцах. — Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы! Эк штука: разрядились в бабьи тряпки! Невидаль, что иная навертела на себя тысячу рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков или, что еще хуже, на счет совести наше-

го брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой: для того чтобы жене достать на шаль или на разные роброны, провал их возьми, как их называют. А из чего? чтобы не сказала какая-нибудь подстёга Сидорова, что на почтмейстерше лучше было платье, да из-за нее бух тысячу рублей. Кричат: „Бал, бал, веселость!“ — просто дрянь бал, не в русском духе, не в русской натуре; черт знает что такое: взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, обципаный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами. Иной даже, стоя в паре, переговаривает с другим об важном деле, а ногами в то же время, как козленок, вензеля направо и налево... Всё из обезьянства, всё из обезьянства! Что француз в сорок лет такой же ребенок, каким был и в пятнадцать, так вот давай же и мы! Нет, право... после всякого бала точно как будто какой грех сделал; и вспомнить даже о нем не хочется. В голове просто ничего, как после разговора с светским человеком: всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что понадергал из книжек, пестро, красно, а в голове хоть бы что-нибудь из того

вынес, и видишь потом, как даже разговор с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно, лучше всех этих побрякушек. Ну что из него выжмешь, из этого бала? Ну если бы, положим, какой-нибудь писатель вздумал описывать всю эту сцену так, как она есть? Ну и в книге, и там была бы она так же бестолкова, как в натуре. Что она такое: нравственная ли, безнравственная ли? просто черт знает что такое! Плюнешь, да и книгу потом закроешь». Так отзывался неблагоприятно Чичиков о балах вообще; но, кажется, сюда вмешалась другая причина негодованья. Главная досада была не на бал, а на то, что случилось ему оборваться, что он вдруг показался пред всеми бог знает в каком виде, что сыграл какую-то странную, двусмысленную роль. Конечно, взглянувши оком благоразумного человека, он видел, что все это вздор, что глупое слово ничего не значит, особливо теперь, когда главное дело уже обделано как следует. Но странен человек: его огорчало сильно нерасположение тех самых, которых он не уважал и насчет которых отзывался резко, понося их

суетность и наряды. Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился, и в том, конечно, был прав. Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду, например, на слуге, на чиновнике, нам подведомственном, который в пору подвернулся, на жене или, наконец, на стуле, который швырнется черт знает куда, к самым дверям, так что отлетит от него ручка и спинка: пусть, мол, его знает, что такое гнев. Так и Чичиков скоро нашел ближнего, который потащил на плечах своих все, что только могла внушить ему досада. Ближний этот был Ноздрев, и нечего сказать, он был так отделан со всех боков и сторон, как разве только какой-нибудь плут староста или ямщик бывает отделан каким-нибудь езжалым, опытным капитаном, а иногда и генералом, который сверх многих выражений, сделавшихся классическими, прибавляет еще много неизвестных, которых изобретение принадлежит ему собственно.

Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многие из членов его фамилии в восходящей линии сильно потерпели.

Но в продолжение того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева и всю родню его, и перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась нагоревшею черною шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризловая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только (увы!) слишком протертую русским забубенным народом дорогу, — в это время на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно, в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на

бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, [247] скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. Запятки были заняты лицом лакейского происхождения, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутою легкой проседью, — лицо, известное под именем «малого». Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будочника, который, подняв свою алебарду, закричал спросонья что стало мочи: «Кто идет?» — но, увидев, что никто не шел, а слышалось только вдали дребезжанье, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ноге. После чего, отставивши алебарду, опять заснул по уста-

вам своего рыцарства. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и притом, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавши несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычках и остановилась пред воротами дома протопопши. Из брички вылезла девка, с платком на голове, в телогрейке, ихватила обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине (малый в куртке из пеструшки[248] был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки). Собаки залаяли, и ворота, разинувшись наконец, проглотили, хотя и с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами; из экипажа вылезла барыня: эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка вскоре после отъезда нашего героя в такое пришла беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду, решила ехать в город,

несмотря на то что лошади не были подкованы, и там узнать наверно, почему ходят мертвые души и уж не промахнулась ли она, боже сохрани, продав их, может быть, втридешева. Какое произвело следствие это прибытие, читатель может узнать из одного разговора, который произошел между одними двумя дамами. Разговор сей... но пусть лучше сей разговор будет в следующей главе.

Глава девятая

Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе N. для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке,[249] сопровождаемая лакеем в шинели с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощеной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенною поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: «Пошел!» Дама везла только что услышанную но-

вость и чувствовала побуждение непреодоли-
мое скорее сообщить ее. Всякую минуту вы-
глядывала она из окна и видела, к несказан-
ной досаде, что все еще остается полдороги.
Всякий дом казался ей длиннее обыкновенно-
го; белая каменная богадельня с узенькими
окнами тянулась нестерпимо долго, так что
она наконец не вытерпела не сказать: «Про-
клятое строение, и конца нет!» Кучер уже два
раза получал приказание: «Поскорее, поско-
рее, Андрюшка! ты сегодня несносно долго
едешь!» Наконец цель была достигнута. Ко-
ляска остановилась перед деревянным же од-
ноэтажным домом темно-серого цвета, с бе-
лыми барельефчиками над окнами, с высо-
кою деревянною решеткою перед самыми ок-
нами и узеньким палисадником, за решеткою
которого находившиеся тоненькие деревца
побелели от никогда не сходявшей с них го-
родской пыли. В окнах мелькали горшки с
цветами, попугай, качавшийся в клетке, уце-
пясь носом за кольцо, и две собачонки, спав-
шие перед солнцем. В этом доме жила ис-
кренняя приятельница приехавшей дамы.
Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать

ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как серживались встарь. Назвать выдуманною фамилиею опасно. Какое ни придумаешь имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь, носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно, с тем чтобы выведать все, что он такое сам, и в каком тулупчике ходит, и к какой Аграфене Ивановне наведывается, и что любит покушать. Назови же по чинам — боже сохрани, и того опасней. Теперь у нас все чины и сословия так раздражены, что все, что ни есть в печатной книге, уже кажется им личностью: таково уж, видно, расположение в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность; вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже человек, стало быть, я тоже глуп», — словом, вмиг смекнет, в чем дело. А потому, для избежания всего этого, будем называть даму, к которой приехала гостя, так, как она называлась почти единогласно в городе N.: имен-

но, дамою приятною во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо, точно, ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени, хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась ух какая юркая прыть женского характера! и хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала ух какая булавка! а уж не приведи бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в первые. Но все это было облечено самою тонкою светскостью, какая только бывает в губернском городе. Всякое движение производила она со вкусом, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умела держать голову, — и все согласились, что она, точно, дама приятная во всех отношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть ее: просто приятная дама. Приезд гостыи разбудил собачонок, спавших на солнце: мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостыя осво-

бождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета и в длинных хвостах на шее: жасмины понесли по всей комнате. Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже вбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком, и обе дамы отправились в гостиную, разумеется голубую, с диваном, овальным столом и даже ширмочками, обвитыми плющом; вслед за ними побежали, ворча, мохнатая Адель и высокий Попури на тоненьких ножках. «Сюда, сюда, вот в этот уголок! — говорила хозяйка, усаживая гостью в угол дивана. — Вот так! вот так! вот вам и подушка!» Сказавши это, она запихнула ей за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь таким образом, как их всегда вышивают по канве: нос вышел лестницею, а

губы четвероугольником. «Как же я рада, что вы... Я слышу, кто-то подъехал, да думаю себе, кто бы мог так рано. Параша говорит: „вице-губернаторша“, а я говорю: „ну вот, опять приехала дура надоедать“, и уж хотела сказать, что меня нет дома...»

Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость. Но восклицание, которое издала в это время дама приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору.

— Какой веселенький ситец! — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы.

— Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку: это такое очарование, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки... Словом, бесподобно!

Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете.

— Милая, это пестро.

— Ах нет, не пестро.

— Ах, пестро!

Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонна к отрицанию и сомнению и отвергла весьма многое в жизни.

Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и вскрикнула:

— Да, поздравляю вас: оборок более не носят.

— Как не носят?

— На место их фестончики.

— Ах, это нехорошо, фестончики!

— Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эпалетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики.

— Нехорошо, Софья Ивановна, если всё фестончики.

— Мило, Анна Григорьевна, до невероятности; шьется в два рубчика: широкие проймы и сверху... Но вот, вот, когда вы изумитесь,

вот уж когда скажете, что... Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли еще длиннее, впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ; юбка вся собирается во-круг, как, бывало, в старину фижмы,[250] да-же сзади немножко подкладывают ваты, что-бы была совершенная бель-фам.[251]

— Ну уж это просто: признаюсь! — сказала дама приятная во всех отношениях, сделавши движенье головою с чувством достоинства.

— Именно, это уж, точно, признаюсь, — от-вечала просто приятная дама.

— Уж как вы хотите, я ни за что не стану подражать этому.

— Я сама тоже... Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода... ни на что не похо-же! Я выпросила у сестры выкройку нарочно для смеху; Меланья моя принялась шить.

— Так у вас разве есть выкройка? — вскрикнула во всех отношениях приятная да-ма не без заметного сердечного движенья.

— Как же, сестра привезла.

— Душа моя, дайте ее мне ради всего свято-го.

— Ах, я уж дала слово Прасковье Федоров-

не. Разве после нее.

— Кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уже слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим.

— Да ведь она тоже мне двоюродная тетка.

— Она вам тетка еще бог знает какая: с мужниной стороны... Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу, это выходит: вы мне хотите нанести такое оскорбление... Видно, я вам наскучила уже, видно, вы хотите прекратить со мною всякое знакомство.

Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась! Она бы готова была исколоть за это иголками глупый язык.

— Ну что ж наш прелестник? — сказала между тем дама приятная во всех отношениях.

— Ах, боже мой! что ж я так сижу перед вами! вот хорошо! Ведь вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам? — Тут дыхание гости сперлось, слова, как ястребы, готовы были пуститься в погоню одно за другим,

и только нужно было до такой степени быть бесчеловечной, какова была искренняя приятельница, чтобы решиться остановить ее.

— Как вы ни выхваляйте и ни превозносите его, — говорила она с живостью, более нежели обыкновенною, — а я скажу прямо, и ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный...

— Да послушайте только, что я вам открою...

— Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош, и нос у него... самый неприятный нос.

— Позвольте же, позвольте же только рассказать вам... душенька, Анна Григорьевна, позвольте рассказать! Ведь это история, понимаете ли: история, сконапель истоар,[252] — говорила гостя с выражением почти отчаяния и совершенно умоляющим голосом. Не мешаает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы. Но как ни исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как ни испол-

нен благоговения к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, но при всем том никак не решается внести фразу какого бы ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски.

— Какая же история?

— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, если бы вы могли только представить то положение, в котором я находилась, вообразите: приходит ко мне сегодня протопопша — протопопша, отца Кирилы жена — и что бы вы думали: наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а?

— Как, неужели он и протопопше строил куры?[253]

— Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего; слушайте только, что рассказала протопопша: приехала, говорит, к ней помещица Коробочка, перепуганная и бледная как смерть, и рассказывает, и как рассказывает, послушайте только, совершенный роман; вдруг в глухую полночь, когда все уже спало в доме, раздается в ворота стук,

ужаснейший, какой только можно себе представить; кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!» Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник?

— Да что Коробочка, разве молода и хороша собою?

— Ничуть, старуха.

— Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашли в кого влюбиться.

— Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина,[254] и требует: «Продайте, говорит, все души, которые умерли». Коробочка отвечает очень резонно, говорит: «Я не могу продать, потому что они мертвые». — «Нет, говорит, они не мертвые, это мое, говорит, дело знать, мертвые ли они или нет, они не мертвые, не мертвые, кричит, не мертвые». Словом, скандальозу наделал ужасного: вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает, ну просто оррёр, оррёр, оррёр!..[255] Но вы себе представить не можете, Анна Григорьев-

на, как я перетревожилась, когда услышала все это. «Голубушка барыня, — говорит мне Машка, — посмотрите в зеркало: вы бледны». — «Не до зеркала, говорю, мне, я должна ехать рассказать Анне Григорьевне». В ту же минуту приказываю заложить коляску: кучер Андрюшка спрашивает меня, куда ехать, а я ничего не могу и говорить, гляжу просто ему в глаза, как дура; я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна Григорьевна, если б вы только могли себе представить, как я перетревожилась!

— Это, однако ж, странно, — сказала во всех отношениях приятная дама, — что бы такое могли значить эти мертвые души? Я, признаюсь, тут ровно ничего не понимаю. Вот уже во второй раз я все слышу про эти мертвые души; а муж мой еще говорит, что Ноздрев врет; что-нибудь, верно же, есть.

— Но представьте же, Анна Григорьевна, каково мое было положение, когда я услышала это. «И теперь, — говорит Коробочка, — я не знаю, говорит, что мне делать. Заставил, говорит, подписать меня какую-то фальшивую бумагу, бросил пятнадцать рублей ассиг-

нациями; я, говорит, неопытная беспомощная вдова, я ничего не знаю...» Так вот происшествя! Но только если бы вы могли сколько-нибудь себе представить, как я вся перетревожилась.

— Но только, воля ваша, здесь не мертвые души, здесь скрывается что-то другое.

— Я, признаюсь, тоже, — произнесла не без удивления просто приятная дама и почувствовала тут же сильное желание узнать, что бы такое могло здесь скрываться. Она даже произнесла с расстановкой: — А что ж, вы полагаете, здесь скрывается?

— Ну, как вы думаете?

— Как я думаю?.. Я, признаюсь, совершенно потеряна.

— Но, однако ж, я бы все хотела знать, какие ваши насчет этого мысли?

Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться, но чтобы составить какое-нибудь сметливое предположение, для этого никак ее не ставало, и оттого, более нежели всякая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах.

— Ну, слушайте же, что такое эти мертвые

души, — сказала дама приятная во всех отношениях, и гостья при таких словах вся обратилась в слух: ушки ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновенья.

Так русский барин, собачей и иора-охотник,[256] подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный[257] доезжачими заяц, превращается весь с своим конем и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он очами в мутный воздух и уж настигнет зверя, уже допечет его неотбойный, как ни воздымайся против него вся мятущая снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку.

— Мертвые души... — произнесла во всех отношениях приятная дама.

— Что, что? — подхватила гостья, вся в волненье.

— Мертвые души!..

— Ах, говорите, ради бога!

— Это просто выдуманно только для прикрытия, а дело вот в чем: он хочет увезти губернаторскую дочку.

Это заключение, точно, было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, побледнела как смерть и, точно, перетревожилась не на шутку.

— Ах, боже мой! — вскрикнула она, всплеснув руками, — уж этого я бы никак не могла предполагать.

— А я, признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело, — отвечала дама приятная во всех отношениях.

— Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание! ведь вот невинность!

— Какая невинность! Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их.

— Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла наконец безнравственность.

— А мужчины от нее без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не нахожу в ней... Манерна нестерпимо.

— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, она статуя, и хоть бы какое-нибудь выражение в лице.

— Ах, как манерна! ах, как манерна! Боже, как манерна! Кто выучил ее, я не знаю, но я еще не видывала женщины, в которой бы было столько жеманства.

— Душенька! она статуя и бледна как смерть.

— Ах, не говорите, Софья Ивановна: румянится безбожно.

— Ах, что это вы, Анна Григорьевна: она мел, мел, чистейший мел.

— Милая, я сидела возле нее: румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку.

— Ну, позвольте, ну положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же час лишиться детей, мужа, всего имения, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца!

— Ах, что вы это говорите, Софья Ивановна! — сказала дама приятная во всех отношениях и всплеснула руками.

— Ах, какие же вы, право, Анна Григорьевна! я с изумленьем на вас гляжу! — сказала приятная дама и всплеснула тоже руками.

Да не покажется читателю странным, что обе дамы были не согласны между собою в том, что видели почти в одно и то же время. Есть, точно, на свете много таких вещей, которые имеют уже такое свойство: если на них взглянет одна дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет другая, выйдут красные, красные, как брусника.

— Ну, вот вам еще доказательство, что она бледна, — продолжала приятная дама, — я помню, как теперь, что я сижу возле Манилова и говорю ему: «Посмотрите, какая она бледная!» Право, нужно быть до такой степени бестолковыми, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник... Ах, как он мне показался противным! Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным.

— Да, однако же, нашлись некоторые да-

мы, которые были неравнодушны к нему.

— Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы не можете сказать этого, никогда, никогда!

— Да я не говорю об вас, как будто, кроме вас, никого нет.

— Никогда, никогда, Анна Григорьевна! Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю; а разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных.

— Уж извините, Софья Ивановна! Уж позвольте вам сказать, что за мной подобных скандальозностей никогда еще не водилось. За кем другим разве, а уж за мной нет, уж позвольте мне вам это заметить.

— Отчего же вы обиделись? ведь там были и другие дамы, были даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе.

Ну, уж после таких слов, произнесенных приятною дамою, должна была неминуемо последовать буря, но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка

для модного платья еще не находится в ее руках, а просто приятная дама смекнула, что она еще не успела выведать никаких подробностей насчет открытия, сделанного ее искреннею приятельницею, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы нельзя сказать чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятность, и вообще в характерах их ничего не было злого, а так, нечувствительно, в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга; просто одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иное живое словцо: вот, мол, тебе! на, возьми, съешь! Разного рода бывают потребности в сердцах как мужеского, так и женского пола.

— Я не могу, однако же, понять только того, — сказала просто приятная дама, — как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было участников.

— А вы думаете, нет их?

— А кто же бы, полагаете, мог помогать ему?

— Ну да хоть и Ноздрев.

— Неужели Ноздрев?

— А что ж? ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца хотел продать или, еще лучше, проиграть в карты.

— Ах, боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас! Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю!

— А я всегда предполагала.

— Как подумаешь, право, чего не происходит на свете! Ну можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведет такой странный марш в свете? Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожилась! Если бы не ваша благосклонность и дружба... вот уже, точно, на краю гибели... куда ж? Машка моя видит, что я бледна как смерть. «Душечка барыня, — говорит мне, — вы бледны как смерть». — «Машка, говорю, мне не до того теперь». Так вот какой случай! Так и Ноздрев здесь, прошу покорно!

Приятной даме очень хотелось выведать дальнейшие подробности насчет похищения, то есть в котором часу и прочее, но многого

захотела. Во всех отношениях приятная дама прямо отозвалась незнанием. Она не умела лгать: предположить что-нибудь — это другое дело, но и то в таком случае, когда предположение основывалось на внутреннем убеждении; если ж было почувствовано внутреннее убеждение, тогда умела она постоять за себя, и попробовал бы какой-нибудь дока-адвокат, славящийся даром побеждать чужие мнения, попробовал бы он состязаться здесь, — увидел бы он, что значит внутреннее убеждение.

Что обе дамы наконец решительно убедились в том, что прежде предположили только как одно предположение, в этом ничего нет необыкновенного. Наша братья, народ умный, как мы называем себя, поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом: не оттуда ли? не из того ли угла получила имя такая-то страна? или: не принадлежит ли этот документ к другому, позднешему времени? или: не нужно ли под этим народом разуместь вот какой народ? Ци-

тует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает на них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением; ему уже кажется, что он это видит, что это ясно, — и рассуждение заключено словами: «так это вот как было, так вот какой народ нужно разуметь, так вот с какой точки нужно смотреть на предмет!» Потом во всеуслышанье с кафедры, — и новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников.

В то время, когда обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор с вечно неподвижною своею физиономией, густыми бровями и моргавшим глазом. Дамы напереыв принялись сообщать ему все события, рассказали о покупке мертвых душ, о намерении увезти губернаторскую дочку и сбили его совершенно с толку, так что сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте,

хлопать левым глазом и бить себя платком по бороде, сметая оттуда табак, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован; все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными. Положение их в первую минуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищи, вставшие пораньше, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком. Потянувши впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза, во все стороны, и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро, с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и с

осветившеюся речкою, там и там пропадающею блестящими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, и потом уже наконец чувствует, что в носу у него сидит гусар. Таково совершенно было в первую минуту положение обитателей и чиновников города. Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно; и потом уже, после первого одурения, они как будто бы стали различать их порознь и отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, видя, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах; как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьметса? и на какие слепые деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно при ткнуть эти мертвые души? и зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если же он хотел увезти ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые

души, так зачем увозить губернаторскую дочку? подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? Что ж за вздор, в самом деле, разнесли по городу? Что ж за направленья такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят историю, и хоть бы какой-нибудь смысл был... Однако ж разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина? Какая же причина в мертвых душах? даже и причины нет. Это, выходит, просто: Андроны едут,[258] чепуха, белиберда, сапоги всмятку! это просто черт побери!.. Словом, пошли толки, толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что ни есть, поднялось. Как вихорь взметнулся дотолле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по несколько лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу кучера. Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знали только, как выражаются, с помещиками Завалишиным да Полежаевым (знаменитые термины,

произведенные от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у нас на Руси, все равно как фраза: заехать к Сопикову и Храповицкому, означающая всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями); все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку пятисотрублевой ухи с двухаршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками; словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки — и заварилась каша. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания; но город N. уже давно не получал никаких совершенно вестей. Даже не происходило в продолжение

трех месяцев ничего такого, что называют в столицах комеражами,[259] что, как известно, для города то же, что своевременный подвоз съестных припасов. В городской толковне оказалось вдруг два совершенно противоположных мнения и образовались вдруг две противоположные партии: мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. В этой партии, надо заметить к чести дам, было несравненно более порядка и осмотрительности. Таково уже, видно, самое назначение их быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у них скоро приняло живой определенный вид, облеклось в ясные и очевидные формы, объяснилось, очистилось, одним словом, вышла оконченная картинка. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете, что губернатор даже бы отдал за него дочку, потому что Чичиков богат, как жид, если бы причиною не была жена его, которую он бросил (откуда они узнали, что Чичиков женат, — это никому не

было ведомо), и что жена, которая страдает от безнадежной любви, написала письмо к губернатору самое трогательное, и что Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. В других домах рассказывалось это несколько иначе: что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял, с тем чтобы получить руку дочери, начать дело с матери и имел с нею сердечную тайную связь, и что потом сделал декларацию насчет руки дочери; но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление, противное религии, и чувствуя в душе угрызение совести, отказала наотрез, и что вот потому Чичиков решился на похищение. Ко всему этому присоединялись многие объяснения и поправки по мере того, как слухи проникали наконец в самые глухие переулки. На Руси же общества низшие очень любят поговорить о сплетнях, бывающих в обществах высших, а потому начали обо всем этом говорить в таких домишках, где даже в глаза не видывали и не знали Чичикова, пошли прибавления и еще большие пояснения. Сюжет

становился ежеминутно занимательнее, принимал с каждым днем более окончательные формы и наконец, так как есть, во всей своей окончательности, доставлен был в собственные уши губернаторши. Губернаторша, как мать семейства, как первая в городе дама, наконец как дама, не подозревавшая ничего подобного, была совершенно оскорблена подобными историями и пришла в негодование, во всех отношениях справедливое. Бедная блондинка выдержала самый неприятный tête-à-tête,[260] какой только когда-либо случалось иметь шестнадцатилетней девушке. Пошлись целые потоки расспросов, допросов, выговоров, угроз, упреков, увещаний, так что девушка бросилась в слезы, рыдала и не могла понять ни одного слова; швейцару дан был строжайший приказ не принимать ни в какое время и ни под каким видом Чичикова.

Сделавши свое дело относительно губернаторши, дамы надели было на мужскую партию, пытаясь склонить их на свою сторону и утверждая, что мертвые души выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое подозрение и успешнее произвести похи-

щение. Многие даже из мужчин были совращены и пристали к их партии, несмотря на то что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками — именами, как известно, очень обидными для мужеского пола.

Но как ни вооружались и ни противились мужчины, а в их партии совсем не было такого порядка, как в женской. Все у них было как-то черство, неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове кутерьма, суетолака, сбивчивость, неопрятность в мыслях, — одним словом, так и вызначилась во всем пустая природа мужчины, природа грубая, тяжелая, не способная ни к домостроительству, ни к сердечным убеждениям, маловерная, ленивая, исполненная непрерывных сомнений и вечной боязни. Они говорили, что все это вздор, что похищенье губернаторской дочки более дело гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что баба что мешок: что положат, то несет, что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мертвые души, которые, впрочем, черт его знает, что

значат, но в них заключено, однако ж, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключалось скверное и нехорошее, сию минуту узнаем: в губернию назначен был новый генерал-губернатор — событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние: пойдут переборки, распеканья, взбутетениванья и всякие должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных. «Ну что, — думали чиновники, — если он узнает только просто, что в городе их вот-де какие глупые слухи, да за это одно может вскипятить не на жизнь, а на самую смерть». Инспектор врачебной управы вдруг побледнел; ему представилось бог знает что: не разумеются ли под словом «мертвые души» больные, умершие в значительном количестве в лазаретах и в других местах от повальной горячки, против которой не было взято надлежащих мер, и что Чичиков не есть ли подсланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия. Он сообщил об этом председателю. Председатель отвечал, что это вздор, и потом вдруг побледнел сам,

задав себе вопрос, а что, если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвые? а он допустил совершить на них крепость да еще сам сыграл роль поверенного Плюшкина, и дойдет это до сведения генерал-губернатора, что тогда? Он об этом больше ничего, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот и другой; страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких даже не было. Слово «мертвые души» так раздалось неопределенно, что стали подозревать даже, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребенные тела, вследствие двух не так давно случившихся событий. Первое событие было с какими-то сольвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим устьсыольским купцам, пирушку на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, пуншами, бальзамами и проч. Пирушка, как водится, кончилась дракой. Сольвычегодские уходили насмерть устьсыольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, свидетельствовавшую о

непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот нос, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. В деле своем купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили; носились слухи, будто при повинной голове они приложили по четыре государственные каждый; впрочем, дело слишком темное; из учиненных выправок и следствий оказалось, что устьсыольские ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили, как угоревших. Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее: казенные крестьяне сельца Вшивая-спесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, Задирайлово-тож, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина, что будто земская полиция, то есть заседатель Дробяжкин, повадился уж чересчур часто ездить в их деревню, что в иных случаях стоит повальной горячки, а причина-де та, что земская полиция, имея кое-какие слабости со стороны сердечной, пригля-

дывался на баб и деревенских девок. Наверное, впрочем, неизвестно, хотя в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская полиция был-де блудлив, как кошка, и что уже не раз они его оберегали и один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался. Конечно, земская полиция достоин был наказания за сердечные слабости, но мужиков как Вшивой-спеси, так и Задирайлова-тож нельзя было также оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали в убиении. Но дело было темно, земскую полицию нашли на дороге, мундир или сертук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было. Дело ходило по судам и поступило наконец в палату, где было сначала наедине рассуждено в таком смысле: так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много, Дробяжкин же человек мертвый, стало быть, ему немного в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были еще живы, стало быть, для них весьма важно решение в их пользу; то вследствие того решено было так: что заседатель Дробяж-

кин был сам причиною, оказывая несправедливые притеснения мужикам Вшивой-спеси и Задирайлова-тож, а умер-де он, возвращаясь в санях, от апоплексического удара. Дело, казалось бы, обделано было кругло, но чиновники, неизвестно почему, стали думать, что, верно, об этих мертвых душах идет теперь дело. Случись же так, что, как нарочно, в то время, когда господа чиновники и без того находились в затруднительном положении, пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что по дошедшим показаниям и донесениям находится в их губернии делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и чтобы немедленно было учинено строжайшее розыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного преследования разбойнике, и что буде окажется в их губернии какой подозрительный человек, не предъявляющий никаких свидетельств и паспортов, то задержать его немедленно. Эти две бумаги так и ошеломили всех. Прежние заключения и догадки совсем были сбиты с

толку. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову; однако ж все, как поразмыслили каждый с своей стороны, как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица, говорил, правда, что потерпел по службе за правду, да ведь все это как-то неясно, и когда вспомнили при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более: стало быть, жизнь его была в опасности, стало быть, его преследовали, стало быть, он ведь сделал же что-нибудь такое... да кто же он в самом деле такой? Конечно, нельзя думать, чтобы он мог делать фальшивые бумажки, а тем более быть разбойником: наружность благонамеренна; но при всем том, кто же бы, однако ж, он был такой на самом деле? И вот господа чиновники задали себе теперь вопрос, который должны были задать себе в начале, то есть в первой главе нашей поэмы. Решено было еще сделать несколько расспросов тем, у которых были куплены души, чтобы, по край-

ней мере, узнать, что за покупки, и что именно нужно разуместь под этими мертвыми душами, и не объяснил ли он кому, хоть, может быть, невзначай, хоть вскользь как-нибудь настоящих своих намерений, и не сказал ли он кому-нибудь о том, кто он такой. Прежде всего отнеслись к Коробочке, но тут почерпнули не много: купил-де за пятнадцать рублей, и птичьи перья тоже покупает, и много всего обещался закупить, в казну сало тоже ставит, и потому, наверно, плут, ибо уж был один такой, который покупал птичьи перья и в казну сало поставлял, да обманул всех и протопопшу надул более чем на сто рублей. Все, что ни говорила она далее, было повторение почти одного и того же, и чиновники увидели только, что Коробочка была просто глупая старуха. Манилов отвечал, что за Павла Ивановича всегда готов он ручаться, как за самого себя, что он бы пожертвовал всем своим имением, чтобы иметь сотую долю качеств Павла Ивановича, и отозвался о нем вообще в самых лестных выражениях, присовокупив несколько мыслей насчет дружбы уже с зажмуренными глазами. Эти мысли, конеч-

но, удовлетворительно объяснили нежное движение его сердца, но не объяснили чиновникам настоящего дела. Собакевич отвечал, что Чичиков, по его мнению, человек хороший, а что крестьян он ему продал на выбор и народ во всех отношениях живой; но что он не ручается за то, что случится вперед, что если они попримрут во время трудностей переселения в дороге, то не его вина, и в том властен Бог, а горячек и разных смертоносных болезней есть на свете немало, и бывают примеры, что вымирают-де целые деревни. Господа чиновники прибегнули еще к одному средству, не весьма благородному, но которое, однако же, иногда употребляется, то есть стороною, посредством разных лакейских знакомств, расспросить людей Чичикова, не знают ли они каких подробностей насчет прежней жизни и обстоятельств барина, но услышали тоже не много. От Петрушки услышали только запах жилого покоя, а от Селифана, что сполнял службу государскую да служил прежде по таможне, и ничего более. У этого класса людей есть весьма странный обычай. Если его спросить прямо о чем-ни-

будь, он никогда не вспомнит, не приберет всего в голову и даже просто ответит, что не знает, а если спросить о чем другом, тут-то он и приплетет его, и расскажет с такими подробностями, которых и знать не захочешь. Все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они наверное никак не знают, что такое Чичиков, а что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно. Они положили наконец потолковать окончательно об этом предмете и решить, по крайней мере, что и как им делать, и какие меры предпринять, и что такое он именно: такой ли человек, которого нужно задержать и схватить, как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех, как неблагонамеренных. Для всего этого предположено было собраться нарочно у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города.

Глава десятая

Собравшись у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города,

чиновники имели случай заметить друг друга, что они даже похудели от этих забот и тревог. В самом деле, назначение нового генерал-губернатора, и эти полученные бумаги такого сурьезного содержания, и эти бог знает какие слухи — все это оставило заметные следы в их лицах, и фраки на многих сделались заметно просторней. Все подалось: и председатель похудел, и инспектор врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал рассматривать дамам, даже и тот похудел. Конечно, нашлись, как и везде бывает, кое-кто неробкого десятка, которые не теряли присутствия духа, но их было весьма немного. Почтмейстер один только. Он один не изменялся в постоянно ровном характере и всегда в подобных случаях имел обыкновение говорить: «Знаем мы вас, генерал-губернаторов! Вас, может быть, три-четыре переменится, а я вот уже тридцать лет, судырь мой, сижу на одном месте». На это обыкновенно замечали другие чиновники: «Хорошо тебе, шпрехен зи дейч

Иван Андрейч, у тебя дело почтовое: принять да отправить экспедицию; разве только надуть, заперши присутствие часом раньше, да возьмешь с опоздавшего купца за прием письма в неуказанное время или перешлешь иную посылку, которую не следует пересылать, — тут, конечно, всякий будет святой. А вот пусть к тебе повадится черт подвертываться всякий день под руку, так что вот и не хочешь брать, а он сам сует. Тебе, разумеется, сполагоря, у тебя один сынишка, а тут, брат, Прасковью Федоровну наделил Бог такую благодатию, что год, то несет: либо Праскушку, либо Петрушу; тут, брат, другое запоешь». Так говорили чиновники, а можно ли в самом деле устоять против черта, об этом судить не авторское дело. В собравшемся на сей раз совете очень заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком. Вообще мы как-то не создались для представительных заседаний. Во всех наших собраниях, начиная от крестьянской мирской сходки до всяких возможных ученых и прочих комитетов, если в них нет одной главы, управляющей всем, присутствует

препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это; видно, уже народ такой, только и удаются те совещания, которые составляются для того, чтобы покутить или пообедать, как— то: клубы и всякие воксалы [261] на немецкую ногу. А готовность всякую минуту есть, пожалуй, на все. Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общества благотворительные, поощрительные и невесть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит оттого, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что все сделано. Например, затеявши какое-нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас в ознаменование такого похвального поступка задаем обед всем первым сановникам города, разумеется, на половину всех пожертвованных сумм; на остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира, с отоплением и сторожами, а затем и остается всей суммы для бедных пять рублей с полтиною, да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий

сует какую-нибудь свою куму. Впрочем, собравшееся ныне совещание было совершенно другого рода: оно образовалось вследствие необходимости. Не о каких-либо бедных или посторонних шло дело, дело касалось всякого чиновника лично, дело касалось беды, всем равно грозившей; стало быть, поневоле тут должно быть единодушнее, теснее. Но при всем том вышло черт знает что такое. Не говоря уже о разногласиях, свойственных всем советам, во мнении собравшихся обнаружилась какая-то даже непостижимая нерешительность: один говорил, что Чичиков делатель государственных ассигнаций, и потом сам прибавлял: «а может быть, и не делатель»; другой утверждал, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии, и тут же присовокуплял: «а впрочем, черт его знает, на лбу ведь не прочтешь». Против догадки, не переодетый ли разбойник, вооружились все; нашли, что сверх наружности, которая сама по себе была уже благонамеренна, в разговорах его ничего не было такого, которое бы показывало человека с буйными поступками. Вдруг почтмейстер, остававшийся несколько

минут погруженным в какое-то размышление, вследствие ли внезапного вдохновения, осенившего его, или чего иного, вскрикнул неожиданно:

— Знаете ли, господа, кто это?

Голос, которым он произнес это, заключал в себе что-то потрясающее, так что заставил вскрикнуть всех в одно время:

— А кто?

— Это, господа, судырь мой, не кто другой, как капитан Копейкин!

А когда все тут же в один голос спросили: «Кто таков этот капитан Копейкин?» — почтмейстер сказал:

— Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?

Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин.

— Капитан Копейкин, — сказал почтмейстер, открывший свою табакерку только вполовину, из боязни, чтобы кто-нибудь из соседей не запустил туда своих пальцев, в чистоту которых он плохо верил и даже имел обыкновение приговаривать: «Знаем, батюшка: вы пальцами своими, может быть, невесть в ка-

кие места наведывааетесь, а табак вещь, требующая чистоты». — Капитан Копейкин, — сказал почтмейстер, уже понюхавши табаку, — да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет презанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма.

Все присутствующие изъявили желание узнать эту историю, или, как выразился почтмейстер, презанимательную для писателя в некотором роде целую поэму, и он начал так:

ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ

«После кампании двенадцатого года, судырь ты мой, — так начал почтмейстер, несмотря на то что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро, — после кампании двенадцатого года вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли, или под Лейпцигом, только, можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений; этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Капитан Ко-

пейкин видит: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался было домой к отцу; отец говорит: „Мне нечем тебя кормить, я, — можете представить себе, — сам едва достаю хлеб“. Вот мой капитан Копейкин решился отпра-виться, судырь мой, в Петербург, что-бы просить государя, не будет ли ка-кой монаршей милости: „что вот-де, так и так, в некотором роде, так ска-зать, жизнью жертвовал, проливал кровь...“ Ну, как-то там, знаете, с обо-зами или фурами казенными, — сло-вом, судырь мой, дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете пред-ставить себе: эдакой какой-нибудь, то есть, капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое по-ле жизни, сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете пред-ставить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми! или там эдакая ка-кая-нибудь Литейная; там шпиц эда-кой какой-нибудь в воздухе; мосты

там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения, — словом, Семирамида, судырь, да и полно! Понатолкался было нанять квартиры, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры — Персия целиком; ногой, так сказать, попираешь капиталы. Ну просто, то есть, идешь по улице, а уж нос твой так и слышит, что пахнет тысячами; а у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-нибудь десяти синюх. Ну, как-то там приютился в ревельском трактире за рубль в сутки; обед — щи, кусок битой говядины. Видит: заживаться нечего. Расспросил, куда обратиться. Говорят, есть, в некотором роде, высшая комиссия, правленье, понимаете, эдакое, и начальником генерал-аншеф[262] такой-то. А государя, нужно вам знать, в то время не было еще в столице; войска, можете себе представить, еще не возвращались из Парижа, все было за границей. Копейкин мой, вставший поранее, поскреб себе левой рукой бороду,

потому что платить цирюльнику — это составит, в некотором роде, счет, натащил на себя мундиришку и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился к самому начальнику, к вельможе. Расспросил квартиру. «Вон», — говорят, указав ему дом на Дворцовой набережной. Избенка, понимаете, мужичья: стеклушки в окнах, можете себе представить, полторасаженные зеркала, так что вазы и всё, что там ни есть в комнатах, кажутся как бы внаруже, — мог бы, в некотором роде, достать с улицы рукой; драгоценные мраморы на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у дверей, так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавочку, да купить на грош мыла, да прежде часа два тереть им руки, да потом уже решишь ухватиться за нее, — словом: лаки на всем такие — в некотором роде ума помрачение. Один швейцар уже смотрит генералиссимусом: вызолоченная булава, графская физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь; батистовые воротнички, канальство!.. Копейкин

мой всталился кое-как с своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем, можете себе представить, какую-нибудь Америку или Индию — раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эдакую. Ну, разумеется, что он настоялся там вдоволь, потому что, можете представить себе, пришел еще в такое время, когда генерал, в некотором роде, едва поднялся с постели и камердинер, может быть, поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку для разных, понимаете, умываний эдаких. Ждет мой Копейкин часа четыре, как вот входит наконец адъютант или там другой дежурный чиновник. «Генерал, говорит, сейчас выйдет в приемную». А в приемной уж народу — как бобов на тарелке. Все это не то, что наш брат холоп, всё четвертого или пятого класса, полковники, а кое-где и толстый макарон блестит на эполете — генералитет, словом, такой. Вдруг в комнате, понимаете, пронеслась чуть заметная суета, как эфир какой-нибудь тонкий. Раздалось там и там: «шу, шу», и наконец тиши-

на настала страшная. Вельможа входит. Ну... можете представить себе: государственный человек! В лице, так сказать... ну, сообразно с званием, понимаете... с высоким чином... такое и выраженье, понимаете. Все, что ни было в передней, разумеется, в ту же минуту в струнку, ожидает, дрожит, ждет решенья, в некотором роде, судьбы. Министр, или вельможа, подходит к одному, к другому: «Зачем вы? зачем вы? что вам угодно? какое ваше дело?» Наконец, судырь мой, к Копейкину. Копейкин, собравшись с духом: «Так и так, ваше превосходительство: пролил кровь, лишился, в некотором роде, руки и ноги, работать не могу, осмеливаюсь просить монаршей милости». Министр видит: человек на деревяшке и правый рукав пустой пристегнут к мундиру: «Хорошо, говорит, понаведаетесь на днях». Копейкин мой выходит чуть не в восторге: одно то, что удостоился аудиенции, так сказать, с первостатейным вельможею; а другое то, что вот теперь наконец решится, в некотором роде, насчет пенсионна. В духе, понимаете, таком, подпрыгива-

ет по тротуару. Зашел в Палкинский трактир выпить рюмку водки, пообедал, судырь мой, в Лондоне, приказал подать себе котлетку с каперсами, пулярку спросил с разными финтерлеями; спросил бутылку вина, ввечеру отправился в театр — одним словом, понимаете, кутнул. На тротуаре, видите, идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, можете себе представить, эдакой. Мой Копейкин — кровь-то, знаете, разыгралась в нем — побежал было за ней на своей деревяшке, трюх-трюх следом — «да нет, подумал, пусть после, когда получу пенсион, теперь уж я что-то расходился слишком». Вот, судырь мой, каких-нибудь через три-четыре дня является Копейкин мой снова к министру, дождался выхода. «Так и так, говорит, пришел, говорит, услышать приказ вашего высокопревосходительства по одержимым болезням и за ранами...», — и тому подобное, понимаете, в должностном слогe. Вельможа, можете вообразить, тотчас его узнал: «А, говорит, хорошо, говорит, на этот раз ничего не могу сказать вам более,

как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя; тогда, без сомнения, будут сделаны распоряжения насчет раненых, а без монаршей, так сказать, воли я ничего не могу сделать». Поклон, понимаете, и — прощайте. Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самом неопределенном. Он-то уже думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги: «На тебе, голубчик, пей да веселись»; а вместо того ему приказано ждать, да и время не назначено. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой: и хвост у него между ног, и уши повесил. «Ну, нет, — думает себе, — пойду в другой раз, объясню, что последний кусок доедаю, — не поможете, должен умереть, в некотором роде, с голода». Словом, приходит он, судырь мой, опять на Дворцовую набережную; говорят: «Нельзя, не принимает, приходите завтра». На другой день — то же; а швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем у него из синюх-то, понимаете, уж остается только одна в кармане.

То, бывало, едал щи, говядины кусок, а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленный да хлеба на два гроша, — словом, голодает бедняга, а между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо эдакого какого-нибудь ресторана — повар там, можете себе представить, иностранец, француз эдакой с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук, белизною равный снегам, работает там фензерв[263] какой-нибудь, котлетки с трюфелями, — словом, рассупе-деликатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо Милютинских лавок, там из окна выглядывает, в некотором роде, семга эдакая, вишенки — по пяти рублей штучка, арбуз-громадище, дилижанс эдакой, высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил сто рублей, — словом, на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут, а он слышит между тем всё «завтра». Так можете вообразить себе, каково его положение: тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой-то, —

ему подносят все одно и то же блюдо: «завтра». Наконец сделалось бедняге, в некотором роде, невтерпеж, решился во что бы то ни стало пролезть штурмом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель, и там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул с своей деревяшкой в приемную. Вельможа, по обыкновению, выходит: «Зачем вы? Зачем вы? А! — говорит, увидевши Копейкина, — ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения». — «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба...» — «Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать; старайтесь покамест помочь себе сами, ищите сами средств». — «Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, в некотором роде, судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги». — «Но, — говорит сановник, — согласитесь: я не могу вас содержать, в некотором роде, на свой счет; у меня много раненых, все они имеют равное право... Вооружитесь терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное сло-

во, что его монаршая милость вас не оставит». — «Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать», — говорит Копейкин, и говорит, в некотором отношении, грубо. Вельможе, понимаете, сделалось уже досадно. В самом деле: тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний; дела, так сказать, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения, — минута упущения может быть важна, — а тут еще привязался сбоку неотвязчивый черт. «Извините, говорит, мне некогда... меня ждут дела важнее ваших». Напоминает способом, в некотором роде, тонким, что пора наконец и выйти. А мой Копейкин, — голод-то, знаете, пришпорил его: «Как хотите, ваше высокопревосходительство, говорит, не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию». Ну... можете представить: отвечать таким образом вельможе, которому стоит только слово — так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и черт тебя не отыщет... Тут если нашему брату скажет чиновник, одним чином поменьше, подобное, так

уж и грубость. Ну, а там размер-то, размер каков: генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин! Девяносто рублей и нуль! Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул, а взгляд — огнестрельное оружие: души уж нет — уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, ни с места, стоит как вкопанный. «Что же вы?» — говорит генерал и принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он еще довольно милостиво: иной бы пугнул так, что дня три вертелась бы после того улица вверх ногами, а он сказал только: «Хорошо, говорит, если вам здесь дорого жить и вы не можете в столице покойно ожидать решения вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря! препроводить его на место жительства!» А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трехаршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков, — словом, дантист эдакой... Вот его, раба божия, схватили, судырь мой, да в тележку, с

фельдъегерем. «Ну, — Копейкин думает, — по крайней мере, не нужно платить прогонов, спасибо и за то». Вот он, судырь мой, едет на фельдъегере, да, едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе: «Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, — хорошо, говорит, я, говорит, найду средства!» Ну, уж как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но, позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, судырь мой, не кто другой...»

— Только позволь, Иван Андреевич, — сказал вдруг, прервавши его, полицеймейстер, — ведь капитан Копейкин, ты сам ска-

зал, без руки и ноги, а у Чичикова...

Здесь почтмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: «Русский человек задним умом крепок». Однако ж минуту спустя он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было.

Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почтмейстер хватил уже слишком далеко. Впрочем, они, с своей стороны, тоже не ударили лицом в грязь и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений было наконец одно — стран-

но даже и сказать: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и под собакой разумеется Наполеон: «Смотри, мол, говорит, если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!» — и вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков.

Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицеймейстер, который служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако ж и не

так чтобы тонок. Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным; автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным; но, как на беду, все именно произошло так, как рассказывается, и тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые восемь лет заклятыми политиками. «Московские ведомости» и «Сын отечества» зачитывались немилосердно и доходили к последнему чтецу в кусочках, не годных ни на какое употребление. Вместо вопросов: «Почем, батюшка, продали меру овса? как воспользовались вчерашней поршей?» — говорили: «А что пишут в газетах, не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже три года сидевшего в остроге; пророк пришел неизвестно откуда в лаптях и нагольном ту-

лупе, страшно отзывавшемся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал, как следует, в острог, но тем не менее дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще, во время даже самых прибыточных сделок, купцы, отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали об антихристе. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом и, зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение; многие даже открыли в нем апокалипсические цифры.[264] Итак, ничего нет удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте; скоро, однако же, спохватились, заметив, что воображение их уже чересчур рысисто и что все это не то. Думали, думали, толковали, толковали и наконец решили, что не худо бы еще расспросить хорошенько Ноздрева. Так как

он первый вынес историю о мертвых душах и был, как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым, стало быть, без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробовать еще, что скажет Ноздрев.

Странные люди эти господа чиновники, а за ними и все прочие звания: ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а между тем именно прибегнули к нему. Поди ты сладь с человеком! не верит в Бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет; пропустит мимо создание поэта, ясное как день, все проникнутое согласием и высокою мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выворотит природу, и ему оно понравится, и он станет кричать: «Вот оно, вот настоящее знание тайн сердца!» Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками, или, еще лучше, выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, которая, бог знает почему, вообразится ему

именно средством против его болезни. Конечно, можно отчасти извинить господ чиновников действительно затруднительным их положением. Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не четыре пуда, если даже не целых пять; но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и господа наши ухватились наконец и за Ноздрева. Полицеймейстер в ту же минуту написал к нему записочку пожаловать на вечер, и кварталный, в ботфортах, с привлекательным румянцем на щеках, побежал в ту же минуту, придерживая шпагу, вприскок на квартиру Ноздрева. Ноздрев был занят важным делом; целые четыре дня уже не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко, — словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности: оно состояло в подборании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работы оста-

валось еще, по крайней мере, на две недели; во все продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его три раза на день в мыле. Ноздрев был очень рассержен за то, что потревожили его уединение; прежде всего он отправил квартального к черту, но, когда прочитал в записке городничего, что может случиться пожива, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, смягчился в ту же минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся как попало и отправился к ним. Показания, свидетельства и предположения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что и последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительно человек, для которого не существовало сомнений вовсе; и сколько у них заметно было шаткости и робости в предположениях, столько у него твердости и уверенности. Он отвечал на все пункты даже не заикнувшись, объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на несколько тысяч и что он сам продал ему, потому что не видит причины, почему не про-

дать; на вопрос, не шпион ли он и не старается ли что-нибудь разведать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он с ним вместе учился, его называли фискалом, и что за это товарищи, а в том числе и он, несколько его поизмяли, так что нужно было потом приставить к одним вискам двести сорок пьёвок, — то есть он хотел было сказать сорок, но двести сказалось как-то само собою. На вопрос, не делатель ли он фальшивых бумажек, он отвечал, что делатель, и при этом случае рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что в его доме находилось на два миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом его и приставили караул, на каждую дверь по два солдата, и как Чичиков переменял их все в одну ночь, так что на другой день, когда сняли печати, увидели, что все были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увести губернаторскую дочку и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал и что если бы не он, то не вышло бы ничего, — тут он и спохватился было, видя,

что солгал вовсе напрасно и мог таким образом накликать на себя беду, но языка никак уже не мог придержать. Впрочем, и трудно было, потому что представились сами собою такие интересные подробности, от которых никак нельзя было отказаться: даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться, именно деревня Трухмачевка, поп — отец Сидор, за венчание — семьдесят пять рублей, и то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лабазника Михайла на куме, что он уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что уже начинал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия, так что чиновники, вздохнувши, все отошли прочь; один только полицеймейстер долго еще слушал, думая, не будет ли, по

крайней мере, чего-нибудь далее, но наконец и рукой махнул, сказавши: «Черт знает что такое!» И все согласились в том, что как с быком ни биться, а все молока от него не добиться. И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде, и решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода создание человек: мудр, умен и толков он бывает во всем, что касается других, а не себя; какими осмотрительными, твердыми советами снабдит он в трудных случаях жизни! «Экая расторопная голова! — кричит толпа. — Какой неколебимый характер!» А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни, куды делся характер, весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный, слабый ребенок, или просто фетюк, как называет Ноздрев.

Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедши

домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: «Ах, боже мой!» — послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем появление смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер или зачем жил, об этом один Бог ведает.

Но это, однако ж, несообразно! это несогласно ни с чем! это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя; со-

здать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело! Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразностях или назовут бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово «дурак» и готов прислужиться им двадцать раз на день своему ближнему. Довольно из десяти сторон иметь одну глупую, чтобы быть признану дураком мимо девяти хороших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других путей

шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: где выход, где дорога? Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблужденьям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отвсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки.

Чичиков ничего обо всем этом не знал совершенно. Как нарочно, в то время он получил легкую простуду — флюс и небольшое воспаление в горле, в раздаче которых чрез-

вычайно щедр климат многих наших губернских городов. Чтобы не прекратилась, боже сохрани, как-нибудь жизнь без потомков, он решился лучше посидеть денька три в комнате. В продолжение сих дней он полоскал беспрестанно горло молоком с фигой, которую потом съедал, и носил привязанную к щеке подушечку из ромашки и камфары. Желая чем-нибудь занять время, он сделал несколько новых и подробных списков всем накопленным крестьянам, прочитал даже какой-то том герцогини Лавальер,[265] отыскавшийся в чемодане, пересмотрел в ларце разные находившиеся там предметы и записочки, кое-что перечел и в другой раз, и все это прискучило ему сильно. Никак не мог он понять, что бы значило, что ни один из городских чиновников не приехал к нему хоть бы раз надеяться о здоровье, тогда как еще недавно то и дело стояли перед гостиницей дрожки — то почтмейстерские, то прокурорские, то председательские. Он пожимал только плечами, ходя по комнате. Наконец почувствовал он себя лучше и обрадовался бог знает как, когда увидел возможность выйти на свежий воздух. Не

откладывая, принялся он немедленно за туалет, отпер свою шкатулку, налил в стакан горячей воды, вынул щетку и мыло и расположился бриться, чему, впрочем, давно была пора и время, потому что, пощупав бороду рукою и взглянув в зеркало, он уже произнес: «Эк какие пошли писать леса!» И в самом деле, леса не леса, а по всей щеке и подбородку высыпал довольно густой посев. Выбравшись, принялся он за одеванье живо и скоро, так что чуть не выпрыгнул из панталон. Наконец он был одет, вспрыснут одеколоном и, закутанный потеплее, выбрался на улицу, завязавши из предосторожности щеку. Выход его, как всякого выздоровевшего человека, был точно праздничный. Все, что ни попадалось ему, приняло вид смеющийся: и дома, и проходившие мужики, довольно, впрочем, серьезные, из которых иной уже успел съездить своего брата в ухо. Первый визит он намерен был сделать губернатору. Дорогою много приходило ему всяких мыслей на ум; вертелась в голове блондинка, воображенье начало даже слегка шалить, и он уже сам стал немного шутить и подсмеиваться над собою. В таком духе

очутился он перед губернаторским подъездом. Уже стал он было в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар поразил его совершенно неожиданными словами:

— Не приказано принимать!

— Как, что ты, ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо! — говорил ему Чичиков.

— Как не узнать, ведь я вас не впервой вижу, — сказал швейцар. — Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно.

— Вот тебе на! отчего? почему?

— Такой приказ, так уж, видно, следует, — сказал швейцар и прибавил к тому слово: «да». После чего стал перед ним совершенно непринужденно, не сохраняя того ласкового вида, с каким прежде торопился снимать с него шинель. Казалось, он думал, глядя на него: «Эге! уж коли тебя бары гоняют с крыльца, так ты, видно, так себе, шушера какой-нибудь!»

«Непонятно!» — подумал про себя Чичиков и отправился тут же к председателю палаты, но председатель палаты так смутился, увидя

его, что не мог связать двух слов, и наговорил такую дрянь, что даже им обоим сделалось со-вестно. Уходя от него, как ни старался Чичиков изъяснить дорогою и добратся, что такое разумел председатель и насчет чего могли от-носиться слова его, но ничего не мог понять. Потом зашел к другим: к полицеймейстеру, к вице-губернатору, к почтмейстеру, но все или не приняли его, или приняли так странно, та-кой принужденный и непонятный вели раз-говор, так растерялись, и такая вышла бестол-ковщина изо всего, что он усомнился в здоро-вье их мозга. Попробовал было еще зайти кое к кому, чтобы узнать, по крайней мере, при-чину, и не добрался никакой причины. Как полусонный, бродил он без цели по городу, не будучи в состоянии решить, он ли сошел с ума, чиновники ли потеряли голову, во сне ли все это делается или наяву заварилась дурь почище сна. Поздно уже, почти в сумер-ки, возвратился он к себе в гостиницу, из ко-торой было вышел в таком хорошем располо-жении духа, и от скуки велел подать себе чаю. В задумчивости и в каком-то бессмыс-ленном рассуждении о странности положе-

ния своего стал он разливать чай, как вдруг отворилась дверь его комнаты и предстал Ноздрев никак неожиданным образом.

— Вот говорит пословица: «Для друга семь верст не околица!» — говорил он, снимая картуз. — Прохожу мимо, вижу свет в окне, дай, думаю себе, зайду, верно, не спит. А! вот хорошо, что у тебя на столе чай, выпью с удовольствием чашечку: сегодня за обедом объелся всякой дряни, чувствую, что уж начинается в желудке возня. Прикажи-ка мне набить трубку! Где твоя трубка?

— Да ведь я не курю трубки, — сказал сухо Чичиков.

— Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй! как, бишь, зовут твоего человека? Эй, Вахрамей, послушай!

— Да не Вахрамей, а Петрушка.

— Как же? да у тебя ведь прежде был Вахрамей.

— Никакого не было у меня Вахрамея.

— Да, точно, это у Деребина Вахрамей. Вообрази, Деребину какое счастье: тетка его поссорилась с сыном за то, что женился на крепостной, и теперь записала ему все именье. Я

думаю себе, вот если бы эдакую тетку иметь для дальнейших! Да что ты, брат, так отдался от всех, нигде не бываешь? Конечно, я знаю, что ты занят иногда учеными предметами, любишь читать (уж почему Ноздрев заключил, что герой наш занимается учеными предметами и любит почитать, этого, признаемся, мы никак не можем сказать, а Чичиков и того менее). Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидал... вот уж, точно, была бы пища твоему сатирическому уму (почему у Чичикова был сатирический ум, это тоже неизвестно). Вообрази, брат, у купца Лихачева играли в горку, вот уж где смех был! Перепендев, который был со мною: «Вот, говорит, если бы теперь Чичиков, уж вот бы ему точно!..» (между тем Чичиков отроду не знал никакого Перепендева). А ведь признайся, брат, ведь ты, право, преподло поступил тогда со мною, помнишь, как играли в шашки, ведь я выиграл... Да, брат, ты просто поддедюлил меня. Но ведь я, черт меня знает, никак не могу сердиться. Намедни с председателем... Ах, да! я ведь тебе должен сказать, что в городе все против тебя; они думают, что ты делаешь

фальшивые бумажки, пристали ко мне, да я за тебя горой, наговорил им, что с тобой учился и отца знал; ну и, уж нечего говорить, слил им пулю порядочную.

— Я делаю фальшивые бумажки? — вскрикнул Чичиков, приподнявшись со стула.

— Зачем ты, однако ж, так напугал их? — продолжал Ноздрев. — Они, черт знает, с ума сошли со страху: нарядили тебя в разбойники и в шпионы... А прокурор с испугу умер, завтра будет погребение. Ты не будешь? Они, сказать правду, боятся нового генерал-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло; а я насчет генерал-губернатора такого мнения, что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного бала, да ведь этим что ж? Ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако ж, Чичиков, рискованное дело затеял.

— Какое рискованное дело? — спросил беспокойно Чичиков.

— Да увезти губернаторскую дочку. Я, признаюсь, ждал этого, ей-богу, ждал! В первый раз, как только увидел вас вместе на бале, ну уж, думаю себе, Чичиков, верно, недаром... Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор, я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна, родственница Бикусова, сестры его дочь, так вот уж девушка! можно сказать: чудо коленкор!

— Да что ты, что ты путаешь? Как увезти губернаторскую дочку, что ты? — говорил Чичиков, выпуча глаза.

— Ну, полно, брат, экой скрытный человек! Я, признаюсь, к тебе с тем пришел: изволь, я готов тебе помогать. Так и быть: подержу венец тебе, коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором: ты должен мне дать три тысячи займы. Нужны, брат, хоть зарежь!

В продолжение всей болтовни Ноздрева Чичиков протирал несколько раз себе глаза, желая увериться, не во сне ли он все это слышит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиною будто бы он, проезд гене-

рал-губернатора — все это навело на него порядочный испуг. «Ну, уж коли пошло на то, — подумал он сам в себе, — так мешкать более нечего, нужно отсюда убираться поскорей».

Он постарался сбыть поскорее Ноздрева, призвал к себе тот же час Селифана и велел ему быть готовым на заре, с тем чтобы завтра же в шесть часов утра выехать из города непременно, чтобы все было пересмотрено, бричка подмазана и прочее, и прочее. Селифан произнес: «Слушаю, Павел Иванович!» — и остановился, однако ж, несколько времени у дверей, не двигаясь с места. Барин тут же велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан, покрывшийся уже порядочно пылью, и принялся укладывать вместе с ним, без большого разбора, чулки, рубашки, белье мытое и немытое, сапожные колодки, календарь... Все это укладывалось как попало; он хотел непременно быть готовым с вечера, чтобы назавтра не могло случиться никакой задержки. Селифан, постоявши минуты две у дверей, наконец очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он с лестни-

цы, отпечатывая своими мокрыми сапогами следы по сходившим вниз избитым ступеням, и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесыванье? и что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная назавтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком, где-нибудь во царевом кабаке, или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердечная и приходится оставлять вечернее стоянье у ворот и политичное держанье за белы ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи разночинный отработавшийся народ? Или просто жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ печи, да щей с городским мягким пирогом, с тем чтобы вновь тащиться под дождь, и слякоть, и всякую дорожную невзгону? Бог весть, не угадаешь. Многие разное значит у русского народа почесыванье в затылке.

Глава одиннадцатая

Ничто, однако же, не случилось так, как предполагал Чичиков. Во-первых, проснулся он позже, нежели думал, — это была первая неприятность. Вставши, он послал тот же час узнать, заложена ли бричка и все ли готово; но донесли, что бричка еще была не заложена и ничего не было готово. Это была вторая неприятность. Он рассердился, приготовился даже задать что-то вроде потасовки приятелю нашему Селифану и ожидал только с нетерпением, какую тот с своей стороны приведет причину в оправдание. Скоро Селифан показался в дверях, и барин имел удовольствие услышать те же самые речи, какие обыкновенно слышатся от прислуги в таком случае, когда нужно скоро ехать.

— Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать.

— Ах ты чушка! чурбан! а прежде зачем об этом не сказал? Не было разве времени?

— Да время-то было... Да вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухаби-ста, шибень[266] такой везде пошел... Да если позволите доложить: перед у брички совсем

расшатался, так что она, может быть, и двух станций не сделает.

— Подлец ты! — вскрикнул Чичиков, всплеснув руками, и подошел к нему так близко, что Селифан из боязни, чтобы не получить от барина подарка, попятился несколько назад и посторонился. — Убить ты меня собрался? а? зарезать меня хочешь? На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник, чушка ты проклятый, страшилище морское! а? а? Три недели сидели на месте, а? Хоть бы заикнулся, беспутный, — а вот теперь к последнему часу и пригнал! когда уж почти начеку: сесть бы да и ехать, а? а ты вот тут-то и напакостил, а? а? Ведь ты знал это прежде? ведь ты знал это, а? а? Отвечай. Знал? А?

— Знал, — отвечал Селифан, потупивши голову.

— Ну так зачем же тогда не сказал, а?

На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, но, потупивши голову, казалось, говорил сам себе: «Вишь ты, как оно мудрено случилось; и знал ведь, да не сказал!»

— А вот теперь ступай приведи кузнеца, да чтоб в два часа все было сделано. Слышишь?

непременно в два часа, а если не будет, так я тебя, я тебя... в рог согну и узлом завяжу! — Герой наш был сильно рассержен.

Селифан оборотился было к дверям, с тем чтоб идти выполнить приказание, но остановился и сказал:

— Да еще, сударь, чубарого коня, право, хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец; он такой конь, просто не приведи бог, только помеха.

— Да! вот пойду, побегу на рынок продавать!

— Ей-богу, Павел Иванович, он только что на вид казистый, а на деле самый лукавый конь; такого коня нигде...

— Дурак! когда захочу продать, так продам. Еще пустился в рассужденья! Вот посмотрю я: если ты мне не приведешь сейчас кузнецов да в два часа не будет все готово, так я тебе такую дам потасовку... сам на себе лица не увидишь! Пошел! ступай!

Селифан вышел.

Чичиков сделался совершенно не в духе и швырнул на пол саблю, которая ездил с ним в дороге для внушения надлежащего страха

кому следует. Около четверти часа с лишком провозился он с кузнецами, покамест сладил, потому что кузнецы, как водится, были отъявленные подлецы и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно вшестеро. Как он ни горячился, называл их мошенниками, разбойниками, грабителями проезжающих, намекнул даже на Страшный суд, но кузнецов ничем не пронял: они совершенно выдержали характер — не только не отступились от цены, но даже провозились за работой вместо двух часов целых пять с половиною. В продолжение этого времени он имел удовольствие испытать приятные минуты, известные всякому путешественнику, когда в чемодане все уложено и в комнате валяются только веревочки, бумажки да разный сор, когда человек не принадлежит ни к дороге, ни к сиденью на месте, видит из окна проходящих плетущихся людей, толкующих об своих гривнах и с каким-то глупым любопытством поднимающих глаза, чтобы, взглянув на него, опять продолжать свою дорогу, что еще более расстраивает нерасположение духа бедного неедущего путешественника. Все, что ни есть,

все, что ни видит он: и лавчонка против его окон, и голова старухи, живущей в супротивном доме, подходящей к окну с коротенькими занавесками, — все ему гадко, однако же он не отходит от окна. Стоит, то позабываясь, то обращая вновь какое-то притупленное внимание на все, что перед ним движется и не движется, и душит с досады какую-нибудь муху, которая в это время жужжит и бьется об стекло под его пальцем. Но всему бывает конец, и желанная минута настала: все было готово, перед у брички как следует был налажен, колесо было обтянуто новою шиною, кони приведены с водопоя, и разбойники кузнецы отправились, пересчитав полученные целковые и пожелав благополучия. Наконец и бричка была заложена, и два горячие калача, только что купленные, положены туда, и Селифан уже засунул кое-что для себя в карман, бывший у кучерских козел, и самгерой наконец, при взмахивании картузом полового, стоявшего в том же демикотоновом сюртуке, при трактирных и чужих лакеях и кучерах, собравшихся позевать, как выезжает чужой барин, и при всяких других обстоятель-

ствах, сопровождающих выезд, сел в экипаж, — и бричка, в которой ездят холостяки, которая так долго застоялась в городе и так, может быть, надоела читателю, наконец выехала из ворот гостиницы. «Слава те, Господи!» — подумал Чичиков и перекрестился. Селифан хлыснул кнутом; к нему подсел сперва повисевший несколько времени на подножке Петрушка, и герой наш, усевшись получше на грузинском коврике, заложил за спину себе кожаную подушку, притиснул два горячие калача, и экипаж пошел опять подплясывать и покачиваться благодаря мостовой, которая, как известно, имела подкидывающую силу. С каким-то неопределенным чувством глядел он на дома, стены, забор и улицы, которые также с своей стороны, как будто подскакивая, медленно уходили назад и которые, бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжение своей жизни. При повороте в одну из улиц бричка должна была остановиться, потому что во всю длину ее проходила бесконечная погребальная процессия. Чичиков, высунувшись, велел Петрушке спросить, кого хоронят, и узнал, что хоронят

прокурора. Исполненный неприятных ощущений, он тот же час спрятался в угол, закрыл себя кожей и задернул занавески. В это время, когда экипаж был таким образом остановлен, Селифан и Петрушка, набожно снявши шляпу, рассматривали, кто, как, в чем и на чем ехал, считая числом, сколько было всех и пеших и ехавших, а барин, приказавши им не признаваться и не кланяться никому из знакомых лакеев, тоже принялся рассматривать робко сквозь стеклышка, находившиеся в кожаных занавесках: за гробом шли, снявши шляпы, все чиновники. Он начал было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа, но им было не до того. Они даже не занялись разными житейскими разговорами, какие обыкновенно ведут между собою провожающие покойника. Все мысли их были сосредоточены в это время в самих себе: они думали, каков-то будет новый генерал-губернатор, как возьмется за дело и как примет их. За чиновниками, шедшими пешком, следовали кареты, из которых выглядывали дамы в траурных чепцах. По движениям губ и рук их видно было, что они были заняты живым раз-

говором; может быть, они тоже говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет балов, какие он даст, и хлопотали о вечных своих фестончиках и нашивочках. Наконец за каретами следовало несколько пустых дрожек, вытянувшихся гуськом, наконец и ничего уже не осталось, и герой наш мог ехать. Открывши кожаные занавески, он вздохнул, произнесши от души: «Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови». Тут он приказал Селифану ехать поскорее и между тем подумал про себя: «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны; говорят, значит счастье, если встретишь покойника».

Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы; скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие

конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоянного двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, [267] солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца... Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерз-

кие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные деревья и плющи, вросшие в дома, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громадзящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь

таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразась во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она са-

ма, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух... покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмемся к углу! В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены, и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся... как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся и «Не белы снега», и сап лошадей, и шум колес, и уже храпишь, прижавши к углу своего соседа. Проснулся: пять станций убежало назад; луна, неведомый город, церкви с старинными деревянными куполами и чернеющими остроконечьями, темные бревенчатые и белые каменные дома. Сияние месяца там и там: будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам; косяками пересекают их черные, как уголь, тени; подобно сверкающему металлу блистают вкось озаренные деревянные крыши, и нигде ни души — все спит. Один-одинешенек, разве где-нибудь в окошке брезжит огонек: мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке — что до них? А ночь! небесные силы! какая ночь совершается в вышине!

А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышит свежо в самые очи холодное ночное дыхание и убаюкивает тебя, и вот уже дремлешь, и забываешься, и храпишь, и ворочается сердито, почувствовав на себе тяжесть, бедный, притиснутый в углу сосед. Проснулся — и уже опять перед тобою поля и степи, нигде ничего — везде пустырь, все открыто. Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на побелевшем холодном небосклоне золотая бледная полоса; свежее и жестче становится ветер: покрепче в теплую шинель!.. какой славный холод! какой чудный, вновь обнимающий тебя сон! Толчок — и опять проснулся. На вершине неба солнце. «Полегче! легче!» — слышится голос, телега спускается с кручи: внизу плотина широкая и широкий ясный пруд, сияющий, как медное дно, перед солнцем; деревня, избы рассыпались на косогоре; как звезда, блестит в стороне крест сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке... Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз,

как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!.. Но и друг наш Чичиков чувствовал в это время не вовсе прозаические грезы. А посмотрим, что он чувствовал. Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только назад, желая увериться, точно ли выехал из города; но когда увидел, что город уже давно скрылся, ни кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно и даже белые верхушки каменных церквей давно ушли в землю, он занялся только одной дорогой, посматривал только направо и налево, и город N. как будто не бывал в его памяти, как будто проезжал он его давно, в детстве. Наконец и дорога перестала занимать его, и он стал слегка закрывать глаза и склонять голову к подушке. Автор признается, этому даже рад, находя, таким образом, случай поговорить о своем герое; ибо доселе, как читатель видел, ему беспрестанно мешали то Ноздрев, то балы, то дамы, то городские сплетни, то,

наконец, тысячи тех мелочей, которые кажутся только тогда мелочами, когда внесены в книгу, а покамест обращаются в свете, почитаются за весьма важные дела. Но теперь отложим совершенно все в сторону и прямо займемся делом.

Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям. Дамам он не понравится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуют, чтоб герой был решительное совершенство, и если какое-нибудь душевное или телесное пятнышко, тогда беда! Как глубоко ни загляни автор ему в душу, хоть отрази чище зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «Фи, такой гадкий!» Увы! все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека, но... может быть, в сей же самой повести почувются иные, еще доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или

чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертва книга пред живым словом! Подымутся русские движения... и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов... Но к чему и зачем говорить о том, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всему свой черед, и место, и время! А добродетельный человек все-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек»; потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом, и всем чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет

на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные — Бог ведает; лицом он на них не походил: по крайней мере, родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабушку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца». Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприятно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето, отец, больной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопан-

цах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу, вечное сиденье на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед глазами: «не лги, послушествоуй старшим и носи добродетель в сердце»; вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: «опять задурил!», отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскуча однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо: и в один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая[268] пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем сорóки; ею правил кучер, маленький горбунок, родоначаль-

ник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На сорóке тащились они полтора дни с лишком; на дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною бараниною, и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули неожиданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом сорóка бултыхнула вместе с тележкой в яму, которою начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью; долго работала она там всеми силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном, и самим барином, и наконец втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая

потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавши, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое

наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей сорóке, и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.

Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностью; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Изданной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив — в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, сиделся

В классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, — признак подступающего голода, — он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смиренно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелиться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под

гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность! — говорил он. — Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования? это все вздор, — говаривал он, — я смотрю только на поведение. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому нуль, хотя он Солонатакни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей», — и всегда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит; что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведе-

ние. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во все время класса, как ни щипали его сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всех трех (учитель ходил в треугохе); подавши трех, он выходил первый из класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоверение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за *примерное прилежание и благонадежное поведение*. Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сертука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевел в город, располагаясь основаться в

нем и заняться службой. В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить; наконец и пить уже было ему не на что; больной, без куска хлеба и помощи, пропал где-то в нетопленной забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное; один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!» Закрыв лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих; слезы градом полились из погасавших очей, как у бесильного дитяти. «При смерти на одре привел Бог заплакать», — произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: «Эх, Павлуша! вот как переменяется человек! ведь какой был благодетельный, ничего буйного, шелк! Надул, сильно на-

дул...»

Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства и чувства его были до того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания; он чувствовал и то и другое, он бы даже хотел помочь, но только, чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать; словом, отцовское наставление: береги и копи копейку — пошло впрок. Но в нем не было привязанности собственно к деньгам для денег; им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими недостатками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы наконец потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупотказываемая до времени и себе и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после дол-

того сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!» И все, что ни отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть: так сильно было у него желанье скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату. И в дальних захолустьях нужна протекция! Местечко досталось ему ничтожное, жалованья тридцать или сорок рублей в год. Но решился он жарко заняться службою, все победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпенье и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас с сторожами и при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палатские чиновники особенно от-

личались невзрачностью и неблагообразием. У иных были лица, точно дурно выпеченный хлеб: щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу взнесло пузырем, которая в прибавку к тому еще и треснула; словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить; приносили частые жертвы Вакху, показав таким образом, что в славянской природе есть еще много остатков язычества; приходили даже подчас в присутствие, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотреблением никаких крепких напитков. Но при всем том трудна была его дорога; он попал под начальство уже престарелому понытчику,[269] который был образ какой-то каменной бесчувственности и непоколебимости: вечно тот же, неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки,

не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть у себя дома; хоть бы раз показал он в чем-нибудь участие, хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту, но даже тени не было в нем ничего такого. Ничего не было в нем ровно: ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось в сем отсутствии всего. Черство-мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство; в суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение, но Чичиков по-пробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах: рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу их, клал

ему всякий раз их под руку; сдувал и сметал со стола его песок и табак; завел новую тряпку для его чернильницы; отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия; чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены, — но все это осталось решительно без всякого замечания, так, как будто ничего этого не было и сделано. Наконец, он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом, тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз насупротив ее, чисто одетый, накрахмаливши сильно манишку, — и дело возымело успех: пошатнулся суровый повайтчик и звал его на чай! И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку и сахар, с дочерью обращался, как с

невестой, повытчика звал папенькой и целовал его в руку; все положили в палате, что в конце февраля перед Великим постом будет свадьба. Суровый повытчик стал даже хлопотать за него у начальства, и чрез несколько времени Чичиков сам сел повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связей его с старым повытчиком, потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повытчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что старый повытчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!»

Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира: и

приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток; преследований он не испугался и обратил их тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как: как только приходил проситель и засовывал руку в карман, с тем чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражаются у нас на Руси: «Нет, нет, — говорил он с улыбкой, удерживая его руки, — вы думаете, что я... нет, нет. Это наш долг, наша обязанность, без всяких возмездий мы должны сделать! С этой стороны уж будьте покойны: завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру, вам и заботиться не нужно самим, все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: «Вот наконец чело-

век, каких нужно побольше, это просто драгоценный алмаз!» Но ждет проситель день, другой, не приносят дела на дом, на третий тоже. Он в канцелярию, дело и не начиналось; он к драгоценному алмазу. «Ах, извините! — говорит Чичиков очень учтиво, схвативши его за обе руки, — у нас было столько дел; но завтра же все будет сделано, завтра непременно, право, мне даже совестно!» И все это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась как-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дела на дом. Проситель берется за ум: да полно, нет ли чего? Выведывает; говорят, нужно дать писарям. «Почему ж не дать? я готов четвертак, другой». — «Нет, не четвертак, а по беленькой». — «По беленькой писарям!» — вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь? — отвечают ему, — оно так и выйдет, писарям и достанется по четвертаку, а остальное пойдет к начальству». Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит на чем свет стоит новый порядок вещей, пресле-

дование взяток и вежливые, облагороженные обращения чиновников. Прежде было знаешь, по крайней мере, что делать: принес правителю дел красную,[270] да и дело в шляпе, а теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься; черт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство! Проститель, конечно, прав, но зато теперь нет взяточников: все правители дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только да писаря мошенники. Скоро представилось Чичикову поле гораздо просторнее: образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться се-

мейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержанья и неумолимого своего самоотверженья. Тут только долговременный пост наконец был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества: он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою; уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом; уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном; уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости коже, уже...

Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он

всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности; дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов, [271] все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику, почему именно, бог ведает, — иногда даже просто не бывает на это причин, — и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. Но так как все же он был человек военный, стало быть, не знал всех тонкостей гражданских проделок, то чрез несколько времени, посредством правдивой наружности и уменья подделаться ко всему, втерлись к нему в милость другие чиновники, и генерал скоро очутился в руках еще больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими; даже был доволен, что выбрал наконец людей как следует, и хватался не в шутку тонким уменьем различать

способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Все, что ни было под начальством его, сделалось страшными гонителями неправды; везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбаки острогой преследуют какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по несколько тысяч капитала. В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу. Но Чичиков уж никаким образом не мог втереться, как ни старался и ни стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управление генеральским носом, но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос (впрочем, без его ведома), но зато уже, если в голову ему западала какая-нибудь мысль, то она там была все равно что железный гвоздь: ничем нельзя было ее оттуда вытербить. Все, что мог сделать умный секретарь, было уничтожение запачканного послужного списка, и на то уже он подвинул на-

чальника не иначе, как состраданием, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастью, у него не было.

«Ну, что ж! — сказал Чичиков, — зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать». И вот решился он сызнова начать карьер, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как ни привольно и ни хорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там еще приводить себя в известность. Все как-то не клеилось. Две, три должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева и все бы было благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел от-

сутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие два дни переменял на себе белье, а летом во время жаров даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки; и потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где все отзывалось пенником и неприличьем в поступках. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходил в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном: о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями; но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая! какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все

герой наш, переносил сильно, терпеливо переносил, и — перешел наконец в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и бати-сты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как оно называлось, бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, все еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках. Теперь же решился он во что бы то ни стало добратся до тамож-

ни, и добрался. За службу свою принял он с ревностью необыкновенною. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В три-четыре недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все: даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи; взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье: нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку, и все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?»

Или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами». Или: «Позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели» — и, говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек: он отыскивал в колесах, дышлах, [272] лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяет забираться только одним таможенным чиновникам. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжение нескольких минут не мог опомниться и, отирая пот, выступивший мелкою сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его, с тем чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого жи-

тъя контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капиталца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещей, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти наконец до сведения начальства. Он получил чин и повышение и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-правильным образом; на миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведение о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком

верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой, стало быть, немного получил бы; но теперь... теперь совсем другое дело: он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятственной, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно: читатель, без сомнения, слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабантских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможене. Не участвуя он сам в этом предприятии, никаким жидам в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После трех или четырех бараньих походов через границу у обоих чиновников

очутилось по четыреста тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за пятьсот, потому что был побойчее. Бог знает до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников; чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника поповичем, а тот, хотя действительно был попович, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты так попович!» И потом еще прибавил ему в пику для большей досады: «Да вот, мол, что!» Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданное название, и хотя выражение «вот, мол, что!» могло быть сильно, но, недовольный сим, он послал еще на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и без того была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа, по выражению та-

моженных чиновников; что были даже подкуплены люди, чтобы под вечерок в темном переулке поизбить нашего героя; но что оба чиновника были в дураках и бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Как было дело в самом деле, бог их веда-ет; пусть лучше читатель-охотник досочинит сам. Главное в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но таки упек своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрешилось вдруг как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник, по русскому обычаю, с горя за-пил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как ни чутко было обоня-ние наехавшего на следствие начальства. Употребил все тонкие извороты ума, уже слишком опытного, слишком знающего хоро-шо людей: где подействовал приятностью оборотов, где трогательною речью, где поку-рил лестью, ни в каком случае не портящею дела, где всунул деньжонку, — словом, обра-

ботал дело, по крайней мере, так, что отставлен был не с таким бесчестьем, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещей, ничего не осталось ему; на все это нашлись другие охотники. Удержалось у него тысячонок десяток, запряганных про черный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусков мыла для сбережения свежести щек — вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш! Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову! Это называл он: потерпеть по службе за правду. Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными десятью тысячонками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклекнет[273] навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку

мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведет таким образом нешумный, но в своем роде тоже небесполезный век. Но так не случилось. Надобно отдать справедливость непреодолимой силе его характера. После всего того, что бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпенье, пред которым ничто деревянное терпенье немца, заключенное уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтоб набросить узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости: «Почему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зеваает теперь на должности? — все приобретают. Несчаст-

ным я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы; не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я гожусь? какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызания совести, зная, что даром бремению землю, и что скажут потом мои дети? Вот, скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния!»

Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покосившись только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу — словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал ге-

рой наш, а между тем деятельность никак не умирала в голове его; там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съезжился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. И в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, еще не приобретшим у нас гражданства, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на пресмыканье в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно: похлопотать о заложении в опекунский совет[274] нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутами приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников, и, наконец, бестолковьем самого помещика, убившего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку все состояние свое до по-

следней копейки, так что уж не на что было есть. По этой-то причине понадобилось наконец заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивши всех (без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку), — итак, расположивши всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство: половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок...

— Да ведь они по ревизской сказке числятся? — сказал секретарь.

— Числятся, — отвечал Чичиков.

— Ну, так чего же вы оробели? — сказал секретарь, — один умер, другой родится, а все в дело годится.

Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я

Аким-простота, — сказал он сам в себе, — ищу рукавиц, а обе за поясом! Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капитала! А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попригрывались в карты, закутили и промотались как следует; все полезло в Петербург служить; имения брошены, управляются как ни попало, подати уплачиваются с каждым годом труднее, так мне с радостью уступит их каждый уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег; может, в другой раз так случится, что с иного и я еще зашибу за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь зем-

ли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян: пожалуй, я и тут не прочь, почему же нет? я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка или по имени, данному при крещении: сельцо Павловское». И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо, что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма.

Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предложениями предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертностей

и прочего и прочего, — словом, где бы можно удобнее и дешевле закупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, донныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу: это вина Чичикова, здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если, точно, падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого течения и объема дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен; сначала все серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, баш-

нях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двинутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно от Заседателя до подлеца чубарого. Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть! Но потребуют, может быть, заключительного определения одной чертою: кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? стало быть, подлец? Почему ж подлец, зачем же быть так строго к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди

благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два, три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название *не очень чистых*. Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятно время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро все превращается в человеке; не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рожденном на лучшие подвиги, заставляла его поза-

бывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен избравший себе из всех прекраснейшую страсть; растет и десятирится с каждым часом и минутой безмерное его блаженство, и входит он глубже и глубже в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рожденья его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: все равно, в мрачном ли образе или пронестись светлым явленьем, возрадующим мир, — одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в

прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме.

Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тяжело то, что живет в душе неотраженная уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы как живой пред глазами; зато по окончании чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тещащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то,

что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы! «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно? — говорит помещик приказчику. — Я, брат, это знаю без тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвенье. Спит ум, может быть обретший бы внезапный родник великих средств; а там имение бух с аукциона, и пошел помещик забываться по миру с душою, от крайности готовою на низости, которых бы сам ужаснулся прежде.

Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капиталы, устраивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они вы-

бегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше — хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибавить в ответ. А разве вот что: жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался; существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом: «Вот, например, зверь, — говорил он, ходя по комнате, — зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица, почему не вылупливается из яйца? Как, право, того: совсем не поймешь природы, как побольше в нее углубишься!» Так мыслил оби-

татель Кифа Мокиевич. Но не в этом еще главное дело. Другой обитатель был Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь, и в то время, когда отец занимался рождением зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка: все или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве все, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь, его завидя; даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович, а впрочем, был он доброй души. Но не в этом еще главное дело. А главное дело вот в чем: «Помилуй, батюшка барин, Кифа Мокиевич, — говорила отцу и своя и чужая дворня, — что у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя, такой припертень!» [275] — «Да, шаловлив, шаловлив, — говорил обыкновенно на это отец, — да ведь как быть: драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости; а человек он честолубивый, укори его при другом-третьем, он уймется, да ведь гласность-то — вот беда! город

узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? разве я не отец? Что занимаюсь философией да иной раз нет времени, так уж я и не отец? ан вот нет же, отец! отец, черт их побери, отец! У меня Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце! — Тут Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт. — Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его». И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича продолжать богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: «Ну а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать». Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвиненье со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь фило-

софией или приращениями на счет сумм нежно любимого ими отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет, не патриотизм и не первое чувство суть причины обвинений, другое скрывается под ними. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумаящими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора, скажете: «Однако ж кое-что он ловко подметил, должен быть веселого нрава человек!» И после таких слов с удвоившеюся гордостью обратитесь к себе, самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые!» А кто из вас, полный христианского смиренья, не гласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит во внутрь собственной души сей

тяжелый запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Да, как бы не так! А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин ни слишком большой, ни слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное знанию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!»

Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю споллагоря, рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем: еще не мало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку; две большие части впереди — это не безделица.

— Эхе-хе! что ж ты? — сказал Чичиков Се-

лифану, — ты?

— Что? — сказал Селифан медленным голосом.

— Как что? Гусь ты! как ты едешь? Ну же, потрогивай!

И в самом деле, Селифан давно уже ехал зажмуря глаза, изредка только потряхивая вприсонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно невесть в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! эх! эх!» — плавно подскакивая на козлах, по мере того как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка

подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успеваешь означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен вин-

том, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдаль, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летя-

щие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства.

Том второй



Глава первая[276]

Зачем же выставлять напоказ бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, ес-

ли такого свойства сочинитель, и так уже заболел он сам собственным несовершенством, и так уже устроен талант его, чтобы изображать ему бедность нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства! И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок.

Зато какая глушь и какой закоулок!

На тысячу с лишком верст неслись, извинаясь, горные возвышения. Точно как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости, возвышались они над равнинами то желтоватым отломом, в виде стены, с промоинами и рытвинами, то зеленой кругловидной выпуклиной, покрытой, как мерлушками, молодым кустарником, подымавшимся от срубленных деревьев, то наконец темным лесом, еще уцелевшим от топора. Река то, верная своим высоким берегам, давала вместе с ними углы и колена по всему пространству, то иногда уходила от них прочь, в луга, затем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь, перед солнцем, скрыться в рощи берез, осин и ольх и выбежать оттуда в торжестве, в сопровожденье мостов, мельниц

и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте.

В одном месте крутой бок возвышенный воздымался выше прочих и весь от низу до верху убирался в зелень столпившихся густо дерев. Тут было все вместе: и клен, и груша, и низкорослый ракитник, и чилига, и березка, и ель, и рябина, опутанная хмелем; тут...[277] мелькали красные крыши господских строений, коньки и гребни сзади скрывшихся изб и верхняя надстройка господского дома, а над всей этой кучей дерев и крыш старинная церковь возносила свои пять играющих верхушек. На всех их были золотые прорезные кресты, золотыми прорезными цепями прикрепленные к куполам, так что издали сверкало, как бы на воздухе, ни к чему не прикрепленное, висевшее золото. И вся эта куча дерев, крыш, вместе с церковью, опрокинувшись верхушками вниз, отдавалась в реке, где картинно-безобразные старые ивы, одни стоя у берегов, другие совсем в воде, опустивши туда и ветви и листья, точно как бы рассматривали это изображение, которым не могли налюбоваться во все продолженье своей много-

летней жизни.

Вид был очень недурен, но вид сверху вниз, с надстройки дома на равнины и отдаленья, был еще лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. У него захватывало в груди, и он мог только произнести: «Господи, как здесь просторно!» Пространства открывались без конца. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, зеленели и синели густые леса, как моря или туман, далеко разливавшийся. За лесами, сквозь мглистый воздух, желтели пески. За песками лежали гребнем на отдаленном небосклоне меловые горы, блиставшие ослепительной белизной даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. Кое-где дымились по ним легкие туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни, но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая, подобно искре, золотая церковная маковка давала знать, что это было людное, большое селенье. Все это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных пев-

цов, наполнявших воздух. Словом, не мог равнодушно выстоять на балконе никакой гость и посетитель, и после какого-нибудь двухчасового созерцания издавал он то же самое восклицание, как и в первую минуту: «Силы небес, как здесь просторно!»

Кто ж был жилец этой деревни, к которой, как к неприступной крепости, нельзя было и подъехать отсюда, а нужно было подъезжать с другой стороны — полями, хлебами и, наконец, редкой дубровой, раскинутой картинно по зелени, вплоть до самых изб и господского дома? Кто был жилец, господин и владелец этой деревни? Какому счастливцу принадлежал этот закоулок?

А помещику Тремалаханского уезда Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому тридцатитрехлетнему господину, коллежскому секретарю, неженатому человеку.

Что же за человек такой, какого нрава, каких свойств и какого характера был помещик Андрей Иванович Тентетников?

Разумеется, следует расспросить у соседей. Сосед, принадлежавший к фамилии отставных штаб-офицеров, брандеров, выражался о

нем лаконическим выраженьем: «Естественнейший скотина!» Генерал, проживавший в десяти верстах, говорил: «Молодой человек, неглупый, но много забрал себе в голову. Я бы мог быть ему полезным, потому что у меня и в Петербурге, и даже при...» Генерал речи не оканчивал. Капитан-исправник замечал: «Да ведь чинишка на нем — дрянь; а вот я завтра же к нему за недоимкой!» Мужик его деревни на вопрос о том, какой у них барин, ничего не отвечал. Словом, общественное мнение о нем было скорее неблагоприятное, чем благоприятное.

А между тем в существе своем Андрей Иванович был не то доброе, не то дурное существо, а просто — коптителъ неба. Так как уже немало есть на белом свете людей, коптящих небо, то почему же и Тентетникову не коптить его? Впрочем, вот в немногих словах весь журнал его дня, и пусть из него судит читатель сам, какой у него был характер.

Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись, долго еще сидел на своей кровати, протирая глаза. Глаза же, как на беду, были маленькиe, и потому протиранье их

производилось необыкновенно долго. Во все это время стоял у дверей человек Михайло с рукомойником и полотенцем. Стоял этот бедный Михайло час, другой, отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил, — барин все еще протирает глаза и сидел на кровати. Наконец подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную затем, чтобы пить чай, кофий, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, крошивая хлеба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы бессовестно. Два часа просиживал он за чаем; этого мало: он брал еще холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращенному на двор. У окна же происходила всякий раз следующая сцена.

Прежде всего ревел небритый буфетчик Григорий, относившийся к Перфильевне, ключнице, в сих выражениях:

— Душонка ты мелкопоместная, ничтожность этакая! Тебе бы, гнусной бабе, молчать, да и только.

— Уж тебя-то не послушаюсь, ненасытное горло! — выкрикивала ничтожность, или Перфильевна.

— Да ведь с тобой никто не уживется, ведь ты и с приказчиком сцепишься, мелочь ты анбарная! — ревел Григорий.

— Да и приказчик — вор такой же, как и ты! — выкрикивала ничтожность так, что было на деревне слышно. — Вы оба пьющие, губители господского, бездонные бочки! Ты думаешь, барин не знает вас? Ведь он здесь, ведь он вас слышит.

— Где барин?

— Да вот он сидит у окна; он все видит.

И точно, барин сидел у окна и все видел.

К довершению этого, кричал кричмя дворовый ребяташка, получивший от матери затрещину; визжал борзой кобель, присев задом к земле, по поводу горячего кипятка, которым обкатил его, выглянувши из кухни, повар. Словом, все голосило и верещало невыносимо. Барин все видел и слышал. И только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что даже мешало барину ничем не заниматься, высылал он сказать, чтоб шумели потише.

За два часа до обеда Андрей Иванович ушел к себе в кабинет затем, чтобы заняться су-

рьезно и действительно. Занятие было, точно, сурьезное. Оно состояло в обдумыванье сочинения, которое уже издавна и постоянно обдумывалось. Сочинение это долженствовало обнять всю Россию со всех точек — с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность — словом, большого объема. Но покуда все оканчивалось одним обдумыванием; изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось на сторону, бралась наместо того в руки книга и уже не выпускалась до самого обеда. Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным, так что иные блюда оттого стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. Потом следовала прихлебка чашки кофию с трубкой, потом игра в шахматы с самим собой. Что же делалось потом до самого ужина — право, уже и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось.

И так проводил время, один-одинешенек в целом <мире>,[278] молодой тридцатидвух-

летний человек, сидень сиднем, в халате, без галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотелось даже подняться вверх взглянуть на отдаленности и виды, не хотелось даже растворять окна затем, чтобы забрать свежего воздуха в комнату, и прекрасный вид деревни, которым не мог равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не существовал для самого хозяина.

Из этого журнала читатель может видеть, что Андрей Иванович Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которых на Руси много, которым имена — увальни, лежебоки, байбаки и тому подобные.

Родятся ли уже сами собою такие характеры или создаются потом, как отвечать на это. Я думаю, что лучше вместо ответа рассказать историю детства и воспитания Андрея Ивановича.

В детстве был он остроумный, талантливый мальчик, то живой, то задумчивый. Счастливым или несчастным случаем попал он в такое училище, где был директором человек, в своем роде необыкновенный, несмотря на некоторые причуды. Александр

Петрович имел дар слышать природу русско-го человека и знал язык, которым нужно говорить с ним. Никто из детей не уходил от него с повиснувшим носом; напротив, даже после строжайшего выговора чувствовал он какую-то бодрость и желанье загладить сделанную пакость и проступок. Толпа воспитанников его с виду казалась так шаловлива, развязна и жива, что иной принял бы ее за беспорядочную, необузданную вольницу. Но он обманулся бы: власть одного слишком была слышна в этой вольнице. Не было проказника и шалуна, который бы не пришел к нему сам и не рассказал всего, что ни напроказил. Малейшее движенье их помышлений было ему известно. Во всем поступал он необыкновенно. Он говорил, что прежде всего следует пробудить в человеке честолюбье, — честолюбье называл он силою, толкающею вперед человека, — без которого не подвигнешь его на деятельность. Многих резвостей и шалостей он не удерживал вовсе: в первоначальных резвостях видел он начало развития свойств душевных. Они были ему нужны затем, чтобы видеть, что такое имен-

но таится в ребенке. Так умный врач смотрит спокойно на появляющиеся временные припадки и сыпи, показывающиеся на теле, не истребляет их, но всматривается внимательно, дабы узнать достоверно, что именно заключено внутри человека.

Учителей у него было немного: большую часть наук читал он сам. И надо сказать правду, что, без всяких педантских терминов, огромных воззрений и взглядов, которыми любят пощеголять молодые профессора, он умел в немногих словах передать самую душу науки, так что и малолетнему было очевидно, на что именно она ему нужна, наука. Он утверждал, что всего нужнее человеку наука жизни, что, узнав ее, он узнает тогда сам, чем он должен заняться преимущественнее.

Эту-то науку жизни сделал он предметом отдельного курса воспитания, в который поступали только одни самые отличные. Малоспособных выпускал он на службу из первого курса, утверждая, что их не нужно много мучить: довольно с них, если приучились быть терпеливыми, работающими исполнителями, не приобретая заносчивости и всяких видов

вдаль. «Но с умниками, но с даровитыми мне нужно долго повозиться», — обыкновенно говорил он. И становился в этом курсе совершенно другой Александр Петрович и с первых же раз возвещал, что доселе он требовал от них простого ума, теперь потребует ума высшего. Не того ума, который умеет подтрунить над дураком и посмеяться, но умеющего вынести всякое оскорбление, спустить дураку — и не раздражиться. Здесь-то стал он требовать того, что другие требуют от детей. Это называл он высшей степенью ума. Сохранить посреди каких бы то ни было огорчений высокий покой, в котором вечно должен пребывать человек, — вот что называл он умом! В этом-то курсе Александр Петрович показал, что знает, точно, науку жизни. Из наук были избраны только те, которые способны образовать из человека гражданина земли своей. Большая часть лекций состояла в рассказах о том, что ожидает впереди человека на всех поприщах и ступенях государственной службы и частных занятий. Все огорченья и преграды, какие только воздвигаются человеку на пути его, все искушенья и соблазны, ему

предстоящие, собирал он перед ними во всей наготе, не скрывая ничего. Все было ему известно, точно как бы перебыл он сам во всех званьях и должностях. Словом, чертил он перед ними вовсе не радужную будущность. Странное дело! оттого ли, что честолюбие уже так сильно было в них возбуждено; оттого ли, что в самых глазах необыкновенного наставника было что-то говорящее юноше: вперед! — это слово, производящее такие чудеса над русским человеком, — то ли, другое ли, но юноша с самого начала искал только трудностей, алча действовать только там, где трудно, где нужно было показать бóльшую силу души. Было что-то трезвое в их жизни. Александр Петрович делал с ними всякие опыты и пробы, наносил им <то> сам чувствительные оскорбления, то посредством их же товарищей, но, проникнувши это, они становились еще осторожней. Из этого курса вышло немного, но эти немногие были крепыши, были обкуренные порохом люди. В службе они удержались на самых шатких местах, тогда как многие, гораздо их умнейшие, не вытерпев, бросили службу из-за мелочных

личных неприятностей, бросили вовсе или же, не ведая ничего, очутились в руках взяточников и плутов. Но воспитанные Александром Петровичем не только не пошатнулись, но, умудренные познанием человека и души, возымели высокое нравственное влияние даже на взяточников и дурных людей.

Но этого ученья не удалось попробовать бедному Андрею Ивановичу. Только что он был удостоен перевода в этот высший курс как один из самых лучших, — вдруг несчастье: необыкновенный наставник, которого одно одобрительное слово уже бросало его в сладкий трепет, скоропостижно умер. Все переменялось в училище: на место Александра Петровича поступил какой-то Федор Иванович, человек добрый и старательный, но совершенно другого взгляда на вещи. В свободной развязности детей первого курса почудилось ему что-то необузданное. Начал он заводить между ними какие-то внешние порядки, требовал, чтобы молодой народ пребывал в какой-то безмолвной тишине, чтобы ни в каком случае иначе все не ходили, как попарно. Начал даже сам аршином измерять расстоя-

ные от пары до пары. За столом, для лучшего вида, рассадил всех по росту, а не по уму, так что ослам доставались лучшие куски, умным — оглодки. Все это произвело ропот, особенно когда новый начальник, точно как наперекор своему предместнику, объявил, что для него ум и хорошие успехи в науках ничего не значат, что он смотрит только на поведение, что если человек и плохо учится, но хорошо ведет себя, он предпочтет его умнику. Но именно того-то и не получил Федор Иванович, чего добивался. Завелись шалости потаенные, которые, как известно, хуже открытых. Все было в струнку днем, а по ночам — кутежи.

В образе преподавания наук он все перевернул вверх дном. С самыми благими намерениями завел он всякие нововведения — и все невпопад. Выписал новых преподавателей, с новыми взглядами и новыми точками воззрений. Читали они учено, забросали слушателей множеством новых терминов и слов. Видна была и логическая связь, и следование за новыми открытиями, но увы! не было только жизни в самой науке. Мертвечиной стало все

это казаться в глазах уж начинавших понимать слушателей. Все пошло наыворот. Но хуже всего было то, что потерялось уважение к начальству и власти: стали насмехаться и над наставниками, и над преподавателями, директора стали называть Федькой, Булкой и другими разными именами; завелись такие дела, что нужно было многих выключить и выгнать.

Андрей Иванович был нрава тихого. Он не участвовал в ночных оргиях с товарищами, которые, несмотря на строжайший присмотр, завели на стороне любовницу — одну на восемь человек, — ни также в других шалостях, доходивших до кощунства и насмешек над самою религиею из-за того только, что директор требовал частого хождения в церковь и попался плохой священник. Но он повесил нос. Честолюбье было возбуждено в нем сильно, а деятельности и поприща ему не было. Лучше б было и не возбуждать его! Он слушал горячившихся на кафедре профессоров, а вспоминал прежнего наставника, который, не горячась, умел говорить понятно. Он слушал и химию, и философию прав, и профес-

сорские углубления во все тонкости политических наук, и всеобщую историю человечества в таком огромном виде, что профессор в три года успел только прочесть введение да развитие общин каких-то немецких городов, но все это оставалось в голове его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму он чувствовал только, что не так должно преподаваться, а как — не знал. И вспоминал он часто об Александре Петровиче, и так ему бывало грустно, что не знал он, куда деться от тоски.

Но у молодости есть будущее. По мере того как приближалось время к выпуску, сердце у него билось. Он говорил себе: «Ведь это еще не жизнь, это только приготовленье к жизни: настоящая жизнь на службе. Там подвиги». И, не взглянувши на прекрасный уголок, так поражавший всякого гостя-посетителя, не поклонившись праху своих родителей, по обычаю всех честолюбцев понесся он в Петербург, куда, как известно, стремится ото всех сторон России наша пылкая молодежь — служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки бесцветного, холодно-

го как лед, общественного обманчивого образования. Честолюбивое стремление Андрея Ивановича осадил, однако же, с самого начала его дядя, действительный статский советник Онуфрий Иванович. Он объявил, что главное дело — в хорошем почерке, а не в чем-либо другом, что без этого не попадешь ни в министры, ни в государственные советники, а Тентетников писал тем самым письмом, о котором говорят: «Писала сорока лапой, а не человек».

С большим трудом и с помощью дядиных протекций, проведя два месяца в каллиграфических уроках, достал он наконец место списывателя бумаг в каком-то департаменте. Когда вошел он в светлый зал, где повсюду за письменными лакированными столами сидели пишущие господа, шумя перьями и наклоня голову набок, и когда посадили его самого, предложив ему тут же переписать какую-то бумагу, — необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, как бы он очутился в какой-то малолетней школе, затем, чтобы сызнава учиться азбуке, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в

нижний. Сидевшие вокруг его господа показались ему так похожими на учеников. Иные из них читали роман, засунув его в большие листы разбираемого дела, как бы занимались они самым делом, и в то же время вздрагивая при всяком появлении начальника. Ему вдруг представилось, как невозвратно-потерянный рай, школьное время его. Так высокими сделались вдруг занятия ученьем перед этим мелким письменным занятием. Как это учебное приготовление к службе казалось ему теперь выше самой службы. И вдруг предстал в его мыслях, как живой, его ни с кем не сравненный, чудесный воспитатель, никем не заменимый Александр Петрович, — и в три ручья потекли вдруг слезы из глаз его. Закружилась комната, задвигались столы, перемешались чиновники, и чуть не упал он от мгновенного потемнения. «Нет, — сказал он в себе, очнувшись, — примусь за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким!» Скрепясь духом и сердцем, решил он служить по примеру прочих.

Где не бывает наслаждений? Живут они и в Петербурге, несмотря на суровую, сумрач-

ную его наружность. Трещит по улицам сердитый тридцатиградусный мороз, визжит отчаянным бесом ведьма-вьюга, нахлобучивая на голову воротники шуб и шинелей, пудря усы людей и морды скотов, но приветливо светит вверху окошко где-нибудь, даже и в четвертом этаже; в уютной комнатке, при скромных стеариновых свечках, под шумок самовара, ведется согревающий и сердце и душу разговор, читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградила Бог свою Россию, и так возвышенно-пылко трепещет молодое сердце юноши, как не случается нигде в других землях и под полуденным роскошным небом.

Скоро Тентетников свыкнулся с службою, но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал было вначале, но чем-то вторым. Она служила ему распределением времени, заставив его более дорожить оставшимися минутами. Дядя, действительный статский советник, уже начинал было думать, что в племяннике будет прок, как вдруг племянник подгадил. Надобно сказать, что в числе друзей Андрея Ивановича попа-

лось два человека, которые были то, что называется огорченные люди. Это были те беспокойно-странные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливостью. Добрые поначалу, но беспорядочные сами в своих действиях, они исполнены нетерпимости к другим. Пылкая речь их и благородный образ негодованья подействовали на него сильно. Разбудивши в нем нервы и дух раздражительности, они заставили замечать все те мелочи, на которые он прежде и не думал обращать внимание. Федор Федорович Леницын, начальник того отделения, в котором он числился, человек наиприятнейшей наружности, вдруг ему не понравился. Он стал отыскивать в нем бездну недостатков и возненавидел его за то, будто бы он выражал в лице своем чересчур много сахара, когда говорил с высшими, и тут же, оборотившись к низшему, становился весь уксус. «Я бы ему простил, — говорил Тентетников, — если бы эта перемена происходила не так скоро в его лице; но как тут же, при моих глазах, и сахар и

уксус в одно и то же время!» С этих пор он стал замечать всякий шаг. Ему казалось, что и важничал Федор Федорович уже чересчур, что имел он все замашки мелких начальников, как-то: брать на замечанье тех, которые не являлись к нему с поздравленьем в праздники, даже мстить всем тем, которых имена не находились у швейцара на листе, и множество разных тех грешных принадлежностей, без которых не обходится ни добрый, ни злой человек. Он почувствовал к нему отвращенье нервическое. Какой-то злой дух толкал его сделать что-нибудь неприятное Федору Федоровичу. Он наискивался на это с каким-то особым наслаждением и в том успел. Раз поговорил он с ним до того крупно, что ему объявлено было от начальства — или просить извинения, или выходить в отставку. Он подал в отставку. Дядя, действительный статский советник, приехал к нему перепуганный и умоляющий.

— Ради самого Христа! помилуй, Андрей Иванович, что это ты делаешь! Оставляй так выгодно начатый карьер из-за того только, что попался начальник не того... Что ж это?

Ведь если на это глядеть, тогда и в службе никто бы не остался. Образумься, образумься. Еще есть время! Отринь гордость и самолюбье, поезжай и объяснись с ним!

— Не в том дело, дядюшка, — сказал племянник. — Мне не трудно попросить у него извиненья, тем более что я, точно, виноват. Он мне начальник, и мне ни в каком случае не следовало так говорить с ним. Но дело вот в чем: вы позабыли, что у меня есть другая служба; у меня триста душ крестьян, именье в расстройстве, а управляющий — дурак. Государству утраты немного, если вместо меня сядет в канцелярию другой переписывать бумагу, но большая утрата, если триста человек не заплатят податей. Я помещик: званье это также не бездельно. Если я позабочусь о сохраненье, сбереженье и улучшенье участи вверенных мне людей и представлю государству триста исправнейших, трезвых, работающих подданных — чем моя служба будет хуже службы какого-нибудь начальника отделения Леницына?

Действительный статский советник остался с открытым ртом от изумленья. Такого по-

тока слов он не ожидал. Немного подумавши, начал он было в таком роде:

— Но все же таки... но как же таки... как же запропастить себя в деревне? Какое же общество может быть между мужичьем? Здесь все-таки на улице попадетя навстречу генерал или князь. Захочешь — и сам пройдешь мимо каких-нибудь публичных красивых зданий, на Неву пойдешь взглянуть, а ведь там, что ни попадетя, все это или мужик, или баба. За что ж себя осудить на невежество на всю жизнь свою?

Так говорил дядя, действительный статский советник. Сам же он во всю жизнь свою не ходил по другой улице, кроме той, которая вела к месту его службы, где не было никаких публичных красивых зданий; не замечал никого из встречных, был ли он генерал или князь; в глаза не знал прихотей, какие дразнят в столицах людей, падких на невоздержанье, и даже отроду не был в театре. Все это он говорил единственно затем, чтобы затереть честолюбье и подействовать на воображенье молодого человека. В этом, однако же, не успел: Тентетников стоял на своем упрямо.

Департаменты и столица стали ему надо-
едать. Деревня начинала представляться ка-
ким-то привольным приютом, воспоительни-
цею дум и помышлений, единственным по-
прищем полезной деятельности. Через неде-
ли две после этого разговора был он уже в
окрестности мест, где пронеслось его детство.
Как стало все припоминаться, как забилося в
нем сердце, когда почувствовал, что он уже
вблизи отцовской деревни! Он уже многие
места позабыл вовсе и смотрел любопытно,
как новичок, на прекрасные виды. Когда до-
рога понеслась узким оврагом в чащу огром-
ного заглохнувшего леса и он увидел вверху,
внизу, над собой и под собой трехсотлетние
дубы, трем человекам в обхват, попеременно с
пихтой, вязом и осокором, перераставшим
вершину тополя, и когда на вопрос: «Чей
лес?» — ему сказали: «Тентетникова»; когда,
выбравшись из леса, понеслась дорога луга-
ми, мимо осиновых рощ, молодых и старых
ив и лоз, в виду тянувшихся вдали возвыше-
ний, и перелетела мостами в разных местах
одну и ту же реку, оставляя ее то вправо, то
влево от себя, и когда на вопрос: «Чьи луга и

поемные места?» — отвечали ему: «Тентетникова»; когда поднялась потом дорога на гору и пошла по ровной возвышенности с одной стороны мимо неснятых хлебов: пшеницы, ржи и ячменя, с другой же стороны мимо всех прежде проеханных им мест, которые все вдруг показались в картинном отдалении, и когда, постепенно темнея, входила и вошла потом дорога под тень широких развилистых деревьев, разместившихся врассыпку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали кирпиченые избы мужиков и крытые красными крышами господские строения; когда пылко забившееся сердце и без вопроса знало, куды приехало, — ощущение, непрестанно накоплявшиеся, исторгнулись наконец почти такими словами: «Ну, не дурак ли я был доселе? Судьба назначила мне быть обладателем земного рая, принцем, а я закабалил себя в канцелярию писцом! Учившись, воспитавшись, просветившись, сделавши порядочный запас тех именно сведений, какие требуются для управления людьми, улучшения целой области, для исполнения многообразных обязанностей помещика, являющегося и судьей, и

распорядителем, и блюстителем порядка, ввести это место невеже-управителю! И выбрать вместо этого что же? — переписыванье бумаг, что может несравненно лучше производить ничему не учившийся кантонист!» И еще раз дал себе названье дурака Андрей Иванович Тентетников.

А между тем его ожидало другое зрелище. Узнавши о приезде барина, население всей деревни собралось к крыльцу. Пестрые платки, повязки, повойники, зипуны, бороды всех родов: заступом, лопатой и клином, рыжие, русые и белые, как серебро, покрыли всю площадь. Мужики загремели: «Кормилец, дождались мы тебя!» Бабы заголосили: «Золото, серебро ты сердечное!» Стоявшие подале даже подрались от усердия продраться. Дряблая старушонка, похожая на сушеную грушу, прошмыгнула промеж ног других, подступила к нему, всплеснула руками и взвизгнула: «Соплюнчик ты наш, да какой же ты жиденский! изморила тебя окаянная немчура!» — «Пошла ты, баба! — закричали ей тут же бороды заступом, лопатой и клином. — Ишь куды полезла, корявая!» Кто-то приворотил к этому

такое словцо, от которого один только русский мужик мог не засмеяться. Барин не выдержал и рассмеялся, но тем не менее он тронут был глубоко в душе своей. «Столько любви! и за что? — думал он в себе. — За то, что я никогда не видал их, никогда не занимался ими! Отныне же даю слово разделить с вами труды и занятия ваши! Употреблю все, чтобы помочь вам сделаться тем, чем вы должны быть, чем вам назначила быть ваша добрая, внутри вас же самих заключенная природа ваша, чтобы не даром была любовь ваша ко мне, чтобы я, точно, был кормилец ваш!»

И действительно, Тентетников не шутя принялся хозяйничать и распоряжаться. Он увидел на месте, что приказчик был баба и дурак со всеми качествами дрянного приказчика, то есть вел аккуратно счет кур и яиц, пряжи и полотна, приносимых бабами, но не знал ни бельмеса в уборке хлеба и посевах, а в прибавленьи ко всему подозревал мужиков в покушеньи на жизнь свою. Дурака приказчика он выгнал, наместо его выбрал другого, бойкого. Оставил мелочи, обратил вниманье на главные части, уменьшил барщину, уба-

вил дни работы на себя, прибавил времени мужикам работать на них самих и думал, что теперь дела пойдут наиотличнейшим порядком. Сам стал входить во все, показываться на полях, на гумне, в овинах, на мельницах, у пристани, при грузке и сплавке барок и плоскодонов.

«Да он, вишь ты, востроногой!» — стали говорить мужики и даже почесывать в затылках, потому что от долговременного бабьего управления они все изрядно поизленились. Но это продолжалось не долго. Русский мужик сметлив и умен: он понял скоро, что барин хоть и прыток, и есть в нем охота взяться за многое, но как именно, каким образом взяться, — этого еще не смыслит, говорит как-то чересчур грамотно и затейливо, мужику невдолбеж и не в науку. Вышло то, что барин и мужик как-то не то чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьей: сеялось раньше, всходило позже. А работали, казалось, хорошо: он сам

присутствовал и приказал выдать даже по чапорухе водки за усердные труды. У мужиков уже давно колосилась рожь, высыпался овес и кустилось просо, а у него едва начинал только идти хлеб в трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ: «Как можно, барин, чтобы мы о господской, то есть, выгоде не радели? Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли: по чапорухе водки приказали подать». Что было на это возражать? «Да отчего ж теперь вышло скверно?» — допрашивал барин. «Кто его знает! Видно, червь подъел снизу, да и лето, вишь ты, какое: совсем дождей не было». Но барин видел, что у мужиков червь не подъедал снизу, да и дождь шел как-то странно, полосою: мужику угодил, а на барскую ниву хоть бы каплю выронил. Еще трудней ему было ладить с бабами. То и дело отпрашивались они от работ, жалуясь на тяжесть барщины. Странное дело! Он уничтожил вовсе всякие приносы холста, ягод, грибов и орехов, наполовину сбавил с них других

работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство, обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут-то было! Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья то и дело приходили к нему с такими словами: «Барин, уйми беса-бабу! Точно черт какой! житья нет от ней!» Несколько раз, скрепя свое сердце, хотел он приняться за строгость. Но как быть строгим? Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая, больная, таких скверных, гадких наворачивала на себя тряпок — уж откуда она их набирала, бог ее весть. «Ступай, ступай себе только с глаз моих, бог с тобой!» — говорил бедный Тентетников и вослед за тем имел удовольствие видеть, как больная, вышед за ворота, схватывалась с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было попробовать какую-то школу между ними завести, но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил, — лучше было и не задумывать! Все это значительно охладило его рвенье и к хозяйству, и к разбирательно-

му судейскому делу, и вообще к деятельности. При работах он уже присутствовал почти без вниманья: мысли были далеко, глаза отыскивали посторонние предметы. Во время покосов не глядел он на быстрое подыманье шестидесяти разом кос и мерное с легким шумом паденье под ними рядами высокой травы; он глядел вместо того на какой-нибудь в стороне извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын — разумеется, птица, а не человек; он глядел, как этот мартын, поймав рыбу, держал ее впоперек в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, и глядя в то же время пристально вдоль реки, где в отдаленье виден был другой мартын, еще не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу. Во время уборки хлебов не глядел он на то, как складывали снопы копнами, крестами, а иногда и просто шишом. Ему не было дела до того, лениво или шибко метали стога и клали клады. Зажмуря глаза и приподняв голову кверху, к пространствам небесным, предоставлял он обонянью впивать запах полей, а слуху — поражаться голосами

воздушного певучего населения, когда оно отовсюду, от небес и от земли, соединяется в один звукоогласный хор, не переча друг другу. Бьет перепел, дергает в траве дергун, урчат и чиликают перелетающие коноплянки, по невидимой воздушной лестнице сыплются трели жаворонков, и турлыканье журавлей, несущихся в стороне вереницею, — точный звон серебряных труб, — слышится в пустоте звонко сотрясающейся пустыни воздушной. Вблизи ли производилась работа — он был вдали от нее; была ли она вдали — его глаза отыскивали, что было поближе. И был он похож на того рассеянного ученика, который глядит в книгу, но в то же время видит и фигу, подставленную ему товарищем. Наконец и совсем перестал он ходить на работы, бросил совершенно и суд, и всякие расправы, засел в комнаты и перестал принимать к себе даже с докладами приказчика.

Временами из соседей завернет к нему, бывало, отставной гусар-поручик, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандер-полковник, мастер и охотник на разговоры обо всем. Но и это стало ему надоедать.

Разговоры их начали ему казаться как-то поверхностными; живое, ловкое обращение, по-трепки по колену и прочие развязности начали ему казаться уже чересчур прямыми и открытыми. Он решился с ними раззнакомиться и произвел это даже довольно резко. Именно, когда представитель всех полковников-брандеров, наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всем, Варвар Николаич Вишнепокромов приехал к нему затем именно, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философии, и литературы, и морали, и даже состоянья финансов в Англии, он высрал сказать, что его нет дома, и в то же время имел неосторожность показаться перед окошком. Гость и хозяин встретились взорами. Один, разумеется, проворчал сквозь зубы: «Скотина!», другой послал ему тоже что-то вроде свиньи. Так и кончилось знакомство. С тех пор не заезжал к нему никто. Уединенье полное водворилось в доме. Хозяин залез в халат безвыходно, предавши тело бездействию, а мысль — обдумыванью большого сочиненья о России. Как обдумывалось это сочинение, читатель уже ви-

дел. День приходил и уходил, однообразный и бесцветный. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна. Когда привозила почта газеты, новые книги и журналы и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и образованию всемирному, тайная тихая грусть подступала ему под сердце, и скорбная, безмолвно-грустная, тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силой воскресало пред ним школьное минувшее время и представлял вдруг, как живой, Александр Петрович... Градом лились из глаз его слезы, и рыданья продолжались почти весь день.

Что значили эти рыданья? Обнаруживала ли ими болеющая душа скорбную тайну своей болезни, что не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек; что, не испытанный измлада в борьбе с неудачами, не достиг-

нул он до высокого состоянья возвышаться и крепнуть от преград и препятствий; что, растопившись, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и теперь, без упругости, бессильна его воля; что слишком для него рано умер необыкновенный наставник и нет теперь никого во всем свете, кто бы был в силах воздвигнуть и поднять шатаемые вечными колебаньями силы и лишенную упругости немощную волю, — кто бы крикнул живым, пробуждающим голосом, — крикнул душе пробуждающее слово: *вперед!* — которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, званий и промыслов, русский человек?

Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: *вперед?* кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек. Но веки проходят за веками; полмиллиона сид-

ней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово.

Одно обстоятельство чуть было, однако же, не разбудило Тентетникова и чуть было не произвело переворота в его характере. Случилось что-то вроде любви, но и тут дело как-то свелось на ничего. В соседстве, в десяти верстах от его деревни, проживал генерал, отзывавшийся, как мы уже видели, не совсем благосклонно о Тентетникове. Генерал жил генералом, хлебосольствовал, любил, чтобы соседи приезжали изъявлять ему почтение; сам, разумеется, визитов не платил, говорил хрипло, читал книги и имел дочь, существо невиданное, странное, которую скорей можно было почесть каким-то фантастическим видением, чем женщиной. Иногда случается человеку во сне увидеть что-то подобное, и с тех пор он уже во всю жизнь свою грезит этим сновидением, действительность для него пропадает навсегда, и он решительно ни на что не годится. Имя ей было Улинька. Воспиталась она как-то странно. Ее воспитывала англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-рус-

ски. Матери лишилась она еще в детстве. Отцу было некогда. Впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать ее. Необыкновенно трудно изобразить портрет ее. Это было что-то живое, как сама жизнь. Она была милевидней, чем красавица; лучше, чем умна; стройней, воздушней классической женщины. Никак бы нельзя было сказать, какая страна положила на нее свой отпечаток, потому что подобного профиля и очертанья лица трудно было где-нибудь отыскать, разве только на античных камеях. Как в ребенке, воспитанном на свободе, в ней было все своевольно. Если бы кто увидал, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины на прекрасном челе ее и как она спорила пылко с отцом своим, он бы подумал, что это было капризнейшее созданье. Но гнев бывал у нее только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или жестоком поступке с кем бы то ни было. Но как вдруг исчезнул бы этот гнев, если бы она увидела в несчастии того самого, на кого гневалась, как бы вдруг бросила она ему свой кошелек не размышляя, умно ли это или глупо, и разорва-

ла на себе платье для перевязки, если б он был ранен! Было в ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вослед за мыслью: выраженье лица, выраженье разговора, движенье рук, самые складки платья как бы стремились в ту же сторону, и казалось, как бы она сама вот улетит вослед за собственными ее словами. Ничего не было в ней утаенного. Ни перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотелось говорить. Ее очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того бестрепетно-свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней как-то смущался недобрый человек и немел, а добрый, даже самый застенчивый, мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей ни с кем, и — странный обман! — с первых минут разговора ему уже казалось, что где-то и когда-то он знал ее, что случилось это во дни какого-то незапамятного младенчества, в каком-то родном доме, веселым вечером, при радостных играх детской толпы, и надолго после того как-то становил-

ся ему скучным разумный возраст человека.

Андрей Иванович Тентетников не мог бы никак рассказать, как это случилось, что с первого же дни он стал с ней так, как бы знаком был вечно. Неизъяснимое, новое чувство вошло к нему в душу. Скучная жизнь его на мгновенье озарилась. Халат на время был оставлен. Не так долго копался он на кровати, не так долго стоял Михайло с рукомойником в руках. Растворялись окна в комнатах, и часто владелец картинного поместья долго ходил по темным излучинам своего сада и оставался по часам перед пленительными видами на отдаленья.

Генерал принимал сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно; но совершенно сойтись между собою они не могли. Разговоры у них всегда оканчивались спором и каким-то неприятным ощущеньем с обеих сторон. Генерал не любил противуречья и возраженья, хотя в то же время любил поговорить даже и о том, чего не знал вовсе. Тентетников, со своей стороны, тоже был человек щекотливый. Впрочем, ради дочери прощалось многое отцу, и мир у них держался до тех пор,

покуда не приехали гостить к генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина: одна — вдова, другая — старая девка, обе фрейлины прежних времен, обе болтуньи, обе сплетницы, не весьма обворожительные любезностью своей, но, однако же, имевшие значительные связи в Петербурге, и перед которыми генерал немножко даже подличал. Тентетникову показалось, что с самого дня приезда их генерал стал к нему как-то холоднее, почти не замечал его и обращался как с лицом бессловесным или с чиновником, употребляемым для переписки, самым мелким. Он говорил ему то *братец*, то *любезнейший*, и один раз сказал ему даже *ты*. Андрея Ивановича взорвало; кровь бросилась ему в голову. Скрепя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем как пятна выступили на лице его и все внутри его кипело:

— Я должен благодарить вас, генерал, за ваше расположение. Вы приглашаете и вызываете меня словом *ты* на самую тесную дружбу, обязывая и меня также говорить вам *ты*.

Но позвольте вам заметить, что я помню различие наше в летах, совершенно препятствующее такому фамильярному между нами обращению.

Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько несвязно, что слово *ты* было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно сказать молодому человеку *ты* (о чине своем он не упомянул ни слова).

Разумеется, с этих пор знакомство между ними прекратилось, и любовь кончилась при самом начале. Потухнул свет, на минуту было перед ним блеснувший, и следовавшие за ним сумерки стали еще сумрачней. Байбак сызнава залез в халат свой. Все поворотило сызнава на лежанье и бездействие. В доме завелись гадость и беспорядок. Половая щетка оставалась по целому дню посреди комнаты вместе с сором. Панталоны заходили даже в гостиную. На щеголеватом столе перед диваном лежали засаленные подтяжки, точно какое угощенье гостю, и до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но даже

чуть не клевали домашние куры. Бессильно чертил он на бумаге по целым часам рогульки, домики, избы, телеги, тройки или же выписывал «Милостивый государь!» с восклицательным знаком всеми почерками и характерами. А иногда же, все позабывши, перо чертило само собой, без ведома хозяина, маленькую головку с тонкими, острыми чертами, с приподнятой легкой прядью волос, упавшей из-под гребня длинными тонкими кудрями, молодыми обнаженными руками, как бы летевшую, — и в изумленье видел хозяин, как выходил портрет той, с которой портрета не мог бы написать никакой живописец. И еще грустнее становилось ему потом, и, веря тому, что нет на земле счастья, оставался он на целый день скучным и безответным.

Таковы были обстоятельства Андрея Ивановича Тентетникова. Вдруг в один день, подходя к окну обычным порядком, с трубкой и чашкой в руках, заметил он во дворе движение и некоторую суету. Поварчонок и половойка бежали отворять ворота, и в воротах показались кони, точь-в-точь как лепят иль рисуют их на триумфальных воротах: морда

направо, морда налево, морда посередине. Свыше их, на козлах — кучер и лакей в широком сюртуке, опоясавший себя носовым платком. За ними господин в картузе и шинели, закутанный в косынку радужных цветов. Когда экипаж изворотился перед крыльцом, оказалось, что был он не что другое, как ресурсная легкая бричка. Господин необыкновенно приличной наружности соскочил на крыльцо с быстротой и ловкостью почти военного человека.

Андрей Иванович струсил. Он принял его за чиновника от правительства. Надобно сказать, что в молодости своей он было замешался в одно неразумное дело. Какие-то философы из гусар, да недоучившийся студент, да промотавшийся игрок затеяли какое-то филантропическое общество, под верховным распоряжением старого плута, и масона, и карточного игрока, пьяницы и красноречивейшего человека. Общество было устроено с целью доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная, пожертвованья собирались с великодушных членов

неимоверные. Куда это все пошло — знал об этом только один верховный распорядитель. В общество это затянули его два приятеля, принадлежавшие к классу огорченных людей, добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, просвещения и прогресса сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга. Но общество успело уже запутаться в каких-то других действиях, даже не совсем приличных дворянину, так что потом завязались дела и с полицией... А потому не мудрено, что хотя и вышедши, и разорвавши всякие сношения с благодетелем человечества, Тентетников не мог, однако же, оставаться покоен. На совести у него было не совсем ловко. Не без страха глядел он и теперь на растворявшуюся дверь.

Страх его, однако же, прошел вдруг, когда гость раскланялся с ловкостью неимоверной, сохраняя почтительное положение головы несколько набок. В коротких, но определенных словах изъяснил, что уже издавна ездит он по России, побуждаемый и потребностями, и любознательностью; что государство

наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уже о красоте мест, обилии промыслов и разнообразии почв; что он увлекся картинностью местоположенья его деревни; что, несмотря, однако же, на картинность местоположенья, он не дерзнул бы никак беспокоить его неуместным заездом своим, если бы не случилось что-то в бричке его, требующее руки помощи со стороны кузнецов и мастеров; что при всем том, однако же, если бы даже и ничего не случилось в его бричке, он бы не мог отказать себе в удовольствии засвидетельствовать ему лично свое почтение.

Окончив речь, гость с обворожительной приятностью подшаркнул ножкой и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинного мячика.

Андрей Иванович подумал, что это должен быть какой-нибудь любознательный ученый-профессор, который ездит по России затем, чтобы собирать какие-нибудь растения или даже предметы ископаемые. Он изъявил ему всякую готовность споспешествовать;

предложил своих мастеров, колесников и кузнецов для поправки брички; просил расположиться у него как в собственном доме; усадил обходительного гостя в большие вольтеровские <кресла> и приготовился слушать его рассказ, без сомнения, об ученых предметах и естественных.

Гость, однако же, коснулся больше событий внутреннего мира. Заговорил о превратностях судьбы; уподобил жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду ветрами; упомянул о том, что должен был переменить много мест и должностей, что много потерпел за правду, что даже самая жизнь его была не раз в опасности со стороны врагов, и много еще рассказал он такого, из чего Тентетников мог видеть, что гость его был скорее практический человек. В заключение всего, он высморкался в белый батистовый платок так громко, как Андрей Иванович еще и не слышал. Подчас попадаетея в оркестре такая пройдоха-труба, которая когда хватит, покажется, что крякнуло не в оркестре, но в собственном ухе. Точно такой же звук раздался в пробужденных покоях дремавшего дома, и

немедленно вослед за ним воспоследовало благоуханье одеколона, невидимо распространенное ловким встряхнутьем носового батистового платка.

Читатель, может быть, уже догадался, что гость был не другой кто, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел: как видно, не без бурь и тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поустарел, и бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Казалось, как бы и самые финансы не были в завидном состоянии. Но выраженья лица, приличье, обхожденье остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах, еще ловче подвертывал под ножку ножку, когда садился в кресла; еще более было мягкости в выговоре речей, осторожной умеренности в словах и выраженьях, более уменья держать себя и более такту во всем. Белей и чище снегов были на нем воротнички и манишка, и, несмотря на то что был он с дороги, ни пушинки не село к нему на фрак, — хоть на именинный

обед! Щеки и подбородок выбриты были так, что один разве только слепой мог не полюбоваться приятной выпуклостью и круглотой их.

В доме произошло преобразование. Половина его, дотоле пребывавшая в слепоте, с заколоченными ставнями, вдруг прозрела и озарилась. Из брочки стали выносить поклажу. Все начало размещаться в осветившихся комнатах, и скоро все приняло такой вид: комната, определенная быть спальней, вместила в себе вещи, необходимые для ночного туалета; комната, определенная быть кабинетом... Но прежде необходимо знать, что в этой комнате было три стола: один письменный — перед диваном, другой ломберный — между окнами у стены, третий угольный — в углу, между дверью в спальню и дверью в необитаемый зал с инвалидной мебелью. На этом угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно: панталоны под фрак, панталоны под сюртук, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных, сюртук и два фрака. (Жилеты же белого пике и летние брюки отошли к белью в ко-

мод.) Все это разместились один на другом пирамидкой и прикрылось сверху носовым шелковым платком. В другом углу, между дверью и окном, выстроились рядком сапоги: сапоги не совсем новые, сапоги совсем новые, сапоги с новыми головками и лакированные полусапожки. Они также стыдливо занавесились шелковым носовым платком — так, как бы их там вовсе не было. На столе перед двумя окнами поместилась шкатулка. На письменном столе перед диваном — портфель, банка с одеколоном, сургуч, зубные щетки, новый календарь и два какие-то романа, оба вторые тома. Чистое белье поместилось в комоде, уже находившемся в спальне; белье же, которое следовало прачке, завязано было в узел и подсунуто под кровать. Чемодан, по опростанье его, был тоже подсунут под кровать. Сабля поместилась также в спальне, повиснувши на гвозде недалеко от кровати. Та и другая комната приняла вид чистоты и опрятности необыкновенной. Нигде ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздух как-то облагородился. В нем утвердился приятный запах здорового, свежего мужчи-

ны, который белья не занашивает, в баню ходит и вытирает себя мокрой губкой по воскресным дням. В вестибюльной комнате покушался было утвердиться на время запах слугителя Петрушки, но Петрушка скоро перемещен был на кухню, как оно и следовало.

В первые дни Андрей Иванович опасался за свою независимость, чтобы как-нибудь гость не связал его, не стеснил какими-нибудь измененьями в образе жизни, и не разрушился бы порядок дня его, так удачно заведенный, — но опасенья были напрасны. Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо — именно, что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заметил, что они спасают от праздности человека. Словом, выронил слов не много, но значительных. В поступках же своих поступал еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил; не затруднял хозяина запросами в часы

неразговорчивости его; с удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал. В то время, когда один пускал кудреватыми облаками трубочный дым, другой, не куря трубки, придумывал, однако же, соответствовавшее тому занятие: вынимал, например, из кармана серебряную с чернью табакерку и, утвердив ее между двух пальцев левой руки, оборачивал ее быстро пальцем правой, в подобье того как земная сфера обращается около своей оси, или же просто барабанил по табакерке пальцами, насвистывая какое-нибудь ни то ни се. Словом, он не мешал хозяину никак. «Я в первый раз вижу человека, с которым можно жить, — говорил про себя Тентетников. — Вообще этого искусства у нас мало. Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно приятных, людей постоянно ровного характера, людей, с которыми можно прожить век и не поссориться, — я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей! Вот первый, единственный человек, которого я вижу!» Так отзывался Тентетников о своем госте.

Чичиков, со своей стороны, был очень рад, что поселился на время у такого мирного и смирного хозяина. Цыганская жизнь ему надоела. Приотдохнуть, хотя на месяц, в прекрасной деревне, в виду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и в геморроидальном отношении. Трудно было найти лучший уголок для отдохновения. Весна украсила его красотой несказанной. Что яркости в зелени! Что свежести в воздухе! Что птичьего крику в садах! Рай, радость и ликование всего! Деревня звучала и пела, как будто новорожденная.

Чичиков ходил много. То направлял он прогулку свою по плоской вершине возвышенний, в виду расстилавшихся внизу долин, по которым повсюду оставались еще большие озера от разлития воды; или же вступал в овраги, где едва начинавшие убираться листьями дерева отягчены птичьими гнездами, — оглушенный карканьем ворон, разговорами галок и граньями грачей, перекрестными летаньями, помрачавшими небо; или же спускался вниз к поемным местам и разорванным плотинам — глядеть, как с оглуши-

тельным шумом неслась повергаться вода на мельничные колеса; или же пробирался дале к пристани, откуда неслись, вместе с течью воды, первые суда, нагруженные горохом, овсом, ячменем и пшеницей; или отправлялся в поля на первые весенние работы глядеть, как свежая орань черной полосой проходила по зелени, или же как ловкий сеятель бросал из горсти семена ровно, метко, ни зернышка не передавши на ту или другую сторону. Толковал и говорил и с приказчиком, и с мужиком, и мельником — и что, и как, и каковых урожаев можно ожидать, и на какой лад идет у них запашка, и по сколько хлеба продается, и что выбирают весной и осенью за умол муки, и как зовут каждого мужика, и кто с кем в родстве, и где купил корову, и чем кормит свинью — словом, все. Узнал и то, сколько перемерло мужиков. Оказалось, немного. Как умный человек, заметил он вдруг, что незаметно идет хозяйство у Андрея Ивановича. Повсюду упущенья, нераденье, воровство, немало и пьянства. И мысленно говорил он сам в себе: «Какая, однако же, скотина Тентетников! Запустить так имение, которое могло

бы приносить по малой мере пятьдесят тысяч годового доходу!» И, не будучи в силах удержать справедливого негодования, повторял он: «Решительно скотина!» Не раз посреди таких прогулок приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому, — то есть, разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будут средства в руках, — сделаться самому мирным владельцем подобного поместья. Тут обыкновенно представлялась ему молодая хозяйка, свежая, белолицая бабенка, может быть, даже из купеческогословия, впрочем, однако же, образованная и воспитанная так, как и дворянка, — чтобы понимала и музыку, хотя, конечно, музыка и не главное, но почему же, если уже так заведено, зачем же идти противу общего мнения? Представлялось ему и молодое поколение, долженствовавшее увековечить фамилию Чичиковых: резвунчик мальчишка и красавица дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то что прошел по земле какой-нибудь тенью или призраком, — чтобы не было стыдно и

перед отечеством. Представлялось ему даже и то, что недурно бы к чину некоторое прибавление: статский советник, например, чин почтенный и уважительный... И много приходило ему в голову того, что так часто уносит человека от скучной настоящей минуты, тербит, дразнит, шевелит его и бывает ему либо даже и тогда, когда уверен он сам, что это никогда не сбудется.

Людям Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они так же, как и он, обжились в ней. Петрушка сошелся очень скоро с буфетчиком Григорием, хотя сначала они оба важничали и дулись друг перед другом нестерпимо. Петрушка пустил Григорию пыль в глаза тем, что он бывал в Костроме, Ярославле, Нижнем и даже в Москве; Григорий же осадил его сразу Петербургом, в котором Петрушка не был. Последний хотел было подняться и выехать на дальности расстояний тех мест, в которых он бывал; но Григорий назвал ему такое место, какого ни на какой карте нельзя было отыскать, и насчитал тридцать тысяч с лишком верст, так что Петрушка осовел, разинул рот и был поднят на смех тут же всею

дворней. Впрочем, дело кончилось между ними самой тесной дружбой: дядя лысый Пимен держал в конце деревни знаменитый кабак, которому имя было «Акулька»; в этом заведении видели их все часы дня. Там стали они свои друзья, или то, что называют в народе — кабацкие завсегдатели.

У Селифана была другого рода приманка. На деревне, что ни вечер, пелись песни, заплетались и расплетались весенние хороводы. Породистые, стройные девки, каких трудно было найти в другом месте, заставляли его по нескольким часам стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше: все белогрудые, белошейные, у всех глаза репой, у всех глаза с поволокой, походка павлином и коса до пояса. Когда, взявшись обеими руками за белые руки, медленно двигался он с ними в хороводе или же выходил на них стеной, в ряду других парней и погасал горячо рдеющий вечер, и тихо померкала вокруг окольность, и далече за рекой отдавался верный отголосок неизменно грустного напева, — не знал он и сам тогда, что с ним делалось. Долго потом во сне и наяву, утром и в сумерки все мерещилось

ему, что в обеих руках его белые руки и движется он с ними в хороводе. Махнув рукой, говорил он: «Проклятые девки!»

Коням Чичикова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и пристяжной каурой масти, называемый Заседателем, и самый чубарый, о котором выражался Селифан: «подлец-лошадь», нашли пребыванье у Тентетникова совсем нескучным, овес отличным, а расположение конюшен необыкновенно удобным. У всякого стойло, хотя и отгороженное, но через перегородки можно было видеть и других лошадей, так что, если бы пришла кому-нибудь из них, даже самому дальнему, фантазия вдруг заржать, то можно было ему ответить тем же тот же час.

Словом, все обжились, как дома. Читатель, может быть, изумляется, что Чичиков доселе не заикнулся по части известных душ. Как бы не так! Павел Иванович стал очень осторожен насчет этого предмета. Если бы даже пришлось вести дело с дураками круглыми, он бы и тут не вдруг начал. Тентетников же, как бы то ни было, читает книги, философствует, старается изъяснить себе всякие при-

чины всего — и отчего, и почему... «Нет, черт его возьми! разве начать с другого конца?» — Так думал Чичиков. Раздобаривая почасту с дворовыми людьми, он, между прочим, от них разведал, что барин ездил прежде довольно нередко к соседу генералу, что у генерала барышня, что барин было к барышне, да и барышня тоже к барину... но потом вдруг за что-то не поладили и разошлись. Он заметил и сам, что Андрей Иванович карандашом и пером все рисовал какие-то головки, одна на другую похожие. Один раз после обеда, оборачивая, по обыкновению, пальцем серебряную табакерку вокруг ее оси, сказал он так:

— У вас всё есть, Андрей Иванович; одного только недостает.

— Чего? — спросил тот, выпуская кудреватый дым.

— Подруги жизни, — сказал Чичиков.

Ничего не сказал Андрей Иванович. Тем разговор и кончился.

Чичиков не смутился, выбрал другое время, уже перед ужином, и, разговаривая о том и о сем, сказал вдруг:

— А право, Андрей Иванович, вам бы

очень не мешало жениться.

Хоть бы слово сказал на это Тентетников, точно как бы и самая речь об этом была ему неприятна.

Чичиков не смутился. В третий раз выбрал он время, уже после ужина, и сказал так:

— А все-таки, как ни переверочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вам жениться: впадете в ипохондрию.

Слова ли Чичикова были на этот раз так убедительны, или же расположение духа у Андрея Ивановича было как-то особенно настроено к откровенности, — он вздохнул и сказал, пустивши кверху трубочный дым: «На все нужно родиться счастливецом, Павел Иванович», — и рассказал все, как было, всю историю знакомства с генералом и разрыв.

Когда услышал Чичиков, от слова до слова, все дело и увидел, что из-за одного слова ты произошла такая история, он оторопел. Несколько минут смотрел пристально в глаза Тентетникова и заключил: «Да он просто круглый дурак!»

— Андрей Иванович, помилуйте! — сказал он, взявши его за обе руки. — Какое ж оскорб-

ление? что ж тут оскорбительного в слове ты?

— В самом слове нет ничего оскорбительного, — сказал Тентетников, — но в смысле слова, но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбление. Ты — это значит: «Помни, что ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что нет никого лучше, а приехала какая-нибудь княжна Юзякина, — ты знай свое место, стой у порога». Вот что это значит!

Говоря это, смиренный и кроткий Андрей Иванович засверкал глазами; в голосе его слышалось раздражение оскорбленного чувства.

— Да хоть бы даже и в этом смысле, — что ж тут такого? — сказал Чичиков.

— Как? — сказал Тентетников, смотря пристально в глаза Чичикову. — Вы хотите, чтобы <я> продолжал бывать у него после такого поступка?

— Да какой же это поступок? это даже не поступок! — сказал Чичиков.

«Какой странный человек этот Чичиков!» — подумал про себя Тентетников.

«Какой странный человек этот Тентетни-

ков!» — подумал про себя Чичиков.

— Это не поступок, Андрей Иванович. Это просто генеральская привычка: они всем говорят *ты*. Да, впрочем, уж почему этого и не позволить заслуженному, почтенному человеку?

— Это другое дело, — сказал Тентетников. — Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне *ты* и принял бы даже почтительно.

«Он совсем дурак! — подумал про себя Чичиков. — Оборвышу позволить, а генералу не позволить!» И вслед за таким размышлением так возразил ему вслух:

— Хорошо; положим, он вас оскорбил, зато вы и поквитались с ним: он вам, и вы ему. Но расставаться навсегда из пустяка, — помилуйте, на что же это похоже? Как же оставлять дело, которое только что началось? Если уже избрана цель, так тут уже нужно идти напролом. Что глядеть на то, что человек плюется! Человек всегда плюется; да вы не отыщете теперь во всем свете такого, который бы не плевался.

Тентетников совершенно озадачился этими словами, оторопел, глядел в глаза Павлу Ивановичу и думал про себя: «Престранный, однако ж, человек этот Чичиков!»

«Какой, однако же, чудак этот Тентетников!» — думал между тем Чичиков.

— Позвольте мне как-нибудь обделать это дело, — сказал он вслух. — Я могу съездить к его превосходительству и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанию людей и света.

— Подличать перед ним я не намерен! — сказал сильно Тентетников.

— Сохрани бог подличать! — сказал Чичиков и перекрестился. — Подействовать словом увещания, как благоразумный посредник, но подличать... Извините, Андрей Иванович, за мое доброе желанье и преданность, я даже не ожидал, чтобы слова <мои> принимали вы в таком обидном смысле!

— Простите, Павел Иванович, я виноват! — сказал тронутый Тентетников, схвативши признательно обе его руки. — Ваше доброе участие мне дорого, клянусь! Но оставим этот

разговор, не будем больше никогда об этом говорить.

— В таком случае я поеду просто к генералу без причины, — сказал Чичиков.

— Зачем? — спросил Тентетников, в недоумении смотря на Чичикова.

— Засвидетельствовать почтение, — сказал Чичиков.

«Какой странный человек этот Чичиков!» — подумал Тентетников.

«Какой странный человек этот Тентетников!» — подумал Чичиков.

— Так как моя бричка, — сказал Чичиков, — не пришла еще в надлежащее состояние, то позвольте мне взять у вас коляску. Я бы завтра же, эдак около десяти часов, к нему съездил.

— Помилуйте, что за просьба! Вы — полный господин, выбирайте какой хотите экипаж: всё в вашем распоряжении.

Они простились и разошлись спать, не без рассуждения о странностях друг друга.

Чудная, однако же, вещь: на другой день, когда подали Чичикову лошадей и вскочил он в коляску с легкостью почти военного че-

ловека, одетый в новый фрак, белый галстук и жилет, и покатился свидетельствовать по чтению генералу, Тентетников пришел в такое волнение духа, какого давно не испытывал. Весь этот ржавый и дремлющий ход его мыслей превратился в деятельно-беспокойный. Возмущенье нервическое обуяло вдруг всеми чувствами доселе погруженного в беспечную лень байбака. То садился он на диван, то подходил к окну, то принимался за книгу, то хотел мыслить, — безуспешное хотенье! — мысль не лезла к нему в голову. То старался ни о чем не мыслить, — безуспешное старание! — отрывки чего-то похожего на мысли, концы и хвостики мыслей лезли и отовсюду наклеывались к нему в голову. «Странное состоянье!» — сказал он и придвинулся к окну глядеть на дорогу, прорезавшую дуброву, в конце которой еще курилась не успевшая улечься пыль, поднятая уехавшей коляской. Но оставим Тентетникова и последуем за Чичиковым.

Глава вторая

В полчаса с небольшим кони пронесли Чичикова чрез десятиверстное пространство — сначала дубровою, потом хлебами, начинавшими зеленеть посреди свежей орани, потом горной окраиной, с которой поминутно открывались виды на отдаленья, — и широкою аллею раскидистых лип внесли его в генеральскую деревню. Аллея лип превратилась в аллею тополей, огороженных снизу плетеными коробками, и уперлась в чугунные сквозные ворота, сквозь которые глядел кудряво-великолепный резной фронтон генеральского дома, опиравшийся на восемь колонн с коринфскими капителями. Пахло повсюду масляной краской, которою беспрерывно обновлялось все, ничему не давая состариться. Двор чистотой подобен был паркету. Подкативши к подъезду, Чичиков с почтеньем соскочил на крыльцо, приказал о себе доложить и был введен прямо в кабинет к генералу.

Генерал поразил его величественной наружностью. Он был на ту пору в атласном малиновом халате. Открытый взгляд, лицо мужественное, бакенбарды и большие усы с

просесть, стрижка низкая, а на затылке даже под гребенку, шея толстая, широкая, так называемая в три этажа или в три складки с трещиной поперек, голос — бас с некоторою охрипью, движения генеральские. Генерал Бетрищев, как и все мы грешные, был одарен многими достоинствами и многими недостатками. То и другое, как случается в русском человеке, было набросано в нем в каком-то картинном беспорядке. Самопожертвованье, великодушье в решительные минуты, храбрость, ум — и ко всему этому — изрядная подмесь себялюбья, честолюбья, самолюбия, мелочной щекотливости личной и многого того, без чего уже не обходится человек. Всех, которые ушли вперед его по службе, он не любил, выражался о них едко, в сардонических, колких эпиграммах. Всего больше доставалось от него его прежнему сотоварищу, которого считал он ниже себя и умом и способностями, и который, однако же, обогнал его и был уже генерал-губернатором двух губерний, и как нарочно тех, в которых находились его поместья, так что он очутился как бы в зависимости от него. В отместку язвил он его при вся-

ком случае, критиковал всякое распоряжение и видел во всех мерах и действиях его верх неразумия. Несмотря на доброе сердце, генерал был насмешлив. Вообще говоря, он любил первенствовать, любил фимиам, любил блеснуть и похвастаться умом, любил знать то, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают что-нибудь такое, чего он не знает. Воспитанный полуиностранным воспитанием, он хотел сыграть в то же время роль русского барина. С такой неровностью в характере, с такими крупными, яркими противуположностями, он должен был неминуемо встретить по службе кучу неприятностей, вследствие которых и вышел в отставку, обвиняя во всем какую-то враждебную партию и не имея великодушия обвинить в чем-либо себя самого. В отставке сохранил он ту же картинную, величавую осанку. В сертуке ли, во фраке ли, в халате — он был все тот же. От голоса до малейшего телодвиженья в нем все было властительное, повелевающее, внушавшее в низших чинах если не уважение, то, по крайней мере, робость.

Чичиков почувствовал то и другое: и ува-

женье и робость. Наклоня почтительно голову набок, начал он так:

— Счел долгом представиться вашему превосходительству. Питая уваженье к доблестям мужей, спасавших отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству.

Генералу, как видно, не понравился такой приступ. Сделавши весьма милостивое движение головою, он сказал:

— Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?

— Поприще службы моей, — сказал Чичиков, садясь в кресла не в середине, но наискось, и ухватившись рукою за ручку кресел, — началось в казенной палате, ваше превосходительство; дальнейшее же течение оной продолжал в разных местах: был и в надворном суде, и в комиссии построения, и в таможне. Жизнь мою можно уподобить судну среди волн, ваше превосходительство. На терпенье, можно сказать, вырос, терпением воспоен, терпением спеленат, и сам, так сказать, не что другое, как одно терпенье. А уж сколько претерпел от врагов, так ни слова, ни крас-

ки не сумеют передать. Теперь же, на вечере, так сказать, жизни своей, ищу уголка, где бы провести остаток дней. Приостановился же покуда у близкого соседа вашего превосходительства...

— У кого это?

— У Тентетникова, ваше превосходительство.

Генерал поморщился.

— Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается в том, что не оказал должного уважения...

— К чему?

— К заслугам вашего превосходительства. Не находит слов. Говорит: «Если бы я только мог чему-нибудь... потому что, точно, говорит, умею ценить мужей, спасавших отечество», — говорит.

— Помилуйте, что ж он?.. Да ведь я не сержусь! — сказал смягчившийся генерал. — В душе моей я искренно полюбил его и уверен, что со временем он будет преполезный человек.

— Совершенно справедливо изволите выразиться, ваше превосходительство, препо-

лезный человек, обладает даром слова и владеет пером.

— Но пишет, я чай, пустяки, какие-нибудь стишки?

— Нет, ваше превосходительство, не пустяки...

— Что ж такое?

— Он пишет... историю, ваше превосходительство.

— Историю! о чем историю?

— Историю... — тут Чичиков остановился, и оттого ли, что перед ним сидел генерал, или просто чтобы придать более важности предмету, прибавил: — историю о генералах, ваше превосходительство.

— Как о генералах! о каких генералах?

— Вообще о генералах, ваше превосходительство, в общности... то есть, говоря собственно, об отечественных генералах, — сказал Чичиков, а сам подумал: «Чтой-то я за вздор такой несу!»

— Извините, я не очень понимаю... что ж это выходит, историю какого-нибудь времени, или отдельные биографии, и притом всех ли, или только участвовавших в двенадцатом

году?

— Точно так, ваше превосходительство, участвовавших в двенадцатом году! — проговоривши это, он подумал в себе: «Хоть убей, не понимаю».

— Так что же он ко мне не приедет? Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов.

— Не смеет, ваше превосходительство.

— Какой вздор! Из какого-нибудь пустого слова... Да я совсем не такой человек. Я, пожалуй, к нему сам готов приехать.

— Он к тому не допустит, он сам приедет, — сказал Чичиков, и в то же время подумал в себе: «Генералы пришлись, однако же, кстати; между тем ведь язык совершенно взболтнул сдуру».

В кабинете послышался шорох. Ореховая дверь резного шкафа отворилась сама собою. На обратной половине растворенной двери, ухватившись чудесной рукой за ручку двери, явилась живая фигурка. Если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещенная сзади лампою, она бы не поразила так, как эта сиявшая жизнью фигурка,

которая точно предстала затем, чтобы осветить комнату. Казалось, как бы вместе с нею влетел солнечный луч в комнату, озаривши вдруг потолок, карниз и темные углы ее. Она казалась блистающего роста. Это было обольщение; происходило это от необыкновенной стройности и гармонического соотношения между собой всех частей тела, от головы до пальчиков. Одноцветное платье, на ней брошенное, было брошено с таким <вкусом>, что казалось, швеи столиц делали совещанье между собой, как бы получше убрать ее. Это был обман. Оделась она кое-как, сама собой; в двух, трех местах схватила неизрезанный кусок ткани, и он прильнул и расположился вокруг нее в таких складках, что ваятель перенес бы их тотчас же на мрамор, и барышни, одетые по моде, все казались перед ней какими-то пеструшками. Несмотря на то что Чичикову почти знакомо было лицо ее по рисункам Андрея Ивановича, он смотрел на нее, как оторопелый, и после, уже очнувшись, заметил, что у ней был существенный недостаток, именно — недостаток толщины.

— Рекомендую вам мою баловницу! — ска-

зал генерал, обратясь к Чичикову. — Однако ж, я вашего имени и отчества до сих пор не знаю.

— Впрочем, должно ли быть известно имя и отчество человека, не ознаменовавшего себя доблестями? — сказал Чичиков.

— Все же, однако ж, нужно знать...

— Павел Иванович, ваше превосходительство, — проговорил Чичиков, с легким наклоном головы набок.

— Улинька! Павел Иванович сейчас сказал преинтересную новость. Сосед наш Тентетников совсем не такой глупый человек, как мы полагали. Он занимается довольно важным делом: историей генералов двенадцатого года.

Улинька вдруг как бы вспыхнула и оживилась.

— Да кто же думал, что он глупый человек? — проговорила она быстро. — Это мог думать разве один только Вишнепокромов, которому ты веришь, папа, который и пустой и низкий человек!

— Зачем же низкий? Он пустоват, это правда, — сказал генерал.

— Он подловат и гадковат, не только что пустоват, — подхватила живо Улинька. — Кто так обидел своих братьев и выгнал из дому родную сестру, тот гадкий человек...

— Да ведь это рассказывают только.

— Рассказывать не будут напрасно. У тебя, отец, добрейшая душа и редкое сердце, но ты поступаешь так, что иной подумает о тебе совсем другое. Ты будешь принимать человека, о котором сам знаешь, что он дурен, потому что он только краснобай и мастер перед тобой увиваться.

— Душа моя! ведь мне ж не прогнать его, — сказал генерал.

— Зачем прогонять, но зачем и любить?!

— А вот и нет, ваше превосходительство, — сказал Чичиков Улиньке, с легким наклоном головы, с приятной улыбкой. — По христианству именно таких мы должны любить.

И тут же, обратясь к генералу, сказал с улыбкой, уже несколько плутоватой:

— Изволили ли, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о том, что такое — «полюби нас черненькими, а беленькими нас

всякий полюбит»?

— Нет, не слыхал.

— А это преказусный анекдот, — сказал Чичиков с плутоватой улыбкой. — В имении, ваше превосходительство, у князя Гукзовского, которого, без сомнения, ваше превосходительство, изволите знать...

— Не знаю.

— Был управитель, ваше превосходительство, из немцев, молодой человек. По случаю поставки рекрут и прочего имел он надобность приезжать в город и, разумеется, подмазывать судейских. — Тут Чичиков, прищуря глаз, выразил в лице своем, как подмазываются судейские. — Впрочем, и они тоже полюбили, угощали его. Вот как-то один раз у них на обеде говорит он: «Что ж, господа, когда-нибудь и ко мне, в имение к князю». Говорят: «Приедем». Скоро после того случилось выехать суду на следствие, по делу, случившемуся во владениях графа Трехметьева, которого, ваше превосходительство, без сомнения, тоже изволите знать.

— Не знаю.

— Самого-то следствия они не делали, а

всем судом заворотили на экономический двор, к старику, графскому эконому, да три дня и три ночи без просыпу — в карты. Самовар и пунш, разумеется, со стола не сходят. Старику-то они уж и надоели. Чтобы как-нибудь от них отделаться, он и говорит: «Вы бы, господа, заехали к княжому управителю немцу: он недалеко отсюда и вас ждет». — «А и в самом деле», — говорят, и сполупьяна, небритые и заспанные, как были, на телеги да к немцу... А немец, ваше превосходительство, надобно знать, в это время только что женился. Женился на институтке, молоденькой, subtilной (Чичиков выразил в лице своем subtilность). Сидят они двое за чаем, ни о чем не думая, вдруг отворяются двери — и ввалилось сонмище.

— Воображаю — хороши! — сказал генерал, смеясь.

— Управитель так и оторопел, говорит: «Что вам угодно?» — «А! говорят, так вот ты как!» И вдруг, с этим словом, перемена лиц и физиогномии... «За делом! Сколько вина выкуривается по имению? Покажите книги!» Тот сюды-туды. «Эй, понятых!» Взяли, связали,

да в город, да полтора года и просидел немец в тюрьме.

— Вот на! — сказал генерал.

Улинька всплеснула руками.

— Жена — хлопотать! — продолжал Чичиков. — Ну, что ж может какая-нибудь неопытная молодая женщина? Спасибо, что случилось добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Отделался он двумя тысячами да угостительным обедом. И на обеде, когда все уже развеселились, и он также, вот и говорят они ему: «Не стыдно ли тебе так поступить с нами? Ты все бы хотел нас видеть прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, ты *полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит*».

Генерал расхохотался; болезненно застонала Улинька.

— Я не понимаю, папа, как ты можешь смеяться! — сказала она быстро. Гнев отемнил прекрасный лоб ее... — Бесчестнейший поступок, за который я не знаю, куды бы их следовало всех услать...

— Друг мой, я их ничуть не оправдываю, — сказал генерал, — но что ж делать, если смеш-

но? Как бишь: «полюби нас беленькими»?..

— Черненькими, ваше превосходительство, — подхватил Чичиков.

— Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Ха, ха, ха, ха!

И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как бы носили и поныне густые эполеты.

Чичиков разрешился тоже междуиметием смеха, но, из уважения к генералу, пустил его на букву э: хе, хе, хе, хе, хе! И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густых эполет.

— Воображаю, хорош был небритый суд! — говорил генерал, продолжая смеяться.

— Да, ваше превосходительство, как бы то ни было... без просыпу... трехдневное бдение — тот же пост: поизнурились, поизнурились, — говорил Чичиков, продолжая смеяться.

Улинька опустилась в кресла и закрыла рукой прекрасные глаза; как бы досадуя на то, что не с кем было поделиться негодованием,

сказала она:

— Я не знаю, меня только берет одна досада.

В самом деле, необыкновенно странны были своею противоположностью те чувства, которые родились в сердцах троих беседовавших людей. Одному была смешна неповоротливая ненаходчивость немца. Другому смешно было оттого, что смешно изворотились плуты. Третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Не было только четвертого, который бы задумался именно над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом. Что значит, однако же, что и в паденье своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушенной тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий: «Брат, спаси!» Не было четвертого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата.

— Я не знаю, — говорила Улинька, отнимая от лица руку, — меня одна только досада

берет.

— Только, пожалуйста, не гневайся на нас, — сказал генерал. — Мы тут ни в чем не виноваты. Поцелуй меня и уходи к себе, потому что я сейчас буду одеваться к обеду. Ведь ты, — сказал генерал, вдруг обратясь к Чичикову, — обедаешь у меня?

— Если только ваше превосходительство...

— Без церемонии. Щи есть!

Чичиков приятно наклонил голову, и, когда приподнял потом ее вверх, он уже не увидел Улиньки. Она исчезнула. Вместо ее предстал, в густых усах и бакенбардах, великан-камердинер, с серебряной лоханкой и ручкомойником в руках.

— Ты мне позволишь одеваться при себе? — сказал генерал, скидая халат и засучивая рукава рубашки на богатырских руках.

— Помилуйте, не только одеваться, но можете совершать при мне все, что угодно вашему превосходительству, — сказал Чичиков.

Генерал стал умываться, брызгаясь и фыркающая, как утка. Вода с мылом летела во все стороны.

— Как бишь? — сказал он, вытирая со всех

сторон свою толстую шею, — полюби нас беленькими?..

— Черненькими, ваше превосходительство.

— Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Очень, очень хорошо!

Чичиков был в духе необыкновенном; он чувствовал какое-то вдохновенье.

— Ваше превосходительство! — сказал он.

— Что? — сказал генерал.

— Есть еще одна история.

— Какая?

— История тоже смешная, но мне-то от ней не смешно. Даже так, что если ваше превосходительство...

— Как так?

— Да вот, ваше превосходительство, как!.. — Тут Чичиков осмотрелся и, увидя, что камердинер с лоханкою вышел, начал так: — Есть у меня дядя, дряхлый старик. У него триста душ и, кроме меня, наследников никого. Сам управлять именем, по дряхлости, не может, а мне не передает тоже. И какой странный приводит резон: «Я, говорит, племянни-

ка не знаю; может быть, он мот. Пусть он докажет мне, что он надежный человек, пусть приобретет прежде сам собой триста душ, тогда я ему отдам и свои триста душ».

— Какой дурак!

— Справедливо изволили заметить, ваше превосходительство. Но представьте же теперь мое положение... — Тут Чичиков, понизивши голос, стал говорить как бы по секрету: — У него в доме, ваше превосходительство, есть ключница, а у ключницы дети. Того и смотри, все перейдет им.

— Выжил глупый старик из ума, и больше ничего, — сказал генерал. — Только я не вижу, чем тут я могу пособить.

— Я придумал вот что. Теперь, покуда новые ревизские сказки не поданы, у помещиков больших имений наберется немало, наряду с душами живыми, отбивших и умерших... Так, если, например, ваше превосходительство передадите мне их в таком виде, как бы они были живые, с совершением купчей крепости, я бы тогда эту крепость представил старику, и он, как ни вертись, а наследство бы мне отдал.

Тут генерал разразился таким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек: как был, так и повалился он в кресла; голову забросил назад и чуть не захлебнулся. Весь дом встревожился. Предстал камердинер. Дочь прибежала в испуге.

— Папа, что с тобой случилось?

— Ничего, мой друг. Ха, ха, ха! Ступай к себе, мы сейчас явимся обедать. Ха, ха, ха!

И несколько раз задохнувшись, вырывался с новою силою генеральский хохот, раздаваясь от передней до последней комнаты в высоких звонких генеральских покоех.

Чичиков с беспокойством ожидал конца этому необыкновенному смеху.

— Ну, брат, извини: тебя сам черт угораздил на такую штуку. Ха, ха, ха! Попотчевать старика, подсунуть ему мертвых! Ха, ха, ха, ха! Дядя-то, дядя! В каких дураках дядя! Ха, ха, ха, ха!

Положение Чичикова было конфузное: тут же стоял камердинер, разинувши рот и выпуча глаза.

— Ваше превосходительство, ведь смех этот выдумали слезы, — сказал он.

— Извини, брат! Ну, уморил. Да я бы пятьсот тысяч дал за то только, чтобы посмотреть на твоего дядю в то время, как ты поднесешь ему купчую на мертвые души. Да что, он слишком стар? Сколько ему лет?

— Восемьдесят лет, ваше превосходительство. Но это келейное, я бы... чтобы... — Чичиков посмотрел значительно в лицо генерала и в то же время искоса на камердинера.

— Поди вон, братец. Придешь после, — сказал генерал камердинеру. Усач удалился.

— Да, ваше превосходительство... Это, ваше превосходительство, дело такое, что я бы хотел его подержать в секрете...

— Разумеется, я это очень понимаю. Экой дурак старик! Ведь придет же в восемьдесят лет этакая дурь в голову! Да что, он с виду как? бодр? держится еще на ногах?

— Держится, но с трудом.

— Экой дурак! И зубы есть?

— Два зуба всего, ваше превосходительство.

— Экой осел! Ты, братец, не сердись... а ведь он осел...

— Точно так, ваше превосходительство.

Хоть он мне и родственник, и тяжело сознаваться в этом, но действительно — осел.

Впрочем, как читатель может смекнуть и сам, Чичикову не тяжело было в этом сознаться, тем более что вряд ли у него был когда-либо какой дядя.

— Так если, ваше превосходительство, будете уже так добры...

— Чтобы отдать тебе мертвых душ? Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильем! Возьми себе все кладбище! Ха, ха, ха, ха! Старик-то, старик! Ха, ха, ха, ха! В каких дураках! Ха, ха, ха, ха!

И генеральский смех пошел отдаваться вновь по генеральским покоям.[279]

Глава третья

«**Н**ет, я не так, — говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств, — нет, я не так распоряжусь. Как только, даст Бог, все покончу благополучно и сделаюсь действительно состоятельным, зажиточным человеком, я поступлю тогда совсем иначе: будет у меня и повар, и дом, как полная чаша, но будет и хозяй-

ственная часть в порядке. Концы сведутся с концами, да понемножку всякий год будет откладываться сумма и для потомства, если только Бог пошлет жене плодородье...» — Эй ты — дурачина!

Селифан и Петрушка оглянулись оба с козел.

— А куда ты едешь?

— Да так изволили приказывать, Павел Иванович, — к полковнику Кошкареву, — сказал Селифан.

— А дорогу расспросил?

— Я, Павел Иванович, извольте видеть, так как все хлопотал около коляски, так оно-с... генеральского конюха только видел... А Петрушка расспрашивал у кучера.

— Вот и дурак! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка бревно.

— Ведь тут не мудрость какая, — сказал Петрушка, глядя искоса, — кроме того, что, спустясь с горы, взять попрямей, ничего больше и нет.

— А ты, кроме сивухи, ничего больше, чай, и в рот не брал? Чай, и теперь налимонился?

Увидя, что речь повернула вона в какую сторону, Петрушка закрутил только носом. Хотел он было сказать, что даже и не пробовал, да уж как-то и самому стало стыдно.

— В коляске-с хорошо-с ехать, — сказал Селифан, оборотившись.

— Что?

— Говорю, Павел Иванович, что в коляске-де вашей милости хорошо-с ехать, лучше-с, как в бричке — не трясет.

— Пошел, пошел! Тебя ведь не спрашивают об этом.

Селифан хлыснул слегка бичом по крутым бокам лошадей и поворотил речь к Петрушке:

— Слышь, мужика Кошкарев барин одел, говорят, как немца: поодаль и не распознаешь, — выступает по-журавлиному, как немец. И на бабе не то чтобы платок, как бывает, пирогом или кокошник на голове, а немецкий капор такой, как немки ходят, знашь, в капорах, — так капор называется, знашь, капор. Немецкий такой капор.

— А тебя как бы нарядить немцем да в капор! — сказал Петрушка, острясь над Селифаном.

ном и ухмыльнувшись. Но что за рожа вышла из этой усмешки! И подобья не было на усмешку, а точно как бы человек, доставши себе в нос насморк и силясь при насморке чихнуть, не чихнул, но так и остался в положении человека, собирающегося чихнуть.

Чичиков заглянул из-под низа ему в рожу, желая знать, что там делается, и сказал: «Хорош! а еще воображает, что красавец!» Надобно сказать, что Павел Иванович был сурьезно уверен в том, что Петрушка влюблен в красоту свою, тогда как последний временами позабывал, есть ли у него даже вовсе рожа.

— Вот как бы догадались было, Павел Иванович, — сказал Селифан, оборотившись с козел, — чтобы выпросить у Андрея Ивановича другого коня, в обмен на чубарого; он бы, по дружественному расположению к вам, не отказал бы, а это конь-с, право, подлец-лошадь и помеха.

— Пошел, пошел, не болтай! — сказал Чичиков и про себя подумал: «В самом деле, напрасно я не догадался».

Легким ходом неслась тем временем легкая на ходу коляска. Легко подымалась и

вверх, хотя подчас и неровна была дорога; легко опускалась и под гору, хотя и беспокойны были спуски проселочных дорог. С горы спустились. Дорога шла лугами через извивы реки, мимо мельниц. Вдали мелькали пески, выступали картинно одна из-за другой осиновые рощи; быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонкие ольхи и серебристые тополи, ударявшие ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бранил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою не догадался, все надеясь на то, что авось дальше не случится. Деревья же становились гуще: к осинам и ольхам начала присоединяться береза, и скоро образовалась вокруг лесная гущина. Свет солнца сокрылся. Затемнели сосны и ели. Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось, готовился превратиться в ночь. И вдруг промеж деревьев — свет, там и там промеж ветвей и пней, точно живое серебро или зеркала. Лес стал освещаться, деревья редеть, слышались крики — и

вдруг перед ними озеро. Водная равнина версты четыре в поперечнике, вокруг деревá, позади их избы. Человек двадцать, по пояс, по плеча и по горло в воде, тянули к супротивному берегу невод. Посреди их плавал проворно, кричал и хлопотал за всех человек, почти такой же меры в вышину, как и в толщину, круглый кругом, точный арбуз. По причине толщины, он уже не мог ни в каком случае потонуть и как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверх; и если бы село к нему на спину еще двое человек, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывал да пускал носом и ртом пузыри.

— Этот, Павел Иванович, — сказал Селифан, оборотясь с козел, — должен быть барин, полковник Кошкарев.

— Отчего?

— Оттого, что тело у него, изволите видеть, побелей, чем у других, и дородство почти-тельное, как у барина.

Крики между тем становились явственней. Скороговоркой и звонко выкрикивал ба-

рин-арбуз:

— Передавай, передавай, Денис, Козьме! Козьма, бери хвост у Дениса! Фома Большой, напирай туды же, где и Фома Меньшой! Заходи справа, справа заходи! Стой, стой, черт вас побери обоих! Запутали меня самого в невод! Зацепили, говорю, проклятые, зацепили за пуп.

Влачители правого крыла остановились, увидя, что действительно случилась непредвиденная оказия: барин запутался в сети.

— Вишь ты, — сказал Селифан Петрушке, — потащили барина, как рыбу.

Барин барахтался и, желая выпутаться, перевернулся на спину, брюхом вверх, запутавшись еще в сетку. Боясь оборвать сеть, плыл он вместе с пойманною рыбою, приказавши себя перехватить только впоперек веревкой. Перевязавши его веревкой, бросили конец ее на берег. Человек с двадцать рыбаков, стоявших на берегу, подхватили конец и стали бережно тащить его. Добравшись до мелкого места, барин стал на ноги, покрытый клетками сети, как в летнее время дамская ручка под сквозной перчаткой, — взглянул вверх и

увидел гостя, в коляске въезжавшего на плотину. Увидя гостя, кивнул он головой. Чичиков снял картуз и учтиво раскланялся с коляски.

— Обедали? — закричал барин, подходя с пойманною рыбою на берег, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже — на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани.

— Нет, — сказал Чичиков.

— Ну, так благодарите же Бога.

— А что? — спросил Чичиков любопытно, держа над головою картуз.

— А вот что! — сказал барин, очутившийся на берегу вместе с коропами и карасями, которые бились у ног его и прыгали на аршин от земли. — Это ничего, на это не смотрите; а вот штука, вон где!.. А покажите-ка, Фома Большой, осетра. — Два здоровых мужика вытащили из кадушки какое-то чудовище. — Каков князек? из реки зашел!

— Да это целый князь! — сказал Чичиков.

— Вот то-то же. Поезжайте-ка вы теперь вперед, а я за вами. Кучер, ты, братец, возьми дорогу пониже, через огород. Побеги, теле-

пень Фома Меньшой, снять перегородку. А я за вами — как тут, прежде чем успеете оглянуться.

«Полковник чудаковат», — подумал <Чичиков>, проехавши наконец бесконечную плотину и подъезжая к избам, из которых одни, подобно стаду уток, рассыпались по косогору возвышенья, а другие стояли внизу на сваях, как цапли. Сети, невода, бредни развешаны были повсюду. Фома Меньшой снял перегородку, коляска проехала огородом и очутилась на площади возле устаревшей деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господских строений.

— А вот я и здесь! — раздался голос сбоку. Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый, на дрожках — травяно-зеленый нанковый сюртук, желтые штаны и шея без галстука, на манер купидона! Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Чичиков хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались на другой стороне и только слышался голос: «Щуку и семь карасей отнесите повару-телепню, а осетра подавай сюда: я его свезу сам на дрож-

ках». Раздались снова голоса: «Фома Большой да Фома Меньшой! Козьма да Денис!» Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумлению его, толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятия. Как он успел так слетать, было непостижимо. Они поцеловались троекратно навкрест.

— Я привез вам поклон от его превосходительства, — сказал Чичиков.

— От какого превосходительства?

— От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича.

— Кто это Александр Дмитриевич?

— Генерал Бетрищев, — отвечал Чичиков с некоторым изумлением.

— Не знаю-с, незнаком.

Чичиков пришел еще в большее изумление.

— Как же это?.. Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкаревым?

— Петр Петрович Петух, Петух Петр Петрович! — подхватил хозяин.

Чичиков остолбенел.

— Вот тебе на! Как же вы, дураки, — сказал

он, оборотившись к Селифану и Петрушке, которые оба разинули рты и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у дверец коляски, — как же вы, дураки? Ведь вам сказано — к полковнику Кошкареву... А ведь это Петр Петрович Петух...

— Ребята сделали отлично! — сказал Петр Петрович. — За это вам по чапорухе водки и кулебяка в придачу. Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую!

— Я совещусь, — говорил Чичиков, раскланиваясь, — такая неожиданная ошибка...

— Не ошибка, — живо проговорил Петр Петрович Петух, — не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете: ошибка ли это? Покорнейше прошу, — сказал <он>, взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои.

Чичиков, чинясь, проходил в дверь боком, чтоб дать и хозяину пройти с ним вместе; но это было напрасно: хозяин бы не прошел, да его уж и не было. Слышно было только, как раздавались его речи по двору: «Да что ж Фома Большой? Зачем он до сих пор не здесь? Ротозей Емельян, беги к повару-телепню, что-

бы потрошил поскорей осетра. Молоки, икру, потроха и лещей в уху, а карасей — в соус. Да раки, раки! Ротозей Фома Меньшой, где же раки? раки, говорю, раки?!» И долго раздавались всё — раки да раки.

— Ну, хозяин захлопотался, — сказал Чичиков, садясь в кресла и осматривая углы и стены.

— А вот я и здесь, — сказал, входя, хозяин и ведя за собой двух юношей, в летних сюртуках. Тонкие, точно ивовые хлысты, выгнало их вверх почти на целый аршин выше Петра Петровича.

— Сыны мои, гимназисты. Приехали на праздники. Николаша, ты побудь с гостем, а ты, Алексаша, ступай за мной.

И снова исчезнул Петр Петрович Петух.

Чичиков занялся с Николашей. Николаша был говорлив. Он рассказал, что у них в гимназии не очень хорошо учат, что больше благоволят к тем, которых маменьки шлют побогаче подарки, что в городе стоит Ингерманландский гусарский полк; что у ротмистра Ветвицкого лучше лошадь, нежели у самого полковника, хотя поручик Взъемцев ездит го-

раздо его почище.

— А что, в каком состоянье имение вашего батюшки? — спросил Чичиков.

— Заложено, — сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной, — заложено.

Чичикову осталось сделать то же самое движенье губами, которое делает человек, как дело идет на нуль и оканчивается ничем.

— Зачем же вы заложили? — спросил он.

— Да так. Все пошли закладывать, так зачем же отставать от других? Говорят, выгодно. Притом же все жил здесь, дай-ка еще по-пробую прожить в Москве.

«Дурак, дурак! — думал Чичиков, — промотает все, да и детей сделает мотишками. Остался бы себе, кулебяка, в деревне».

— А ведь я знаю, что вы думаете, — сказал Петух.

— Что? — спросил Чичиков, смутившись.

— Вы думаете: «Дурак, дурак этот Петух! зазвал обедать, а обеда до сих пор нет». Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженная девка косы заплесть, как он поспеет.

— Батюшка, Платон Михалыч едет! — сказал Алексаша, глядя в окно.

— Верхом на гнедой лошади! — подхватил Николаша, нагибаясь к окну. — Ты думаешь, Алексаша, наш чагравый хуже его?

— Хуже не хуже, но выstupка не такая.

Между ними завязался спор о гнедом и чагравом. Между тем вошел в комнату красавец — стройного роста, светло-русые блестящие кудри и темные глаза. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище, вошел вослед за ним.

— Обедали? — спросил Петр Петрович Петух.

— Обедал, — сказал гость.

— Что ж вы, смеяться, что ли, надо мной приехали? — сказал, сердясь, Петух. — Что мне в вас после обеда?

— Впрочем, Петр Петрович, — сказал гость, усмехнувшись, — могу вас утешить тем, что ничего не ел за обедом: совсем нет аппетита.

— А каков был улов, если б вы видели! Какой осетрище пожаловал! Карасей и не считали.

— Даже завидно вас слушать, — сказал гость. — Научите меня быть так же веселым, как вы.

— Да от <чего> же скучать? помилуйте! — сказал хозяин.

— Как отчего скучать? — оттого, что скучно.

— Мало едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время выдумали скуку. Прежде никто не скучал.

— Да полно хвастать! Будто уж вы никогда не скучали?

— Никогда! Да и не знаю, даже и времени нет для скучанья. Поутру проснешься — ведь нужно пить чай, и тут ведь приказчик, а тут и на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть, а тут и ужин, а после пришел повар — заказывать нужно на завтра обед. Когда же скучать?

Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя.

Платон Михалыч Платонов был Ахиллес и Парид[280] вместе: стройное сложение, картинный рост, свежесть — все было собрано в нем. Приятная усмешка с легким выражением иронии как бы еще усиливала его красоту. Но, несмотря на все это, было в нем что-то

неоживленное и сонное. Страсти, печали и потрясения не навели морщины на девственное, свежее его лицо, но с тем вместе и не оживили его.

— Признаюсь, я тоже, — произнес Чичиков, — не могу понять, если позволите так заметить, не могу понять, как при такой наружности, как ваша, скучать. Конечно, могут быть причины другие: недостача денег, притеснения от каких-нибудь злоумышленников, как есть иногда такие, которые готовы покушаться даже на самую жизнь.

— В том-то <и дело>, что ничего этого нет, — сказал Платонов. — Поверите ли, что иной раз я бы хотел, чтобы это было, чтобы была какая-нибудь тревога и волнения. Ну, хоть бы просто рассердил меня кто-нибудь. Но нет! Скучно — да и только.

— Не понимаю. Но, может быть, именье у вас недостаточное, малое количество душ?

— Ничуть, у нас с братом земли на десять тысяч десятин и при них тысяча душ крестьян.

— И при этом скучать. Непонятно! Но, может быть, именье в беспорядке? были неуро-

жаи, много людей вымерло?

— Напротив, всё в наилучшем порядке, и брат мой отличнейший хозяин.

— Не понимаю! — сказал Чичиков и пожал плечами.

— А вот мы скуку сейчас прогоним, — сказал хозяин. — Бежи, Алексаша, проворней на кухню и скажи повару, чтобы поскорей прислал нам расстегайчиков. Да где ж ротозей Емельян и вор Антошка? Зачем не дают закуски?

Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с шестью графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок — икра, сыры, соленые грузди, опенки, да новые приносы из кухни чего-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и вор Антошка были народ хороший и расторопный. Названья эти хозяин давал только потому, что без прозвищ все как-то выходило пресно, а он пресного не любил; сам был добр душой, но словцо любил пряное. Впрочем, и люди за это

не сердились.

Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете». Съедал гость два — подваливал ему третий, приговаривая: «Что ж за число два? Бог любит троицу». Съедал гость три — он ему: «Где ж бывает телега о трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах?» На четыре у него была опять поговорка, на пять — тоже. Чичиков съел чего-то чуть ли не двенадцать ломтей и думал: «Ну, теперь ничего не приберет больше хозяин». Не тут-то было: хозяин, не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть телянка, жаренного на вертеле, лучшую часть, какая ни была, с почками, да и какого телянка!

— Два года воспитывал на молоке, — сказал хозяин, — ухаживал, как за сыном!

— Не могу! — сказал Чичиков.

— Да вы попробуйте, да потом скажите: не могу!

— Не взойдет. Нет места.

— Да ведь и в церкви не было места. Возшел городничий — нашлось. А ведь была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте: этот кусок — тот же городничий.

Попробовал Чичиков — действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место, а казалось, ничего нельзя было поместить.

С винами была тоже история. Получивши деньги из ломбарда, Петр Петрович запасся провизией на десять лет вперед. Он то и дело подливал да подливал; чего ж не допивали гости, давал допить Алексаше и Николаше, которые так и хлопали рюмка за рюмкой, а встали из-за стола — как бы ни в чем не бывали, точно выпили по стакану воды. С гостями было не то: в силу, в силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин как сел в свое, какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его превратилась в кузнецкий мех. Через открытый рот и носовые ноздри начала она издавать какие-то звуки, какие не бывают и в новой музыке. Тут было все — и барабан, и

флейта, и какой-то отрывистый звук, точно собачий лай.

— Эх его насвистывает! — сказал Платонов.

Чичиков рассмеялся.

— Разумеется, если этак пообедать, — заговорил Платонов, — как тут прийти скуке! тут сон придет.

— Да, — говорил Чичиков лениво. Глазки стали у него необыкновенно маленькие. — А все-таки, однако ж, извините, не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств.

— Какие же?

— Да мало ли для молодого человека! Можно танцевать, играть на каком-нибудь инструменте... а не то — жениться.

— На ком? скажите.

— Да будто в окружности нет хороших и богатых невест?

— Да нет.

— Ну, поискать в других местах, поездить. — Тут богатая мысль сверкнула в голове Чичикова, глаза его стали побольше. — Да вот прекрасное средство! — сказал он, глядя в гла-

за Платонову.

— Какое?

— Путешествие.

— Куды ж ехать?

— Да если вам свободно, так поедем со мной, — сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова: «А это было бы хорошо: тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет».

— А вы куда едете?

— Да как сказать — куда? Еду я покуда не столько по своей надобности, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников... Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя; ибо видеть свет, коловращенье людей — кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука.

Платонов задумался.

Чичиков между тем так помышлял: «Право, было <бы> хорошо! Можно даже и так, что все издержки будут на его счет. Можно даже сделать и так, чтобы отправиться на его лошадах, а мои покормятся у него в деревне.

Для сбереженья можно и коляску оставить у него в деревне, а в дорогу взять его коляску».

«Что ж? почему ж не проездиться? — думал между тем Платонов. — Авось-либо будет повеселее. Дома же мне делать нечего, хозяйство и без того на руках у брата; стало быть, расстройства никакого. Почему ж, в самом деле, не проездиться?»

— А согласны ли вы, — сказал он вслух, — погостить у брата денька два? Иначе он меня не отпустит.

— С большим удовольствием! Хоть три.

— Ну, если так — по рукам! Едем! — сказал, оживляясь, Платонов.

— Bravo! — сказал Чичиков, хлопнув по руке его. — Едем!

— Куда? куда? — воскликнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза. — Нет, государи, и колеса приказано снять с вашей коляски, а ваш жеребец, Платон Михайлыч, отсюда теперь за пятнадцать верст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе.

«Вот тебе на!» — подумал Чичиков. Платонов ничего на это не сказал, зная, что Петух

держался обычаям своим крепко. Нужно было остаться.

Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. Двенадцать гребцов, в двадцать четыре весла, с песнями, понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами по обе стороны. Хоть бы стружкой шевельнулись воды. На катере они пили с калачами чай, подходя ежеминутно под протянутые впоперек реки канаты для ловли рыбы снастью. Еще до чаю <хозяин> успел раздеться и выпрыгнуть в реку, где барахтался и шумел с полчаса с рыбаками, покрикивая на Фому Большого и Кузьму, и, накричавшись, нахлопотавшись, намерзнувшись в воде, очутился на катере с аппетитом и так пил чай, что было завидно. Тем временем солнце зашло. Осталась небесная ясность. Крики отдавались звонче. Наместо рыбаков показались повсюду у берегов группы купающихся ребятешек: хлопанье по воде, смех отдавались далече. Гребцы, хвативши разом в двадцать четыре весла, подымали вдруг все вес-

ла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по неподвижной зеркальной поверхности. Здоровый, свежий, как девка, детина, третий от руля, запевал звонко один, вырабатывая чистым голосом; пятеро подхватывало, шестеро выносило — и разливалась беспредельная, как Русь, песня; и, заслонивши ухо рукой, как бы терялись сами певцы в ее беспредельности. Становилось как-то льготно, и думал Чичиков: «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку!» — «Ну, что тут хорошего, — думал Платонов, — в этой заунывной песне? от ней еще большая тоска находит на душу».

Возвращались назад уже сумерками. Весла ударяли впотьмах по водам, уже не отражавшим неба. Едва видны были по берегам озера огоньки. Месяц подымался, когда они пристали к берегу. Повсюду на треногах варили рыбаки уху, все из ершей да из животрепещущей рыбы. Все уже было дома. Гуси, коровы, козы давно уже были пригнаны, и самая пыль от них уже давно улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая крынки молока и приглашенья к ухе. Там и там

слышались говор и гомон людской, громкое лаянье собак своей деревни и отдаленное — чужих деревень. Месяц подымался, стали озаряться потемки; и все наконец озарилось — и озеро и избы; побледнели огни; стал виден дым из труб, осеребренный лучами. Николаша и Алексаша пронеслись в это время перед ними на двух лихих жеребцах, в обгонку друг друга; пыль за ними поднялась, как от стада баранов. «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку!» — думал Чичиков. Бабенка и маленькие Чичонки начали ему снова представляться. Кого ж не разогреет такой вечер?

А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой: «Барабан! — сказал, — никакой городничий не взойдет!» Надобно же было такому стеченью обстоятельств: за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там ни говорилось. Хозяин заказывал повару, под видом раннего завтрака, на завтрашний день, решительный обед. И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит. И губами подсасывал, и причмокивал.

Раздавалось только: «Да поджарь, да дай взопреть хорошенько!» А повар приговаривал тоненькой фистулой: «Слушаю-с. Можно-с. Можно-с и такой».

— Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне щеки осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молоко сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого...

— Слушаю-с. Можно будет и так.

— Да чтобы с одного боку она, понимаешь — зарумянилась бы, а с другогопусти ее полегче. Да исподку-то, исподку-то, понимаешь, пропеки ее так, чтобы рассыпáлась, чтобы всю ее проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал ее во рту — как снег бы растаяла.

«Черт побери! — думал Чичиков, ворочаясь. — Просто не даст спать!»

— Да сделай ты мне свиной сычуг. Положи в середку кусочек льду, чтобы он взбухнул хорошенько. Да чтобы к осетру обкладка, гарнир-то, гарнир-то чтобы был побогаче! Обложи его раками, да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршем из снеточков, да подбавь мелкой сечки, хренку, да груздоч-

ков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли еще там какого коренья?

— Можно будет подпустить брюкву или свеклу звездочкой, — сказал повар.

— Подпусти и брюкву, и свеклу. А к жаркому ты сделай мне вот какую обкладку...

— Пропал совершенно сон! — сказал Чичиков, переворачиваясь на другую сторону, закутал голову в подушки и закрыл себя всего одеялом, чтобы не слышать ничего. Но сквозь одеяло слышалось беспрестанно: «Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько». Заснул он уже на каком-то индюке.

На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом; жеребец был отправлен с конюхом Петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской: он тоже объелся.

— Нет, это уже слишком, — сказал Чичиков, когда выехали они со двора. — Это даже по-свински. Не беспокойно ли вам, Платон Михалыч? Препокойная была коляска, и вдруг стало беспокойно. Петрушка, ты, верно, по глупости, стал перекладывать? отовсюду торчат какие-то коробки!

Платон усмехнулся.

— Это, я вам объясню, — сказал он, — Петр Петрович насовал в дорогу.

— Точно так, — сказал Петрушка, оборотясь с козел, — приказано было все поставить в коляску — пашкеты и пироги.

— Точно-с, Павел Иванович, — сказал Се-лифан, оборотясь с козел, веселый, — очень почтенный барин. Угостительный помещик! По рюмке шампанского выслал. Точно-с, и приказал от стола отпустить блюда — очень хорошего блюда, деликатного скусу. Такого почтительного господина еще и не было.

— Видите ли? он всех удовлетворил, — сказал Платонов. — Однако же, скажите просто: есть ли у вас время, что<бы> заехать в одну деревню, отсюда верст десять? Мне бы хотелось проститься с сестрой и зятем.

— С большим удовольствием, — сказал Чичиков.

— От этого вы не будете внакладе: зять мой — весьма замечательный человек.

— По какой части? — спросил Чичиков.

— Это первый хозяин, какой когда-либо бывал на Руси. Он в десять лет с небольшим,

купивши расстроенное имение, едва дававшее двадцать тысяч, возвел его до того, что теперь он получает двести тысяч.

— А, почтенный человек! Вот такого человека жизнь стоит того, чтобы быть переданной в поученье людям! Очень, очень будет приятно познакомиться. А как по фамилии?

— Костанжогло.[281]

— А имя и отчество?

— Константин Федорович.

— Константин Федорович Костанжогло. Очень приятно познакомиться. Поучительно узнать такого человека. — И Чичиков пустился в расспросы о Костанжогле, и все, что он узнал о нем от Платонова, было, точно, изумительно.

— Вот смотрите, в этом месте уже начинаются его земли, — говорил Платонов, указывая на поля. — Вы увидите тотчас отличие от других. Кучер, здесь возьми дорогу налево. Видите ли этот молодник-лес? Это — сеяный. У другого в пятнадцать лет не поднялся <бы> так, а у него в восемь вырос. Смотрите, вот лес и кончился. Начались уже хлеба; а через пятьдесят десятин опять будет лес, тоже се-

яный, а там опять. Смотрите на хлеба, во сколько раз они гуще, чем у другого.

— Вижу. Да как же он это делает?

— Ну, расспросите у него, вы увидите, что...[282] Это всезнай, такой всезнай, какого вы нигде не найдете. Он мало того что знает, какую почву что любит, знает, какое соседство для кого нужно, поблизости какого леса нужно сеять какой хлеб. У нас у всех земля трескается от засух, а у него нет. Он рассчитает, насколько нужно влажности, столько и дерева разведет; у него все играет две-три роли: лес лесом, а полю удобренье от листьев да от тени. И это во всем так.

— Изумительный человек! — сказал Чичиков и с любопытством посматривал на поля.

Все было в порядке необыкновенном. Леса были загороженные; повсюду попадались скотные дворы, тоже не без причины обстроенные, завидно содержимые; хлебные кладки росту великанского. Обильно и хлебно было повсюду. Видно было вдруг, что живет туз-хозяин. Поднявшись на небольшую возвышенность, <увидели> на супротивной стороне большую деревню, рассыпавшуюся на трех

горных возвышениях. Все тут было богато: торные улицы, крепкие избы; стояла ли где телега — телега была крепкая и новешенькая; попадался ли конь — конь был откормленный и добрый; рогатый скот — как на отбор. Даже мужичья свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой. Не было тут англицких парков, беседок и мостов с затеями и разных проспектов перед домом. От изб до господского двора потянулись рабочьи дворы. На крыше большой фонарь, не для видов, но для рассматривания, где и в каком месте и как производились работы.

Они подъехали к дому. Хозяина не было; встретила их жена, родная сестра Платонова, белокурая, белоликая, с прямо русским выраженьем, так же красавица, но так же полусонная, как он. Кажется, как будто ее мало заботило то, о чем заботятся, или оттого, что всепоглощающая деятельность мужа ничего не оставила на ее долю, или оттого, что она принадлежала, по самому сложению своему, к тому философическому разряду людей, ко-

торые, имея и чувства, и мысли, и ум, живут как-то вполовину, на жизнь глядят вполглаза и, видя возмутительные тревоги и борьбы, говорят: «<Пусть> их, дураки, бесятся! Им же хуже».

— Здравствуй, сестра! — сказал Платонов. — Где же Константин?

— Не знаю. Ему следовало быть давно уже здесь. Верно, захлопотался.

Чичиков на хозяйку не обратил <внимания>. Ему было интересно рассмотреть жилище этого необыкновенного человека. Он думал отыскать в нем свойства самого хозяина, — как по раковине можно судить, какого рода сидела в ней устрица или улитка. Но этого-то и не было. Комнаты были бесхарактерны совершенно — просторны, и ничего больше. Ни фресков, ни картин по стенам, ни бронзы по столам, ни этажерок с фарфором или чашками, ни ваз, ни цветов, ни статуек, — словом, как-то голо. Простая обыкновенная мебель да рояль стоял в стороне, и тот покрыт был пылью: как видно, хозяйка редко за него садилась. Из гостиной отворена <была дверь в кабинет хозяина>;[283] но и там было

так же — просто и голо. Видно было, что хозяин приходил в дом только отдохнуть, а не то чтобы жить в нем; что для обдумыванья своих планов и мыслей ему не надобно было кабинета с пружинными креслами и всякими покойными удобствами и что жизнь его заключалась не в очаровательных грезах у пылающего камина, но прямо в деле. Мысль исходила вдруг из обстоятельств, в ту минуту, как они представлялись, и обращалась вдруг в дело, не имея никакой надобности в том, чтобы быть записанной.

— А! вот он! Идет, идет! — сказал Платонов.

Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил лет сорока человек, живой, смуглой наружности. На нем был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли двое нижнего сословия, — шли, разговаривая и о чем-то с <ним> толкуя. Один, казалось, был простой мужик; другой, в синей сибирке, какой-то заезжий кулак и пройдоха.

— Так уж прикажите, батюшка, принять! — говорил мужик, кланяясь.

— Да нет, братец, я уж двадцать раз вам по-

второял: не возите больше. У меня материалу столько накопилось, что девать некуда.

— Да у вас, батюшка Константин Федорович, весь пойдет в дело. Уж эдакого умного человека во всем свете нельзя сыскать. Ваше здоровье всяку вещь в место поставит. Так уж прикажите принять.

— Мне, братец, руки нужны; мне работников доставляй, а не материал.

— Да уж в работниках не будете иметь недостатку. У нас целые деревни пойдут в работы: бесхлебье такое, что и не запомним. Уж вот беда-то, что не хотите нас совсем взять, а отслужили бы верою вам, ей-богу, отслужили. У вас всякому уму научишься, Константин Федорович. Так прикажите принять в последний раз.

— Да ведь ты и тогда говорил: в последний раз, а ведь вот опять привез.

— Уж в последний раз, Константин Федорович. Если вы не возьмете, то у меня никто не возьмет. Так уж прикажите, батюшка, принять.

— Ну, слушай, этот раз возьму, и то из сожаления только, чтобы не провозился на-

прасно. Но если ты привезешь в другой раз, хоть три недели канючь — не возьму.

— Слушаю-с, Константин Федорович; уж будьте покойны, в другой раз уж никак не привезу. Покорнейше благодарю. — Мужик отошел, довольный. Врет, однако же, привезет: авось — великое словцо.

— Так уж того-с, Константин Федорович, уж сделайте милость... посбавьте, — говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке.

— Ведь я тебе на первых порах объявил. Торговаться я не охотник. Я тебе говорю опять: я не то, что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех. У вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудреного? Ему приспичит, он тебе и отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи! Мне в ломбард не нужно уплачивать...

— Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я того-с... оттого только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку из-

вольте принять.

Кулак вынул из-за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прехладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сюртука.

«Гм, — подумал Чичиков, — точно как бы носовой платок!»

Минуту спустя Костанжогло показался в дверях гостиной.

— Ба, брат, ты здесь! — сказал он, увидев Платонова. Они обнялись и поцеловались. Платонов рекомендовал Чичикова. Чичиков благоговейно подступил к хозяину, лобызнул его в щеку, принявши и от него впечатленья поцелуя.

Лицо Костанжогло было очень замечательно. В нем было заметно южное происхождение. Волосы на голове и на бровях темны и густы, глаза говорящие, блеску сильного. Ум сверкал во всяком выраженьи лица, и уж ничего не было в нем сонного. Но заметна, однако же, была примесь чего-то желчного и озлобленного. Какой, собственно, был он нации? Есть много на Руси русских нерусского происхождения, в душе, однако же, русские.

Костанжогло не занимался своим происхождением, находя, что это в строку нейдет и в хозяйстве вещь лишняя. Притом не знал и другого языка, кроме русского.

— Знаешь ли, Константин, что я выдумал? — сказал Платонов.

— А что?

— Выдумал я проездиться по разным губерниям; авось-либо это вылечит от хандры.

— Что ж? это очень может быть.

— Вот вместе с Павлом Ивановичем.

— Прекрасно! В какие же места, — спросил Костанжогло, приветливо обращаясь к Чичикову, — предполагаете теперь ехать?

— Признаюсь, — сказал Чичиков, наклоня голову набок и взявшись рукою за ручку кресел, — еду я, покамест, не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благодетель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя; потому что, точно, не говоря уже о пользе, которая может быть в геморроидальном отношении, одно уже то, чтоб уви-

дать свет, коловращенье людей... кто что ни говори, есть, так сказать, живая книга, та же наука.

— Да, заглянуть в иные уголки не мешает.

— Превосходно изволили заметить, — отнеся Чичиков, — точно, не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел; встречаешь людей, которых бы не встретил. Разговор с иным тот же червонец. Научите, почтеннейший Константин Федорович, научите, к вам прибегаю. Жду, как манны, сладких слов ваших.

Костанжогло смутился.

— Чему же, однако?.. чему научить? Я и сам учился на медные деньги.

— Мудрости, почтеннейший, мудрости! мудрости управлять хозяйством, подобно вам; подобно вам уметь извлекать доходы верные; приобрести, подобно вам, имущество не мечтательное, а существенное, и тем исполнить долг гражданина, заслужить уваженье соотечественников.

— Знаете ли что? — сказал Костанжогло, — останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление и расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет.

— Брат, оставайся этот день, — сказала хозяйка, обращаясь к Платонову.

— Пожалуй, мне все равно, — произнес тот равнодушно, — как Павел Иванович?

— Я тоже, я с большим удовольствием... Но вот обстоятельство — нужно посетить родственника генерала Бетрищева. Есть некто полковник Кошкарев...

— Да ведь он... знаете ли вы это? Ведь он дурак и помешан.

— Об этом я уже слышал. Мне к нему и дела нет. Но так как генерал Бетрищев — близкий приятель и, даже так сказать, благодетель... так уж как-то и неловко.

— В таком случае знаете ли что, — сказал <Костанжогло>, — поезжайте к нему теперь же. У меня стоят готовые пролетки. К нему и десяти верст <нет>, так вы слетаете духом. Вы даже раньше ужина возвратитесь назад.

Чичиков с радостью воспользовался предложением. Пролетки были поданы, и он поехал тот же час к полковнику, который изумил его так, как еще никогда ему не случилось изумляться. Все было у полковника необыкновенно. Вся деревня была вразброс-

ку: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроенны были какие-то дома вроде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: «Депо земледельческих орудий», на другом: «Главная счетная экспедиция», на третьем: «Комитет сельских дел»; «Школа нормального просвещения поселян», — словом, черт знает, чего не было! Он думал, не въехал ли в губернский город. Сам полковник был какой-то чопорный. Лицо какое-то чинное в виде треугольника. Бакенбарды по щекам его были протянуты в струнку; волосы, прическа, нос, губы, подбородок — все как бы лежало дотоле под прессом. Начал он говорить, как бы и дельный человек. С первых начал начал он ему жаловаться на необразованность окружающих помещиков, на великие труды, которые ему предстоят. Принял он Чичикова отменно ласково и радушно, ввел его совершенно в доверенность и рассказал с самоуслаждением, скольких и скольких стоило ему трудов возвестить именье до нынешнего благосостояния; как трудно было дать понять простому мужику, что есть высшие побужде-

ния, которые доставляют человеку просвещенная роскошь, искусство и художества; сколько нужно было бороться с невежеством русского мужика, чтобы одеть его в немецкие штаны и заставить почувствовать, хотя сколько-нибудь, высшее достоинство человека; что баб, несмотря на все усилия, он до сих пор не мог заставить надеть корсет, тогда как в Германии, где он стоял с полком в 14-м году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано, говорила по-французски и делала книксен. С соболезованием рассказывал он, как велика необразованность соседей помещиков; как мало думают они о своих подвластных; как они даже смеялись, когда он старался изъяснить, как необходимо для хозяйства устроенье письменной конторы, контор комиссии и даже комитетов, чтобы тем предохранить всякие кражи и всякая вещь была бы известна, чтобы писарь, управитель и бухгалтер образовались бы не как-нибудь, но оканчивали бы университетское воспитанье; как, несмотря на все убеждения, он не мог убедить помещиков в том, что какая бы выгода была их имениям, если бы каждый

крестьянин был воспитан так, чтобы, идя за плугом, мог читать в то же время книгу о громовых отводах.

На это Чичиков <подумал>: «Ну, вряд ли выберется такое время. Вот я выучился грамоте, а „Графиня Лавальер“ до сих пор еще не прочитана».

— Ужасное невежество! — сказал в заключение полковник Кошкарев. — Тьма средних веков, и нет средств помочь... Поверьте, нет! А я бы мог всему помочь; я знаю одно средство, вернейшее средство.

— Какое?

— Одеть всех до одного в России, как ходят в Германии. Ничего больше, как только это, и я вам ручаюсь, что все пойдет как по маслу: науки возвысятся, торговля подыметя, золотой век настанет в России.

Чичиков глядел на него пристально и думал: «Что ж? с этим, кажется, чиниться нечего». Не отлагая дела в дальний ящик, он объяснил полковнику тут же, что так и так: имеется надобность вот в каких душах, с совершеньем таких-то крепостей.

— Сколько могу видеть из слов ваших, —

сказал полковник, нимало не смутясь, — это просьба; не так ли?

— Так точно.

— В таком случае, изложите ее письменно. Она пойдет в комиссию всяких прошений. Комиссия всяких прошений, пометивши, препроводит ее ко мне. От меня поступит она в комитет сельских дел, там сделают всякие справки и выправки по этому делу. Главнo-управляющий вместе с конторoю в самоскoрейшем времени положит свою резолюцию, и дело будет сделано.

Чичиков оторопел.

— Позвольте, — сказал <он>, — этак дело затянется.

— А! — сказал с улыбкой полковник, — вот тут-то и выгода бумажного производства! Оно, точно, несколько затянется, но зато уже ничто не ускользнет: всякая мелочь будет видна.

— Но позвольте... Как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело... Души ведь некоторым образом... мертвые.

— Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом... мертвые.

— Но ведь как же — мертвые? Ведь этак же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались как бы были живые.

— Хорошо. Вы так и напишите: «но нужно, или требуется, чтобы казалось, как бы живые».

Что было делать с полковником? Чичиков решил отправиться сам поглядеть, что это за комиссии и комитеты; и что нашел он там, то было не только изумительно, но превышало решительно всякое понятие. Комиссия всяких прошений существовала только на вывеске. Председатель ее, прежний камердинер, был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил конторщик Тимошка, откомандированный на следствие — разбирать пьяницу приказчика с старостой, мошенником и плутом. Чиновника — нигде.

— Да где ж тут?.. да как добиться какого-нибудь <толку>? — сказал Чичиков своему спутнику, чиновнику по особенным поручениям, которого полковник дал ему в проводники.

— Да никакого толку не добьетесь, — ска-

зал проводник, — у нас бестолковщина. У нас всем, извольте видеть, распоряжается комиссия построения, отрывает всех от дела, посылает куды угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения. — Он, как видно, был недоволен на комиссию построенья. — У нас так заведено, что все водят за нос барина. Он думает, что всё-с как следует, а ведь это названье только одно.

«Это, однако же, нужно ему сказать», — подумал Чичиков и, пришедши к полковнику, объявил, что у него каша и никакого толку нельзя добиться, и комиссия построений во-рует напропалую.

Полковник воскипел благородным негодованьем. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал восемь строжайших запросов: на каком основании комиссия построений самоуправно распорядилась с неподведомственными ей чиновниками? Как мог допустить главноуправляющий, чтобы председатель, не сдавши своего поста, отправился на следствие? и как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует комиссии прошений?

«Ну, пойдет кутерьма», — подумал Чичиков и начал раскланиваться.

— Нет, я вас не отпущу. В два часа, не более, вы будете удовлетворены во всем. Дело ваше я поручу теперь особенному человеку, который только что окончил университетский курс. Посидите у меня в библиотеке. Тут все, что для вас нужно: книги, бумага, перья, карандаши — все. Пользуйтесь, пользуйтесь всем — вы господин.

Так говорил Кошкарев, вводя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных. Книги по всем частям — по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, тысячи всяких журналов, руководств и множество журналов, представлявших самые позднейшие развития и усовершенствования и по коннозаводству, и естественным наукам. Были и такие названия: «Свиноводство как наука». Видя, что здесь вещи не приятного препровождения <времени>, он обратился к другому шкафу. Из огня — в полымя. Тут были всё книги философии. На одной было заглавие: «Философия, в

смысле науки»; шесть томов в ряд под названием: «Предуготовительное вступление к теории мышления в их общности, совокупности, сущности и во применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице — проявление, развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает, чего там не было. «Нет, это все не по мне», — сказал Чичиков и оборотился к третьему шкафу, где были книги всё по части искусств. Тут вытащил он какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Это было по его вкусу. Такого рода картинки нравятся холостякам средних <лет>. Говорят, что в последнее время стали они нравиться даже и старичкам, изощрившим вкус на балетах. Что ж делать, человечество нашего века пряные корни любит. Окончивши рассматриванье этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую в том же роде, как вдруг появился полковник Кошкарев, с сияющим видом и бумагою.

— Все сделано, и сделано отлично. Человек этот решительно понимает один за всех. За это я его поставлю выше всех: заведу особенное, высшее управление и поставлю его президентом. Вот что он пишет...

«Ну слава те господи», — подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать:

— «Приступая к обдумыванью возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести на оное: 1) В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова есть уже некоторое недоразумение: в изъясненъе того, что требуются ревизские души, постигнутые всякими внезапностями, вставлены и умершие. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие; ибо умершие не приобретаются. Что ж и приобретать, если ничего нет? Об этом говорит и самая логика. Да и в словесных науках они, как видно, не далеко уходили...» — Тут на минуту Кошкарев остановился и сказал: — В этом месте, плут... он немножко кольнул вас. Но судите, однако же, какое бойкое пе-

ро — статс-секретарский слог; а ведь всего три года побыл в университете, даже не окончил курса. — Кошкарев продолжал: — «...в словесных науках, как видно, не далеко... ибо выразились о душах умершие, тогда как всякому, изучавшему курс познаний человеческих, известно заподлинно, что душа бессмертна. 2) Оных упомянутых ревижских душ, пришедших, или прибывших, или, как они неправильно изволили выразиться, умерших, нет налицо таковых, которые бы не были в залоге, ибо все в совокупности не только заложены без изъятия, но и перезаложены, с прибавкой по полутора ста рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловка, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым, и потому ни в продажу, ни в залог поступить не может».

— Так зачем же вы мне этого не объявили прежде? Зачем из пустяков держали? — сказал с сердцем Чичиков.

— Да ведь как же я мог знать об этом сначала? В этом-то и выгода бумажного производства, что вот теперь все, как на ладони,

оказалось ясно.

«Дурак ты, глупая скотина! — думал про себя Чичиков. — В книгах копался, а чему выучился?» Мимо всяких учтивств и приличий, схватил он шапку — из дома. Кучер стоял, пролетки наготове и лошадей не откладывал: о корме пошла бы письменная просьба, и резолюция — выдать овес лошадям — вышла бы только на другой день. Как ни был Чичиков груб и неучтив, но Кошкарев, несмотря на все, был с ним необыкновенно учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку, и прижал ее к сердцу, и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать и пружины сельского управления заржавеют и ослабеют; что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль: устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссиею построения, так что уже тогда никто не осмелится украсть.

«Осел! дурак!» — думал Чичиков, сердитый и недовольный во всю дорогу. Ехал он уже

при звездах. Ночь была на небе. В деревнях были огни. Подъезжая к крыльцу, он увидел в окнах, что уже стол был накрыт для ужина.

— Что это вы так запоздали? — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях.

— О чем вы это так долго с ним толковали? — сказал Платонов.

— Уморил! — сказал Чичиков. — Этакого дурака я еще отроду не видывал.

— Это еще ничего! — сказал Костанжогло. — Кошкарев — утешительное явление. Он нужен затем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости умных людей. Завели конторы и присутствия, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссию, и черт их знает что такое. Точно как будто бы у них государство какое! Как вам это нравится? я спрашиваю. Помещик, у которого пахотные земли и недостает крестьян обрабатывать, а он завел свечной завод, из Лондона мастеров выписал свечных, торгашом сделался! Вон другой дурак еще лучше: фабрику шелковых материй завел!

— Да ведь и у тебя же есть фабрики, — заметил Платонов.

— А кто их заводил? Сами завелись: накопилось шерсти, сбыть некуда, я и начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые; по дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают. Рыбью шелуху, например, сбрасывали на мой берег шесть лет сряду; ну, куда ее девать? я начал с нее варить клей, да сорок тысяч и взял. Ведь у меня всё так.

«Экой черт! — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза, — загребистая какая лапа!»

— Да я и строений для этого не строю; у меня нет зданий с колоннами да фронтонами. Мастеров я не выписываю из-за границы. А уж крестьян от хлебопашества ни за что не оторву. На фабриках у меня работают только в голодный год, всё пришлые, из-за куска хлеба. Этаких фабрик наберется много. Рассмотрю только попристальнее свое хозяйство, то увидишь — всякая тряпка пойдет в дело, всякая дрянь даст доход, так что после отталкиваешь только да говоришь: не нужно.

— Это изумительно! Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход! — сказал Чичиков.

— Гм! да не только это!.. — Речи Костан-

жогло не кончил: желчь в нем пробудилась, и ему хотелось побранить соседей помещиков. — Вон опять один умник — что вы думаете у себя завел? Богоугодные заведения, каменное строение в деревне! Христоролюбивое дело!.. Уж хочешь помогать, так ты помогай всякому исполнить этот долг, а не отрывай его от христианского долга. Помоги сыну пригреть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его с плеч своих. Дай лучше ему средства приютить у себя в дому ближнего и брата, дай ему на это денег, помоги всеми силами, а не отлучай его: он совсем отстанет от всяких христианских обязанностей. Дон-Кишоты просто по всем частям!.. Двести рублей выходит на человека в год в богоугодном заведении!.. Да я на эти деньги буду у себя в деревне десять человек содержать! — Костанжогло рассердился и плюнул.

Чичиков не интересовался богоугодным заведением: он хотел повести речь о том, как всякая дрянь дает доход. Но Костанжогло уже рассердился, желчь в нем закипела, и слова полились.

— А вот другой Дон-Кишот просвещения:

завел школы! Ну, что, например, полезнее человеку, как знанье грамоты? А ведь как распорядился? Ведь ко мне приходят мужики из его деревни. «Что это, говорят, батюшка, такое? сыновья наши совсем от рук отбились, помогать в работах не хотят, все в писаря хотят, а ведь писарь нужен один». Ведь вот что вышло!

Чичикову тоже не было надобности до школ, но Платонов подхватил этот предмет:

— Да ведь этим нечего останавливаться, что теперь не надобны писаря: после будет надобность. Работать нужно для потомства.

— Да будь, братец, хоть ты умен! Ну, что вам далось это потомство? Все думают, что они какие-то Петры Великие. Да ты смотри себе под ноги, а не гляди в потомство; хлопочи о том, чтобы мужика сделать достаточным да богатым, да чтобы было у него время учиться по охоте своей, а не то что с палкой в руке говорить: «Учись!» Черт знает, с которого конца начинают!.. Ну, послушайте: ну, вот я вам на суд... — Тут Костанжогло подвинулся ближе к Чичикову и, чтобы заставить его лучше вникнуть в дело, взял его на абордаж,

другими словами — засунул палец в петлю его фрака. — Ну, что может быть яснее? У тебя крестьяне затем, чтобы ты им покровительствовал в их крестьянском быту. В чем же быт? в чем же занятия крестьянина? В хлебопашестве? Так старайся, чтобы он был хорошим хлебопашцем. Ясно? Нет, нашлись умники, говорят: «Из этого состоянья его нужно вывести. Он ведет слишком грубую, простую жизнь: нужно познакомить его с предметами роскоши». Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней черт знает каких понабрались, и уж нет осьмнадцатилетнего мальчишки, который бы не испробовал всего: и зубов у него нет, и плешив, — так хотят теперь и этих заразить. Да слава богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое словие, которое не познакомилось с этими прихотями! За это мы просто должны благодарить Бога. Да, хлебопашцы для меня всех почтеннее. Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы!

— Так вы полагаете, что хлебопашеством всего выгоднее заниматься? — спросил Чичиков.

— Законнее, а не то, что выгоднее. Возделывай землю в поте лица своего. Это нам всем сказано; это недаром сказано. Опытом веков уже это доказано, что в земледельческом звании человек чище нравами. Где хлебопашество легло в основание быта общественного, там изобилие и довольство; бедности нет, роскоши нет, а есть довольство. Возделывай землю — сказано человеку, трудись... что тут хитрить! Я говорю мужику: «Кому бы ты ни трудился, мне ли, себе ли, соседу ли, только трудись. В деятельности я твой первый помощник. Нет у тебя скотины, вот тебе лошадь, вот тебе корова, вот тебе телега... Всем, что нужно, готов тебя снабдить, но трудись. Для меня смерть, если хозяйство у тебя не в устройстве и вижу у тебя беспорядок и бедность. Не потерплю праздности. Я затем над тобой, чтобы ты трудился». Гм! думают увеличить доходы заведеньями да фабриками! Да ты подумай прежде о том, чтобы всякий мужик был у тебя богат, так тогда ты и сам будешь богат без фабрик, и без заводов, и без глупых <затей>.

— Чем больше слушаешь вас, почтенней-

ший Константин Федорович, — сказал Чичиков, — тем большее получаешь желание слушать. Скажите, досточтимый мною: если бы, например, я возымел намерение сделаться помещиком, положим, здешней губернии, на что преимущественно обратить внимание? как быть, как поступить, чтобы в непродолжительное <время> разбогатеть, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина?

— Как поступить, чтобы разбогатеть? А вот как... — сказал Костанжогло.

— Пойдем ужинать! — сказала хозяйка, поднявшись с дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые продрогнувшие свои члены.

Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, подлетел к хозяйке с мягким выраженьем в улыбке деликатного штатского человека, коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, сохраняя во все время приятное наклоненье головы несколько набок. Служитель снял крышку с суповой чашки; все со стульями придвинулись ближе к столу, и на-

чалось хлебанье супа.

Отделавши суп и запивши рюмкой наливки (наливка была отличная), Чичиков сказал так Костанжоглу:

— Позвольте, почтеннейший, вновь обратиться к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться...[284]

...

— Именье, за которое если бы он запросил и сорок тысяч, я б ему тут же отсчитал.

— Гм! — Чичиков задумался. — А отчего же вы сами, — проговорил он с некоторою робостью, — не покупаете его?

— Да нужно знать наконец пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положеньями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж наконец надоело.

— Дворянство способно к злословью! — сказал Чичиков.

— А уж у нас, в нашей губернии... Вы не можете себе представить, что они говорят обо мне. Они меня иначе и не называют, как

сквальгой и скупердьяем первой степени. Себя они во всем извиняют. «Я, говорит, конечно, промотался, но потому, что жил высшими потребностями жизни. Мне нужны книги, я должен жить роскошно, чтобы промышленность поощрять; а этак, пожалуй, можно прожить и не разорившись, если бы жить такой свиньей, как Костанжогло». Ведь вот как!

— Желал бы я быть этакой свиньей! — сказал Чичиков.

— И ведь это всё оттого, что не задаю обедов да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что меня бы тяготило, я к этому не привык. А приезжай ко мне есть то, что я ем, — милости просим! Не даю денег взаимы — это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно и деньги принесут тебе явную прибыль, — я тебе не откажу и не возьму даже процентов. Но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят. Он затевает какой-нибудь обед своей любовнице или на сумасшедшую ногу убирает мебелью

дом, а ему давай деньги займы!..

Здесь Костанжогло плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его живое лицо. Вдоль лба и впоперек его собрались морщины, обличители гневного движения взволнованной желчи.

Чичиков выпил рюмку малиновки и сказал так:

— Позвольте мне, досточтимый мною, обратиться вас вновь к предмету прекращенного разговора. Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени...

— Если вы хотите, — подхватил сурово и отрывисто Костанжогло, еще полный нерасположенья духа, — разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете; если же хотите разбогатеть, не спрашивая о времени, то разбогатеете скоро.

— Вот оно как! — сказал Чичиков.

— Да, — сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичико-

ва. — Надобно иметь любовь к труду; без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что в деревне тоска... да я бы умер от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они! Хозяину нет времени скучать. В жизни его нет пустоты — все полнота. Нужно только рассмотреть весь этот многообразный круг годовых занятий — и каких занятий! занятий, истинно возвышающих дух, не говоря уже о разнообразии. Тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всему, что совершается в творенье. Еще не появилась весна, а уж зачинаются работы: подвозы и дров, и всего на время распутицы; подготовка семян; переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка; установление новых тягол. Пропали снега и реки, — работы так вдруг и закипят: там погрузки на суда, здесь расчистка дерев по лесам, пересадка дерев по садам, и пошли взрывать повсюду землю. В огородах работает заступ, в полях — соха и борона. И начинаются посевы. Безделица! Грядущий урожай сеют! Наступило лето — покосы, первой-

ший праздник хлебопашца. Безделица! Пойдут жатва за жатвой: за рожью пшеница, за ячменем овес, а тут и дерганье конопли. Мечут стога, кладут клады. А тут и август перевалил за половину — пошла свозка всего на гумны. Наступила осень — запашки и посевы озимых хлебов, чинка амбаров, риг, скотных дворов, хлебный опыт и первый умолот. Наступит зима — и тут не дремлют работы: первые подвозы в город, молотьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из риг в амбары, по лесам рубка и пиление дров, подвоз кирпичу и материалу для весенних построек. Да просто я и обнять всего не в состоянии. Какое разнообразие работ! Сюда и туда взглянуть идешь: и на мельницу, и на рабочий двор, и на фабрики, и на гумна! Идешь и к мужику взглянуть, как он на себя работает. Безделица! Да для меня праздник, если плотник хорошо владеет топором; я два часа готов пред ним простоять: так веселит меня работа. А если видишь еще, с какой целью все это творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход. Да я и рассказать вам не могу, какое удовольствие. И не

потому, что растут деньги, — деньги деньгами, — но потому, что все это — дело рук твоих; потому, что видишь, как ты всему причина и творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилие и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслаждение? — сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, все морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчанья своего, сиял он. — Да в целом мире не отыщете вы подобного наслаждения! Здесь, именно здесь подражает Богу человек: Бог предоставил себе дело творенья, как высшее наслаждение, и требует от человека также, чтобы он был творцом благоденствия и стройного течения дел. И это называют скучным делом!

Как пенья райской птички, заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста. Глаза умаслились и выражали сладость, и все бы он слушал.

— Константин! пора вставать, — сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Платонов приподнялся, Костанжогло приподнялся, Чичиков приподнялся, хотя хотелось ему все сидеть да слушать. Подставив руку коромыс-

лом, повел он обратно хозяйку. Но голова его не была склонена приветливо набок, недоставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты существенными оборотами и соображениями.

— Что ни рассказывай, а все, однако же, скучно, — говорил, идя позади их, Платонов.

«Гость, кажется, очень неглупый человек, — думал хозяин, — степенен в словах и не щелкопер». И, подумавши так, стал он еще веселее, точно как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашел человека, готового слушать умные советы.

Когда потом поместились они все в маленькой, уютной комнатке, озаренной свечками, насупротив балконной стеклянной двери вместо окна, Чичикову сделалось так приятно, как не бывало давно. Точно как бы после долгих странствований приняла уже его родная крыша и, по совершенью всего, он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавши: «Довольно!» Такое обаятельное расположение навел ему на душу разумный разговор хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы

ближе и родственней ему других речей. И часто неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном, встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя и бездорожье дороги, и неприютность ночлегов, и современный свет, полный глупостей людских, обманов, обманывающих человека. И живо потом навсегда и навеки останется проведенный таким образом вечер, и все, что тогда случилось и было, удержит верная память: и кто соприсутствовал, и кто на каком месте стоял, и что было в руках его, — стены, углы и всякую безделушку.

Так и Чичикову заметилось все в тот вечер: и эта малая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выраженье, воцарившееся в лице хозяина, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами: «Полно, не мучь его», — и веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, которая оттоле на них глядела, облокотясь на вершины дерев, из чащи которых высвистывали

весенние соловьи.

— Сладки мне ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович, — произнес Чичиков. — Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму.

Он улыбнулся.

— Нет, Павел Иванович, — сказал он, — уж если хотите знать умного человека, так у нас, действительно, есть один, о котором, точно, можно сказать: «умный человек», которого я и подметки не стою.

— Кто это? — с изумленьем спросил Чичиков.

— Это наш откупщик Муразов.

— В другой уже раз про него слышу! — вскрикнул Чичиков.

— Это человек, который не то что именем помещика, — целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов.

— Слышал. Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия, десять миллионов, говорят, нажил.

— Какое десять! перевалило за сорок. Скоро половина России будет в его руках.

— Что вы говорите! — вскрикнул Чичиков, оторопев.

— Всенепременно. У него теперь приращенье должно идти с быстротой невероятной. Это ясно. Медленно богатеет только тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч; а у кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так вдвое и втрое противу самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно. Тут уж и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему ни назначит, такая и останется: некому перебить.

Вытаращив глаза и разинувши рот, как вкопанный, смотрел Чичиков в глаза Костанжогло. Захватило дух в груди ему.

— Уму непостижимо! — сказал он, приходя немного в себя. — Каменеет мысль от страха. Изумляются мудрости промысла в рассматриванье букашки; для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы! Позвольте предложить вам вопрос насчет одного обстоятельства; скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?

— Самым безукоризненным путем и самы-

ми справедливыми средствами.

— Не поверю, почтеннейший, извините, не поверю. Если б это были тысячи, еще бы так, но миллионы... извините, не поверю.

— Напротив, тысячи — трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям. Прямой таки дорогой так и ступай, все бери, что ни лежит перед тобой! Другой не подымет.

— Уму непостижимо! И что всего непостижимей, это то, что дело ведь началось из копейки!

— Да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей, — сказал Костанжогло. — Кто родился с тысячами, воспитался на тысячах, тот уже не приобретет: у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нет! Начинать нужно с начала, а не с середины. Снизу, снизу нужно начинать. Тут только узнаешь хорошо люд и быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарства, тогда тебя умудрит и вышколит <так>, что уж не дашь

промаха ни в каком предприятии и не обрвешься. Поверьте, это правда. С начала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне: «Дайте мне сто тысяч, я сейчас разбогатею», — я тому не поверю: он бьет наудачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать!

— В таком случае я разбогатею, — сказал Чичиков, — потому что начинаю почти, так сказать, с ничего.

Он разумел мертвые души.

— Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать, — сказала хозяйка, — а ты все болтаешь.

— И непременно разбогатеете, — сказал Костанжогло, не слушая хозяйки. — К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куда девать доходы.

Как очарованный, сидел Павел Иванович, и в золотой области возрастающих грез и мечтаний закружились его мысли.

— Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать.

— Да что ж тебе? Ну, и ступай, если захотелось! — сказал хозяин и остановился: громко, по всей комнате раздалось храпенье Платоно-

ва, а вслед за ним Ярб захрапел еще громче. Уже давно слышался отдаленный стук в чугунные доски. Дело потянуло за полночь. Костанжогло заметил, что в самом деле пора на покой. Все разбрелись, пожелав спокойного сна друг другу, и не замедлили им воспользоваться.

Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком, подобным Костанжогло. После разговора с хозяином все становилось так ясно; возможность разбогатеть казалась так очевидной. Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно и так казалось свойственно самой его натуре, что начал помышлять он сурьезно о приобретении не воображаемого, но действительного поместья; он определил тут же на деньги, которые будут выданы ему из ломбарда за фантастические души, приобрести поместье уже не фантастическое. Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогло, — расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого, все высмотревши собственны-

ми глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок и бойким ходом двинутся все пружины хозяйства, деятельно толкая друг друга. Труд закипит, и, подобно тому <как> в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться изо всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял перед ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки! Собственно за ум он не уважал еще ни одного человека. Костанжогло был первый. Чичиков понял и то, что с таким нечего толковать о мертвых душах и самая речь об этом будет неуместна. Его занимал теперь другой прожект — купить именье Хлобуева. Десять тысяч у него было: другие десять тысяч предполагал он призанять у Костанжогло, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому, желающему разбога-

теть и заняться хозяйством. Остальные десять тысяч можно было обязаться потом, по заложении душ. Заложить все накопленные души еще нельзя было, потому что не было еще земель, на которые следовало переселить их. Хотя <уверял> он, что в Херсонской губернии есть у него земли, но они существовали больше в предположенье. Предполагалось еще и скупить их в Херсонской губернии, потому что они там продавались за бесценок и даже отдавались даром, лишь бы только на них селились. Думал он также и о том, что надобно торопиться закупать, у кого какие еще находятся беглецы и мертвецы, ибо помещики друг перед другом спешат закладывать имения и скоро во всей России может не остаться и угла, не заложенного в казну. Все эти мысли попеременно наполняли его голову и мешали сну. Наконец сон, который уже целые четыре часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял наконец и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.

Глава четвертая

На другой день все обделалось как нельзя лучше. Костанжогло дал с радостью десять тысяч без процентов, без поручительства — просто под одну расписку. Так был он готов помогать всякому на пути к приобретенью. Этого мало: он сам взялся сопровождать Чичикова к Хлобуеву, с тем чтобы осмотреть вместе с ним имение. После сытного завтрака все они отправились, севши все трое в коляску Павла Ивановича; пролетки хозяина следовали порожняком за ними. Ярб бежал впереди, сгоняя с дороги птиц. В полтора часа с небольшим сделали они восемнадцать верст и увидели деревушку с двумя домами. Один большой и новый, недостроенный и остававшийся вчерне несколько лет, другой маленький и старенький. Хозяина нашли они растрепанного, заспанного, недавно проснувшегося; на сюртуке у него была заплатка, а на сапоге дырка.

Приезду гостей он обрадовался, как бог весть чему. Точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался.

— Константин Федорович! Платон Михайлович! — вскрикнул он. — Отцы родные! вот

одождали приездом! Дайте протереть глаза! Я уж, право, думал, что ко мне никто не заедет. Всяк бегаёт меня, как чумы: думает — попрошу займы. Ох, трудно, трудно, Константин Федорович! Вижу — сам всему виной! Что делать? свинья свиньей зажил. Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде: сапоги, как видите, с дырами. Да чем вас потчевать, скажите?

— Пожалуйста, без околичностей. Мы к вам приехали за делом, — сказал Костанжогло. — Вот вам покупатель, Павел Иванович Чичиков.

— Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку.

Чичиков дал ему обе.

— Хотел бы очень, почтеннейший Павел Иванович, показать вам имение, стоящее внимания... Да что, господа, позвольте спросить, вы обедали?

— Обедали, обедали, — сказал Костанжогло, желая отделаться. — Не будем и мешкать и пойдем теперь же.

— В таком случае пойдем.

Хлобуев взял в руки картуз. Гости надели

на головы картузы, и все отправились пешком осматривать деревню.

— Пойдем осматривать беспорядки и беспутство мое, — говорил Хлобуев. — Конечно, вы сделали хорошо, что пообедали. Поверьте ли, Константин Федорович, курицы нет в доме, — до того дожил. Свиньей себя веду, просто свиньей!

Он, глубоко вздохнув и как бы чувствуя, что мало будет участия со стороны Константина Федоровича и жестковато его сердце, подхватил под руку Платонова и пошел с ним вперед, прижимая крепко его к груди своей. Костанжогло и Чичиков остались позади и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении.

— Трудно, Платон Михалыч, трудно! — говорил Хлобуев Платонову. — Не можете вообразить, как трудно! Безденежье, бесхлебье, бессапожье! Трын-трава бы это было все, если бы был молод и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей, — сгрустнется, поневоле сгрустнется...

Платонову стало жалко.

— Ну, а если вы продадите деревню, это вас поправит? — спросил он.

— Какое поправит! — сказал Хлобуев, махнув рукой. — Все пойдет на уплату необходимых долгов, а затем для себя не останется и тысячи.

— Так что ж вы будете делать?

— А бог знает, — говорил Хлобуев, пожимая плечами.

Платонов удивился.

— Как же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться из таких обстоятельств?

— Что ж предпринять?

— Будто нет уже средств?

— Никаких.

— Ну, ищите должности, возьмите какое-нибудь место.

— Ведь я губернский секретарь. Какое ж мне могут дать выгодное место? Жалованье дадут ничтожное, а ведь у меня жена, пятеро детей.

— Ну, частную какую-нибудь должность. Пойдите в управляющие.

— Да кто ж мне поверит имение! я промотал свое.

— Ну, да если голод и смерть грозят, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не может ли брат мой через кого-либо в городе выхлопотать какую-нибудь должность.

— Нет, Платон Михайлович, — сказал Хлобуев, вздохнувши и сжавши крепко его руку, — не гожусь я теперь никуда. Одряхлел прежде старости своей, и поясница болит от прежних грехов, и ревматизм в плече. Куды мне! Что разорять казну! И без того теперь завелось много служащих ради доходных мест. Храни бог, чтобы из-за меня, из-за доставки мне жалованья прибавлены были подати на бедное сословие: и без того ему трудно при этом множестве сосущих. Нет, Платон Михайлович, бог с ним.

«Вот положение! — думал Платонов. — Это хуже моей спячки».

Тем временем Костанжогло и Чичиков, идя позади их на порядочном расстоянии, так между собою говорили:

— Вон запустил как все! — говорил Костанжогло, указывая пальцем. — Довел мужика до какой бедности! Когда случился падеж, так уж тут нечего глядеть на свое добро. Тут все

свое продай, да снабди мужика скотиной, чтобы он не оставался и одного дни без средств производить работу. А ведь теперь и годами не поправишь: и мужик уже изленился, и загулял, и стал пьяница.

— Так, стало быть, теперь не совсем выгодно и покупать эдакое имение? — спросил Чичиков.

Тут Костанжогло взглянул на него так, как бы хотел ему сказать: «Ты что за невежа! С азбуки, что ли, нужно с тобой начинать?»

— Невыгодно! да через три года я буду получать двадцать тысяч годового дохода с этого именья. Вот оно как невыгодно! В пятнадцати верстах. Безделица! А земля-то какова? разглядите землю! Всё поемные места. Да я засею льну, да тысяч на пять одного льну отпущу; репой засею — на репе выручу тысячи четыре. А вон смотрите — по косогору рожь поднялась; ведь это все падаль. Он хлеба не сеял — я это знаю. Да этому именью полтораста тысяч, а не сорок.

Чичиков стал опасаться, чтобы Хлобуев не услышал, и потому отстал еще подальше.

— Вон сколько земли оставил впусе! — го-

ворил, начиная сердиться, Костанжогло. — Хоть бы повестил вперед, так набрели бы охотники. Ну, уж если нечем пахать, так копай под огород. Огородом бы взял. Мужика заставил пробыть четыре года без труда. Безделица! Да ведь этим одним ты уже его развратил и навеки погубил. Уж он успел привыкнуть к лохмотью и бродяжничеству! Это стало уже жизнью его. — И, сказавши это, плюнул Костанжогло, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело...

— Я не могу здесь больше оставаться: мне смерть глядеть на этот беспорядок и запустенье! Вы теперь можете с ним покончить и без меня. Отберите у этого дурака поскорее сокровище. Он только бесчестит Божий дар!

И, сказавши это, Костанжогло простился с Чичиковым и, нагнавши хозяина, стал также прощаться.

— Помилуйте, Константин Федорович, — говорил удивленный хозяин, — только что приехали — и назад!

— Не могу. Мне крайняя надобность быть дома, — сказал Костанжогло, простился, сел и уехал на своих пролетках.

Казалось, как будто Хлобуев понял причину его отъезда.

— Не выдержал Константин Федорович, — сказал он. — Чувствую, что не весело такому хозяину, каков он, глядеть на эдакое беспутное управленье. Верите ли, что не могу, не могу, Павел Иванович... что почти вовсе не сеял хлеба в этом году! Как честный человек. Семян не было, не говоря уже о том, что нечем пахать. Ваш братец, Платон Михайлыч, говорят, необыкновенный хозяин; о Константине Федоровиче что уж говорить — это Наполеон своего рода. Часто, право, думаю: «Ну, зачем столько ума дается в одну голову? ну, что бы хоть каплю его в мою глупую, хоть бы на то, чтобы сумел дом свой держать! Ничего не умею, ничего не могу». Ах, Павел Иванович, <возьмите> в свое распоряжение! Жаль больше всего мне мужичков бедных. Чувствую, что не умел быть...[285] что прикажете делать, не могу быть взыскательным и строгим. Да и как мог приучить их к порядку, когда сам беспорядочен! Я бы их отпустил сейчас же на волю, да как-то устроен русский человек, как-то не может без понукателя... Так и

задремлет, так и заплеснет.

— Ведь это, точно, странно, — сказал Платонов, — отчего это у нас так, что если не смотришь во все глаза за простым человеком, сделается и пьяницей и негодяем?

— От недостатка просвещения, — заметил Чичиков.

— Ну, бог весть отчего. Вот мы и просветились, а ведь как живем? Я и в университете был, и слушал лекции по всем частям, а искусству и порядку жить не только не выучился, а еще как бы больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утонченности да комфорта, больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я бестолково учился? Только нет: ведь так и другие товарищи. Может быть, два-три человека извлекли себе настоящую пользу, да и то оттого, может, что и без того были умны, а прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье, да и выманивает деньги. Ей-богу! Ведь учиться приходили только затем, чтобы аплодировать профессорам, раздавать им награды, а не самим от них получать. Так из про-

свещенья-то мы все-таки выберем то, что погаже; наружность его схватим, а его самого <не> возьмем. Нет, Павел Иванович, не умеем мы жить отчего-то другого, а отчего, ей-богу, я не знаю.

— Причины должны быть, — сказал Чичиков.

Вздыхнул глубоко бедный Хлобуев и сказал так:

— Иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек — какой-то пропащий человек. Нет силы воли, нет отваги на постоянство. Хочешь все сделать — и ничего не можешь. Все думаешь — с завтрашнего дни начнешь новую жизнь, с завтрашнего дни примешься за все как следует, с завтрашнего дни сядешь на диету, — ничуть не бывало: к вечеру того же дни так объешься, что только хлопаяешь глазами и язык не ворочается, как сова, сидишь, глядя на всех, — право и эдак все.

— Нужно в запасе держать благоразумие, — сказал Чичиков, — ежеминутно совещаться с благоразумием, вести с ним дружескую беседу.

— Да что! — сказал Хлобуев. — Право, мне

кажется, мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньги, — не верю я и тому! На старости и его черт попутает — спустит потом всё вдруг! И все у нас так: и благородные, и мужики, и просвещенные, и непросвещенные. Вон какой был умный мужик: из ничего нажил сто тысяч, а как нажил сто тысяч, пришла в голову дурь сделать ванну из шампанского, и выкупался в шампанском. Но вот мы, кажется, и все обсмотрели. Больше ничего нет. Хотите разве взглянуть на мельницу? Впрочем, в ней нет колеса, да и строенье никуда не годится.

— Что ж и рассматривать ее! — сказал Чичиков.

— В таком случае пойдем домой. — И они все направили шаги к дому.

На возвратном пути были виды те же. Неопрятный беспорядок так и выказывал отовсюду безобразную свою наружность. Все было опущено и запущено. Прибавилась только новая лужа посреди улицы. Сердитая баба, в замасленной дерюге, прибила до полусмерти

бедную девчонку и ругала на все бока всех чертей. Поодаль два мужика глядели с равнодушием стоическим на гнев пьяной бабы. Один чесал у себя пониже спины, другой зевал. Зевота видна была на строениях. Крыши тоже зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. «Мое-то будущее достоянье — мужики, — подумал Чичиков, — дыра на дыре и заплатка на заплате!» И точно, на одной избе, вместо крыши, лежали целиком ворота; провалившиеся окна подперты были жердями, стащенными с господского амбара. Словом, в хозяйство введена была, кажется, система Тришкина кафтана: отрезывались обшлага и фалды на заплату локтей.

Они вошли в комнаты. Чичикова несколько поразило смещение нищеты с некоторыми блестящими безделушками позднейшей роскоши. Посреди изорванной утвари и мебели — новенькие бронзы. Какой-то Шекспир сидел на чернильнице; на столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почесыванья себе самому спины. Хлобуев отрекомендовал им хозяйку жену. Она была хоть куда. В Москве не ударила бы лицом в <грязь>. Пла-

тъе на ней было со вкусом, по моде. Говорить любила больше о городе да о театре, который там завелся. По всему было видно, что деревню она любила еще меньше, чем муж, и что зевала она больше Платонова, когда оставалась одна. Скоро комната наполнилась детьми, девочками и мальчиками. Их было пятеро. Шестое принеслось на руках. Все были прекрасны. Мальчики и девочки — загляденье. Они были одеты мило и со вкусом, были резвы и веселы. И от этого было еще грустнее глядеть на них. Лучше бы одеты они были дурно, в простых пестрядевых юбках и рубашках, бегали себе по двору и ничем не отличались от простых крестьянских детей! К хозяйке приехала гостья. Дамы ушли на свою половину. Дети убежали вслед за ними. Мужчины остались одни.

Чичиков приступил к покупке. По обычаю всех покупателей, сначала он охаял покупаемое имение. И, охаявши его со всех сторон, сказал:

— Какая же будет ваша цена?

— Видите ли что? — сказал Хлобуев. — Запрашивать с вас дорого не буду, да и не люб-

лю: это было бы с моей стороны и бессовестно. Я от вас не скрою также и того, что в деревне моей из ста душ, числящихся по ревизии, и пятидесяти нет налицо: прочие или умерли от эпидемической болезни, или отлучились беспаспортно, так что вы почитайте их как бы умершими. Поэтому-то я и прошу с вас всего только тридцать тысяч.

— Ну вот — тридцать тысяч! Именье запущено, люди мертвы, и тридцать тысяч! Возьмите двадцать пять тысяч.

— Павел Иванович! Я могу его заложить в ломбард в двадцать пять тысяч, понимаете ли это? Тогда я получаю двадцать пять тысяч и имение при мне. Продаю я единственно затем, что мне нужны скоро деньги, а при закладке была бы проволочка, надобно бы платить приказным, а платить нечем.

— Ну, да все-таки возьмите двадцать пять тысяч.

Платонову сделалось совестно за Чичикова.

— Покупайте, Павел Иванович, — сказал он. — За именье можно всегда дать эту <цену>. Если вы не дадите за него тридцать ты-

сяч, мы с братом складываемся и покупаем.

Чичиков испугался...

— Хорошо! — сказал он. — Даю тридцать тысяч. Вот две тысячи задатку дам вам теперь, восемь тысяч через неделю, а остальные двадцать тысяч через месяц.

— Нет, Павел Иванович, только на том условии, чтобы деньги как можно скорее. Теперь вы мне дайте пятнадцать тысяч, по крайней мере, а остальные никак не дальше, как через две недели.

— Да нет пятнадцати тысяч! Десять у меня всего теперь. Дайте соберу.

То есть Чичиков лгал: у него было двадцать тысяч.

— Нет, пожалуйста, Павел Иванович! я говорю, что необходимо мне нужны пятнадцать тысяч.

— Да, право, недостает пяти тысяч. Не знаю сам откуда взять.

— Я вам займу, — подхватил Платонов.

— Разве эдак! — сказал Чичиков и подумал про себя: «А это, однако же, кстати, что он дает займы: в таком случае завтра можно будет привезти». Из коляски была принесена

шкатулка, и тут же было из нее вынуто десять тысяч Хлобуеву; остальные же пять тысяч обещано было привезти ему завтра: то есть обещано; предполагалось же привезти три; другие потом, денька через два или три, а если можно, то и еще несколько просрочить. Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег. Если ж настояла крайняя необходимость, то все-таки казалось ему, лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То есть он поступал как все мы! Ведь нам приятно же поводить просителя. Пусть его натрет себе спину в передней! Будто уж и нельзя подождать ему! Какое нам дело до того, что, может быть, всякий час ему дорог и терпят оттого дела его! «Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как-то некогда».

— Где ж вы после этого будете жить? — спросил Платонов Хлобуева. — Есть у вас другая деревушка?

— Деревушки нет, а я перееду в город. Все же равно это было нужно сделать не для себя, а для детей. Им нужны будут учителя закону божию, музыке, танцеванью. Ведь в деревне нельзя достать.

«Куска хлеба нет, а детей хочет учить танцеванью!» — подумал Чичиков.

«Странно!» — подумал Платонов.

— Что ж, нужно нам чем-нибудь вспрыснуть сделку, — сказал Хлобуев. — Эй, Кирюшка, принеси, брат, бутылку шампанского.

«Куска хлеба нет, а шампанское есть!» — подумал Чичиков.

Платонов не знал, что и думать.

Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуев развязался, стал умен и мил. Остроты и анекдоты сыпались у него беспрерывно. В речах его оказалось столько познания людей и света! Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал в немногих словах соседей помещиков, так видел ясно недостатки и ошибки всех, так хорошо знал историю разорившихся бар — и почему, и как, и отчего они разорились, так оригинально и метко умел передавать малейшие их привычки, что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека.

— Послушайте, — сказал Платонов, схва-

тивши его за руку, — как вам, при таком уме, опытности и познаниях житейских, не найти средств выпутаться из вашего затруднительного положения?

— Средства-то есть, — сказал Хлобуев и вслед за тем выгрузил им целую кучу проектов. Все они были до того нелепы, так странны, так мало истекали из познания людей и света, что оставалось только пожимать плечами да говорить: «Господи боже! какое необъятное расстояние между знаньем света и умением пользоваться этим знаньем!» Почти все проекты основывались на потребности вдруг достать откуда-нибудь сто или двести тысяч. Тогда, казалось ему, все бы устроилось как следует, и хозяйство бы пошло, и прорехи все бы заплатались, и доходы можно учетверить, и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою: — Но что прикажете делать? Нет да и нет такого благодетеля, который бы решился дать двести или хоть сто тысяч взаймы! Видно, уж Бог не хочет.

«Еще бы, — подумал Чичиков, — эдакому дураку послал Бог двести тысяч!»

— Есть у меня, пожалуй, трехмиллионная тетушка, — сказал Хлобуев, — старушка богомольная: на церкви и монастыри дает, но помогать ближнему тугенька. А старушка очень замечательная. Прежних времен тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней одних канареек сотни четыре. Моськи, и приживалки, и слуги, каких уж теперь нет. Меньшому из слуг будет лет шестьдесят, хоть она и зовет его: «Эй, малый!» Если гость как-нибудь себя не так поведет, так она за обедом прикажет обнести его блюдом. И обнесут, право.

Платонов усмехнулся.

— А как ее фамилия и где она проживает? — спросил Чичиков.

— Живет она у нас же в городе — Александра Ивановна Ханасарова.

— Отчего ж вы не обратитесь к ней? — сказал с участием Платонов. — Мне кажется, если бы она только поближе вошла в положение вашего семейства, она бы не в силах была отказать вам, как бы ни была туга.

— Ну нет, в силах! У тетушки натура крепковата. Это старушка — кремень, Платон Михайлыч! Да к тому ж есть и без меня угодни-

ки, которые около нее увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы, приплелся ей в родню... бог с ним! может быть, и успеет! Бог с ними со всеми! Я подъезжать и прежде не умел, а теперь и подавно: спина уж не гнется.

«Дурак! — подумал Чичиков. — Да я бы за такой тетушкой ухаживал, как нянька за ребенком!»

— Что ж, ведь так разговаривать сухо, — сказал Хлобуев. — Эй, Кирюшка! принеси-ка еще другую бутылку шампанского.

— Нет, нет, я больше не буду пить, — сказал Платонов.

— Я также, — сказал Чичиков. И оба отказались они решительно.

— Ну, так, по крайней мере, дайте мне слово побывать у меня в городе: восьмого июня я даю обед нашим городским сановникам.

— Помилуйте! — воскликнул Платонов. — В таком состоянии, разорившись совершенно, — и еще обед?

— Что же делать? нельзя. Это долг, — сказал Хлобуев. — Они меня также угощали.

«Что с ним делать?» — подумал Платонов.

Он еще не знал того, что на Руси, на Москве и других городах, водятся такие мудрецы, которых жизнь — необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких средств, и обед, который задается, кажется, последний; и думают обедающие, что завтра же хозяина потащут в тюрьму. Проходит после того десять лет — мудрец все еще держится на свете, еще больше прежнего кругом в долгах и так же задает обед, и все думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащут хозяина в тюрьму. Такой же мудрец был Хлобуев. Только на одной Руси можно было существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже оказывал покровительство, поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал им у себя приют и квартиру. Если <бы> кто заглянул в дом его, находившийся в городе, он бы никак не узнал, кто в нем хозяин. Сегодня поп в ризе служил там молебен, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день какой-нибудь, не известный никому почти в дому, поселялся в самой гостиной с бумагами и заводил там кабинет, и это не сму-

щало, не беспокоило никого в доме, как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме, иногда же задавали в нем такой обед, который удовлетворил бы вкусу утонченнейшего гастронома. Хозяин являлся праздничный, веселый, с осанкой богатого барина, с походкой человека, которого жизнь протекает в избытке и довольстве. Зато временами бывали такие тяжелые минуты, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутною его жизнью. В эти горькие, тяжелые минуты развертывал он книгу и читал жития страдальцев и труженников, воспитывавших дух свой быть выше страданий и несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух и слезами исполнялись глаза его. И — странное дело! — почти всегда приходила к нему в то время откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги; или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, с стремительным ве-

ликодушьем женского сердца присылала ему богатую подачу; или выигрывалось где-нибудь в пользу его дело, о котором он никогда и не слышал. Благоговейно, благодарно признавал он тогда необъятное милосердие провиденья, служил благодарственный молебен и — вновь начинал беспутную жизнь свою.

— Жалок он мне, право, жалок! — сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него.

— Блудный сын! — сказал Чичиков. — О таких людях и жалеть нечего.

И скоро они оба перестали о нем думать: Платонов — потому, что лениво и полусонно смотрел на положенья людей, так же как и на все в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатленья как-то не впечатлевались глубоко в его душе. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что все мысли были заняты приобретенною покупкою. Он исчислял, рассчитывал и соображал все выгоды купленного имения. И как ни рассматривал, на какую сторону ни оборачивал дело, видел, что во всяком

случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить именье в ломбард. Можно было поступить и так, чтобы заложить одних только мертвецов и беглых. Можно было поступить и так, чтобы прежде выпродать по частям все лучшие земли, а потом уже заложить в ломбард. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком, по образцу Костанжогла, пользуясь его советами, как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные <руки> имение (разумеется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогле денег, взятых у него займы. Словом, всячески, как ни оборачивал он это дело, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Он почувствовал удовольствие, — удовольствие оттого, что стал теперь помещиком, помещиком не фантастическим, но действительным, помещиком, у которого есть уже и земли, и уголья, и люди — люди не мечтательные, не в во-

ображенье пребываемые, но существующие. И понемногу начал он и подпрыгивать, и потирать себе руки, и подпевать, и приговаривать, и вытрубил на кулаке, приставивши его себе ко рту, как бы на трубе, какой-то марш, и даже выговорил вслух несколько поощрительных слов и названий себе самому, вроде мордашки и каплунчика. Но потом, вспомнив, что он не один, притихнул вдруг, постарался кое-как замять неумеренный порыв восторженности, и когда Платонов, принявши кое-какие из этих звуков за обращенную к нему речь, спросил у него: «Чего?» — он отвечал: «Ничего».

Тут только, оглянувшись вокруг себя, он заметил, что они ехали прекрасною рощей; милостивая березовая ограда тянулась у них справа и слева. Между дерев мелькала белая каменная церковь. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу, в картузе, с суковатой палкой в руке. Облизанный аглицкий пес на высоких ножках бежал перед ним.

— Стой! — сказал Платонов кучеру и выскочил из коляски.

Чичиков вышел вслед за ним также из коляски. Они пошли пешком навстречу господину. Ярб уже успел облобызаться с аглицким псом, с которым, как видно, был знаком уже давно, потому что принял равнодушно в свою толстую морду живое лобызанье Азора (так назывался аглицкий пес). Проворный пес, именем Азор, облобызавши Ярба, подбежал к Платонову, лизнул проворным языком ему руки, вскочил на грудь Чичикова с намерением лизнуть его в губы, но не достал и, оттолкнутый им, побежал снова к Платонову, пробуя лизнуть его хоть в ухо.

Платон и господин, шедший навстречу, в это время сошлись и обнялись.

— Помилуй, брат Платон! что это ты со мною делаешь? — живо спросил господин.

— Как что? — равнодушно отвечал Платонов.

— Да как же в самом деле: три дни от тебя ни слуху ни духу! Конюх от Петуха привел твоего жеребца. «Поехал, говорит, с каким-то барином». Ну, хоть бы слово сказал: куды, зачем, на сколько времени? Помилуй, братец, как же можно этак поступать? А я бог знает

чего не передумал в эти дни!

— Ну что ж делать? позабыл, — сказал Платонов. — Мы заехали к Константину Федоровичу... Он тебе кланяется, сестра также. Рекомендую тебе Павла Ивановича Чичикова. Павел Иванович, — брат Василий. Прошу любить его так же, как и меня.

Брат Василий и Чичиков, снявши картузы, поцеловались.

«Кто бы такой был этот Чичиков? — думал брат Василий. — Брат Платон на знакомства неразборчив и, верно, не узнал, что он за человек». И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что он стоял, несколько наклонивши голову и сохранив приятное выражение в лице.

Со своей стороны Чичиков оглянул также, насколько позволяло приличие, брата Василия. Он был ростом пониже Платона, волосом темней его и лицом далеко не так красив; но в чертах его лица было много жизни и одушевления. Видно было, что он не пребывал в дремоте и спячке.

— Знаешь ли, Василий, что я придумал? — сказал брат Платон.

— Что? — спросил Василий.

— Проездитья по святой Руси, вот именно с Павлом Ивановичем: авось-либо это размычет и растеребит хандру мою.

— Как же так вдруг решился?.. — начал было говорить Василий, озадаченный не на шутку таким решеньем, и чуть было не прибавил: «И еще замыслил ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и черт знает что!» И, полный недоверия, стал он рассматривать искоса Чичикова и увидел, что он держался необыкновенно прилично, сохраняя все то же приятное наклоненье головы несколько набок и почти-тительно-приветное выражение в лице, так что никак нельзя было узнать, какого роду был Чичиков.

В молчанье они пошли все трое по дороге, по левую руку которой находилась мелькавшая промеж дерев белая каменная церковь, по правую — начинавшие показываться, также промеж дерев, строенья господского двора. Наконец показались и ворота. Они вступили на двор, где был старинный господский дом под высокой крышей. Две огромные

липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своею тенью. Сквозь опущенные вниз развесистые их ветви едва сквозили стены дома, находившегося позади их. Под липами стояло несколько длинных скамеек. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Чичиков сел, и Платонов сел. По всему двору разливалось благоуханье цветущих сиреней и черемух, которые, нависши отовсюду из сада в двор через милостивую березовую ограду, кругом его обходившую, казались цветущею цепью или бисерным ожерельем, его короновавшим.

Ухватливый и ловкий детина лет семнадцати, в красивой рубашке розовой ксандрейки, принес и поставил перед ними графины с водой и разноцветными квасами всех сортов, шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши пред ними графины, он подошел к дереву и, взявши прислоненный к нему заступ, отправился в сад. У братьев Платоновых вся дворня работала в саду, все слуги были садовники, или лучше сказать, слуг не было, но садовники исправляли иногда эту должность. Брат Василий все утверждал, что без слуг

можно обойтись. Подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особого сословья; что будто русский человек по тех пор только хорош, и расторопен, и красив, и развязен, и много работает, покуда он ходит в рубашке и зипуне, но что, как только заберется в немецкий сертук — станет и неуклюж, и некрасив, и нерасторопен, и лентяй. Он утверждал, что и чистоплотность у него содержится по тех пор, покуда он еще носит рубашку и зипун, и что, как только заберется в немецкий сертук — и рубашки не переменяет, и в баню не ходит, и спит в сертуке, и заведутся у него под сертуком и клопы, и блохи, и черт знает что. В этом, может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался как-то особенно щеголевато и опрятно, и таких красивых рубашек и зипунов нужно было далеко поискать.

— Не угодно ли вам прохладиться? — сказал брат Василий Чичикову, указывая на графины. — Это квасы нашей фабрики; ими издавна славится дом наш.

Чичиков налил стакан из первого графина — точно липец, который он некогда пивал

в Польше: игра как у шампанского, а газ так и шибнул приятным кручком изо рта в нос.

— Нектар! — сказал Чичиков. Выпил стакан от другого графина — еще лучше.

— В какую же сторону и в какие места предполагаете преимущественно ехать? — спросил брат Василий.

— Еду я, — сказал Чичиков, потирая себе рукой по колену, в сопровожденье легкого покачиванья всего туловища и наклоняя голову набок, — не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благодетель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо, — не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении, — видеть свет и коловращенье людей — есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука.

Брат Василий задумался. «Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его есть правда, — думал <он>. — Брату моему Платону недостает познания людей, света и жизни». Несколько помолчав, сказал так

вслух:

— Я начинаю думать, Платон, что путешествие может, точно, расшевелить тебя. У тебя душевная спячка. Ты просто заснул, и заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу все, что ни случается.

— Вольно ж принимать все близко к сердцу! — сказал Платон. — Ты выискиваешь себе беспокойства и сам сочиняешь себе тревоги.

— Как сочинять, когда и без того на всяком шагу неприятность? — сказал Василий. — Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку Леницын? Захватил пустошь, где у нас празднуют Красную горку.

— Не знает, потому и захватил, — сказал Платон, — человек новый, только что приехал из Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать.

— Знает, очень знает. Я посылал ему сказать, но он отвечал грубостью.

— Тебе нужно было съездить самому растолковать. Переговори с ним сам.

— Ну нет. Он чересчур уже заважничал. Я к нему не поеду. Поезжай, если хочешь, ты.

— Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он может меня и провести и обмануть.

— Да если угодно, так я поеду, — сказал Чичиков.

Василий взглянул на него и подумал: «Экой охотник ездить!»

— Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек, — сказал Чичиков, — и в чем дело.

— Мне совестно наложить на вас такую неприятную комиссию, потому что одно изъяснение с таким человеком для меня уже неприятная комиссия. Надобно вам сказать, что он из простых, мелкопоместных дворян нашей губернии, выслужился в Петербурге, вышел кое-как в люди, женившись там на чьей-то побочной дочери, и заважничал. Задает здесь тоны. Да у нас в губернии, слава богу, народ живет не глупый: мода нам не указ, а Петербург — не церковь.

— Конечно, — сказал Чичиков, — а дело в чем?

— А дело, по-настоящему, вздор. У него нет

достаточно земли, — ну, он и захватил чужую пустошь, то есть он рассчитывал, что она не нужна, и о ней хозяева <забыли>, а у нас, как нарочно, уже испокон века собираются крестьяне праздновать там Красную горку. По этому-то поводу я готов пожертвовать лучше другими лучшими землями, чем отдать ее. Обычай для меня — святыня.

— Стало быть, вы готовы уступить ему другие земли?

— То есть, если бы он не так со мной поступил; но он хочет, как я вижу, знаться судом. Пожалуй, посмотрим, кто выиграет. Хоть на плане и не так ясно, но есть свидетели — старики еще живы и помнят.

«Гм! — подумал Чичиков. — Оба-то, как вижу, с душком». И сказал вслух:

— А мне кажется, что это дело обделать можно миролюбиво. Все зависит от посредника. Письмен...[286]

...

...что и для вас самих будет очень выгодно перевести, например, на мое имя всех умерших душ, какие по сказкам последней ревизии числятся в имениях ваших, так, чтобы я

за них платил подати. А чтобы не подать какого соблазна, то передачу эту вы совершите посредством купчей крепости, как бы эти души были живые.

«Вот тебе на! — подумал Леницын. — Это что-то престранное». И несколько даже отодвинулся со стулом назад, потому что совершенно озадачился.

— Я никак в том не сомневаюсь, что вы на это дело совершенно будете согласны, — сказал Чичиков, — потому что это дело совершенно в том роде, как мы сейчас говорили. Совершенно оно будет между солидными людьми втайне, и соблазна никому.

Что тут делать? Леницын очутился в затруднительном положении. Он никак не мог предвидеть, чтобы мнение, им незадолго изъявленное, привело его к такому быстрому осуществленью на деле. Предложение было до крайности неожиданно. Конечно, ничего вредоносного ни для кого не могло быть в этом поступке: помещики все равно заложили бы также эти души наравне с живыми, стало быть, казне убытку не может быть никакого; разница в том, что они были бы в одних ру-

ках, а тогда были бы в разных. Но тем не менее он затруднился. Он был законник и делец, и делец в хорошую сторону: неправо не решил бы он дела ни за какие подкупы. Но тут он остановился, не зная, какое имя дать этому действию — правое ли оно или неправое. Если бы кто-нибудь другой обратился к нему с таким предложением, он мог бы сказать: «Это вздор! пустяки! Я не хочу играть в куклы или дурачиться». Но гость уже так ему понравился, так они сошлись во многом насчет успехов просвещения и наук, — как отказать? Леницын находился в презатруднительном положении.

Но в это время, точно как будто затем, чтобы помочь горю, вошла в комнату молодая курносенькая хозяйка, супруга Леницына, и бледная, и худенькая, и низенькая, и одетая со вкусом, как все петербургские дамы. За нею был вынесен мамкой на руках ребенок-первенец, плод нежной любви недавно бракосочетавшихся супругов. Чичиков, разумеется, подошел тот же час к даме и, не говоря уже о приличном приветствии, одним приятным наклоном головы набок много

расположил ее в свою пользу. Затем подбежал к ребенку. Тот было разревелся; но, однако же, Чичикову удалось словами: «Агу, агу, душенька!» — пощелкиванием пальцев и сердоликовой печаткой от часов переманить его на руки к себе. Взявши его к себе на руки, начал он приподымать его кверху и тем возбуждал в ребенке приятную усмешку, которая очень обрадовала обоих родителей.

Но от удовольствия ли или от чего-нибудь другого, ребенок вдруг повел себя нехорошо. Жена Леницына закричала:

— Ах, боже мой! он вам испортил весь фрак!

Чичиков посмотрел: рукав новешенького фрака был весь испорчен. «Пострел бы тебя побрал, чертенок проклятый!» — пробормотал он в сердцах про себя.

Хозяин, и хозяйка, и мамка — все побежали за одеколоном; со всех сторон принялись его вытирать.

— Ничего, ничего, совершенно ничего, — говорил Чичиков. — Может ли что-нибудь невинный ребенок? — И в то же время думал про себя: «Да ведь как метко обделал, каналь-

чонок проклятый!» — Золотой возраст! — сказал он, когда уже его совершенно вытерли и приятное выражение возвратилось на его лицо.

— А ведь точно, — сказал хозяин, обратившись к Чичикову, тоже с приятной улыбкой, — что может быть завидней ребяческого возраста: никаких забот, никаких мыслей о будущем...

— Состоянье, на которое можно сей же час поменяться, — сказал Чичиков.

— За глаза, — сказал Леницын.

Но, кажется, оба соврали: предложи им такой обмен, они бы тут же на попятный двор. Да и что за радость сидеть у мамки на руках да портить фраки!

Молодая хозяйка и первенец удалились с мамкой, потому что и на нем требовалось кое-что поправить: наградив Чичикова, он и себя не позабыл.

Это, по-видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина к удовлетворению Чичикова. Как, в самом деле, отказать такому гостю, который столько ласк оказал его малютке и великодушно попла-

тился за то собственным фрактом? Леницын думал так: «Почему ж, в самом деле, не исполнить его просьбы, если уж такое его желание?»[287].....

Одна из последних глав

В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате из золотистой термаламы, развалясь на диване, торговался с заезжим контрабандистом-купцом жидовского происхождения и немецкого выговора, и перед ними уже лежали купленная штука первейшего голландского полотна на рубашки и две бумажные коробки с отличнейшим мылом первостатейнейшего свойства (это было мыло то именно, которое он некогда приобрел на радзивилловской таможне; оно имело действительно свойство сообщать нежность и белизну щекам изумительную), — в то время, когда он, как знаток, покупал эти необходимые для воспитанного человека продукты, раздался гром подъехавшей кареты, отозвавшийся легким дрожаньем комнатных окон и стен, и вошел его превосходительство Алексей Иванович Леницын.

— На суд вашего превосходительства представляю: каково полотно, и каково мыло, и какова эта вчерашнего дни купленная вещьца! — При этом Чичиков надел на голову ермолку, вышитую золотом и бусами, и очутился, как персидский шах, исполненный достоинства и величия.

Но его превосходительство, не отвечая на вопрос, сказал с озабоченным видом:

— Мне нужно с вами поговорить об деле.

В лице его заметно было расстройство. Почтенный купец немецкого выговора был тот же час выслан, и они остались <одни>.

— Знаете ли вы, какая неприятность? Отыскалось другое завещание старухи, сделанное назад тому пять <лет>. Половина имения отдается на монастырь, а другая — обеим воспитанницам пополам, и ничего больше никому.

Чичиков оторопел.

— Ну это завещанье — вздор. Оно ничего не значит, оно уничтожено вторым.

— Но ведь это не сказано в последнем завещании, что им уничтожается первое.

— Это само собою разумеется: последнее

уничтожает первое. Первое завещанье никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я был при ней. Кто его подписал? кто были свидетели?

— Засвидетельствовано оно, как следует, в суде. Свидетелем был бывший совестный судья Бурмилов и Хаванов.

«Худо, — подумал Чичиков, — Хаванов, говорят, честен; Бурмилов — старый ханжа, читает по праздникам „Апостола“ в церквях».

— Но вздор, вздор, — сказал он вслух и тут же почувствовал решимость на все штуки. — Я знаю это лучше: я участвовал при последних минутах покойницы. Мне это лучше всех известно. Я готов присягнуть самолично.

Слова эти и решимость на минуту успокоили Леницына. Он был очень взволнован и уже начинал было подозревать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикации относительно завещания. Теперь укорил себя в подозрении. Готовность присягнуть была явным доказательством, что Чичиков <невинен>. Не знаем мы, точно ли достало бы духу у Павла Ивановича присягнуть на святом, но сказать это достало духа.

— Будьте покойны, я переговорю об этом деле с некоторыми юрисконсультами. С вашей стороны тут ничего не должно прилагать; вы должны быть совершенно в стороне. Я же теперь могу жить в городе, сколько мне угодно.

Чичиков тот же час приказал подать экипаж и отправился к юрисконсульту. Этот юрисконсульт был опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лет, как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никак нельзя было отрешить от должности. Все знали его, за подвиги его следовало бы шесть раз уже послать на поселенье. Кругом и со всех сторон был он в подозрениях, но никаких нельзя было возвести явных и доказанных улик. Тут было действительно что-то таинственное, и его бы можно было смело признать колдуном, если бы история, нами описанная, принадлежала временам невежества.

Юрисконсульт поразил холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшего совершенную противоположность хорошим мебельям красного дерева, золотым часам под стеклянным колпаком,

люстре, сквозившей сквозь кисейный чехол, ее сохранявший, и вообще всему, что было вокруг и носило на себе яркую печать блистательного европейского просвещения.

Не останавливаясь, однако ж, скептической наружностью юрисконсульта, Чичиков объяснил затруднительные пункты дела и в заманчивой перспективе изобразил необходимо последующую благодарность за добрый совет и участие.

Юрисконсульт отвечал на это изображением неверности всего земного и дал тоже искусно заметить, что журавль в небе ничего не значит, а нужно синицу в руку.

Нечего делать: нужно было дать синицу в руки. Скептическая холодность философа вдруг исчезла. Оказалось, что это был наидобродушнейший человек, наиразговорчивый и наиприятнейший в разговорах, не уступавший ловкостью оборотов самому Чичикову.

— Позвольте вам вместо того, чтобы заводить длинное дело, вы, верно, не хорошо рассмотрели самое завещание: там, верно, есть какая-нибудь приписочка. Вы возьмите его на время к себе. Хотя, конечно, подобных ве-

щей на дом брать запрещено, но если хорошенько попросить некоторых чиновников... Я с своей стороны употреблю мое участие.

«Понимаю», — подумал Чичиков и сказал:

— В самом деле, я, точно, хорошо не помню, есть ли там приписочка или нет, — точно как будто и не сам писал это завещание.

— Лучше всего вы это посмотрите. Впрочем, во всяком случае, — продолжал он весьма добродушно, — будьте всегда покойны и не смущайтесь ничем, даже если бы и хуже что произошло. Никогда и ни в чем не отчаивайтесь: нет дела неисправимого. Смотрите на меня: я всегда покоен. Какие бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствие мое непоколебимо.

Лицо юрисконсульта-философа пребывало действительно в необыкновенном спокойствии, так что Чичиков много...[288]

— Конечно, это первая вещь, — сказал <он>. — Но согласитесь, однако ж, что могут быть такие случаи и дела, такие дела и такие поклепы со стороны врагов, и такие затруднительные положения, что отлетит всякое спокойствие.

— Поверьте мне, это малодушие, — отвечал очень покойно и добродушно философ-юрист. — Старайтесь только, чтобы производство дела было все основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идет к развязке и удобно к решению, старайтесь — не то чтобы оправдывать и защищать себя, — нет, просто спутать новыми вводными и так посторонними статьями.

— То есть, чтобы...

— Спутать, спутать, — и ничего больше, — отвечал философ, — ввести в это дело посторонние, другие обстоятельства, которые запутали <бы> сюда и других, сделать сложным — и ничего больше. И там пусть приезжий петербургский чиновник разбирает. Пусть разбирает, пусть его разбирает! — повторил он, смотря с необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову, как смотрит учитель ученику, когда объясняет ему заманчивое место из русской грамматики.

— Да, хорошо, если подберешь такие обстоятельства, которые способны пустить в глаза мглу, — сказал Чичиков, смотря тоже с удо-

вольствием в глаза философа, как ученик, который понял заманчивое место, объясняемое учителем.

— Подберутся обстоятельства, подберутся! Поверьте: от частого упражнения и голова делается находчивою. Прежде всего помните, что вам будут помогать. В сложности дела выигрыш многим: и чиновников нужно больше, и жалованья им больше... Словом, втянуть в дело побольше лиц. Нет нужды, что иные напрасно попадут: да ведь им же оправдаться легко, им нужно отвечать на бумаги, им нужно о<t>купиться... Вот уж и хлеб... Поверьте мне, что, как только обстоятельства становятся критические, первое дело спутать. Так можно спутать, так все перепутать, что никто ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впутаю в свое — и губернатора, и вице-губернатора, и полицеймейстера, и казначея, — всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочет упечь. Там, пожалуй, пусть их выпутываются, да куда они выпутаются, другие успеют на-

житься. Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы запутать. — Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза опять с тем наслаждением, с каким учитель объясняет ученику еще заманчивейшее место из русской грамматики.

«Нет, этот человек, точно, мудрец», — подумал про себя Чичиков и расстался с юрисконсультom в наименее приятнейшем и в наилучшем расположении духа.

Совершенно успокоившись и укрепившись, он с небрежною ловкостью бросился на эластические подушки коляски, приказал Селифану откинуть кузов назад (к юрисконсульту он ехал с поднятым кузовом и даже застегнутой кожей) и расположился, точь-в-точь как отставной гусарский полковник или сам Вишнепокромов — ловко подвернувши одну ножку под другую, обратя с приятностью ко встречным лицо, сиявшее из-под шелковой новой шляпы, надвинутой несколько на ухо. Селифану было приказано держать направление к гостиному двору. Купцы, и приезжие и туземные, стоя у дверей лавок, почтительно снимали шляпы, и Чичи-

ков, не без достоинства, приподнимал им в ответ свою. Многие из них уже были ему знакомы; другие были хоть приезжие, но, очарованные ловким видом умеющего держать себя господина, приветствовали его, как знакомые. Ярмарка в городе Тьфуславле не прекращалась. Отошла конная и земледельческая, началась — с красными товарами для господ просвещенья высшего. Купцы, приехавшие на колесах, располагали назад не иначе возвращаться, как на санях.

— Пожалуйте-с, пожалуйте-с! — говорил у суконной лавки, учтиво рисуясь, с открытою головою, немецкий сюртук московского шитья, с шляпой в руке на отлете, только чуть державший двумя пальцами бритый круглый подбородок и выражение тонкости просвещенья в лице.

Чичиков вошел в лавку.

— Покажите-ка мне, любезнейший, суконца.

Благоприятный купец тотчас приподнял вверх открывавшуюся доску с стола и, сделавши таким образом себе проход, очутился в лавке, спиною к товару и лицом к покупате-

лю.

Ставши спиной к товарам и лицом к покупателю, купец, с обнаженной головою и шляпой на отлете, еще раз приветствовал Чичикова. Потом надел шляпу и, приятно нагнувшись, обеими же руками упершись в стол, сказал так:

— Какого рода сукон-с? английских мануфактур или отечественной фабрикации предпочитаете?

— Отечественной фабрикации, — сказал Чичиков, — но только именно лучшего сорта, который называется аглицким.

— Каких цветов пожелаете иметь? — спросил купец, все так <же> приятно колеблясь на двух упершихся в стол руках.

— Цветов темных, оливковых или бутылочных с искрою, приближающихся, так сказать, к бруснике, — сказал Чичиков.

— Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого <нет> в обеих столицах, — говорил купец, потащившись доставать сверху штуку; бросил ее ловко на стол, разворотил с другого конца и поднес к свету. — Каков отлив-с! Самого модного, послед-

него вкуса!

Сукно блистало, как шелковое. Купец чу-
тьем пронюхал, что перед ним стоит знаток
сукон, и не захотел начинать с десятирубле-
вого.

— Порядочное, — сказал Чичиков, слегка
погладивши. — Но знаете ли, почтеннейший?
покажите мне сразу то, что вы напоследок по-
казываете, да и цвету больше того... больше
искрасна, чтобы искры были.

— Понимаю-с: вы истинно желаете такого
цвета, какой нонче в Пе<тербурге в моду>
входит. Есть у меня сукно отличнейшего
свойства. Предупеждаю, что высокой цены,
но и высокого достоинства.

— Давайте.

О цене ни слова.

Штука упала сверху. Купец ее развернул
еще с большим искусством, поймал другой
конец и развернул точно шелковую материю,
поднес ее Чичикову так, что <тот> имел воз-
можность не только рассмотреть его, но даже
понюхать, сказавши только:

— Вот-с сукно-с! цвету наваринского дыму
с пламенем.

О цене условились. Железный аршин, подобный жезлу чародея, отхватал тут же Чичикову на фрак <и> на панталоны. Сделавши ножницами нарезку, купец произвел обеими руками ловкое дранье сукна во всю его ширину, при окончанье которого поклонился Чичикову с наибольштительнейшею приятностью. Сукно тут же было свернуто и ловко заверочено в бумагу; сверток завертелся под легкой бечевкой. Чичиков хотел было лезть в карман, но почувствовал, <что> поясницу его приятно окружает чья-то весьма деликатная рука, и уши его слышали:

— Что вы здесь покупаете, почтеннейший?

— А, приятнейше неожиданная встреча! — сказал Чичиков.

— Приятное столкновенье, — сказал голос того же самого, который окружил его поясницу. Это был Вишнепокромов. — Готовился было пройти лавку без вниманья, вдруг вижу знакомое лицо — как отказаться от приятного удовольствия! Нечего сказать, сукна в этом году несравненно лучше. Ведь это стыд, срам! Я никак не мог было отыскать... Я готов тридцать рублей, сорок рублей... возьми пятьдесят

даже, но дай хорошего. По мне, или иметь вещь, которая бы, точно, была уже отличнейшая, или уж лучше вовсе не иметь. Не так ли?

— Совершенно так! — сказал Чичиков. — Зачем же трудиться, как не затем, чтобы, точно, иметь хорошую вещь?

— Покажите мне сукна средних цен, — раздался позади голос, показавшийся Чичикову знакомым. Он оборотился: это был Хлобуев. По всему видно было, что он покупал сукно не для прихоти, потому что сертучок был больно протерт.

— Ах, Павел Иванович! позвольте мне с вами наконец поговорить. Вас нигде не встретишь. Я был несколько раз — все вас нет и нет.

— Почтеннейший, я так был занят, что, ей-ей, нет времени. — Он поглядел по сторонам, как бы от объяснения улизнуть, и увидел входящего в лавку Муразова. — Афанасий Васильевич! Ах, боже мой! — сказал Чичиков. — Вот приятное столкновение!

И вслед за ним повторил Вишнепокромов: — Афанасий Васильевич!

<Хлобуев> повторил:

— Афанасий Васильевич!

И, наконец, благовоспитанный купец, отнеся шляпу от головы настолько, сколько могла рука, и весь подавшись вперед, произнес:

— Афанасию Васильевичу наше нижайшее почтение!

На лицах напечатлелась та собачья услужливость, какую оказывает миллионщикам собачье отродье людей.

Старик раскланялся со всеми и обратился прямо к Хлобуеву:

— Извините меня: я, увидевши издали, как вы вошли в лавку, решил вас побеспокоить. Если вам будет после свободно и по дороге мимо моего дома, так сделайте милость, зайдите на малость времени. Мне с вами нужно будет переговорить.

Хлобуев сказал:

— Очень хорошо, Афанасий Васильевич.

— Какая прекрасная погода у нас, Афанасий Васильевич, — сказал Чичиков.

— Не правда ли, Афанасий Васильевич, — подхватил Вишнепокромов, — ведь это необыкновенно.

— Да-с, благодаря Бога недурно. Но нужно

бы дождичка для посева.

— Очень, очень бы нужно, — сказал Вишнепокромов, — даже и для охоты хорошо.

— Да, дождичка бы очень не мешало, — сказал Чичиков, которому не нужно было дождика, но как уже приятно согласиться с тем, у кого миллион.

И старик, раскланявшись снова со всеми, вышел.

— У меня просто голова кружится, — сказал Чичиков, — как подумаешь, что у этого человека десять миллионов. Это просто даже невероятно.

— Противузаконная, однако ж, вещь, — сказал Вишнепокромов, — капиталы не должны быть в одних <руках>. Это теперь предмет трактатов во всей Европе. Имеешь деньги, — ну, сообщай другим: угощай, давай балы, производи благодетельную роскошь, которая дает хлеб мастерам, ремесленникам.

— Это я не могу понять, — сказал Чичиков. — Десять миллионов — и живет как простой мужик! Ведь это с десятью миллионами черт знает что можно сделать. Ведь это можно так завести, что и общества другого у тебя

не будет, как генералы да князья.

— Да-с, — прибавил купец, — у Афанасия Васильевича при всех почтенных качествах непросветительности много. Если купец почтенный, так уж он не купец, он некоторым образом есть уже негоциант. Я уж тогда должен себе взять и ложу в театре, и дочь уж я за простого полковника — нет-с, не выдам: я за генерала, иначе я ее не выдам. Что мне полковник? Обед мне уж должен кондитер поставлять, а не то что кухарка...

— Да что говорить! помилуйте, — сказал Вишнепокромов, — с десятью миллионами чего не сделать? Дайте мне десять миллионов, — вы посмотрите, что я сделаю!

«Нет, — подумал Чичиков, — ты-то не много сделаешь толку с десятью миллионами. А вот если б мне десять миллионов, я бы, точно, кое-что сделал».

«Нет, если бы мне теперь, после этих страшных опытов, десять миллионов! — подумал Хлобуев. — Э, теперь бы я не так: опытом узнаешь цену всякой копейки». И потом, минуту подумавши, спросил себя внутренне: «Точно ли бы теперь умней распорядился?» И,

махнувши рукой, прибавил: «Кой черт! я думаю, так же бы растратил, как и прежде», — и вышел из лавки, стгорая желанием знать, что объявит ему Муразов.

— Вас жду, Петр Петрович! — сказал Муразов, увидевши входящего Хлобуева. — Пожалуйста ко мне в комнатку.

И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти и у чиновника, получающего семьсот рублей в год жалованья.

— Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши лучше? После тетушки все-таки вам досталось кое-что?

— Да как вам сказать, Афанасий Васильевич? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего пя<тьдесят> душ крестьян и тридцать тысяч денег, которыми я должен был расплатиться с частью моих долгов, — и у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанью самое нечистое. Тут, Афанасий Васильевич, завелись такие мошенничества! Я вам сейчас расскажу, и вы подивитесь, что такое делается. Этот Чичиков...

— Позвольте, Петр Петрович: прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить собственно о вас. Скажите мне: сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно затем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств?

— Мои обстоятельства трудные, — сказал Хлобуев. — Да чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться совсем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно, по крайней мере, сто тысяч, если не больше. Словом, мне это невозможно.

— Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?

— Ну, я бы тогда нанял себе квартирку, занялся бы воспитанием детей, потому что мне самому не служить: я уж никуда не гожусь.

— А почему ж вы никуда не годитесь?

— Да куды ж мне, сами посудите! Мне нельзя начинать с канцелярского писца. Вы позабыли, что у меня семейство. Мне сорок, у меня уж и поясница болит, я обленился; а должности мне поважнее не дадут; я ведь не на хорошем счету. Я признаюсь вам: я бы и сам не взял наживной должности. Я человек

хоть и дрянной, и картежник, и все что хотите, но взятков брать я не стану. Мне не ужиться с Красноносковым да Самосвистовым.

— Но все, извините-с, я не могу понять, как же быть без дороги; как идти не по дороге, как ехать, когда нет земли под ногами; как плыть, когда челн не на воде? А ведь жизнь — путешествие. Извините, Петр Петрович, те господа ведь, про которых вы говорите, всё же они на какой-нибудь дороге, всё же они трудятся. Ну, положим, как-нибудь своротили, как случается со всяким грешным; да есть надежда, что опять набредут. Кто идет — нельзя, чтоб не пришел; есть надежда, что и набредет. Но как тому попасть на какую-нибудь дорогу, кто остается праздно? Ведь дорога не придет ко мне.

— Поверьте мне, Афанасий Васильевич, я чувствую совершенно справедливость <вашу>, но говорю вам, что во мне решительно погибла, умерла всякая деятельность; не вижу я, что могу сделать какую-нибудь пользу кому-нибудь на свете. Я чувствую, что я решительно бесполезное бревно. Прежде, покамест был помоложе, так мне казалось, что все дело

в деньгах, что если бы мне в руки сотни тысяч, я бы осчастливил множество: помог бы бедным художникам, завел бы библиотеки, полезные заведения, собрал бы коллекции. Я человек не без вкуса и, знаю, во многом мог бы гораздо лучше распорядиться тех наших богачей, которые все это делают бестолково. А теперь вижу, что и это суета, и в этом немного толку. Нет, Афанасий Васильевич, никуда не гожусь, ровно никуда, говорю вам. На малейшее дело не способен.

— Послушайте, Петр <Петрович>! Но ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете и идете, — идете в четыре часа утра, когда никто не подымается.

— Это — другое дело, Афанасий Васильевич. Я это делаю для спасения души, потому что в убеждении, что этим хоть сколько-нибудь заглажу праздную жизнь, что как я ни дурен, но молитвы все-таки что-нибудь значат у Бога. Скажу вам, что я молюсь, — даже и без веры, но все-таки молюсь. Слышится только, что есть господин, от которого все зави-

сит, как лошадь и скотина, которою пашем, знает чутьем того, <кто> запрягает.

— Стало быть, вы молитесь затем, чтобы угодить тому, которому молитесь, чтобы спасти свою душу, и это дает вам силы и заставляет вас подыматься рано с постели. Поверьте, что если <бы> вы взялись за должность свою таким образом, как бы в уверенности, что служите тому, кому вы молитесь, у вас бы появилась деятельность, и вас никто из людей не в силах <был бы> охладить.

— Афанасий Васильевич! вновь скажу вам — это другое. В первом случае я вижу, что я все-таки делаю. Говорю вам, что я готов пойти в монастырь и самые тяжкие, какие на меня ни наложат, труды и подвиги я буду исполнять там. Я уверен, что не мое дело рассуждать, что взыщется <с тех>, которые заставили меня делать; там я повинуюсь и знаю, что Богу повинуюсь.

— А зачем же так вы не рассуждаете и в делах света? Ведь и в свете мы должны служить Богу, а не кому иному. Если и другому кому служим, мы потому только служим, будучи уверены, что так Бог велит, а без того мы бы и

не служили. Что ж другое все способности и дары, которые разные у всякого? Ведь это орудия моленья нашего: то — словами, а это делом. Ведь вам же в монастырь нельзя идти: вы прикреплены к миру, у вас семейство.

Здесь Муразов замолчал. Хлобуев тоже замолчал.

— Так вы полагаете, что если бы, например, у <вас> было двести тысяч, так вы могли <бы> упрочить жизнь и повести отныне жизнь расчетливее?

— То есть, по крайней мере, я займусь тем, что можно будет сделать, — займусь воспитанием детей, буду иметь в возможности доставить им хороших учителей.

— А сказать ли вам на это, Петр Петрович, что чрез два года будете опять кругом в долгах, как в шнурках?

Хлобуев несколько помолчал и начал с расстановкою:

— Однако ж нет, после таких опытов...

— Да что ж опыты, — сказал Муразов. — Ведь я вас знаю. Вы человек с доброй душой: к вам придет приятель попросить займы — вы ему дадите; увидите бедного человека —

вы захотите помочь; приятный гость придет к вам — захотите получше угостить, да и покоритесь первому доброму движенью, а расчет и позабываете. И позвольте вам наконец сказать по искренности, что детей-то своих вы не в состоянии воспитать. Детей своих воспитать может только тот отец, который уж сам выполнил долг свой. Да и супруга ваша... она и доброй души... она совсем не так воспитана, чтобы детей воспитать. Я даже думаю — извините меня, Петр Петрович, — не во вред ли детям будет даже и быть с вами?

Хлобуев призадумался; он начал себя мысленно осматривать со всех сторон и наконец почувствовал, что Муразов был прав отчасти.

— Знаете ли, Петр Петрович? отдайте мне на руки это — детей, дела; оставьте и семью вашу, и детей: я их приберегу. Ведь обстоятельства ваши таковы, что вы в моих руках; ведь дело идет к тому, чтобы умирать с голоду. Тут уже на все нужно решаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?

— И очень уважаю, даже несмотря на то что он ходит в сибирке.

— Иван Потапыч был миллионщик, выдал

дочерей своих за чиновников, жил как царь; а как обанкрутился — что ж делать? — пошел в приказчики. Не весело-то было ему с серебряного блюда перейти за простую миску: казалось-то, что и руки ни к чему не подымались. Теперь Иван Потапыч мог бы хлебать с серебряного блюда, да уж не хочет. У него уж набралось бы опять, да он говорит: «Нет, Афанасий Иванович,[289] служу я теперь уж не себе и <не> для себя, а потому, что Бог так <судил>. По своей воле не хочу ничего делать. Слушаю вас, потому что Бога хочу слушаться, а не людей, и так как Бог устами лучших людей только говорит. Вы умнее меня, а потому не я отвечаю, а вы». Вот что говорит Иван Потапыч; а он, если сказать по правде, в несколько раз умнее меня.

— Афанасий Васильевич! вашу власть и я готов над собою <признать>, ваш слуга и что хотите: отдаюсь вам. Но не давайте работы свыше сил: я не Потапыч и говорю вам, что ни на что доброе не гожусь.

— Не я-с, Петр Петрович, наложу-с <на> вас, а так как вы хотели бы послужить, как говорите сами, так вот богоугодное дело. Стро-

ится в одном месте церковь доброхотным дательством благочестивых людей. Денег нестает, нужен сбор. Наденьте простую сибирку... ведь вы теперь простой человек, разорившийся дворянин и тот же нищий: что ж тут чиниться? — да с книгой в руках, на простой тележке и отправляйтесь по городам и деревням. От архиерея вы получите благословенье и шнурованную книгу, да и с Богом.

Петр Петрович был изумлен этой совершенно новой должностью. Ему, все-таки дворянину некогда древнего рода, отправиться с книгой в руках просить на церковь, притом трястись на телеге! А между тем вывернуться и уклониться нельзя: дело богоугодное.

— Призадумались? — сказал Муразов. — Вы здесь две службы сослужите: одну службу Богу, а другую — мне.

— Какую же вам?

— А вот какую. Так как вы отправитесь по тем местам, где я еще не был, так вы узнаете-с на месте все: как там живут мужички, где побогаче, где терпят нужду и в каком состоянье все. Скажу вам, что мужичков люблю оттого, может быть, что я и сам из мужиков. Но дело

В том, что завелось меж ними много всякой мерзости. Раскольники там и всякие-с бродяги смущают их, против властей их восстанавливают, против властей и порядков, а если человек притеснен, так он легко восстает. Что ж, будто трудно подстрекнуть человека, который, точно, терпит. Да дело в том, что не снизу должна начинаться расправа. Уж тогда плохо, когда пойдут на кулаки: уж тут толку не будет — только ворам пожива. Вы человек умный, вы рассмотрите, узнаете, где действительно терпит человек от других, а где от собственного беспокойного нрава, да и расскажете мне потом все это. Я вам на всякий случай небольшую сумму дам на раздачу тем, которые уже и действительно терпят безвинно. С вашей стороны будет также полезно утешить их словом и получше истолковать им то, что Бог велит переносить безропотно, и молиться в это время, когда несчастлив, а не буйствовать и расправляться самому. Словом, говорите им, никого не возбуждая ни против кого, а всех примиряя. Если увидите в ком противу кого бы то ни было ненависть, употребите все усилие.

— Афанасий Васильевич! дело, которое вы мне поручаете, — сказал Хлобуев, — святое дело; но вы вспомните, кому вы его поручаете. Поручить его можно человеку почти святой жизни, который бы и сам уже <умел> прощать другим.

— Да я и не говорю, чтобы все это вы исполнили, а по возможности, что можно. Дело-то в том, что вы все-таки приедете с познаниями тех мест и будете иметь понятие, в каком положении находится тот край. Чиновник никогда не столкнется с лицом, да и мужик-то с ним не будет откровенен. А вы, прося на церковь, заглянете ко всякому — и к мещанину и к купцу, и будете иметь случай расспросить всякого. Говорю-с вам это по той причине, что генерал-губернатор особенно теперь нуждается в таких людях; и вы, мимо всяких канцелярских повышений, получите такое место, где не бесполезна будет ваша жизнь.

— Попробую, приложу старанья, сколько хватит сил, — сказал Хлобуев. И в голосе его было заметно ободренье, спина распрямилась, и голова приподнялась, как у человека,

которому светит надежда. — Вижу, что вас Бог наградил разумением, и вы знаете иное лучше нас, близоруких людей.

— Теперь позвольте вас спросить, — сказал Муразов, — что ж Чичиков и какого роду <дело>?

— А <про> Чичикова я вам расскажу вещи неслыханные. Делает он такие дела... Знаете ли, Афанасий Васильевич, что завещание ведь ложное? Отыскалось настоящее, где все имение принадлежит воспитанницам.

— Что вы говорите? Да ложное-то завещание кто смастерил?

— В том-то и дело, что премерзейшее дело! Говорят, что Чичиков и что подписано завещание уже после смерти: нарядили какую-то бабу, наместо покойницы, и она уж подписала. Словом, дело соблазнительнейшее. Говорят, тысячи просьб поступило с разных сторон. К Марье Еремеевне теперь подъезжают женихи; двое уж чиновных лиц из-за нее дерутся. Вот какого роду дело, Афанасий Васильевич!

— Не слышал я об этом ничего, а дело, точно, не без греха. Павел Иванович Чичиков,

признаюсь, для меня презагадочен, — сказал Муразов.

— Я подал от себя также просьбу, затем, чтобы напомнить, что существует ближайший наследник...

«А мне пусть их все передерутся, — думал Хлобуев, выходя. — Афанасий Васильевич не глуп. Он дал мне это порученье, верно, обдумавши. Исполнить его — вот и все». Он стал думать о дороге, в то время, когда Муразов все еще повторял в себе: «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!»

А между тем, в самом деле, по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложность и первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились улики на Чичикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его еще при

таможне. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю. Бог весть откуда все это пронюхали и знали. Только были улики даже и в таких делах, об которых, думал Чичиков, кроме его и четырех стен никто не знал. Покамест все это было еще судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания: «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня: но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело — спокойствие. Обделаем все». Записка эта успокоила совершенно его. «Этот человек, точно, гений», — сказал Чичиков.

В довершение хорошего, портной в это время принес <платье>. <Чичиков> получил желанье сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообща им еще большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан.

Он ударил по нем тут щеткой, прибавив: «Ведь какой дурак, а в целом он составляет картину». Фрак, казалось, был сшит еще лучше штанов: ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавши весь его перегиб. Под правой мышкой немного жало, но от этого еще лучше прихватывало на талии. Портной, который стоял в полном торжестве, говорил только: «Будьте покойны, кроме Петербурга, нигде так не сошьют». Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил: «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так, чтобы впредь никто не появился с такими городами, а пусть себе пишет из какого-нибудь «Карлсеру» или «Копенгара».

Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и *con amore*. [290] Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде: щечки интереснее, подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам;

новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный <жилет> давал <тон> манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо! Поворотился налево — еще лучше! Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так чешет по-французски, что перед ним сам француз ничего, который, даже и рассердясь, не срамит себя непристойно русским словом, даже и выбраниться не умеет на русском языке, а распечет французским диалектом. Деликатность такая! Он попробовал, склоня головку несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения: выходила просто картина. Художник, бери кисть и пиши! В удовольствии, он совершил тут же легкий прыжок, вроде антраша. Вздрыгнула комод и шлепнулась на землю склянка с одеколоном; но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал: «К кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше...»

Как вдруг в передней — вроде некоторого

бряканья сапогов с шпорами и жандарм в полном вооружении, как <будто> в лице его было целое войско. «Приказано сей же час явиться к генерал-губернатору!» Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромный палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и черт знает что: целое войско в одном только! Он начал было возражать, страшило грубо заговорило: «Приказано сей же час!» Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькало и другое страшило, взглянул в окошко — и экипаж. Что тут делать? Так, как был, в фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть и, дрожа всем телом, отправился к генерал-губернатору, и жандарм с ним.

В передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте! вас князь уже ждет», — сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошел, думая только: «Вот как схватит, да без суда, без всего, прямо в Сибирь!»

Сердце его забилося с такой силою, с какой не бьется даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась пред ним дверь: предстал кабинет, с портфелями, шкафами и книгами, и князь гневный, как сам гнев.

— Губитель, губитель! — сказал Чичиков. — Он мою душу погубит, зарежет, как волк агнца!

— Я вас пощадил, я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало бы в острог; а вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек.

Губы князя дрожали от гнева.

— Каким же, ваше сиятельство, бесчестнейшим поступком и мошенничеством? — спросил Чичиков, дрожа всем телом.

— Женщина, — произнес князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову, — женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку.

Чичиков стал бледен, как полотно.

— Ваше сиятельство! Скажу всю истину дела. Я виноват; точно, виноват; но не так вино-

ват. Меня обнесли враги.

— Вас не может никто обнести, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может <выдумать> последний лжец. Вы во всю свою жизнь, я думаю, не делали небесчестного дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно, есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь! Нет, теперь полно! С сей же минуты будешь отведен в острог и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен <ждать> разрешения участи своей. И это милостиво еще, потому что <ты> хуже их в несколько <раз>: они в армяке и тулупе, а ты...

Он взглянул на фрак наваринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил.

— Ваше сиятельство, — вскрикнул Чичиков, — умилосердитесь! Вы отец семейства. Не меня пощадите — старуха мать!

— Врешь! — вскрикнул гневно князь. — Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь — матерью!

— Ваше сиятельство, я мерзавец и последний негодяй, — сказал Чичиков голосом...

[291] — Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства; но, вот Бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства... Но что за бедственные стечения обстоятельств! Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование. На всяком шагу соблазны и искушение... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была — точно вихорь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я — человек, ваше сиятельство!

Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю, так, как был, во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете с атласным галстуком, новых штанах и причесанных волосах, изливавших чистый запах одеколона.

— Поди прочь от меня! Позвать, чтобы его взяли, солдат! — сказал князь взошедшим.

— Ваше сиятельство! — кричал <Чичиков> и обхватил обеими руками сапог князя.

Чувство содроганья пробежало по всем жилам <князя>.

— Подите прочь, говорю вам! — сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятия Чичикова.

— Ваше сиятельство! не сойду с места, куда не получу милости! — говорил <Чичиков>, не выпуская сапог князя и проехавшись, вместе с ногой, по полу в фраке наваринского пламени и дыма.

— Подите, говорю вам! — говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращения, какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он стряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округленный подбородок, но не выпустил сапога и еще с большей силой держал ногу в своих объятьях. Два дюжих жандарма в силах оттащили его и, взявши под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно-страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему...

В самых дверях на лестницу навстречу — Муразов. Луч надежды вдруг скользнул. В

Один миг с силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумленному старику.

— Батюшка, Павел Иванович, что с вами?

— Спасите! ведут в острог, на смерть...

Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать.

Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат, некрашенный стол, два скверных стула, с железною решеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой шел дым и не давало тепла, — вот обиталище, где помещен был наш <герой>, уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом фраке наваринского пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи, взять шкатулку, где были деньги. Бумаги, крепости на мертвые <души> — все было теперь у чиновников! Он повалился на землю, и плотядный червь грусти страшной, безнадежной обвился около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищенное. Еще день такой, день такой грусти, и не было

<бы> Чичикова вовсе на свете. Но и над Чичиковым не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились: вошел старик Муразов.

Если бы терзаемому палящей жаждой влил кто в засохнувшее горло струю ключевой воды, то он бы не оживился так, как оживился бедный Чичиков.

— Спаситель мой! — сказал Чичиков и, схвативши вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди. — Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного!

Он залился слезами.

Старик глядел на него скорбно-болезненным взором и говорил только:

— Ах, Павел, Павел Иванович! Павел Иванович, что вы сделали?

— Я подлец... Виноват... Я преступил... Но посудите, посудите, разве можно так поступать? Я — дворянин. Без суда, без следствия, бросить в тюрьму, отобрать все от меня: вещи, шкатулка... там деньги, там все имущество, там все мое имущество, Афанасий Васильевич, — имущество, которое кровным потом приобрел...

И, не в силах будучи удерживать порыва вновь подступившей к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщю стен острога и глухо отозвавшимся в отдаленье, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукою около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом.

— Павел Иванович, все равно: и с имуществом, и со всем, что ни есть на свете, вы должны проститься. Вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека.

— Сам погубил себя, сам знаю — не умел вовремя остановиться. Но за что же такая страшная <кара>, Афанасий Васильевич? Я разве разбойник? От меня разве пострадал кто-нибудь? Разве я сделал кого несчастным? Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы отечеству. Покривил, не спорю, покривил... что ж делать? Но ведь покривил, увидя, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше на-

прямик. Но ведь я трудился, я изощрялся. А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, иль небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего!.. Афанасий Васильевич! Я не блудничал, я не пьянствовал. Да ведь сколько трудов, сколько железного терпенья! Да я, можно сказать, выкупил всякую добытую копейку страданьями, страданьями! Пусть их кто-нибудь выстрадает то, что я! Ведь что вся жизнь моя: лютая борьба, судно среди волн. И потеряно, Афанасий Васильевич, то, что приобретено такой борьбой...

Он не договорил и зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул, и оторвал совсем висевшую разорванную полуфрака, и швырнул ее прочь от себя, и, запустивши обе руки себе в волосы, об укрепленье которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь болью, которою хотел заглушить ничем не угасимую боль сердца.

— Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил <Муразов>, скорбно смотря на него и качая <головой>. — Я все думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же, и си-

лою и терпением, да подвизались бы на добрый труд и для лучшей <цели>! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добыванья своей копейки!.. да умели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добыванья своей копейки!..

— Афанасий Васильевич! — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки. — О, если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество! клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь! Спасите, благодетель, спасите!

— Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решил на это, но ведь князь справедлив, — он ни за что не отступит.

— Благодетель! вы все можете сделать. Не закон меня страшит, — я перед законом найду средства, — но то, что неповинно я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка... спасите!

Он обнял ноги старика, облил их слезами.

— Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил старик Муразов, качая <головою>. — Как вас ослепило это имущество! Из-за него вы и бедной души своей не слышите!

— Подумаю и о душе, но спасите!

— Павел Иванович! — сказал старик Муразов и остановился. — Спасти вас не в моей власти, — вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павел Иванович, — я попрошу у вас награды за труды: бросьте все эти поползновенья на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, — а у меня его больше, чем у вас, — я бы не заплакал. Ей-ей, <дело> не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять! Вы уж пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым, добрым людям;

или, если знобит сильное желанье оставить по себе потомков, женитесь на небогатой доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти; пусть и он вас позабудет. В нем нет успокоенья. Вы видите: все в нем враг, искушитель или предатель.

Чичиков задумался. Что-то странное, какие-то неведомые дотоле, неизвестные чувства, ему необъяснимые, пришли к нему: как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то подавленное из детства суровым, мертвым поученьем, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутно занесенное зимней вьюгой окно.

— Спасите только, Афанасий Васильевич! — вскричал он, — поведу другую жизнь, последую вашему совету! Вот вам мое слово!

— Смотрите же, Павел Иванович, от слова не отступитесь, — сказал Муразов, держа его

руку.

— Отступился бы, может быть, если бы не такой страшный урок, — сказал, вздохнувши, бедный Чичиков и прибавил: — Но урок тяжел; тяжел, тяжел урок, Афанасий Васильевич!

— Хорошо, что тяжел. Благодарите за это Бога, помолитесь. Я пойду о вас стараться.

Сказавши это, старик вышел.

Чичиков уже не плакал, не рвал на себе фрака и волос: он успокоился.

— Нет, полно! — сказал он наконец, — другую, другую жизнь. Пора в самом деле сделаться порядочным. О, если бы мне как-нибудь только выпутаться и уехать хоть с небольшим капиталом, поселюсь вдали от... А купчие?.. — Он подумал: «Что ж? зачем оставить это дело, стольким трудом приобретенное?.. Больше не стану покупать, но заложить те нужно. Ведь приобретение это стоило трудов! Это я заложу, заложу, с тем чтобы купить на деньги поместье. Сделаюсь помещиком, потому что тут можно сделать много хорошего». И в мыслях его пробудились те чувства, которые овладели им, когда он был <у>

Гоброжогло,[292] и милая, при греющем свете вечернем, умная беседа хозяина о том, как плодотворно и полезно занятие помещьем. Деревня так вдруг представилась ему прекрасно, точно как бы он в силах был почувствовать все прелести деревни.

— Глупы мы, за суетой гоняемся! — сказал он наконец. — Право, от безделья! Все близко, все под рукой, а мы бежим за тридевять <земель>. Чем не жизнь, если займешься хоть бы и в глуши? Ведь удовольствие действительно в труде. И ничего нет слаще, как плод собственных трудов... Нет, займись трудом, поселись в деревне, и займись честно, так, чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж в самом деле, будто я уже совсем негодный? У меня есть способности к хозяйству; я имею качества и бережливости, и расторопности, и благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться, чувствую, что есть. Теперь только истинно и ясно чувствую, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, не отрываясь от того места и угла, на котором он постановлен.

И трудолюбивая жизнь, удаленная от шу-

ма городов и тех оболъщений, которые от праздности выдумал, позабывши труд, человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провиденье за этот тяжелый <урок>, если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но... одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа — Самосвистов, эпикуреец, собой лихач, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес: его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые, опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку, — это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, он был честным человеком, он пакостил и гадил. Непостижимое дело! с товарищами он был хорош, никого не продавал и, давши слово, держал; но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом,

проломом или упущением...

— Знаем все об вашем положении, все услышали! — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. — Ничего, ничего! Не робейте: все будет поправлено. Все станет работать за вас и — ваши слуги! Тридцать тысяч на всех — и ничего больше.

— Будто? — вскрикнул Чичиков. — И я буду совершенно оправдан?

— Кругом! еще и вознагражденье получите за убытки.

— И за труд?..

— Тридцать тысяч. Тут уже все вместе — и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю.

— Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи... шкатулка... все это теперь запечатано, под присмотром...

— Через час получите все. По рукам, что ли?

Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно...

— Пока прощайте! Поручил вам <сказать> наш общий приятель, что главное дело — спокойствие и присутствие духа.

«Гм! — подумал Чичиков, — понимаю: юрисконсульт!»

Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка: бумаги, деньги — и всё в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя: выбрал поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, приказал приставить еще лишних солдат для усиления присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова; связал все это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову, в виде необходимых ночных и спальных вещей, так что Чичиков, вместе с бумагами, получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия брэнного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какие приманки: вечером театр, плясунья, за которую он волочился. Деревня и тишина стали бледней, город и шум — опять ярче, яс-

ней... О, жизнь!

А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом; всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, где караулилась схваченная женщина, он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку.

— Давно ты здесь стоишь?

— С утра, ваше благородие!

— Долго до смены?

— Три часа, ваше благородие!

— Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы наместо тебя отрядил другого.

— Слушаю, ваше благородие!

И, уехав домой, ни минуты не медля, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и

бакенбардах — сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился, в усах и с ружьем, как следует, к часовым:

— Ступай, меня прислал командир выстоять, наместо тебя, смену. — Обменялся с часовым и стал сам с ружьем.

Только этого было и нужно. В это время наместо прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самошвистов подвизался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, <что> секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит, — и всех привел в такое положение, что к нему должны были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и по-

шли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело: и кто незаконнорожденный сын, и какого рода и званья у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны, и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха: оба казались равного достоинства. Когда стали наконец поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума: никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и

грешили и, под видом изловить антихриста, укокошили неантихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны <быть> помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики, — и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришел откупщик.

— Пусть войдет, — сказал князь.

Старик взошел...

— Вот вам Чичиков! Вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится.

— Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело.

— Подлог завещания, и еще какой!.. Публичное наказание плетьюми за это дело!

— Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы

защищать Чичикова. Но ведь это дело не доказанное: следствие еще не сделано.

— Улика: женщина, которая была наряжена наместо умершей, схвачена. Я ее хочу расспросить нарочно при вас. — Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину.

Муразов замолчал.

— Бесчестнейшее дело! И, к стыду, замешались первые чиновники города, сам губернатор. Он не должен быть там, где воры и бездельники! — сказал князь с жаром.

— Ведь губернатор — наследник; он имеет право на притязания; а что другие-то со всех сторон прицепились, так это-с, ваше сиятельство, человеческое дело. Умерла-с богатая, распоряженья умного и справедливого не сделала; слетелись со всех сторон охотники поживиться — человеческое дело...

— Но ведь мерзости зачем же делать?.. Подлецы! — сказал князь с чувством негодованья. — Ни одного чиновника нет у меня хорошего: все — мерзавцы!

— Ваше сиятельство! да кто ж из нас, как следует, хорош? Все чиновники нашего города — люди, имеют достоинства и многие

очень знающие в деле, а от греха всяк близок.

— Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека, что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев?

— Ваше сиятельство, — сказал Муразов, — кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведения? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу и всякую минуту бываем причиной несчастья другого, даже и не с дурным намерением. Ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость.

— Как! — воскликнул в изумлении князь, совершенно пораженный таким неожиданным оборотом речи.

Муразов остановился, помолчал, как бы соображая что-то, и наконец сказал:

— Да вот хоть бы по делу Дерпенникова.

[293]

— Афанасий Васильевич! Преступление против коренных государственных законов, равное измене земле своей!

— Я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был оболъщен и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла ровная и Дерпенникова, и какого-нибудь Вороного-Дрянного; а ведь преступления их не равны.

— Ради бога... — сказал князь с заметным волнением, — вы что-нибудь знаете об этом? скажите. Я именно недавно послал еще прямо в Петербург об смягчении его участи.

— Нет, ваше сиятельство, я не насчет того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу, да он сам не согласится, потому <что> через это пострадал бы другой. А я думаю только то, что не изволили ли вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня-с, когда я еще был начальником, много было всяких работников, и дурных и хороших... Следовало бы тоже принять во внимание и прежнюю жизнь человека, пото-

му что, если не рассмотришь все хладнокровно, а накричишь с первого раза, — запугаешь только его, да и признанья настоящего не добьешься: а как с участием его расспросишь, как брат брата, — сам все выскажет и даже не просит о смягчении, и ожесточенья ни против кого нет, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон.

Князь задумался. В это время вошел молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражались на его молодом и еще свежем лице. Видно было, что он недаром служил по особым порученьям. Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством *con amore*. Не сторя ни честолюбьем, ни желаньем прибытков, ни подражаньем другим, он занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частям и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его — это было его дело. И труды, и старания, и бессонные ночи вознаграждались ему изобильно, если дело наконец начинало перед ним объясняться, со-

кровенные причины обнаруживаться, и он чувствовал, что может передать его все в немногих словах, отчетливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-*<нибудь>* труднейшая фраза и обнаруживается настоящий смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело. Зато...[294]

[295] — ...хлебом в местах, где голод; я эту часть лучше знаю чиновников: рассмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сиятельство, я поговорю и с раскольниками. Они-то с нашим братом, с простым человеком, охотнее разговоятся. Так, бог весть, может быть, помогу уладить с ними миролюбиво. А денег-то от вас я не возьму, потому что, ей-богу, стыдно в такое время думать о своей прибыли, когда умирают с голода. У меня есть в запасе готовый хлеб; я и теперь еще послал в Сибирь, и к будущему лету вновь подвезут.

— Вас может только наградить один Бог за

такую службу, Афанасий Васильевич. А я вам не скажу ни одного слова, потому что, — вы сами можете чувствовать, — всякое слово тут бессильно. Но позвольте мне одно сказать насчет той просьбы. Скажите сами: имею ли я право оставить это дело без внимания и справедливо ли, честно ли с моей стороны будет простить мерзавцев.

— Ваше сиятельство, ей-богу, этак нельзя называть, тем более что из <них> есть многие весьма достойные. Затруднительны положения человека, ваше сиятельство, очень, очень затруднительны. Бывает так, что, кажется, кругом виноват человек: а как войдешь — даже и не он.

— Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого еще больше подымут нос и будут даже говорить, что они напугали. Они первые будут не уважать...

— Ваше сиятельство, позвольте мне вам дать свое мнение: соберите их всех, дайте им знать, что вам все известно, и представьте им ваше собственное положение точно таким самым образом, как вы его изволили изобра-

зить сейчас передо мной, и спросите у них совета: что <бы> из них каждый сделал на вашем положении?

— Да вы думаете, им будут доступны движения благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются.

— Не думаю-с, ваше сиятельство. У[296] человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве жид какой-нибудь, а не русский. Нет, ваше сиятельство, вам нечего скрываться. Скажите так точно, как изволили перед <мною>. Ведь они вас поносят, как человека честолюбивого, гордого, который и слышать ничего не хочет, уверен в себе, — так пусть же увидят всё, как оно есть. Что ж вам? Ведь ваше дело правое. Скажите им так, как бы вы не пред ними, а пред самим Богом принесли свою исповедь.

— Афанасий Васильевич, — сказал князь в раздумье, — я об этом подумаю, а пока благодарю вас очень за совет.

— А Чичикова, ваше сиятельство, прикажите отпустить.

— Скажите этому Чичикову, чтобы он уби-

рался отсюда как можно поскорей, и чем дальше, тем лучше. Его-то уже я бы никогда не простил.

Муразов поклонился и прямо от князя отправился к Чичикову. Он нашел Чичикова уже в духе, весьма покойно занимавшегося довольно порядочным обедом, который был ему принесен в фаянсовых судках из какой-то весьма порядочной кухни. По первым фразам разговора старик заметил тотчас, что Чичиков уже успел переговорить кое с кем из чиновников-казусников. Он даже понял, что сюда вмешалось невидимое участие знатока-юрисконсульта.

— Послушайте-с, Павел Иванович, — сказал он, — я привез вам свободу на таком условии, чтобы сейчас вас не было в городе. Собирайте все пожитки свои — да и с Богом, не откладывая ни минуту, потому что дело еще хуже. Я знаю-с, вас тут один человек настраивает; так объявляю вам по секрету, что такое еще дело одно открывается, что уж никакие силы не спасут этого. Он, конечно, рад других топить, чтобы нескучно, да дело к разделке. Я вас оставил в расположенье хорошем, — луч-

шем, нежели в каком теперь. Советую вам-с не в шутку. Ей-<ей>, дело не в этом имуществе, из-за которого спорят и режут друг друга люди, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте-с, Павел Иванович, что покамест, брося все то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности, как во всем народе, так и порознь во всяком... Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело. Как же хотеть, чтобы <шло> как следует. Подумайте не о мертвых душах, а <о> своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу! Я тож выезжаю завтрашний день. Поторопитесь! не то без меня беда будет.

Сказавши это, старик вышел. Чичиков задумался. Значенье жизни опять показалось немаловажным. «Муразов прав, — сказал он, — пора на другую дорогу!» Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, другой — чемодан белья. Се-лифан и Петрушка обрадовались, как бог зна-

ет чему, освобождению барина.

— Ну, любезные, — сказал Чичиков, обратившись <к ним> милостиво, — нужно укладываться да ехать.

— Покатим, Павел Иванович, — сказал Се-лифан. — Дорога, должно быть, установилась: снегу выпало довольно. Пора уж, право, вы-браться из города. Надоел он так, что и гля-деть на него не хотел бы.

— Ступай к каретнику, чтобы поставил ко-ляску на полозки, — сказал Чичиков, а сам пошел в город, но ни <к> кому не хотел захо-дить отдавать прощальных визитов. После всего этого события было и неловко, — тем бо-лее, что о нем множество ходило в городе са-мых неблагоприятных историй. Он избегал всяких встреч и зашел потихоньку только к тому купцу, у которого купил сукна наварин-ского пламени с дымом, взял вновь четыре аршина на фрак и на штаны и отправился сам к тому же портному. За двойную <цену> мастер решил усилить рвение и засадил всю ночь работать при свечах портное наро-донаселение — иглами, утюгами и зубами, и фрак на другой день был готов, хотя и

немножко поздно. Лошади все были запряжены. Чичиков, однако ж, фрак примерил. Он был хорош, точь-точь как прежний. Но, увы! он заметил, что в голове уже белело что-то гладкое, и примолвил грустно: «И зачем было предаваться так сильно сокрушенью? А рвать волос не следовало бы и подавно». Расплатившись с портным, он выехал наконец из города в каком-то странном положении. Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобраным строением, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определительный план и работники остались в недоуменье. Часом прежде его отправился старик Муразов, в рогоженной кибитке, вместе с Потапычем, а часом после отъезда Чичикова пошло приказание, что князь, по случаю отъезда в Петербург, желает видеть всех чиновников до единого.

В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного со-

ветника: правители канцелярий и дел, советники, ассессоры, Кислоедов, Красноносков, Самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие, — все ожидало с некоторым не совсем спокойным ожиданием генеральского выхода. Князь вышел ни мрачный, ни ясный: взор его был тверд, так же как и шаг... Все чиновное собрание поклонилось, многие — в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал:

— Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться с вами всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собою открытие и других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже наконец и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже, и кто главная пружина и чьим сокровенным..., [297] хотя он и очень искусно скрыл свое участие. Но дело в том, что я наме-

рен это следить не формальным следованьем по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное <время>, и надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с <бумагами> и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело, — я полагаю военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше.

Князь остановился, как <бы> ожидая ответа. Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны.

— Известно мне также еще одно дело, хотя производившие его в полной уверенности, что оно никому не может быть известно. Производство его уже пойдет не по бумагам, потому что истцом и челобитчиком я буду уже сам и представлю очевидные доказательства.

Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания; некоторые из боязливейших тоже смутились.

— Само по себе, что главным зачинщикам

должно последовать лишение чинов и имущества, прочим — отрешенье от мест. Само собой разумеется, что в числе их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, что это будет даже и не в урок другим, потому что наместо выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут, — несмотря на все это, я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что меня будут обвинять в суровой жестокости, но знаю, что те будут еще...[298] меня те же обвинять... Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы.

Содроганье невольно пробежало по всем лицам.

Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущенья душевного не выражало его лицо.

— Теперь тот самый, у которого в руках участь многих и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросает-

ся теперь к ногам вашим, вас всех просит. Все будет позабыто, изглажено, прощено; я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего течения. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, — я должен сделать клич хотя к тем, у которых еще есть в груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово «благородство». Что тут говорить о том, кто более из нас виноват! Я, может быть, больше всех виноват; я, может быть, слишком сурово вас принял вначале; может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренно хотели мне быть полезными, хотя и я, с своей стороны, мог бы также

сделать <им упрек>. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться на надменность моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своей личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотверженья и высокой любви к добру и не принял бы наконец от них полезных и умных советов. Все-таки скорей подчиненному следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчиненного. Это законней, по крайней мере, и легче, потому что у подчиненных один начальник, а у начальника сотни подчиненных. Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия; все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правите-

лей, не в силах поправить зла, как <ни> ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против <врагов>, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь <к> вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва... [299]

Драматические произведения

Ревизор

Комедия в пяти действиях

*На зеркало неча пенять, коли рожа
крива.*

Народная пословица

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий.

Анна Андреевна, жена его.

Марья Антоновна, дочь его.

Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ.

Жена его.

Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья.

Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.

Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер.

Петр Иванович Добчинский, **Петр Иванович Бобчинский**, городские помещики.

Иван Александрович Хлестаков, чиновник.

ник из Петербурга.

Осип, слуга его.

Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь.

Федор Андреевич Люлюков, **Иван Лазаревич Растаковский**, **Степан**, **Иванович Коробкин**, отставные чиновники, почетные люди в городе.

Степан Ильич Уховертов, частный пристав.

Свистунов, **Пуговицын**, **Держиморда**, полицейские.

Абдулин, купец.

Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша.

Жена унтер-офицера.

Мишка, слуга городничего.

Слуга трактирный.

Гости и гости, купцы, мещане, просители.

ХАРАКТЕРЫ И КОСТЮМЫ

Замечания для господ актеров

Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; го-

ворит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженные, с проседью.

Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполнину на романах и альбомах, вполнину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится, что отвечать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четырз раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.

Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, — один из тех людей, которых в канцеляриях

называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.

Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит серьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его — серый или синий поношенный сюртук.

Бобчинский и **Добчинский**, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и су-

рьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.

Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом — как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.

Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив.

Почтмейстер, простодушный до наивности человек.

Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти находятся пред глазами.

Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвести электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить поло-

жение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната в доме городничего.

ЯВЛЕНИЕ I

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как ревизор?

Артемий Филиппович. Как ревизор?

Городничий. Ревизор из Петербург инкогнито. И еще с секретным предписанием.

Аммос Федорович. Вот те на!

Артемий Филиппович. Вот не было работы, так подай!

Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписанием!

Городничий. Я как будто предчувствовал:

сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель (*бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами*)... и уведомить тебя». А! вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд (*значительно поднимает палец вверх*). Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...» (*остановясь*), ну, здесь свои... «то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито... Вчерашнего дня...» Ну, тут уж пошли дела семейные: «...сестра Анна Кириловна приехала к нам с своим

мужем; Иван Кирилович очень потолстел и все играет на скрипке...» — и прочее, и прочее. Так вот какое обстоятельство!

Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое... необыкновенно, просто необыкновенно. Что — нибудь недаром.

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?

Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! *(Вздыхнув.)* До сих пор, благодарение богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того... вы не... Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус.

Городничий. Мотаает или не мотаает, а я вас, господа, предупредомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения — и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.

Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.

Городничий. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке... это уж по вашей части, Христиан Иванович, — всякую болезнь: когда кто заболел, которого дня и числа... Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше: тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.

Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои

меры: чем ближе к натуре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с нами изъясняться: он по-русски ни слова не знает.

Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву *и* и несколько на *е*.

Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводится всякому похвально, и почему ж сторожу и не завести его? только, знаете, в таком месте неприлично... Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.

Аммос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.

Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш... он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода, это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уж это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Иванович издает тот же звук.

Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

Городничий. Да я так только заметил вам.

Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.

Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.

Городничий. Ну, щенками или чем другим — всё взятки.

Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль...

Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.

Аммос Федорович. Да ведь сам собою до-

шел, собственным умом.

Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда: это уж такое завидное место, сам бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак (*делает гримасу*), и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю, — это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт

знает что может произойти.

Лука Лукич. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.

Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хватить стулом об пол. Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.

Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал... Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу».

Городничий. Да, таков уже неизъяснимый

закон судеб: умный человек — или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.

Лука Лукич. Не приведи бог служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.

Городничий. Это бы еще ничего, — инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчик! А кто, скажет, здесь судья?» — «Ляпкин-Тяпкин». — «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» — «Земляника». — «А подать сюда Землянику!» Вот что худо!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и почтмейстер.

Почтмейстер. Объясните, господа, что, какой чиновник едет?

Городничий. А вы разве не слышали?

Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.

Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом?

Почтмейстер. А что думаю? война с турками будет.

Аммос Федорович. В одно слово! я сам то же думал.

Городничий. Да, оба пальцем в небо попали!

Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.

Городничий. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо.

Почтмейстер. А если так, то не будет войны с турками.

Городничий. Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?

Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович?

Городничий. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко... Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, а я, вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю (*берет его под руку и отводит в сторону*), я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? По-

слушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочесть: не содержится ли нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.

Почтмейстер. Знаю, знаю... Этому не учитесь, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь — так описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше, чем в «Московских ведомостях»!

Городничий. Ну что ж, скажите, ничего не читывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?

Почтмейстер. Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал

бал в самом игривом... очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет...» — с большим, с большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?

Городничий. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: если на случай попадетя жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.

Почтмейстер. С большим удовольствием.

Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.

Почтмейстер. Ах, батюшки!

Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное.

Аммос Федорович. Да, нехорошее дело заварилось! А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у того и у другого.

Городничий. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и — шашть...

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, Бобчинский и Добчинский, оба входят запыхавшись.

Бобчинский. Чрезвычайное происшествие! **Добчинский.** Неожиданное известие! Все. Что, что такое?

Добчинский. Непредвиденное дело: приходим в гостиницу...

Бобчинский(перебивая). Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...

Добчинский(перебивая). Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.

Бобчинский. Э, нет, позвольте, уж я... позвольте, позвольте... вы уж и слога такого не имеете...

Добчинский. А вы собьетесь и не припомните всего.

Бобчинский. Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость,

чтоб Петр Иванович не мешал.

Городничий. Да говорите, ради бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петр Иванович, вот вам стул.

Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.

Ну, что, что такое?

Бобчинский. Позвольте, позвольте: я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, — так я тогда же убежал... уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович! Я уж все, все, все знаю-с. Так я, вот изволите видеть, убежал к **Коробкину**. А не заставши **Коробкина**-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем...

Добчинский(перебивая). Возле будки, где продаются пироги.

Бобчинский. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: «Слышали ли вы о новости-та, которую получил Антон Антонович из достоверного письма?» А Петр Иванович уж услышали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, за чем-то была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Добчинский(*перебивая*). За бочонком для французской водки.

Бобчинский(*отводя его руки*). За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву... Уж вы, Петр Иванович... энтого... не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: «Зайдем, — говорит, — в трактир. В желудке-то у меня... с утра я ничего не ел, так желудочное трясение...» — да-с, в желудке-то у Петра Ивановича... «А в трактир, — говорит, — привезли теперь свежей семги, так мы закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...

Добчинский(*перебивая*). Недурной наружности, в партикулярном платье.

Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (*вертит рукою около лба*) много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвал трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек?» — а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете, у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить».

Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!» — говорю я Петру Ивановичу...

Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал: «Э!»

Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию?» Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.

Городничий. Кто, какой чиновник?

Бобчинский. Чиновник-та, о котором изволили получить notiцию, — ревизор.

Городничий(в страхе). Что вы, господь с вами! это не он.

Добчинский. Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов.

Бобчинский. Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.

Городничий. Господи, помилуй нас, греш-

ных! Где же он там живет?

Добчинский. В пятом номере, под лестницей.

Бобчинский. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.

Городничий. И давно он здесь?

Добчинский. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.

Городничий. Две недели! *(В сторону.)* Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии!. На улицах кабак, нечистота! Позор! поношенье! *{Хватается за голову.}*

Артемий Филиппович. Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.

Аммос Федорович. Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»...

Городничий. Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Вы говорите, он молодой человек?

Бобчинский. Молодой, лет двадцати трех

или четырех с небольшим.

Городничий. Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей. Эй, Свистунов!

Свистунов. Что угодно?

Городничий. Ступай сейчас за частным приставом; или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда.

Квартальный бежит впопыхах.

Артемий Филиппович. Идем, идем, Аммос Федорович! В самом деле может случиться беда.

Аммос Федорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.

Артемий Филиппович. Какое колпаки! Больным велено габерсуп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.

Аммос Федорович. А я на этот счет поко-

ен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку — а! только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда.

Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся **квартальным**.

ЯВЛЕНИЕ IV

Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный.

Городничий. Что, дрожки там стоят?

Квартальный. Стоят.

Городничий. Ступай на улицу... или нет, постой! Ступай принеси... Да другие-то где? неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

Городничий. Как так?

Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.

Городничий*(хватаясь за голову)*. Ах, боже мой, боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет — беги прежде в комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем!

Бобчинский. И я, и я... позвольте и мне, Антон Антонович!

Городничий. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожках не поместимся.

Бобчинский. Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-та, в дверь этак посмотреть, как у него эти поступки...

Городничий*(принимая шпагу, к квартальному)*. Беги сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет... Эх шпага как исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин — видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки

по улице... черт возьми, по улице — по метле! и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто... Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки, — смотри, у меня ухо остро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину берешь! Ступай!

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и частный пристав.

Городничий. А, Степан Ильич! Скажите, ради бога: куда вы запропалились? На что это похоже?

Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.

Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?

Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.

Городничий. А Держиморда где?

Частный пристав. Держиморда поехал на

пожарной трубе.

Городничий. А Прохоров пьян?

Частный пристав. Пьян.

Городничий. Как же вы это так допустили?

Частный пристав. Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, — поехал туда для порядка, а возвратился пьян.

Городничий. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную вежу, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт их знает откуда и нанесут всякой дряни! *(Вздыхает.)* Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? — чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет недоволен, то ему по-

сле дам такого неудовольствия... О, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. *(Берет вместо шляпы футляр.)* Дай только, боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску. О боже мой, боже мой! Едем, Петр Иванович! *(Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.)*

Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.

Городничий*(бросая коробку).* Коробка так коробка. Черт с ней! Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами — и правому и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович! *(Уходит и возвращается.)* Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта

дьянная гарнизана наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.

Все уходят.

ЯВЛЕНИЕ VI

Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.

Анна Андреевна. Где ж, где ж они? Ах, боже мой!.. *(Отворяя дверь.)* Муж! Антоша! Антон! *(Говорит скоро.)* А все ты, а всё за тобой. И пошла копать: «Я булавочку, я косынку». *(Подбегает к окну и кричит.)* Антон, куда, куда? Что, приехал? ревизор? с усами! с какими усами?

Голос городничего. После, после, матушка!

Анна Андреевна. После? Вот новости — после! Я не хочу после... Мне только одно слово: что он, полковник? А? *(С пренебрежением.)* Уехал! Я тебе вспомню это! А все эта: «Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку; я сейчас». Вот тебе и сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А все проклятое кокетство; услышала, что почтмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманиться: и с той сторо-

ны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно чрез два часа мы всё узнаем.

Анна Андреевна. Чрез два часа! покорнейше благодарю! Вот одолжила ответом! Как ты не догадалась сказать, что чрез месяц еще лучше можно узнать! *(Свешивается в окно.)* Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать! В голове чепуха, всё женихи сидят. А? Скоро уехали! да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас! Слышишь, побегии расспроси, куда поехали; да расспроси хорошенько: что за приезжий, — каков он, — слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все, и глаза какие: черные или нет, и сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее! *(Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.)*

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

ЯВЛЕНИЕ I

Осип лежит на барской постеле.

Черт побери, есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя! (*Дразнит его.*) «Эй, Осип, ступай посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед». Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой! С проезжающим знакомится, а потом в картишки — вот тебе и доигрался! Эх, надоела такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности мень-

ше; возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатях да ешь пироги. Ну, кто ж спорит: конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеатры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: «Почтенный!»; на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел — ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот как на ладони все видишь. Старуха офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая... фу, фу, фу! *(Усмехается и трясет головою.)* Галантерейное, черт возьми, обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит «вы». Наскучило идти — берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему — изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, на-

пример. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь — и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка... Ей-богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублей полтора-раста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего — нипочем идут. А отчего? — оттого, что делом не занимается: вместо того чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин! Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? *(Со вздохом.)* Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится; верно, это он идет.

(Поспешно схватывается с постели.)

ЯВЛЕНИЕ II

Осип и **Хлестаков**.

Хлестаков. На, прими это. *(Отдает фуражку и тросточку.)* А, опять валялся на кровати?

Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?

Хлестаков. Врешь, валялся; видишь, вся склочена.

Осип. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги; я и постою. Зачем мне ваша кровать?

Хлестаков*(ходит по комнате)*. Посмотри, там в картузе табаку нет?

Осип. Да где ж ему быть, табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили.

Хлестаков*(ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом)*. Послушай... эй, Осип!

Осип. Чего изволите?

Хлестаков*(громким, но не столь решительным голосом)*. Ты ступай туда.

Осип. Куда?

Хлестаков(голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе). Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать.

Осип. Да нет, я и ходить не хочу.

Хлестаков. Как ты смеешь, дурак!

Осип. Да так; все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.

Хлестаков. Как он смеет не дать? Вот еще вздор!

Осип. «Еще, говорит, и к городничему пойду; третью неделю барин денег не платит. Выде с барином, говорит, мошенники, и барин твой — плут. Мы-де, говорит, таких шеро-мыжников и подлецов видали».

Хлестаков. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это.

Осип. Говорит: «Этак всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобой, чтоб на съезжую да в тюрьму».

Хлестаков. Ну, ну, дурак, полно! Ступай, ступай скажи ему. Такое грубое животное!

Осип. Да лучше я самого хозяина позову к

вам.

Хлестаков. На что ж хозяина? Ты поди сам скажи.

Осип. Да, право, сударь...

Хлестаков. Ну, ступай, черт с тобой! позови хозяина.

Осип уходит.

ЯВЛЕНИЕ III

Хлестаков один.

Ужасно как хочется есть! Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит, — нет, черт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел — и всё обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко! В овощных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. *(Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се ни то.)* Никто не хочет идти.

ЯВЛЕНИЕ IV

Хлестаков, Осип и трактирный слуга.

Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно?

Хлестаков. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров?

Слуга. Слава богу.

Хлестаков. Ну что, как у вас в гостинице? хорошо ли все идет?

Слуга. Да, слава богу, все хорошо.

Хлестаков. Много проезжающих?

Слуга. Да, достаточно.

Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее, — видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.

Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю.

Слуга. Так-с. Он говорил: «Я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за преж-

нее». Таков уж ответ его был.

Хлестаков. Да ты урезонь, уговори его.

Слуга. Да что ж ему такое говорить?

Хлестаков. Ты растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою... Он думает, что, как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости!

Слуга. Пожалуй, я скажу.

ЯВЛЕНИЕ V

Хлестаков один.

Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты, а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить таким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились: «Кто такой, что такое?» А лакей входит (*вытягиваясь и представляя лакея*): «Иван Александрович Хлестаков из Пе-

тербурга, прикажете принять?» Они, пентюхи, и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним если приедет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: «Сударыня, как я...» (*Потирает руки и подшаркивает ножкой.*) Тьфу! (*плюет*) даже тошнит, так есть хочется.

ЯВЛЕНИЕ VI

Хлестаков, Осип, потом слуга.

Хлестаков. А что?

Осип. Несут обед.

Хлестаков(*прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле*). Несут! несут! несут!

С л у г а (*с тарелками и салфеткой*). Хозяин в последний раз уж дает.

Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин... Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?

Слуга. Суп и жаркое.

Хлестаков. Как, только два блюда?

Слуга. Только-с.

Хлестаков. Вот вздор какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это, в самом де-

ле, такое!.. Этого мало.

Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.

Хлестаков. А соуса почему нет?

Слуга. Соуса нет.

Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу и еще много кой-чего.

Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нет.

Хлестаков. Как нет?

Слуга. Да уж нет.

Хлестаков. А семга, а рыба, а котлеты?

Слуга. Да это для тех, которые почище-с.

Хлестаков. Ах ты, дурак!

Слуга. Да-с.

Хлестаков. Поросенок ты скверный... Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?

Слуга. Да уж известно, что не такие.

Хлестаков. Какие же?

Слуга. Обнаковенно какие! они уж известно: они деньги платят.

Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рас-

суждать. *(Наливает суп и ест.)* Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: никакого вкуса нет, только воняет. Я не хочу этого супу, дай мне другого.

Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал: коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаков*(защищая рукою кушанье)*. Ну, ну, ну... оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую... *(Ест.)* Боже мой, какой суп! *(Продолжает есть.)* Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супу: какие-то перья плавают вместо масла. *(Режет курицу.)* Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного осталось, Осип, возьми себе. *(Режет жаркое.)* Что это за жаркое? Это не жаркое.

Слуга. Да что ж такое?

Хлестаков. Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. *(Ест.)* Мошенники, каналы, чем они кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. *(Ковыряет пальцем в зубах.)* Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя; и зубы почер-

неют после этих блюд. Мошенники! (*Вытирает рот салфеткой.*) Больше ничего нет?

Слуга. Нет.

Хлестаков. Канальи! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! дерут только с проезжающих.

Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.

ЯВЛЕНИЕ VII

Хлестаков, потом **Осип**.

Хлестаков. Право, как будто и не ел; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.

Осип(*входит*). Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.

Хлестаков(*испугавшись*). Вот тебе на! Эка бестия трактирщик, успел уже пожаловаться! Что, если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, я, пожалуй... нет, нет, не хочу! Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой... Нет, не хочу... Да что он, как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или

ремесленник? *(Бодрится и выпрямливается.)*
Да я ему прямо скажу: «Как вы смеете, как вы...» *(У дверей вертится ручка; Хлестаков бледнеет и съезживается.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Хлестаков, городничий и Добчинский. **Городничий**, вошед, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.

Городничий*(немного оправившись и протянув руки по швам)*. Желаю здравствовать!

Хлестаков*(кланяется)*. Мое почтение...

Городничий. Извините.

Хлестаков. Ничего...

Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений...

Хлестаков*(сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко)*. Да что же делать?.. Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне пришлют из деревни.

Добчинский выглядывает из дверей.

Он больше виноват: говядину мне подает

такую твердую, как бревно; а суп — он черт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морил голодом по целым дням... Чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. За что ж я... Вот новость!

Городничий(робея). Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.

Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть — в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я... Я служу в Петербурге. *(Бодрится.)* Я, я, я...

Городничий(в сторону). О господи ты боже, какой сердитый! Все узнал, всё рассказали проклятые купцы!

Хлестаков(храбрясь). Да вот вы хоть тут со всей своей командой — не пойду! Я прямо к министру! *(Стучит кулаком по столу.)* Что вы? что вы?

Городничий(вытянувшись и дрожа всем

телом). Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие... не сделайте несчастным человека.

Хлестаков. Нет, я не хочу! Вот еще! мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно!

Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.

Нет, благодарю покорно, не хочу.

Городничий(дрожа). По неопытности, ей-богу по неопытности. Недостаточность состояния... Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платя. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покушаться.

Хлестаков. Да что? мне нет никакого дела до них. *(В размышлении.)* Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то

унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеее высесть, до этого вам далеко... Вот еще! смотри ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.

Городничий(в сторону). О, тонкая штука! Эх куда метнул! какого туману напустил! разбери кто хочет! Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. (Вслух.) Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.

Хлестаков. Дайте, дайте мне займы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше.

Городничий(поднося бумажки). Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.

Хлестаков(принимая деньги). Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни... у меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.

Городничий(в сторону). Ну, слава богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот четыреста ввернул.

Хлестаков. Эй, Осип!

Осип входит.

Позови сюда трактирного слугу! (К городничему и Добчинскому.) А что же вы стоите? Сделайте милость, садитесь. (Добчинскому.) Садитесь, прошу покорнейше.

Городничий. Ничего, мы и так постоим.

Хлестаков. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие, а то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... (Добчинскому.) Садитесь.

Городничий и Добчинский садятся. **Бобчинский** выглядывает в дверь и прислушивается.

Городничий(в сторону). Нужно быть по-смелее. Он хочет, чтобы считали его инкогни-

том. Хорошо, подпустим и мы турысы: прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. *(Вслух.)* Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет; но я, я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший прием, — и вот, как будто в награду, случай доставил такое приятное знакомство.

Хлестаков. Я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь: совсем не знал, чем заплатить.

Городничий*(в сторону)*. Да, рассказывай, не знал, чем заплатить! *(Вслух.)* Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите?

Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.

Городничий*(в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение)*. В Саратовскую губернию! А? и не покраснеет! О, да с

ним нужно ухо остро. *(Вслух.)* Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги: говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь, с другой стороны, развлечение для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете?

Хлестаков. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.

Городничий*(в сторону)*. Прошу посмотреть, какие пули отливает! и старика отца приплел! *(Вслух.)* И на долгое время изволите ехать?

Хлестаков. Право, не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности; душа моя жаждет просвещения.

Городничий*(в сторону)*. Славно завязал узелок! Врет, врет — и нигде не оборвется! А

ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну, да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать! *(Вслух.)* Справедливо изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестно еще когда будет. *(Окидывает глазами комнату.)* Кажется, эта комната несколько сыра?

Хлестаков. Скверная комната, и клопы такие, каких я нигде не видывал: как собаки кусают.

Городничий. Скажите! такой просвещенный гость, и терпит — от кого же? — от каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никак, даже темно в этой комнате?

Хлестаков. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь, — не могу: темно, темно.

Городничий. Осмелюсь ли просить вас... но нет, я недостойн.

Хлестаков. А что?

Городничий. Нет, нет, недостоин, недостоин!

Хлестаков. Да что ж такое?

Городничий. Я бы дерзнул... У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная... Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь... Не рассердитесь — ей-богу, от простоты души предложил.

Хлестаков. Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.

Городничий. А уж я так буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня уже такой нрав: гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести; нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь.

Хлестаков. Покорно благодарю. Я сам тоже — я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уваженье, уваженье и преданность.

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и трактирный слуга, сопровождает мый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь.

Слуга. Изволили спрашивать?

Хлестаков. Да; подай счет.

Слуга. Я уж давича подал вам другой счет.

Хлестаков. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?

Слуга. Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли всё в долг брать.

Хлестаков. Дурак! еще начал высчитывать. Всего сколько следует?

Городничий. Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. *(Слуге.)* Пошел вон, тебе пришлют.

Хлестаков. В самом деле, и то правда. *(Прячет деньги.)*

Слуга уходит. В дверь выглядывает **Бобчинский.**

ЯВЛЕНИЕ X

Городничий, Хлестаков, Добчинский.

Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то — богоугодные и другие?

Хлестаков. А что там такое?

Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел... порядок какой...

Хлестаков. С большим удовольствием, я готов.

Бобчинский выставляет голову в дверь.

Городничий. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище, осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.

Хлестаков. Извольте, извольте.

Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, — рассмотрите, как у нас содержатся преступники.

Хлестаков. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения.

Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены: в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?

Хлестаков. Да, я лучше с вами на дрожках поеду.

Городничий(Добчинскому). Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.

Добчинский. Ничего, я так.

Городничий(тихо, Добчинскому). Слушайте: вы побегите, да бегом, во все лопатки, и снесите две записки: одну в богоугодное заведение Землянике, а другую жене. (Хлестакову.) Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтоб она приготовилась к принятию почтенного гостя?

Хлестаков. Да зачем же?.. А впрочем, тут и чернила, только бумаги — не знаю... Разве на этом счете?

Городничий. Я здесь напишу. (Пишет и в то же время говорит про себя.) А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки толстобрюшки! Да есть у нас губернская мадера: неказиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. (Написавши, отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается и

подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.)

Хлестаков. Что? не ушиблись ли вы где-нибудь?

Бобчинский. Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверж носа небольшая нашлепка! Я забегу к Христиану Ивановичу: у него-с есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.

Городничий(делая Бобчинскому укорительный знак, Хлестакову). Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйста! А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. (Осипу.) Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему, — тебе всякий покажет. Прошу покорнейше! (Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но, оборотившись, говорит с укоризной Бобчинскому.) Уж и вы! не нашли другого места упасть! И растянулся, как черт знает что такое. (Уходит; за ним Бобчинский.)

Занавес опускается.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната первого действия.

ЯВЛЕНИЕ I

Анна Андреевна, Анна Андреевна Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.

Анна Андреевна. Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством: совершенно оделась, нет, еще нужно копаться... Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада! как нарочно, ни души! как будто бы вымерло все.

Марья Антоновна. Да, право, маменька, чрез минуты две всё узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. *(Всматривается в окно и вскрикивает.)* Ах, маменька, маменька! кто-то идет, вон в конце улицы.

Анна Андреевна. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста... во фраке... Кто ж это? а? Это, однако ж, досадно! Кто ж бы это такой был?

Марья Антоновна. Это Добчинский, маменька.

Анна Андреевна. Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое... Совсем не Добчинский. *(Машет платком.)* Эй, вы, сту-

пайте сюда! скорее!

Марья Антоновна. Право, маменька, Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, вот нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе — не Добчинский.

Марья Антоновна. А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский.

Анна Андреевна. Ну да, Добчинский, теперь я вижу, — из чего же ты споришь? *(Кричит в окно.)* Скорей, скорей! вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда — все равно. Что? очень строгий? А? А муж, муж? *(Немного отступя от окна, с досадою.)* Такой глупый: до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, скажите, пожалуйста: ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагаюсь, как на порядочного человека: все вдруг выбежали, и вы туда ж за ними! и я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ва-

нечку и Лизаньку, а вы вот как со мною поступили!

Добчинский. Ей-богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевести. Мое почтение, Марья Антоновна!

Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович!

Анна Андреевна. Ну что? Ну, рассказывайте: что и как там?

Добчинский. Антон Антонович прислал вам записочку.

Анна Андреевна. Ну, да кто он такой? генерал?

Добчинский. Нет, не генерал, а не уступит генералу: такое образование и важные поступки-с.

Анна Андреевна. А! так это тот самый, о котором было писано мужу.

Добчинский. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.

Анна Андреевна. Ну, расскажите: что и как?

Добчинский. Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Анто-

новича немного сурово, да-с; сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме; но потом, как узнал невинность Антона Антоновича и как покороче разговорился с ним, тотчас переменял мысли, и, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения... А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса; я сам тоже перетрухнул немножко.

Анна Андреевна. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите.

Добчинский. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.

Анна Андреевна. Ну, что ж... это все, однако ж, вздор. Расскажите, каков он собою? что, стар или молод?

Добчинский. Молодой, молодой человек; лет двадцати трех; а говорит совсем так, как старик: «Извольте, говорит, я поеду и туда, и туда...» (*размахивает руками*), так это все славно. «Я, говорит, и написать и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно».

Анна Андреевна. А собой каков он: брюнет или блондин?

Добчинский. Нет, больше шантрет, и глаза такие быстрые, как зверки, так в смущенье даже приводят.

Анна Андреевна. Что тут пишет он мне в записке? *(Читает.)* «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...» *(Остановливается.)* Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?

Добчинский. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: там какой-то счет был написан.

Анна Андреевна. А, да, точно. *(Продолжает читать.)* «Но, уповая на милосердие божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; к обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше; скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого луч-

шего, а не то я перерою весь его погреб. Целуя, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антон Сквозник-Дмухановский...» Ах, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорей! Эй, кто там? Мишка!

Добчинский *(бежит и кричит в дверь)*.
Мишка! Мишка! Мишка!

Мишка входит.

Анна Андреевна. Послушай: беги к купцу Абдулину... постой, я дам тебе записочку *(садится к столу, пишет записку и между тем говорит)*: эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас приberi хорошенько эту комнату для гостя. Там поставь кровать, рукомойник и прочее.

Добчинский. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обзревает.

Анна Андреевна. Ступайте, ступайте! я не держу вас.

ЯВЛЕНИЕ III

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка: боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмехал. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.

Анна Андреевна. Цветное!.. Право, говоришь — лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!

Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?

Марья Антоновна. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для этого нужно, чтоб глаза были совсем темные.

Анна Андреевна. Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трэфовую даму?

Марья Антоновна. Ах, маменька! вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была червонная дама. *(Поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за сценою.)* Этакое вдруг вообразится! червонная дама! Бог знает что такое!

По уходе их отворяются двери, и **Мишка** выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит **Осип** с чемоданом на голове.

ЯВЛЕНИЕ IV

Мишка и **Осип**.

Осип. Куда тут?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!

Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал?

Осип. Какой генерал?

Мишка. Да барин ваш.

Осип. Барин? Да какой он генерал?

Мишка. А разве не генерал?

Осип. Генерал, да только с другой стороны.

Мишка. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала?

Осип. Больше.

Мишка. Вишь ты, как! то-то у нас сумятицу подняли.

Осип. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть.

Мишка. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят.

Осип. Ну, а простова-то что у вас есть?

Мишка. Щи, каша да пироги.

Осип. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, всё будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть?

Мишка. Есть.

Оба несут чемодан в боковую комнату.

ЯВЛЕНИЕ V

Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит **Хлестаков**; за ним **городничий**, далее **попечитель богоугодных заведений**, **смотритель училищ**, **Добчинский** и **Бобчинский** с пластырем на носу. **Городни-**

чий указывает кварталным на полу бумажку — они бегут и снимают ее, толкая друг друга впопыхах.

Хлестаков. Хорошие заведения. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.

Городничий. В других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.

Хлестаков. Завтрак был очень хорош; я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой?

Городничий. Нарочно для такого приятно-го гостя.

Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович *(подбегая)*. Лабардан-с.

Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы зав-

тракали? в больнице, что ли?

Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении.

Хлестаков. Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? там их, кажется, немного.

Артемий Филиппович. Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

Городничий. Уж на что, осмелюсь доложить вам, головоломна обязанность градоначальника! Столько лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки... словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах; но, верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи боже ты мой, как бы так устроить, что-

бы начальство увидело мою ревность и было довольны?..» Наградит ли оно или нет — конечно, в его воле; по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало... то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью всё прах и суета.

Артемий Филиппович(*сторону*). Эка, бездельник, как расписывает! Дал же бог такой дар!

Хлестаков. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стишки выкинутся.

Бобчинский(*Добчинскому*). Справедливо, все справедливо, Петр Иванович! Замечания такие... видно, что наукам учился.

Хлестаков. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?

Городничий(*в сторону*). Эге, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают! (*Вслух.*) Боже сохрани! здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал; даже

не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно; и если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да после того всю почь снились проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?

Лука Лукич(в сторону). А у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей.

Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.

Хлестаков. Ну, нет, вы напрасно, однако же... Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь тогда, как нужно гнуть от трех углов... ну, тогда конечно... Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Осмелюсь представить семейство мое: жена и дочь.

Хлестаков(раскланиваясь). Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть.

Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу.

Хлестаков(рисуюсь). Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне еще приятнее.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы это так изволите говорить, для комплимента. Прошу покорно садиться.

Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастье; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.

Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет... Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.

Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить, comparez vous[300], в свете и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества... Если б, признаюсь, не такой случай, который меня... *(посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней)* так вознаградил за всё...

Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.

Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаков. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.

Анна Андреевна. Я живу в деревне...

Хлестаков. Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: «Приходи, братец, обедать!» Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: «Это вот так, это вот так!» А там уж чиновник для письма, такая крыса, пером только — тр, тр... пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да, думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: «Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». *(Городничему.)*

Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!

Вместе

Городничий. Чин такой, что еще можно постоять.

Артемий Филиппович. Мы постоим.

Лука Лукич. Не извольте беспокоиться!

Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.

Городничий и все садятся.

Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду куда-нибудь, уж и говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет!» А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего».

Анна Андреевна. Скажите как!

Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики...

Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё...» Большой оригинал.

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат „Надежды“ и „Московский телеграф“... все это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Ми-

дославский» ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.

Хлестаков. Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. *(Обращаясь ко всем.)* Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы!

Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому

подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж — скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель...» Что ж я вру — я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкуются и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж... ж... ж... Иной раз и министр...

Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев.

Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, — куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь —

просто черт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? — я спрашиваю. «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до государя, ну да и послужной список тоже... «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо остро! уж я...» И точно: бывало, как прохожу через департамент — просто землетрясение, все дрожит и трясется, как лист.

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее.

О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий

день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... (Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)

Городничий(подходя и трясясь всем телом, силится выговорить). А ва-ва-ва... ва...

Хлестаков(быстрым, отрывистым голосом). Что такое?

Городничий. А ва-ва-ва... ва...

Хлестаков(таким же голосом). Не разберу ничего, всё вздор.

Городничий. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?.. вот и комната, и все что нужно.

Хлестаков. Вздор — отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош... Я доволен, я доволен. (С декламацией.) Лабардан! лабардан! (Входит в боковую комнату, за ним городничий.)

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же, кроме Хлестакова и городничего
Бобчинский(Добчинскому). Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со стра-

ху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?

Добчинский. Я думаю, чуть ли не генерал.

Бобчинский. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не станет! а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус. Слышали: государственный-то совет как прижал? Пойдем расскажем поскорее Аммосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна!

Добчинский. Прощайте, кумушка!

Оба уходят.

Артемий Филиппович (*Луке Лукичу*).
Страшно просто. А отчего, и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится да в Петербург махнет донесение? (*Уходит в задумчивости вместе с смотрителем училищ, произнеся:*) Прощайте, сударыня!

ЯВЛЕНИЕ VIII

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ах, какой приятный!

Марья Антоновна. Ах, милашка!

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столич-

ную штучку. Приемы и все это такое... Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила — все на меня поглядывал.

Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел!

Анна Андреевна. Пожалуйста, с своим вздором подальше! Это здесь вовсе неуместно.

Марья Антоновна. Нет, маменька, право!

Анна Андреевна. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя, да и полно! Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?

Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.

Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. «А, — говорит себе, — дай уж посмотрю на нее!»

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и городничий.

Городничий (*входит на цыпочках*). Чш...
ш...

Анна Андреевна. Что?

Городничий. И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? (*Задумывается.*) Да как же и не быть правде? Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного; да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит... Так вот, право, чем больше думаешь... черт его знает, не знаешь, что и делается в голове; просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.

Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости; я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.

Городничий. Ну, уж вы — женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вам всё — финтирлюшки! Вдруг брякнут ни из того ни из другого словцо. Вас посекут, да и

только, а мужа и поминай как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.

Анна Андреевна. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кой-что знаем такое... *(Посматривает на дочь.)*

Городничий*(один).* Ну, уж с вами говорить!.. Эка в самом деле оказия! До сих пор не могу очнуться от страха. *(Отворяет дверь и говорит в дверь.)* Мишка, позови квартальных Свистунова и Держиморду: они тут недалеко где-нибудь за воротами. *(После небольшого молчания.)* Чудно все завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький — как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажется из себя, а как наденет фрачишку — ну точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча в трактире, заламливал такие аллегии и екивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот наконец и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.

Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный!

Городничий. Чш!.. что? что? спит?

Осип. Нет еще, немножко потягивается.

Анна Андреевна. Послушай, как тебя зовут?

Осип. Осип, сударыня.

Городничий(жене и дочери). Полно, полно вам! (Осипу.) Ну что, друг, тебя накормили хорошо?

Осип. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо накормили.

Анна Андреевна. Ну что, скажи: к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей?

Осип(в сторону). А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. (Вслух.) Да, бывают и графы.

Марья Антоновна. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький!

Анна Андреевна. А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он...

Городничий. Да перестаньте, пожалуйста! Вы этакими пустыми речами только мне мешаете. Ну что, друг?..

Анна Андреевна. А чин какой на твоём барине?

Осип. Чин обыкновенно какой.

Городничий. Ах, боже мой, вы всё с своими глупыми расспросами! не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин?.. строг? любит этак распекать или нет?

Осип. Да, порядок любит. Уж ему чтоб все было в исправности.

Городничий. А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну что...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире ходит, или...

Городничий. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь: дело идет о жизни человека... *(К Осипу.)* Ну что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, — оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай.

Осип*(принимая деньги).* А покорнейше

благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.

Городничий. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?

Марья Антоновна. Осип, душенька! какой миленький носик у твоего барина!..

Городничий. Да постойте, дайте мне!.. (К Осипу.) А что, друг, скажи, пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то есть что ему в дороге больше нравится?

Осип. Любит он, по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение чтоб было хорошее.

Городничий. Хорошее?

Осип. Да, хорошее. Вот уж на что я, крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу! Бывало, заедем куда-нибудь: «Что, Осип, хорошо тебя угостили?» — «Плохо, ваше высокоблагородие!» — «Э, — говорит, — это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду». — «А, — думаю себе (махнув рукою), — бог с ним! я человек простой».

Городничий. Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.

Осип. За что жалуете, ваше высокоблагородие? *(Прячет деньги.)* Разве уж выпью за ваше здоровье.

Анна Андреевна. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь.

Марья Антоновна. Осип, душенька, поцелуй своего барина!

Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.

Городничий. Чш! *(Поднимается на цыпочки; вся сцена вполголоса.)* Боже вас сохрани шуметь! Идите себе! полно уж вам...

Анна Андреевна. Пойдем, Машенька! я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.

Городничий. О, уж там наговорят! Я думаю, поди только да послушай — и уши потом заткнешь. *(Обращаясь к Осипу.)* Ну, друг...

ЯВЛЕНИЕ XI

Те же, Держиморда и Свистунов.

Городничий. Чш! экие косолапые медведи — стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас черт таскает?

Держиморда. Был по приказанию...

Городничий. Чш! *(Закрывает ему рот.)* Э как каркнула ворона! *(Дразнит его.)* Был по приказанию! Как из бочки, так рычит. *(К Осипу.)* Ну, друг, ты ступай приготовляй там, что нужно для барина. Все, что ни есть в долге, требуй.

Осип уходит.

А вы — стоять на крыльце, и ни с места! И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! *(Показывает ногою.)* Слышите? Чш... чш... *(Уходит на цыпочках вслед за кварталными.)*

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Та же комната в доме городничего.

ЯВЛЕНИЕ I

Входят осторожно, почти на цыпочках: Аммос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский, в полном параде и мундирах.

Вся сцена происходит вполголоса.

Аммос Федорович (*строит всех полукругом*). Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку! Бог с ним: и во дворец ездит, и государственный совет распекает! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут.

Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках.

Артемий Филиппович. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.

Аммос Федорович. А что именно?

Артемий Филиппович. Ну, известно что.

Аммос Федорович. Подсунуть?

Артемий Филиппович. Ну да, хоть и подсунуть.

Аммос Федорович. Опасно, черт возьми! раскричится: государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?

Почтмейстер. Или же: «Вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие».

Артемий Филиппович. Смотрите, чтоб он вас по почте не отправил куды-нибудь подалее. Слушайте: эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того... как там следует — чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните.

Аммос Федорович. Так лучше ж вы: в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.

Артемий Филиппович. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.

Лука Лукич. Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что, заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте!

Артемий Филиппович. Да, Аммос Федорович, кроме вас, некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.

Аммос Федорович. Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке...

Все (пристают к нему). Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении... Нет, Аммос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим!.. Нет, Аммос Федорович!

Аммос Федорович. Отвяжитесь, господа!

В это время слышны шаги и откашливания в комнате Хлестакова. Все спешат наперерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются вполголоса восклицания:

Голос Бобчинского. Ой, Петр Иванович, Петр Иванович! наступили на ногу!

Голос Земляники. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние — совсем прижали!

Выхватываются несколько восклицаний: «Ай! ай!» — наконец все выпираются, и комната остается пуста.

ЯВЛЕНИЕ II

Хлестаков один, выходит с заспанными глазами.

Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком: в голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка городничего очень недурна, да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.

ЯВЛЕНИЕ III

Хлестаков и Аммос Федорович.

Аммос Федорович(*входя и останавливаясь, про себя*). Боже, боже! вынеси благополучно; так вот коленки и ломает. (*Вслух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.*) Имею честь представиться: судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.

Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья?

Аммос Федорович. С восьмьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.

Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьей?

Аммос Федорович. За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства. (*В сторону.*) А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.

Хлестаков. А мне нравится Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так.

Аммос Федорович(*высовывая понемногу вперед сжатый кулак. В сторону*). Господи боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под

тобою.

Хлестаков. Что это у вас в руке?

Аммос Федорович*(потерявшись и роняя на пол ассигнации)*. Ничего-с.

Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали.

Аммос Федорович*(дрожа всем телом)*. Никак нет-с. *(В сторону.)* О боже, вот уж я и под судом! и тележку подвезли схватить меня!

Хлестаков*(подымая)*. Да, это деньги.

Аммос Федорович*(в сторону)*. Ну, все конечно — пропал! пропал!

Хлестаков. Знаете ли что? дайте их мне взаймы.

Аммос Федорович*(поспешно)*. Как же-с, как же-с... с большим удовольствием. *(В сторону.)* Ну, смелее, смелее! Вывози, пресвятая мать!

Хлестаков. Я, знаете, в дороге издержался: то да се... Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.

Аммос Федорович. Помилуйте, как можно! и без того это такая честь... Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к

начальству... постараюсь заслужить... (*Приподымается со стула, вытянувшись и руки по швам.*) Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказанья?

Хлестаков. Какого приказанья?

Аммос Федорович. Я разумею, не дадите ли какого приказанья здешнему уездному суду?

Хлестаков. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.

Аммос Федорович(*раскланиваясь и уходя, в сторону*). Ну, город наш!

Хлестаков(*по уходе его*). Судья — хороший человек!

ЯВЛЕНИЕ IV

Хлестаков и почтмейстер, входит вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.

Почтмейстер. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин.

Хлестаков. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. А мне нравится здешний горо-

док. Конечно, не так многолюдно — ну что ж? Ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица?

Почтмейстер. Совершенная правда.

Хлестаков. Ведь это только в столице бон-тон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. *(В сторону.)* А он, однако ж, ничуть не горд; обо всем расспрашивает.

Хлестаков. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, — не правда ли?

Почтмейстер. Совершенно справедливо.

Хлестаков. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. *(Глядя в глаза ему, говорит про себя.)* А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы! *(Вслух.)* Какой странный со мною случай: в дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне

дать триста рублей займа?

Почтмейстер. Почему же? почту за величайшее счастье. Вот-с, извольте. От души готов служить.

Хлестаков. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге, да и к чему? Не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. *(Встает, вытягивается и придерживает шпагу.)* Не смея долее беспокоить своим присутствием... Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

Хлестаков. Нет, ничего.

Почтмейстер раскланивается и уходит.

(Раскуривая сигарку.) Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.

ЯВЛЕНИЕ V

Хлестаков и **Лука Лукич**, который почти **Х**выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух: «Чего робеешь?»

Лука Лукич*(вытягиваясь не без трепета и*

придерживая шпагу). Имею честь представиться: смотритель училищ, титулярный советник Хлестаков.

Хлестаков. А, милости просим! Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? *(Подает ему сигару.)*

Лука Лукич*(про себя, в нерешимости)*. Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал. Братъ или не братъ?

Хлестаков. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка, просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите. *(Подает ему свечу.)*

Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит.

Да не с того конца!

Лука Лукич*(от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою, про себя)*. Черт побери все! сгубила проклятая робость!

Хлестаков. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я признаюсь: это моя слабость. Вот еще насчет женского полу, никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше

правятся — брюнетки или блондинки?

Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать.

Нет, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?

Лука Лукич. Не смею знать.

Хлестаков. Нет, нет, не отговаривайтесь! Мне хочется узнать непременно ваш вкус.

Лука Лукич. Осмелюсь доложить... *(В сторону.)* Ну, и сам не знаю, что говорю.

Хлестаков. А! а! Не хотите сказать. Верно, уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?

Лука Лукич молчит.

А! а! покраснели! Видите! видите! Отчего ж вы не говорите?

Лука Лукич. Оробел, ваше бла... преос... свят... *(В сторону.)* Продал проклятый язык, продал!

Хлестаков. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По

крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, не так ли?

Лука Лукич. Так точно-с.

Хлестаков. Вот со мной престранный случай: в дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей займа?

Лука Лукич(хватаясь за карманы, про себя). Вот те штука, если нет! Есть, есть! (Вынимает и подает, дрожа, ассигнации.)

Хлестаков. Покорнейше благодарю.

Лука Лукич(вытягиваясь и придерживая шпагу). Не смею долее беспокоить присутствием.

Хлестаков. Прощайте.

Лука Лукич(летит вон почти бегом и говорит в сторону). Ну слава богу! авось не заглянет в классы!

ЯВЛЕНИЕ VI

Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.

Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника.

Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно

садиться.

Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.

Хлестаков. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.

Артемий Филиппович. Рад стараться на службу отечеству.

Хлестаков. Я — признаюсь, это моя слабость, — люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

Артемий Филиппович. Очень может быть. *(Помолчав.)* Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. *(Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.)* Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются... извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться

пред вами, — конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, — поведения самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть; и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов... И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.

Хлестаков. Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал.

Артемий Филиппович. Вот и смотритель здешнего училища... Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность: он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?

Хлестаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, этак люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное... Как ваша фамилия? я все позабываю.

Артемий Филиппович. Земляника.

Хлестаков. А, да! Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?

Артемий Филиппович. Как же-с, пятеро; двое уже взрослых.

Хлестаков. Скажите, взрослых! А как они... как они того?..

Артемий Филиппович. То есть не изволили вы спрашивать, как их зовут?

Хлестаков. Да, как их зовут?

Артемий Филиппович. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.

Хлестаков. Это хорошо.

Артемий Филиппович. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени, определенного на священные обязанности... *(Раскланивается с тем, чтобы уйти.)*

Хлестаков*(проводя).* Нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время... Я это очень люблю. *(Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.)* Эй вы! как вас? я все позабываю, как ваше имя и отчество.

Артемий Филиппович. Артемий Филиппович.

Хлестаков. Сделайте милость, Артемий

Филиппович, со мной странный случай: в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы — рублей четыреста?

Артемий Филиппович. Есть.

Хлестаков. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.

ЯВЛЕНИЕ VII

Хлестаков, Бобчинский и Добчинский.

Бобчинский. Имею честь представиться: житель здешнего города, Петр Иванов сын Бобчинский.

Добчинский. Помещик Петр Иванов сын Добчинский.

Хлестаков. А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали? Что, как ваш нос?

Бобчинский. Слава богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.

Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад...
(*Вдруг и отрывисто.*) Денег нет у вас?

Бобчинский. Денег? как денег?

Хлестаков(*громко и скоро*). Взаймы рублей тысячу.

Бобчинский. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?

Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.

Хлестаков. Да, ну если тысячи нет, так рублей сто.

Бобчинский(шаря в карманах). У вас, Петр Иванович, нет ста рублей? У меня всего сорок ассигнациями.

Добчинский(смотря в бумажник). Двадцать пять рублей всего.

Бобчинский. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович! У вас там, я знаю, в кармане— то с правой стороны прореха, так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.

Добчинский. Нет, право, и в прорехе нет.

Хлестаков. Ну, все равно. Я ведь только так. Хорошо, пусть будет шестьдесят пять рублей. Это все равно. (Принимает деньги.)

Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.

Хлестаков. А что это?

Добчинский. Дело очень тонкого свойства-с: старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака.

Хлестаков. Да?

Добчинский. То есть оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с.

Хлестаков. Хорошо, пусть называется! Это можно.

Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой... большие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет и, если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с. Вот и Петр Иванович знает.

Бобчинский. Да, большие способности имеет.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об этом постараюсь, я буду говорить... я надеюсь... все это будет сделано, да, да... *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?

Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.

Хлестаков. А что, о чем?

Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Добчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Хлестаков. Ничего, ничего! Мне очень приятно. *(Выпровождает их.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Хлестаков один.

Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину: он пописывает статейки — пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила!

Осип выглянул из дверей, произнесши: «Сейчас».

А уж Тряпичкину, точно, если кто попадет на зубок, берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти хорошие люди; это с их стороны хорошая черта, что они мне дали займы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи триста; это от почтмейстера триста, шестьсот, семьсот, восемьсот... Какая замасленная бумажка! Восемьсот, девятьсот... Ого! за тысячу перевалило... Ну-ка, теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь! Посмотрим, кто кого!

ЯВЛЕНИЕ IX

Хлестаков и Осип с чернилами и бумагою.

Хлестаков. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? *(Начинает писать.)*

Осип. Да, слава богу! Только знаете что, Иван Александрович?

Хлестаков*(пишет)*. А что?

Осип. Уезжайте отсюда. Ей-богу, уже пора.

Хлестаков*(пишет)*. Вот вздор! Зачем?

Осип. Да так. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два денька — ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровен час, какой-нибудь другой наедет... ей-богу, Иван Александрович! А лошади тут славные — так бы закатали!..

Хлестаков*(пишет)*. Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.

Осип. Да что завтра! Ей-богу, поедем, Иван Александрович! Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее: ведь вас, право, за кого-то другого приняли... И бабушка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатали славно! А лошадей бы важных здесь дали.

Хлестаков(*пишет*). Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо; пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтоб лошади хорошие были! Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому; чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели!.. (*Продолжает писать*.) Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху...

Осип. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время.

Хлестаков(*пишет*). Хорошо. Принеси только свечу.

Осип(*выходит и говорит за сценой*). Эй, послушай, брат! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.

Хлестаков(*продолжает писать*.) Любопытно знать, где он теперь живет — в Почтамтской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недопла-

чивать. Напишу наудалую в Почтамтскую.
(Свертывает и надписывает.)

Осип приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держиморды: «Куда лезешь, борода? Говорят тебе, никого не велено пускать».

(Дает Осипу письмо.) На, отнеси.

Голоса купцов. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить: мы за делом пришли.

Голос Держиморды. Пошел, пошел! Не принимает, спит.

Шум увеличивается.

Хлестаков. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.

Осип(*глядя в окно*). Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами: верно, вас хотят видеть.

Хлестаков(*подходя к окну*). А что вы, любезные?

Голоса купцов. К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять.

Хлестаков. Впустите их, впустите! пусть идут. Осип скажи им: пусть идут.

Осип уходит.

(Принимает из окна просьбы, разворачивает одну из них и читает:) «Его высокоблагородному светлости господину финансову от купца Абдулина...» Черт знает что: и чина такого нет!

ЯВЛЕНИЕ X

Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.

Хлестаков. А что вы, любезные?

Купцы. Челом бьем вашей милости!

Хлестаков. А что вам угодно?

Купцы. Не погуби, государь! Обижательство терпим совсем понапрасну.

Хлестаков. От кого?

Один из купцов. Да всё от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам посту-

пает. Схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин!» Ей-богу! Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем: что следует на платья супружнице его и дочке — мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконцо: снеси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят.

Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник!

Купцы. Ей-богу! такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь.

Хлестаков. Да это просто разбойник!

Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. «Я тебя, — говорит, — не буду, — говорит, — подвергать телесному наказанию или пыткой пытаться — это, говорит, запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!»

Хлестаков. Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь.

Купцы. Да уж куда милость твоя ни запроводит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина.

Хлестаков. Нет, вы этого не думайте: я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне займы рублей триста — ну, тогда совсем дело другое: займы я могу взять.

Купцы. Изволь, отец наш! *(Вынимают деньги.)* Да что триста! Уж лучше пятьсот возьми, помоги только.

Хлестаков. Извольте: займы — я ни слова, я возьму.

Купцы*(подносят ему на серебряном подно-*

се деньги). Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите.

Хлестаков. Ну, и подносик можно.

Купцы(кланяясь). Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.

Хлестаков. О нет, я взяток никаких...

Осип. Ваше высокоблагородие! зачем вы не берете? Возьмите! в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек! Подавай все! все пойдет впрок. Что там? веревочка? Давай и веревочку, — и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвезать можно.

Купцы. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть: просто хоть в петлю полезай.

Хлестаков. Непременно, непременно! Я постараюсь.

Купцы уходят. Слышен голос женщины: «Нет, ты не смеешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!»

Кто там? *(Подходит к окну.)* А, что ты, матушка?

Голоса двух женщин. Милости твоей, отец, прошу! Повели, государь, выслушать!

Хлестаков*(в окно).* Пропустить ее.

ЯВЛЕНИЕ XI

Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.

Слесарша*(кланяясь в ноги).* Милости прошу...

Унтер-офицерша. Милости прошу...

Хлестаков. Да что вы за женщины?

Унтер-офицерша. Унтер-офицерская жена Иванова.

Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка, Февронья Петрова Пошлепкина, отец мой...

Хлестаков. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?

Слесарша. Милости прошу: на городничего челом бью! Пошли ему бог всякое зло! Чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было!

Хлестаков. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказал за-

брить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! да и по закону нельзя: он женатый.

Хлестаков. Как же он мог это сделать?

Слесарша. Сделал мошенник, сделал — побей бог его и на том и на этом свете! Чтобы ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость, и отец если жив у него, то чтоб и он, каналья, окошел или поперхнулся навеки, мошенник такой! Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подслала к супруге полотна три штуки; так он ко мне. «На что, говорит, тебе муж? он уж тебе не годится». Да я-то знаю — годится или не годится; это мое дело, мошенник такой! «Он, говорит, вор; хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет, его и без того на следующий год возьмут в рекруты». Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света божьего! А если есть теща, то чтоб и теще...

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? *(Вы провожает старуху.)*

Слесарша*(уходя)*. Не позабудь, отец наш! будь милостив!

Унтер-офицерша. На городничего, батюшка, пришла...

Хлестаков. Ну, да что, зачем? говори в коротких словах.

Унтер-офицерша. Высек, батюшка!

Хлестаков. Как?

Унтер-офицерша. По ошибке, отец мой! Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня. Да так отпортовали: два дни сидеть не могла.

Хлестаков. Так что ж теперь делать?

Унтер-офицерша. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились.

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте! я распоряжусь.

В окно высовываются руки с просьбами.

Да кто там еще? *(Подходит к окну.)* Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! *(Отходя.)* Надоели, черт возьми! Не впускай, Осип! **Осип** *(кричит в окно)*. Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!

Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, с небритую бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею в перспективе показывается несколько других.

Пошел, пошел! чего лезешь? *(Упирается первому руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ XII

Хлестаков и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ах!

Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нет, я не испугалась.

Хлестаков*(рисуется)*. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были идти?

Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.

Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька...

Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами.

Хлестаков(рисуетя). А ваши глаза лучше, нежели важные дела... Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете; напротив того, вы можете принести удовольствие.

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.

Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул, а трон.

Марья Антоновна. Право, я не знаю... мне так нужно было идти. *(Села.)*

Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек!

Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только досмеяться над провинциальными.

Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек... Сегодня какая странная погода!

Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

Марья Антоновна. Вы всё эдакое говорите... Я бы вас попросила, чтоб вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много.

Хлестаков. Для вас, сударыня, все что хотите. Требуйте, какие стихи вам?

Марья Антоновна. Какие-нибудь эдакие — хорошие, новые.

Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю.

Марья Антоновна. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете?

Хлестаков. Да к чему же говорить? я и без того их знаю.

Марья Антоновна. Я очень люблю их...

Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: «О ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек!..» Ну и другие... теперь не могу припомнить; впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда... *(Придвигая стул.)*

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я никогда и не знала, что за любовь... *(Отдвигает стул.)*

Хлестаков*(придвигая стул).* Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.

Марья Антоновна*(отдвигаясь).* Для чего ж близко? все равно и далеко.

Хлестаков*(придвигаясь).* Отчего ж далеко? все равно и близко.

Марья Антоновна*(отдвигается).* Да к чему ж это?

Хлестаков*(придвигаясь).* Да ведь это вам кажется только, что близко; а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия.

Марья Антоновна*(смотрит в окно).* Что это там как будто бы полетело? Сорока или

какая другая птица?

Хлестаков(целует ее в плечо и смотрит в окно). Это сорока.

Марья Антоновна(встает в негодовании). Нет, это уж слишком... Наглость такая!..

Хлестаков(удерживая ее). Простите, сударыня: я это сделал от любви, точно от любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку... (Силится уйти.)

Хлестаков(продолжая удерживать ее). Из любви, право из любви. Я так только, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения. (Падает на колени.) Простите же, простите! Вы видите, я на коленях.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна(увидев Хлестакова на коленях). Ах, какой пассаж!

Хлестаков(вставая). А, черт возьми!

Анна Андреевна(дочери). Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?

Марья Антоновна. Я, маменька...

Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! слы-

пишь: прочь, прочь! И не смей показываться на глаза.

Марья Антоновна уходит в слезах.

Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление...

Хлестаков(в сторону). А она тоже очень аппетитна, очень недурна. (Бросается на колени.) Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.

Анна Андреевна. Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! здесь пол совсем нечист.

Хлестаков. Нет, на коленях, непременно на коленях! Я хочу знать, что такое мне суждено: жизнь или смерть.

Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери?

Хлестаков. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.

Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде... я замужем.

Хлестаков. Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу!

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Марья Антоновна, вдруг вбегает.

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, чтобы вы... *(Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает.)* Ах, какой пассаж!

Анна Андреевна. Ну что ты? к чему? зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках.

Марья Антоновна*(сквозь слезы).* Я, право,

маменька, не знала...

Анна Андреевна. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове; ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие — перед тобою мать твоя. Вот каким примерам ты должна следовать.

Хлестаков(схватывая за руку дочь). Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь!

Анна Андреевна(с изумлением). Так вы в нее?..

Хлестаков. Решите: жизнь или смерть?

Анна Андреевна. Ну вот видишь, дура, ну вот видишь: из-за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях; а ты вдруг вбежала как сумасшедшая. Ну вот, право, стоит, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастья.

Марья Антоновна. Не буду, маменька. Право, вперед не буду.

ЯВЛЕНИЕ XV

Те же и городничий впопыхах.

Городничий. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите!

Хлестаков. Что с вами?

Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла.

Хлестаков. Провались унтер-офицерша — мне не до нее!

Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны... им вот эдакой ребенок не поверит. Они уж и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил.

Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.

Городничий. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ее.

Хлестаков. Да, я точно прошу руки. Я влюблен.

Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Да когда говорят тебе?

Хлестаков. Я не шутя вам говорю... Я могу от любви свихнуть с ума.

Городничий. Не смею верить, недостойн такой чести.

Хлестаков. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я черт знает что готов...

Городничий. Не могу верить: извольте шутить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом деле! Ну, когда тебе толкуют?

Городничий. Не могу верить.

Хлестаков. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь на все: когда застрелюсь, вас под суд отдадут.

Городничий. Ах, боже мой! Я, ей-ей, не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться! Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь... я и сам не знаю, что делается. Такой ду-

рак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.

Анна Андреевна. Ну, благословляй!

Хлестаков подходит с Марьей Антоновной.

Городничий. Да благословит вас бог, а я не виноват.

Хлестаков целуется с Марьей Антоновной, Городничий смотрит на них.

Что за черт! в самом деле! *(Протирает глаза.)* Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! *(Вскрикивает, подпрыгивая от радости.)* Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Бона, как дело-то пошло!

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же и Осип.

Осип. Лошади готовы.

Хлестаков. А, хорошо... я сейчас.

Городничий. Как-с? Изволите ехать?

Хлестаков. Да, еду.

Городничий. А когда же, то есть... вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?

Хлестаков. А это... На одну минуту толь-

ко... на один день к дяде — богатый старик; а завтра же и назад.

Городничий. Не смеем никак удерживать, в надежде благополучного возвращения.

Хлестаков. Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя... нет, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! *(Целует ее ручку.)*

Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?

Хлестаков. О нет, к чему это? *(Немного подумав.)* А впрочем, пожалуй.

Городничий. Сколько угодно вам?

Хлестаков. Да вот тогда вы дали двести, то есть не двести, а четыреста, — я не хочу воспользоваться вашей ошибкою; — так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот.

Городничий. Сейчас! *(Вынимает из бумажника.)* Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками.

Хлестаков. А, да! *(Берет и рассматривает ассигнации.)* Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.

Городничий. Так точно-с.

Хлестаков. Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька Марья Антоновна!

Выходят.

За сценой.

Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей Марья Антоновна!

Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете?

Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор.

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?

Голос Хлестакова. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.

Голос городничего. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший — что по голубому полю, персидский. Скорей!

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Когда же прикажете ожидать вас?

Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра.

Голос Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! Теперь давай-ка с этой стороны сена.

Голос ямщика. Тпр...

Голос Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! хорошо. Славно будет! (*Бьет рукою по коври.*) Теперь садитесь, ваше благородие!

Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович!

Голос городничего. Прощайте, ваше превосходительство!

Женские голоса. Прощайте, Иван Александрович!

Голос Хлестакова. Прощайте, маменька!

Голос ямщика. Эй вы, залетные!

Колокольчик звенит. Занавес опускается

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Та же комната.

ЯВЛЕНИЕ I

Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно: тебе и во сне не виделось — просто из какой-нибудь городничихи и вдруг; фу-ты, канальство! с каким дьяволом породнилась!

Анна Андреевна. Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.

Городничий. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, черт побери! Пстой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?

Входит квартальный.

А, это ты, Иван Карпович! Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их, каналий! Так жало-

ваться на меня? Вишь ты, проклятый иудейский народ! Пойдите ж, голубчики! Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали: что вот, дискать, какую честь бог послал городничему, — что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать, все, все, все! Всем объяви, чтобы все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми! Уж когда торжество, так торжество!

Квартальный уходит.

Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить? здесь или в Питере?

Анна Андреевна. Натурально, в Петербурге. Как можно здесь оставаться!

Городничий. Ну, в Питере так в Питере; а оно хорошо бы и здесь. Что, ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Ан-

дреевна?

Анна Андреевна. Естественно, что за городничество!

Городничий. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он запанибрата со всеми министрами и во дворец ездит, так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?

Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.

Городничий. А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?

Анна Андреевна. Уж конечно, голубую лучше.

Городничий. Э? вишь, чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом?

— потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, все дожидаются: все эти ти-

тулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой, городничий! Хе, хе, хе! (*Заливается и помирает со смеху.*) Вот что, канальство, заманчиво!

Анна Андреевна. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты едешь травить зайцев, или Земляника; напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением: графы и все светские... Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.

Городничий. Что ж? ведь слово не вредит.

Анна Андреевна. Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.

Городничий. Да, там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.

Анна Андреевна. Ему всё бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтоб наш дом был пер-

вый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно бы только этак зажмурить глаза. (*Зажмуривает глаза и нюхает.*) Ах, как хорошо!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и купцы.

Городничий. А! Здорово, соколики!

Купцы(кланяясь). Здравия желаем, батюшка!

Городничий. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувалы мирские! жаловаться? Что, много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его и засадят!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Анна Андреевна. Ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь!

Городничий(с неудовольствием). А, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? а? что теперь скажете? Теперь я вас... у!.. обманываете народ... Сделаешь подряд с казною, на сто тысяч наду-

ешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь двадцать аршин, да и давай тебе еще награду за это? Да если б знали, так бы тебе... И брюхо сует вперед: он купец; его не тронь. «Мы, говорит, и дворянам не уступим». Да дворянин... ах ты, рожа!

— дворянин учится наукам: его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? — начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче наша» не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрет тебе брюхо да набьешь себе карман, так и заважничал! Футь, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!

Купцы(кланяясь). Виноваты, Антон Антонович!

Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Си-

бирь. Что скажешь? а?

Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович! Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!

Городничий. Не гневись! Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? — оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья! втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.

Купцы*(кланяются в ноги)*. Не погуби, Антон Антонович!

Городничий. Не погуби! Теперь: не погуби! а прежде что? Я бы вас... *(Махнув рукой.)* Ну, да бог простит! полно! Я не памятозлобен; только теперь смотри держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина: чтоб поздравление было... понимаешь? не то, чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару... Ну, ступай с богом!

Купцы уходят.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, Аммос Федорович, Артемий Филиппович, потом Растаковский.

Аммос Федорович*(еще в дверях)*. Верить ли слухам, Антон Антонович? к вам привалило необыкновенное счастье?

Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал. *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Анна Андреевна! *(Подходя к ручке Марьи Антоновны.)* Марья Антоновна!

Растаковский*(входит)*. Антона Антоновича поздравляю. Да продлит бог жизнь вашу и новой четы и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ручке Марьи Антоновны.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же, Коробкин с женою, Люлюков.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна!

(Подходит к ее ручке.)

Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем.

Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! *(Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.)* Марья Антоновна! Имею честь поздравить. *(Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.)*

ЯВЛЕНИЕ v

Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» — потом к Марье Антоновне, говоря: «Марья Антоновна!»

Бобчинский и **Добчинский** проталкиваются.

Бобчинский. Имею честь поздравить!

Добчинский. Антон Антонович! имею честь поздравить!

Бобчинский. С благополучным происшествием!

Добчинский. Анна Андреевна! Бобчинский. Анна Андреевна!

Оба подходят в одно время и сталкиваются

лбами.

Добчинский. Марья Антоновна! (*Подходит к ручке.*) Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастье, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время.

Бобчинский(*перебивая*). Марья Антоновна, имею честь поздравить! Дай бог вам всякого богатства, червонцев и сынка-с этакого маленького, вон энтакого-с (*показывает рукою*), чтоб можно было на ладонку посадить, да-с! Все будет мальчишка кричать: уа! уа! уа!

ЯВЛЕНИЕ VI

Еще несколько гостей, подходящих к ручкам, Лука Лукич с женою.

Лука Лукич. Имею честь...

Жена Луки Лукича(*бежит вперед*). Поздравляю вас, Анна Андреевна!

Целуются.

А я так, право, обрадовалась. Говорят мне: «Анна Андреевна выдает дочку». «Ах, боже мой!»

— думаю себе и так обрадовалась, что гово-

рю мужу: «Послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевне!» «Ну, — думаю себе, — слава богу!» И говорю ему: «Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъяснить лично Анне Андреевне...» «Ах, боже мой! — думаю себе. — Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба: именно так сделалось, как она хотела», — и так, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит: «Отчего ты, Настенька, рыдаешь?» — «Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются».

Городничий. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.

Гости садятся.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же, частный пристав и квартальные.

Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета!

Городничий. Спасибо, спасибо! Прошу са-

диться, господа!

Гости усаживаются.

Аммос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось, постепенный ход всего, то есть, дела.

Городничий. Ход дела чрезвычайный: изволил собственнoлично сделать предложение.

Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: «Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам...» И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! «Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь — копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества».

Марья Антоновна. Ах, маменька! ведь это он мне говорил.

Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! «Я, Анна Андреевна, изумляюсь...» В таких лестных рассыпался словах... И когда я хотела сказать: «Мы никак не смеем надеяться на такую

честь», — он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».

Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил.

Анна Андреевна. Да, конечно... и об тебе было, я ничего этого не отвергаю.

Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится. «Застрелюсь, застрелюсь!» — говорит.

Многие из гостей. Скажите пожалуйста!

Аммос Федорович. Экая штука!

Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела.

Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба — индейка: заслуги привели к тому. *(В сторону.)* Этакой свинье лезет всегда в рот счастье!

Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.

Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков.

Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся.

Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастью! вы не можете себе представить.

Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.

Городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу.

Анна Андреевна. К своему дяде, чтоб испросить благословения.

Городничий. Испросить благословения; но завтра же... *(Чихает)*.

Поздравления сливаются в один гул.

Много благодарен! Но завтра же и назад... *(Чихает)*.

Поздравительный гул; слышнее других голоса:

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Бобчинского. Сто лет и куль червонцев!

Добчинского. Продли бог на сорок сороков!

Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал!

Жены Коробкина. Черт тебя побери!

Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю.

Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух... деревенский уж слишком!., признаюсь, большая неприятность... Вот и муж мой... он там получит генеральский чин.

Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.

Лука Лукич. И дай бог получить!

Растаковский. От человека невозможно, а от бога все возможно.

Аммос Федорович. Большому кораблю — большое плаванье.

Артемий Филиппович. По заслугам и честь.

Аммос Федорович(в сторону). Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, нет, до этого еще

далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.

Артемий Филиппович *(в сторону)*. Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. *(Обращаясь к нему.)* Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.

Аммос Федорович. И если что случится, например какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!

Коробкин. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке.

Городничий. Я готов с своей стороны, готов стараться.

Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно и с какой стати себя обременять такими обещаниями?

Городничий. Почему ж, душа моя? иногда можно.

Анна Андреевна. Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покрови-

тельство.

Жена Коробкина. Вы слышали, как она трактует нас?

Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои...

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и почтмейстер, впопыхах, с распечатанным письмом в руке.

Почтмейстер. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.

Все. Как не ревизор?

Почтмейстер. Совсем не ревизор — я узнал это из письма...

Городничий. Что вы? что вы? из какого письма?

Почтмейстер. Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес — вижу: «в Почтамтскую улицу». Я так и обомлел. «Ну, — думаю себе, — верно, нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство». Взял да и распечатал.

Городничий. Как же вы?..

Почтмейстер. Сам не знаю, неестествен-

ная сила побудила. Призвал было уже курьера, с тем чтобы отправить его с эстафетой, — но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу! слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь, как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-богу мороз. И руки дрожат, и все помутилось.

Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!

Городничий. Что ж он, по-вашему, такое?

Почтмейстер. Ни се ни то; черт знает что такое!

Городничий(запальчиво). Как ни се ни то? Как вы смеете назвать его ни тем ни сем, да еще и черт знает чем? Я вас под арест...

Почтмейстер. Кто? Вы?

Городничий. Да, я!

Почтмейстер. Коротки руки!

Городничий. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?

Почтмейстер. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо!

Все. Читайте, читайте!

Почтмейстер(*читает*). «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать, — думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шерамыжку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают займы сколько угодно. Оригиналы страшные. От

смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу. Во-первых, городничий — глуп, как сивый мерин...»

Городничий. Не может быть! Там нет этого.

Почтмейстер(показывает письмо). Читайте сами.

Городничий(читает). «Как сивый мерин». Не может быть! вы это сами написали.

Почтмейстер. Как же бы я стал писать?

Артемий Филиппович. Читайте!

Лука Лукич. Читайте!

Почтмейстер(продолжая читать). «Городничий — глуп, как сивый мерин...»

Городничий. О, черт возьми! нужно еще повторять! как будто оно там и без того не стоит.

Почтмейстер(продолжая читать). Хм... хм... хм... «сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек...» (Оставляя читать.) Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.

Городничий. Нет, читайте!

Почтмейстер. Да к чему ж?..

Городничий. Нет, черт возьми, когда уж

читать, так читать! Читайте всё!

Артемий Филиппович. Позвольте, я прочитаю. *(Надевает очки и читает).* «Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьет горькую».

Почтмейстер*(к зрителям).* Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь; больше ничего!

Артемий Филиппович*(продолжая читать).* «Надзиратель над богоугодным заведе... и... и... и...» *(Заикается.)*

Коробкин. А что ж вы остановились?

Артемий Филиппович. Да нечеткое перо... впрочем, видно, что негодяй.

Коробкин. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, получше глаза. *(Берет письмо.)*

Артемий Филиппович*(не давая письма).* Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.

Коробкин. Да позвольте, уж я знаю.

Артемий Филиппович. Прочитать я и сам прочитаю; далее, право, все разборчиво.

Почтмейстер. Нет, всё читайте! ведь прежде все читано.

Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо! (*Коробкину.*) Читайте!

Артемий Филиппович. Сейчас. (*Отдает письмо.*) Вот, позвольте... (*Закрывает пальцем.*) Вот отсюда читайте.

Все приступают к нему.

Почтмейстер. Читайте, читайте! вздор, всё читайте!

Коробкин(*читая*). «Надзиратель за богоугодным заведением Земляника — совершенная свинья в ермолке».

Артемий Филиппович(*к зрителям*). И неостроумно! Свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке?

Коробкин(*продолжая читать*). «Смотритель училищ протухнул насквозь луком».

Лука Лукич(*к зрителям*). Ей-богу, и в рот никогда не брал луку.

Аммос Федорович(*в сторону*). Слава богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет!

Коробкин(*читает*). «Судья...»

Аммос Федорович. Вот тебе на! (*Вслух*). Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и

черт ли в нем: дряннь этакую читать.

Лука Лукич. Нет!

Почтмейстер. Нет, читайте!

Артемий Филиппович. Нет уж, читайте!

Коробкин(продолжает). «Судья Ляпки-Тяпки в сильнейшей степени моветон...» (Останавливается). Должно быть, французское слово.

Аммос Федорович. А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть, и того еще хуже.

Коробкин(продолжая читать). «А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить; хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. (Переворачивает письмо и читает адрес.) Его благородию, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Санкт-Петербурге, в Почтамтскую улицу, в доме под номером девяносто седьмым, поворота на двор, в третьем этаже направо».

Одна из дам. Какой репримант неожиданный!

Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего... Воротить, воротить его! (*Машет рукою.*)

Почтмейстер. Куды воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание..

Жена Коробкина. Вот уж точно, вот беспримерная конфузия!

Аммос Федорович. Однако ж, черт возьми господа! он у меня взял триста рублей взаймы.

Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей.

Почтмейстер(*вздыхает*). Ох! и у меня триста рублей.

Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.

Аммос Федорович(*в недоумении расставляет руки*). Как же это, господа? Как это, в самом деле, мы так оплошали?

Городничий(бьет себя по лбу). Как я — нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!.. Что губернаторов! (*махнул рукой*) нечего и говорить про губернаторов...

Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...

Городничий(в сердцах). Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обрученьем!.. (*В исступлении.*) Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! (*Грозит самому себе кулаком.*) Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливаает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и

бить в ладоши. Чему смеетесь?

— Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. *(Стучит со злости ногами об пол.)* Я бы всех этих бумаго-марак! У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. *(Сует кулаком и бьет каблуком в пол. После некоторого молчания.)* До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего — и вдруг все: ревизор! ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте?

Артемий Филиппович *(расставляя руки)*. Уж как случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал.

Аммос Федорович. Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! *(Показывает на Добчинского и Бобчинского.)*

Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал...

Добчинский. Я ничего, совсем ничего...

Артемий Филиппович. Конечно, вы.

Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и денег не плотит...» Нашли важную птицу!

Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые!

Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!

Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!

Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!

Лука Лукич. Колпаки!

Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Все обступают их.

Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.

Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...

Бобчинский. А вот и нет; первые-то были вы.

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ:

Те же и жандарм.

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменявши положение, остается в окаменении.

Немая сцена

Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гости, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к семейству городничего. По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислу-

шивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел похвалить или произнести: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с устремившимися движениями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.

Женитьба

Совершенно невероятное событие в
двух действиях

(*Писано в 1833 году*)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Агафья Тихоновна, купеческая дочь,
невеста.

Арина Пантелеймоновна, тетка.

Фекла Ивановна, сваха.

Подколесин, служащий, надворный совет-
ник,

Кочкарев, друг его.

Яичница, экзекутор.

Анучкин, отставной пехотный офицер.

Жевакин, моряк.

Дуняшка, девочка в доме.

Стариков, гостинодворец.

Степан, слуга Подколесина.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ ЯВЛЕНИЕ I

Комната холостяка.

Подколесин один, лежит на диване о
трубкой.

Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что, в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится. Вот опять пропустил мясоед. А ведь, кажется, все готово, и сваха вот уж три месяца ходит. Право — самому как-то становится известно. Эй, Степан!

ЯВЛЕНИЕ II

Подколесин, Степан.

Подколесин. Не приходила сваха?

Степан. Никак нет.

Подколесин. А у портного был?

Степан. Был.

Подколесин. Что ж он, шьет фрак?

Степан. Шьет.

Подколесин. И много уже нашил?

Степан. Да, уж довольно. Начал уж петли метать.

Подколесин. Что ты говоришь?

Степан. Говорю: начал уж петли метать.

Подколесин. А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак?

Степан. Нет, не спрашивал.

Подколесин. Может быть, он говорил, не

хочет ли барин жениться?

Степан. Нет, ничего не говорил.

Подколесин. Ты видел, однако ж, у него и другие фраки? Ведь он и для других тоже шьет?

Степан. Да, фраков у него много висит.

Подколесин. Однако ж ведь сукно-то на них будет, чай, похуже, чем на моем?

Степан. Да, это будет попримудистее, что на вашем.

Подколесин. Что ты говоришь?

Степан. Говорю: это попримудистее, что на вашем.

Подколесин. Хорошо. Ну, а не спрашивал: для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?

Степан. Нет.

Подколесин. Не говорил ничего о том, что не хочет ли, дискать, жениться?

Степан. Нет, об этом не заговаривал.

Подколесин. Ты, однако же, сказал, какой на мне чин и где служу?

Степан. Сказывал.

Подколесин. Что ж он на это?

Степан. Говорит: буду стараться.

Подколесин. Хорошо. Теперь ступай.
Степан уходит.

ЯВЛЕНИЕ III

Подколесин один.

Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным и прочей мелюзге, молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого... вот позабыл слово! и хорошее слово, да позабыл. Да, батюшка, уж как ты там себе ни переворачивай, а надворный советник тот же полковник, только разве что мундир без эполет. Эй, Степан!

ЯВЛЕНИЕ IV

Подколесин, Степан.

Подколесин. А ваксу купил?

Степан. Купил.

Подколесин. Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте?

Степан. Да-с, в той самой.

Подколесин. Что ж, хороша вакса?

Степан. Хороша.

Подколесин. Ты пробовал чистить ею са-

поги?

Степан. Пробовал.

Подколесин. Что ж, блестит?

Степан. Блестеть-то она блестит хорошо.

Подколесин. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса?

Степан. Нет.

Подколесин. Может быть, не говорил ли: не затевает ли, дискать, барин жениться?

Степан. Нет, ничего не говорил.

Подколесин. Ну, хорошо, ступай себе.

ЯВЛЕНИЕ V

Подколесин один.

Кажется, пустая вещь сапоги, а ведь, однако же, если дурно сшиты да рыжая вакса, уж в хорошем обществе и не будет такого уважения. Всё как-то не того... Вот еще гадко, если мозоли. Готов вытерпеть бог знает что, только бы не мозоли. Эй, Степан!

ЯВЛЕНИЕ VI

Подколесин, Степан.

Степан. Чего изволите?

Подколесин. Ты говорил сапожнику, чтоб не было мозолей?

Степан. Говорил.

Подколесин. Что ж он говорит?

Степан. Говорит, хорошо.

Степан уходит.

ЯВЛЕНИЕ VII

Подколесин, потом Степан.

Подколесин. А ведь хлопотливая, черт возьми, вещь женитьба! То, да се, да это. Чтобы то да это было исправно, — нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан!

Степан входит.

Я хотел тебе еще сказать...

Степан. Старуха пришла.

Подколесин. А, пришла; зови ее сюда.

Степан уходит.

Да, это вещь... вещь не того... трудная вещь.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Подколесин и Фекла.

Подколесин. А, здравствуй, здравствуй, Фекла Ивановна. Ну что? как? Возьми стул,

садись, да и рассказывай. Ну, так как же, как? Как бишь ее: Меланья?..

Фекла. Агафья Тихоновна.

Подколесин. Да, да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева?

Фекла. Уж вот нет так нет. То есть как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить.

Подколесин. Да ты врешь, Фекла Ивановна.

Фекла. Устарела я, отец мой, чтобы врать; пес врет.

Подколесин. А приданое-то, приданое? Расскажи-ка вновь.

Фекла. А приданое: каменный дом в Московской части, о двух елтажах, уж такой избыточный, что истинно удовольствие. Один лабазник платит семьсот за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных хлигеря: один хлигерь совсем деревянный, другой на каменном фундаменте; каждый рублев по четыреста приносит доходу. Огород есть еще на Выборгской стороне: третьего года купец нанимал под капусту; и такой купец трезвый, совсем не берет

хмельного в рот, и трех сыновей имеет: двух уж поженил, «а третий, говорит, еще молодой, пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. Я уж, говорит, стар, так пусть сын посидит в лавке, чтобы торговля шла полегче».

Подколесин. Да собой-то, какова собой?

Фекла. Как рефинат! Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот по этих пор довольны (*показывает на горло*); то есть и приятелю и неприятелю скажете: «Ай да Фекла Ивановна, спасибо!»

Подколесин. Да ведь она, однако ж, не штаб-офицерка?

Фекла. Купца третьей гильдии дочь. Да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. О купце и слышать не хочет. «Мне, говорит, какой бы ни был муж, хоть и собой-то невзрачен, да был бы дворянин». Да, такой великитес! А к воскресному-то как наденет шелковое платье — так вот те Христос, так и шумит. Княгиня просто!

Подколесин. Да ведь я-то потому тебя спрашивал, что я надворный советник, так

мне, понимаешь...

Фекла. Да уж обыкновенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник, да отказали: не пондравился. Такой уж у него нрав-то странный был: что ни скажет слово, то и соврет, а такой на взгляд видный. Что ж делать, так уж ему бог дал. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть. Такая уж на то воля божия.

Подколесин. Ну, а кроме этой, других там нет никаких?

Фекла. Да какой же тебе еще? Уж это что ни есть лучшая.

Подколесин. Будто уж самая лучшая?

Фекла. Хоть по всему свету исходи, такой не найдешь.

Подколесин. Подумаем, подумаем, матушка. Приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот эдак: я полежу, а ты расскажешь...

Фекла. Да помилуй, отец! уж вот третий месяц хожу к тебе, а проку-то ни насколько. Все сидит в халате да трубку знай себе покуривает.

Подколесин. А ты думаешь небось, что же-

нитьба все равно что «эй, Степан, подай сапоги!». Натянул на ноги да и пошел? Нужно порассудить, порассмотреть.

Фекла. Ну, так что ж? Коли смотреть, так и смотри. На то товар, чтобы смотреть. Вот прикажи-тка подать кафтан да теперь же, благо утреннее время, и поезжай.

Подколесин. Теперь? А вот видишь, как пасмурно. Выеду, а вдруг хватит дождем.

Фекла. А тебе же худо! Ведь в голове седой волос уж глядит, скоро совсем не будешь годиться для супружеска дела. Невидаль, что он придворный советник! Да мы таких женихов приберем, что и не посмотрим на тебя.

Подколесин. Что за чепуху несешь ты? Из чего вдруг угораздило тебя сказать, что у меня седой волос? Где ж седой волос? *(Щупает свои волосы.)*

Фекла. Как не быть седому волосу, на то живет человек. Смотри ты! Тою ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня есть на примете такой капитан, что ты ему и под плечо не подойдешь, а говорит-то — как труба; в алгалантьерстве служит.

Подколесин. Да врешь, я посмотрю в зер-

кало; где ты выдумала седой волос? Эй, Степан, принеси зеркало! Или нет, стой, я пойду сам. Вот еще боже сохрани. Это хуже, чем оспа. *(Уходит в другую комнату.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Фекла и **Кочкарев**, вбегая.

Кочкарев. Что Подколесин?.. *(Увидев Феклу.)* Ты как здесь? Ах, ты!.. Ну послушай, на кой черт ты меня женила?

Фекла. А что ж дурного? Закон исполнил.

Кочкарев. Закон исполнил! Эк невидаль, жена! Без нее-то разве я не мог обойтись?

Фекла. Да ведь ты ж сам пристал: жени, бабушка, да и полно.

Кочкарев. Ах ты, крыса старая!.. Ну, а здесь зачем? Неужли Подколесин хочет...

Фекла. А что ж? Бог благодать послал.

Кочкарев. Нет! Эк мерзавец, ведь мне ничего об этом. Каков! Прошу покорно: сподтишка?

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и **Подколесин** с зеркалом в руках, в которое вглядывается очень внимательно.

Кочкарев*(подкрадываясь сзади, пугает*

его). Пуф!

Подколесин(вскрикнув и роняя зеркало). Сумасшедший! Ну зачем, зачем... Ну что за глупости! Перепугал право, так что душа не на месте.

Кочкарев. Ну, ничего, пошутил.

Подколесин. Что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил. Ведь это вещь не даровая: в английском магазине куплено.

Кочкарев. Ну полно: я сыщу тебе другое зеркало.

Подколесин. Да, сыщешь. Знаю я эти другие зеркала. Целым десятком кажет старше, и рожа выходит косяком.

Кочкарев. Послушай, ведь я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал?

Подколесин. Вот вздор: совсем и не думал.

Кочкарев. Да ведь улика налицо. (Указывает на Феклу.) Ведь вот стоит — известно, что за птица. Ну что ж, ничего, ничего. Здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь, изволь: я бе-

ру на себя все дела. (К Фекле.) Ну, говори, как, что и прочее? Дворянка, чиновница или в купечестве, что ли, — и как зовут?

Фекла. Агафья Тихоновна.

Кочкарев. Агафья Тихоновна Брандахлыстова?

Фекла. Ан нет — Купердягина.

Кочкарев. В Шестилавочной, что ли, живет?

Фекла. Уж вот нет; будет поближе к Пескам, в Мыльном переулке.

Кочкарев. Ну да, в Мыльном переулке, тотчас за лавочкой — деревянный дом?

Фекла. И не за лавочкой, а за пивным погребом.

Кочкарев. Как же за пивным, — вот тут-то я не знаю.

Фекла. А вот как поворачишь в проулок, так будет тебе прямо будка, и как будку минешь, свороти налево, и вот тебе прямо в глаза — то есть, так вот тебе прямо в глаза и будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским обер-секлетарем. Ты к швее-то не заходи, а сейчас за нею будет второй дом, каменный — вот этот дом и есть

ее, в котором, то есть, она живет, Агафья Тихоновна-то, невеста.

Кочкарев. Хорошо, хорошо. Теперь я все это обделаю; а ты ступай, — в тебе больше нет нужды.

Фекла. Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить?

Кочкарев. Сам, сам; ты уж не мешайся только.

Фекла. Ах, бесстыдник какой! Да ведь это не мужское дело. Отступись, батюшка, право!

Кочкарев. Пойди, пойди. Не смыслишь ничего, не мешайся! Знай, сверчок, свой шесток, — убирайся!

Фекла. У людей только чтобы хлеб отымать, безбожник такой! В такую дрянь вмешался. Кабы знала, ничего бы не сказывала. *(Уходит с досадой.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Подколесин и Кочкарев.

Кочкарев. Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем.

Подколесин. Да ведь я еще ничего. Я так только подумал...

Кочкарев. Пустяки, пустяки! Только не конфузься: я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте, и увидишь, как всё вдруг.

Подколесин. Вот еще! Сейчас бы и ехать!

Кочкарев. Да за чем же, помилуй, за чем дело?.. Ну, рассмотри сам: ну что из того, что ты неженатый? Посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит, вон лоханка для умывания, вон делая куча табаку на столе, и ты вот сам лежишь, как байбак, весь день на боку.

Подколесин. Это правда. Порядка-то у меня, я знаю сам, что нет.

Кочкарев. Ну, а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь: тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделье... И вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабеночка, хорошенькая эдакая, и ручкой тебя...

Подколесин. А, черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки. Ведь просто, брат, как молоко.

Кочкарев. Куды тебе! Будто у них только

что ручки!.. У них, брат... Ну да что и говорить! у них, брат, просто черт знает чего нет.

Подколесин. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая.

Кочкарев. Ну видишь, сам раскусил. Теперь только нужно распорядиться. Ты уж не заботься ни о чем. Свадебный обед и прочее — это все уж я... Шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя, уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок непременно. У невесты, верно, есть куча тетушек и кумушек — эти шутить не любят. А рейнвейн — черт с ним, не правда ли? а? А что же касается до обеда — у меня, брат, есть на примете придворный официант: так, собака, накормит, что просто не встанешь.

Подколесин. Помилуй, ты так горячо берешься, как будто бы в самом деле уж и свадьба.

Кочкарев. А почему ж нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен?

Подколесин. Я? Ну нет... я еще не совсем согласен.

Кочкарев. Вот тебе на! Да ведь ты сейчас объявил, что хочешь.

Подколесин. Я говорил только, что не худо бы.

Кочкарев. Как, помилуй! Да мы уж совсем было все дело... Да что? разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли?

Подколесин. Нет... нравится.

Кочкарев. Ну, так что ж? За чем дело стало?

Подколесин. Да дело ни за чем не стало, а только странно...

Кочкарев. Что ж странно?

Подколесин. Как же не странно: все был неженатый, а теперь вдруг — женатый.

Кочкарев. Ну, ну... ну не стыдно ли тебе? Нет, я вижу, с тобой нужно говорить серьезно: я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну посмотри, посмотри на себя внимательно, вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Ну что ты теперь такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало, что ты там видишь? глупое лицо — больше ничего. А тут, вообрази, около тебя будут ребяташки, ведь не то что двое или трое, а, может быть, целых шестеро, и все на тебя

как две капли воды. Ты вот теперь один, на-
дворный советник, экспедитор или там на-
чальник какой, бог тебя ведает, а тогда, вооб-
рази, около тебя экспедиторчонки, маленькие
эдакие канальчонки, и какой-нибудь постре-
ленок, протянувши ручонки, будет теревить
тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему
по-собачьи: ав, ав, ав! Ну есть ли что-нибудь
лучше этого, скажи сам?

Подколесин. Да ведь они только шалуны
большие: будут всё портить, разбросают бу-
маги.

Кочкарев. Пусть шалют, да ведь все на тебя
похожи — вот штука.

Подколесин. А оно, в самом деле, даже
смешно, черт побери: этакой какой-нибудь
пышка, щенок эдакой, и уж на тебя похож.

Кочкарев. Как не смешно, конечно, смеш-
но. Ну, так поедем.

Подколесин. Пожалуй, поедем.

Кочкарев. Эй, Степан! Давай скорее своему
барину одеваться.

Подколесин(*одеваясь перед зеркалом*). Я
думаю, однако ж, что нужно бы в белом жиле-
те.

Кочкарев. Пустяки, все равно.

Подколесин(надевая воротнички). Проклятая прачка, так скверно накрахмалила воротнички — никак не стоят. Ты ей скажи, Степан, что если она, глупая, так будет гладить белье, то я найму другую. Она, верно, с любовниками проводит время, а не гладит.

Кочкарев. Да ну, брат, поскорее! Как ты копаешься!

Подколесин. Сейчас, сейчас. *(Надевает фрак и садится.)* Послушай, Илья Фомич. Знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам.

Кочкарев. Ну вот еще; с ума сошел разве? Мне ехать! Да кто из нас женится: ты или я?

Подколесин. Право, что-то не хочется; пусть лучше завтра.

Кочкарев. Ну есть ли в тебе капля ума? Ну не олух ли ты? Собрался совершенно, и вдруг: не нужно! Ну скажи, пожалуйста, не свинья ли ты, не подлец ли ты после этого?

Подколесин. Ну что ж ты бранишься? с какой стати? что я тебе сделал?

Кочкарев. Дурак, дурак набитый, это тебе всякий скажет. Глуп, вот просто глуп, хоть и экспедитор. Ведь о чем стараюсь? О твоей

пользе; ведь изо рта выманят кус. Лежит, проклятый холостяк! Ну скажи, пожалуйста, ну на что ты похож? Ну, ну, дрянь, колпак, сказал бы такое слово... да неприлично только. Баба! хуже бабы!

Подколесин. И ты хорош в самом доле! *(Вполголоса.)* В своем ли ты уме? Тут стоит крепостной человек, а он при нем бранится, да еще эдакими словами; не нашел другого места.

Кочкарев. Да как же тебя не бранить, скажи, пожалуйста? Кто может тебя не бранить? У кого достанет духу тебя не бранить? Как порядочный человек, решил жениться, последовал благоразумию и вдруг — просто сдуру, белены объелся, деревянный чурбан...

Подколесин. Ну, полно, я еду — чего ж ты раскричался?

Кочкарев. Еду! Конечно, что ж другое делать, как не ехать! *(Степану.)* Давай ему шляпу и шинель.

Подколесин*(в дверях).* Такой, право, странный человек! С ним никак нельзя водиться: выбранит вдруг ни за что ни про что. Не понимает никакого обращения.

Кочкарев. Да уж кончено, теперь не бра-
ню.

Оба уходят.

ЯВЛЕНИЕ XII

Комната в доме Агафьи Тихоновны.
Агафья Тихоновна раскладывает на
картах, из-за руки глядит тетка **Арина Панте-**
леймоновна.

Агафья Тихоновна. Опять, тетушка, доро-
га! Интересуется какой-то бубновый король,
слезы, любовное письмо; с левой стороны
трефовый изъясляет большое участие, но ка-
кая-то злодейка мешает.

Арина Пантелеймоновна. А кто бы, ты ду-
мала, был трефовый король?

Агафья Тихоновна. Не знаю.

Арина Пантелеймоновна. А я знаю кто.

Агафья Тихоновна. А кто?

Арина Пантелеймоновна. А хороший тор-
говец, что по суконной линии, Алексей Дмит-
риевич Стариков.

Агафья Тихоновна. Вот уж верно не он! я
хоть что ставлю, не он.

Арина Пантелеймоновна. Не спорь, Агафья Тихоновна, волос уж такой русый. Нет другого трефового короля.

Агафья Тихоновна. А вот же нет: трефовый король значит здесь дворянин. Купцу далеко до трефового короля.

Арина Пантелеймоновна. Эх, Агафья Тихоновна, ведь не то бы ты сказала; как бы покойник— то Тихон, твой батюшка, Пантелеймонович был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу да вскрикнет: «Плевать я, говорит, на того, который стыдится быть купцом; да не выдам же, говорит, дочь за полковника. Пусть их делают другие! А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как и всякий другой?» Да всей пятерней-то так по столу и хватит. А рука-то в ведро величиною — такие страсти! Ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила бы подолее.

Агафья Тихоновна. Ну вот, чтобы и у меня еще был такой злой муж! Да ни за что не выйду за купца!

Арина Пантелеймоновна. Да ведь Алек-

сей-то Дмитриевич не такой.

Агафья Тихоновна. Не хочу, не хочу! У него борода: станет есть, все потечет по бороде. Нет, нет, не хочу!

Арина Пантелеймоновна. Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице не сыщешь.

Агафья Тихоновна. Фекла Ивановна сыщет. Она обещалась сыскать самого лучшего.

Арина Пантелеймоновна. Да ведь она лгунья, мой свет.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Фекла.

Фекла. Ан нет, Арина Пантелеймоновна, грех вам понапрасну поклеп взводить.

Агафья Тихоновна. Ах, это Фекла Ивановна! Ну что, говори, рассказывай! Есть?

Фекла. Есть, есть, дай только прежде с духом собраться — так ухлопоталась! По твоей комиссии все дома исходила, по канцеляриям, по министериям истаскалась, в караульни наслонялась... Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть было не прибили, ей-богу! Старуха-то, что женила Аферовых, так было приступила ко мне: «Ты такая и этакая, только

хлеб перебиваешь, знай свой квартал», — говорит. «Да что ж, — сказала я напрямик, — я для своей барышни, не прогневайся, все готова удовлетворить». Зато уж каких женихов тебе припасла! То есть и стоял свет и будет стоять, а таких еще не было! Сегодня же иные и придут. Я забежала нарочно тебя предвредить.

Агафья Тихоновна. Как же сегодня? Душа моя Фекла Ивановна, я боюсь.

Фекла. И, не пугайся, мать моя! дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. И ты посмотришь их: не пондравятся — ну и уедут.

Арина Пантелеймоновна. Ну уж, чай, хороших приманила!

Агафья Тихоновна. А сколько их? много?

Фекла. Да человек шесть есть.

Агафья Тихоновна(вскрикивает). Ух!

Фекла. Ну что ж ты, мать моя, так вспорхнула? Лучше выбирать: один не придется, другой придется.

Агафья Тихоновна. Что ж они: дворяне?

Фекла. Все как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких.

Агафья Тихоновна. Ну, какие же, какие?

Фекла. А славные все такие, хорошие, аккуратные. Первый Балтазар Балтазарович Жевакин, такой славный, во флоте служил, — как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле, а поджаристых совсем не любит. А Иван-то Павлович, что служит езекухтором, такой важный, что и приступу нет. Такой видный из себя, толстый; как закричит на меня: «Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая и эдакая! ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого?» — «Столько-то и столько-то, отец мой!» — «Ты врешь, собачья дочь!» Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так вмиг и спознала: э, да это должен быть важный господин.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто?

Фекла. А еще Никанор Иванович Анучкин. Это уж такой великательный! а губы, мать моя, — малина, совсем малина! такой славный. «Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы и по-французскому умела говорить». Да, тонкого

поведенья человек, немецкая штука! А сам-то такой subtilный, и ножки узенькие, тоненькие.

Агафья Тихоновна. Нет, мне эти subtilные как-то не того... не знаю... Я ничего не вижу в них...

Фекла. А коли хочешь поплотнее, так возьми Ивана Павловича. Уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тот, неча сказать, барин так барин: мало в эти двери не войдет, — такой славный.

Агафья Тихоновна. А сколько лет ему?

Фекла. А человек еще молодой: лет пятьдесят, да и пятидесяти еще нет.

Агафья Тихоновна. А фамилия как?

Фекла. А фамилия Иван Павлович Яичница.

Агафья Тихоновна. Это такая фамилия?

Фекла. Фамилия.

Агафья Тихоновна. Ах боже мой, какая фамилия! Послушай, Феклуша, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Бог знает что такое!

Фекла. И, мать моя, да на Руси есть такие

прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. А пожалуй, коли не нравится прозвище, — то возьми Балтазара Балтазаровича Жевакина — славный жених.

Агафья Тихоновна. А какие у него волосы?

Фекла. Хорошие волосы.

Агафья Тихоновна. А нос?

Фекла. Э... и нос хороший. Всё на своем месте. И сам такой славный. Только не погневайся: уж на квартире одна только трубка и стоит, больше ничего нет — никакой мебели.

Агафья Тихоновна. А еще кто?

Фекла. Акинф Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, немножко заикается только, зато уж такой скромный.

Арина Пантелеймоновна. Ну что ты все: чиновник, чиновник! А не любит ли он выпить, вот, мол, что скажи.

Фекла. А пьет, не прекословлю, пьет. Что ж делать, уж он титулярный советник; зато такой тихий, как шелк.

Агафья Тихоновна. Ну нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница.

Фекла. Твоя воля, мать моя! Не хочешь одного, возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее, — ведь не всю же неделю бывает пьян: иной день выберется и трезвый.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто?

Фекла. Да есть еще один, да тот только такой... бог с ним! Эти будут почище.

Агафья Тихоновна. Ну, да кто же он?

Фекла. А не хотелось бы и говорить про него. Он-то, пожалуй, надворный советник и петлицу носит, да уж на подъем куды тяжел, не выманишь из дому.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто? Ведь тут только всего пять, а ты говорила шесть.

Фекла. Да неужто тебе еще мало? Смотри ты, как тебя вдруг поразобрало, а ведь давеча было испугалась.

Арина Пантелеймоновна. Да что с них, с дворян-то твоих? Хоть их у тебя и шестеро, а, право купец один станет за всех.

Фекла. А нет, Арина Пантелеймоновна. Дворянин будет почтенней.

Арина Пантелеймоновна. Да что в почтенье-та? А вот Алексей Дмитриевич да в собо-

льей шапке, в санках-то как прокатится...

Фекла. А дворянин-то с аполетой пройдет навстречу, скажет: «Что ты, купчишка? свороти с дороги!» Или: «Покажи, купчишка, бархату самого лучшего!» А купец: «Извольте, батюшка!» — «А сними-ка, невежа, шляпу!»

— вот что скажет дворянин.

Арина Пантелеймоновна. А купец, если захочет, не даст сукна; а вот дворянин-то и голенькой, и не в чем ходить дворянину!

Фекла. А дворянин зарубит купца.

Арина Пантелеймоновна. А купец пойдет жаловаться в полицию.

Фекла. А дворянин пойдет на купца к сенахтору.

Арина Пантелеймоновна. А купец к губернатору.

Фекла. А дворянин...

Арина Пантелеймоновна. Врешь, врешь: дворянин... Губернатор больше сенахтора! Разносила с дворянином! а дворянин при случае так же гнет шапку...

В дверях слышен звонок.

Никак, звонит кто-то.

Фекла. Ахти, это они!

Арина Пантелеймоновна. Кто они?

Фекла. Они... кто-нибудь из женихов.

Агафья Тихоновна*(вскрикивает)*. Ух!

Арина Пантелеймоновна. Святые, помилуйте нас, грешных! В комнате совсем не прибрано. *(Схватывает все, что ни есть на столе, и бежит по комнате.)* Да салфетка-то салфетка на столе совсем черная. Дуняшка, Дуняшка!

Дуняшка является.

Скорее чистую салфетку! *(Стаскивает салфетку и мечется по комнате.)*

Агафья Тихоновна. Ах, тетушка, как мне быть? Я чуть не в рубашке!

Арина Пантелеймоновна. Ах, мать моя, беги скорей одеваться! *(Мечется по комнате.)*

Дуняшка приносит салфетку; в дверях звонят.

Беги скажи: «Сейчас!»

Дуняшка кричит издалека: «Сейчас!»

Агафья Тихоновна. Тетушка, да ведь платье не выглажено.

Арина Пантелеймоновна. Ах, господи милосердный, не погуби! Надень другое.

Фекла(вбегая). Что ж вы нейдете? Агафья Тихоновна, поскорей, мать моя!

Слышен звонок.

Ахти, а ведь он все дожидается!

Арина Пантелеймоновна. Дуняшка, введи его и проси обождать.

Дуняшка бежит в сени и отворяет дверь. Слышны голоса: «Дома?» — «Дома, пожалуйста в комнату». Все с любопытством стараются рассмотреть в замочную скважину.

Агафья Тихоновна(вскрикивает). Ах, какой толстый!

Фекла. Идет, идет!

Все бегут опрометью.

ЯВЛЕНИЕ XIV

Иван Павлович Яичница и девчонка.

Девчонка. Погодите здесь. *(Уходит.)*

Яичница. Пожалуй, пождать — пождем, как бы только не замешкаться. Отлучился ведь только на минутку из департамента. Вдруг вздумает генерал: «А где экзекутор?» — «Невесту пошел выглядывать». Чтоб не задал он такой невесты... А однако ж, рассмотреть еще раз роспись. *(Читает.)* «Каменный двухэтажный дом...» *(Подымает глаза вверх и обсматривает комнату.)* Есть! *(Продолжает читать.)* «Флигеля два: флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный...» Ну, деревянный плоховат. «Дрожки, сани парные с резьбой, под большой ковер и под малый...» Может быть, такие, что в лом годятся? Старуха, однако ж, уверяет, что первый сорт; хорошо, пусть первый сорт. «Две дюжины серебряных ложек...» Конечно, для дома нужны серебряные ложки. «Две лисьих шубы...» Гм... «Четыре больших пуховика и два малых. *(Значительно сжимает губы.)* Шесть пар шелковых и шесть пар ситцевых платьев, два ночных капота, два...» Ну, это статья пустая!

«Белье, салфетки...» Это пусть будет, как ей хочется. Впрочем, нужно все это поверить на деле. Теперь, пожалуй, обещают и домы, и экипажи, а как женишься — только и найдешь, что пуховики да перины.

Слышен звонок. **Дуняшка** бежит впопыхах через комнату отворять дверь. Слышны голоса: «Дома?» — «Дома».

ЯВЛЕНИЕ XV

Иван Павлович и Анучкин.

Дуняшка. Погодите тут. Они выдут.
(Уходит.)

Анучкин раскланивается с Яичницей.

Яичница. Мое почтение!

Анучкин. Не с папенькой ли прелестной хозяйки дома имею честь говорить?

Яичница. Никак нет, вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей.

Анучкин. Ах, извините! извините!

Яичница(в сторону). Физиогномия этого человека мне что-то подозрительна: чуть ли он не за тем же сюда пришел, за чем и я.

(Вслух.) Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность к хозяйке дома?

Анучкин. Нет, что ж... надобности никакой нет, а так, зашел с прогулки.

Яичница(в сторону). Врет, врет, с прогулки! Жениться, подлец, хочет!

Слышен звонок. **Дуняшка** бежит через комнату отворять дверь. В сенях голоса: «Дома?» — «Дома».

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же и **Жевакин**, в сопровождении **девчонки**.

Жевакин(девчонке). Пожалуйста, душенька, почисть меня... Пыли-то, знаешь, на улице попристало немало. Вон там, пожалуйста, сними пушинку. (Поворачивается.) Так! спасибо, душенька. Вот еще, посмотри, там как будто паучок лазит! а на подборах-то сзади ничего нет? Спасибо, родимая! Вон тут еще, кажется. (Гладит рукою рукав фрака и поглядывает на Анучкина и Ивана Павловича.) Суконце-то ведь аглицкое! Ведь каково носится! В девяносто пятом году, когда была эскадра

наша в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир; в восемьсот первом, при Павле Петровиче, я был сделан лейтенантом, — сукно было совсем новешенькое; в восемьсот четырнадцатом сделал экспедицию вокруг света, и вот только по швам немного поистерлось; в восемьсот пятнадцатом вышел в отставку, только перелицевал: уж десять лет ношу — до сих пор почти что новый. Благодарю, душенька, м... раскрасоточка! *(Делает ей ручку и, подходя к зеркалу, слегка взъерошивает волосы.)*

Анучкин. А как, позвольте узнать, Сицилия... Вот вы изволили сказать: Сицилия, — хорошая это земля Сицилия?

Жевакин. А, прекрасная! Мы тридцать четыре дня там пробыли; вид, я вам доложу, восхитительный! эдакие горы, эдак деревцо какое-нибудь гранатное, и везде италианочки, такие розанчики, так вот и хочется поцеловать.

Анучкин. И хорошо образованны?

Жевакин. Превосходным образом! Так образованные, как вот у нас только графини разве. Бывало, пойдешь по улице — ну, рус-

ский лейтенант... Натурально, здесь эполеты (*показывает на плеча*), золотое шитье... и эдак красоточки черномазенькие, — у них ведь возле каждого дома балкончики, и крыши, вот как этот пол, совершенно плоски. Бывало, эдак смотришь, и сидит эдакой розанчик... Ну, натурально, чтобы не ударить лицом в грязь... (*Кланяется и размахивает рукою.*) И она эдак только. (*Делает рукою движение.*) Натурально, одета: здесь у ней какая-нибудь тафтица, шнуровочка, дамские разные сережки... ну, словом, такой лакомый кусочек...

Анучкин. А как, позвольте еще вам сделать вопрос — на каком языке изъясняются в Сицилии?

Жевакин. А натурально, все на французском.

Анучкин. И все барышни решительно говорят по-французски?

Жевакин. Все-с решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу: мы жили тридцать четыре дня, и во все это время ни одного слова я не слышал от них по-русски.

Анучкин. Ни одного слова?

Жевакин. Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянах и прочих синьорах, то есть разных ихних офицерах; но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь, попробуйте скажите ему: «Дай, братец, хлеба», — не поймет, ей-богу не поймет; а скажи по-французски: «Dateci del pane»[301] или «portate vino!»[302] — поймет, и побежит, и точно принесет.

Иван Павлович. А любопытная, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта Сицилия. Вот вы сказали — мужик: что мужик, как он? так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет, или нет?

Жевакин. Не могу вам сказать: не заметил, пашут или нет, а вот насчет нюханья табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже за губу-с кладут. Перевозка тоже очень дешева; там все почти вода и везде гондолы... Натурально, сидит эдакая италианочка, такой розанчик, одета: манишечка, платочек... С нами были и аглицкие офицеры; ну, народ, так же как и наши, — моряки; и сначала, точ-

но, было очень странно: не понимаешь друг друга, — но потом, как хорошо обознакомились, начали свободно понимать: покажешь, бывало, эдак на бутылку или стакан — ну, тотчас и знает, что это значит выпить; приставишь эдак кулак ко рту и скажешь только губами: паф-паф — знает: трубку выкурить. Вообще, я вам доложу, язык довольно легкий, наши матросы в три дни каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга.

Иван Павлович. А преинтересная, как вижу, жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойтись с человеком бывалым. Позвольте узнать: с кем имею честь говорить?

Жевакин. Жевакин-с, лейтенант в отставке. Позвольте с своей стороны тоже спросить: с кем-с имею счастье изъясняться?

Иван Павлович. В должности экзекутора, Иван Павлович Яичница.

Жевакин(недослышав). Да, я тоже перекусил. Дороги-то, знаю, впереди будет довольно, а время холодновато: селедочку съел с хлебом.

Иван Павлович. Нет, кажется, вы не так поняли: это фамилия моя — Яичница.

Жевакин(кланяясь). Ах, извините! я немножко туговат на ухо. Я, право, думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу.

Иван Павлович. Да что делать? я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницын, да свои отговорили: говорят, будет похоже на «собачий сын».

Жевакин. А это, однако ж, бывает. У нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы, — все были с престранными фамилиями: Помойкин, Ярыжкин, Перепреев, лейтенант. А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И капитан, бывало: «Эй, ты, Дырка, поди сюда!» И, бывало, над ним всегда пошутишь. «Эх ты, дырка эдакой!» — говоришь, бывало, ему.

Слышен в сенях звонок. **Фекла** бежит через комнату отворять.

Яичница. А, здравствуй, матушка!

Жевакин. Здравствуй; как живешь, душа моя?

Анучкин. Здравствуйте, матушка Фекла Ивановна.

Фекла(*бежит впопыхах*). Спасибо, отцы мои! Здорова, здорова. (*Отворяет дверь.*)

В сенях раздаются голоса: «Дома?» — «Дома». Потом несколько почти неслышных слов, на которые Фекла отвечает с досадою: «Смотри ты какой!»

ЯВЛЕНИЕ XVII

Те же, Кочкарев, Подколесин и Фекла.

Кочкарев(*Подколесину*). Ты помни, только кураж, и больше ничего. (*Оглядывается и раскланивается с некоторым изумлением; про себя.*) Фу-ты, какая куча народу! Что это значит? Уж не женихи ли? (*Толкает Феклу и говорит ей тихо.*) С которых сторон понабрала ворон, а?

Фекла(*вполголоса*). Тут тебе ворон нет, всё честные люди.

Кочкарев(*ей*). Гости-то несчитанные, кафтаны общипанные.

Фекла. Гляди налёт на свой полёт, а и похвастаться нечем: шапка в рубль, а щи без круп.

Кочкарев. Небось твои разживные, по дыре в кармане. (*Вслух.*) Да что она делает те-

перь? Ведь эта дверь, верно, к ней в спальню?
(Подходит к двери.)

Фекла. Бесстыдник! говорят тебе, еще одевается.

Кочкарев. Эка беда! что ж тут такого? Ведь только посмотрю, и больше ничего. (Смотрит в замочную скважину.)

Жевакин. А позвольте мне полюбопытствовать тоже.

Яичница. Позвольте взглянуть мне только один разочек.

Кочкарев(продолжая смотреть). Да ничего не видно, господа. И распознать нельзя, что такое белеет: женщина или подушка.

Все, однако ж, обступают дверь и продираются взглянуть.

Чш... кто-то идет!

Все отскакивают прочь.

ЯВЛЕНИЕ XVIII

Те же, Арина Пантелеймоновна и Агафья Тихоновна. Все раскланиваются.

Арина Пантелеймоновна. А по какой при-

чине изволили одолжить посещением?

Яичница. А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды насчет поставки лесу и дров, и потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, я пришел узнать, какого роду лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить.

Арина Пантелеймоновна. Хоть подрядов никаких не берем, а приходу рады. А как по фамилии?

Яичница. Коллежский ассессор Иван Павлович Яичница.

Арина Пантелеймоновна. Прошу покорнейше садиться. *(Обращается к Жевакину и смотрит на него.)* А позвольте узнать...

Жевакин. Я тоже, в газетах вижу объявляют о чем-то: дай-ка, думаю себе, пойду. Погода же показалась хорошею, по дороге везде травка...

Арина Пантелеймоновна. А как-с по фамилии?

Жевакин. А лейтенант морской службы в отставке, Балтазар Балтазаров Жевакин-второй. Был у нас еще другой Жевакин, да тот еще прежде моего вышел в отставку: был ра-

нен, матушка, под коленком, и пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула, а по жиле прохватила — как иглой сшило, так что, когда, бывало, стоишь с ним, все кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить.

Арина Пантелеймоновна. А прошу покорнейше садиться. *(Обращаясь к Анучкину.)* А позвольте узнать, по какой причине?..

Анучкин. По соседству-с. Находясь довольно в близком соседстве...

Арина Пантелеймоновна. Не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что насупротив, изволите жить?

Анучкин. Нет, я покамест живу еще на Песках, но имею, однако же, намерение со временем перебраться сюда-с в соседство, в эту часть города.

Арина Пантелеймоновна. А прошу покорнейше садиться. *(Обращаясь к Кочкареву.)* А позвольте узнать...

Кочкарев. Да неужли вы меня не узнаете? *(Обращаясь к Агафье Тихоновне.)* И вы также, сударыня?

Агафья Тихоновна. Сколько мне кажется,

совсем не видала вас.

Кочкарев. Однако ж припомните. Вы меня, верно, где-нибудь видели.

Агафья Тихоновна. Право, не знаю. Уж разве не у Бирюшкиных ли?

Кочкарев. Именно, у Бирюшкиных.

Агафья Тихоновна. Ах, ведь вы не знаете, с ней ведь история случилась.

Кочкарев. Как же, вышла замуж.

Агафья Тихоновна. Нет, это бы еще хорошо, а то переломила ногу.

Арина Пантелеймоновна. И сильно переломила. Возвращалась довольно поздно домой на дрожках, а кучер-то был пьян и вывалил с дрожек.

Кочкарев. Да то-то я помню что-то было: или вышла замуж, или переломила ногу.

Арина Пантелеймоновна. А как по фамилии?

Кочкарев. Как же, Илья Фомич Кочкарев, в родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит о том... Позвольте, позвольте (*берет за руку Подколесина и подводит его*): приятель мой, Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник; служит экспедитором, один все де-

ла делает, усовершенствовал отличнейше свою часть.

Арина Пантелеймоновна. А как по фамилии?

Кочкарев. Подколесин Иван Кузьмич, Подколесин. Директор так только, для чина поставлен, а все дела он делает, Иван Кузьмич Подколесин.

Арина Пантелеймоновна. Так-с. Прошу покорнейше садиться.

ЯВЛЕНИЕ XIX

Те же и Стариков.

Стариков*(кланяясь живо и скоро, покупчески, и слегка берясь в бока)*. Здравствуйте, матушка Арина Пантелеевна. Ребята на Гостином дворе сказывали, что продаете шерсть, матушка!

Агафья Тихоновна*(отворачиваясь, с пренебрежением, вполголоса, но так, что он слышит)*. Здесь не купеческая лавка.

Стариков. Вона! Аль невпопад пришли? Аль и без нас дело сварили?

Арина Пантелеймоновна. Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич; хоть шерсти не продаем, а приходу рады. Прошу покорно садиться.

Все уселись. Молчание.

Яичница. Странная погода нынче: поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как будто и прошло.

Агафья Тихоновна. Да-с, уж эта погода ни на что не похожа: иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая. Очень большая неприятность.

Жевакин. Вот в Сицилии, матушка, мы были с эскадрой в весеннее время, — если пригнать, так выйдет к нашему февралю, — выйдешь, бывало, из дому: день солнечный, а потом эдак дождик, и смотришь, точно, как будто дождик.

Яичница. Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совсем другое дело — не скучно; а если в одиночестве — так это просто...

Жевакин. О, смерть, совершенная смерть!..

Анучкин. Да-с, это можно сказать...

Кочкарев. Какое! Просто терзанье! жизни не будешь рад; не приведи бог испытать такое положение.

Яичница. А как, сударыня, если бы пришлось вам избрать предмет? Позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо. В какой службе, вы полагаете, быть приличнее мужу?

Жевакин. Хотели ли бы вы, сударыня, иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями?

Кочкарев. Нет, нет. Лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом.

Анучкин. Почему же предубеждение? Зачем вы хотите оказать пренебрежение к человеку, который хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет, однако ж, ценить обхождение высшего общества.

Яичница. Сударыня, разрешите вы!

Агафья Тихоновна молчит.

Фекла. Отвечай же, мать моя. Скажи им что-нибудь.

Яичница. Как же, матушка?..

Кочкарев. Как же ваше мнение, Агафья Тихоновна?

Фекла(*тихо ей*). Скажи же, скажи: благодарствую, мол, с моим удовольствием. Не хорошо же так сидеть.

Агафья Тихоновна(*тихо*). Мне стыдно, право стыдно, я уйду, право уйду. Тетушка, посидите за меня.

Фекла. Ах, не делай этого сраму, не уходи; совсем острамишься. Они невесть что подумают.

Агафья Тихоновна(*так же*). Нет, право уйду. Уйду, уйду! (*Убегает.*)

Фекла и Арина Пантелеймовна уходят
вслед за нею.

ЯВЛЕНИЕ XX

Те же, кроме ушедших.

Яичница. Вот тебе на, и ушли все! Это что значит?

Кочкарев. Что-нибудь, верно, случилось. Жевакин. Как-нибудь насчет дамского туалета... Эдак поправить что-нибудь... манишечку... пришилить.

Фекла входит. Все к ней навстречу с вопросами: «Что, что такое?»

Кочкарев. Что-нибудь случилось?

Фекла. Как можно, чтобы случилось. Ей-богу, ничего не случилось.

Кочкарев. Да зачем же она вышла?

Фекла. Да пристыдили, потому и вышла; совсем сконфузили, так что не высидела на месте. Просит извинить: ввечеру-де на чашку чаю чтобы пожаловали. *(Уходит.)*

Яичница*(в сторону)*. Ох уж эта мне чашка чаю! Вот за что не люблю сватаний — пойдет возня: сегодня нельзя, да пожалуйста завтра, да еще послезавтра на чашку, да нужно еще подумать. А ведь дело дрянь, ничуть не головоломное. Черт побери, я человек должностной, мне некогда.

Кочкарев*(Подколесину)*. А ведь хозяйка недурна, а?

Подколесин. Да, недурна.

Жевакин. А ведь хозяйечка-то хороша.

Кочкарев*(в сторону)*. Вот черт побери! Этот дурак влюбился. Еще будет мешать, пожалуй. *(Вслух.)* Совсем нехороша, совсем нехороша.

Яичница. Нос велик.

Жевакин. Ну, нет, носа я не заметил. Она... эдакой розанчик.

Анучкин. Я сам тоже их мненья. Нет, не то, не то... Я даже думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. Да и знает ли она еще по-французски?

Жевакин. Да что ж вы, смею спросить, не попробовали, не поговорили с ней по-французски? Может быть, и знает.

Анучкин. Вы думаете, я говорю по-французски? Нет, я не имел счастья воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда еще ребенком, меня легко было приучить — стоило только посечь хорошенько, и я бы знал, я бы непременно знал.

Жевакин. Ну, да теперь же, когда вы не знаете, что ж вам за прибыль, если она...

Анучкин. А нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала, а без того у ней и то, и это... *(показывает жестами)* — все уж будет не то.

Яичница*(в сторону).* Ну, об этом заботься кто другой. А я пойду да обсмотрю со двора дом и флигеля: если только все как следует, так сего же вечера добьюсь дела. Эти жениш-

ки мне не опасны — народ что-то больно жиденький. Таких невесты не любят.

Жевакин. Пойти выкурить трубочку. А что, не по дороге ли нам? Вы где, позвольте спросить, живете?

Анучкин. А на Песках, в Петровском переулке.

Жевакин. Да-с, будет круг: я на острове, в Восемнадцатой линии; а впрочем, все-таки я вас попровожу.

Стариков. Нет> тут что-то спесьевато. Ай припомните потом, Агафья Тихоновна, и нас. С моим почтением, господа! *(Кланяется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XXI

Подколесин и Кочкарев.

Подколесин. А что ж, пойдем и мы.

Кочкарев. Ну что, ведь правда, хозяйка мила?

Подколесин. Да что! мне, признаюсь, она не нравится.

Кочкарев. Вот на! это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша.

Подколесин. Да так, как-то не того: и нос длинный, и по-французски не знает.

Кочкарев. Это еще что? тебе на что по-французски?

Подколесин. Ну, все-таки невеста должна знать по-французски.

Кочкарев. Почему ж?

Подколесин. Да потому что... уж я не знаю почему, а все уж будет у ней не то.

Кочкарев. Ну вот, дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Она красавица, просто красавица; такой девицы не сыщешь нигде.

Подколесин. Да мне самому сначала она было приглянулась, да после, как начали говорить: длинный нос, длинный нос, — ну, я рассмотрел, и вижу сам, что длинный нос.

Кочкарев. Эх ты, пирей, не нашел дверей! Они нарочно толкуют, чтобы тебя отвадить; и я тоже не хвалил, — так уж делается. Это, брат, такая девица! Ты рассмотри только глаза ее: ведь это черт знает что за глаза: говорят, дышат! А нос — я не знаю, что за нос! белзна — алебастр! Да и алебастр не всякий сравнится. Ты рассмотри сам хорошенько.

Подколесин(улыбаясь). Да теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша.

Кочкарев. Разумеется, хороша! Послушай, теперь, так как они все ушли, пойдём к ней, изъяснимся — и всё кончим!

Подколесин. Ну, этого я не сделаю.

Кочкарев. Отчего ж?

Подколесин. Да что ж за нахальство? Нас много, пусть она сама выберет.

Кочкарев. Ну да что тебе смотреть на них: боишься соперничества, что ли? Хочешь я их всех в одну минуту спроважу.

Подколесин. Да как же ты их спровадишь?

Кочкарев. Ну, уж это мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться.

Подколесин. Почему ж не дать? изволь. Я не отпираюсь: я хочу жениться.

Кочкарев. Руку!

Подколесин(подавая). Возьми!

Кочкарев. Ну, этого только мне и нужно.

Оба уходят.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната в доме Агафьи Тихоновны.

ЯВЛЕНИЕ I

Агафья Тихоновна одна, потом **Кочкарев**.

Агафья Тихоновна. Право, такое затруднение — выбор! Если бы еще один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович недурен, хотя, конечно, худощав; Иван Кузьмич тоже недурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарович опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно! Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай! просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю божию: кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет что будет. *(Подходит к столику, вынимает оттуда ножницы и бумагу, нарезывает*

билетики и скатывает, продолжая говорить.) Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это, и даже просто не хотят понять этого. Вот они все, уж готовы! остается только положить их в ридикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет что будет. *(Кладет билетики в ридикуль и мешает их рукою.)* Страшно... Ах, если бы бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Нет, отчего же он? Лучше ж Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? чем же худы те, другие?.. Нет, нет, не хочу... какой выберется, такой пусть и будет. *(Шарит рукою в ридикуле и вынимает вместо одного все.)* Ух! все! все вынулись! А сердце так и колотится! Нет, одного! одного! непременно одного! *(Кладет билетики в ридикуль и мешает.)*

В это время входит потихоньку Кочкарев и становится позади.

Ах, если бы вынуть Балтазара... Что я! хотела сказать Никанора Ивановича... нет, не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба!

Кочкарев. Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше.

Агафья Тихоновна. Ах! *(Вскрикивает и закрывает лицо обеими руками, страшась взглянуть назад.)*

Кочкарев. Да чего ж вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Ах, мне стыдно, вы подслушали.

Кочкарев. Ничего, ничего! Ведь я свой, родня, передо мною нечего стыдиться; откройте же ваше личико.

Агафья Тихоновна*(вполовину открывая лицо).* Мне, право, стыдно.

Кочкарев. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Ах! *(Вскрикивает и закрывается вновь руками.)*

Кочкарев. Право, чудо человек, усовершенствовал часть свою... просто удивительный человек.

Агафья Тихоновна*(понемногу открывает лицо).* Как же, а другой? а Никанор Иванович? ведь он тоже хороший человек.

Кочкарев. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Отчего же?

Кочкарев. Ясно, отчего. Иван Кузьмич человек... ну, просто человек... человек, каких не сыщешь.

Агафья Тихоновна. Ну, а Иван Павлович?

Кочкарев. И Иван Павлович дрянь! все они дрянь.

Агафья Тихоновна. Будто бы уж все?

Кочкарев. Да вы только посудите, сравните только: это, как бы то ни было, Иван Кузьмич; а ведь то что ни попало: Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает что такое!

Агафья Тихоновна. А ведь, право, они очень... скромные.

Кочкарев. Какое скромные! Драчуны, самый буйный народ. Охота же вам быть прибитой на другой день после свадьбы.

Агафья Тихоновна. Ах боже мой! Уже это точно такое несчастье, хуже которого не может быть.

Кочкарев. Еще бы! Хуже этого и не выдумаешь ничего.

Агафья Тихоновна. Так, по вашему совету,

лучше взять Ивана Кузьмича?

Кочкарев. Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича. *(В сторону.)* Дело, кажется, идет на лад. Подколесин сидит в кондитерской, пойти поскорей за ним.

Агафья Тихоновна. Так вы думаете — Ивана Кузьмича?

Кочкарев. Непременно Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. А тем, другим, разве отказать?

Кочкарев. Конечно, отказать.

Агафья Тихоновна. Да ведь как же это сделать? как-то стыдно.

Кочкарев. Почему ж стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж.

Агафья Тихоновна. Да ведь они не поверят, станут спрашивать: да почему, да как?

Кочкарев. Ну, так если вы хотите кончить за одним разом, скажите просто: «Пошли вон, дураки!»

Агафья Тихоновна. Как же можно так сказать?

Кочкарев. Ну да уж попробуйте. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон.

Агафья Тихоновна. Да ведь это выйдет уж

как-то бранно.

Кочкарев. Да ведь вы больше их не увидите, так не все ли равно?

Агафья Тихоновна. Да все как-то нехорошо... они ведь рассердятся.

Кочкарев. Какая ж беда, если рассердятся? Если бы из этого что бынибудь вышло, тогда другое дело; а ведь здесь самое большее, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все.

Агафья Тихоновна. Ну вот видите!

Кочкарев. Да что же за беда? Ведь иным плевали несколько раз, ей-богу. Я знаю тоже одного: прекраснейший собой мужчина, румянец во всю щеку; до тех пор егозил и надо-едал своему начальнику о прибавке жалованья, что тот наконец не вынес — плюнул в самое лицо, ей-богу! «Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана!» А жалованья, однако же, все-таки прибавил. Так что ж из того, что плюнет? Если бы, другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же, в кармане, — взял да и вытер.

В сенях звонят.

Стучатся: кто-нибудь из них, верно; я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там другого выхода?

Агафья Тихоновна. Как же, по черной лестнице. Но, право, я вся дрожу.

Кочкарев. Ничего, только присутствие духа. Прощайте! *(В сторону.)* Поскорей приведу Подколесина.

ЯВЛЕНИЕ II

А гафья Тихоновна и Яичница.

Яичница. Я нарочно, сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Ну, сударыня, насчет чина, я уже полагаю, вам известно: служу коллежским асессором, любим начальниками, подчиненные слушаются... недостает только одного: подруги жизни.

Агафья Тихоновна. Да-с.

Яичница. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга эта — вы. Скажите напрямик: да или нет? *(Смотрит ей в плеча; в сторону.)* О, она не то, что как бывают худенькие немки, — кое-что есть!

Агафья Тихоновна. Я еще очень молодая-с... не расположена еще замуж.

Яичница. Помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Но, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? изъяснитесь...

Слышен колокольчик.

Черт побери, никак не дадут делом заняться.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Жевакин.

Жевакин. Извините, сударыня, что я, может быть, слишком рано. *(Оборачивается и видит Яичницу.)* Ах, уж есть... Ивану Павловичу мое почтение!

Яичница*(в сторону)*. Провалился бы ты с своим почтением! *(Вслух.)* Так как же, сударыня?.. Скажите одно только слово: да или нет?..

Слышен колокольчик; Яичница плюет с сердцов.

Опять колокольчик!

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Анучкин.

Анучкин. Может быть, я, сударыня, ранее, чем следует и повелевает долг прили-

чия... *(Видя прочих, испускает восклицание и раскланивается.)* Мое почтение!

Яичница*(в сторону)*. Возьми себе свое почтение! Нелегкая тебя принесла, подломились бы тебе твои поджарые ноги!

(Вслух.) Так как же, сударыня, решите, — я человек должностной, времени у меня немного: да или нет?

Агафья Тихоновна*(в смущении)*. Не нужно-с... не нужно-с... *(В сторону.)* Ничего не понимаю, что говорю.

Яичница. Как не нужно? в каком отношении не нужно?

Агафья Тихоновна. Ничего-с, ничего... Я не того-с... *(Собираясь с духом.)* Пошли вон!.. *(В сторону, всплеснувши руками.)* Ах, боже мой, что я такое сказала?

Яичница. Как «пошли вон»? Что такое значит «пошли вон»? Позвольте узнать, что вы разумеете под этим? *(Подбоченившись подступает к ней грозно.)*

Агафья Тихоновна*(взглянув ему в лицо, вскрикивает)*. Ух, прибьет, прибьет! *(Убегает.)*

Яичница стоит, разинувши рот. Вбегает на

крик Арина Пантелеймоновна и, взглянув ему в лицо, вскрикивает тоже: «Ух, при-бьет!» — и убегает.

Яичница. Что за притча такая. Вот, право, история!

В дверях звенит звонок и слышны голоса.

Голос Кочкарева. Да входи, входи, что ж ты остановился?

Голос Подколесина. Да ступай ты вперед. Я только на минуту: оправлюсь, расстегнулась стремешка.

Голос Кочкарева. Да ты улизнешь опять.

Голос Подколесина. Нет, не улизну! ей-богу, не улизну!

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и Кочкарев.

Кочкарев. Ну вот, очень нужно поправлять стремешку.

Яичница(обращаясь к нему). Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли?

Кочкарев. А что? случилось разве что?

Яичница. Да непонятные поступки: выбо-

жала, стала кричать: «Прибьет, прибьет!»
Черт знает что такое!

Кочкарев. Ну да, это за ней водится. Она дура.

Яичница. Скажите, ведь вы ей родственник?

Кочкарев. Как же, родственник.

Яичница. А как родственник, позвольте узнать?

Кочкарев. Право, не знаю: как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу или отец ее что-то такое моей тетке — об этом знает жена моя, это их дело.

Яичница. И давно за ней водится дурь?

Кочкарев. А еще с самого сызмала.

Яичница. Да, конечно, лучше, если бы она была умней, а впрочем, и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке.

Кочкарев. Да ведь за ней ничего нет.

Яичница. Как так, а каменный дом?

Кочкарев. Да ведь только слава, что каменный, а знали бы вы, как он выстроен: стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь — мусор, щепки стружки.

Яичница. Что вы?

Кочкарев. Разумеется. Будто не знаете, как теперь строятся дома? — лишь бы только в ломбард заложить.

Яичница. Однако ж ведь дом не заложен.

Кочкарев. А кто вам сказал? Вот в том-то и дело — но только заложен, да за два года еще проценты не выплачены. Да в сенате есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом; сутяги такого свет не производил: с родной матери последнюю юбку снял, безбожник!

Яичница. Как же мне старуха сваха... Ах она бестия эдакая, изверг рода челове... (*В сторону.*) Однако ж он, может быть, и врет. Под строжайший допрос старуху, и если только правда... ну... я заставлю запеть ее не так, как другие поют.

Анучкин. Позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски или нет. Как хозяйка дома, знает?..

Кочкарев. Ни бельмеса.

Анучкин. Что вы?

Кочкарев. Как же? я это очень хорошо знаю. Опа училась вместе с женой в пансионе, известная была ленивица, вечно в дурацкой шапке сидит. А французский учитель просто бил ее палкой.

Анучкин. Представьте же, что у меня с первого разу, как только ее увидел, было какое-то предчувствие, что она не знает по-французски.

Яичница. Ну, черт с французским! Но как сваха-то проклятая... Ах ты, бестия эдакая, ведьма! Ведь если бы вы знали, какими словами она расписала! Живописец, вот совершенный живописец! «Дом, флигеля, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани», — вот садись, да и катайся! — словом, в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва ты старая! Попадись только ты мне...

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же и Фекла.

Все, увидев ее, обращаются к ней с следующими словами:

Яичница. А! вот она! А подойди-ка сюда,

старая греховодница! а подойди-ка сюда!

Анучкин. Так-то вы обманули меня, Фекла Ивановна?

Кочкарев. Ну-ка ступай, Варвара, на расправу!

Фекла. И ни слова не разберу: оглушили совсем!

Яичница. Дом строен в один кирпич, старая подошва, а ты наврала: и с мезонинами, и черт знает с чем.

Фекла. А не знаю, не я строила. Может быть, нужно было в один кирпич, оттого так и построили.

Яичница. Да и в ломбард еще заложен! Черти б тебя съели, ведьма ты проклятая! *(Притопывая ногой.)*

Фекла. Смотри ты какой! Еще и бранится. Иной бы благодарить стал за удовольствие, что хлопотала о нем.

Анучкин. Да, Фекла Ивановна, вот вы и мне тоже насказали, что она знает по-французски.

Фекла. Знает, родимый, всё знает, и по-немецкому, и по-всякому; какие хочешь манеры — всё знает.

Анучкин. Ну нет, кажется, она только по-русски и говорит.

Фекла. Что ж тут худого? Понятливее по-русски, потому и говорит по-русски. А кабы умела по-басурмански, то тебе же хуже — и сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь! речь известно какая: все святые говорили по-русски.

Яичница. А подойди-ка сюда, проклятая! подойди-ка ко мне!

Фекла(*пятясь ближе к дверям*). И не подойду, я знаю тебя. Ты человек тяжелый, ни за что прибьешь.

Яичница. Ну, смотри, голубушка, это не пройдет тебе! Бот я тебя как сведу в полицию, так ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей. Вот ты увидишь! А невесте скажи, что она подлец! Слышишь, непременно скажи. (*Уходит.*)

Фекла. Смотри ты какой! расходился как! Что толст, так думает, ему и равного никого нет. А я скажу, что ты сам подлец, вот что!

Анучкин. Признаюсь, любезнейшая, никак не думал я, чтобы вы стали так обманывать. Знай я, что невеста с таким образовани-

ем, да я... да и нога бы моя просто не была здесь. Вот как-с. *(Уходит.)*

Фекла. Белены объелись или выпили лишнее! Вишь, переборщики нашлись какие! Света с ума глупая грамота!

ЯВЛЕНИЕ VII

Фекла, Кочкарев, Жевакин.

Кочкарев хохочет во все горло, смотря на Феклу и указывая на нее пальцем.

Фекла*(с досадою)*. Ты что горло дерешь?

Кочкарев продолжает хохотать.

Эк как разобрало его!

Кочкарев. Сваха-то! сваха-то! Мастерница женить! знает, как повести дело! *(Продолжает хохотать.)*

Фекла. Эк его заливаается! Знать, покойница свихнула с ума в тот час, как тебя рожала! *(Уходит с досадою.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Кочкарев, Жевакин.

Кочкарев(*продолжает хохотать*). Ох, не могу, право не могу! Силы не выдержат, чувствую, что тресну от смеха! (*Продолжает хохотать.*)

Жевакин, глядя на него, начинает тоже смеяться.

(*В усталости валится на стул.*) Ох, право, выбился из сил. Чувствую, что если засмеюсь еще, порву последние жилы.

Жевакин. Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов, Антон Иванович; тоже эдак был веселого нрава. Бывало, ему, ничего больше, покажешь эдак один палец — вдруг засмеется, ей-богу, и до самого вечера смеется. Ну, глядя на него, бывало, и себе делается смешно, и смотришь, наконец и сам точно эдак смеешься.

Кочкарев(*переводя дыханье*). Ох, господи, помилуй нас, грешных! Ну что она вздумала, дура? Ну, куда ж ей женить, ей ли женить? Вот я женю так женю!

Жевакин. Нет? так вы можете не в шутку женить?

Кочкарев. Еще бы! кого угодно на ком

угодно.

Жевакин. Если так, жените меня на здешней хозяйке.

Кочкарев. Вас? да зачем вам жениться?

Жевакин. Как зачем? вот, позвольте заметить, странный немножко вопрос! А известное дело зачем.

Кочкарев. Да ведь вы слышали, у ней приданого ничего нет.

Жевакин. На нет и суда нет. Конечно, это дурно, а впрочем, с эдакою прелюбезною девицею, с ее обхожденьями, можно прожить и без приданого. Небольшая комнатка (*размеривает примерно руками*), эдак здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде эдакой перегородки...

Кочкарев. Да что вам в ней так понравилось?

Жевакин. А сказать правду — мне понравилась она потому, что полная женщина. Я большой аматёр со стороны женской полноты.

Кочкарев(поглядывая на него искоса, говорит в сторону). А ведь сам уж куды не пощеголяет; точно кисет, из которого вытрясли та-

бак. (Вслух.) Нет, вам совсем не следует жениться.

Жевакин. Как так?

Кочкарев. Да так. Ну что у вас за фигура, между нами будь сказано? Нога петушья...

Жевакин. Петушья?

Кочкарев. Конечно. Что с вас за вид!

Жевакин. То есть как, однако же, петушья нога?

Кочкарев. Да просто, петушья.

Жевакин. Мне кажется, это, однако ж, касается насчет личности...

Кочкарев. Да ведь я говорю потому, что знаю: вы рассудительный человек; другому я не скажу. Я вас женю, извольте, — только на другой.

Жевакин. Нет уж, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте эдак благодетельны, чтобы на этой.

Кочкарев. Извольте, женю! Только с условием: вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже на глаза невесте. Я всё сделаю без вас.

Жевакин. Да как, однако же, всё без меня? Все-таки мне хоть на глаза нужно будет пока-

заться.

Кочкарев. Совсем не нужно. Идите домой и ждите; сего же вечера все будет сделано.

Жевакин(*потирает руки*). А вот это уж куда бы хорошо! Да не нужно ли аттестат, послужной список? Может быть, невеста захочет полюбопытствовать? Я сбегаяю за ними в минуту.

Кочкарев. Ничего не нужно, отправляйтесь только домой. Я вам сегодня же дам знать. (*Выпровождает его.*) Да, черта с два, как бы не так! Что ж это? Что ж это Подколесин не идет? Это, однако ж, странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку? Уж не побежать ли за ним?

ЯВЛЕНИЕ IX

Кочкарев, Агафья Тихоновна.

Агафья Тихоновна(*осматриваясь*). Что, ушли? никого нет?

Кочкарев. Ушли, ушли, никого.

Агафья Тихоновна. Ах, если бы вы знали, как я вся дрожала! Эдакого, точно, еще никогда не бывало со мною. Но только какой страшный этот Яичница! Какой он должен

быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится.

Кочкарев. О, ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь.

Агафья Тихоновна. А третий?

Кочкарев. Какой третий?

Жевакин(высовывает голову в двери).
Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком... розанчик эдакой!

Агафья Тихоновна. А Балтазар Балтазарович?

Жевакин. А, вот оно! вот оно! *(Потирает руки.)*

Кочкарев. Фу-ты, пропасть! Я думал, о ком вы говорите. Да ведь это просто черт знает что, набитый дурак.

Жевакин. Это что такое? Уж этого я, признаюсь, никак не понимаю.

Агафья Тихоновна. А он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком.

Кочкарев. Пьяница!

Жевакин. Ей-богу, не понимаю.

Агафья Тихоновна. Неужели и пьяница

еще?

Кочкарев. Помилуйте, отъявленный мерзавец!

Жевакин(громко). Нет, позвольте, уж этого я никак не просил вас говорить. Что-нибудь замолвить в мой профит, похвалить — другое дело; а чтобы эдаким образом, эдакими словами — уж извольте разве кого-нибудь другого, а уж я слуга покорный!

Кочкарев(в сторону). Как это угораздило его подвернуться? (Агафье Тихоновне, вполголоса.) Смотрите, смотрите: на ногах не держится. Эдакое мыслете он всякий день пишет. Прогоните его, да и концы в воду! (В сторону.) А Подколесина нет как нет. Экой мерзавец! Уж я ж вымещу на нем! (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ X

Агафья Тихоновна и Жевакин.

Жевакин(в сторону). Обещался хвалить, а вместо того выбранил! Престранный человек! (Вслух.) Вы, сударыня, не верьте...

Агафья Тихоновна. Извините, мне нездоровится... болит-с голова. (Хочет уйти.)

Жевакин. Но, может быть, вам что-нибудь

во мне не нравится? *(Указывая на голову.)* Вы не смотрите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки; волосы сейчас вырастут.

Агафья Тихоновна. Мне все равно-с, что бы у вас там ни было.

Жевакин. У меня, сударыня... если надену черный фрак, так цвет лица будет побелее.

Агафья Тихоновна. Для вас лучше. Прощайте! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Жевакин один, говорит вслед ей.

Сударыня, позвольте, скажите причину: зачем? почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли?.. Ушла! Престранный случай! Вот уж, никак, в семнадцатый раз случается со мною, и всё почти одинаковым образом: кажется, эдак сначала все хорошо, а как дойдет дело до развязки — смотришь, и откажут. *(Ходит по комнате в размышлении.)* Да... Вот эта уж будет никак семнадцатая невеста! И чего же ей, однако ж, хочется? Чего бы ей, например, эдак... с какой стати... *(Подумав.)* Темно, чрезвычайно темно! Добро бы был нехорош чем. *(Осматрива-*

ется.) Кажется, нельзя сказать этого — всё слава богу, натура не обидела. Непонятно. Разве не пойти ли домой да порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит... Ей-богу, уму непонятно! Сначала, кажись, повезло... Видно, приходится поворотить назад оглобли. А жаль, право жаль. (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ XII

Подколесин и **Кочкарев** входят и оба оглядываются назад.

Кочкарев. Он не заметил нас! Видел, с каким длинным носом вышел?

Подколесин. Неужели и ему так же отказано, как и тем?

Кочкарев. Наотрез.

Подколесин(с самодовольною улыбкой). А преконфузно, однако же, должно быть, если откажут.

Кочкарев. Еще бы!

Подколесин. Я все еще не верю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем.

Кочкарев. Какое предпочитает! Она от тебя просто без памяти. Такая любовь: одних

имен каких надавала. Такая страсть — так просто и кипит!

Подколесин(самодовольно усмехается). А ведь в самом деле — женщина, если захочет, каких слов не наскажет. Век бы не выдумал: мордашечка, таракашечка, чернушка...

Кочкарев. Что еще эти слова! Вот как же нишься, так ты увидишь в первые два месяца, какие пойдут слова. Просто, брат, ну вот так и таешь.

Подколесин(усмехается). Будто?

Кочкарев. Как честный человек! Послушай, теперь, однако ж, скорее к делу. Изъясни ей и открой сию же минуту сердце и требуй руки.

Подколесин. Но как же сию минуту? что ты!

Кочкарев. Непременно сию же минуту... А вот и она сама.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Агафья Тихоновна.

Кочкарев. Я привел к вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного — просто не приве-

ди бог, и неприятелю не пожелаю...

Подколесин(толкая его под руку, тихо). Ну, уж ты, брат, кажется, слишком.

Кочкарев(ему). Ничего, ничего. (Ей тихо.) Будьте посмелее, он очень смирен; старайтесь быть как можно развязнее. Эдак поворотите как-нибудь бровями или, потупивши глаза, так вдруг и срезать его, злодея, или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его, мерзавец, смотрит! Напрасно, впрочем, вы не надели платья с короткими рукавами; да, впрочем, и это хорошо. (Вслух.) Ну, я оставляю вас в приятном обществе! Я на минуточку загляну только к вам в столовую и на кухню; нужно распорядиться: сейчас придет официант, которому заказан ужин; может быть, и вина принесены... До свиданья! (Подколесину.) Смелее, смелее! (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ XIV

Подколесин и **Агафья Тихоновна**.

Агафья Тихоновна. Прошу покорнейше садиться.

Садятся и молчат.

Подколесин. Вы, сударыня, любите кататься?

Агафья Тихоновна. Как-с кататься?

Подколесин. На даче очень приятно летом кататься в лодке.

Агафья Тихоновна. Да-с, иногда с знакомыми прогуливаемся.

Подколесин. Какое-то лето будет — неизвестно.

Агафья Тихоновна. А желательно чтобы было хорошее.

Оба молчат.

Подколесин. Вы, сударыня, какой цветок больше любите?

Агафья Тихоновна. Который покрепче пахнет-с: гвоздику-с.

Подколесин. Дамам очень идут цветы.

Агафья Тихоновна. Да, приятное занятие.

Молчание.

В которой церкви вы были прошлое воскресенье?

Подколесин. В Вознесенской, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше.

Молчат, Подколесин барабанит пальцами по столу.

Вот скоро будет екатерингофское гулянье.

Агафья Тихоновна. Да, чрез месяц, кажется.

Подколесин. Даже и месяца не будет.

Агафья Тихоновна. Должно быть, веселое будет гулянье.

Подколесин. Сегодня восьмое число. *(Считает по пальцам.)* Девятое, десятое, одиннадцатое... чрез двадцать два дни.

Агафья Тихоновна. Представьте, как скоро!

Подколесин. Я сегодняшнего дни даже не считаю.

Молчание.

Какой это смелый русский народ!

Агафья Тихоновна. Как?

Подколесин. А работники. Стоит на самой верхушке...

Я проходил мимо дома, так щекатурщик штукатурит и не боится ничего.

Агафья Тихоновна. Да-с. Так это в каком месте?

Подколесин. А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность.

Молчание. Подколесин опять начинает барабанить пальцами, наконец берется за шляпу и раскланивается.

Агафья Тихоновна. А вы уже хотите...

Подколесин. Да-с. Извините, что, может быть, наскучил вам.

Агафья Тихоновна. Как-с можно! Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение времени.

Подколесин(улыбаясь). А мне так, право, кажется, что я наскучил.

Агафья Тихоновна. Ах, право, нет.

Подколесин. Ну, так если нет, так позволъ-

те мне и в другое время, вечерком когда-нибудь...

Агафья Тихоновна. Очень приятно-с.

Раскланиваются. Подколесин уходит.

ЯВЛЕНИЕ XV

Агафья Тихоновна одна.

Какой достойный человек! Я теперь только узнала его хорошенько; право, нельзя не полюбить: и скромный, и рассудительным. Да, приятель его давича справедливо сказал; жаль только, что он так скоро ушел, а я бы еще хотела его послушать. Как приятно с ним говорить! И ведь, главное, то хорошо, что совсем не пустословит. Я было хотела ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, оробела, сердце так стало биться... Какой превосходный человек! Пойду расскажу тетушке. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XVI

Подколесин и Кочкарев входят.

Кочкарев. Да зачем домой? Вздор какой! Зачем домой?

Подколесин. Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я все уже сказал, что следует.

Кочкарев. Стало быть, сердце ей ты уж открыл?

Подколесин. Да вот только разве что сердца еще не открыл.

Кочкарев. Вот те история! Зачем же не открыл?

Подколесин. Ну, да как же ты хочешь, не поговоря прежде ни о чем, вдруг сказать с боку припеку: «Сударыня, дайте я на вас женюсь!»

Кочкарев. Ну да о чем же вы, о каком вздоре толковали битых полчаса?

Подколесин. Ну, мы переговорили обо всем, и, признаюсь, я очень доволен; с большим удовольствием провел время.

Кочкарев. Да послушай, посуди ты сам: когда же все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь, под венец.

Подколесин. Что ты, с ума сошел? Сегодня под венец!

Кочкарев. Почему ж нет?

Подколесин. Сегодня под венец!

Кочкарев. Да ведь ты ж сам дал слово, ска-

зал, что как только женихи будут прогнаны — сейчас готов жениться.

Подколесин. Ну, я и теперь не прочь от слова. Только не сейчас же; месяц, по крайней мере, нужно дать роздыху.

Кочкарев. Месяц!

Подколесин. Да, конечно.

Кочкарев. Да ты с ума сошел, что ли?

Подколесин. Да меньше месяца нельзя.

Кочкарев. Да ведь я официанту заказал ужин, бревно ты! Ну, послушай, Иван Кузьмич, не упрямясь, душенька, женись теперь.

Подколесин. Помилуй, брат, что ты говоришь? как же теперь?

Кочкарев. Иван Кузьмич, ну я тебя прошу. Если не хочешь для себя, так для меня, по крайней мере.

Подколесин. Да, право, нельзя.

Кочкарев. Можно, душа, все можно. Ну, пожалуйста, не капризничай, душенька!

Подколесин. Да, право, нет. Неловко, совсем неловко.

Кочкарев. Да что неловко? кто тебе сказал это? Ты посуди сам, ведь ты человек умный. Я говорю тебе это не с тем, чтобы к тебе подо-

льститься, не потому, что ты экспедитор, а просто говорю из любви... Ну, полно же, душенька, решишь, взгляни оком благоразумного человека.

Подколесин. Да если бы было можно, так я бы...

Кочкарев. Иван Кузьмич! Лапушка, милочка! Ну хочешь ли, я стану на колени перед тобой?

Подколесин. Да зачем же?..

Кочкарев(становясь на колени). Ну, вот я и на коленях! Ну, видишь сам, прошу тебя. Век не забуду твоей услуги, не упрямся, душенька!

Подколесин. Ну нельзя, брат, право, нельзя.

Кочкарев(вставая, в сердцах). Свинья!

Подколесин. Пожалуй, бранись себе.

Кочкарев. Глупый человек! Еще никогда не было такого.

Подколесин. Бранись, бранись.

Кочкарев. Я для кого же старался, из чего бился? Все для твоей, дурак, пользы. Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя; мне какое дело?

Подколесин. Да кто ж просил тебя хлопо-

тать? Пожалуй, бросай.

Кочкарев. Да ведь ты пропадешь, ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, ведь ты век останешься дураком.

Подколесин. Тебе что до того?

Кочкарев. О тебе, деревянная башка, стараюсь.

Подколесин. Я не хочу твоих стараний.

Кочкарев. Ну так ступай же к черту!

Подколесин. Ну и пойду.

Кочкарев. Туда тебе и дорога!

Подколесин. Что ж, и пойду.

Кочкарев. Ступай, ступай, и чтобы ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтобы тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку! Тряпка, а не чиновник! Вот клянусь тебе, что теперь между нами все кончилось, и на глаза мне больше не показывайся!

Подколесин. И не покажусь. *(Уходит.)*

Кочкарев. К дьяволу, к своему старому приятелю! *(Отворяя дверь, кричит ему вслед.)*
Дурак!

ЯВЛЕНИЕ XVII

Кочкарев один, ходит в сильном движении
взад и вперед.

Ну был ли когда виден на свете подобный человек? Эдакой дурак! Да если уж пошло на правду, то и я хорош. Ну скажите, пожалуйста, вот я на вас всех сошлюсь. Ну не олух ли я, не глуп ли я? Из чего бьюсь, кричу, инда горло пересохло? Скажите, что он мне? родня, что ли? И что я ему такое: нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого же дьявола, из чего из чего я хлопочу о нем, не даю себе покою, нелегкая прибрала бы его совсем? А просто черт знает из чего! Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает! Эдакой мерзавец! Какая противная, подлая рожа! Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы — во всякое место! *(В сердцах дает несколько щелчков на воздух.)* Ведь вот что досадно: вышел себе — ему и горя мало; с него все это так, как с гуся вода, — вот что нестерпимо! Пойдет к себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Экое противное созданье! Бывают противные рожи, но ведь

эдакой просто не выдумаешь; не сочинишь хуже этой рожи, ей-богу не сочинишь! Так вот нет же, пойду нарочно ворочу его, бездельника! Не дам улизнуть, пойду приведу подлеца! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ XVIII

А гафья Тихоновна входит.

Уж так, право, бьется сердце, что изъяснить трудно. Везде, куды ни поворочусь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти. Давича совершенно хотела было думать о другом, но чем ни займусь — пробовала сматывать нитки, шила ридикуль, — а Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. *(Помолчав.)* И так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния! Возьмут меня, поведут в церковь... потом оставят одну с мужчиною — уф! Дрожь так меня и пробирает. Прощай, прежняя моя девичья жизнь! *(Плачет.)* Столько лет провела в спокойствии... Вот жила, жила — а теперь приходится выходить замуж! Одних забот сколько: дети, мальчишки, народ драчливый; а там и девочки пойдут; подрастут — выдавай

их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших, а если за пьяниц или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку все, что ни есть на нем! *(Начинает мало-помалу опять рыдать.)* Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием, и двадцати семи лет не пробыла в девках... *(Переменяя голос.)* Да что ж Иван Кузьмич так долго мешкается?

ЯВЛЕНИЕ XIX

Агафья Тихоновна и Подколесин *(выталакивается на сцену из дверей двумя руками Кочкарева)*.

Подколесин*(запинаясь)*. Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце... Только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным?

Агафья Тихоновна*(потупляя глаза)*. Что же такое?

Подколесин. Нет, сударыня, вы скажите наперед: не покажется ли вам странно?

Агафья Тихоновна*(так же)*. Не могу знать, что такое.

Подколесин. Но признайтесь: верно, вам покажется странным то, что я вам скажу?

Агафья Тихоновна. Помилуйте, как можно, чтобы было странно, — от вас все приятно слышать.

Подколесин. Но этого вы еще никогда не слышали.

Агафья Тихоновна потупляет еще более глаза; в это время входит потихоньку Кочкарев и становится у него за плечами.

Это вот в чем... Но пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после.

Агафья Тихоновна. А что же это такое?

Подколесин. А это... Я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам это, да все еще как-то сомневаюсь.

Кочкарев(*про себя, складывая руки*). Господи ты боже мой, что это за человек! Это просто старый бабий башмак, а не человек, на-смешка над человеком, сатира на человека!

Агафья Тихоновна. Отчего же вы сомневаетесь?

Подколесин. Да все как-то берет сомнение.

Кочкарев(*вслух*). Как это глупо, как это глупо! Да вы, сударыня, видите: он просит ру-

ки вашей, желает объявить, что он без вас не может жить, существовать. Спрашивает только, согласны ли вы его осчастливить.

Подколесин(*почти испугавшись, толкает его, произнося тихо*). Помилуй, что ты!

Кочкарев. Так что ж, сударыня! Решаетесь вы сему смертному доставить счастье?

Агафья Тихоновна. Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье... А впрочем, я согласна.

Кочкарев. Естественно, естественно, так бы давно. Давайте ваши руки!

Подколесин. Сейчас! (*Хочет сказать что-то ему на ухо. Кочкарев показывает ему кулак и хмурит брови; он дает руку.*)

Кочкарев(*соединяя руки*). Ну, бог вас благословит! Согласен и одобряю ваш союз. Брак — это есть такое дело... Это не то, что взял извозчика, да и поехал куды-нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это обязанность... Теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать.

Агафья Тихоновна потупляет глаза.

Ничего, ничего, сударыня; это так должно, пусть поцелует.

Подколесин. Нет, сударыня, позвольте, теперь уж позвольте. *(Целует ее и берет за руку.)* Какая прекрасная ручка! Отчего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка?.. Да позвольте, сударыня, я хочу, чтобы сей же час было венчанье, непременно сей же час.

Агафья Тихоновна. Как сейчас? Уж это, может быть, очень скоро.

Подколесин. И слышать не хочу! Хочу еще скорее, чтобы сию же минуту было венчанье.

Кочкарев. Bravo! хорошо! Благородный человек! Я, признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем! Вы, сударыня, в самом деле поспешите теперь поскорее одеться: я, сказать правду, послал уже за каретою и напросил гостей. Они все теперь поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю.

Агафья Тихоновна. Как же, давно готово. Я в минуточку оденусь.

ЯВЛЕНИЕ XX

Кочкарев и Подколесин.

Подколесин. Ну, брат, благодарю! Теперь я вижу всю твою услугу. Отец родной для меня не сделал бы того, что ты. Вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат, век буду помнить твою услугу. *(Тронутый.)* Будущей весною навещу непременно могилу твоего отца.

Кочкарев. Ничего, брат, я рад сам. Ну, подойди, я тебя поцелую. *(Целует его в одну щеку, а потом в другую.)* Дай бог, чтоб ты прожил благополучно *(целуются)*, в довольстве и достатке; детей бы нажили кучу...

Подколесин. Благодарю, брат. Именно наконец теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь предо мною открылся совершенно новый мир, теперь я вот вижу, что все это движется, живет, чувствует, эдак как-то испаряется, как-то эдак, не знаешь даже сам, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не понимал, то есть просто был лишенный всякого сведения человек, не рассуждал, не углублялся и жил вот, как и всякий другой

человек живет.

Кочкарев. Рад, рад! Теперь я пойду посмотрю только, как убрали стол; в минуту ворочусь. *(В сторону.)* А шляпу все лучше на всякий случай припрятать. *(Берет и уносит шляпу с собою.)*

ЯВЛЕНИЕ XXI

Подколесин один.

В самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Ну, каков был мой холостой век? Что я значил, что я делал? Жил, жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал, — словом, был в свете самый препустой и обыкновенный человек. Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся; а ведь если рассмотреть — какое множество людей находится в такой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека!.. Право, как подумаешь: чрез несколько минут — и уже будешь женат. Вдруг вкусишь блаженство, какое, точно, бывает только разве в

сказках, которого просто даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. *(После некоторого молчанья.)* Однако ж что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего — все кончено, все сделано. Уж вот даже и теперь назад никак нельзя попятиться: чрез минуту и под венец; уйти даже нельзя — там уж и карета, и все стоит в готовности. А будто в самом деле нельзя уйти? Как же, натурально нельзя: там в дверях и везде стоят люди; ну спросят: зачем? Нельзя, нет. А вот окно открыто; что, если бы в окно? Нет, нельзя; как же, и неприлично, да и высоко. *(Подходит к окну.)* Ну, еще не так высоко: только один фундамент, да и тот низенький. Ну нет, как же, со мной даже нет картуза. Как же без шляпы? неловко. А неужто, однако же, нельзя без шляпы? А что, если бы попробовать, а? Попробовать, что ли? *(Становится на окно и, сказавши: «Господи благослови», — соскакивает на улицу; за сценой кричат и охает.)* Ох! однако ж высоко! Эй, извозчик!

Голос извозчика. Подавать, что ли?

Голос Подколесина. На Канавку, возле Семеновского мосту.

Голос извозчика. Да гривенник, без лишнего.

Голос Подколесина. Давай! пошел!

Слышен стук отъезжающих дрожек.

ЯВЛЕНИЕ XXII

Агафья Тихоновна входит в венчалном платье, робко и потупив голову.

И сама не знаю, что со мною такое! Опять сделалось стыдно, и я вся дрожу. Ах! если бы его хоть на минутку на эту пору не было в комнате, если бы он за чем-нибудь вышел! (*С робостью оглядывается.*) Да где ж это он? Никого нет. Куда же он вышел? (*Отворяет дверь в прихожую и говорит туда.*) Фекла, куда ушел Иван Кузьмич?

Голос Феклы. Да он там.

Агафья Тихоновна. Да где же там?

Фекла(входя). Да ведь он тут сидел, в комнате.

Агафья Тихоновна. Да ведь нет его, ты ви-

дишь.

Фекла. Ну да уж из комнаты он тоже не выходил, я сидела в прихожей.

Агафья Тихоновна. Да где же он?

Фекла. Я уж не знаю где; не вышел ли на другой выход, по черной лесенке, или не сидит ли в комнате Арины Пантелеймоновны?

Агафья Тихоновна. Тетушка! тетушка!

ЯВЛЕНИЕ XXIII

Те же и Арина Пантелеймоновна.

Арина Пантелеймоновна(раздетая). А что такое?

Агафья Тихоновна. Иван Кузьмич у вас?

Арина Пантелеймоновна. Нет, он тут должен быть; ко мне не заходил.

Фекла. Ну, так и в прихожей тоже не был, ведь я сидела.

Агафья Тихоновна. Ну, так и здесь же нет его, вы видите.

ЯВЛЕНИЕ XXIV

Те же и Кочкарев.

Кочкарев. А что такое?

Агафья Тихоновна. Да Ивана Кузьмича

нет.

Кочкарев. Как нет? ушел?

Агафья Тихоновна. Нет, и не ушел даже.

Кочкарев. Как же — и нет, и не ушел?

Фекла. Уж куда бы мог он деваться, я и ума не приложу. В передней я все сидела и не сходила с места.

Арина Пантелеймоновна. Ну, уж по черной лестнице никак не мог пройти.

Кочкарев. Как же, черт возьми? Ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог. Разве не спрятался ли?.. Иван Кузьмич! где ты? не дурачься, полно, выходи скорее! Ну что за шутки такие? в церковь давно пора! *(Заглядывает за шкаф, искоса запускает даже глаз под стулья.)* Непонятно! Но нет, он не мог уйти, никаким образом не мог. Да он здесь; в той комнате и шляпа, я ее нарочно положил туда.

Арина Пантелеймоновна. Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь... Дуняшка! Дуняшка!..

ЯВЛЕНИЕ XXV

Те же и Дуняшка.

Арина Пантелеймоновна. Где Иван Кузьмич, ты не видала?

Дуняшка. Да оне-с выпрыгнули в окошко.

Агафья Тихоновна вскрикивает, всплеснувши руками.

Все трое. В окошко?

Дуняшка. Да-с, а потом как выскочили, взяли извозчика и уехали.

Арина Пантелеймоновна. Да ты вправду говоришь?

Кочкарев. Врешь, не может быть!

Дуняшка. Ей-богу, выскочили! Вот и купец в мелочной лавочке видел. Порядили за грибенника извозчика и уехали.

Арина Пантелеймоновна(подступая к Кочкареву). Что ж вы, батюшка, в издевку-то разве, что ли? посмеяться разве над нами задумали? на позор разве мы достались вам, что ли? Да я шестой десяток живу, а такого страму еще не наживала. Да я за то, батюшка, вам плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы после этого подлец, коли вы честный

человек. Осрамить перед всем миром девушку! Я — мужичка, да не сделаю этого. А еще и дворянин! Видно, только на пакости да на мошенничества у вас хватает дворянства! *(Уходит в сердцах и уводит невесту.)*

Кочкарев стоит как ошеломленный.

Фекла. Что? А вот он тот, что знает повести дело! без свахи умеет заварить свадьбу! Да у меня пусть такие и эдакие женихи, общипанные и всякие, да уж таких, чтобы прыгали в окна, — таких нет, прошу простить.

Кочкарев. Это вздор, это не так, я побегу к нему, я возвращу его! *(Уходит.)*

Фекла. Да, поди ты, вороти! Дела-то свадебного не знаешь, что ли? Еще если бы в двери выбежал — ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно — уж тут просто мое почтение!

Игроки

Дела давно минувших дней

Комната в городском трактире.

ЯВЛЕНИЕ I

Ихарев входит в сопровождении трактирного слуги **Алексея** и своего собственного, **Гаврюшки**.

Алексей. Пожалуйте-с, пожалуйста! Вот-с покойчик! уж самый покойный, и шуму нет вовсе.

Ихарев. Шума нет, да, чай, конного войска вдоволь, скакунов?

Алексей. То есть изволите говорить насчет блох? Уж будьте покойны. Если блоха или клоп укусит, уж это наша ответственность: уж с тем стоим.

Ихарев(*Гаврюшке*). Ступай выносить из коляски.

Гаврюшка уходит.

(*Алексею.*) Тебя как зовут?

Алексей. Алексей-с.

Ихарев. Ну, послушай (*значительно*), рас-

сказывай, кто у вас живет?

Алексей. Да живут теперь много; все номера почти заняты.

Ихарев. Кто же именно?

Алексей. Швохнев Петр Петрович, Кругель полковник, Степан Иванович Утешительный.

Ихарев. Играют?

Алексей. Да вот уж шесть ночей сряду играют.

Ихарев. Пара целковиков! *(Сует ему в руку.)*

Алексей*(кланяясь).* Покорнейше благодарю.

Ихарев. После еще будет.

Алексей. Покорнейше-с благодарю.

Ихарев. Между собой играют?

Алексей. Нет, недавно обыграли поручика Артуновского, у князя Шенькина выиграли тридцать шесть тысяч.

Ихарев. Вот тебе еще красная бумажка! А если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал?

Алексей. Нет-с, они сами брали вместе.

Ихарев. Да у кого?

Алексей. Да у здешнего купца Вахрамей-

кина.

Ихарев. Врешь, врешь, плут!

Алексей. Ей-богу.

Ихарев. Хорошо. Мы с тобой потолкуем ужо.

Гаврюшка вносит шкатулку.

Ставь ее здесь. Теперь ступайте приготовьте мне умыться и побриться.

Слуги уходят.

ЯВЛЕНИЕ II

Ихарев один, отпирает шкатулку, всю наполненную карточными колодами.

Каков вид, а? Каждая дюжина золотая. Потом, трудом досталась всякая. Легко сказать, до сих пор рябит в глазах проклятый крап. Но ведь зато, ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство! Вот она, заповедная колодишка — просто перл! За то ж ей и имя дано, да: Аделаида Ивановна. Послужи-ка ты мне, душенька, так, как послужила сестрица твоя, выиграй мне также восемьдесят тысяч, так я тебе, приехавши в деревню, мраморный памятник поставлю. В Москве за-

кажу. (Услышав шум, поспешно закрывает шкатулку.)

ЯВЛЕНИЕ III

Алексей и Гаврюшка несут лоханку, ручной мойник и полотенца.

Ихарев. Что, эти господа где теперь? Дома?

Алексей. Да-с, они теперь в общей зале.

Ихарев. Пойду взглянуть на них, что за народ. (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ IV

Алексей и Гаврюшка.

Алексей. Что, издалека едете?

Гаврюшка. А из Рязани.

Алексей. А сами тамошней губернии?

Гаврюшка. Нет, сами из Смоленской.

Алексей. Так-с. Так поместье-то, выходит, в Смоленской губернии?

Гаврюшка. Нет, не в Смоленской. В Смоленской сто душ да в Калужской восемьдесят.

Алексей. Понимаю, в двух, то есть, губерниях.

Гаврюшка. Да, в двух губерниях. У нас одной дворни: Игнатий буфетчик, Павлушка, который прежде с барином ездил, Герасим лакей, Иван — тоже опять лакей. Иван псарь.

Иван, опять музыкант, потом повар Григорий, повар Семен, Варух садовник, Дементий кучер. Вот как у нас.

ЯВЛЕНИЕ V

Те же, Кругель, Швохнев (осторожно входя).

Кругель. Право, я боюсь, чтоб он нас не застал здесь.

Швохнев. Ничего, Степан Иванович его удержит. *(Алексею.)* Ступай, брат, тебя зовут!

Алексей уходит. Швохнев, подходя поспешно к Гаврюшке.

Откуда барин?

Гаврюшка. Да теперь из Рязани.

Швохнев. Помещик?

Гаврюшка. Помещик.

Швохнев. Играет?

Гаврюшка. Играет.

Швохнев. Вот тебе красуля. *(Дает ему бумажку.)* Рассказывай все!

Гаврюшка. Да вы не скажете барину?

Оба. Ни-ни, не бойся!

Швохнев. Что, как он теперь, в выигрыше?
а?

Гаврюшка. Да вы полковника Чеботарева

не знаете?

Швохнев. Нет, а что?

Гаврюшка. Недели три тому назад мы его обыграли на восемьдесят тысяч деньгами, да коляску варшавскую, да шкатулку, да ковер, да золотые эполеты одной выжиги дали на шестьсот рублей.

Швохнев(взглянув на Кругеля значительно). А? Восемьдесят тысяч!

Кругель покачал головою.

Думаешь, нечисто? Это мы сейчас узнаем.
(Гаврюшке.) Послушай, когда барин остается дома один, что делает?

Гаврюшка. Да как что делает? Известно, что делает. Он уж барин, так держит себя хорошо: он ничего не делает.

Швохнев. Врешь, чай, карт из рук не выпускает.

Гаврюшка. Не могу знать, я с барином всего две недели. С ним прежде все Павлушка ездил. У нас тоже есть Герасим лакей, опять Иван лакей, Иван псарь, Иван музыкант, Дементий кучер, да намедни из деревни одного взяли.

Швохнев(Кругелю). Думаешь, шулер?

Кругель. И очень может быть.

Швохнев. А попробовать все-таки попробуем.

Оба убегают.

ЯВЛЕНИЕ VI

Гаврюшка один.

Проворные господа! А за бумажку спасибо. Будет Матрене на чепец да пострельчонкам тоже по прянику. Эх, люблю походную жисть! Уж всегда что-нибудь приобретешь: барин пошлет купить чего-нибудь — все уж с рубля гривенничек положишь себе в карман. Как подумаешь, что за житье господам на свете! куда хошь катай! В Смоленске наскучило, поехал в Рязань, не захотел в Рязань — в Казань. В Казань не захотел, валяй под самый Ярослав. Вот только до сих пор не знаю, который из городов будет партикулярней — Рязань или Казань? Казань будет потому партикулярней, что в Казани...

ЯВЛЕНИЕ VII

Ихарев, Гаврюшка, потом Алексей.

Ихарев. В них нет ничего особенного, как мне кажется. А впрочем... Эх, хотелось бы мне их обчистить! Господи боже, как бы хотелось! Как подумаешь, право, сердце бьется. (*Берет щетку, мыло, садится перед зеркалом и начинает бриться.*) Просто рука дрожит, никак не могу бриться.

Входит **Алексей.**

Алексей. Не прикажете ли чего покушать?

Ихарев. Как же, как же. Принеси закуску на четыре человека. Икры, семги, бутылки четыре вина. Да накорми сейчас его (*указывая на Гаврюшку*).

Алексей(*Гаврюшке*). Пожалуйста в кухню, там для вас приготовлено.

Гаврюшка уходит.

Ихарев(*продолжая бриться*). Послушай! Много они тебе дали?

Алексей. Кто-с?

Ихарев. Ну, да уж не изворачивайся, говори!

Алексей. Да-с, за прислугу пожаловали.

Ихарев. Сколько? пятьдесят рублей?

Алексей. Да-с, пятьдесят рублей дали.

Ихарев. А от меня не пятьдесят, а вон, видишь, на столе лежит сторублевая бумажка, возьми ее. Что боишься? не укусит. От тебя не потребуется больше ничего, как только честности, понимаешь? Карты пусть будут у Вахрамейкина или у другого купца, это не мое дело, а вот тебе в придачу от меня дюжину. *(Дает ему запечатанную дюжину.)* Понимаешь?

Алексей. Да уж как не понять? Извольте положиться, это уж наше дело.

Ихарев. Да карты спрячь хорошенько, чтоб как-нибудь тебя не оцупали или не увидели. *(Кладет щетку и мыло и вытирается полотенцем.)*

Алексей уходит.

Хорошо бы было и очень бы хорошо. А уж как, признаюсь, хочется поддеть их.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Швохнев, Кругель и Степан Иванович Утешительный входят с поклонами.

Ихарев (с поклоном к ним навстречу). Прошу простить. Комната, как видите, не красна углами: четыре стула всего.

Утешительный. Приветливые ласки хозяина дороже всяких удобств.

Швохнев. Не с комнатой жить, а с добрыми людьми.

Утешительный. Именно правда. Я бы не мог быть без общества. (Кругелю.) Помнишь, почтеннейший, как я приехал сюда: один-одинешенек. Вообразите: знакомых никого. Хозяйка — старуха. На лестнице какая-то поломойка, урод естест-веннейший; вижу, уви-вается около нее какой-то армейщина, видно натоццаках... Словом, скука смертная. Вдруг судьба послала вот его, а потом случай свел с ним... Ну, уж как я был рад! Не могу, не могу часу пробыть без дружеского общества. Все что ни есть на душе готов рассказать каждо-му.

Кругель, Это, брат, порок твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ты, верно, уж не раз был обманут.

Утешительный. Да, обманывался, обманывался и всегда буду обманываться. А все-таки

не могу без откровенности.

Кругель. Ну, признаюсь, это для меня непонятно: быть откровенну со всяким. Дружба — это другое дело.

Утешительный. Так, но человек принадлежит обществу.

Кругель. Принадлежит, но не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь!

Швохнев(*Утешительному*). Не спорь, брат, ты не прав.

Утешительный(*горячась*). Нет, я докажу. Это обязанность... Это, это, это... это долг! это, это, это...

Швохнев. Ну, зарапортовался! Горяч необыкновенно: еще первые два слова можно понять из того, что он говорит, а уж дальше ничего не поймешь.

Утешительный. Не могу, не могу! Если дело коснется обязанностей или долга, я уж ничего не помню. Я обыкновенно вперед уж объявляю: «Господа, если будет о чем подоб-

ном толк, извините, увлекусь, право увлекусь». Точно хмель какой-то, а желчь так и кипит, так и кипит.

Ихарев(*про себя*). Ну нет, приятель! Знаем мы тех людей, которые увлекаются и горячатся при слове «обязанность». У тебя, может быть, и кипит желчь, да только не в этом случае. (*Вслух.*) А что, господа, покамест спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик?

В продолжение их разговора приготовлен на столе завтрак.

Утешительный. Извольте; если не в большую игру, почему нет?

Кругель. От невинных удовольствий я никогда не прочь.

Ихарев. А что, ведь в здешнем трактире, чай, есть карты?

Швохнев. О, только прикажите.

Ихарев. Карты!

Алексей хлопчет около карточного стола.

А между тем прошу, господа! (*Указывая рукой на закуску и подходя к ней.*) Балык, кажется, не того, а икра еще так и сяк.

Швохнев(*посылая в рот кусок*). Нет, и балык того.

Кругель(*так же*). И сыр хорош. Икра тоже недурна.

Швохнев(*Кругелю*). Помнишь, какой отличный сыр ели мы недели две тому назад?

Кругель. Нет, никогда в жизни не позабуду я сыра, который ел я у Петра Александровича Александрова.

Утешительный. Да ведь сыр, почтеннейший, когда хорош? Хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворотишь другой, — вот где его настоящее значение. Он все равно что добрый квартирмейстер, говорит: «Добро пожаловать, господа, есть еще место».

Ихарев. Добро пожаловать, господа, карты на столе.

Утешительный (*подходя к карточному столу*). А вот оно, старина, старина! Слышь, Швохнев, карты, а? Сколько лет...

Ихарев(*в сторону*). Да полно тебе корчить!..

Утешительный. Хотите вы держать банчик?

Ихарев. Небольшой — извольте, пятьсот рублей. Угодно снять? (*Мечет банк.*)

Начинается игра. Раздаются восклицания:

Швохнев. Четверка, тузик, оба по десяти.

Утешительный. Подай-ка, брат, мне свою колоду; я выберу себе карту на счастье нашей губернской предводительши.

Кругель. Позвольте присовокупить девяточку.

Утешительный. Швохнев, подай мел. Приписываю и списываю.

Швохнев. Черт побери, пароле!

Утешительный. И пять рублей мазу!

Кругель. Атанде! Позвольте посмотреть, кажется, еще две тройки должны быть в колоде.

Утешительный(*вскакивает с места, про себя*). Черт побери, тут что-то не так. Карты другие, это очевидно.

Игра продолжается.

Ихарев(Кругелю). Позвольте узнать: обе идут?

Кругель. Обе.

Ихарев. Не возвышаете?

Кругель. Нет.

Ихарев(Швохневу). А вы что ж? не ставите?

Швохнев. Позвольте мне эту талию переждать. *(Встает со стула, торопливо подходит к Утешительному и говорит скоро.)* Черт возьми, брат! И передергивает, и все что хочешь. Шулер первой степени!

Утешительный(в волнение). Неужли, однако ж, отказаться от восьмидесяти тысяч?

Швохнев. Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.

Утешительный. Ну, это еще вопрос, а пока с ним объясниться!

Швохнев. Как?

Утешительный. Открыться ему во всем.

Швохнев. Для чего?

Утешительный. После скажу. Пойдем.

Подходят оба к Ихареву и ударяют его с обеих сторон по плечу.

Да полно вам тратить попусту заряды!

Ихарев(вздрыгнув). Как?

Утешительный. Да что тут толковать, свой своего разве не узнал?

Ихарев(учтиво). Позвольте узнать, в каком смысле я должен разуместь?..

Утешительный. Да просто, без дальнейших слов и церемоний. Мы видели ваше искусство и, поверьте, умеем отдавать справедливость достоинству. И потому от лица наших товарищей предлагаю вам дружеский союз. Соединя наши познания и капиталы, мы можем действовать несравненно успешней, чем порознь.

Ихарев. В какой степени я должен понимать справедливость слов ваших?..

Утешительный. Да вот в какой степени: за искренность мы платим искренностью. Мы признаемся тут же вам откровенно, что сговорились обыграть вас, потому что приняли вас за человека обыкновенного. Но теперь видим, что вам знакомы высшие тайны. Итак, хотите ли принять нашу дружбу?

Ихарев. От такого радушного предложе-

ния не могу отказать.

Утешительный. Итак, подадимте же, всякий из нас, друг другу руки.

Все попеременно пожимают руку Ихареву.

Отныне все общее, притворство и церемония в сторону! Позвольте узнать, с каких пор начали исследовать глубину познаний?

Ихарев. Признаюсь, это уже с самых юных лет было моим стремлением. Еще в школе во время профессорских лекций я уже под скамьей держал банк моим товарищам.

Утешительный. Я так и полагал. Подобное искусство не может приобрести, не быв практиковано от лет гибкого юношества. Помнишь, Швохнев, этого необыкновенного ребенка?

Ихарев. Какого ребенка?

Утешительный. А вот расскажи!

Швохнев. Подобного события я никогда не позабуду. Говорит мне его зять (*указывая на Утешительного*), Андрей Иванович Пяткин: «Швохнев, хочешь видеть чудо? Мальчик одиннадцати лет, сын Ивана Михаловича Ку-

бышева, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков! Поезжай в Тетюшевский уезд и посмотри!» Я, признаюсь, тот же час отправился в Тетюшевский уезд. Спрашиваю деревню Ивана Михаловича Кубышева и приезжаю прямо к нему. Приказываю о себе доложить. Выходит человек почтенных лет. Я рекомандуюсь, говорю: «Извините, я слышал, что бог наградил вас необыкновенным сыном». — «Да, признаюсь, говорит (и мне понравилось то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок), да, говорит, точно: хотя отцу и неприлично хвалить собственного сына, но это действительно в некотором роде чудо. Миша, говорит, поди-ка сюда, покажи гостю искусство!» Ну, мальчик, просто ребенок, мне по плечо не будет, и в глазах ничего нет особенного. Начал он метать — я просто потерялся. Это превосходит всякое описание.

Ихарев. Неужто ничего нельзя было заметить?

Швохнев. Ни-ни, никаких следов! Я смотрел в оба глаза.

Ихарев. Это непостижимо!

Утешительный. Феномен, феномен!

Ихарев. И как я подумаю, что при этом еще нужны познания, основанные на остроте глаз, внимательное изученье крапа...

Утешительный. Да ведь это очень облегчено теперь. Теперь накрапливание и отметины вышли вовсе из употребления; стараются изучить ключ.

Ихарев. То есть ключ рисунка?

Утешительный. Да, ключ рисунка обратной стороны. Есть в одном городе, — в каком именно, я не хочу назвать, — один почтенный человек, который больше ничем уж и не занимается, как только этим. Ежегодно получает он из Москвы несколько сотен колод, от кого именно — это покрыто тайною. Вся обязанность его состоит в том, чтобы разобрать крап всякой карты и послать от себя только ключ. Смотри, мол, у двойки вот как расположен рисунок! у такой-то — вот как! За это одно он получает чистыми деньгами пять тысяч в год.

Ихарев. Это, однако ж, важная вещь.

Утешительный. Да оно, впрочем, так и быть должно. Это то, что называется в поли-

тической экономии распределение работ. Все равно каретник: ведь он не весь же экипаж делает сам; он отдает и кузнецу и обойщику. А иначе не стало бы всей жизни человеческой.

Ихарев. Позвольте вам сделать один вопрос: как поступали вы доселе, чтобы пустить в ход колоды? Подкупать слуг ведь не всегда можно.

Утешительный. Сохрани бог! да и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Один раз мы поступили вот как: приезжает на ярмонку наш агент, останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки еще не успел нанять; сундуки и вьюки пока в комнате. Живет он в трактире, издерживается, ест, пьет — и вдруг пропадает неизвестно куда, не заплативши. Хозяин шарит в комнате. Видит, остался один вьюк; распаковывает — сто дюжин карт. Карты, натурально, сей же час проданы с публичного торга. Пустили рублем дешевле, купцы миг расхватили в свои лавки. А в четыре дни проигрался весь город!

Ихарев. Это очень ловко.

Швохнев. Ну, а у того, у помещика?..

Ихарев. Что у помещика?

Утешительный. А это дело тоже было поведено недурно. Не знаю, знаете ли вы, есть помещик Аркадий Андреевич Дергунов, богатейший человек. Игру ведет отличную, честности беспримерной, к поползновенью, понимаете, никаких путей: за всем смотрит сам, люди у него воспитанны, камергеры, дом — дворец, деревня, сады — все это по аглицкому образцу. Словом, русский барин в полном смысле слова. Мы живем уж там три дня. Как приступить к делу? — просто нет возможности. Наконец придумали. В одно утро пролетает мимо самого двора тройка. На телеге сидят молодцы. Все это пьяно, как нельзя больше, орет песни и дует во весь опор. На такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Ротозеют, смеются и замечают, что из телеги что-то выпало, подбегают, видят — чемодан. Машут, кричат: «Остановись!» — куды! никто не слышит, умчались, только пыль осталась по всей дороге. Развязали чемодан — видят: белье, кое-какое платье, двести рублей денег и дюжин сорок карт. Ну, натурально, от денег

не захотели отказаться, карты пошли на барские столы, — и на другой же день ввечеру все, и хозяин и гости, остались без копейка в кармане, и кончился банк.

Ихарев. Очень остроумно. Ведь вот называют это плутовством и разными подобными именами, а ведь это тонкость ума, развитие.

Утешительный. Эти люди не понимают игры. В игре нет лицеприятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мною в карты — я обыграю отца. Не садись! здесь все равны.

Ихарев. Именно этого не понимают, что игрок может быть добродетельнейший человек. Я знаю одного, который склонен к передержкам и к чему хотите, но нищему он отдаст последнюю копейку. А между тем ни за что не откажется соединиться втроем против одного обыграть наверняка. Но, господа, так как пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь: знаете ли вы то, что называют сводная или подобранная колода, в которой всякая карта может быть угадана мною на значительном расстоянии?

Утешительный. Знаю, но, может быть,

другого рода.

Ихарев. Могу вам похвастаться, что подобной нигде не сыщете. Почти полгода трудов. Я две недели после того не мог на солнечный свет смотреть. Доктор опасался воспаления в глазах. *(Вынимает из шкатулки.)* Вот она! Зато уж не прогневайтесь: она у меня носит имя, как человек.

Утешительный. Как, имя?

Ихарев. Да, имя: Аделаида Ивановна.

Утешительный*(усмехаясь)*. Слышь, Швохнев, ведь это совершенно новая идея — называть колоду карт Аделаидой Ивановной. Я нахожу даже, это очень остроумно.

Швохнев. Прекрасно! Аделаида Ивановна! очень хорошо...

Утешительный. Аделаида Ивановна. Немка даже! Слышь, Кругель? это тебе жена.

Кругель. Что я за немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки.

Утешительный*(рассматривая колоду)*. Это, точно, сокровище. Да, никаких совершенно признаков. Неужели, однако ж, всякая карта может быть вами угадана на каком угодно расстоянии?

Ихарев. Извольте, я стану от вас в пяти шагах и отсюда назову всякую карту. Двумя тысячами готов асикурировать, если ошибусь.

Утешительный. Ну, это какая карта?

Ихарев. Семерка.

Утешительный. Так точно. Эта?

Ихарев. Валет.

Утешительный. Черт возьми, да. Ну, эта?

Ихарев. Тройка.

Утешительный. Непостижимо!

Кругель(пожимая плечами). Непостижимо!

Швохнев. Непостижимо!

Утешительный. Позвольте еще раз рассмотреть.

(*Рассматривая колоду.*) Удивительная вещь. Стоит того, чтобы назвать ее именем. Но, позвольте заметить, употребить ее в дело трудно. Разве с слишком неопытным игроком: ведь это нужно подменить самому.

Ихарев. Да ведь это во время самой жаркой игры только делается, когда игра возвысится до того, что и самый опытный игрок делается беспокойным; а потеряйся только

немного человек, с ним можно все сделать. Вы знаете, что с лучшими игроками случается то, что называют — заиграться. Как поиграет два дни и две ночи сряду не поспавши, ну и заиграется. В азартной игре я всегда подменяю колоду. Поверьте, вся штука в том, чтобы быть хладнокровну тогда, когда другой горячится. А средств отвлечь вниманье других есть тысяча. Придеритесь тут же к кому-нибудь из понтёров, скажите, что у него не так записано. Глаза всех обратятся на него — а в это время колода уже и подменена.

Утешительный. Но, однако же, я вижу, что, кроме искусства, вы владеете еще достоинством хладнокровия. Это важная вещь. Приобретение вашего знакомства теперь стало для нас еще значительней. Будем без церемонии, оставим лишние этикетки и станем говорить друг другу «ты».

Ихарев. Этак бы давно следовало.

Утешительный. Человек, шампанского! В память дружеского союза!

Ихарев. Именно, это стоит того, чтобы запить.

Швохнев. Да ведь вот мы собрались для

подвигов, орудия все у нас в руках, силы есть, одного недостает только...

Ихарев. Именно, именно, крепости недостает только, на которую бы идти, вот беда!

Утешительный. Что ж делать? неприятеля пока нет. *(Смотря пристально на Швохнева.)* Что? у тебя как будто лицо такое, которое хочет сказать, что есть неприятель.

Швохнев. Есть, да... *(Останавливается.)*

Утешительный. Знаю я, на кого ты метишь.

Ихарев*(с живостью).* А на кого, на кого? кто это?

Утешительный. Э, вздор, вздор: он выдумал пустяки. Вот видите ли, есть здесь один приезжий помещик, Михал Александрович Глов. Ну, да что об этом толковать, когда он не играет вовсе? Мы уж возились около него... Я месяц за ним ухаживал; и в дружбу и в доверенность вошел, а все ничего не сделал.

Ихарев. Ну да послушай, нельзя ли как-нибудь увидеться с ним? Может быть, почему знать...

Утешительный. Ну, я тебе вперед говорю, что это будет вовсе напрасный труд.

Ихарев. Ну да попробуем, попробуем еще раз.

Швохнев. Ну да приведи его, по крайней мере. Ну, не успеем, поговорим просто. Почему не попробовать?

Утешительный. Да, пожалуй, мне ничего это не значит; я приведу его.

Ихарев. Приведи его теперь же, пожалуйста.

Утешительный. Изволь, изволь. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же, кроме Утешительного.

Ихарев. Ведь точно, почему знать? Иногда дело кажется совсем невозможное...

Швохнев. Я сам того же мнения. Ведь не с богом здесь имеешь дело, а с человеком. А человек все-таки человек. Сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет, а на четвертый день, как насядешь на него хорошенько, скажет «да». Иной ведь с виду корчит, что он недоступный, а разгляди его поближе, увидишь: просто даром тревогу подымал.

Кругель. Ну, однако ж, этот не таков.

Ихарев. Эх, если бы!.. Поверить нельзя, как возродилась во мне теперь жажда деятельно-

сти. Нужно вам знать, что последний мой выигрыш, восемьдесят тысяч у полковника Чеботарева, был сделан в прошедшем месяце. С тех пор я не имел практики в продолжение целого месяца. Представить не можете, какую испытал я скуку во все это время. Скука, скука смертная!

Швохнев. Я понимаю это положение. Это все равно что полководец: что он должен чувствовать, когда нет войны? Это, любезнейший, просто фатальный антракт. Я знаю по себе, с этим нечего шутить.

Ихарев. Поверишь ли, приходит так, что если бы кто сделал пять рублей банку — я готов сесть и играть.

Швохнев. Естественная вещь. Этак проигрывались иногда искуснейшие игроки. Стоскуется, работы нет, и наскочит с горя на одного из тех, которых называют голь и перетыка, — ну и проиграется ни за что!

Ихарев. А богат этот Глов?

Кругель. О! Деньги есть. Кажется, около тысячи душ крестьян.

Ихарев. Эх, черт возьми, подпоить разве его, шампанского велеть подать?

Швохнев. В рот не берет.

Ихарев. Что ж с ним делать? Как подъехать? Но нет, однако ж, все я думаю... ведь игра — соблазнительная вещь. Мне кажется, если бы он подсел только к играющим, он бы не утерпел потом.

Швохнев. Да вот мы попробуем. Мы вот здесь в стороне с Кругелем сделаем самую маленькую игру. Но не нужно к нему сказывать большого внимания: старики подозрительны.

Садятся в стороне с картами.

ЯВЛЕНИЕ X

Те же, Утешительный и Михайло Александрович Глов, человек почтенных лет.

Утешительный. Вот тебе, Ихарев, рекомендую: Михал Александрович Глов!

Ихарев. Я, признаюсь, давно искал этой чести. Живя в одном трактире...

Глов. Мне тоже очень приятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выезде...

Ихарев(подавая ему стул). Прошу покорнейше!.. Давно изволите жить в этом городе?

Утешительный, Швохнев и Кругель перешептываются между собой.

Глов. Ах, батюшка, уж он мне так надоел, этот город. И телом и душой рад бы отсюда поскорей вырваться.

Ихарев. Что ж, удерживают дела?

Глов. Дела, дела. Такая комиссия мне эти дела!

Ихарев. Вероятно, тяжба?

Глов. Нет, слава богу, тяжбы нет, но тем не менее затруднительные обстоятельства. Выдаю замуж дочь, батюшка, осмнадцатилетнюю девицу. Понимаете ли вы отцовское положение? Приехал за разными покупками, а главное, заложить имение. Дело бы уже все кончено, да приказ денег до сих пор не выдает. Даром совершенно живу.

Ихарев. А позвольте узнать, в какую сумму изволили заложить имение?

Глов. В двухстах тысяч. На днях бы должны выдать, да вот затянулось. А мне уж так опротивело здесь жить! Дома-то, знаете, все это оставил на самое короткое время. Дочь

невеста... все это ждет. Я уж решился не дожидаться и бросить все.

Ихарев. Как же? и денег не хотите дождаться?

Глов. Что ж делать, батюшка? Вы рассмотрите и мое положение. Ведь вот уж месяц, как не видался с женой и детьми; писем даже не получаю, — бог весть что там делается. Я уж все дело поручаю сыну, который здесь остается. Надоело возиться. *(Обращаясь к Шеохневу и Кругелю.)* А что же вы, господа? Я, кажется, вам помешал. Вы чем-то занимались?

Кругель. Вздор. Это так. От нечего делать вздумали поиграть.

Глов. Кажется, что-то похоже на банчик.

Швохнев. Какое! для препровожденья времени грошовый банчик.

Глов. Эх, господа, послушайте старика. Вы молодые люди. Конечно, тут ничего худого, больше для развлечения, да и в грошовую игру нельзя много проиграть, все это так, но всё... Эх, господа, я сам играл и знаю по опыту. Все на свете начинается грошовым делом, а смотришь, маленькая игра как раз кончилась большой.

Швохнев(Ихареву). Ну, пошел уж старикашка плесть свое. (*Глову.*) Ну, вот видите, вы уж тотчас припишете важное следствие всякому вздору; это всегда уж обыкновенная замашка всех пожилых людей.

Глов. Да что ж, ведь я еще не так пожилой человек. Я сужу по опыту.

Швохнев. Я не об вас буду говорить. Но вообще у стариков есть это: например, если они на чем-нибудь обожглись, они твердо уверены — другой непременно обожжется на том же. Если они пошли какой-нибудь дорогой да, зазевавшись, шлепнулись о гололедь, — они уж кричат и выдают правило, что по такой-то дороге никому нельзя ходить, потому что на ней есть в одном месте гололедь и всякий непременно на ней шлепнется лбом, никак не принимая в уваженье того, что другой, может быть, не зазеваается и сапоги у него не на скользкой подошве. Нет, у них для этого нет соображенья. Собака укусила человека на улице — все кусаются собаки, и потому никому нельзя выходить на улицу.

Глов. Так, батюшка. Оно, точно, с одной стороны, есть тот грех. Да ведь зато ж и моло-

дые! Ведь уж слишком много рыси: того и смотри, что сломит шею!

Швохнев. Вот то-то и есть, что у нас нет середины. Молодым бесится, так что невтерпеж другим, а под старость прикинется ханжой, так что невтерпеж другим.

Глов. Такого-то вы обидного мнения насчет стариков?

Швохнев. Да нет, что за обидное мнение? это правда, больше ничего.

Ихарев. Позвольте мне заметить. Твое мнение резко...

Утешительный. Насчет карт я совершенно согласен с Михал Александровичем. Я сам играл, играл сильно. Но, благодарю судьбу, бросил навсегда. Не потому, чтобы проигрался или был вооружен против судьбы; поверьте мне, это еще ничего: проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Одно это волнение, чувствуемое во время игры, — кто что ни говори, а это сокращает видимо нашу жизнь.

Глов. Так, батюшка, ей-богу! как вы премудро заметили! Позвольте сделать вам нескромный вопрос, сколько времени имею

честь пользоваться вашим знакомством, а вот до сих пор...

Утешительный. Какой вопрос?

Глов. Позвольте узнать, хоть струна и щекотливая, который вам год?

Утешительный. Тридцать девять лет.

Глов. Представьте! Что ж такое тридцать девять лет? Еще молодой человек! Ну что, если бы у нас в России было побольше таких, которые бы так мудро рассуждали? Господи ты боже мой, что бы это было: просто золотой век-с, та же астрея. Уж как, ей-богу, благодарен судьбе я за то, что познакомился с вами.

Ихарев. Поверьте мне, я тоже разделяю это мнение. Мальчишкам я бы не позволил и в руки взять карт. Но благоразумным людям почему не поразвлечься, не позабавиться? Например, почтенному старику, которому нельзя уже ни плясать, ни танцевать.

Глов. Так, всё так; но, поверьте, в жизни нашей есть столько удовольствий, столько обязанностей, так сказать, священных. Эх, господа, послушайте старика! Нет для человека лучшего назначения, как семейная жизнь в домашнем кругу. Все это, что вас окружа-

ет, — ведь это все волнение, ей-богу-с волнение, а прямого-то блага вы не вкусили еще. Ведь вот я, поверите ли, минуты не дождусь, чтобы увидеть своих, ей-богу! Как вообразу: дочь кинется на шею: «Папаш ты мой, милый папаш!» Сын опять приехал из гимназии... полгода не видал... Просто слов недостает, ей-богу так. Да после этого на карты смотреть не захочешь.

Ихарев. Но зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отечественные чувства сами по себе, а карты тоже...

Алексей(входя, говорит Глову). Ваш человек спрашивает насчет чемоданов. Прикажете выносить? Лошади уж готовы.

Глов. А вот я сейчас! Извините, господа, на одну минуточку вас оставляю. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Швохнев, Ихарев, Кругель, Утешительный.

Ихарев. Ну, нет никакой надежды!

Утешительный. Я говорил это прежде. Не понимаю, как вы не можете видеть человека. Ведь стоит только взглянуть, чтобы узнать,

кто не расположен играть.

Ихарев. Ну, да все бы таки насесть на него хорошенько. Ну зачем ты сам его поддержи-вал?

Утешительный. Да иначе, братец, нельзя. С этими людьми нужно тонко поступать. Не то как раз догадается, что его хотят обыграть.

Ихарев. Ну да ведь что ж вышло из того? ведь вот уедет все равно.

Утешительный. Ну, да постой, еще не все дело кончено.

ЯВЛЕНИЕ XII

Те же и Глов.

Глов. Покорнейше благодарю вас, господа, за приятное знакомство. Жаль только, право, что вот перед самым концом. А впрочем, авось приведет бог опять где-нибудь столкнуться.

Швохнев. О, вероятно. Дороги битые, а люди толкутся — как не столкнуться? Захоти только судьба.

Глов. Ей-богу, так, совершенная правда. Судьба захочет, так завтра же увидимся, — совершенная правда. Прощайте, господа! истин-

но благодарю! А уж вам, Степан Иванович, так обязан. Право, вы усладили мое уединение.

Утешительный. Помилуйте, не за что. Чем мог служить, служил.

Глов. Ну, уж если вы так добры, так сделайте еще одну милость, можно ли вас просить?

Утешительный. Какую? скажите! Все что угодно готов.

Глов. Успокойте старика отца!

Утешительный. Как?

Глов. Я оставляю здесь своего Сашу. Прекрасный малый, добрая душа. Но все еще ненадежен: двадцать два года — ну что это за лета? почти ребенок... Кончил учебный курс и уж больше ни о чем и слышать не хочет, как об гусарах. Я говорю ему: «Рано, Саша, погоди, осмотрись прежде! Что тебе в гусары? Почему знать, может быть, у тебя штатские наклонности. Ты еще не видел почти света, время не уйдет от тебя!..» Ну, сами знаете, молодая натура. Ему уж там, в гусарах, все это блестит: шитье, богатый мундир... Что ж прикажете? Склонностей ведь удержать никак

нельзя... Так будьте так великодушны, батюшка Степан Иванович! Он остается теперь один; я возложил на него кое-какие делишки. Молодой человек, все может случиться: чтобы приказные как-нибудь его не обманули... мало ли чего... Так возьмите его под свое покровительство, надзирайте над его поступками, отвлеките его от дурного. Будьте так добры, батюшка! *(Берет его за обе руки.)*

Утешительный. Извольте, извольте. Все, что может сделать отец для своего сына, все это я сделаю для него.

Глов. Ах, батюшка!

Обнимаются и целуются.

Ведь как видно, когда у человека-то доброе сердце, ей-богу! Бог вас наградит за это! Прощайте, господа, от души желаю вам счастливо оставаться.

Ихарев. Прощайте, доброй дороги!

Швохнев. Счастливо найти всех домашних!

Глов. Благодарю вас, господа!

Утешительный. А я вас таки провожу к са-

мой коляске и посажу!

Глов. Ах, батюшка, как вы добры!

Оба уходят.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Улетела птица!

Швохнев. Да, а было бы чем поживиться.

Ихарев. Признаюсь, как он сказал: двести тысяч, — у меня вздрогнуло в самом сердце.

Кругель. О такой сумме и подумать даже сладко.

Ихарев. Ведь как подумаешь, сколько денег пропадает даром, без всякой совершенно пользы. Ну что из того, что у него будет двести тысяч? Ведь это все так пойдет, на покупку каких-нибудь тряпок, ветошек!

Швохнев. И все это дрянь, гниль.

Ихарев. А ведь сколько даже так пропадает на свете, не обращаясь! Сколько есть мертвых капиталов, которые, именно как мертвцы, лежат в ломбардах! Право, даже жалость. Я бы больше не хотел иметь у себя денег, как столько, сколько лежит в опекунском совете.

Швохнев. Я помирюсь и на половине.

Кругель. Я доволен буду и четвертью.

Швохнев. Ну, не ври, немец: захочешь больше.

Кругель. Как честный человек...

Швохнев. Надуешь.

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Утешительный, входит поспешно и с радостным видом.

Утешительный. Ничего, ничего, господа! Уехал, черт его побери, тем лучше! Остался сын. Отец передал ему и доверенность, и все права на получение из приказа денег и поручил надсматривать за всем мне. Сын молодец: так и рвется в гусары. Будет жатва! Я пойду и сей же час приведу его к вам! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ XV

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Ай да Утешительный!

Швохнев. Браво! дело возымело славный оборот!

Все потирают в радости руки.

Ихарев. Молодец Утешительный! Теперь я понял, зачем он подбирался к отцу и потакал ему. И как все это ловко! как тонко!

Швохнев. О, у него на это талант необыкновенный!

Кругель. Способности невероятные!

Ихарев. Признаюсь, когда отец сказал, что оставляет здесь сына, у меня у самого промелькнула в голове мысль, да ведь только на миг, а уж он тотчас... Сметливость какая!

Швохнев. О, ты еще не знаешь его хорошенько.

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же, Утешительный и Глов Александр Михалыч, молодой человек.

Утешительный. Господа! Рекомендую: Александр Михалыч **Глов**, отличный товарищ, прошу полюбить, как меня.

Швохнев. Очень рад... *(Пожимает ему руку.)*

Ихарев. Знакомство ваше нам...

Кругель. Позвольте вас прямо в наши объятья.

Глов. Господа! я...

Утешительный. Без церемонии, без церемонии. Равенство первая вещь, господа! Глов, здесь, видишь, все товарищи, и потому к черту все этикетки! Съедем прямо на «ты»!

Швохнев. Именно, на «ты»!

Глов. На «ты»! *(Подает им всем руку.)*

Утешительный. Так, bravo! Человек, шампанского! Замечаете, господа, как у него даже теперь уже видно что-то гусарское? Нет, твой отец, не говоря дурного слова, большая скотина, — извини, ведь мы на «ты», — ну как этого молодца вздумал было в чернильную службу! Ну что, брат, скоро свадьба сестры твоей?

Глов. Черт ее побери с ее свадьбой! Мне досадно, что из-за нее отец меня продержал три месяца в деревне.

Утешительный. Ну, послушай, а хороша сестра твоя?

Глов. А так хороша... Будь она не сестра... ну, уж я бы ей не спустил.

Утешительный. Bravo, bravo, гусар! Сейчас видно гусара! Ну, послушай, а помог бы ты мне, если бы я захотел ее увезти?

Глов. Почему ж? помог бы.

Утешительный. Bravo, гусар! Вот оно, что называется настоящим гусар, черт побери! Человек, шампанского! Вот это мой решительно вкус: таких открытых людей я люблю. Постой, душа, дай обниму тебя!

Швохнев. Дай же и мне обнять его. *(Обнимает его.)*

Ихарев. Пусть же и я обниму его. *(Обнимает.)*

Кругель. Ну, так и я ж обниму его, если так. *(Обнимает.)*

Алексей несет бутылку, придерживая пальцем пробку, которая хлопает и летит в потолок; наливает бокалы.

Утешительный. Господа, за здоровье будущего гусарского юнкера! Пусть он будет первый рубака, первый волокита, первый пьяница, первый... словом, пусть его будет что хочет!

Все. Пусть его будет что хочет!

Пьют.

Глов. За здоровье всего гусарства! (*Поды-
мая бокал.*)

Все. За здоровье всего гусарства!

ПЬЮТ.

Утешительный. Господа, нужно его теперь же посвятить во все гусарские обычаи. Пьет он, как видно, уже сносно, но ведь это вздор. Нужно, чтобы он был картежник во всей силе! Играешь в банк?

Глов. Играл бы, смерть бы хотелось, да денег нет.

Утешительный. Экой вздор: нет денег! Было бы только с чем сесть, а там деньги будут — сейчас выиграешь.

Глов. Да ведь и сесть-то не с чем.

Утешительный. Да мы тебе поверим в долг. Ведь у тебя есть доверенность на получение денег из приказа. Мы подождем, а как тебе выдадут, ты нам тотчас и заплатишь. А до того времени ты можешь нам дать вексель. Да, впрочем, что я говорю? Как будто ты уж непременно проиграешь. Ты можешь тут же выиграть несколько тысяч чистоганом.

Глов. А как проиграю?

Утешительный. Стыдись, что ж ты за гусар после этого? Натурально, одно из двух: либо выиграешь, либо проиграешь. Да в этом-то и дело, в риске-то и есть главная добродетель. А не рискнуть, пожалуй, всякий может. Наверняка и приказная строка отважится, и жид полезет на крепость.

Глов(махнув рукой). Черт побери, если так, играю! Что мне смотреть на отца!

Утешительный. Bravo, юнкер! Человек, карты! *(Наливают ему в стакан.)* Главное, что нужно? Нужна отвага, удар, сила... Так и быть, господа, я вам сделаю банчик в двадцать пять тысяч. *(Мечет направо и налево.)* Ну, гусар... Ты, Швохнев, что ставишь? *(Мечет.)* Какое странное течение карт. Вот любопытно для вычислений! Валет убит, девятка взяла. Что там, что у тебя? И четверка взяла! А гусар, гусар-то, каков гусар? Замечаешь, Ихарев, как уж он мастерски возвышает ставки! А туз все еще не выходит. Что ж ты, Швохнев, не наливаешь ему? Бона, вона, вон туз! Вон уж Кругель потащил себе. Немцу всегда везет! Четверка взяла, тройка взяла. Bravo,

браво, гусар! Слышишь, Швохнев, гусар уже около пяти тысяч в выигрыше.

Глов(*перегинает карту*). Черт побери! Пароле пе! да вон еще девятка на столе, идет и она, и пятьсот рублей мазу!

Утешительный(*продолжая метать*). У! молодец гусар! Семерка уби... ах, нет, плие, черт побери, плие, опять плие! А, проиграл гусар. Ну что ж, брат, делать? Не у всякого жена Марья, кому бог дал. Кругель, да полно тебе рассчитывать! ну, ставь эту, которую выдернул. Bravo, выиграл гусар! Что ж вы не поздравляете его?

Все пьют и поздравляют его, чокаясь стаканами.

Говорят, пиковая дама всегда продаст, а я не скажу этого. Помнишь, **Швохнев**, свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой? Где-то она теперь, сердечная? Чай, пустилась во все тяжкие. Кругель! твоя убита! (*Ихареву.*) И твоя убита! Швохнев, твоя также убита; гусар также лопнул.

Глов. Черт побери, ва-банк!

Утешительный. Bravo, гусар! Вот она, наконец, настоящая гусарская замашка! Замечаешь, Швохнев, как настоящее чувство всегда выходит внаружу? До сих пор все еще в нем было видно, что будет гусар. А теперь видно, что он уж теперь гусар. Вона натура-то как того... Убит гусар.

Глов. Ва-банк!

Утешительный. У! bravo, гусар! на все пятьдесят тысяч! Вот оно что называется великодушие! Ну поди-ка поищи, где отыщешь такую черту?.. Это именно подвиг! Лопнул гусар!

Глов. Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Ого-го, гусар! На сто тысяч! Каков, а? А глазки-то, глазки? Замечаешь, Швохнев, как у него глазки горят? Барклай-де-тольевское что-то видно. Вот он героизм! А короля все нет. Вот тебе, Швохнев, бубновая дама. На, немец, возьми, съешь семерку! Руте, решительно руте! просто карта фоска! А короля, видно, в колоде нет: право, даже странно. А, вот он, вот он... Лопнул гусар!

Глов(горячась). Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Нет, брат, стой! Ты уж просади́л двести тысяч. Прежде заплати, без этого нельзя начинать новой игры. Мы так много не можем тебе верить.

Глов. Да где ж у меня? у меня теперь нет.

Утешительный. Дай нам вексель, подпишись.

Глов. Извольте, я готов. *(Берет перо.)*

Утешительный. Да и доверенность на получение денег тоже отдай нам.

Глов. Вот вам и доверенность.

Утешительный. Теперь подпиши вот это да вот это. *(Дает ему подписаться.)*

Глов. Извольте, я готов все сделать. Ну, вот я и подписал. Ну, давайте ж играть!

Утешительный. Нет, брат, постой, покажи-ка прежде деньги!

Глов. Да я вам заплачу. Уж будьте уверены.

Утешительный. Нет, брат, деньги на стол!

Глов. Да что ж это?.. Ведь это просто подлость.

Кругель. Нет, это не подлость.

Ихарев. Нет, это совсем другое дело. Шансы, брат, не равны.

Швохнев. Этак ты, пожалуй, сядешь с тем,

чтоб обыграть нас. Дело известное: кто садится без денег, тот садится с тем, чтобы обыграть наверное.

Глов. Ну, что ж? чего вы хотите? назначьте какие угодно проценты, я на всё готов. Я вдвое заплачу вам.

Утешительный. Что, брат, нам с твоих процентов? Мы сами готовы тебе заплатить какие угодно проценты, дай только нам взаимы.

Глов*(отчаянно и решительно)*. Ну, так скажите последнее слово: не хотите играть?

Швохнев. Принеси деньги, сейчас станем играть.

Глов*(вынимая из кармана пистолет)*. Ну, так прощайте же, господа! Больше вы меня не встретите на этом свете. *(Убегает с пистолетом.)*

Утешительный*(в испуге)*. Ты! ты! что ты? с ума сошел! Побежать за ним, в самом деле чтоб еще как-нибудь не застрелился. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ XVII

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Еще выйдет история, если этот черт вздумает застрелиться.

Швохнев. Черт его возьми, пусть себе стреляется, да не теперь только: еще деньги не в наших руках. Вот беда!

Кругель. Я всего боюсь. Это так возможно...

ЯВЛЕНИЕ XVIII

Те же, Утешительный и Глов.

Утешительный (*держит Глова за руку с пистолетом*). Что ты, что ты, брат, рехнулся? Слышите, слышите, господа, уж пистолет вздумал было всунуть в рот, а? Стыдись!

Все (*приступая к нему*). Что ты? что ты? Помилуй, что ты?

Швохнев. А еще и умный человек, из дрянни вздумал стреляться.

Ихарев. Этак, пожалуй, вся Россия должна застрелиться: всякий или проигрался, или намерен проиграться. Да если бы этого не было, так как же можно выиграть? ты посуди только сам.

Утешительный. Ты дурак просто, позволь тебе сказать. Ты счастья своего не видишь.

Разве ты не чувствуешь, как ты выиграл тем, что проиграл?

Глов(с досадой). Что ж вы, в самом деле, меня уж за дурака считаете? какой тут выигрыш проиграть двести тысяч! Черт возьми!

Утешительный. Эх ты, простофиля! Да знаешь ли, какую ты этим себе славу сделаешь в полку? Слышь, безделица! Еще не будучи юнкером, да уж проиграл двести тысяч! Да тебя гусары на руках будут носить.

Глов(ободрившись). Что ж вы думаете? У меня разве не станет духу наплевать на все это, если уж на то пошло? Черт побери, да здравствует гусарство!

Утешительный. Bravo! Да здравствуют гусары! Теремтете! Шампанского!

Несут бутылки.

Глов(с стаканом). Да здравствуют гусары!

Ихарев. Да здравствуют гусары, черт побери!

Швохнев. Теремтете! да здравствуют гусары!

Глов. На всё плюю, когда так!.. (Ставит на

стол стакан.) Вот беда только: домой как приеду? Отец, отец!.. (Хватает себя за волосы.)

Утешительный. Да зачем тебе ехать к отцу? не нужно!

Глов(вытирает глаза). Как?

Утешительный. Ты отсюда прямо в полк! Мы тебе дадим на обмундировку. Нужно, брат Швохнев, дать ему теперь рублей двести, пусть его погуляет юнкер! Там, я уж заметил, у него есть одна... Черномазая-то, а?

Глов. Черт побери, побегу прямо к ней, возьму приступом!

Утешительный. Каков гусар, а? Швохнев, нет у тебя двухсотрублевой?

Ихарев. Да вот уж я ему дам, пусть его погуляет на славу!

Глов(берет ассигнацию и, помахивая ею на воздухе). Шампанского!

Все. Шампанского!

Несут бутылки.

Глов. Да здравствуют гусары!

Утешительный. Да здравствуют!.. Знаешь

ли, Швохнев, что мне пришло на ум? Покачаем его на руках Так, как у нас качали в полку! Ну, приступай, бери его!

Все приступают к нему, схватывают его за руки и ноги, качают, припевая на известный припев известную песню:

*Мы тебя любим сердечно,
Будь ты начальник наш вечно!
Наши зажег ты сердца,
Мы в тебе видим отца!*

Глов(с поднятой рюмкой). Ура!

Все. Ура!

Становят его на землю. Глов хлопнул рюмку об пол, все разбивают тоже свои рюмки, кто о каблук своего сапога, кто о пол.

Глов. Иду прямо к ней!

Утешительный. А нам нельзя за тобой, а?

Глов. Ни... никому! А кто сколько-нибудь...
разделка на саблях!

Утешительный. У! Рубака какой! а? Ревнив и задорен, как черт. Я думаю, господа, что из него просто выйдет Бурцов иора, забияка.

Ну, прощай, прощай, гусар, не держим тебя!

Глов. Прощайте.

Швохнев. Да приходи нам после рассказать.

Глов уходит.

ЯВЛЕНИЕ XIX

Те же, кроме Глова.

Утешительный. Нужно его покамест ласкать, пока еще деньги не в наших руках; а там черт с ним!

Швохнев. Одного боюсь я, чтоб как-нибудь не затянулась в приказе выдача денег.

Утешительный. Да, это будет скверно, а впрочем... ведь на это, сами знаете, есть понукатели. Как ни ворочай, а все-таки придется всунуть в руку тому и другому для соблюдения порядка.

ЯВЛЕНИЕ XX

Те же и чиновник **Замухрышкин** (высовывает голову в дверь; одет в несколько поношенном фраке).

Замухрышкин. Позвольте узнать: не здесь

ли Глов Александр Михалович?

Швохнев. Нет. Он сейчас вышел. А что вам угодно?

Замухрышкин. Да вот по делу их насчет выдачи денег.

Утешительный. А вы кто?

Замухрышкин. Да я чиновник из приказа.

Утешительный. А, милости просим! Прошу покорнейше садиться! В этом деле мы все принимаем живейшее участие. Тем более что заключили кое-какие дружелюбные сделки с Александр Михаловичем. И потому можете понять, что вот и от него, и от него, и от него *(указывая пальцами на всех)* будет искреннейшая благодарность. Дело в том только, чтобы скорее как можно получить из приказа деньги.

Замухрышкин. Да уж как хотите, раньше двух недель никак нельзя.

Утешительный. Нет, это страшно далеко. Ведь вы всё позабываете, что со стороны нашей благодарность...

Замухрышкин. Да уж это само собой. Все это приемлется. Как это позабыть? Мы потому и говорим «две недели», а то бы, пожалуй,

вы и три месяца у нас провозились. Деньги к нам придут не раньше как через полторы недели, а теперь во всем приказе ни копейки. На прошлой неделе получили полтораста тысяч, все роздали; три помещика ожидают, еще с февраля заложили имение.

Утешительный. Ну, это так для других, а для нас по дружбе... Нужно, чтобы мы с вами покороче познакомились... Ну, да что?.. да и люди свои! Ну, как вас зовут? как? Фентефлей Перпентьич, что ли?

Замухрышкин. Псой Стахич-с.

Утешительный. Ну, все одно почти. Ну, так послушайте, Псой Стахич! Будем так, как давние приятели. Ну, что, как вы? как делишки, как служба ваша?

Замухрышкин. Да что служба? Известное дело — служим.

Утешительный. Ну, а доходов по службе этих, знаете, разных... а просто, много ли берете?

Замухрышкин. Конечно, сами посудите, с чего ж и жить?

Утешительный. Ну что, как в приказе у вас, скажите откровенно, все хапуги?

Замухрышкин. Ну что! Вы уж, я вижу, смеетесь! Эх, господа!.. Ведь вот тоже и господа сочинители всё подсмеиваются над теми, которые берут взятки; а как рассмотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые выше нас. Ну да вот хоть и вы, господа, только разве что придумали названья поблагородней: пожертвованье там или так, бог ведает что такое. А на деле выходит — такие же взятки: тот же Савка, да на других санках.

Утешительный. Вот уж Псой Стахич и обиделся, как я вижу, — вот что значит задеть за честь!

Замухрышкин. Да ведь честь, сами знаете, дело щекотливое. А сердиться тут не из чего. Я уж, батюшка, прожил свое.

Утешительный. Ну, полно, поговоримте по-дружески, Псой Стахич! Ну что ж, как вы? Как у вас? Как поживаете? Как маячитесь на свете? Есть женушка, детки?

Замухрышкин. Слава богу. Бог наградил. Двое сыновей уж в уездное училище ходят. Два других поменьше. Один бегаёт пока в рубашонке, а другой на карачках ползает.

Утешительный. Ну, а ручонками, я чай,

уже все этак (*показывает рукою, как будто берет деньги*) умеют?

Замухрышкин. Ведь вот вы, право, какие, господа! ведь вот опять начали!

Утешительный. Ничего, ничего, Псой Стахич! ведь это по дружбе. Ну что ж тут такого? свои! Эй, дай-ка бокал шампанского Псою Стахичу! скорей! Мы ведь теперь должны быть как короткие знакомые. Вот мы к вам соберемся тоже в гости.

Замухрышкин(*принимая бокал*). А милости просим, господа! Откровенно вам скажу, что такого чаю, как вы будете пить у меня, вы у губернатора не сыщете.

Утешительный. Небошь даровой, от купца?

Замухрышкин. От купца-с, выписной из Кяхты.

Утешительный. Да как же, Псой Стахич? Ведь вы дел с купцами не имеете?

Замухрышкин(*выпив бокал и упираясь руками в колени*). А вот как: купец здесь больше по причине глупости своей должен был приплатиться. Помещик Фракасов, если изволите знать, закладывает имение, все уж сделано как следует, завтра остается получить деньги.

Затеяли они завод какой-то в половине с купцом. Ну, нам-то, понимаете, какое дело знать, на завод ли или на что другое нужны деньги, и с кем он в половине. Это не наша часть. Да купец по глупости своей и проговорись в городе, что он с ним в половине и ждет от него с часу на час денег. Мы и подослали к нему сказать, что вот пришли две тысячи, сейчас выдадут деньги, а не то — будешь ждать! А уж к нему на фабрику привезли, понимаете, и котлы, и посуду, ожидают только задатков. Купец видит, плетью обуха не перешибешь, заплатил две тысячи да по три фунтика чаю каждому из нас. Скажут — взятка, да ведь за дело: не будь глуп; кто его толкал, языка разве не мог придержать?

Утешительный. Послушайте, Псой Стахич, ну, пожалуйста же, насчет этого дельца. Мы уж вам дадим, а вы уж там с начальниками своими сделайте как следует. Только, ради бога, Псой Стахич, поскорее, а?

Замухрышкин. Да будем стараться. *(Вставая.)* Но откровенно скажу вам: так скоро, как вы хотите, нельзя. Пред богом, в приказе ни копейки денег. А будем стараться.

Утешительный. Ну, как вас там спросить?

Замухрышкин. Так и спросите: Псой Стахич Замухрышкин. Прощайте, господа! *(Идет к дверям.)*

Швохнев. Псой Стахич, а Псой Стахич! *(Оглядывается.)* Постарайтесь!

Утешительный. Псой Стахич, Псой Стахич, выручайте поскорее!

Замухрышкин*(уходя).* Да уж сказал. Будем стараться.

Утешительный. Черт побери, как это долго! *(Бьет себя рукой по лбу.)* Нет, побегу, побегу за ним, авось что-нибудь успею, не пожалую денег. Черт его побери, три тысячи дам ему своих. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ XXI

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Конечно, лучше, если бы получить поскорее. Швохнев. Да уж как нам нужно! как нам нужно! Кругель. Эх, если бы он уломал его как-нибудь! **Ихарев.** Да что, разве ваши дела...

ЯВЛЕНИЕ XXII

Те же и Утешительный.

Утешительный (входит с отчаяньем).
Черт побери, раньше четырех дней никак не может. Я готов просто лоб расшибить себе об стену.

Ихарев. Да что тебе так приспичило? Неужто четырех дней нельзя обождать?

Швохнев. В том-то и штука, брат, что для нас это слишком важно.

Утешительный. Обождать! Да знаешь ли, что нас в Нижнем с часу на час ждут? Мы тебе не сказывали еще, а уж четыре дня назад тому мы имеем известие спешить как можно скорее, добывши во что бы ни стало хоть сколько-нибудь денег. Купец привез на шестьсот тысяч железа. Во вторник окончательная сделка, и деньги получает чистоганом; да вчера приехал один с пенькой на полмиллиона.

Ихарев. Ну так что ж?

Утешительный. Как что ж? Да ведь старики-то остались дома, а выслали вместо себя сыновей.

Ихарев. Да будто сыновья уж непременно

станут играть?

Утешительный. Да где ты живешь, в китайском государстве, что ли? Не знаешь, что такое купеческие сынки? Ведь купец как воспитывает сына? или чтоб он ничего не знал, или чтобы знал то, что нужно дворянину, а не купцу. Ну, натурально, он уж так и глядит — ходит под руку с офицерами, кутит. Это, брат, для нас самый выгодный народ. Они, дурачье, не знают, что за всякий рубль, который они выплутуют у нас, они нам платят тысячами. Да это счастье наше, что купец только и думает о том, чтобы выдать дочь за генерала, а сыну доставить чин.

Ихарев. И дела совершенно верные?

Утешительный. Как не верные! Уж нас не уведомяли бы. Всё почти в наших руках. Теперь всякая минута дорога.

Ихарев. Эх, черт возьми! что ж мы сидим? Господа, а ведь условие-то действовать вместе!

Утешительный. Да, в этом наша польза. Послушай, что мне пришло на ум. Тебе ведь спешить пока еще незачем. Деньги у тебя есть, восемьдесят тысяч. Дай их нам, а от нас

возьми векселя Глова. Ты верных получаешь полтора ста тысяч, стало быть ровно вдвое, а нас ты даже одолжишь еще, потому что деньги нам теперь так нужны, что мы с радостью готовы платить алтын за всякую копейку.

Ихарев. Извольте, почему нет; чтобы доказать вам, что узы товарищества... *(Подходит к шкатулке и вынимает кипу ассигнаций.)* Вот вам восемьдесят тысяч!

Утешительный. А вот тебе и векселя! Теперь я побегу сейчас за Гловым; нужно его привести и всё устроить по форме. Кругель, отнеси деньги в мою комнату; вот тебе ключ от моей шкатулки.

Кругель уходит.

Эх, если бы так устроить, чтобы к вечеру можно было ехать. *(Уходит.)*

Ихарев. Натурально, натурально. Тут и минуты незачем терять.

Швохнев. А тебе советую тоже не засиживаться. Как только деньги получишь сейчас приезжай к нам. С двумястами тысяч знаешь что можно сделать? Просто ярмонку можно

подорвать... Ах, я и позабыл сказать Кругелю пренужное дело. Погоди, я сейчас возвращусь. *(Поспешно уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XXIII

Ихарев один.

Каков ход приняли обстоятельства! А? Еще поутру было только восемьдесят тысяч, а к вечеру уже двести. А? Ведь это для иного век службы, трудов, цена вечных сидений, лишений, здоровья. А тут в несколько часов, в несколько минут — владетельный принц! Шутка — двести тысяч! Да где теперь найдешь двести тысяч? Какое имение, какая фабрика даст двести тысяч? Воображаю, хорош бы я был, если бы сидел в деревне да возился с старостами да мужиками, собирая по три тысячи ежегодного дохода. А образование-то разве пустая вещь? Невежество-то, которое приобретешь в деревне, ведь его ножом после не обскоблишь. А время-то на что было бы утрачено? На толки с старостой, с мужиком... Да я хочу с образованным человеком поговорить! Теперь вот я обеспечен. Теперь время у меня свободно. Могу заняться тем, что спешествует к образованию. Захочу поехать в Пе-

Петербург — поеду и в Петербург. Посмотрю театр, Монетный двор, пройду мимо дворца, по Аглицкой набережной, в Летнем саду. Поеду в Москву, пообедаю у Яра. Могу одеться по столичному образцу, могу стать наравне с другими, исполнить долг просвещенного человека. А что всему причина? чему обязан? Именно тому, что называют плутовством. И вздор, вовсе не плутовство! Плутром можно сделаться в одну минуту, а ведь тут практика, изученье. Ну, положим — плутовство. Да ведь необходимая вещь: что ж можно без него сделать? Оно некоторым образом предостерегательство. Ну, не знай я, например, всех тонкостей, не постигни всего этого — меня бы как раз обманули. Ведь вот же хотели обмануть, да увидели, что дело не с простым человеком имеют, сами прибегнули к моей помощи. Нет, ум великая вещь. В свете нужна тонкость. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Этак прожить, как дурак проживет, это не штука, но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому — вот настоящая задача и цель!

ЯВЛЕНИЕ XXIV

Ихарев и Глов, вбегающий торопливо.

Глов. Где ж они? Я сейчас был в комнате, там пусто.

Ихарев. Да они сию минуту здесь были. На минуту вышли.

Глов. Как, вышли уж? и деньги у тебя взяли?

Ихарев. Да, мы с ними сделались, за тобою остановка.

ЯВЛЕНИЕ XXV

Те же и Алексей.

Алексей(обращаясь к Г лову). Изволили спрашивать, где господа?

Глов. Да.

Алексей. Да они уж уехали.

Глов. Как уехали?

Алексе й. Да так-с. Уж у них с полчаса стояла тележка и готовые лошади.

Глов(всплеснув руками). Ну, мы надуты оба!

Ихарев. Что за вздор! Я не могу понять ни одного слова. Утешительный сию минуту должен возвратиться сюда. Ведь ты знаешь, что

теперь должен весь долг твой заплатить мне. Они перевели.

Глов. Какой черт долг! Получишь ты долг! Разве ты не чувствуешь, что в дураках и проведен, как пошлый пенёк?

Ихарев. Что ты за чепуху несешь? У тебя, видно, до сих пор в голове хмель распоряжается.

Глов. Ну, видно, хмель у обоих нас. Да проснись ты! Думаешь, я Глов? Я такой же Глов, как ты китайский император.

Ихарев(беспокойно). Что ты, помилуй, что за вздор? И отец твой... и...

Глов. Старик-то? Во-первых, он и не отец, да и черт ли и будут от него дети! А во-вторых, тоже не Глов, а Крыницын, да и не Михал Александрович, а Иван Климыч, из их же компании.

Ихарев. Послушай, ты! говори серьезно, этим не шутят!

Глов. Какие шутки! Я сам участвовал и также обманут. Мне обещали три тысячи за труды.

Ихарев(подходя к нему, запальчиво). Эй, не шути, говорю тебе! Думаешь, я уж дурак та-

кой... И доверенность, и приказ... и чиновник сейчас был из приказа, Псой Стахич Замухрышкин. Ты думаешь, я не могу за ним сейчас послать?

Глов. Во-первых, он и не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их же компании, да и не Замухрышкин, а Мурзафейкин, да и не Псой Стахич, а Флор Семенович!

Ихарев(отчаянно). Да ты кто? черт, ты говори, кто ты?

Глов. Да кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом. Меня обыграли в пух, рубашки не оставили. Что ж мне делать, не умереть же с голода? За три тысячи я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебе это прямо: видишь, я поступаю благородно.

Ихарев(в бешенстве схватывает за воротник его). Мошенник ты!..

Алексей(в сторону). Ну, дело-то, видно, пошло на потасовку. Нужно отсюда убраться! (Уходит.)

Ихарев(таща его). Пойдем! пойдем!

Глов. Куда, куда?

Ихарев. Куда? *(В исступлении.)* Куда? к правосудью! к правосудью!

Глов. Помилуй, не имеешь никакого права.

Ихарев. Как! не имею права? Обворовать, украсть деньги среди дня, мошенническим образом! Не имею права? Действовать плутовскими средствами! Не имею права? А вот ты у меня в тюрьме, в Нерчинске, скажешь, что не имею права! Вот погоди, переловят всю вашу мошенническую шайку! Будете вы знать, как обманывать доверие и честность добродушных людей. Закон! закон! закон призову! *(Тащит его.)*

Глов. Да ведь закон ты мог бы призвать тогда, если бы сам не действовал противозаконным образом. Но вспомни: ведь ты соединился вместе с ними с тем, чтобы обмануть и обыграть наверное меня. И колоды были твоей же собственной фабрики. Нет, брат! В том и штука, что ты не имеешь никакого права жаловаться!

Ихарев*(в отчаянье бьет себя рукой по лбу).* Черт побери, в самом деле!.. *(В изнеможении упадает на стул.)*

Глов между тем убегает.

Но только какой дьявольский обман!

Глов(выглядывая в дверь). Утешься! Ведь тебе еще с полугоря! У тебя есть Аделаида Ивановна! *(Исчезает.)*

Ихарев(в ярости). Черт побери Аделаиду Ивановну! *(Схватывает Аделаиду Ивановну и швыряет ее в дверь. Дамы и двойки летят на пол.)* Ведь существуют же к стыду и поношению человекав эдакие мошенники! Но только я просто готов сойти с ума — как это все было чертовски разыграно! как тонко! И отец, и сын, и чиновник Замухрышкин! И концы все спрятаны! И жаловаться даже не могу! *(Схватывается со стула и в волнении ходит по комнате.)* Хитри после этого! Употребляй тонкость ума! Изоцряй, изыскивай средства!.. Черт побери, не стоит просто ни благородного рвенья, ни трудов! Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует! мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет! *(С досадой махнув рукой.)* Черт возьми! Такая уж на-

дувательная земля! Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно, ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает, а играет только по грошу в бостон поддержанными картами!

Утро делового человека

I

Кабинет; несколько шкафов с книгами; на столе разбросаны бумаги. **Иван Петрович**, деловой человек, потягиваясь, выходит в халате и звонит. Из передней слышен голос: «Сейчас!» Иван Петрович звонит во второй раз — опять тот же голос: «Сейчас!» Иван Петрович с нетерпением звонит в третий раз; входит слуга.

Иван Петрович. Что ты, оглох?

Лакей. Никак нет.

Иван Петрович. Что ж ты не изволил являться, когда я звоню в третий раз?

Лакей. Как же прикажете: мне нельзя было бросить дела, я сапоги чистил.

Иван Петрович. А Иван что делал?

Лакей. Иван мел комнату, а потом пошел в конюшню.

Иван Петрович. Подай сюда собачку.

Лакей приносит собачку.

Зюзюшка! Зюзюшка! а Зюзюшка! Вот я тебе бумажку привяжу. *(Нацепляет ей на хвост бумажку.)*

Вбегают **другой лакей**: «Александр Иванович!»

Иван Петрович. Проси. *(Бросает поспешно собачку и разворачивает свод законов.)*

II

Иван Петрович и **Александр Иванович**, также деловой человек.

Александр Иванович. Доброго утра, Иван Петрович!

Иван Петрович. Как здоровье ваше, Александр Иванович?

Александр Иванович. Очень благодарен. Не помешал ли я вам?

Иван Петрович. О, как можно! Ведь я всегда занят. Ну что, в котором часу приехали до-

мой?

Александр Иванович. Час шестой был. Я как поворотил из Офицерской, то спросил, подъезжая к будочнику: «Не слышал ли, братец, который час?» — «Да шестой уже, говорит, пробило». Вот я и узнал, что уж был шестой час.

Иван Петрович. Представьте, я сам почти в то же время. Ну что, каков был вистец, хе, хе, хе?

Александр Иванович. Хе, хе, хе! Да, признаюсь, мне даже во сне он мерещился.

Иван Петрович. Хе, хе, хе, хе! Я гляжу, что это значит, что он кладет короля? У меня ведь на руках сам-третей дама крестов, а у Лукьяна Федосеевича, я давно вижу, что ренонс.

Александр Иванович. Длиннее всего тянулся восьмой робер.

Иван Петрович. Да. *(Помолчав.)* Я уже мигаю Лукьяну Федосеевичу, чтоб он козырял, — нет. А ведь тут только козырни — валет мой пик и берет.

Александр Иванович. Позвольте, Иван Петрович, валет не берет.

Иван Петрович. Берет.

Александр Иванович. Не берет, потому что вам никоим образом нельзя взять в руку.

Иван Петрович. А семерка пик у Лукьяна Федосеевича? позабыли разве?

Александр Иванович. Да разве у него была пиковка? Я что-то не помню.

Иван Петрович. Конечно, у него были две пики: четверка, которую он сбросил на даму, и семерка.

Александр Иванович. Только нет, позвольте, Иван Петрович, у него не могло быть больше одной пиковки.

Иван Петрович. Ах, боже мой, Александр Иванович» кому вы это говорите! Две пиковки! Я как теперь помню: четверка и семерка.

Александр Иванович. Четверка была, это так; но семерки не было. Ведь он бы козырнул; согласитесь сами, ведь он бы козырнул?

Иван Петрович. Ей-богу, Александр Иванович, ей-богу!

Александр Иванович. Нет, Иван Петрович. Это совершенно невозможное дело.

Иван Петрович. Да позвольте, Александр Иванович! Вот лучше всего: поедем завтра к Лукьяну Федосеевичу. Согласны ли вы?

Александр Иванович. Хорошо.

Иван Петрович. Ну, и спросим у него лично: была ли на руках у него семерка пик?

Александр Иванович. Извольте, я не прочь. Впрочем, если посудить, странно, что Лукьян Федосеевич так дурно играет. Ведь нельзя сказать, чтобы он был без ума. Человек тонкий и в обращении...

Иван Петрович. И прибавьте: больших сведений! человек, каких, сказать по секрету, у нас мало на Руси. Были ли у его высокопревосходительства?

Александр Иванович. Был. Я теперь только от него. Сегодня поутру было немножко холодненько. Ведь я, как, думаю, вам известно, имею обыкновение носить лосиновую фуфайку: она гораздо лучше фланелевой, и притом не горячит. По этому-то случаю я велел себе подать шубу. Приезжаю к его высокопревосходительству — его высокопревосходительство еще спит. Однако ж я дождался. Ну, тут пошли рассказы о том и о сем.

Иван Петрович. А про меня не было ничего говорено?

Александр Иванович. Как же, было и про

вас. Да еще прелюбопытный вышел разговор.

Иван Петрович(оживляется). Что, что такое?

Александр Иванович. Позвольте, позвольте рассказать по порядку. Тут презанимательная вещь. Его высокопревосходительство, между прочим, спросил, где я бываю, что так давно он меня не видит? и пожелал узнать о вчерашней вечеринке и кто был. Я сказал: «Были, ваше высокопревосходительство, Павел Григорьевич Борцов, Илья Владимирович Бубуницын». Его высокопревосходительство после каждого слова говорил: «Гм!» Я сказал: «И еще был один известный вашему высокопревосходительству..»

Иван Петрович. Кто ж это такой?

Александр Иванович. Позвольте! что ж бы, вы думали, сказал на это его высокопревосходительство?

Иван Петрович. Не знаю.

Александр Иванович. Он сказал: «Кто ж бы это такой?» — «Иван Петрович Барсуков», — отвечал я. «Гм, — сказал его высокопревосходительство, — это чиновник и притом...» *(Поднимает вверх глаза.)* Довольно хо-

рошо у вас потолки расписаны: на свой или хозяйский счет?

Иван Петрович. Нет, ведь это казенная квартира.

Александр Иванович. Очень, очень недурно: корзиночки, лира, вокруг сухарики, бубны и барабан! очень, очень натурально!

Иван Петрович(с нетерпением). Так что же сказал его высокопревосходительство?

Александр Иванович. Да, я и позабыл. Что ж он сказал?

Иван Петрович. Сказал «гм!» его высокопревосходительство; «это чиновник...»

Александр Иванович. Да, да; «это чиновник», ну, «и... служит у меня». После того разговор не был уже так интересен и начался об обыкновенных вещах.

Иван Петрович. А больше ничего не заговаривал обо мне?

Александр Иванович. Нет.

Иван Петрович(про себя). Ну, покамест еще не много. Господи боже мой! ну что, если бы сказал он: «Такого-то Барсукова, в уважение тех и тех и прочих заслуг его, представляю...»

Те же и Шрейдер (выглядывает в дверь).

Иван Петрович. Войдите, войдите; ничего, пожалуйста сюда. Что, это для доклада?

Шрейдер. Для подписания. Здесь отношение в палату и рапорт управляющему.

Иван Петрович(*между тем читает*). «...Господину управляющему...» Что это значит? у вас поля по краям бумаги неровны. Как же это? Знаете ли, что вас можно посадить под арест?.. (*Устремляет на него глубокомысленный взор.*)

Шрейдер. Я говорил об этом Ивану Ивановичу: он мне сказал, что министр не будет смотреть на эту мелочь.

Иван Петрович. Мелочь! Ивану Ивановичу хорошо так говорить. Я сам то же думаю: министр точно не войдет в это. Ну, а вдруг вздумается?

Шрейдер. Можно переписать; только будет поздно. Но так как изволили сами сказать, что министр не войдет...

Иван Петрович. Так! это все правда. Я с вами совершенно согласен: он не займется эти-

ми пустяками. Ну, а в случае так ему придется: «Дай-ка посмотрю, велико ли место остается для полей?»

Шрейдер. Если так, я сейчас перепишу.

Иван Петрович. То-то «если так». Ведь я с вами говорю и объясняюсь, потому что вы воспитывались в университете. С другим бы я не стал тратить слов.

Шрейдер. Я осмелился только потому, что господин министр...

Иван Петрович. Позвольте, позвольте! Это совершенная истина: я с вами не спорю ни на волос. Так, министр на это никогда не посмотрит и не вспомнит даже про это. Ну а вдруг... Что тогда?

Шрейдер. Я перепишу. *(Уходит.)*

IV

Иван Петрович *(пожимая плечами, оборачивается к Александру Ивановичу)*. Все еще ветер ходит в голове! Порядочный молодой человек, недавно из университета, но вот тут *(показывая на лоб)* нет. Вы себе не можете представить, почтеннейший Александр Иванович, сколько трудов мне стоило привести все это в порядок; посмотрели бы вы, в каком

виде принял я нынешнее место! Вообразите, что ни один канцелярский не умел порядочно буквы написать. Смотришь: иной «къ» перенесет в другую строку; иной в одной строке пишет: «си», а в другой: «ятельство». Словом сказать: это был ужас! столпотворение вавилонское! Теперь возьмите вы бумагу: красиво! хорошо! душа радуется, дух торжествует. А порядок? порядок во всем!

Александр Иванович. Так вам чины, можно сказать, потом и кровью достались.

Иван Петрович (вздыхнув). Именно потом и кровью. Что ж будете делать, ведь у меня такой характер. Чем бы я теперь не был, если бы сам доискивался? У меня бы места на груди не нашлось для орденов. Но что прикажете? не могу! Стороною я буду намекать часто, и экивоки подпускать, но сказать прямо, попросить чего непосредственно для себя... нет, это не мое дело! Другие выигрывают беспрестанно... А у меня уж такой характер: до всего могу унизиться, но до подлости никогда! (Вздыхнувши.) Мне бы теперь одного только хотелось — если б получить хоть орденочек на шею. Не потому, чтобы это слишком занима-

ло, но единственно чтобы видели только внимание ко мне начальства. Я вас буду просить, великодушнейший **Александр Иванович**, этак при случае, натурально мимоходом, намекнуть его высокопревосходительству: что у Барсукова-де в канцелярии такой порядок, какой вы редко где встречали, или что-нибудь подобное.

Александр Иванович. С большим удовольствием, если представится случай...

V

Те же и **Катерина Александровна**, жена Ивана Петровича.

Катерина Александровна (*увидев Александра Ивановича*). А! Александр Иванович! Боже мой, как давно мы не видались! Позабыли меня! Что Наталья Фоминишна?

Александр Иванович. Слава богу! неделю, впрочем, назад было захворала.

Катерина Александровна. Э!

Александр Иванович. В груди под ложечкой сделалась колика и стеснение. Доктор прописал очистительное и припарку из ромашки и нашатыря.

Катерина Александровна. Вы бы попробо-

вали омеопатического средства.

Иван Петрович. Чудно, право, как подумаешь, до чего ни доходит просвещение. Вот ты говоришь, Катерина Александровна, про меопатию. Недавно был я в представлении. Что ж бы вы думали? Мальчишка, росту, как бы вам сказать, вот такого (*показывает рукою*), лет трех, не больше: посмотрели бы вы, как он пляшет на тончайшем канате! Я вас уверяю сурьезно, что дух занимается от страху.

Александр Иванович. Очень хорошо поет Мелас.

Иван Петрович(значительно). Мелас? О да! с большим чувством!

Александр Иванович. Очень хорошо.

Иван Петрович. Заметили ли вы, как она ловко берет вот это?.. (*Вертит рукою перед глазами.*)

Александр Иванович. Именно, это она удивительно хорошо берет. Однако уж скоро два часа.

Иван Петрович. Куда же это вы, Александр Иванович?

Александр Иванович. Пора! Мне нужно еще места в три заехать до обеда.

Иван Петрович. Ну, так до свидания! Когда ж увидимся? Да, я и позабыл: ведь мы завтра у Лукьяна Федосеевича?

Александр Иванович. Непременно. *(Клянется.)*

Катерина Александровна. Прощайте, Александр Иванович!

Александр Иванович*(в лакейской, накидывая шубу).* Не терплю я людей такого рода. Ничего не делает, жиреет только, а прикидывается, что он такой, сякой, и то наделал, и то поправил. Вишь, чего захотел! ордена! И ведь получит, мошенник! получит! Этакие люди всегда успевают. А я? ведь пятью годами старше его по службе и до сих пор не представлен. Какая противная физиономия! И разнежился: ему совсем не хотелось бы, но только для того, чтобы показать внимание начальства. Еще просит, чтобы я замолвил за него! Да, нашел кого просить, голубчик! Я таки тебе удружу порядочно, и ты таки ордена не получишь! не получишь! *(Подтвердительно ударяет несколько раз кулаком по ладони и уходит.)*

Тяжба

I

Кабинет. Пролетов, сенатский обер-секретарь, один сидит в креслах и поминутно икает.

Что это у меня? точно отрыжка! вчерашний обед засел в горле; эти грибки да ботвиньи!.. Ешь, ешь, просто черт знает чего не ешь! *(Икает.)* Вот оно! *(Икает.)* Еще! *(Икает.)* Еще раз! *(Икает.)* Ну, теперь в четвертый! *(Икает.)* Туды к черту, и в четвертый! Прочитать еще «Северную пчелу», что там такое? Надоела мне эта «Северная пчела»: точь-вточь баба, засидевшаяся в девках. *(Читает и вскрикивает.)* Крахманову награда! а? Петрушке Крахманову! Вот каким был мальчишкой *(показывает рукой)*, я поместил сам его кадетом в корпус, а? *(Продолжает читать и вскрикивает, вытирает глаза.)* Что это? что это? Неужели Бурдюков? Да, он, Павел Петрович Бурдюков, произведен! а? каково? Взяточник, два раза был под судом, отец — вор, обокрал казну, гнуснейший человек, какого

только можно представить себе, — каково? И ведь весь свет почитает его за прямодушного человека! Подлец! Говорит: «Дело Бухтелева решено не так, сенат не вникнул», — а? Просто, подлец, узнал, что на мою долю пришлось двадцать тысяч, — так вот зачем не ему! Как собака на сене: ни себе, ни другим. Ну, да я знаю тебя, ступай морочь других, прикидывайся перед другими. Я слышал про тебя кое-что такое. Право, досадно, что заглянул в газету, прочитаешь — чувствуешь тоску, гадость — и больше ничего. Эй, Андрей!

II

Лакей(входя). Чего изволите— с?
Пролетов. Возьми вон эту газету! И к чему, зачем ты принес эту газету? Дурак этакой!

Андрей уносит газету.

Каков Бурдюков, а? Вот кого, не говоря дальних слов, упрятал бы в Камчатку. С большим наслаждением, признаюсь, нагадил бы ему, хоть сию минуту, да вот до сих пор нет да и нет случая. Что прикажешь делать? Разгне-

вался бог. А я бы тебя погладил, мазнул бы тебя по губам. Да уж и губы зато какие! как у вола, у канальи.

Лакей. Бурдюков приехал.

Пролетов. Что?

Лакей. Бурдюков приехал.

Пролетов. Что ты вздор несешь!

Лакей. Так точно-с.

Пролетов. Врешь ты, дурак! Бурдюков, кому мне? Павел Петрович Бурдюков!

Лакей. Нет, не Павел Петрович, а другой какой-то.

Пролетов. Какой другой?

Лакей. Да вот извольте сами видеть: он здесь.

Пролетов. Проси.

III

Пролетов и Христофор Петрович Бурдюков.

Бурдюков. Прошу извинить за беспокойство, что наношу вам. Обстоятельства и дела понудили оставить городишку. Приехал просить личной помощи, заступничества.

Пролетов(в сторону). Это, точно, другой; а есть, однако же, какое-то сходство. *(Вслух.)*

Что прикажете? в чем могу быть вам полезным?

Бурдюков(с пожатием плеч). Дело, тяжба!

Пролетов. Тяжба? с кем?

Бурдюков. С родным братом.

Пролетов. Прежде позвольте узнать фамилию, а потом изъясните свое дело. Прошу покорно садиться.

Бурдюков. Фамилия: Бурдюков, Христофор Петров сын, а дело с родным братом, Павлом Петровым Бурдюковым.

Пролетов. Что вы!! Что? нет!

Бурдюков. Да что ж вы на меня уставили глаза? Или думаете, я бы захотел оставлять напрасно Тамбов и скакать на почтовых?

Пролетов. Господи благослови вас за такое доброе дело! Позвольте с вами покороче познакомиться. Умнее этого дела вы не могли никогда бы придумать. Вот рассказывай теперь, что нет великодушия и справедливости! А это что же? Ведь вот родной брат, узы крови, связи, а ведь не пощадил! На брата — процесс! Позвольте вас обнять.

Бурдюков. Извольте! я сам обниму вас за такую готовность.

Обнимаются.

А прежде, признаюсь, взглянувши на вашу физиогномию, никак нельзя было думать, чтобы вы были путный человек.

Пролетов. Вот тебе раз! Как так?

Бурдюков. Да сурьезно. Позвольте спросить: верно, покойница матушка ваша, когда была брюхата вами, перепугалась чего-нибудь?

Пролетов. Что за чепуху несет он?

Бурдюков. Нет, я вам скажу, вы не будьте в претензии, это очень часто случается. Вот у нашего заседателя вся нижняя часть лица баранья, так сказать, как будто отрезана, и поросла шерстью, совершенно как у барана. А ведь от незначительного обстоятельства: когда покойница рожала, подойди к окну баран и нелегкая подстрекни его заблеять.

Пролетов. Ну, оставим в покое заседателя и барана. Как же я рад!

Бурдюков. А уж я как рад, приобретши такое покровительство! Теперь только, как начинаю всматриваться в вас, вижу, что лицо

ваше как будто знакомо: у нас в карабинерном полку был поручик, вот как две капли воды похож на вас! Пьяница страшнейший! то есть я вам скажу, что дня не проходило, чтобы у него рожа не была разбита.

Пролетов(в сторону). У этого уездного медведя, как видно, нет совсем обычая держать язык за зубами. Вся дрянь, какая ни есть на душе, — у него на языке. (Вслух.) Времени у меня немного; пожалуйста, приступим же к делу.

Бурдюков. Позвольте, сидя не расскажешь. Это дело казусное! Знали ли в Устюжском уезде помещицу Евдокию Малафеевну Жеребцову? не знали? хорошо. Она доводится родной теткой мне и бестии моему брату. У ней ближайшими наследниками я да брат — изволите видеть: вот оно куды пошло! Кроме того, еще сестра, что вышла за генерала Повалищева; ну, о той ни слова, та и без того получила следуемую ей часть. Позвольте: вот этот мошенник, брат, — он на это хоть черту в дядьки годится, — вот и подъехал он к ней: «Вы-де, тетушка, уже прожили, слава богу, семьдесят лет; где уже вам в таких преклон-

ных летах мешаться самим в хозяйство: пусть лучше я буду приберегать и кормить». Вона! замечайте, замечайте! Переехал к ней в дом, живет и распоряжается как настоящий хозяин. Да вы слышите ли это?

Пролетов. Слышу.

Бурдюков. То-то! Да. Вот занемогает тетушка, отчего — бог знает: может быть, он сам и подсунул ей чего-нибудь. Мне дают уже знать стороною. Замечайте! Приезжаю: в сених встречает меня эта бестия, то есть брат, в слезах, так весь и заливаается, и растаял, и говорит: «Ну, говорит, братец, навеки мы несчастны с тобою: благодетельница наша...» — «Что, отдала богу душу?» — «Нет, при смерти». Я вхожу — и точно, тетушка лежит на карачках и только глазами хлопает. Ну что ж? плакать? Не поможет. Ведь не поможет?

Пролетов. Не поможет.

Бурдюков. Ну что ж? нечего делать! так, видно, богу угодно! Я приступил поближе. «Ну, говорю, тетушка, мы все смертны, один бог, как говорят, не сегодня, так завтра властен в нашей жизни: так не угодно ли вам заблаговременно сделать какое-нибудь распо-

ряжение?» Что ж тетушка? Я вижу, не может уже языком поворотить, и только сказала: «э... э... э...» А эта шельма, что стоял возле кровати ее, брат, говорит: «Тетушка сим изъясняет, что она уже распорядилась». Слышите, слышите?

Пролетов. Как же! да ведь она разве сказала это?

Бурдюков. Кой черт сказала! Она сказала только: «э... э... э...» Я все подступаю: «Но позвольте же узнать, тетушка, какое же это распоряжение?» Что ж тетушка? Тетушка опять отвечает: «э, э, э». А тот подлец опять: «Тетушка говорит, что все распоряжение по этой части находится в духовном завещании». Слышите? слышите? Что ж мне было делать? я замолчал и не сказал ни слова.

Пролетов. Однако ж позвольте: как же вы не уличили тут же их во лжи?

Бурдюков. Что ж? *(Размахивает руками.)* Стали божиться, что она, точно, все это говорила. Ну ведь... и поверил.

Пролетов. А духовное завещание распечатали?

Бурдюков. Распечатали.

Пролетов. Что ж?

Бурдюков. А вот что. Как только все это, как следует, христианским долгом было отправлено, я и говорю, что не пора ли прочесть волю умершей. Брат ничего и говорить не может: страданья, отчаянья такие, что люли только! «Возьмите, говорит, читайте сами». Собрались свидетели и прочитали. Как же бы вы думали было написано завещание? А вот как: «Племяннику моему, Павлу Петрову сыну Бурдюкову, — слушайте! — в возмездие его сыновних попечений и неотлучного себя при мне обретения до смерти, — замечайте! замечайте! — оставляю во владение родовое и благоприобретенное имение мое в Устюжском уезде... — вона! вона! вона куды пошло! — пятьсот ревизских душ, угодыя и прочее». А? слышите ли вы это? «Племяннице моей, Марии Петровой дочери Повалищевой, урожденной Бурдюковой, оставляю следующую ей деревню изо ста душ. Племяннику, — вона! замечайте! вот тут настоящий типун! — Хрисанфию сыну Петрову Бурдюкову, — слушайте, слушайте! — на память обо мне... — ого! го! — завещаю: три штаметовые юбки и

всю рухлядь, находящуюся в амбаре, как-то: пуховика два, посуду фаянсовую, простыни, чепцы», и там черт знает еще какое тряпье! А? как вам кажется? Я спрашиваю: на кой черт мне штаметовые юбки?

Пролетов. Ах он мошенник этакой! Прошу покорно!

Бурдюков. Мошенничество — это так, я с вами согласен; но спрашиваю я вас: на что мне штаметовые юбки? Что я с ними буду делать? разве себе на голову надену?

Пролетов. И свидетели подписались при этом?

Бурдюков. Как же, набрал какой-то сволочи.

Пролетов. А покойница собственноручно подписалась?

Бурдюков. Вот то-то и есть, что подписалась, да черт знает как!

Пролетов. Как?

Бурдюков. А вот как: покойницу звали Евдокия, а она нацарапала такую дрянь, что разобрать нельзя.

Пролетов. Как так?

Бурдюков. Черт знает что такое: ей нужно

было написать: «Евдокия», — а она написала: «Обмокни».

Пролетов. Что вы!

Бурдюков. О, я вам скажу, что он горазд на все. «А племяннику моему Хрисанфию Петрову три штаметовые юбки»!

Пролетов(в сторону). Молодец, однако ж, Павел Петрович Бурдюков; я бы никак не мог думать, чтобы он ухитрился так!

Бурдюков(размахивая руками). «Обмокни»! что ж это значит? Ведь это не имя «Обмокни»?

Пролетов. Как же вы намерены поступить теперь?

Бурдюков. Я подал уже прошение об уничтожении завещания, потому что подпись ложная. Пусть они не врут: покойницу звали Евдокией, а не «Обмокни».

Пролетов. И хорошо! Позвольте теперь мне за все это взяться. Я сейчас напишу записку к одному знакомому секретарю, а вы между тем доставьте мне копию с завещания вашего.

Бурдюков. Несказанно обязан вам! *(Берется за шапку.)* А в которые двери нужно выхо-

дить — в те или в эти?

Пролетов. Пожалуйте в эти.

Бурдюков. То-то. Я потому спросил, что мне нужно еще будет по своей надобности. До свидания, почтеннейший. Как вас? Я все позабываю!

Пролетов. Александр Иванович.

Бурдюков. Александр Иванович! >Александр Иванович есть Прольдюковский, вы не знакомы с ним?

Пролетов. Нет.

Бурдюков. Он еще живет в пяти верстах от моей деревни. Прощайте!

Пролетов. Прощайте, почтеннейший, прощайте!

IV

Пролетов, потом слуга.

Вот неожиданный клад! вот подарок! Просто бог на шапку послал. Странно сказать, а по душе чувствуешь такое какое-то эдакое неизъяснимое удовольствие, как будто или жена в первый раз сына родила, или министр поцеловал тебя при всех чиновниках в полном присутствии. Ей-богу! эдакое магнетическое какое-то! Эй, Андрей! ступай сейчас к мо-

ему секретарю и проси его сюда. Слышишь? Да постой: вот тебе на водку, напейся пьян как стелька, — для сегодняшнего дня я тебе позволяю; а вот еще сыну на пряники. Да скажи секретарю, чтобы — сейчас, самонужнейшее дело. А, наконец-таки, насили! и на нашу улицу пришло веселье! Постой же, теперь я сяду играть, да и посмотрим, как ты будешь подплясывать. А уж коли из сенатских музыкантов наберу оркестр, так ты у меня так запляшешь, что во всю жизнь не отдохнут у тебя бока.

Лакейская

I

Театр представляет переднюю. Направо дверь на лестницу, налево — в зал. На заднем занавесе дверь, несколько сбоку — в кабинет. До самых дверей во всю стену длинная скамья. **Петр, Иван и Григорий** сидят на ней и спят, уткнувши головы один другому в плечо. В дверях с лестницы звенит громкий звонок. Лакеи пробуждаются.

Григорий. Ступай отвори дверь! звонят!

Петр. Да ты что сидишь? На ногах у тебя пузыри, что ли? встать не можешь?

Иван(махнув рукой). Ну, уж я пойду, так и быть, отворю! *(Отворяя дверь, вскрикивает.)* Это Андрюшка!

Чужой слуга входит в картузе, в шинели и с узелком в руке.

Григорий. А, московская ворона! Откуда тебя принесло?

Чужой слуга. Ах ты, чухонский сын! Побе-

гал бы ты с мое. Вон (*подымая узелок*) к цветочнице велела снести, что на Петербургской. Небось четвертака на извозчика не даст. Да и к вашему тож. Что, спит?

Григорий. Кто? медведь? Нет, еще не рычал из берлоги.

Петр. Правда ли, что барыня ваша дает вам чулки штопать?

Все смеются.

Григорий. Ну, уж ты, брат, будь теперь штопальница. Уж мы так и звать тебя будем.

Чужой лакей. Врешь, а вот же и не штопал никогда.

Петр. Да ведь у вас известно: дворовый человек до обеда повар, а после обеда уж он кучер, или лакей, или башмаки шьет.

Чужой лакей. Ну так что ж, ремесло другому не помешает. Не сидеть же без дела. Конечно, я и лакей, да и женский портной вместе. И на барыню шью, и на других тоже — копейку добываю. А вы что, ведь вот ничего ж не делаете.

Григорий. Нет, брат, у хорошего барина ла-

кея не займут работой, на то есть мастеровой. Вон у графа Булкина — тридцать, брат, человек слуг одних; и уж там, брат, нельзя так: «Эй, Петрушка, сходи-ка туды». — «Нет, мол, скажет, это не мое дело; извольте-с приказать Ивану». Вон оно как! Вот оно что значит, если барин хочет жить как барин. А вон ваша пугалица из Москвы приехала — коляска-то орех раскушенный, веревками хвосты лошадям позавязаны.

Смеются.

Чужой лакей. Ну ты, смехун, смехун! Что ж из того, что лежишь весь день? Ведь за то ж ни копейки за душой у тебя нет.

Григорий. Да на что ж мне твоя копейка? а барин-то зачем? Ведь жалованье-то уж он мне выдаст, хоть я работай или не работай. А копить мне на старость зачем? Что ж за барин, коли уж пенсионера слуге не выдаст за службу?

Чужой лакей. Что? говорят, ребята бал затеяли?

Петр. Да. А ты будешь?

Чужой лакей. Да ведь что ж этот бал! только, чай, слава, что бал.

Григорий. Нет, брат, бал будет на всю руку. По целковому жертвуют и больше. Княжой повар дал пять рублей и сам берется стол готовить. Угощенье будет не то что орехи: уж полпуда конфект купили, мороженого тоже...

Слышен тоненький звонок из барского кабинета.

Чужой лакей. Ступай, звонит барин.

Григорий. Подождет... Лиминацию тоже зажгут. Музыка торговали, только не сошлись — баса нет, а то уж было...

Слышен звонок из кабинета громче прежнего.

Чужой лакей. Ступай, ступай! звонит.

Григорий. Подождет. Ну, ты сколько даешь?

Чужой лакей. Да ведь что ж этот бал, ведь это всё так.

Григорий. Ну, развязывай мошну, ты, што-

пальница! Вон смотри, Петрушка на него, какой он...

Тыкает на него пальцем; в это время отворяется дверь кабинета, и барин, в халате, протянувши руку, схватывает Григория за ухо. Все поднимаются с своих мест.

II

Барин. Что вы, бездельники? Три человека — и хоть бы один поднялся с своего места! Я звоню что есть мочи, чуть тесьмы не оборвал.

Григорий. Да ничего не было слышно, сударь.

Барин. Врешь!

Григорий. Ей-богу! Что ж мне лгать? Вот Петрушка тоже сидел. Уж это такой колокольник, судырь, никуды не годится: никогда ничего не слышать. Нужно будет слесаря позвать.

Барин. Ну, так позвать слесаря.

Григорий. Да я уж сказывал дворецкому. Да ведь что ж? Ему говоришь, а ведь он еще и выберанил за это.

Барин(увидя чужого лакея). Это что за че-

ловек?

Григорий. Это-с человек от Анны Петровны, зачем-то пришел к вам.

Барин. Что скажешь, брат?

Чужой лакей. Барыня приказала кланяться и доложить, что будут сегодня к вам.

Барин. Зачем, не знаешь?

Чужой лакей. Не могу знать. Они только сказали: «Скажи Федору Федоровичу, что я приказала кланяться и буду к ним».

Барин. Да когда, в котором часу?

Чужой лакей. Не могу знать, в котором часу. Они сказали только, что доложи-де, говорит, Федору Федоровичу, что я, говорит, к ним сама-де буду у них-с...

Барин. Хорошо. Петрушка, дай мне поскорей одеться: я иду со двора. А вы — не принимать никого! Слышишь, всем говорить, что меня нет дома! (*Уходит; за ним Петрушка.*)

III

Чужой лакей(*Григорию*). Ну видишь, ведь вот и досталось.

Григорий(*махнув рукой*). А! уж служба такая! как ни старайся — всё выбранят.

В дверях, что у лестницы, раздается звонок.

Вот опять какой-то черт лезет. (*Ивану.*)
Ступай отворяй, что ж ты зеваешь?

Иван отворяет дверь; входит **господин в шубе**.

IV

Господин в шубе. Федор Федорович дома?

Григорий. Никак нет.

Господин. Досадно. Не знаешь, куда уехал?

Григорий. Неизвестно. Должно быть, в департамент. А как об вас доложить?

Господин. Скажи, что был Невелецагин. Очень, мол, жалел, что не застал дома. Слышишь? не позабудешь? Невелецагин.

Григорий. Лентягин-с.

Господин(*вразумительнее*). Невелецагин.

Григорий. Да вы немец?

Господин. Какой немец! просто русский:
Не-ве-ле-ща-гин.

Григорий. Слышь, Иван, не позабудь: Ердцагин!

Господин уходит.

Чужой лакей. Прощайте, братцы, пора уж и мне.

Григорий. Да что ж — на бал будешь, что ли?

Чужой лакей. Ну, да уж там посмотрю после. Прощай, Иван!

Иван. Прощай! *(Идет отворять дверь.)*

VI

Горничная девушка, бежит бегом через лакейскую.

Григорий. Куды, куды! удостойте взглядом! *(Хватает ее за полу платья.)*

Девушка. Нельзя, нельзя, Григорий Павлович! не держите меня, совсем-с некогда. *(Вырывается и убегает в дверь на лестницу.)*

Григорий*(смотря вслед ей).* Вот она, как поплелась! *(Смеется.)* Хе, хе, хе!

Иван*(смеется).* Хи, хи, хи!

Выходит **барин.** Рожи у Григория и Ивана вдруг становятся насупившись и сурьезны. Григорий снимает с вешалки шубу и накиды-

вает барину на плечи. Барин уходит.

Григорий (*стоит среди комнаты, чистит пальцем в носу*). Ведь вот свободное время. Барин ушел, чего бы, кажется, лучше, — нет, сейчас привалит этот черт, брюхач — дворецкий.

За сценой слышен крик **дворецкого**: «Ведь вот, точно, божеское наказание: десять человек в доме и хоть бы один что-нибудь прибрал».

Вон уж, пошел кричать толстобрюхий.

VII

Пузатый дворецкий (*входит с сильными движениями и размахами рук*). Побоялись бы хоть совести своей,) коли бога не боитесь. Ведь ковры до сих пор не выколочены. Вы бы, Григорий Павлович, пример другим должны бы дать, а вы спите ровно от утра до вечера; ведь глаза-то у вас совсем заплыли от сна, ей-богу! Ведь вы совсем подлец после этого, Григорий Павлович.

Григорий. Да что ж? нешто я не человек, что уж и заснуть нельзя?

Дворецкий. Да кто ж против этого и слово говорит? Почему ж не заснуть? Но ведь не весь же день спать. Ну, вот хоть бы и ты, Петр Иванович! ведь ты, не говоря дурного слова, на свинью похож, ей-богу! Ведь что тебе работы? всего два, три каких-нибудь подсвечника вычистить. Ну, зачем ты тут баишься?

Петр медленно уходит.

А тебе, Ванька, просто толчка в затылок следует.

Григорий(уходя). Эх ты, житье, житье! вставши да за вытье!

Дворецкий(оставшись один). В том-то и есть поведенье, что всякий человек должен знать долг. Коли слуга, так слуга, дворянин, так дворянин, архиерей, так архиерей. А то бы, пожалуй, всякий зачал... я бы сейчас сказал: «Нет, я не дворецкий, а губернатор или там какой-нибудь от инфантерии». Да ведь за то мне всякий бы сказал: «Нет, врешь, ты дворецкий, а не генерал», — вот что! «Твоя обязанность смотреть за домом, за поведением слуг», — вот что! «Тебе не то, что бон жур, ко-

ман ву франсе, а веди порядок, распоряже-
нье», — вот что! Да.

VIII

Входит **Аннушка**, горничная девушка из
другого дома.

Дворецкий. А! Анна Гавриловна! Насчет
моего почтения с большим удовольствием
вас вижу.

Аннушка. Не беспокойтесь, Лаврентий
Павлович! Я нарочно зашла к вам на минуту:
я встретила карету вашего барина и узнала,
что его нет дома.

Дворецкий. И очень хорошо сделали, я и
жена будем очень рады. Пожалуйте, садитесь.

Аннушка(севши). Скажите, ведь вы знаете
что-нибудь о бале, который на днях затевает-
ся?

Дворецкий. Как же. Оно примерно, вот из-
волите видеть, складчина. Один человек, дру-
гой, примерно также сказать, третий. Конеч-
но, это, впрочем, составит большую сумму. Я
пожертвовал вместе с женою пять рублей. Ну,
натурально, бал, или, что обыкновенно гово-
рится, вечеринка. Конечно, будет угощение,

примерно сказать, прохладительное. Для молодых людей танцы и тому прочие подобные удовольствия.

Аннушка. Непременно, непременно буду! Я только зашла затем, чтобы узнать, будете ли вы вместе с Агафьей Ивановной.

Дворецкий. Уж Агафья Ивановна только и говорит все что о вас.

Аннушка. Я боюсь только насчет общества.

Дворецкий. Нет, Анна Гавриловна, у нас будет общество хорошее. Не могу сказать наверно, но слышал, что будет камердинер графа Толстого, буфетчик и кучера князя Брюховецкого, горничная какой-то княгини... я думаю, тоже чиновники некоторые будут.

Аннушка. Одно только мне очень не нравится, что будут кучера. От них всегда запах простого табаку или водки; притом же все они такие необразованные, невежи.

Дворецкий. Позвольте вам доложить, Анна Гавриловна, что кучера кучерам рознь. Оно конечно, так как кучера, по обыкновению больше своему, находятся неотлучно при лошадях, иногда подчищают, с позволения

сказать, кал; конечно, человек простой, выпьет стакан водки или, по недостаточности больше, выкурит обыкновенного бакуну, какой большею частию простой народ употребляет; да, так оно натурально, что от него иногда, примерно сказать, воняет навозом или водкой; конечно, все это так; да, однако ж, согласитесь сами, Анна Гавриловна, что есть и такие кучера, которые хотя и кучера, однако ж, по обыкновению своему, больше, примерно сказать, конюхи, нежели кучера. Их должность, или, так выразиться, дирекция, состоит в том, чтобы отпустить овес или укорить в чем, если провинился фореитор или кучер.

Аннушка. Как вы хорошо говорите, Лаврентий Павлович! я всегда вас заслушиваюсь.

Дворецкий(с довольною улыбкою). Не стоит благодарности, сударыня. Оно конечно, не всякий человек имеет, примерно сказать, речь, то есть дар слова. Натурально, бывает иногда... что, как обыкновенно говорят, косноязычие... Да. Или иные прочие подобные случаи, что, впрочем, уже происходит от натуры... Да не угодно ли вам пожаловать в мою комнату?

Аннушка идет. Лаврентий за нею.

Отрывок

Комната в доме Марьи Александровны.
I.

Марья Александровна, пожилых лет дама, и Михал Андреевич, ее сын.

Марья Александровна. Слушай, Миша, я давно хотела с тобою переговорить: тебе должно переменить службу.

Миша. Пожалуй, хоть завтра же.

Марья Александровна. Ты должен служить в военной.

Миша (вытаращив глаза). В военной?

Марья Александровна. Да.

Миша. Что вы, маменька? в военной?

Марья Александровна. Ну, что ж ты так изумился?

Миша. Помилуйте, да разве вы не знаете: ведь нужно начинать с юнкеров?

Марья Александровна. Ну да, послужишь год юнкером, а потом произведут в офицеры, уж это мое дело.

Миша. Да что вы нашли во мне военного?

и фигура моя совершенно не военная. Подумайте, матушка, право, вы меня изумили такими словами совершенно, так что я, я, я просто не знаю, что́ и подумать: я, слава богу, и толстенок немножко, а как надену юнкерский мундир с короткими хвостиками, — совестно даже будет смотреть.

Марья Александровна. Нет нужды. Произведут в офицеры, будешь носить мундир с длинными фалдами и совершенно закроешь толщину свою, так что ничего не будет заметно. Притом это и лучше, что ты немножко толст — скорее пойдет производство: им же будет совестно, что у них в полку такой толстый прапорщик.

Миша. Но, матушка, ведь мне год, всего год осталось до коллежского асессора. Я уже два года, как в чине титулярного советника.

Марья Александровна. Перестань, перестань! Это слово «титулярный» тиранит мои уши; мне так и приходит на ум бог знает что. Я хочу, чтобы сын мой служил в гвардии. На штафирку, просто, не могу и смотреть теперь.

Миша. Но посудите, матушка, рассмотрите меня хорошенько и наружность мою также:

меня еще в школе звали хомяком. В военной службе всё же нужно, чтобы и на лошади лихо ездил, и голос бы имел звонкий, и рост бы имел богатырский, и талию.

Марья Александровна. Приобретешь, всё приобретешь. Я хочу, чтобы ты непременно служил; на это есть очень, важная причина.

Миша. Да какая же причина?

Марья Александровна. Ну, уж причина важная.

Миша. Всё же таки скажите, какая причина?

Марья Александровна. Такая причина... я не знаю даже, поймешь ли ты хорошенько. Губомазова, эта дура, третьего дни у Рогожинских говорит, и нарочно так, чтобы я слышала. А я сижу третьего, передо мной Софи Вотрушкова, княгиня Александрина и за княгиней Александриной сейчас я. Что бы ты думал эта негодная осмелилась говорить?.. Я, право, так и хотела встать с места и, если б не княгиня Александрина, я бы, не знаю, что я сделала. Говорит: «Я очень рада, что на придворных балах не пускают штатских. Это такие все», говорит, «mauvais genre, чем-то

неблагородным от них отзывается. Я рада», говорит, «что мой Алексис не носит этого скверного фрака». — И всё это произнесла с таким жеманством, с таким тоном... так право... я не знаю, что бы я сделала с нею. А ее сын просто дурак набитый: только всего и умеет, что подымать ногу. Такая противная мерзавка!

Миша. Как, матушка, так в этом вся причина?

Марья Александровна. Да, я хочу на зло, чтобы мой сын тоже служил в гвардии и был бы на всех придворных балах.

Миша. Помилуйте, матушка, из того только, что она дура...

Марья Александровна. Нет, уж я решилась. Пусть-ка она себе треснет с досады, пусть побесится.

Миша. Однакож...

Марья Александровна. О! я ей покажу! Уж как она хочет, я употреблю все старанья, и мой сын будет тоже в гвардии. Уж хоть чрез это и потеряет, а уж непременно будет. Чтобы я позволила всякой мерзавке дуться передо мною и подымать и без того курносый нос

свой! Нет уж, вот этого-то никогда не будет! Уж как вы себе хотите, Наталья Андреевна!

Миша. Да разве этим ей досадите?

Марья Александровна. О! уж этого-то не позволю!

Миша. Если вы это требуете, маменька, я перейду в военную; только, право, мне самому будет смешно, когда увижу себя в мундире.

Марья Александровна. Уж, по крайней мере, гораздо благороднее этого фрачишки. Теперь второе: я хочу женить тебя.

Миша. За одним разом и переменить службу и женить?

Марья Александровна. Что же? Как будто нельзя и переменить службу и женить?

Миша. Да ведь я и намеренья еще не имел. Я еще не хочу жениться.

Марья Александровна. Захочешь, если только узнаешь, на ком. Этой женитьбой доставишь ты себе счастье и в службе и в семейственной жизни. Словом, я хочу женить тебя на княжне Шлепохвостовой.

Миша. Да ведь она, матушка, дура перво-классная.

Марья Александровна. Вовсе не перво-классная, а такая же, как и все другие. Прекрасная девушка, вот только что памяти нет; иной раз забывается, скажет невпопад; но это от рассеянности, а уж зато вовсе не сплетница и никогда ничего дурного не выдумает.

Миша. Помилуйте, куды ей сплетничать! Она насилу слово может связать, да и то такое, что только руки расставишь, как услышишь. Вы знаете сами, матушка, что женитьба дело сердечное, нужно, чтобы душа...

Марья Александровна. Ну, так! я вот как будто предчувствовала. Послушай, перестань либеральничать. Тебе это не пристало, не пристало, я тебе двадцать раз уже говорила. Другому еще это идет как-то, а тебе совсем не идет.

Миша. Ах, маменька, но когда и в чем я был не послушен вам? Мне уже скоро тридцать лет, а между тем я, как дитя, покорен вам во всем. Вы мне велите ехать туды, куды бы мне смерть не хотелось ехать — и я еду, не показывая даже и вида, что мне это тяжело. Вы мне приказываете потереться в передней такого-то — и я трусь в передней такого-то,

хоть мне это вовсе не по сердцу. Вы мне велите танцевать на балах — и я танцую, хоть все надо мною смеются и над моей фигурой. Вы, наконец, велите мне переменить службу — и я переменяю службу, в тридцать лет иду в юнкера; в тридцать лет я перерождаюсь в ребенка, в угодность вам, и при всем том вы мне всякий день колете глаза либеральничеством. Не пройдет минуты, чтобы вы меня не назвали либералом. Послушайте, матушка, это больно, клянусь вам, это больно. Я достоин за мою искреннюю любовь и привязанность к вам лучшей участи...

Марья Александровна. Пожалуйста, не говори этого! Будто я не знаю, что ты либерал, и знаю даже, кто тебе всё это внушает: всё этот скверный Собачкин.

Миша. Нет, матушка, это уж слишком, чтобы Собачкина я даже стал слушаться. Собачкин мерзавец, картежник и всё, что вы хотите. Но тут он невинен. Я никогда не позволю ему надо мною иметь и тени влияния.

Марья Александровна. Ах, боже мой, какой ужасный человек! я испугалась, когда его узнала. Без правил, без добродетели — какой

гнусный, какой гнусный человек! Если б ты знал, что такое он разнес про меня!.. Я три месяца не могла никуда носа показать: что у меня подают сальные огарки; что у меня по целым неделям не вытираются в комнате ковры щеткою; что я выехала на гулянье в упряжи из простых веревок на извозчичьих хомутах... Я вся краснела, я более недели была больна; я не знаю, как я могла перенести всё это. Подлинно, одна вера в провидение подкрепила меня.

Миша. И этакой человек, вы думаете, может иметь надо мною власть? и думаете, я позволю?..

Марья Александровна. Я сказала, чтоб он не смел мне на глаза показываться, и ты одним только можешь оправдать себя, когда без всякого упорства сделаешь княжне déclaration сегодня же.

Миша. Но, матушка, а если нельзя это сделать?

Марья Александровна. Как нельзя? это почему?

Миша (в сторону). Ну, решительная минута!.. *(Вслух).* Позвольте мне хотя здесь иметь

свой голос, хотя в деле, от которого зависит счастье моей будущей жизни. Вы не спросили еще меня... ну, если я влюблен в другую?

Марья Александровна. Это, признаюсь, для меня новость. Об этом я еще ничего не слышала. Да кто ж такая эта другая?

Миша. Ах, маменька, клянусь, никогда еще не было подобной — ангел, ангел и лицом и душою.

Марья Александровна. Да чьих она, кто отец ее?

Миша. Отец — Александр Александрович Одосимов.

Марья Александровна. Одосимов? фамилия не слышная! Я ничего не знаю про Одосимова... да что он, богатый человек?

Миша. Редкий человек, удивительный человек.

Марья Александровна. И богатый?

Миша. Как вам сказать? Нужно, чтобы вы его видели. Таких достоинств души не сыщешь в свете.

Марья Александровна. Да что он, как, в чем состоит его чин, имущество?

Миша. Я понимаю, маменька, чего вы хо-

тите. Позвольте мне на счет этот сказать откровенно мои мысли. Ведь теперь, как бы то ни было, может быть, во всей России нет жениха, который бы не искал богатой невесты. Всякий хочет поправиться на счет женина приданого. Ну, пусть еще в некотором отношении это извинительно: я понимаю, что бедный человек, которому не повезло по службе или в чем другом, которому, может быть, излишняя честность помешала составить состояние, словом, что бы то ни было, но я понимаю, что он вправе искать богатой невесты и, может быть, несправедливы бы были родители, если б не отдали должного его достоинствам и не выдали бы за него дочери. Но вы посудите, справедлив ли человек богатый, который будет искать тоже богатых невест, — что ж будет тогда на свете? Ведь это всё равно, что сверх шубы да надеть шинель, когда и без того жарко, когда эта шинель, может быть, прикрыла бы чьи-нибудь плечи. Нет, маменька, это несправедливо. Отец пожертвовал всем имуществом на воспитанье дочери.

Марья Александровна. Довольно, довольно!

Больше я не в силах слушать. Всё знаю, всё: влюбился в потаскушку, дочь какого-нибудь фурьера, которая занимается, может, публичным ремеслом.

Миша. Матушка...

Марья Александровна. Отец пьяница, мать стряпуха, родня — кварташки или служащие по питейной части... и я должна всё это слышать, всё это терпеть, терпеть от родного сына, для которого я не щадила жизни!.. Нет, я не переживу этого!

Миша. Но, матушка, позвольте...

Марья Александровна. Боже мой, какая теперь нравственность у молодых людей! Нет, я не переживу этого, клянусь, не переживу этого... Ах! что это? у меня закружилась голова! *(Вскрикивает).* Ах, в боку колика!.. Машка, Машка, склянку!.. Я не знаю, проживу ли я до вечера. Жестокий сын!

Миша (бросаясь). Матушка, успокойтесь. Вы сами создаете для себя...

Марья Александровна. И всё это наделал этот скверный Собачкин. Я не знаю, как не выгонят до сих пор эту чуму.

Лакей (в дверях). Собачкин приехал.

Марья Александровна. Как! Собачкин? Отказать, отказать, чтоб его и духу здесь не было.

II.

Те же и Собачкин.

Собачкин. Марья Александровна! извините великодушно, что так давно не был. Ей богу, никак не мог! Поверить не можете, сколько дел; знал, что будете гневаться, право знал... (*Увидя Мишу*). Здравствуй, брат! Как ты?

Марья Александровна (в сторону). У меня, просто, слов не достает! Каков? Еще извиняется, что давно не был!

Собачкин. Как я рад, что вы, судя по лицу, так свежи и здоровы. А братца вашего как здоровье? Я полагал, признаюсь, и его также застать у вас.

Марья Александровна. Для этого вы бы могли отправиться к нему, а не ко мне.

Собачкин (усмехаясь). Я приехал рассказать вам один преинтересный анекдот.

Марья Александровна. Я не охотница до анекдотов.

Собачкин. Об Наталье Андреевне Губомазовой.

Марья Александровна. Как, об Губомазовой !.. (Стараясь скрыть любопытство). Так это, верно, недавно случилось?

Собачкин. На днях.

Марья Александровна. Что ж такое?

Собачкин. Знаете ли, что она сама сечет своих девок?

Марья Александровна. Нет! что вы говорите? Ах, какой страм! можно ли это?

Собачкин. Вот вам крест! Позвольте же рассказать. Только один раз велит она виноватой девушке лечь, как следует, на кровать, а сама пошла в другую комнату, не помню, за чем-то, кажется, за розгами. В это время девушка за чем-то выходит из комнаты, а на место ее приходит Наталья Андреевны муж, ложится и засыпает. Является Наталья Андреевна, как следует, с розгами, велит одной девушке сесть ему на ноги, накрыла простыней и высекла мужа.

Марья Александровна (всплеснув руками). Ах, боже мой, какой страм! Как это до сих пор я ничего об этом не знала? Я вам скажу, что я почти всегда была уверена, что она в состоянии это сделать.

Собачкин. Натурально. Я это говорил всему свету. Толкуют: «Примерная жена, сидит дома, занимается воспитанием детей, сама учит по-аглицки!» Какое воспитанье! Сечет всякий день мужа, как кошку!.. Как мне жаль, право, что я не могу пробыть у вас подолее (*раскладывается*).

Марья Александровна. Куда ж это вы, Андрей Кондратьевич? Не совестно ли вам, столько времени у меня не бывши... Я всегда привыкла вас видеть, как друга дома: останьтесь! Мне хотелось еще с вами переговорить кое о чем. Послушай, Миша, у меня в комнате дожидается каретник; пожалуйста, переговори с ним. Спроси, возьмется ли он переделать карету к первому числу. Цвет чтобы был голубой с светлой уборкой, на манер кареты Губомазовой.

(Миша уходит).

Марья Александровна. Я нарочно услала сына, чтобы переговорить с вами наедине. Скажите, вы, верно, знаете: есть какой-то Александр Александрович Одосимов?

Собачкин. Одосимов?.. Одосимов... Одосимов... Знаю, есть где-то Одосимов; а, впрочем,

я могу справиться.

Марья Александровна. Пожалуйста.

Собачкин. Помню, помню, есть Одосимов столоначальник или начальник отделения... точно есть.

Марья Александровна. Вообразите, вышла одна смешная история... Вы мне можете сделать большое одолжение.

Собачкин. Вам стоит только приказать. Для вас я готов на всё: вы сами это знаете.

Марья Александровна. Вот в чем дело: мой сын влюбился, или, лучше, не влюбился, а просто зашло в голову сумасбродство... Ну, молодой человек... Словом, он бредит дочерью этого Одосимова.

Собачкин. Бредит? А однакож, он мне ничего об этом не сказал. Да впрочем, конечно, бредит, если вы говорите.

Марья Александровна. Я хочу от вас, Андрей Кондратьевич, большой услуги: вы, я знаю, нравитесь женщинам.

Собачкин. Хе, хе, хе! Да вы почему это думаете? А ведь точно, вообразите: на масляной шесть купчих... может быть, вы думаете, что я с своей стороны как-нибудь волочился или

что-нибудь другое... Клянусь, даже не посмотрел! Да вот еще лучше: вы знаете того, как бишь его, Ермолай, Ермолай... Ах боже, Ермолай, вот что жил на Литейной недалеко от Кирочной?

Марья Александровна. Не знаю там никого.

Собачкин. Ах, боже мой, Ермолай Иванович, кажется, вот хоть убей, позабыл фамилию. Еще жена его, лет пять тому назад, попала в историю. Ну, да вы знаете её, Сильфида Петровна.

Марья Александровна. Совсем нет; не знаю я никакого ни Ермолая Ивановича, ни Сильфиды Петровны.

Собачкин. Боже мой! он еще жил недалеко от Куропаткина.

Марья Александровна. Да и Куропаткина я не знаю.

Собачкин. Да вы после припомните. Дочь, богачка страшная, до двухсот тысяч приданого и не то, чтобы с надуваньем, а еще до венца ломбардный билет в руки.

Марья Александровна. Что ж вы не женились?

Собачкин. Не женился. Отец три дня на ко-

леньях стоял, упрашивал; и дочь не перенесла, теперь в монастыре сидит.

Марья Александровна. Почему ж вы не женились?

Собачкин. Да так как-то. Думаю себе: отец откупщик, родня — что ни попало. Поверите, самому, право, было потом жалко. Чорт победи, право, как устроен свет: всё условия да приличия. Скольких людей уже погубили!

Марья Александровна. Ну, да что же вам смотреть на свет? (*В сторону*). Прошу покорно! Теперь всякая чуть вылезшая козявка уже думает, что он аристократ. Вот всего какой-нибудь титулярный, а послушай-ка, как говорит!

Собачкин. Ну, да нельзя, Марья Александровна, право, нельзя, всё как-то... Ну, понимаете... Станут говорить: «Ну вот, женился чорт знает на ком...» Да со мной, впрочем, всегда такие истории. Иной раз, право, совсем не виноват, с своей стороны решительно ничего... ну, что ты прикажешь делать? (*Говорит тихо*). Ведь вот по вскрытии Невы всегда находят две-три утонувшие женщины, — я уж только молчу, потому что в такую еще впута-

ешься историю... Да, любят, а ведь за что бы, кажется? лицом нельзя сказать, чтобы очень
...

Марья Александровна. Полно, будто вы сами не знаете, что вы хорош.

Собачкин (усмехается). А ведь вообразите, что, еще как был мальчишкой, ни одна, бывало, не пройдет без того, чтобы не ударить пальцем под подбородок и не сказать: «Плутушка, как хорош!»

Марья Александровна (в сторону). Прошу покорно! Ведь вот насчет красоты тоже — ведь моська совершенная, а воображает, что хорош. *(Вслух).* Ну, так послушайте же, Андрей Кондратьевич, с вашей наружностью можно это сделать. Мой сын влюблен до дурачества и воображает, что она совершенная доброта и невинность. Нельзя ли как-нибудь, знаете, представить ее не в том виде, как-нибудь эдак, что называется, немножко замарать. Если вы, положим, не произведете на нее действия и она не сойдет с ума от вас...

Собачкин. Марья Александровна, сойдет! не спорьте, сойдет! Я голову дам отрубить, если не сойдет. Я вам скажу, Марья Алексан-

дровна, со мной не такие бывали истории...
Вот еще на днях...

Марья Александровна. Ну, как бы то ни было, сойдет или не сойдет, только нужно, чтобы по городу разнеслись слухи, что вы с нею в связи... и чтобы это дошло до моего сына.

Собачкин. До вашего сына?

Марья Александровна. Да, до моего сына.

Собачкин. Да.

Марья Александровна. Что — да?

Собачкин. Ничего, я так сказал да.

Марья Александровна. Разве вы находите, что это для вас трудно?

Собачкин. О, нет, ничего. Но все эти влюбленные... вы не поверите, какие у них несообразности, неуместные ребячества разные: то пистолеты, то... чорт знает что такое... Конечно, я не то, чтобы этим как-нибудь... но знаете, неприлично в хорошем обществе.

Марья Александровна. О! насчет этого будьте покойны. Положитесь на меня, я не допущу его до того.

Собачкин. Впрочем, я так только заметил. Поверьте, Марья Александровна, я для вас, если бы пришлось точно порисковать где жиз-

ню, то с удовольствием, ей богу, с удовольствием... Я так вас люблю, что, признаться сказать, даже совестно, вы подумать можете бог знает что, а это именно одно только глубочайшее уважение. Ах, вот хорошо, что вспомнил! Я попрошу у вас, Марья Александровна, занять мне на самое короткое время тысячки две. Чорт его знает, какая дурацкая память! Одеваясь, всё думал, как бы не позабыть книжку, нарочно положил на стол перед глазами. Что прикажете, всё взял, табакерку взял, платок даже лишний взял, а книжка осталась на столе.

Марья Александровна (в сторону). Что с ним делать? Дашь — замотает, а не дашь — распустит по городу такую чепуху, что мне никуда нельзя будет носа показать. И мне нравится, что еще говорит: позабыл книжку! Книжка-то у тебя есть, я знаю, да пуста. А нечего делать, нужно дать. *(Вслух).* Извольте, Андрей Кондратьевич; обождите только здесь, я вам их сейчас принесу.

Собачкин. Очень хорошо, я посижу здесь.

Марья Александровна (уходя, в сторону). Без денег ничего, мерзавец, не может сделать.

Собачкин (один). Да, эти две тысячи теперь мне и очень пригодятся. Долгов-то я отдавать не буду: и сапожник подождет, и портной подождет, и Анна Ивановна тоже подождет; конечно, раскричится, ну да что ж делать? нельзя же деньги сорить на всё, с нее довольно и любви моей, а платье, она врет, у нее есть. А я сделаю вот как: скоро будет гулянье; колясочка моя хоть и новая, ну да ее всякий уж видел и знает, а есть, говорят, у Иохима, только еще что вышла, последней моды, еще он даже никому не показывает. Если прибавлю эти две тысячи к моей коляске, так я могу ее и весьма выменять. Так я, знаете, какого задам тогда эффекту! Может быть, на всем гуляньи всего и будет только одна или две такие коляски. Так обо мне везде заговорят. А между тем нужно подумать об порученьи Марьи Александровны. Мне кажется, благоразумнее всего начать с любовных писем. Написать письмо от имени этой девушки, да и выронить как-нибудь нечаянно при нём или позабыть на столе в его комнате. Конечно, может выйти как-нибудь плохо. Да, впрочем, что ж? надает ведь только тузанов. Тузаны, конечно,

больно, да всё же ведь не до такой степени, чтобы... Да ведь я могу и удрать, и если что, в спальню Марьи Александровны и прямо под кровать, и пусть-ка он оттуда меня вытащит! Но, главное, как написать письмо? Смерть не люблю писать, то-есть, просто, хоть зарежь. Чорт его знает, так, кажется, на словах всё бы славно изъяснил, а примешься за перо — просто, как будто бы кто-нибудь оплеуху дал, конфузия, конфузия, не подымается рука, да и полно. Разве вот что? у меня есть кое-какие письма, еще недавно ко мне писанные; выбрать, которое лучше, подскоблить фамилию, а на место ее написать другую. Что ж, чем же это не хорошо? право! Пошарить в кармане, может быть, тут же посчастливится найти именно такое, как нужно. *(Вынимает из кармана пучок писем)*. Ну, хоть бы это, например *(читает)*: «Я очинь слава богу здорова но за немогаю от боле. Али вы душенька совсем позабыли. Иван Данилович видел вас душиньку в тиатере и то пришли бы успокоили веселостями разговора». Чорт возьми! кажется, правописанья нет. Нет, этим, я думаю, не надуешь. *(Продолжает)*. «Я для вас ду-

шинька вышила подвязку». Ну, и разносилась с нежностями! Что-то буколического много, Шатобрианом пахнет. А вот, может быть, не будет ли здесь чего-нибудь? *(Развертывает другое и прищуривает глаз, стараясь разобрать)*. «Любезный друг!» Нет, это, однакож, не любезный друг; что же однакож? «Нежнейший, дражайший?» Нет, и не дражайший, нет, нет. *(Читает)*: «Ме, ме, е... рзавец». Хм! *(Сжимает губы)*. «Если ты, коварный оболститель моей невинности, не отдашь задолженные мною на мелочную лавочку деньги, которые я по неопытности сердечной для тебя, скверная рожа *(последнее слово читает почти сквозь зубы)*... то я тебя в полицию». Чорт знает что! Вот уж просто чорт знает что! Вот уж именно ничего нет в этом письме. Конечно, обо всем можно сказать, но можно сказать благопристойно, выраженьями такими, которые бы не оскорбляли человека. Нет, нет, все эти письма, я вижу, как-то не то... совсем не годятся. Нужно поискать чего-нибудь сильного, где виден кипяток, кипяток, что называют. А вот, вот, посмотрим это. *(Читает)*: «Жестокий тиран души моей!» А, это что-то хоро-

шее, однакож. «Тронься сердечной моей участью!» И преблагородно! ей богу, преблагородно! Ведь вот видно воспитанье! Уж по началу видно, кто как себя поведет. Вот как нужно писать! Чувствительно, а между тем и человек не оскорблен. Вот это письмо я ему и подсуну. Далее уж и читать не нужно; только не знаю, как бы выскоблить так, чтобы не было заметно. (*Смотрит на подпись*). Э, э! вот хорошо, даже имени не выставлено! Прекрасно! Это и подписать. Каково обделалось дельце само собою! А ведь говорят, наружность вздор: ну не будь смазлив, не влюбились бы в тебя, а не влюбившись, не написали бы писем, а не имея писем, не знал бы как взяться за это дело. (*Подходя к зеркалу*). Еще сегодня как-то опустил, а то ведь иной раз точно даже что-то значительное в лице. Жаль только, что зубы скверные, а то бы совсем был похож на Багратиона. Вот не знаю, как запустить бакенбарды: так ли, чтобы решительно вокруг было бахромкой, как говорят — сукном обшит, или выбрить всё голем, а под губой завести что-нибудь, а?

Театральный разъезд после представления новой комедии

Сени театра. С одной стороны видны лестницы, ведущие в ложи и галлерей, посередине вход в кресла и амфитеатр; с другой стороны выход. Слышен отдаленный гул рукоплесканий.

Автор пьесы (выходя). Я вырвался, как из омута! Вот наконец и крики и рукоплесканья! Весь театр гремит!.. Вот и слава! Боже, как бы забилося назад тому лет семь, восемь мое сердце, как бы встрепенулось всё во мне! Но то было давно. Я был тогда молод, дерзкомыслен, как юноша. Благ промысл, не давший вкусить мне ранних восторгов и хвал! Теперь... Но разумный холод лет умудрит хоть кого. Узнаешь наконец, что рукоплесканья еще не много значат и готовы служить всему наградой: актер ли постигнет всю тайну души и сердца человека, танцор ли добьется уменья выводить вензеля ногами, фокусник ли — всем им гремит рукоплесканье! Голова ли думает, сердце ли чувствует, звучит ли глубина души, работают ли ноги, или руки переверты-

вают стаканы — всё покрывается равными плесками. Нет, не рукоплесканий я бы теперь желал: я бы желал теперь вдруг переселиться в ложи, в галлереи, в кресла, в раёк, проникнуть всюду, услышать всех мненья и впечатленья, пока они еще девственны и свежи, пока еще не покорились толкам и суждениям знатоков и журналистов, пока каждый под влиянием своего собственного суда. Мне это нужно: я комик. Все другие произведения и роды подлежат суду немногих, один комик подлежит суду всех; над ним всякий зритель имеет уже право, всякого званья человек уже становится судьей его. О, как бы хотел я, чтобы каждый указал мне мои недостатки и пороки! Пусть даже посмеется надо мной, пусть недоброжелательство правит устами его, пристрастье, негодование, ненависть — всё, что угодно, но пусть только произнесутся эти толки. Не может без причины произвестись слово, и везде может зарониться искра правды. Тот, кто решился указать смешные стороны другим, тот должен разумно принять указания слабых и смешных собственных сторон. Попробую, останусь здесь в сенях во всё вре-

мя разезда. Нельзя, чтобы не было толков о новой пиесе. Человек под влиянием первого впечатления всегда жив и спешит им поделиться с другим. (*Отходит в сторону. Показывается несколько прилично одетых людей, один говорит, обращаясь к другому:*) Выйдем лучше теперь. Игратья! будет незначительный водевиль. (*Оба уходят*).

Два сотте il faut плотного свойства, сходят с лестницы.

Первый сотте il faut. Хорошо, если бы полиция не далеко отогнала мою карету. Как зовут эту молоденькую актрису, ты не знаешь?

Второй сотте il faut. Нет, а очень недурна.

Первый сотте il faut. Да, недурна; но всё чего-то еще нет. Да, рекомендую: новый ресторан: вчера нам подал свежий зеленый горох (*целует концы пальцев*) — прелесть! (*Уходят оба*).

Бежит офицер, другой удерживает его за руку.

Первый офицер. Да останемся!

Другой офицер. Нет, брат, на водевиль и калачом не заманишь. Знаем мы эти пиесы, которые даются на закуску: лакеи вместо акте-

ров, а женщины — урод на уроде. *(Уходят).*

Светский человек, щеголевато одетый (сходя с лестницы). Плут портной, претесно сделал мне панталоны, всё время было страх неловко сидеть. За это я намерен еще проволочить его, и годика два не заплачу долгов. *(Уходит).*

Тоже светский человек, поплотнее (говорит с живостью другому). Никогда, никогда, поверь мне, он с тобою не сядет играть. Меньше как по полтора ста рублей роберт он не играет. Я знаю это хорошо, потому что шуриномой, Пафнутьев, всякий день с ним играет.

Автор пьесы (про себя). И всё еще никто ни слова о комедии!

Чиновник средних лет (выходя с растопыренными руками). Это, просто, чорт знает что такое! Этакое... этакое... Это ни на что не похоже. *(Ушел).*

Господин, несколько беззаботный насчет литературы (обращаясь к другому). Ведь это, однакож, кажется, перевод?

Другой. Помилуйте, что за перевод! Действие происходит в России, наши обычаи и чины даже.

Господин, беззаботный насчет литературы. Я помню, однакож, было что-то на французском, не совсем в этом роде. (Оба уходят).

Один из двух зрителей (тоже выходящих вон). Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скажут в журналах, тогда и узнаешь.

Две бекешы (одна другой). Ну, как вы? Я бы желал знать ваше мнение о комедии.

Другая бекеша (делая значительные движения губами). Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того... в своем роде... Ну, конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было и... где ж, так сказать... а впрочем... (утвердительно сжимая губами) Да, да. (Уходят).

Автор (про себя). Ну, эти пока еще немного сказали. Толки, однакоже, будут: я вижу впереди горячо размахивают руками.

Два офицера.

Первый. Я еще никогда так не смеялся.

Второй. Я полагаю: отличная комедия.

Первый. Ну, нет, посмотрим еще, что скажут в журналах, нужно подвергнуть суду критики... Смотри, смотри! (Толкает его под руку).

Второй. Что?

Первый (указывая пальцем на одного из двух идущих с лестницы). Литератор!

Второй (торопливо). Который?

Первый. Вот этот! чш! послушаем, что будут говорить.

Второй. А другой кто с ним?

Первый. Не знаю; неизвестно какой человек. (Оба офицеры посторониваются и дают им место).

Неизвестно какой человек. Я не могу судить, относительно литературного достоинства; но мне кажется, есть остроумные заметки. Остро, остро.

Литератор. Помилуйте, что ж тут остроумного? Что за низкий народ выведен, что за тон? Шутки самые плоские; просто, даже сально!

Неизвестно какой человек. А, это другое дело. Я и говорю: в отношении литературного достоинства я не могу судить; я только заметил, что пьеса смешна, доставила удовольствие.

Литератор. Да и не смешна. Помилуйте, что ж тут смешного и в чем удовольствие?

Сюжет невероятнейший. Всё несообразности; ни завязки, ни действия, ни соображения никакого.

Неизвестно какой человек. Ну, да против этого я и не говорю ничего. В литературном отношении так, в литературном отношении она не смешна; но в отношении, так сказать, со стороны в ней есть...

Литератор. Да что же есть? Помилуйте, и этого даже нет! Ну что за разговорный язык? Кто говорит эдак в высшем обществе? Ну скажите сами, ну говорим ли мы с вами эдак?

Неизвестно какой человек. Это правда; это вы очень тонко заметили. Именно, я вот сам про это думал: в разговоре благородства нет. Все лица, кажется, как будто не могут скрыть низкой природы своей — это правда.

Литератор. Ну, а вы еще хвалите!

Неизвестно какой человек. Кто ж хвалит? я не хвалю. Я сам теперь вижу, что пиеса — вздор. Но ведь вдруг нельзя же этого узнать; я не могу судить в литературном отношении. *(Оба уходят).*

Еще литератор (входит в сопровождении слушателей, которым говорит, размахивая

руками). Поверьте мне, я знаю это дело: отвратительная пиеса! грязная, грязная пиеса! Нет ни одного лица истинного, всё карикатуры! В натуре нет этого; поверьте мне, нет, я лучше это знаю: я сам литератор. Говорят: живость, наблюдение... да ведь это всё вздор, это всё приятели, приятели хвалят, всё приятели! Я уже слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пиеса просто недостойна даже быть названа комедиею. Фарс, фарс, да и фарс самый неудачный. Последняя, пустейшая комедийка Коцебу в сравнении с нею Монблан перед Пулковскою горою. Я это им всем докажу, докажу математически, как дважды два. Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели хвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Всё приятели кричали, кричали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать. (*Уходят вместе с слушателями*).

Оба офицера подаются вперед и занимают их места.

Первый. Это справедливо, это совершенно

справедливо: именно фарс; я это и прежде говорил, глупый фарс, поддержанный приятелями. Признаюсь, на многое даже отвратительно было смотреть.

Второй. Да ведь ты ж говорил, что еще никогда так не смеялся?

Первый. А это опять другое дело. Ты не понимаешь, тебе нужно растолковать. Тут что в этой пиесе? Во-первых, завязки никакой, действия тоже нет, соображенья решительно никакого, всё невероятности и при том всё карикатуры.

Двое другие офицеров позади.

Один (другому). Кто это рассуждает? Кажется, из ваших?

Другой, заглянув сбоку в лицо рассуждавшего, махнул рукой.

Первый. Что, глуп?

Другой. Нет, не то чтобы... У него есть ум, но сейчас по выходе журнала, а запоздала выходом книжка — и в голове ничего. Но, однакож, пойдем. (*Уходят*).

Два любителя искусств.

Первый. Я вовсе не из числа тех, которые прибегают только к словам: грязная, отврати-

тельная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное почти дело, что такие слова большею частью исходят из уст тех, которые сами очень сомнительного тона, толкуют о гостиных, и допускаются только в передние. Но не об них речь. Я говорю на счет того, что в пиесе точно нет завязки.

Второй. Да, если принимать завязку в том смысле, как её обыкновенно принимают, то есть в смысле любовной интриги, так её точно нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит взглядеться пристально вокруг. Всё изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы ни стало, другого, отмстить за пренебрежение, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?

Первый. Всё это хорошо; но и в этом отношении всё-таки я не вижу в пиесе завязки.

Второй. Я не буду теперь утверждать, есть ли в пиесе завязка или нет. Я скажу только, что вообще ищут частной завязки и не хотят

видеть общей. Люди простодушно привыкли уж к этим беспрестанным любовникам, без женитьбы которых никак не может окончиться пьеса. Конечно, это завязка, но какая завязка? — точный узелок на углице платка. Нет, комедия должна вязаться само собою, всей своей массою, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, — коснуться того, что волнует, более или менее, всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход пьесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело.

Первый. Но все же не могут быть героями; один или два должны управлять другими?

Второй. Совсем не управлять, а разве преобладать. И в машине одни колеса заметней и сильней движутся; их можно только называть главными; но правит пьесою идея, мысль. Без нее нет в ней единства. А завязать может всё: самый ужас, страх ожидания, гроза идущего вдали закона...

Первый. Но это выходит уж придавать комедии какое-то значение более всеобщее.

Второй. Да разве не есть это ее прямое и настоящее значение? В самом начале комедия была общественным, народным созданием. По крайней мере, такую показал ее сам отец ее, Аристофан. После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ход, одну и ту же неперемнную завязку. Зато как слаба эта завязка у самых лучших комиков, как ничтожны эти театральные любовники с их картонной любовью!

Третий (подходя и ударив слегка его по плечу). Ты не прав: любовь так же, как и другие чувства, может тоже войти в комедию.

Второй. Я и не говорю, чтобы она не могла войти. Но только и любовь и все другие чувства, более возвышенные, тогда только произведут высокое впечатление, когда будут развиты во всей глубине. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всем прочим. Всё то, что составляет именно сторону комедии, тогда уже побледнеет, и значение комедии общественной непременно исчезнет.

Третий. Стало быть, предметом комедии должно быть непременно низкое? Комедия

выйдет уже низкий род.

Второй. Для того, кто будет глядеть на слова, а не вникать в смысл, это так. Но разве положительное и отрицательное не может послужить той же цели? Разве комедия и трагедия не могут выразить ту же высокую мысль? Разве все, до малейшей, излучины души подлого и бесчестного человека не рисуют уже образ честного человека? Разве всё это накопление низостей, отступлений от законов и справедливости, не дает уже ясно знать, чего требуют от нас закон, долг и справедливость? В руках искусного врача и холодная и горячая вода лечит с равным успехом одни и те же болезни. В руках таланта всё может служить орудием к прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному.

Четвертый (подходя). Что может послужить прекрасному? и о чем у вас толки?

Первый. Спор завязался у нас о комедии. Мы все говорим о комедии вообще, а никто еще не сказал ничего о новой комедии. Что вы скажете?

Четвертый. А вот что скажу: виден талант, наблюдение жизни, много смешного,

верного, взятого с натуры; но вообще во всей пьесе чего-то нет. Как-то не видишь ни завязки, ни развязки. Странно, что наши комики никак не могут обойтись без правительства. Без него у нас не развяжется ни одна комедия.

Третий. Это правда. А впрочем, с другой стороны, это очень естественно. Мы все принадлежим правительству, все почти служим; интересы всех нас более или менее соединены с правительством. Стало быть, не мудрено, что это отражается в созданных наших писателей.

Четвертый. Так. Ну и пусть эта связь будет слышна. Но смешно то, что пьеса никак не может кончиться без правительства. Оно непременно явится, точно неизбежный рок в трагедиях у древних.

Второй. Ну, видите: стало быть, это уже что-то невольное у наших комиков. Стало быть, это уже составляет какой-то отличительный характер нашей комедии. В груди нашей заключена какая-то тайная вера в правительство. Что ж? тут нет ничего дурного: дай бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призвание свое — быть представи-

телем провиденья на земле, и чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступления.

Пятый. Здравствуйте, господа! Я только и слышу слово «правительство». Комедия возбудила крики и толки...

Второй. Поговоримте лучше об этих толках и криках у меня, чем здесь, в театраль-ных сенях. (*Уходят*).

Несколько почтенных и прилично одетых людей появляются один за другим.

№ 1. Так, так, я вижу: это верно, что есть у нас и случается в иных местах и похуже; но для какой цели, к чему выводить это? — вот вопрос. Зачем эти представления? какая польза от них? вот что разрешите мне! Что мне нужды знать, что в таком-то месте есть плуты? Я просто... я не понимаю надобности подобных представлений. (*Уходит*).

№ 2. Нет, это не осмеяние пороков; это отвратительная насмешка над Россиею — вот что. Это значит выставить в дурном виде самое правительство, потому что выставляют дурных чиновников и злоупотребления, которые бывают в разных сословиях, значит вы-

ставить самое правительство. Просто, даже не следует допускать таких представлений. (Уходит).

Входят господин А. и господин Б., люди немаловажных чинов.

Господин А. Я не на счет этого говорю; напротив, злоупотребленья нам нужно показывать, нужно, чтобы мы видели свои проступки; и я ничуть не разделяю мнений многих чересчур разгорячившихся патриотов; но только мне кажется, что не слишком ли много здесь чего-то печального...

Господин Б. Я бы очень хотел, чтобы вы услышали замечание одного очень скромно одетого человека, который сидел возле меня в креслах... Ах, вот он сам!

Господин А. Кто?

Господин Б. Именно этот очень скромно одетый человек. (Обращаясь к нему). Мы с вами не кончили разговора, которого начало было так для меня интересно.

Очень скромно одетый человек. А я, признаюсь, очень рад продолжать его. Сейчас только я слышал толки, именно: что это всё неправда, что это насмешка над правитель-

ством, над нашими обычаями, и что этого не следует вовсе представлять. Это заставило меня мысленно припомнить и обнять всю пьесу, и признаюсь, выражение комедии показалось мне теперь еще даже значительней. В ней, как мне кажется, сильнее и глубже всего поражено смехом лицемерие, благопристойная маска, под которою является низость и подлость, плут, корчащий рожу благонамеренного человека. Признаюсь, я чувствовал радость, видя, как смешны благонамеренные слова в устах плута и как уморительно смешна стала всем, от кресел до райка, надетая им маска. И после этого есть люди, которые говорят, что не нужно выводить этого на сцену! Я слышал одно замечание, сделанное, как мне показалось, впрочем, довольно порядочным человеком: «А что скажет народ, когда увидит, что у нас бывают вот какие злоупотребления?»»

Господин А. Признаюсь, вы извините меня, но мне самому тоже невольно представился вопрос: а что скажет народ наш, глядя на всё это?

Очень скромно одетый человек. Что ска-

жет народ? (*Посторонивается, проходят двое в армяках*).

Синий армяк (серому). Небошь, прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа! (*Оба выходят вон*).

Очень скромно одетый человек. Вот что скажет народ, вы слышали?

Господин А. Что?

Очень скромно одетый человек. Скажет: «Небошь, прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!» Слышите ли вы, как верен естественному чутью и чувству человек? Как верен самый простой глаз, если он не отуманен теориями и мыслями, надерганными из книг, а черплет их из самой природы человека! Да разве это не очевидно ясно, что после такого представления народ получит более веры в правительство? Да, для него нужны такие представления. Пусть он отделит правительство от дурных исполнителей правительства. Пусть видит он, что злоупотребления происходят не от правительства, а от не понимающих требований правительства, от не желающих ответственность правительству. Пусть он видит, что бла-

городно правительство, что бдит равно над всеми его недремлющее око, что рано или поздно настигнет оно изменивших закону, чести и святому долгу человека, что поблещут перед ним имеющие нечистую совесть. Да, эти представления ему должно видеть: поверьте, что если и случится ему испытать на себе прижимки и несправедливости, он выйдет утешенный после такого представления, с твердой верой в недремлющий, высший закон. Мне нравится тоже еще замечание: «народ получит дурное мнение о своих начальниках». То-есть, они воображают, что народ только здесь, в первый раз в театре, увидит своих начальников; что если дома какой-нибудь плут-староста сожмет его в лапу, так этого он никак не увидит, а вот как пойдет в театр, так тогда и увидит. Они, право, народ наш считают глупее бревна, — глупым до такой степени, что будто уже он не в силах отличить, который пирог с мясом, а который с кашей. Нет, теперь мне кажется, даже хорошо то, что не выведен на сцену честный человек. Самолюбив человек: выстави ему при множестве дурных сторон одну хорошую, он уже

гордо выйдет из театра. Нет, хорошо, что выставлены одни только исключения и пороки, которые колют теперь до того глаза, что не хотят быть их соотечественниками, стыдятся даже сознаться, что это может быть.

Господин А. Но неужели, однакож, существуют у нас точь-в-точь такие люди?

Очень скромно одетый человек. Позвольте мне сказать вам на это вот что: я не знаю, почему мне всякий раз становится грустно, когда я слышу подобный вопрос. Я могу с вами говорить откровенно: в чертах лиц ваших я вижу что-то такое, что располагает меня к откровенности. Человек прежде всего делает запрос: «Неужели существуют такие люди?» Но когда было видено, чтобы человек сделал такой вопрос: «Неужели я сам чист вовсе от таких пороков?» Никогда, никогда! Да вот что, — я буду с вами говорить прямодушно. У меня доброе сердце, любви много в моей груди, но если бы вы знали, каких душевных усилий и потрясений мне было нужно, чтобы не впасть во многие порочные наклонности, в которые впадаешь невольно, живя с людьми! И как я могу сказать теперь, что во

мне нет сию же минуту тех самых наклонностей, которым только что посмеялись назад тому десять минут все, и над которыми и я сам посмеялся.

Господин А. (после некоторого молчания). Признаюсь, над словами вашими призадумался. И когда я вспомню, представлю себе, как гордыми сделало нас европейское наше воспитание, вообще как скрыло нас от самих себя, как свысока и с каким презрением глядим мы на тех, которые не получили подобной нам наружной полировки, как всякий из нас ставит себя чуть не святым, а о дурном говорит вечно в третьем лице, — то, признаюсь, невольно становится грустно душе... Но, простите мою нескромность, вы, впрочем, виноваты в ней сами; позвольте узнать: с кем я имею удовольствие говорить?

Очень скромно одетый человек. А я ни более, ни менее, как один из тех чиновников, в должности которых выведены были лица комедии, и третьего дня только приехал из своего городка.

Господин Б. Я бы этого не мог думать. И неужели вам не кажется после этого обидно

жить и служить с такими людьми?

Очень скромно одетый человек. Обидно? А вот что я вам скажу на это: признаюсь, мне приходилось часто терять терпенье. В городке нашем не все чиновники из честного десятка; часто приходится лезть на стену, чтобы сделать какое-нибудь доброе дело. Уже несколько раз хотел было я бросить службу; но теперь, именно после этого представления, я чувствую свежесть и, вместе с тем, новую силу продолжать свое поприще. Я утешен уже мыслью, что подлость у нас не остается скрытою или потворствуемой, что там, в виду всех благородных людей, она поражена осмеянием, что есть перо, которое не укоснит обнаружить низкие наши движения, хотя это и не льстит национальной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое позволит показать это всем, кому следует, в очи, и уж это одно дает мне рвение продолжать мою полезную службу.

Господин А. Позвольте сделать вам одно предложение. Я занимаю государственную должность довольно значительную. Мне нужны истинно благородные и честные по-

мощники. Я вам предлагаю место, где вам будет обширное поле действия, где вы получите несравненно более выгод и будете на виду.

Очень скромно одетый человек. Позвольте мне от всей души и от всего сердца поблагодарить вас за такое предложение и, вместе с тем, позвольте отказаться от него. Если я уже чувствую, что полезен своему месту, то благородно ли с моей стороны его бросить? И как я могу оставить его, не будучи уверен твердо, что после меня не сядет какой-нибудь молодец, который начнет делать прижимки. Если же это предложение сделано вами в виде награды, то позвольте сказать вам: я аплодировал автору пиесы наравне с другими, но я не вызывал его. Какая ему награда? Пиеса понравилась — хвали ее, а он — он только выполнил долг свой. У нас, право, до того дошло, что не только по случаю какого-нибудь продвига, но просто, если только иной не нагадит никому в жизни и на службе, то уже считает себя бог весть каким добродетельным человеком; сердится сурьезно, если не замечают и не награждают его. «Помилуйте», говорит: «я целый век честно жил, совсем почти

не делал подлостей, — как же мне не дают ни чина, ни ордена?» Нет, по мне, кто не в силах быть благородным без поощрения — не верю я его благородству, не стоит гроша его мышинное благородство.

Господин А. По крайней мере, вы мне не откажете в вашем знакомстве. Простите мою неотвязчивость; вы сами видите, что она есть следствие моего искреннего уважения. Дайте мне ваш адрес.

Очень скромно одетый человек. Вот вам мой адрес: но будьте уверены, что я не допущу вас им воспользоваться, и завтра же поутру явлюсь к вам. Извините меня, я не воспитан в большом свете и не умею говорить... Но встретить такое великодушное внимание в государственном человеке, такое стремление к добру... дай бог, чтобы всякий государь был окружен такими людьми! (*Поспешно уходит*).

Господин А. (*переворачивая в руках карточку*). Я смотрю на эту карточку и на эту неизвестную мне фамилию, и как-то полно становится на душе моей. Это вначале грустное впечатление рассеялось само собою. Да хранит тебя бог, наша малознаемая нами Россия!

В глуши, в забытом углу твоём, скрывается подобный перл, и, вероятно, он не один. Они, как искры золотой руды, рассыпаны среди грубых и темных ее гранитов. Есть глубоко утешительное чувство в сем явлении, и душа моя осветилась после встречи с этим чиновником, как осветилась его собственная после представления комедии. Прощайте! Благодарю вас, что вы доставили мне эту встречу. *(Уходит).*

Господин В. (подходя к господину Б.) Кто это был с вами? кажется, он министр, а?

Господин П. (подходя с другой стороны). Помилуй братец, ну что это такое, как же это в самом деле?..

Господин Б. Что?

Господин П. Ну да как же выводить это?

Господин Б. Почему же нет?

Господин П. Ну, да сам посуди ты: ну так же, право? Всё пороки да пороки; ну какой пример подаёт это зрителям?

Господин Б. Да разве пороки хвалятся? Ведь они же выведены на осмеяние.

Господин П. Ну, да всё, брат, как ни говори: уваженье... ведь чрез это теряется уваженье к

чиновникам и должностям.

Господин Б. Уважение не теряется ни к чиновникам, ни к должностям, а к тем, которые скверно исполняют свои должности.

Господин В. Но позвольте, однакоже, заметить: всё это некоторым образом есть уже оскорбление, которое более или менее распространяется на всех.

Господин П. Именно. Вот это я сам хотел ему заметить. Это именно оскорбление, которое распространяется. Теперь, например, выведут какого-нибудь титулярного советника, а потом... э... пожалуй выведут... и действительного статского советника...

Господин Б. Ну так что ж? Личность только должна быть неприкосновенна; а если я выдумал собственное лицо и придал ему кое-какие пороки, какие случаются между нами, и дал ему чин, какой мне вздумалось, хоть бы даже и действительного статского советника, и сказал бы, что этот действительный статский советник не таков, как следует: что ж тут такого? Разве не попадается гусь и между действительными статскими советниками?

Господин П. Ну уж, брат, это слишком. Как

же может быть гусь действительный статский советник? Ну, пусть еще титулярный... Ну, ты уж слишком.

Господин В. Чем выставлять дурное, зачем же не выставить хорошее, достойное подражания?

Господин Б. Зачем? странный вопрос: зачем? Много можно сделать таких «зачем». Зачем один отец, желая исторгнуть своего сына из беспорядочной жизни, не тратил слов и наставлений, а привел его в лазарет, где предстали пред ним во всём ужасе страшные следы беспорядочной жизни? Зачем он это сделал?

Господин В. Но позвольте вам заметить: это уже некоторым образом наши общественные раны, которые нужно скрывать, а не показывать.

Господин П. Это правда. Я с этим совершенно согласен. У нас дурное нужно скрывать, а не показывать.

Господин Б. Если бы слова эти были сказаны кем другим, а не вами, я бы сказал, что ими водило лицемерие, а не истинная любовь к отечеству. По-вашему, нужно бы толь-

ко закрыть, залечить как-нибудь снаружи эти, как вы называете, общественные раны, лишь бы только покамест они не были видны, а внутри пусть свирепствует болезнь — до того нет нужды. Нет нужды, что она может взорваться и обнаружиться такими симптомами, когда уже всякое лечение поздно. До того нет нужды. Вы не хотите знать того, что без глубокой сердечной исповеди, без христианского сознания грехов своих, без преувеличения их в собственных глазах наших, не в силах мы возвыситься над ними, не в силах взлететь душой превыше презренного в жизни. Вы не хотите знать этого. Пусть глух остается человек, пусть сонно проходит жизнь свою, пусть не содрогается, пусть не плачет в глубине сердца, пусть низведет до такого усыпления свою душу, чтобы уже ничто не произвело в ней потрясения! Нет... простите меня. Холодный эгоизм движет устами, произносящими такие речи, а не святая, чистая любовь к человечеству. (*Уходит.*)

Господин П. (после некоторого молчания). Что ж ты молчишь? Каков? Чего не наговорил, а?

Господин В. (молчит).

Господин П. (продолжая). Он может себе говорить, что ему угодно, а ведь это всё-таки наши, так сказать, раны.

Господин В. (в сторону). Ну, попались ему на язык эти раны! Будет он толковать о них и встречному и поперечному!

Господин П. Этак, пожалуй, и я могу наскать кучу всего, да ведь что ж из этого?.. А вот князь N. Послушай, князь, не уходи!

Князь N. А что?

Господин П. Ну, потолкуем, остановись! Ну что, как пьеса?

Князь N. Да смешна.

Господин П. Но, однакож, скажи: как это представлять? — на что это похоже...

Князь N. Почему ж не представлять?

Господин П. Ну, да посуди сам, ну, да как же этот вдруг на сцене плут? ведь это всё наши раны.

Князь N. Какие раны?

Господин П. Да это наши раны, наши, так сказать общественные раны.

Князь N. (с досадою). Возьми их себе. Пусть они будут твои, а не мои раны! Что ты мне их

тычешь, мне пора домой. (*Уходит*).

Господин П. (продолжая). И потом опять, что за чепуху он наговорил здесь? Говорит, действительный статский советник может быть гусь. Ну еще пусть титулярный, это можно, допустить...

Господин В. Однакож, пойдем, полно толковать; я думаю, что все проходящие узнали уже, что ты действительный статский советник. (*В сторону*). Есть люди, которые имеют искусство всё охаять. Твою же мысль, повторивши, они умеют сделать её так пошлою, что сам краснеешь. Скажешь глупость; она бы, может, так и проскользнула незамеченной, — нет, отыщется поклонник и приятель, который непременно пустит её в ход и сделает еще глупее, чем она есть. Даже досадно — право, точно в грязь посадил. (*Уходят*).

Военный и статский выходят вместе.

Статский. Ведь вот вы какие, господа военные! Вы говорите, это нужно выводить на сцену; вы готовы вдоволь посмеяться над каким-нибудь статским чиновником, а затронь как-нибудь военных, скажи только, что есть в таком-то полку офицеры, не говоря уже о по-

рочных наклонностях, но просто скажи: есть офицеры дурного тона, с неприличными ухватками, — да вы из-за одного этого готовы с жалобой полезть в самый государственный совет.

Военный. Ну, послушайте: за кого же вы меня считаете? Конечно, есть между нами такие Донкишоты; но поверьте также, что есть много истинно-рассудительных людей, которые будут рады всегда, если будет выведен на всеобщее осмеяние порочащий свое званье. Да и в чем здесь обида? Подавайте, подавайте нам его! Мы всякий день готовы смотреть.

Статский (в сторону). Этак всегда кричит человек: подавайте! подавайте! а подашь — так и рассердится. *(Уходят).*

Две бекешы.

Первая бекеша. У французов тоже, например; но у них всё это очень мило. Ну, вот, помнишь, во вчерашнем водевиле: раздевается, ложится в постель, схватывает со стола салатник и ставит его под кровать. Оно, конечно, нескромно, но мило. На всё это можно смотреть, это не оскорбляет... У меня жена и дети всякий день в театре. А здесь, ну что это, пра-

во? какой-нибудь мерзавец, мужик, которого бы я в переднюю не пустил, развалился с сапогами, зевает или ковыряет в зубах, ну, что это право? на что это похоже?

Другая бекеша. У французов другое дело. Там *société, mon cher!* У нас это невозможно. У нас ведь сочинители совершенно без всякого образования: всё это большею частью воспитывалось в семинарии. Он и к вину склонен, он и потаскун. К моему лакею тоже ходил в гости один какой-то сочинитель: где ж ему иметь понятие о хорошем обществе? (*Уходят*).

Светская дама (в сопровождении двух мужчин: одного во фраке, другого в мундире). Но что за люди, что за лица выведены! хотя бы один привлек... Ну, отчего не пишут у нас так, как французы пишут, например, как Дюма и другие? Я ни требую образцов добродетели; выведите мне женщину, которая бы заблуждалась, которая бы даже изменила мужу, предалась, положим, самой порочной и непозволенной любви, но представьте это увлекательно, так, чтобы я побуждена была к ней участием, чтобы я полюбила её... А ведь

здесь все лица — один отвратительней другого.

Мужчина в мундире. Да, тривиально, тривиально.

Светская дама. Скажите: отчего у нас, в России, всё еще так тривиально?

Мужчина во фраке. Душа моя, после расскажешь, отчего тривиально: кричат нашу карету. *(Уходят).*

Выходят трое мужчин вместе.

Первый. Почему ж не посмеяться, смеяться можно; но что за предмет для насмешки: злоупотребления и пороки? Какая здесь насмешка!

Второй. Так над чем же смеяться? Разве над добродетелями, над достоинствами человека?

Первый. Нет, да это не предмет для комедии, мой милый. Это уже некоторым образом касается правительства. Как будто нет других предметов, о чем можно писать?

Второй. Какие же другие предметы?

Первый. Ну, да мало ли есть всяких смешных светских случаев. Ну, положим, например, я отправился на гулянье на Аптекарский

остров, а кучер меня вдруг завез там на Выборгскую, или к Смольному монастырю. Мало ли есть всяких смешных сцеплений?

Второй. То-есть, вы хотите отнять у комедии всякое сурьезное значение. Но зачем же издавать неприменный закон? Комедий в том именно вкусе, в каком вы желаете, есть множество. Почему же не допустить существования двух, трех таких, какова была игранная теперь? Если же вам нравятся те, о которых вы говорите, поезжайте только в театр: там всякий день вы увидите пиесу, где один спрятался под стул, а другой вытащил его оттуда за ногу.

Третий. Ну, нет, послушайте: это не то. Все-му есть свои границы. Есть вещи, над которыми, так сказать, не следует смеяться, которые в некотором роде уже святыня.

Второй (про себя с горькой усмешкой). Так всегда на свете: посмейся над истинно-благородным, над тем, что составляет высокую святыню души, никто не станет заступником. Посмейся же над порочным, подлым и низким, все закричат: он смеется над святыней!

Первый. Ну, вот видите ли, вы, я вижу, те-

перь убеждены, — не говорите ни слова. Поверьте, нельзя не быть убежденну, это истина. Я сам человек беспристрастный и говорю не то, чтобы... но просто, это не авторское дело, это не предмет для комедии. (*Уходят*).

Второй (про себя). Признаюсь, я бы ни за что не захотел быть на месте автора. Прошу угодить! Избери маловажные светские случаи, все будут говорить: он пишет вздор, никакой нет глубокой нравственной цели; избери предмет, сколько-нибудь имеющий серьезную нравственную цель, будут говорить: не его дело, пиши пустяки! (*Уходит*).

Молодая дама большого света в сопровождении мужа.

Муж. Карета наша не должна быть далеко, мы можем скоро уехать.

Господин N. (подходя к даме). Что вижу! Вы приехали смотреть русскую пиесу!

Молодая дама. Что ж тут такого? Разве я уже ничуть не патриотка?

Господин N. Ну, если так, то вы не очень насытили патриотизм свой. Вы, верно, браните пиесу.

Молодая дама. Совсем нет. Я нахожу, что

многое очень верно: я смеялась от души.

Господин N. Отчего ж вы смеялись? Оттого ли, что любите посмеяться над всем, что русское?

Молодая дама. Оттого, что просто было смешно. Оттого, что выведена была внаружу та подлость, низость, которая в какое бы платье ни нарядилась, хотя бы она была и не в уездном городке, а здесь, вокруг нас, — она была бы такая же подлость или низость: вот отчего смеялась.

Господин N. Мне говорила сейчас одна очень умная дама, что она тоже смеялась, но что при всем том пиеса произвела на нее грустное впечатление.

Молодая дама. Я не хочу знать, что чувствовала ваша умная дама, но у меня не так чувствительны нервы, и я всегда рада смеяться над тем, что внутренне смешно. Я знаю, что есть иные из нас, которые от души готовы посмеяться над кривым носом человека, и не имеют духа посмеяться над кривою душою человека.

(Вдали показывается тоже молодая дама с мужем).

Господин N. А вот идет ваша приятельница. Я бы желал знать ее мнение о комедии. (Обе дамы подают друг другу руку).

Первая дама. Я видела издали, как ты смеялась.

Вторая дама. Да кто же не смеялся? все смеялись.

Господин N. А не чувствовали вы никакого грустного чувства?

Вторая дама. Признаюсь, мне было, точно, грустно. Я знаю, всё это очень верно, я сама тоже видела много подобного, но при всем том мне было тяжело.

Господин N. Стало быть, комедия вам не понравилась?

Вторая дама. Ну, послушайте, кто ж это говорит? Я вам говорю уже, что я смеялась от всей души, и больше даже нежели все другие; я думаю, меня приняли даже за безумную... Но мне было грустно оттого, что хотелось бы отдохнуть хоть на одном добром лице. Это излишество, и множество низкого...

Господин N. Говорите, говорите!

Вторая дама. Послушайте, посоветуйте автору, чтобы он вывел хоть одного честного че-

ловека. Скажите ему, что об этом его просят, что это будет, право, хорошо.

Муж первой дамы. А вот же этого именно и не советуйте. Дамам хочется непременно рыцаря, чтобы он тут же твердил им за всяким словом о благородстве, хотя бы самым пошлым слогом.

Вторая дама. Совсем нет. Как вы мало знаете нас. Вот вам-то принадлежит это! Вы именно любите только одни слова и толки о благородстве. Я слышала суждение одного из вас: один толстяк кричал так, что, я думаю, всех заставил на себя обратиться: что это клевета, что подобных низостей и подлостей у нас никогда не делается. А кто говорил? самый низкий и подлый человек, который готов продать свою душу, совесть и всё, что хотите. Я не хочу только назвать его по имени.

Господин. Ну скажите же, кто это был?

Вторая дама. Зачем вам знать? Да не он один, я слышала беспрестанно, как около нас кричали: «это отвратительная насмешка над Россией, насмешка над правительством! Да как это позволить? Да что скажет народ?» А отчего они кричали? Оттого ли, что в самом

деле думали и чувствовали это? Извините. Оттого, чтобы произвести шум, чтобы запретили пиесу, потому что в ней, может быть, отыскали кое-что похожее на самих себя. Вот каковы ваши настоящие, не театральные рыцари!

Муж первой дамы. О! да у вас уж начинается маленькая злость.

Вторая дама. Злость, именно злость. Да, я зла, очень зла. И нельзя не быть злою, видя, как подлость является под всякими личинами.

Муж первой дамы. Ну да: вам бы хотелось, чтобы сейчас выскочил рыцарь, прыгнул через какую-нибудь пропасть, сломил бы себе шею...

Вторая дама. Извините.

Муж первой дамы. Натурально: женщине что нужно? ей непременно нужно, чтобы в жизни был роман.

Вторая дама. Нет, нет, нет. Двести раз готова говорить нет. Это пошлая, старая мысль, которую вы нам навязываете беспрестанно. У женщины больше истинного великодушия, чем у мужчины. Женщина не может, женщи-

на не в силах сделать тех подлостей и гадостей, какие делаете вы. Женщина не может там лицемерить, где лицемерите вы, не может смотреть сквозь пальцы на те низости, на которые вы смотрите. В ней есть довольно благородства для того, чтобы сказать всё это, не осматриваясь по сторонам, понравится ли это кому-либо, или нет, — потому что это нужно говорить. Что подло, то подло, как вы ни скрывайте его и какой ни давайте вид. Это подло, подло, подло!

Муж первой дамы. Да вы, я вижу, рассердились во всех отношениях.

Вторая дама. Потому что я откровенна и не могу вынести, когда говорят неправду.

Муж первой дамы. Ну, не сердитесь же, дайте мне вашу ручку. Я пошутил.

Вторая дама. Вот вам рука моя, я не сержусь. (*Обращаясь к N.*) Послушайте, посоветуйте автору, чтобы он вывел в комедии благородного и честного человека.

Господин N. Да как же это сделать? Ну, если он выведет честного человека, а этот честный человек будет похож на театрального рыцаря.

Вторая дама. Нет, если он сильно и глубоко чувствует, то герой его не будет театральным рыцарем.

Господин N. Да ведь я думаю, это не так легко сделать.

Вторая дама. Просто, скажите лучше, что у автора вашего нет глубоких и сильных движений сердечных.

Господин N. Отчего ж так?

Вторая дама. Ну, да уж кто беспрестанно и вечно смеется, тот не может иметь слишком высоких чувств; ему не может быть знакомо то, что чувствует одно только нежное сердце.

Господин N. Вот хорошо! Стало быть, по-вашему, автор не должен быть благородный человек?

Вторая дама. Ну, вот видите, вы сейчас перетолковываете в другую сторону. Я не говорю ни слова о том, чтобы у комика не было благородства и строгого понятия о чести во всем смысле слова. Я говорю только, что он не мог бы... выронить сердечную слезу, любить что-нибудь сильно, всей глубиной души.

Муж второй дамы. Но как же ты можешь сказать это утвердительно?

Вторая дама. Могу, потому что знаю. Все люди, которые смеялись или были насмешниками, все они были самолюбивы, все почти эгоисты. Конечно, благородные эгоисты, но все же эгоисты.

Господин N. Стало быть, вы решительно предпочитаете только тот род сочинений, где действуют одни высокие движенья человека?

Вторая дама. О, конечно! Я их всегда поставлю выше, и признаюсь, я больше имею душевной веры к такому автору.

Муж первой дамы (обращаясь к господину N.). Ну, разве ты не видишь: выходит опять то же. Это женский вкус. Для них самая пошлая трагедия выше самой лучшей комедии, уж потому только, что она трагедия...

Вторая дама. Молчите, я опять буду зла. *(Обращаясь к N.)* Ну скажите, не правду ли я сказала: ведь у комика душа непременно должна быть холодная?

Муж второй дамы. Или горячая, потому что раздражительность характера возбуждает тоже к насмешкам и сатирам.

Вторая дама. Ну, или раздражительная. Но что же это значит? Это значит, что причи-

ною таких произведений всё же была желчь, ожесточение, негодование, может быть, и справедливое во всех отношениях. Но нет того, что бы показывало, что это порождено высокой любовью к человечеству... словом, любовью. Не правда ли?

Господин N. Это правда.

Вторая дама. Ну, скажите: похож автор комедии на этот портрет?

Господин N. Как вам сказать? Я не знаю так коротко его, чтобы мог судить о душе его. Но, соображая всё, что я о нем слышал, он точно должен быть или эгоист, или очень раздражительный человек.

Вторая дама. Ну, видите ли, я это хорошо знала.

Первая дама. Не знаю почему, но мне бы не хотелось, чтобы он был эгоистом.

Муж первой дамы. А вот идет наш лакей, стало быть, — карета готова. Прощайте. (*Пожимая руку второй дамы*). Вы к нам, не правда ли? Чай пьем у нас?

Первая дама (уходя). Пожалуйста!

Вторая дама. Непременно.

Муж второй дамы. Кажется, наша карета

тоже готова. (*Уходят за ними*).

Выходят двое зрителей.

Первый. Вот что растолкуйте мне: отчего, разбирая порознь всякое действие, лицо и характер, видишь: всё это правда, живо взято с натуры, а вместе кажется уже чем-то громадным, преувеличенным, каррикатурным, так что, выходя из театра, невольно спрашиваешь: неужели существуют такие люди? А между тем ведь они не то чтобы злодеи.

Второй. Ничуть, они вовсе не злодеи. Они именно то, что говорит пословица: «не душой худ, а просто плут».

Первый. И потом еще одно: это громадное накопление, это излишество, не есть ли уже недостаток комедии? Скажите мне, где есть такое общество, которое бы состояло всё из таких людей, чтобы не было если не половины, то, по крайней мере, некоторой части порядочных людей? Если комедия должна быть картиной и зеркалом общественной нашей жизни, то она должна отразить её во всей верности.

Второй. Во-первых, по моему мнению, эта комедия вовсе не картина, а скорее фронтис-

пис. Вы видите — и сцена, и место действия идеальны. Иначе автор не сделал бы очевидных погрешностей и анахронизмов, не вставил бы даже иным лицам тех речей, которые, по свойству своему и по месту, занимаемому лицами, не принадлежат им. Только первая раздражительность приняла за личность то, в чем нет и тени личности, и что принадлежит более или менее личности всех людей. Это сборное место. Отовсюду, из разных углов России стеклись сюда исключения из правды, заблуждения и злоупотребления, чтобы послужить одной идее: произвести в зрителе яркое, благородное отвращение от многого кое-чего низкого. Впечатление еще сильнее оттого, что никто из приведенных лиц не утратил своего человеческого образа; человеческое слышится везде. Оттого еще глубже сердечное содроганье. И, смеясь, зритель невольно оборачивается назад, как бы чувствуя, что близко от него то, над чем он посмеялся, и что ежеминутно должен он стоять на страже, чтобы не ворвалось оно в его собственную душу. Я думаю, забавней всего слышать автору упреки: зачем лица и герои его не привлека-

тельны, тогда как он употребил всё, чтобы оттолкнуть от них. Да если бы хотя одно лицо честное было помещено в комедию, и помещено со всей увлекательностью, то уже все до одного перешли бы на сторону этого честного лица и позабыли бы вовсе о тех, которые так испугали их теперь. Эти образы, может быть, не мерещились бы беспрестанно, как живые, по окончании представленья; зритель не унес бы грустного чувства и не говорил бы: неужели существуют такие люди?

Первый. Да. Ну это, однакоже, не вдруг поймут.

Второй. Весьма естественно. Смысл внутренний всегда постигается после. И чем живее, чем ярче те образы, в которые он облекся, и на которые раздробился, тем более останавливается всеобщее внимание на образах. Только сложивши их вместе, получишь итог и смысл создання. Но разбирать и складывать такие буквы быстро, читать по верхам и вдруг, не всякий может. А до тех пор долго будут видеть одни буквы. И вы увидите, вот я вам говорю это вперед: прежде всего рассердится всякий уездный городишка в России, и

будет утверждать, что это злая сатира, пошлая, низкая выдумка, направленная именно на него. *(Уходят).*

Один чиновник. Это пошлая, низкая выдумка, это сатира, пасквиль!

Другой чиновник. Теперь, значит, уж ничего не осталось. Законов не нужно, служить не нужно... Вицмундир, вот который на мне, — его, значит, нужно бросить: он уж теперь тряпка.

Бегут двое молодых людей.

Один. Ну, все рассердились. Я уж столько наслышался толков, что могу, взглянувши, угадать, что каждый думает о пьесе.

Другой. Ну что думает вот этот?

Первый. Вот тот, который надевает шинель в рукава?

Другой. Да.

Первый. Вот что он думает: «за такую комедию тебя бы в Нерчинск!..» Однакож, тронулось, кажется, верхнее население: водевиль, как видно, кончился. Сейчас нахлынут разночинцы. Уйдем! *(Оба уходят).*

(Шум увеличивается; по всем лестницам раздается беготня. Бегут армяки, полушубки,

чепцы, немецкие долгополые кафтаны купцов, треугольные шляпы и султаны, шинели всех родов: фризковые, военные, подержанные и щегольские с бобрами. Толпа сталкивает господина, надевающего в рукав шинель; господин посторонивается и продолжает надевать ее в стороне. Показываются в толпе господа и чиновники всех родов и сортов. Лакеи в ливреях прочищают для барынь дорогу. Слышен бабий крик: «Батюшки, припихнули со всех сторон!»)

Молоденький чиновник уклончивого свойства (подбегая к господину, надевающему шинель). Ваше превосходительство, позвольте, я вам подержу!

Господин в шинели. А, здравствуй! Ты здесь? Пришел смотреть?

Молоденький чиновник. Да-с, ваше превосходительство, забавно подмечено.

Господин в шинели. Вздор! Ничего нет забавного!

Молоденький чиновник. Это правда, ваше превосходительство, совсем ничего нет.

Господин в шинели. За эдакие вещи нужно сечь, а не хвалить.

Молоденький чиновник. Это правда, ваше превосходительство!

Господин в шинели. Вот, пускают молодых людей в театр. Много полезного вынесут! Вот и ты: теперь уж, чай, придешь в канцелярию, прямо грубить станешь?

Молоденький чиновник. Как можно, ваше превосходительство!.. Позвольте, я вам прочищу дорогу вперед! (*Народу, толкая того и другого*). Эй, вы, посторонитесь, генерал идет! (*Подходя с необыкновенным учтивством к двум щегольски одетым*). Господа, сделайте милость, позвольте пройти генералу!

Хорошо одетые (посторониваясь и давая дорогу):

Первый. Не знаешь, какой генерал? Должен быть какой-нибудь известный?

Второй. Не знаю, я никогда не видывал его.

Чиновник разговорчивого свойства (подхватывая сзади). Просто, статский советник; по месту только числится в четвертом классе. Каково счастье? В пятнадцать лет службы Владимира, Анну, Станислава, 3000 рублей жалованья, две тысячи столовых, да от сове-

та, да от комиссии, да еще по департаменту.

Господа хорошо одетые (один другому). Уйдем! (*Уходят*).

Чиновник разговорчивого свойства. Должны быть матушкины сынки. Чай, в иностранной коллегии служат. Я не люблю комедий; на мой вкус больше нравятся трагедии. (*Уходит*).

Голос из толпы. Эк народу навалило!

Офицер (пробираясь с дамой под руку). Эй, вы, бороды, что напираете? Разве не видишь: дама!

Купец (с дамой под руку). У самих, батюшка, дама.

Голос из толпы. Вот она поворотилась, видишь, видишь? еще теперь подурнела, но года три тому назад...

Разные голоса. Да три гривны, слышь ты, взял с него сдачи. Подлая, скверная пиеса! Забавная пиеска! Ты, что лезешь в самое горло!

Голос в одном конце толпы. Всё это вздор! Где могло случиться такое происшествие? Этакое происшествие могло только разве случиться на Чукотском острове.

Голос в другом конце. Ну, вот точь-в-точь

эдакое событие было в нашем городке. Я подозреваю, что автор если не был сам там, то, вероятно, слышал.

Голос купца. Оно вот изволите видеть. Оно здесь больше, так сказать, с маральной стороны. Конечно, бывают, так сказать, всякие-с. Да ведь и то изволите посудить, что и честный человек, случаем придется... А на счет маральности, так и за дворянами это водится.

Голос господина поощрительного свойства. Должен быть бестия, пройдоха сочинитель, всё изведаль, всё знает.

Голос сердитого чиновника, но, как видно, опытного. Что он знает? чорта он знает. И врет он, врет: всё это, что ни написал он, всё враки. И взятки не так берут, уж если пошло на то...

Голос другого чиновника из толпы. Да что вы говорите: смешно, смешно! Знаете ли, отчего смешно? Ведь это всё личности. Ведь это всё он вывел своих бабушек да тетушек. Вот отчего это смешно!

Неизвестный голос. Стой, украли платок!

Два офицера, узнавшие друг друга, переговариваются через толпу.

Первый. Мишель, ты туда?

Второй. Туда.

Первый. Ну, и я там.

Чиновник важной наружности. Я бы все запретил. Ничего не нужно печатать. Просвещением пользуйся, читай, а не пиши. Книг уж довольно написано, больше не нужно.

Голос в народе. Что ж, коли подлец, то и подлец. Не будь подлецом, то и не будут над тобой смеяться.

Красивый и плотный господин (говорит с жаром невзрачному и низенькому). Нравственность, нравственность страждет, вот что главное!

Господин низенький и невзрачный, но ядовитого свойства. Да ведь нравственность вещь относительная.

Красивый и плотный господин. Что вы разумеете под именем относительная?

Невзрачный, но ядовитого свойства господин. То, что нравственность всякий меряет относительно к себе. Один называет нравственностью снятие ему шляпы на улице; другой называет нравственностью смотренье сквозь пальцы на то, как он ворует; третий

называет нравственностью услуги, оказываемые его любовнице. Ведь обыкновенно как говорит всякий из нашей братии своим подчиненным? Свысока говорит: «Милостивый государь, старайтесь исполнить свой долг относительно бога, государя и отечества», а ты, мол, уж там себе разумеешь относительно чего. Впрочем, это так только в провинциях водится; в столицах этого не бывает, не правда ли? Тут если и явится у кого-нибудь в три года два дома, так ведь это отчего? Все от честности, не так ли?

Красивый и плотный господин (в сторону). Скверен, как чорт, а язык, как у змеи.

Невзрачный, но ядовитого свойства господин (толкая под руку вовсе незнакомого ему человека, говорит ему, кивая на красивого господина). Четыре дома в одной улице; все рядом один возле другого, в шесть лет выросли! Каково действует честность на прозябательную силу, а?

Незнакомец (уходя поспешно). Извините, я не дослышал.

Невзрачный, но ядовитого свойства человек (толкая под руку незнакомого соседа).

Глухота-то как нынче распространилась в городе, а? Вот что значит нездоровый и сырой климат!

Незнакомый сосед. Да вот и грипп тоже. У меня все дети переболели.

Невзрачный, но ядовитого свойства человек. Да и грипп и глухота; свинка тоже в городе. *(Пропадает в толпе).*

Разговор в группе на стороне.

Первый. А говорят, что подобное происшествие случилось с самим автором: он в каком-то городке сидел в тюрьме за долги.

Господин с другой стороны группы (подхватывая речь). Нет, это было не в тюрьме, это было на башне. Это видели те, которые проезжали. Говорят, это было что-то необыкновенное. Вообразите: поэт на высочайшей башне, вокруг горы, местоположение восхитительное, и он оттуда читает стихи. Не правда, ли что здесь является какая-то особенная черта писателя?

Господин положительного свойства. Автор должен быть умный человек.

Господин отрицательного свойства. Знаю, он служил, его чуть не выгнали из службы,

просьбы не умел писать.

Просто враль. Бойкая, бойкая голова! Ему места долго не давали, так что ж вы думаете? Он прямо написал письмо к министру. Да ведь как написал, квинтильяновским манером. Одно уж то, как начал: «Милостивый государь!» — А потом и пошел, и пошел, и пошел... страниц восемь отвалил кругом. Министр как прочитал: «Ну, говорит, благодарю, благодарю! Я вижу, у тебя много врагов. Будь начальник отделения!» И прямо из писцов махнул он в начальники отделения.

Господин добродушного свойства (обращаясь к другому человеку хладнокровного свойства). Чорт его знает, кому и верить! И в тюрьме сидел, и на башню лазил, и выгнали из службы, и место дали!

Господин хладнокровного свойства. Да ведь это всё говорится экспромптом.

Господин добродушного свойства. Как экспромптом?

Господин хладнокровный. Так. Ведь они еще за две минуты не знают сами, что услышат от себя. Язык у них без ведома хозяина вдруг брякнет новость, а хозяин и рад, возвра-

щается домой, как будто бы наелся. А на другой день он уж и позабыл о том, что сам выдумал. Ему кажется, что он услышал от других и пошел передавать её по городу всем.

Господин добродушный. Это, однакоже, бессовестно: лгать и не чувствовать самому.

Господин хладнокровный. Да есть и чувствительные. Есть такие, которые чувствуют, что лгут, но считают уже надобностью для разговора: красно поле рожью, а речь ложью.

Дама среднего света. Но только какой злой насмешник должен быть этот автор! Я, признаюсь, ни за что бы не хотела попасться ему на глаза. Этак он вдруг заметит во мне смешное.

Господин с весом. Я не знаю, что это за человек? Это, это, это... Для этого человека нет ничего священного: сегодня он скажет такой-то советник не хорош, а завтра скажет, что и бога нет. Ведь тут всего только один шаг.

Второй господин. Осмеять! Да ведь со смехом шутить нельзя. Это значит разрушить всякое уважение, вот что это значит. Да ведь меня после этого всякий прибьет на улице,

скажет: «Да ведь над вами смеются; а на тебе такой же чин, так вот тебе затрещина!» Ведь это вот что значит.

Третий господин. Еще бы! Это сурьезная вещь! говорят: безделушка, пустяки, театральное представление. Нет, это не простые безделушки; на это обратить нужно строгое внимание. За эдакие вещи и в Сибирь посылают. Да, если бы я имел власть, у меня бы автор не пикнул. Я бы его в такое место засадил, что он бы и света божьего не взвидел.

Появляется группа людей, бог весть, какого свойства, впрочем благородной наружности и прилично одетых.

Первый. Постоимте лучше здесь, покамест выйдет толпа. Ну что это, право? затевать шум, рукоплесканье, как будто бы бог знает что! Безделка, какая-нибудь пустая театральная пиеса, и подымать такую тревогу, кричать, вызывать автора — ну, что это такое!

Второй. Однакож пиеса повеселила, развлекла.

Первый. Ну да, повеселила, как обыкновенно веселит всякая безделка. Но зачем же из-за этого такие крики, толки? рассуждают, как

будто о какой-нибудь важной вещи, аплодируют... Ну, что это такое! Ну, я понимаю, если бы какая-нибудь певица, или танцовщица, ну, там я понимаю. Там удивляешься искусству, гибкости, проворству, природному таланту. Ну, а здесь что? кричат: литератор! литератор! писатель! Да что такое писатель? Что иной раз попадетса остроумное словцо, да спишет кое-что с натуры... Да что же здесь за труд? Что ж тут такого? Ведь это всё побасенки и больше ничего.

Второй. Да, конечно, вещь не важная.

Первый. Рассудите: ну, танцор, например, — там всё-таки искусство, уж этого никак не сделаешь, что он делает. Ну, я, например: да у меня, просто, ноги не подымутся. Ну, сделай я антраша — не сделаю ни за что. А ведь писать можно, не учившись. Я не знаю, кто такой автор, но мне сказывали, что он невежа совершенный, ничего не знает, его откуда-то, кажется, выгнали.

Второй. Но, однакож, всё-таки что-нибудь он должен знать; без этого нельзя писать.

Первый. Да помилуйте, что ж он может знать? Вы сами знаете, что такое литератор?

Пустейший человек! Это всему свету известно, ни на какое дело не годится. Уж их пробовали употреблять, да бросили. Ну, посудите сами, ну что такое они пишут? Ведь это всё пустяки, побасенки. Захоти, я сей же час это напишу, и вы напишете, и он напишет, и всякий напишет.

Второй. Да, конечно, почему ж и не написать. Будь только капля ума в голове, так уж и можно.

Первый. Да и ума не нужно. Зачем тут ум? Ведь это всё побасенки. Ну, если бы еще была, положим, какая-нибудь ученая наука, какой-нибудь предмет, которого еще не знаешь, — а ведь это что такое? Ведь это всякий мужик знает. Это всякий день увидишь на улице. Садись только у окна, да записывай всё, что ни делается, вот и вся штука!

Третий. Это правда. Как подумаешь, право, на какой вздор употребляют время!

Первый. Именно, трата времени — больше ничего. Побасенки, пустяки! Просто бы нужно запретить давать им перо и чернила в руки. Однакож, народ выходит, пойдете! Подымать шум, кричать! поощрять! а дело, просто,

вздор! Побасенки, пустяки, побасенки! (*Уходят. Толпа редет, бегут кое-какие оставшиеся*).

Добродушный чиновник. А всё бы, право, ну что бы хоть одного честного человека выставить. Всё плуты да плуты.

Один из народа. Слышь ты, жди меня на перекрестке. Я забегу возьму рукавицы.

Один из господ (смотря на часы). Однако, скоро час. Никогда я так поздно не выходил из театра. (*Уходит*).

Отставший чиновник. Только время даром пропало! Нет, никогда больше не пойду в театр! (*Уходит; сени пустеют*).

Автор пьесы (выходя). Я услышал более, чем предполагал. Какая пестрая куча толков! Счастье комику, который родился среди нации, где общество еще не слилось в одну недвижимую массу, где оно не облеклось одной корой старого предрассудка, заключающего мысли всех в одну и ту же форму и мерку, где что человек, то и мнение, где всякий сам создатель своего характера. Какое разнообразие в этих мнениях, и как везде блеснул этот твердый, ясный русский ум! И в сем бла-

городном стремленьи государственного мужа! И в сем высоком самоотверженьи забившегося в глушь чиновника! И в нежной красоте великодушной женской души! И в эстетическом чувстве ценителей! И в простом верном чутье народа! Как даже в сих недоброжелательных осуждениях много того, что нужно знать комику! Какой живой урок! Да, я удовлетворен. Но отчего же грустно становится моему сердцу? Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пиесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во всё продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — смех. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на то, что доставил обидное прозвание комику, прозвание холодного эгоиста, и заставил даже усумниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за этот смех. Я комик, я служил ему честно и потому должен стать его заступником. Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, кото-

рый порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы людей, — но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из неё потому, что на дне её заключен вечно-биющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без пронизывающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти каррикатурной силе, и он не вскрикнул бы, содрогаясь: неужели есть такие люди? тогда как, по собственному сознанию его, бывают хуже люди. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Много бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно уже примиренье в душу. И тот, кто бы понес мщение противу злобного человека, уже почти мирится с ним,

видя осмеянными низкие движенья души его. Несправедливы те, которые говорят, что смех не действует на тех, противу которых устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выведенным на сцену: плут-потомок посмеется, но плут-современник не в силах посмеяться! Он слышит, что уже у всех остался неотразимый образ, что одного низкого движенья с его стороны достаточно, чтобы этот образ пошел ему в вечное прозвище; а насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко-добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха: что смешно, то низко, говорит свет; только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому только дают название высокого. Но боже! Сколько проходит ежедневно людей, для которых нет во все высокого в мире! Всё, что ни творилось вдохновеньем, для них пустяки и побасенки; созданья Шекспира для них побасенки, святые движенья души — для них побасенки. Нет, не оскорбленное мелочное самолюбье писателя заставляет меня сказать это, не по-

тому, что мои незрелые, слабые создания были сейчас названы побасенками. Нет, я вижу свои пороки и вижу, что достоин упреков. Но не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннейшие творения честились именами пустяков и побасенок, когда все светила и звезды мира признавались творцами одних пустяков и побасенок! Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало в небесные слезы глубоко-любящую душу, и не коснел язык их произнести свое вечное слово: побасенки! Побасенки!.. А вон протекли веки, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось всё, что было, а побасенки живут и повторяются поныне, и внемлют им мудрые цари, глубокие правители, прекрасный старец, и полный благородного стремленья юноша. Побасенки!.. А вон стонут балконы и перилы театров; все потряслось снизу доверху, превра-

тясь в одно чувство, в один миг, в одного человека, все люди встретились, как братья, в одном душевном движении, и гремит дружным рукоплесканьем благодарный гимн тому, которого уже пятьсот лет как нет на свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? Отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни? Побасенки!.. А вон, среди сих же рядов потрясенной толпы, пришел удрученный горем да невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять отчаянно на себя руку, и брызнули вдруг свежительные слезы из его очей, и вышел он примиренный с жизнью и просит вновь у неба горя и страданий, чтобы только жить и залиться вновь слезами от таких побасенок. Побасенки!.. Но мир задремал бы без таких побасенок, обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души. Побасенки!.. О, да пребудут же вечно святы в потомстве имена благосклонно внимавших таким побасенкам. Чудный перст провиденья был неотлучно над главами творцов их. В минуты даже бед и гонений всё, что было благороднейшего в государствах, становилось прежде всего их заступником: венчан-

ный монарх осенял их царским щитом своим с вышины недоступного престола.

Бодрей же в путь! И да не смутится душа от осуждений, но да примет благодарно указанья недостатков, не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей в высоких движеньях и в святой любви к человечеству! Мир, как водоворот: движутся в нем вечно мненья и толки, но всё перемалывает время. Как шелуха, слетают ложные и, как твердые зерна, остаются недвижимые истины. Что признавалось пустым, может явиться потом вооруженное строгим значеньем. Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечной могучей любви. И почему знать, может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастьи, а слабый возрастает, как исполин, среди бед, в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!..

Альфред

Действие I.

Народ толпится на набережной.

Один из народа. Ай, что ты так теснишь! Пустите хоть душу на покаянье!

Другой из народа. Да посторонитесь ради бога!

Голос третий. Эх, как продирается! Чего тебе? Ну, море, вода, больше ничего. Что, не видел никогда? Думаешь, так прямо и увидишь короля?

<Туркил>. Ну, теперь, как бог даст, авось будет лучшее время, когда приедет король. Вот не прогонит ли собак-датчан?

— Ты откудава, брат?

Туркил. Из графства Гертинга. Томс Туркил. Сеорл.

— Не знаю.

<Туркил>. Бежал из Колдингама.

— Знаю. Где монахинь сожгли. Ах, страх там какой! Такого нехристианства и от жидов, что распяли Христа, не было.

Женщина из толпы. А что же там было?

— А вот что. Когда узнали монахини, что

уже подступает Ингвар с датчанами, которые, тетка, такой народ, что не спустят ни одной женщине, будь хоть немного смазлива... дело женское... ну, понимаешь... Так игуменья — вот святая, так точно святая! — уговорила всех монахинь и сама первая изрезала себе всё лицо. Да, изуродовала совсем себя. И как увидели эти звери — нет хороших лиц, так его не оставили и пережгли огнем всех монахинь.

Голос. Боже ты мой!

Голос в толпе. Эх, англо-саксы...

Другой. Сильный народ проклятый.

— Конечно, нечистая сила.

— Что, как <в> вашем графстве?

— Что в нашем графстве? Вот я другой месяц обедни не слушал.

— Как?

— Все церкви пусты. Епископа со свечой не сыщешь.

— От датчан дурно, а от наших еще хуже. Всякий тан подличает с датчанином, чтоб больше земли притянуть к себе. А если какой-нибудь сеорл, чтоб убежать этой проклятой чужеземной собачьей власти, и поддастся

В покровитель<ство> тану, думая, что если платить повинности, то уже лучше своему, чем чужому, — еще хуже: так закабалят его, что и бретон так<ого> рабства не знал.

— Ну, наконец, мы приободримся немного. Теперь у нас, говорят, будет такой король, как и не бывало — мудрый, как в Писании Давид.

— Отчего ж он не здесь, а за морем?

Другой. А где это за морем?

— В городе в Риме.

— Зачем же там он?

— Там он обучался потому, что умный город, и выучился, говорят, всему-всему, что ни есть на свете.

Другой голос. Какой город, ты сказал?

— Рим.

<*Другой голос*>. Не знаю.

— Рима не знаешь? Ну, умен ты!

Другой. Да что это Рим? Там, где святейший живет?

— Ну, да, кон<ечно>. Пресвятая дева! Если бы мне довелось побывать когда-нибудь в Риме! Говорят, город больше всей Англии и дома из чистого золота.

Дру<гой голос>. Мне не так Рим, как бы хо-

телось увидеть папу. Ведь посуди ты: [выше] уж нет никого на свете, как папа, — и епископ и сам король ниже папы. Такой святой, что какие ни есть грехи, то может отпустить.

— Вот слышишь ли кто-то говорит, что видел папу.

Голос народа на другой стороне. Ты видел папу?

Брифрик из толпы. Видел.

— Где ж ты его видел?

<Брифрик>. В самом Риме.

<Голоса>. Ну, как же? — Что он? — Какой?

Народ сталкивается в ту сторону.

Голоса. Да пустите! — Ну, чего вы лезете? — Не слышали рассказов глупых?

Брифрик. Я расскажу по порядку, как я его видел... Когда тетка моя Маркинда умерла, то оставила мне все<го> только половину hudes земли. Тогда я сказал себе: «Зачем тебе, Брифрик, сын Квикельма, обрабатывать землю, когда ты можешь оружием добиться чести?» Сказавши это себе, я поехал кораблем к французскому королю. А французский король набирал себе дружину из людей самых сильных, чтобы охраняли его в случае сражения

или когда выедет куда, то и они бы выезжали, чтобы, если посмотреть <?>, так хороший вид был. Когда я попросился, меня приняли. Славный народ! Латы лучше не в сто мер наших. Кольчуги такие ж, как и у нас, только не все железные. В одном месте, смотришь, — ряд колец медных, а в другом есть и серебряные. Меч при каждом, стрел нет, только копья. Топор больше, чем в полпуда — о, куды больше! а железо такое острое<?> — то, что у старого Вульфинга на бердыше, ни к чорту не годится!

Вульфинг из толпы. Знай себя!

<Брифрик>. Вот мы отправились с французским королем в Рим, что<б> папе почтение отдать. Город такой, что никак нельзя рассказать. А дома и храмы божи не так, как у нас строятся, что крыши востры, как копье, а вот круглые — совсем как бы натянутый лук, и спиц<ев> сов<сем> нет. А столпы везде, и так много и резьбы и золота, великолепие такое!.. — так и ослепило глаза. Да, теперь насчет папы скажу. В один вечер пришел товарищ мой, немец Арнуль. Славный воин! Перстней у него и золотых крестов, добытых на войне,

куча, и на гитаре так славно играет... «Хочешь», говорит, «видеть папу?» — «Ну, хочешь». — «Так смотри же, завтра я приду к тебе пораньше. Будет сам папа служить». Пошли мы с Арнулем. Народу на улице — боже ты мой! — больше, чем здесь. Римлянки и римляне в таких нарядах!.. — так и ослепило глаза. Мы протолкались на лучшее место, но и то, если бы я немножко был ниже, то ничего бы не увидел за народом. Прежде всех пошли мальчишки лет десяти со свечами, в вышитых золотом [платьях], и как вышли они — так и ослепило глаза. А ход-то, весь ход! Ход был выстлан красным сукном. Красным-красным, вот как кровь... Ей богу, такое красное сукно, какого я и не видал. Если бы из это<го> сукна да мне верхнюю мантию, то вот, говорю вам перед всеми, то не только бы свой новый шлем, что с камнем и позолотою, который вы знаете, но если бы прибавить к этому ту збрую, которую пром<енял?> Кенфус рыжий за гнедого коня, да бердыш и рукавицы старого Вульфинга и еще коня в придачу — ей богу, не жаль бы за эту мантию! Красная-красная, как огонь!..

Голос в народе. Чорт знает что! Ты рассказывай об папе, а какая нужда до твоих мант-тий!

Вульфинг из толпы. Хвастун! Расхвастался!

Брифрик. Сейчас. Вот вслед за ребятами пошли те... как их? Они с одной стороны сдают на епископов, только не епископы, а так, как наши таны или бароны в рясах... Не помню, шепелявое какое-то имя. То эти все таны или епископы, как вышли — так и ослепили глаза. А как показался сам папа, то такой блеск пошел — так и ослепил глаза. На епископах-то, всё серебряное, а на папе золотое. Где епископы выступают — там серебряный пол, а где папа — там золотой. Где епископы стоят — там серебряный пол, а где папа — там золотой...

Голос из толпы. Бровинг! Корабль! Ей богу, корабль!

Все бросаются, Брифрик первый, и теснятся гуще около набережной.

Голоса в толпе. Да ну, стой, ради бога! — Задави<ли> — Да дайте хоть назад выбраться!

Голос женщины. Ай, ай! Косолапый медведь! Руку выломил! Ой, пропусти! Кто во

Христа верует, пропустите!

Брифрик (оборачиваясь). Чего лезешь на плечи? Разве я тебе лошадь верхо<вая>? Где ж король? Где ж корабль? Экая теснота!

Голос в народе. Да нет корабля никакого!

— Кто выдумал, что король едет?

— Да кто же? Ты говорил!

— И не думал.

— Да кто ж сказал, что король?

— Джон Шпинг сказал, что король едет.

— Эй, Шпинг, зачем ты сказал, что король едет?

<Шпинг>. Ей богу, любезный народ, совсем было похоже на корабль.

— Вперед молчи, дурак, если не хочешь сам поплыть.

Старуха (пролезая вперед). Нашли чего толкаться! И куды? Ведь никого нет.

Брифрик. А, Кудред! Откудова, приятель?

<Кудред>. Из дому.

<Брифрик>. Короля видеть пришел?

<Кудред>. И побольше, чем видеть.

<Брифрик>. А что еще?

<Кудред>. Жалобу прямо самому королю.

<Брифрик>. На кого?

<Кудред>. На королевского тана Этельбальда.

<Брифрик>. Ты шутишь, братец?

<Кудред>. Нет, не шучу.

Голоса в народе. Вишь, на Этельбальда жалуется! — Он сошел с ума! — Да он ведь сильнее всех в королевстве! — Войска и богатства у него больше, чем у короля.

Эгберт. Кто несет жалобу на Этельбальда, тот подай мне руку. Хоть ты и простой сеорл, а я тан, но я пожимаю, потому что ты честный человек и англо-сакс. Я тебе буду помогать.

Брифрик. За что ж жалуешься?

<Кудред>. За что? Этельбальд, хоть и королевских танов всех старше, но подлец и мошенник. Когда датчане ворвались в Вессекс и начали грабить, я прибегнул к нему, свинье. Думал, он богач и столько имеет земли, что зачем ему бы обижать меня. Я обещался ему, если надобность, первы<м> явиться в его войско и лошадь привести свою и всё вооружение мое. А он, мошенник, как только датчане ушли, совсем зачислил меня в свои рабы. За что я должен ему мостить чортовский мост к

его замку и на моих двух лошадях, самых благородных, возить фашинник? А теперь, когда я отлучился по надобности в графство Гексгам, он взял мою собственную землю, родительскую землю, которой было у меня больше 2 гидес, и отдал в лен какому <-то>, а мне отдал двенадцать шагов песчанику за кладбищем. — «Вот тебе», говорит, «земля». Да разве я, старый плут, раб твой? Я вольный. Я сеорл. Я, если бы только захотел, прикупил еще два hudes земли, да выстроил церковь и дом, я бы сам был таном. Никто по законам англосакским не может обидеть и закабалить вольного человека. Разве я сделал какое преступление?

<Брифрик>. Да ходил ли ты с жалобой в ваш ширгемот?

<Кудред>. Подлецы все! Держут его сторону.

<Брифрик>. Ну да всё-таки, как же порешили?

<Кудред>. Вот на тебе бумагу, если ты прочтешь.

<Брифрик>. Что ты! Э, так у вас судьи пишут? Слышь ты, народ, писанная бумага! У

нас во всем ширстве, да и во всем Вессексе ни один шир, ни алдерман не умеют писать. Вишь ты какие каракульки. Тут где-нибудь должно быть *АВС*... Я уж знаю, меня было начинал учить один церковник.

Туркил (Вульфингу). Я думаю, нет мудренее науки, как письмо.

<Вульфинг?>. Попы всё-таки прочтут.

Брифрик (обращаясь к Киссе). Высокородный тан, почти-ка. Ты, верно, знаешь?

Кисса. Поди прочь! Я тебе не поп.

Гунтинг. Давай, я прочту.

Туркил. Кто он?

Вульфинг. Не знаю.

Голос. Это, видишь, тот, что был школь<ным> учителем. Да теперь датчане разорили школу.

<Гунтинг> (читает). «Да будет ведомо: в Schirgemot Агельмостане, в графстве Герсфорте, во время царствования Этельреда, где...»

— А, при покойном короле! Храбрый был король, всю жизнь бился с этими мерзкими<?> датчанами.

<Гунтинг> (продолжает). «...где заседали:

Дунстан епископ, Кеолрик алдерман, Варвик — его сын, и Эсквин — сын Пентвина и Туркил косоглазый, как комиссары короля заседали»...

Вульфинг. Слышишь, Туркил? Это ты?

Туркил. Разве я косоглазый?

<Гунтинг> (продолжает): «...в присутствии Брининга шерифа, Ательварда де Фрома, Леофина де Фрома черного, Годрига де Штока и всех танов графства Герефорта, Кудред — сын Эгвинов — представил суду против высо<ко>родного графа и королевского тана в том, что якобы он, Кудред, от него, выс<о>кородного графа Этельбальда...»

(В народе крик и давка). Пусти, пусти! — Куда теперь сторониться! — Батюшки, батюшки, тресну! Со всех сторон придавили!

Высокий (болтает вверху руками). Чего эти бабы лезут, желал <бы я знать.> <?>.

Брифрик. Чего народ лезет? *(Продирается).*

— Да взбеленился просто, никого нет. Какой-то дурак опять пронес, что корабль показался.

Кудред (кричит). Бумагу, бумагу, бумагу дай! Экой трус, изорвал...

Кисса. Да кто сказал, что король едет?

<Голоса>. Я не говорил. — Я не говорил. —
Опять верно Шпинг.

Шпинг. Нет, высокородный тан, и языком не воротил.

Брифрик. Ей богу, глупый народ! Ну что, хоть бы и в самом деле был корабль.

Вульфинг. А сам, небось, первый полез.

Брифрик. Что ж! Только посмотреть.

Один из народа. Вот таны поехали на лошадях. Это верно встречать короля.

Рыцарь на лошади. Дорогу, дорогу! Народ, посторонись!

<Эгберт>. Кому дорогу?

<Рыцарь на лошади>. Посторонись, говорят тебе! Дорогу висо<кородному> королевскому тану Этельбальду.

Эгберт. Отнеси ему эту пощечину. (*Бьет его и убегает*).

Рыцарь (кричит). Мы увидимся, проклятый длиннорукий чорт!

<Вульфинг>. Вон поехал граф Эдвиг. Видел?

<Туркил>. Видел. Славное вооружение.

<Вульфинг>. Вон Этельбальд. Гляди, какой около него строй стоит — в толпе рыцарей,

как в лесу. Эх, как одеты славно! Какие кирасы, щиты! Ей богу, если б хотели, побили датчан.

Туркил. Отчего ж не хотят?

<Вульфинг>. А так. Сами держат руку неприятелей.

<Туркил>. Ну, вот!

<Вульфинг>. Почему ж не побить? Ведь наших впятеро будет больше, если собрать всех саксонов, а англов-то одних всадников будет на всю дорогу от Лондона до Йорка! А датчан всех-на-всех трех тысяч не будет.

<Туркил>. Э, любезный приятель мой! Как твое имя? Вульфинг?

<Вульфинг>. Вульфинг.

<Туркил>. Так будем приятелями, Вульфинг.

<Вульфинг>. Вот тебе рука моя.

<Туркил>. Не говори этого, любезный Вульфинг. Им помогает нечистая сила, тот самый сатана, о котором читал нам в церкви священник, что искушает людей. Они, брат, и море заговаривают. Вдруг из бурн<ого> делается тихо, как ребенок, а захотят — начнет выть, как волк. Наши всадники давно бы со-

владали с ними...

<Вульфинг>. Народ опять затеснился. Да и сами таны махают шапками. Посмотрим, верно, король наконец едет.

Голос в народе. Ну, теперь корабль, так корабль!

Туркил. Опять пошла теснота!

Голо<с>a. Корабль с тремя ветрилами. — Зачем дерешься? — Не лезь вперед!

— Вон и люди, как мухи, стоят на палубе.

— А что ж не видно короля?

— Где ж теперь его увидишь? Людей много-множество.

— Вон что-то блеснуло перед солнцем!

— Скоро идет корабль. Видно, что заморской работы! Вон как окошечки блестят. У нас таких кораблей нет.

— Это должен быть, что блестит, тан.

— Нет, вот тот больше блестит. Смотри — какой шлем, какое богатое убранство!

<Вульфинг?>. Это всё те таны, что поехали за ним в Рим с посольством.

<Туркил?>. Где ж король? Ведь король в короне.

Вульфинг. Да еще не короновался.

<Туркил?>. А, вон снял шляпу... Таны машут... Виват король!..

Весь берег (кричит). Виват, король!.. Здравствуй, король!..

— Вон снова машут... Здравствуй, король!..

Народ. Здравствуй, король!

Всадник на лошади. Расступись, народ! (Машет алеба<рдой>. Народ пятится, прижатые кричат).

<Туркил>. Что он так кричит? Кто это?

<Всадник>. Тан из Кенульф, сын Эгальдов. Тан из Медлисекса, славный воин.

Корабль подходит к самому берегу. За столпившимся народом видны только головы.

Альфред (сходя с корабля). Здравствуйте, добрые мои подданные.

<Народ>. Здравствуй, король! Виват!

(Король и свита поднимаются на лошадях на народ).

Народ. Виват! Виват, король!

Альфред. Благодарю, благодарю вас, мои добрые. Я сам не менее рад видеть вас и мою отцовскую землю Англосаксию.

Эгберт. Слышишь? Англосаксию! Он, вер-

но, не знает, что Мерси и Эст-Англ уже не наши.

Король уезжает. Таны и народ с восклицаниями тянутся за ним.

<Туркил?>. Молодец король — видный, рослый, лучше всех. Как он славно выступал, словно сокол <?> Я думаю, латы его стоят больше, чем твоя жизнь. Пойдем, посмотрим>.

<Вульфинг?> Постой! Зачем же итти? Глянь, за ними не угнаться: они на лошадях и во всю рысь поедут в Йорк.

<Туркил?> Отчего ж не в Лондон?

<Вульфинг?> Видишь, в Лондоне приготовят всё как следует, а когда приготовят, тогда и он поедет.

Эгберт (возвращаясь). Нет, я не хочу быть последним. Я такой же тан. У меня тоже было в услужении 16 танов ситкундменов. Правда, я потерял много в войну. У меня теперь нет этого. Но я защищал землю нашу. Отчего граф Эдвиг, Кенульф, не говоря уж о собаке Этельбальде, молокосос сын его, рыжебородый Киль, — почему они имеют право провожать короля в первом ряду? Отчего я должен следо-

вать еще за двумя танами? Я хотел был<о> сбить с седла копьём плута Киля, да не хотел только сделать этого при короле.

Кисса. Дьявол ему на шею! Я рад, по крайней мере, что король приехал. Датчан опять за море, завоюем опять Эст-Англию, Мерси и Нортумберланд также; хоть и разоренная страна, однакоже, есть добрые земли для скота и для пашен.

<Эгберт>. Мне король понравился — добрый молодец? Пойду к нему прямо и суну ему руку по древнему саксонскому обычаю. Скажу: «Король, вот тебе рука! При первой надобности всегда привожу 14 тебе всадников, вооруженных, с добрыми конями, и сам пятнадцатый. А надежный ли человек? Вон, гляди <?>, сколько рубцов у меня». Пойдем, Кисса, выпьем его здоровье. Эй, Кудред! Тебя обидел Этельбальд? Будь завтра в Лондоне, спроси тана Эгберта, тана из графства Сомерсетского. Меня знают.

Кудред. Ну, теперь, я думаю, король укротит немного танов.

<Вульфинг?>. Да что ж король? Ведь король не может сказать тану: «Отдай такую-то

землю, я тебе приказываю». Что скажет вите-
нагемот?

<Кудред?> Да беспорядков верно будет меньше. Что ни скажет, а всё будет лучше. По крайней мере, можно будет по дороге пройти безопасно. Чем живешь, Вульфинг?

<Вульфинг>. Один hudes земли держу от та-
на.

<Кудред?>. [Платишь хлебом?]

<Вульфинг>. Нет, еще никогда не марал
рук своих в земле.

<Кудред?> Кто ж ты?

<Вульфинг>. Пастух. Шесть десятков овец и
три десятка рогатой скотины моей собствен-
ной выгоняю на Гельгудскую пажить. Если
ты хочешь, пришлец, отдохни у меня. Ты бу-
дешь есть сыр и молоко, каких не сыщешь во
всем Вессексе. А завтра ранним утром мы от-
правимся в Лондон смотреть королевский
праздник. Гляди, чего народ опять смотрит?
Чего вы, храбрые мужи, столпились?

Голос в народе. Корабль, опять корабль!

<Кудред?>. В самом деле корабль! Что ж
это? Верно, тоже королевская свита?

Туркил. Вишь, это уже не такой! Мачта и

паруса совсем не так сделаны. Постой, рассмотреть поближе — и народ как будто не так одет.

Один из толпы (всплескивая руками). Саксонцы! Убежим, убежим!..

Кудред. Что такое?

Одна из толпы. Морской король!

<Кудред?> Нет, что ты!

<Туркил?>. Как христианин, не лгу! Разве вы не видите, что датский корабль!

<Голоса?> Ай, народ, точно — датчане! — Вон машут, чтобы остались. — Да, как бы не так! — Бежим, друзья!

Все в беспорядке убегают. Корабль виден у берега. Руальд висит на мачте.

Голос Губбо. Перекидай канат.

Руальд (сверху). Кормщик, бери ниже: там мель.

(Норманд плывет с канатом в зубах).

<Руальд>. Еще ниже. Еще ниже. А, народ проклятый! Весь разбежался! Теперь прямо. Норманд, хватай крюком!.. Стой!

Губбо выходит с корабля. Ну вот мы и в Англии. Тащите старшую лодку н<а> берег. *(Вытаскивают лодку).*

Губбо. Что, мои храбрые берсеркеры, дожидаться ли нам Ингвара или теперь налететь и окропить наши доспехи алою, как перед бурей вечерняя заря, кровью саксонцев, а?

<Воины?>. Наши копья готовы.

<Руальд>. Не лучше ли, король мой Губбо, послать проведать узнать о числе неприятеля?

<Губбо>. Это ты, Руальд, говоришь? Тебя, верно, не море пеленало. За эти слова тебя стоит вышвырнуть в море. «Какой храбрый когда спрашивает о числе?» — говорил отец мой Лодб<род>, победивший на 33 сражениях.

<Руальд>. Губбо, сын Лодбродов! Ты меня укоряешь трусостью. Когда же мы вместе с братом Гримуальдом срамили себя перед дружиною? Разве я когда-нибудь в жизни грелся у очага или спал под крышей? Разве платье мое на мачте сушилось, а не на мне?

<Губбо>. Прости, Руальд. Брат твой Гримуальд был славный воин. Мы лишились, други, храброго товарища. Великий Оден! Какая была буря и битва! Ветер оборвал во тьме наши платья и морские брызги пронзали разгоревшиеся лица наши. Клянусь моим мечом

и копьем, ничего бы не пожалел за такую участь: завидная участь! Теперь Гримуальд пирует с легионом храбрых. Сам Оден наливает ему чашу из широкого черепа и говорит ему: «А сколько ты, Гримуальд, получил ран на последней битве?» «Ран 17 и 4», отвечает ему Гримуальд. «Сильный воин! Вот тебе, Гримуальд, бессмертные лани с лоснящейся как серебро шерстью. Веселись, храбрый витязь, поражая их далеко достающим копьем». Слушай, Стемид, теперь <не> время, но когда будем пировать на покрытых пылью саксон<ских> трупах и зажжем альбионские дубы, ты спой нам песню о подвиге Гримуальда. Знаешь, какую песню? Таковую, чтобы в груди всё встрепенулось: отвага, самое бешеное веселье, и руки схватились за рукояти мечей... Но следует теперь сказать вам, мои товарищи, что мы будем делать. Англия земля хорошая: скота, пажитей и земель в ней много. В Нортумберландии и в Мерси, где уже поселились соотечественники наши, жители бедны, но здесь жилища, а более всего церкви, очень богаты, и золота в них много. Каждому достанется на золотую цепь. Мечи у англосаксов

славные. Они достают их издалека. Мы можем тут себе выбрать любые мечи и копья и всё вооружение. А еще я скажу теперь такое, что больше всего нравится, товарищи, и мне и вам: у англосаксов девы белизною лица, как наши скандинавские снега, окрапленные алой кровью молодых ланей. Но стойте, товарищи! В Англии воинов, которые станут под мечом и копьем на конях, несметное множество. Только из них Оден никого не примет в Валгал к себе, потому что они презренные христиане. Помните и то, что ныне будут наши соотечественники, и как только нападём с одной стороны, они нападут с другой... Видите ли, как тут хорошо и тепло. В нашей Скандинавии нет это<го>. Тут зимы всего только два месяца.

Руальд. Я себе отвоюю лучший замок во всей Англии. Девять десятков англосакских рабов будет прислуживать мне за чашею пиршества.

— Что, конунг Губбо, правда ли что есть где-то земли еще теплее?

<Губбо>. Есть.

— И что зимы совсем не бывает?

Губбо. Ну, этого нет — чтобы зимы совсем не было. Зима есть. Нужно, одн<ако>, попробовать. Мы с тобою, Элгад <?>, пустимся потом далее. Скучно долго жить на одном месте. Чтобы и там, по ту сторону океана, вспоминали нас в песнях. Клянусь всей моей сбруей, приедешь оттуда на вызолоченном корабле. Красная, как огонь, мантия, и весь будет убран дорогими камнями шлем. Крыло на нем будет, как вечерняя звезда, сиять. И как приеду к первой царевне в мире, скажу: «Прекрасная царевна, я, король, пришел, горя любовью к твоим голубым очам. Его рука поразила сто и сто десятков витязей, и пришел король Губбо взять тебя этою самой рукой вместе с приданным, которое приготовил тебе престарелый отец твой».

<Воины>. Виват, король Губбо!

<Губбо>. Виват и вы, товарищи! Теперь идем. Вы два, Авлуг и Ролло, оставайтесь беречь лодки. А мы — никому не спускать и насыщать кровью мечи наши, пока есть...

* * *

Альфред, окруженный танами и графами королевства. Благодарю, благодарю вас, бла-

городные таны, за ваше поздравление. Я надеюсь, что вы окажете с своей стороны мне всякую помощь разогн<ать> варварство и невежество, в котором тяготеет англосакская нация.

Граф Эдвиг. Я всегда готов. 50 вооруженных всадников всякую минуту может требовать государь.

Граф Этельвальд. Рука моя и моих 80 васалов принадлежат тебе, государь мой.

Сифред. Всякое законное требование государя готов выполнить. 20 конных и 140 пеших стрелков.

Клеобальд. В моей стране лошадей мало, но пеших сколько могу собрать...

<Альфред>. Вы ошибаетесь, друзья. Не этой помощи я требовал от вас, на которую, конечно, имею всегда право. Но я разумел о том благодетельном просвещении, которого нет в Англии. Я вас просил споспешествовать мне научить англосаксов искоренить грубость нравов, которая, как старая кора, пристала к ним.

Таны в безмолвии. Некоторые расставляют руки, рассуждая, что это значит.

Эдвиг. Как же, государь, ты говоришь, что англы и саксы грубы? Да ведь они покорили Англию!

<*Альфред*>. Ну, против этого мне ничего не остается говорить. Этот, кажется, кроме войны и думать ни о чем не хочет. Видел ли ты, Эдвиг, своего сына?

<*Эдвиг*>. Видел, государь.

<*Альфред*>. Что ж, как нашел его?

<*Эдвиг*>. Хорош малый, да чуть ли к черно-книжию не пристрастен и копьём плохо владеет.

<*Альфред*>. Нет, Эдвиг, ты должен благодарить бога за такого сына. Этот день побудь с ним, а завтра пришли ко мне. Мы с ним были друзья во всю бытность в Риме. Давно не видел я Англию. Препрежне время свое, как свой сон, помню. Ведь тут должны уцелеть еще остатки римских па<мя>тников. Существует ли та стена, которую выстроил император Константин в Лондоне, и бани близ Йорка, <выстроенные> римлянами?

<*Эдвиг?*>. Не знаю, государь, о каких ты римлянах говоришь.

<*Альфред*>. Римляне — народ, который за-

воевал Англию и которому были подвластны бритты.

<Эдвиг?>. Бритты были, это правда, а римлян, государь, никаких не было.

<Альфред>. Ты не знаешь, потому что не читал. Римляне были народ великий. Они покорили весь мир и в том числе Британь.

<Эдвиг?>. Воля твоя, король, римляне и живут в Риме. Нет, король, эта тебе солгали. У нас есть старики, которые помнят, как покорили саксы народ, которого храбрее еще никого не было. И те говорят, что были одни только бритты.

<Альфред>. Ну, об этом тоже нечего долго толковать. Хороши наши таны! Я, любезные, хочу слышать отчет об нынешнем положении государства и о всех происшествиях, бывших без меня по кончине брата моего Этельреда. Об отдыхе моем не беспокойтесь. Отдохнуть я успею. Ты, Этельбальд, так как старший в государстве и первый советник в витенагемоте, расскажи мне подробно все.

<Этельбальд>. Всё хорошо, государь. Со стороны датчан только худо. Впрочем, дорога от Йорка до Лондона поправлена и была мо-

цена всё время. Зверинец твой в исправности. Все королевские твои латы, щиты отцовские и добытые покойным братом твоим Этельредом я сохранил в исправности.

— Врет, старый мед<ведь>! Лучшее копьё стянул себе.

<Альфред>. Ты, Этельбальд, говоришь о моем хозяйстве. Это дело пустое. Я просил тебя рассказать — как государство, в каком положении.

Граф Эдвиг. В гадком положении государство. Сеорлы и бретонские рабы ничего <?> не выплачивают. Поля очень опустошены датчанами. Не на что вооружить рыцаря. Лошади мерзость.

<Альфред>. Зачем вы позволили датчанам взять Мерси; и Эст-Англию?

— Что ж делать, король. Покойный король, брат твой, храбро сражался, да сильнее перетянула сила... Они знаются с дьяволом, с ними из моря находят морские чудища.

<Альфред>. Брат мой Этельред сражался, как должно храброму доблестному саксонцу, но вы были виною, непокорность вассалов была причиною.

Сифред. Если б я имел землю в Эст-Англии или Мерси, я бы защитил ее моею рукою и руками моих вассалов, но у меня свои земли есть.

Альфред. Да умели ли вы свои защитить? Отчего по всей дороге, по которой мы ехали, пустые пажити и две развалившиеся церкви? Малолюдный гирд<?> датчан издевался над вами, а вы, хорошо вооруженные христиане, могли вынести это?

— Браво, о король! — Вот король! — Прозорлив, как горный орел!

<*Сифред?*>. Я никогда не был бесчестным и всегда готов, и если бы граф Мидл<ьсекс?> не поссорился со мною<?>, я бы не впустил датчан, и Вессекс и его бы владения спас.

<*Альфред*>. И виною вы же, вы, через свои мелкие ссоры. Мне очень не нравится это ваше феодальное обыкновение. Бог знает что такое? Всякий управляет, как ему хочется. Вышнему не повинуются, между собою несогласны. В государстве должно быть так, <как> в Римской империи: государь должен повелевать всем по своему усмотрению, как ему захочется.

Одон (потупляет глаза). Гм! Я что-то не вполне понял это. Ведь англосакский всякий тан, вольный и свободный человек, разве возьмет землю, собственность короля...

<Альфред>. Отчего я не вижу здесь ни одного епископа? Один только дряхлый старик и вышел меня встретить.

— Епископ Вессекский убит во время войны с датчанами, а Адельстан из Кента умер.

<Альфред>. И никто не позаботился о том, чтобы избрать на место!

Арвальд. Нет, король, в том нет нам укоризны. Все таны нарочно собрались, но неко-го было избрать в епископы. Не нашли тако-го, который мог бы читать святое письмо.

<Альфред>. Будто уже в Англии нет ни од-ного священника, умеющего читать? Ведь еще отцом Этельвальдом заведена была коллегия.

— Коллегии давно уж нет.

<Альфред>. Где же она?

— Сожжена датчанами.

<Альфред>. Опять датчане! Да что это за бич такой, датчане? Или Англия состоит вся из трусов или в самом деле датчане... Что это

за человек? Что ты?

<Вестник>. Король!

<Альфред>. Что?

<Вестник>. Датчане ворвались и грабят Лондон.

Король (в изумлении). Как легки на помине !.. Ну, господа таны и графы! Нам приходится сию минуту думать о вооружении. Нечего делать, нужно всё отложить в сторону.

— Я готов.

— Все вассалы уже при мне, государь.

— Мое войско всегда со мною.

Этельбалд. Для тебя, государь, всё рад принести.

Арвальд. В одну минуту буду снаряжен. (Уходит).

<Альфред>. Да, шумно начинается мое царствование. Дайте и вы все, благородные таны, клятву: ни пяди земли не уступить датчанам.

<Таны>. Спасителем Иисусом и девой Марией клянемся!

<Альфред>. Идем и сейчас на коней! Но прежде я хочу обсмотреть войска ваши. Ну, король, яви теперь деятельность души. Вот тебе то поле, которое ты рвался возделывать.

Много работы предстоит. Страшные перспективы: внести туда пламенный наук и познаний, где их в помине нет, где нет букваря во всем государстве... Подвести под законы и укротить своевольное неустройство этих беспокойных магнатов государства, глядящих лесным <зверем?>, а вдобавок и на плечах неприятель... Дай, боже, силы!.. (Уходит).

Цеолин. Как мне нравится король!

Эдрик. Ты не знаешь его еще, Цеолин, хорошо. Это бог.

Эдвиг. Что, Кедовалла, у тебя все вооружены?

<Кедовалла>. Все.

<Эдвиг?>. Что король? Ведь, кажется, молодец?

<Кедовалла>. Да, кажется, храбрый. Да что-то так...

<Эдвиг>. Что?

Кедовалла. Мудреный что-то.

Действие II.

Альфред, граф Этельбальд, граф Эдвиг, Цеолин, Кедовалла с толпою воинов входят на сцену.

Альфред. Мне еще не верится, чтобы мы

были побеждены. Горсть, разбойничья шайка, не более, и перед этой шайкой не могло устоять пятнадцат<ь> [тысяч] всадников и цвет саксонской нации и 90 тысяч пеших! Что скажете вы на это, столпы этой нации, благородные таны?

Граф Эдвиг. Король, распусти нас. Я соберу всех слуг своего замка, сам выгоню моих васалов. Пусть каждый сделает то же.

<*Альфред*>. Граф, ты сед волосом, а даешь такой совет. Нет, благородные таны, всё теперь зависит от нас самих и от нашей решимости. Уступим — мы потеряем всё, возрастим гордость неприятельскую. Клянусь, мы им дадим и уверенность в их непо<бе>димости, и тогда кто против них? Вы видели, как они неслись в битве. Один шаг назад — и дерзость их возрастет, как Голиаф. Бароны, одно нам средство! Здесь нечего думать. С этими же самыми силами обратить отступление в нападение, покамест не узнала о нашем поражении нация.

<*Кедовалла*>. Король, ты видел сам, что наша храбрость не заслужила упрека. Я никогда не думал о своей жизни. Но клянусь пресвя-

той матерью, за них стоит демон! Я видел сам, как его темный образ мчался рядом с этим непобедимым Губбо. Мои вассалы в первый раз побледили от страха. Мои латы, которые окропил епископ два года назад, в первый раз пробиты <?>.

Альфред. Какое черное невежество веет от Кедоваллы! Тебя, я знаю, не уверишь, потому что твоя душа в старой коре. Но, таны, как видно, что недавно приняли христианскую веру и не смыслите ничего в ней! Вы испугались злого духа! Разве злой дух может устоять против бога? Разве есть что на свете больше христианского бога? Вы видели, с каким криком и острым копьём стремились в наши ряды эти морские люди. А отчего? Потому что призывали поминутно языческого бога их Одена, который — пыль и прах перед богом христианским. А вы не надеетесь! Какие вы христиане! За вас Христос и пречистая дева...

<Таны?>. Король, идем! Ни двух шагов земли датчанам!

Часть народа и всадников. Король, датчане
...

<Альфред>. Стой!

<Всадник>...гонятся!

<Альфред>. Все таны ни с места! Далеко датчане?

<Всадник>. По пятам нашим...

<Альфред>. Во имя святой Марии! не подавайся<?>, как кельданские скалы.

Врывается на сцену дружина датчан. Саксонцы встречают копьями. Начинается сеча.

Губбо. Сыны Одена! не полон будет пир наш, если не сокрушим англо<саксов>.

<Альфред>. Англосаксы! не забывайте — с нами Христос и Мария.

Губбо. Ринальд, Ринальд! тихо гремит твой меч. Мало искр вышибает твое копьё из неприятельских лат.

Ринальд. Нет, король Губбо, кровь от вражеских трупов отуманила твой взгляд.

Альфред. Христиане, крепитесь! Святой Георгий на белом <коне> за нас!

<Губбо>. Оден! рука моя дымится кровью, а Ингвара нет со мною. Ринальд, Ринальд! Зачем избит шлем твой? Не дрожат ли твои перси?

<Ринальд>. Еще станет, король мой Губбо!

Вот тебе, собака!.. Сыны Одена доставят черепов на пиршественные чаши.

<Альфред>. За Марию, за Христа, англосаксы!

Губбо. Уста мои запеклись, язык сохнет, а Ингвар мой не летит на помощь!

Ринальд (падая). Оден! Готовь мне место в Валгале!

— Вот тебе, собака датчанин! (Протыкает ему голову копьем).

Альфред. Англосаксы! победа за нами!

Губбо. Отдыха не будет тебе, Альфред, до коих пор меч играет в руках моих.

Альфред. Остановитесь, датчане! Сдавайся, Губбо, и положи твоё оружие.

<Губбо>. Никогда! Ты думаешь, что сыны Одена когда-нибудь соглашались быть чьи-ми бы то ни было рабами?

<Альфред>. Мне не нужно, Губбо, твоей свободы, я не отнимаю ее. На два слова.

Губбо тотчас останавливается. Обе стороны опускают копья.

<Альфред>. Я готов заключить с тобою мир и пощадить <1 нрзб.> остаток твоих товарищей с тем, чтобы ты теперь же немедленно

отправлялся за море, принес клятву, по обычаю своей религии, никогда не являться у берегов Англии. Оружие всё при вас остается. Всё, что ни имеете на себе, не будет тронуту.

<Губбо>. Король Альфред, я соглашаюсь.

<Альфред>. Итак, храбрый, произнеси клятву.

<Губбо>. Клянусь моим Оденем, моею сбруею, моим вызубренным мечом, что никогда я и вся храбрая моя дружина не будем нападать на твои владения, а когда не выполню моей клятвы, да будем желты, как медь на латах наших! Да обратятся наши копыя на нас же самих!

Альфред. Слышите вы все клятву? Губбо, ты свободен. Ступай! Твои ладьи ждут у берегов.

<Губбо>. Пойдем, товарищи. Нам не стыдно глядеть друг на друга. Мы бились храбро. Не сегодня — завтра, не здесь — в другом месте, нанесут наши ладьи гибель неприятелям, носящим золотое убранство...

Отрывки из неизвестной драмы

I

<Баскаков>. А, забрало, наконец. Какое это непостижимое явление! Подлец последней степени, мошенник, заклеянный печатью позора, для которого одна награда — виселица, и этот человек, попробуй кто-нибудь коснуться его чести, назвать его подлецом: «Как вы смеете, милостивый государь, поносить честь мою? Я требую удовлетворения за вашу обиду. Вы нанесли мне такую обиду, за которую *«пропуск»* омыть кровью». Бездельник! И он стоит за честь свою, за честь, которая составлена из бесчестия.

<Валуев>. Я не в силах более перенести этого! На этом ме*<сте>*, здесь же мы деремся.

<Баскаков>. Что? А! (*Становится спиной к дверям*). Дуэль. Поединок. Неправда. Нет, братец. Эдаких подлецов не вызывают на поединок. Для тебя нет этого удовлетворения. Этого для моей чести уже было бы слишком, чтобы я дрался с каторжником, которого ведут в Сибирь. Дуэль? Нет, тебя просто убить, как собаку. Бедное животное, благородное животное,

прости, что я унизил сейчас<?> тебя, сравнивши с этим гнусным творением.

<Валуев>. (В бешенстве подбегает к окну). Эй, Никанор! Поддай пистолет мне.

Баскаков. Что, тебе хочется пистолета? вон он. Я бы тебя мог сию минуту убить; но дивись моему великодушию; две минуты я даю тебе еще приготовиться. В это время ты можешь еще произнести к богу одно такое слово, за которое, может быть, уменьшатся твои муки, когда унесет твою душу ее владелец дьявол.

(Валуев бросается на него, желая вырвать пистолет. Несколько минут они борются.)

Валуев. Я вырву таки у тебя его.

<Баскаков>. Нет, не вырвешь: у честного человека крепче рука, нежели у подлеца.

(Борются еще несколько секунд; наконец, Баскакову удается навести пистолет против груди. Раздается выстрел. Валуев падает. Подымается со всех сторон лай собак. Стучат в двери. Голос в замочную скважину: Барин, отворите-с.)

<Баскаков>. Зачем?

<Голос>. Кто-то из вас выстрелил из ружья.

<Баскаков>. Лжешь! Здесь никто не стрелял. Лежит, протянулся; даже не вздохнул, не помолился, ни последней <молитвы?> не молвил на смертном одре своем — смерть, отвечающая его жизни. Однакож он жил; он имел такие же права жить, как и я, как и всякий другой. Он был гнусен, но был человек. А человек разве имеет право судить человека? Разве кроме меня нет высшего суда? Разве я был назначен его палачом? Убийство! Честный ли человек он был, подлец ли, но я все-таки убийца... Убийца не имеет права жить на свете. *(Застреливается).*

(Слышен собачий лай. Выламывают двери. Входят станционный смотритель и ямщики).

Станционный смотритель. Вишь, дуэль была.

Ямщик (рассматривает тела). Еще этот хрипит, а тот уже давно душу выпустил.

Станционный смотритель. Что же тут долго <думать?> Возьми-ка, Гришка, гнедого коня да ступай верхом за капитаном-исправником.

(Занавес опускается).

[III.]
Действие V.

Комната 1-го действия.

Ольгин (входя). Боже, как у меня сердце бьется. Я ее опять увижу. (Входит Петр). А, здравствуй, старик! Что, я могу видеть барыню?

<Петр>. Как об вас прикажете доложить?

<Ольгин>. Скажи, что управитель тот самый, котор<ый> ей рекомендован. (Петр уходит). Как всё уединенно. Я едва могу узнать прежнюю комнату. Верно, у ней не принимают никого: даже ворота заперты.

<Петр>. Барыня просила ее немножко подождать; она скоро выйдет к вам.

<Ольгин>. Послушай, старик: что, вы всегда живете так, как теперь? отчего у вас заперты ворота? Разве никто не заезжает к вам?

<Петр>. Вот то-то и есть, сударь, что мы живем бог знает как. Уж по-моему иди в монастырь, коли хочешь так жить. Гостей, объявить вам вот по чистосердечной совести, никого. Как добрый наш <барин?> жил с нами, не так было! Что за редкостные люди были, если бы вы знали! Ну, что ж будешь делать.

Не захотели жить вместе да полно. А от чего? За дрянь, за пустяк, чего-то рассердились один на другого. Барыня как-то нагрубилла барину; ну, не вытерпел, человек молодой, и уехал. А по мне, право, из пустяков. Ведь уж известное дело бабы, ну, так чего же тут. Вот, конечно, вам лучше примерно сказать, моя старуха. Был я три года в отлучке. Приезжаю, навстречу идет она, с радости не знает, что делать, и ребенка ведет за руку. «Здравствуй» — «Здравствуй. А откуда, жена, ребенка взяла» — «Бог дал», говорит. «Ах ты, рожа, бог дал. Я тебе дам». Ну, отломал таки сильно бока. Что ж? После простил всё, стал попрежнему жить. Что ж, ведь после оказалось, что я сам-то ведь был причиною рождения ребенка: похож на меня, как две капли воды; такой же совсем, как я, голубчик ты мой. *(Плачет)*. Вот уж два года тебя не знаю, и вести нет. Что-то ты, мой сердечный, жив ли ты?

<Ольгин>. Чем же, однакоже, занимается барыня?

<Петр>. Как, чем занимается? Известно, дело женское. Я вам скажу, сударь, что дела хозяйственные идут у нас бог знает как. Вот

вы сами увидите. Вы спросите, отчего; а бог знает, отчего. Если бы вы увидели, как она изволит управлять, так это курам смешно. Вообразите, что сама переходит по всем избам, и чуть только где нашла больного, и пошла по-теха: сама натащит мазей, тряпок, начнет перевязывать. Ну, скажите, пожалуйста, боярское ли это дело. Какое же после этого будет к ней уважение мужиков? Нет, уж коли хочешь управлять, то ты сама уж сиди на одном месте; а если что, пошли приказчика: уж это его дело; он уже обделаает, как ему следует. Мужика не балуй. Мужика в ухо, — народ простой, вынесет. А этим-то и держится порядок. При барине не так было. Ах, если бы вы знали, сударь, что это был за редкостный человек. Ну, да и она редкостная барыня. Если хотите, я вам покажу комнату барина, хотя барыня никого туда не впускает и запирается сама по нескольким часам, и что она там.

Наброски драмы из украинской истории

Как нужно создать эту драму.

Облечь ее в месячную ночь и ее серебряное сияние и в роскошное дыхание юга.

Облить ее сверкающим потопом солнечных ярких лучей, и да исполнится она вся нестерпимого блеска!

Осветить ее всю минувшим и вызванным из строя удалившихся веков, полным старины временем, обвить разгулом, козачком и всем раздольем воли.

И в потоп речей неугасаемой страсти, и в решительный, отрывистый лаконизм силы и свободы, и в ужасный, дышущий диким мщением порыв, и в грубые, суровые добродетели, и в железные несмягченные пороки, и в самоотвержение неслыханное, дикое и нечеловечески-великодушное.

И в беспечность забубенных веков.

* * *

Отвечает сравн<ением>, иносказательно: «Правда, случается, что вол падал, издыхал,

но под рукою человека, которому бог дал ум на то, чтобы сделать нож; но никогда еще не случилось, чтобы бык погибал от свиньи».

Делает распоряжения о продаже рыбы, о запасе на зиму, именно на такое-то время, потому что тогда хлопцы пьянствуют. О покупке соли, о баштанах, хлебах, о порохе, ружьях, кунтушах для солдат. — «Войны, кажется, ожидать не нужно, потому что мужицкая и козацкая сноровка бунтовать — так, чтобы не побунтовать, не может проклятый народ; так вот у него рука чешется; дармоедничает да повесничает по шинкам да по улицам».

* * *

Монахам такого-то монастыря купить вытканые и шитые утиральники.

Рыцарские.

Не поединки, а разделяются драками; набравши с собою сколько можно больше слуг и выехавши на поле, нападает на своих противников.

Мужики.

Разговор между мужиками. Вздорожало всё, дорого. За землю, ей богу, не длиннее вот этого пальца — 20 четвериков, 4 пары цып-

лят, к Духову дню да к Пасхе — пару гусей, да 10 с каждой свиньи, с меду, да и после каждых трех лет третьего вола.

* * *

Рассказывают про клады и сокровище за-порожцев. «Уйду на Запорожье, здесь всякий чорт тебя колотит».

* * *

Демьян превращается в кашевара, Самко в переку<пщика?>

* * *

Выдумать, как запала мысль в голову молодому дворянину. Чисто-козацкое изобретение, как подговорить. Лукаш говорит, что он ничего не значит, что нужно склонить полковников. Народ обступает их дома и вынуждают.... И сказать, каким же образом....

* * *

Народ кипит и толчется на площади, око<ло> дома обеих полковников, требуя их при<нять> участие в деле, начальство над ними. Полковник выходит на крыльцо, уещевает, уговаривает, представляет невозможность.

* * *

Входят, возвещают и советуют бежать.

«Бегите и спасайтесь, жены и бабы! Ляхи за нами, и грабят и жгут». В этом положении находя<т>. Укладывается старушка, плачет, расставаясь с прежним жилищем, где столько пробыла и откуда никуда не выходила.

Вдохновенная, небесноухающая, чудесная ночь. Любишь ли ты меня? По-прежнему ли ты глядишь на своего любимца, не изменившегося ни годами, ни тратами, и горишь и блещешь ему в очи, и целуешь его в уста и лоб? Ты так же ли, по-прежнему ли смеешься, месячный свет? О боже, боже, боже! Такие ли звуки, такие снуются и дрожат в тебе? Клянись, я слышал эти звуки, я слышал их один в то время, когда я перед окном: на груди рубашка раздернута и грудь и шея моя навстречу освежительному ночному ветру. Какой божественный, и какой чудесный и обновительный <?>, утомительный, дышущий негой и благовонием, рай и небеса — ветер ночной. Дышущий радостным холодом ветер урывками обнимал меня и обхватывал своими объятиями и убегал и вновь возвращался обнимать меня, а черные, угрюмые массы ле-

су, нагнувшись, издали глядели и <над> ни<ми> стоял торжественный несмущенный воздух. И вдруг соловей... О небеса, как загорелось всё, как вспыхнуло! У, какой гром... А месяц, месяц... Отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою, молодую крепость сил моих, меня, меня свежего — того, который был. О, невозвратно всё, что ни есть в свете.

* * *

Сказавши монолог, долго кричит. Выходит мать. «Дочь, у тебя болит голова» и прочее.

— Нет, не голова. Болею я вся, болят мои руки, болят мои <ноги?>, болит грудь моя, болит моя душа, болит мое сердце. Огонь во мне. Воды, мать моя, матушка, мамуся. Дай такой воды, чтобы загасила жгущее меня пламя. О, проклята моя злодейка, и проклят род твой, и прокляты те сво <слово недописано>, что кричали. Мать моя матушка, зачем ты меня породила такую несчастную? Ты, видно, не ходила в церковь; ты, видно, не молилась богу; ты, видно, в нечистой воде искупалась, в ядовитом зелье, на котором проползла гадина.

* * *

Внутри рвет меня, все немило мне; ни земля ни небо, ни всё, что вокруг меня.

* * *

Отречение от мира совершенное. А между тем рисуется прежнее счастье и богатство, которое могло <... > Прощание слезное с молодыми годами, с молодыми радостями, со всем и строгое покорение судьбе. Обеты и как будет молиться, как припадать к иконе: «и всё буду плакать и ничего, никакой пищи бедному сердцу, не пораду его никаким воспоминанием».

И вдруг. Здесь встреча с соперницей в уничиженном состоянии, и всё вспыхивает вновь во всем огне и силе. Потoki упреков и злобная радость. Потом опомнивается и вспоминает об обетах, бросается на колени и просит прощания.

Неоконченное. Наброски

Гетьман.

*Несколько глав из неоконченной
повести*

Глава 1

Был апрель 1645 года — время, когда природа в Малороссии похожа на первый день своего творения; самая нежная зелень убирала очнувшиеся деревья и степи. Этот день был перед самым воскресеньем Христовым. Он уже прошел, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю, а чистый девственный воздух, разносивший дыхание весны, веял сильнее. Сквозь жидкую сеть вишневых листьев мелькали в огне окна деревянной церкви села Комишны. Старая, истерзанная временем, покрытая мхом церковь будто обновилась; вокруг ее, как рой пчел, толпились козаки из ближних и дальних хуторов, из которых едва десятая часть поместилась в церкви. Было душно, но что-то говорило светлым торжеством. Автор просит читателей вообра-

зять себе эту картину XVII столетия. Мужественные, худощавые, с резкими чертами лица и бритые головы, опустившиеся вниз усы, падавшие на грудь, широкие плечи, атлетическая сила, при каждом почти заткнутой за пояс пистолет и сабля показывали уже, в какую эпоху собрались козаки. Странно было глядеть на это море голов, почти не волновавшееся. Благоговейное чувство обнимало зрителя. Все здесь собравшееся было характер и воля; но и то и другое было тихо и безмолвно. Свет паникадила[303], отбрасываясь на всех, придавал еще сильнее выражение лицам. Это была картина великого художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная. Почти незаметно прибавилось одно новое лицо к молящимся. Оно возвышалось над другими почти целою головою; какой-то крепкий, смелый оклад[304], какая-то легкая беспечность выказывалась на нем. Оно было спокойно и вместе так живо, что, взглянувши, ожидал бы непременно услышать от него слово, чтобы увидеть его изменившимся, как будто бы оно непременно должно было все заговорить кон-

вильсиями. Но между тем как все мало-помалу начали обращаться на него, вся масса двинулась из храма, для торжественного хода вокруг церкви, и замечательная физиономия смешалась с другими, выходя по церковной лестнице. У самого крыльца стояли несколько жидов, содержавшие, по воле польского правительства, откуп[305], и спорили между собою, намечая мелом пасхи, приносимые для освящения христианами. Нужно было видеть, как на лице каждого выходившего дрогнули скулы. Это постановление правительства было уже давно объявлено; народ с ропотом, но покорился силе. Оппозиционисты были ниспровержены. К этому, кажется, все уже привыкли, зная, что это так; но, несмотря на это, при виде этого постановления, приводимого в исполнение, он так изумился, как будто бы это была новость. Так преступник, знающий о своем осуждении на смерть, еще движется, еще думает о своих делах; но прочитанный приговор разом разрушает в нем жизнь. После перемены в лице рука каждого невольно опустилась к кинжалу или к пистолетам. Но ход окончился; все спокойно вошли

в церковь при пении «Христос воскрес из мертвых!». Между тем совершенно наступило утро. Выстрелы из пистолетов и мушкетов [306] потрясали деревянные стены церкви. На всех лицах просияла радость: у одних при мысли о пасхе, у девушек при целованье с козаками, у тех при попойке, как вдруг страшный шум извне заставил многих выйти. Перед разрушившеюся церковью собрались в кучу, из которой раздавались брань и крик жидов. Три жида отбирали у дряхлого, поседевшего как лунь козака пасху, яйца и барана, утверждая, что он не вносил за них денег. За старика вступилось двое, стоявших около него; к ним пристали еще, и, наконец, целая толпа готовилась задавить жидов, если бы тот же самый широкоплечий, высокого роста, чья физиономия так поразила находившихся в церкви, не остановил одним своим мощным взглядом. «Чего вы, хлопцы, сдуру беснуетесь! У вас, видно, нет ни на волос Божьего страха. Люди стоят в церкви и молятся, а вы тут черт знает что делаете. Гайда по местам!» Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам, рассуждая, что это за чудо такое, от-

кудова оно взялось, и с какой стати ввязывается он, куда его не просят, и отчего он хочет, чтобы слушались. Но это каждый только думал, а не сказал вслух. Взгляд и голос незнакомца как будто имели волшебство: так были повелительны. Один жид стоял только, не отходя, и, как скоро оправился от первого страха незваную помощью, начал было снова приступать, как тот же самый и схватил его могучею рукою за ворот так, что бедный потомок Израилев съежился и присел на колени. «Ты чего хочешь, свиное ухо? Так тебе еще мало, что душа осталась в галанцах[307]? Ступай же, тебе говорю, поганая жидóвина, пока не оборвал тебе пейсики». После того толкнул он его, и жид расстлался на земле, как лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бежать; спустя несколько времени возвратился с начальником польских улан[308]. Это был довольно рослый поляк с глупо-дерзкою физиономиею, которая всегда почти отличает полицейских служителей. «Что это? Как это?.. Гунство[309], терем-те-те? Зачем драка, холопство проклятое? Лысый бес в кашу с смальцем! Разве? Что вы? Что тут, драка? Порвал

бы вас собака!..» Блюстителю порядка не знал бы, куда обратиться и на кого излить поток своих наставлений, приправляемых бранью, если бы жид не подвел его к старику козаку, которого волосы, вздуваемые ветром, как снежный иней серебрились. «Что ты, глупый холоп, вздумал? Что ты начал драку? Басе ма-зеньята, гунство! Знаешь ты, что жид? Гунство проклятое!.. Знаешь, что борода поповская не стоит подошвы?.. Черт бы тебя схватил в бане за пуп!.. У него еломец краше, чем ваша *холопска вяра*...» Тут он схватил за волосы старца и выдернул клочок серебряных волос его...

Глухое стенание испустил старый козак.

— Бей еще! Сам я виноват, что дожил до таких лет, что и счет уже им потерял. Сто лет, а может, и больше, тому назад меня драли за чуб, когда я был хлопцем у батька. Теперь опять бьют. Видно, снова воротились лета мои... Только нет, не то, не в силах теперь и руки поднять. Бей же меня!..

При сих словах двадцатилетний старец наклонил свою белую голову на руки, сложенные крестом на палке, и, подпершись ею, долго стоял в живописном положении. В сло-

вах старца было невероятно трогательное. Заметно было, что многие хватились рукою за сабли и пистолеты, но вид стольких усатых уланов на лошадях и несколько слов, сказанных незнакомцем, заставили всех принять положение молельщиков и креститься.

— Что ты врешь, глупый мужик, терем-те-те! Чтобы я на тебе руки поганил, гунство проклятое! Лысый бес рогатый тебе в кашу! Гершко! возьми от него пасху! Пусть его одним овсяным сухарем разговееется[310]. Вишь, гунство проклятое! — говорил блюститель правосудия, подвигаясь к ряду девичьему и ущипнув одну из них за руку. — Что за драка? Ох, славная девка! Вишь, драку!.. Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишь, глупый мужик... порвал бы его собака!.. Ай, ай, ай! Сколько тут жиру!..

Блюститель порядка, верно, себе позволил нескромность, потому что одна из девушек вскрикнула во все горло. В это время пасхи были освящены и обедня кончилась, и многие уже стали расходиться. Несколько только народу обступило козака, так заинтересовавшего толпу, который между тем подходил к

исправлявшему звание алгиазила[311].

— Славный у тебя ус, пан! — проговорил он, подступив к нему близко.

— Хороший! У тебя, холопа, не будет такого, — произнес он, расправляя его рукою.

— Славный! Только не туда ты, пан, крутишь его. Вот куда нужно крутить! — Мощный козак дернул сильною рукою так, что половина уса осталась у него.

Старый волокита закричал и заревел от боли. Лицо его сделалось цвета вареной свеклы.

— Рубите его, рубите, лайдака! — кричал он, но почувствовал себя в руках высокого козака и, увидя насмешливые лица всех, стал искать глазами своих воинов. Малеванный шут струсил...

— Как же тебе, пан, не совестно бить такого старика! А если бы твоего старого отца кто-нибудь стал бесчестить так поносно при всех, как ты обесчестил старейшего из всех нас? что тогда? Весело тебе было бы терпеть это? Ступай, пан! Если бы ты не у короля в службе был, я бы тебя не выпустил живого.

Выпущенный пленник побежал, отряхива-

сь. За ним следом повалил народ. Между тем козак 2 нрзб, отвязавши коня, привязанного к церковной ограде, готовился сесть, как был остановлен среднего роста воином, поседевшим человеком, который долго не отводил от него внимания и заглядывал ему в глаза с таким любопытством, как иногда собака, когда видит ядущего хлеб.

— Добродию! ведь я вас знаю.

— Может быть, и правда.

— Ей-богу, знаю. Не скажу, таки точно знаю. Ей-богу, знаю! Чи вы Острианица, чи вы Омельченко?

— Может, и он.

— Ну, так! Я стою в церкви и говорю: вот то, что стоит возле его, то Острианица. Ее-ей, Острианица. Да, может быть, и нет. Может быть, и не Острианица. Нет, Острианица. Ей, тебе так показалось! Ну, как нет? Острианица да и Острианица. Как только послушал голос, ну, тогда и рукою махнул. Вот так точнехонько покойный батюшка — пусть ему легко икнется на том свете! — так же разумно, бывало, каждое слово отметит.

Острианица внимательно начал в него

всматриваться и нашел точно что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто морщинами. Нос, загнувшись вниз, придавал ему несколько горбатое сложение и неподвижность членам; но зато узенькие серые глаза продирались довольно увертливо сквозь чащу насунувшихся бровей, которые, верно, придали бы лицу суровый вид, если бы нижняя часть лица, что-то простодушное и веселое в губах не давали ему противного выражения. Под кобеняком, надетым в рукава, виден был овчинный кожух, хотя воздух был довольно тепел и день был жарок.

— Я верю и не верю, что вижу опять вас. А что, добродию, — не во гнев будь сказано, — прошу извинить, только хотел бы узнать, что сделалось с теми, которые пошли с вами? Что Дигтяй, Кузубия? Воротились ли они с вами, или там остались, или ворон, может, где-нибудь доедает козацки косточки?

— Дигтяй твой сидит на колу у турецкого султана, а Кузубия гуляет с рыбами на дне Сиваша и тянет гнилую воду вместо горелки... Но... ну, после об этом поговорим. Я тебя тоже

узнал. Здравствуй, старый Пудько! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — говорил, целуясь, Пудько. — Как на то, и крашанки[312] нет. Жинка давала, побоялся взять: народу такое множество... передавил бы на кисель. Так, добродию, как будто сердце знало...

— Ты, ты по-прежнему торгуешь всякою дрянью?

— А что ж делать? Нужно торговать. Еще слава Богу, что продал табак. Прошлого году отец с полвоза накупил кремней, дробы, пороху, серы, ну и всего, что до мизерии[313] относится. Напросился на дороге жидок один. «Свези, человече, на Хыякивску ярмарку, — дам три рубля!» Свез его, как доброго, — и надул проклятый жидок, ей-богу, надул! Хоть бы четвертку горелки дал, гаспид[314] лысый. Знаете, что у меня чуть было ляхи не отняли всего скота? Кобылу взяли под верх вербуна[315]. Теперь у меня только и конины, что Гнедко, — примолвил он, садясь на гнедого коня и видя, что Острица поворотил коня ехать. — Эх, добродию! Если бы теперь кто сказал: «А ну, старый, гайда на войну бить ляхов!» — все

бы продал, и жинку и детей бы покинул, пошел бы в компанейство[316]. — При этом Пудько выпрямился и поскакал за Острицею, который прищпорил сильнее коня своего. — Скажите, добродию, пане сотнику[317], — говорил он, поравнявшись с ним, — может, вы теперь уже и не сотник, в другой роте какой значитесь? Скажите, до какой это поры дожили, что уже и храмы Божии взяло на откуп жидовство? Как же это, добродию, не обидно? Каково было снести всякому христианину, что горелка находится у врагов христианства? А теперь и храмы Божии! Тут, добродию, нужно нам взять вправо, ибо мимо валу нет уже проезду. Да, и забыл, что он при вас был подкопан. Говорят, как свечка полетел под самое небо. Боже ты мой! сколько народу перемерло! Так и Дигтяй, вы говорите, теперь сидит на колу? И Кузубия потонул! А какой важный, какой сильный народ был! Сколько, подумаешь, пропадает козачества! Вы слышите, как постукивают хлопцы из мушкетов, что земля дрожит? Мы сейчас будем ехать мимо площади, где веселится народ. Если вы в хутор свой едете, добродию, то и я с вами. Луч-

ше там разговееусь святою пасхою, чем дома с бабами. Пусть жинка и дочка остаются сами. Верно, добродию, что произошло меж народом, потому что все столпились в кучу и бросили всякое гулянье.

В самом деле, на открывшейся в это время из-за хат площади народ сросся в одну кучу. Качели, стрельба и игры были оставлены. Острианица, взглянувши, тотчас увидел причину: на шесте был повешен вверх ногами жид, тот самый, которого он освободил из рук разгневанного народа. На ту же самую виселицу тащили храбреца с оборванным усом. Острианица ужаснулся, увидев это.

— Нужно поспешить, — говорил он, пришпорив коня. — Народ не знает сам, что делает. Дурни! Это на их же головы рушится. Стойте, козаки, рыцарство и посполитый[318] народ! Разве этак по-козацки делается? — произнес он, возвыся голос.

— Что смотреть его! — слышался говор между молодежью. — В другой раз хочет у нас вытащить из рук.

— Послушайте, у кого есть свой разум.

— Он правду говорит, — говорило несколь-

ко умеренных.

— Молоды вы еще; я вам расскажу, как делают по-козацки. Когда один да выйдет против трех — то бравый козак; против десяти — еще лучше; один против одного — не штука; когда ж три на одного нападут — то все не козаки. Бабы они тогда, то, что... плюнуть хочется; для святого праздника не скажу срамного слова. Как же хотите теперь, братцы, напасть гурьбою на беззащитного, как будто на какую крепость страшную? Спрашиваю вас, братцы, — продолжал Острианица, заметив внимание, — как назвать тех?..

— А чем назвать его? — заговорили многие вполголоса. — Что ж есть хуже бабы или того, что он постыдился сказать? мы не знаем.

— Э, не к тому речь, паноча, своротил, — произнесло в голос несколько парубков. — Что ж? Разве мы должны позволить, чтоб всякая падаль топтала нас ногами?

— Глупы вы еще: невелик, видно, ус у вас, — продолжал Острианица. При этом многие ухватились за усы и стали покручивать их, как бы в опровержение сказанного им. — Слушайте, я расскажу вам одну присказку.

Один школяр учился у одного дьяка. Тому школяру не далось слово Божье. Верно, он был придурковат, а может быть, и лень тому мешала. Дьяк его поколотил дубинкою раз, а после в другой, а там и в третий. «Крепко бьется проклятая дубина», — сказал школяр, принес секиру и изрубил ее в куски. «Постой же ты!» — сказал дьяк, да и вырубил дубину толщиной в оглоблю и так погладил ему бока, что и теперь еще болят. Кто ж тут виноват: дубина разве?

— Нет, нет, — кричала толпа, — тут виноват, виноват король!..

Радуюсь, что наконец удалось успокоить народ и спасти шляхтича, Острианица выехал из местечка и пришпорил коня сильнее и услышал, что его нагоняет Пудько. Как-то тягостно ему было видеть возле себя другого. Множество скопившихся чувств нудило его к раздумью. Свежий, тихий весенний воздух и притом нежно одевающиеся деревья как-то расположили в такое состояние, когда всякий товарищ бывает скучен в глазах вечно упоительной природы. И потому Острианица выдумал предлог отослать вперед Пудька в хутор

и ожидать его там, а сам, сказав, что ему еще нужно заехать к одному пану, поворотил с дороги.

Этим распоряжением Пудько, кажется, не был недоволен, или, может, только принял на себя такой вид, потому что чрез это нимало не изменял любимой привычке своей говорить. Вся разница, что вместо Острилицы он все это пересказывал своему Гнедку... «О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, Гнедко! Он тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляхов, он славную им дал перепойку. Дали б и они ему перцу, когда бы не улизнул на Запорожье. А правда, неважно жид болтается на виселице? А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостает одной клепки в голове; ну, да что ж делать? Он от короля поставлен. Может, ты еще спросишь, за что ж жида повесили? ведь и он от короля поставлен? Гм!.. ведь ты дурак, Гнедко! Он зато враг Христов, нашего Бога святого. — Тут он ударил хлыстом своего скромного слушателя: убаюкиваемый его рассказными, конь развесил уши и начал ступать уже шагом — Оно не так далеко и хутор,

а все лучше раньше поспеть. Уже давно пора, хочется разговеться святою пасхою. Говори, мол: мне не пасхи, мне овса подавай. Потерпи немножко: у пана славный овес, и пшеницы дам вволю, а меня сивухою попотчуют. Я давно хотел у тебя спросить, Гнедко, что лучше для тебя, пшеница или овес? Молчишь? Ну, и будешь же век молчать, потому что Бог повелел говорить только человеку да еще одной маленькой пташке...»

При этом он опять хлеснул Гнедка, заметив, что он заслушался и стал выступать по-прежнему... Но, вместо того чтобы слушать рассуждения наших путешественников на седле и под седлом, обратимся к Острице, давно скакавшему по проселочной дороге.

Глава 2

Как только рыцарь потерял из виду своего сотоварища, тотчас остановил рысь коня своего и поехал шагом. Солнце показывало полдень. День был ясный, как душа младенца. Изредка два или три небольших облака, повиснув, еще более увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были

осязательно живительны; ветру не было, но щеки чувствовали какое-то тонкое влияние свежести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытым нивам, на которых стройно, как будто лес житных игол, восходил молодой посев. Дорога входила в рытвины и была с обеих сторон сжата крутыми глинистыми стенами. Без сомнения, очень давно была прорыта эта дорога в горе, потому что по обеим сторонам обрыва поросла орешником, на самой же горе подымались по обеим сторонам высокие, как стрела, осокори[319]. Иногда перемеживала их лоза, вся в отпрысках, иногда дуб толстый, которому сто лет, и, весь убранный повиликой[320], плющом, величаво расширял свою верхушку? над ними и казался еще выше от обросшего кустами подмостка. Местами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми ветвями на противоположную сторону и образовала над головою свод, и сыпала на голову путешественника серебро-розовые цветы свои, между тем как из деревьев часто выглядывал обрыв, весь в цветах и самых нежных первенцах весны. В другом месте деревья так тесно и

часто перемешивались между собою, что образовали, несмотря на молодость листьев, совершенный мрак, на котором резко зеленели обхваченные лучами солнца молодые ветви. Здесь было изумительное разнообразие: листья осины трепетали под самым небом; клен простирает свои листья, похожие на зеленые лапки, узколистственный ясень рябил еще более, а терновник и дикий глод[321], оградивши их колючею стеною, скрывал пышные стволы и сучья, и только очень редко северная береза высовывала из чащи? часть своего ослепительного, как рука красавицы, ствола. Уже дорога становилась шире, и, наконец, открылась равнина, раздольная, ограниченная, как рамами, синеватыми вдали горами и лесами, сквозь которые искрами серебра блестя прерванная нить реки, и под нею стлались хутора. Здесь путешественник наш остановился, встал с коня и, как будто в усталости или в желании собраться с мыслями, стал поваживать по лбу[322]. Долго стоял он в таком положении; наконец, как бы решившись на что, сел на коня и, уже не останавливаясь более, поехал в ту сторону, где на косогоре сине-

ли сады и, по мере приближения, становились белее разбросанные хаты. Посреди хутора, над прудом, находилась, вся закрытая вишневыми и сливными деревьями, светлица[323]. Очеретяная ее крыша, местами поросшая зеленью, на которой ярко отливалась желтая свежая заплата, с белою трубою, покрытою китайскою черною крышею, была очень хороша. В ту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерние, и тогда нежный серебро-розовый колер цветущих деревьев становился пурпурным. Путешественник слез с коня и, держа его за повод, пошел пешком через плотину, стараясь идти как можно тише. Полощущиеся утки покрывали пруд; через плотину девочка лет семи гнала гусей.

— Дома пан? — спросил путешественник.

— Дома, — отвечала девочка, разинув рот и став совершенно в машинальное положение.

— А пани?

— И пани дома.

— А панночка? — Это слово произнес путешественник как-то тише и с каким-то страхом.

— И панночка дома.

— Умная девочка! Я дам тебе пряник. А как сделаешь то, что я скажу, дам другой, еще и золотый[324].

— Дай! — говорила простодушно девочка, протягивая руку.

— Дам, только пойди наперед к панночке и скажи, чтоб она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ее. Слышишь? Ну, скажешь ли ты так?

— Скажу.

— Как же ты скажешь ей?

— Не знаю.

Рыцарь засмеялся и повторил ей снова те самые слова; и, наконец, уверившись, что она совершенно поняла, отпустил ее вперед, а сам, в ожидании, сел под вербою.

Не прошло несколько минут, как мелькнула между деревьев белая сорочка, и девушка лет осьмнадцати стала спускаться к гребле [325]. Шелковая плахта[326] и кашемировая запаска[327] туго обхватывали стан ее, так что формы ее были как будто отлиты. Стройная роскошь совершенно нежных членов не была скрыта. Широкие рукава, шитые крас-

ным шелком и все в мережках[328], спускались с плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, как спелое яблоко, тогда как на груди под сорочкою упруго трепетали молодые перси. Сходя на плотину, она подняла дотоле опущенную голову, и черные очи и брови мелькнули, как молния. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно приближавшееся к греческому: ничего в ней не было законно, прекрасно-правильно; ни одна черта лица, ничто не соответствовало с положенными правилами красоты. Но в этом своенравном, несколько смугловатом лице что-то было такое, что вдруг поражало. Всякий взгляд ее полонил сердце, душа занималась, и дыхание отрывисто становилось.

— Откудова ты, человек добрый? — спросила она, увидев козака.

— А из Запорожья, панночка; зашел сюда по просьбе одного пана, коли милости вашей известно, — Остраницы.

Девушка вспыхнула.

— А ты видел его?

— Видел. Слушай...

— Нет, говори по правде! Еще раз: видел?

— Видел.

— Забожись!

— Ей-богу!

— Ну, теперь я верю, — повторила она, немного успокоившись. — Где ж ты его видел? Что, он позабыл меня?

— Тебя позабыть, моя Ганночка, мое серденько, дорогой ты кристалл мой, голубочко моя! Разве хочется мне быть растоптану татарским конем?..

Тут он схватил ее за руки и посадил подле себя. Удивление девушки так было велико, что она краснела и бледнела, не произнося ни одного слова.

— Как ты сюда прилетел? — говорила она шепотом. — Тебя поймают. Еще никто не позабыл про тебя. Ляхи еще не вышли из Украины.

— Не бойся, моя голубочка, я не один, не поймают. Со мною соберется кой-кто из наших. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?

— Люблю, — отвечала она и склонила к нему на грудь разгоревшееся лицо.

— Когда любишь, слушай же, что я скажу

тебе: убежим отсюда! Мы поедем в Польшу к королю. Он, верно, даст мне землю. Не то поедем хоть в Галицию или хоть к султану, и он даст мне землю. Мы с тобою не разлучимся тогда и заживем так же хорошо, еще лучше, чем тут, на хуторах наших. Золота у меня много, ходить есть в чем, — сукон[329], епанечек[330], чего захочешь только.

— Нет, нет, козак, — говорила она, кивая головою с грустным выражением в лице. — Не пойду с тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чем все сокровища, но не пойду. Как я оставлю престарелую бедную мать мою? Кто приглядит за нею? «Глядите, люди, — скажет она, — как бросила меня родная дочка моя!» — Слезы покатались по ее щекам.

— Мы не надолго ее оставим, — говорил Острица, — только год один пробудем на Перекопе или на Запорожье, а тогда я выхлопочу грамоту от короля и шляхетства, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажет ничего и отец твой.

Галя качала головою все с тою же грустью и слезами на глазах.

— Тогда мы оба станем присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старше твоей. Но я не сижу с ней вместе. Придет время, женюсь, — тогда и не то будет со мною.

— Нет, полно. Ты не то, ты — козак; тебе подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чем тебе не думать. Если бы я была козаком, и я бы закурила люльку, села на коня — и все мне (при этом она махнула грациозно рукой) трын-трава! Но что будешь делать? я козачка. У Бога не вымолишь, чтоб переменял долю... Еще бы я кинула, может быть, когда бы она была на руках у добрых людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каков отец мой. Он прибьет ее; жизнь ее, бедненькой моей матери, будет горше полыни. Она и то говорит: «Видно, скоро поставят надо мною крест, потому что мне все снится — то что она замуж выходит, то что рядят ее в богатое платье, но всё с черными пятнами».

— Может быть, тебе оттого так жаль своей матери, что ты не любишь меня, — говорил Острица, поворотив голову на сторону.

— Я не люблю тебя? Гляди: я, как хмели-

нонька около дуба, вьюсь к тебе, — говорила она, обвивая его руками. — Я без тебя не живу.

— Может быть, вместо меня какой-нибудь другой, с шпорами, с золотою кистью?.. что доброго! может быть, и лях?

— Тарас, Тарас! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебе? Зачем ты укоряешь меня так? — сказала она, почти упав на колени и в слезах.

— О, ваш род таков, — продолжал всё так же Острианица. — Вы, когда захотите, подымете такой вой, как десять волчиц, и слез, когда захотите, напускаете вволю, хоть ведра подставляй, а как на деле...

— Ну, чего ж тебе хочется? Скажи, что тебе нужно, чтоб я сделала?

— Едешь со мною или нет?

— Еду, еду!

— Ну, вставай, полно плакать; встань, моя голубочка, Галочка! — говорил он, принимая ее на руки и осыпая поцелуями. — Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отнимет. Не плачь, моя... За это согласен я, чтоб ты осталась с матерью до тех пор, пока не прой-

дет наше горе. Что делает отец твой?

— Он спал в саду под грушею. Теперь, я слышу, ведут ему коня. Верно, он проснулся. Прощай! Советую тебе ехать скорее и лучше не попадаться ему теперь: он на тебя сердит. — При этом Ганна вскочила и побежала в светлицу...

Острианица медленно садился на коня и, выехавши, оборачивался несколько раз назад, как бы желая вспомнить, не позабыл ли он чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнул он своего хутора.

Глава 3

Небо звездилось, но одеяние ночи было так темно, что рыцарь едва мог только приметить хаты, почти подъехав к самому хутору. В другое время путешественник наш, верно бы, досадовал на темноту, мешавшую взглянуть на знакомые хаты, сады, огороды, нивы, с которыми срослось его детство. Но теперь столько его занимали происшествия дня, что он не обращал внимания, не чувствовал, почти не заметил, как заливавшиеся со всех сторон собаки прыгали перед лошадьёю его так

высоко, что, казалось, хотели ее укусить за морду. Так человек, которого будят, открывает на мгновение глаза и тотчас их смежает: он еще не разлучился со сном, ленивою рукою берется он за халат, но это движение для того только, чтобы обмануть разбудившего его, будто он хочет вставать; а между тем он еще весь в бреду и во сне, щеки его горят, можно читать целый водопад сновидений, и утро дышит свежестью, и лучи солнца еще так живы и прохладны, как горный ключ. Конь сам собою ускорил шаг, угадав родимое стойло, и только одни приветливые ветви вишен, которые перекидывались через плетень, стеснявший узкую улицу, хлестая его по лицу, заставляли его иногда братья рукою. Но это движение было машинально. Тогда только, когда конь остановился под воротами, он очнулся. «Кто такой?..» Наконец ворота открылись. Острица въехал в двор, но, к изумлению своему, чуть не наехал на трех уланов, спящих в мундирах. Это выгнало все мечты из головы его. Он терялся в догадках, откуда взялись польские уланы. Неужели успели уже узнать о его приезде? И кто бы мог от-

крыть это? Если бы точно узнали, то как можно в таком скором времени совершить эту экспедицию? И где же делись его запорожцы, которые должны были еще утром поспеть в его хутор? Все это повергло его в такое недоумение, что он не знал, на что решиться: ехать ли опрометью назад или остаться и узнать причину такой странности? Он был тронут тем самым, который отпер ему ворота. Первым движением его было схватиться за саблю, но, увидевши, что это запорожец, он опустил руку. «Но пойдете, добродию, в светлицу: здесь не в обычае говорить и слишком многолюдно», — отвечал последний. В сених вышла старая ключница[331], бывшая нянькою нашего героя, с каганцом[332] в руках. Осмотревши с головы до ног, она начала ворчать:

— Чего вас черт носит сюда? Всё только пугают меня. Я думала, что наш пан приехал. Что вам нужно? Еще мало горелки выпили?

— Дурна баба! рассмотри хорошенько: ведь это пан ваш.

Горпина снова начала осматривать с ног до головы, наконец вскрикнула:

— Да это ты, мой голубчик! Да это ж ты, моя матусенька! Да это ж ты, мой сокол! Как ты переменялся весь! как же ты загорел! как же ты оброс! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не дал переменить.

Тут Горпина рыдала навзрыд и подняла такой вой, что лай собак, который было начал стихать, удвоился.

— Сумасшедшая баба! — говорил запорожец, отступивши и плюнувши ей прямо в глаза. — Чего сдуру ты заревела? Народ весь разбудишь.

— Довольно, Горпина, — прервал Острианица. — Вот тебе, гляди на меня! Ну, насмотрелась?

— Насмотрелась, моя матинько родная! Как не наглядеться! Еще когда ты маленьким был, носила я на руках тебя, и как вырастал, все не спускала глаз, боже мой! А теперь вот опять вижу тебя! Охо, хо!

И старуха принялась рыдать.

— Слушай, Горпино! — сказал Острианица, заметив, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки. — Лучше ты принеси закусить чего-нибудь и на-

перед подай святой пасхи, потому что я, грешный, целый день сегодня не ел ничего и даже не попробовал пасхи.

— Да ты ж вот ото и пасхи не отвеживал, бедная моя головонька! Несчастливая горемыка я на этом свете! Охо, хо!

Тут потоки слез, разрешившись, хлынули целым водопадом, и, подперши щеку рукою, ключница? снова была готова завывать, если б не увидела над собою замахнувшейся руки за-порожца.

— Добродию! позволь кием угомонить проклятую бабу! Что это за соромный народ! Пришла ж охота Господу Богу породить этакое племя! Или ему недосуг тогда был, или бог знает что ему тогда было...

Острианица вошел между тем в светлицу и, снявши с себя кобеняк, бросился на ковер. Дорога, голод и встречи привели его в такую усталость, что он растянулся на нем в совершенной бесчувственности, не обращая ни на что глаз своих, а потому наше дело представить описание светлицы, замечательной тем, что постройка ее принадлежала еще деду. Очень замечательная достопамятность в той

стране, где древностей почти не было, где брани, вечные брани, производили жестокое опустошение и обращали в руины все то, что успевали сделать трудолюбие и общежительность. Это была просторная, более продолговатая, комната и вместе с тем низенькая, как обыкновенно строилось в тот век. Ничто в ней не говорило о прочности, как будто, кажется, строитель был твердо уверен, что ее существование должно быть эфемерно; но, однако ж, поправками, приделками ветхое строение простояло около пятидесяти лет. Стены были очень тонки, вымазаны глиною и выбелены снаружи и внутри так ярко, что глаза едва могли выносить этот блеск. Весь пол в комнате был тоже вымазан глиною, но так был чисто выметен, что на нем можно было лечь, не опасаясь запылить платья. В углу комнаты, у дверей, находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ее, обращенная к окнам, была покрыта белыми изразцами, на которых синею краскою были нарисованы подобия человеческого лицам, с желтыми глазами и губами; другая сторона состояла из зеленых гладких

изразцов. Окна были невелики, круглы; матовые стекла, пропуская свет, не давали видеть ничего происходящего на дворе. На стене висел портрет деда Острицы, воевавшего с знаменитым Баторием. Он был изображен почти во весь рост, в кольчуге, с парой пистолетов, заткнутою за пояс; нижняя часть ног до колен не была только видна. Потемневшие краски едва позволяли видеть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно неизвестно. Над дверьми висела тоже небольшая картина, масляными красками, изображающая беззаботного запорожца с бочонком водки, с надписью: *«Козак, душа правдивая, сорочки не мае»*, — которую и доньше можно иногда встретить в Малороссии. Против дверей — несколько икон, убранных калиною и зелеными цветами, а под ними, на длинной деревянной доске, нарисованы сцены из священного писания: тут был Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака; святой Дамиян, сидящий на колу, и другие подобные. Подалее висело несколько турецких саблей, ружье и разной величины пистолеты; неподвижный

под образами стол, накрытый чистою скатертью, шитою по краям красным шелком и потемневшим серебром; два странного вида складных стула. В этом состояло убранство комнаты...

Острица между тем теперь только заметил, что стол был уставлен деревянными блюдами с яйцами, маслом и бараниною. Первым его делом было приблизиться к столу и утолить голод, который теперь начал сильнее докучать ему. В это время вошла старая ключница с пасхой, с сметаной, сыром... «Вот тебе, паночиньку мой, и разговены! Вот тебе и сметанка! — говорила она. — Куда ж как он проголодался, бедная дытына! Вот как не подавится, бедненький! А я-то думала, а я хлопотала, а я бегала, как бы ему, моему сердечному... А вот Господь сподобил, опять вижу тебя. Охо, хо, хо!»

Горпина опять было хотела всплакнуть, но запорожец Пудько, который начал было подремывать, сидя возле насыщавшего свой голод рыцаря, устремил на нее глаза и проговорил:

— Ну, ну, ну! попробуй только зареветь!..

Это остановило намерение Горпины...

— Кушай, кушай, сынку мой! ешь на здоровье, ешь, я не мешаю тебе! Голубчик мой! Мы с тобою только раз христосовались. Похристосуемся, мое серденько, похристосуемся!..

— Еще и христосоваться! — проговорил Пудько сквозь сон и схватил вместо пуги[333] Горпинину ногу. — Пошла, проклятая баба!

— Ступай, Горпино! полно тебе! — проговорил, поднявшись, Острианица. — А не то я, несмотря на то что ты стара и что нянчила меня, сниму со стены вот этот батог; видишь ты этот батог?

Горпина, которая привыкла бояться повелительного голоса своего пана, немедленно повиновалась.

— Ну, Пудько, где ж Тарас? Что он делает? Что я его не вижу?

— А что ж ему делать? Известно, что делает: спит где-нибудь.

— Ну, так пойдем же и мы спать! только не в душной хате, а на вольной земле, под небом.

Запорожец натянул на себя кобеняк и пошел вслед за Острианицею из светлицы, в ко-

торой чуть было не упал, зацепившись за что-то лежавшее у порога, но голосу которое не дало, — завернувшееся в кожух туловище. Острица узнал Курника, но заметно было, что он хватил не меньше других, потому что в его словах была страшная противоположность тому, что он говорил в дверях. Даже самый образ выражения был не тот; множество слов вмешивалось таких, которых странно и смешно было от него слышать. Заметно было, что на него много сделали влияния запорожцы. «Эх, славная конница у запорожцев! Торо, торо, торо, гайда, гоп, гоп, гоп! Эка славная конница у запорожцев! Торо, торо, гоп, гоп, гоп! Экая конница! Послушай, любезный, скажи мне: какая у тебя конница? У меня конница запорожская. Откуда ты, мужичок? Зачем ты пришел? Не могу, у меня конница запорожская! Торо, торо, торо, гоп, гоп, гоп!» — и тому подобное. Острица попробовал было подойти к атаману, которого указал ему Пудько и который лежал, подмостивши себе под голову бочонок, но услышал от него одни совершенно бессвязные слова, из чего он заключил, что все гуляли как следует, и решился

оставить их в покое и присоединиться к другим, которых храпение составляло самую фантастическую музыку. Скоро все уснули.

Глава 4

Однако ж Острица долго не мог заснуть; напрасно переворачивался он с боку на бок и пробовал все положения: сон убегал его, а думы незваные приходили и силою ложились в его мозг. Итак, его приезд понапрасну; и столько приготовлений, столько забот — все по-пустому! Она не хочет ехать с ним. Так вот это та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери: для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда может еще думать при нем об другом, об отце или матери? Нет, нет! Где любовь настоящая, такая, как следует, там нет ни брата, ни отца. «Нет, я хочу, — говорил он, разбрасывая руками, — чтоб она или меня одного, или никого не любила. Целуй, прижимай меня! Пусть жар дыханья твоего пахнёт мне на щеки! Обнимая дрожащие груди твои, прижму тебя к моим грудям... И еще при этом думать об другом!.. О, как чудно, как странно

создана женщина! Как приводит она в бешенство! Весь горишь! пламень в сердце, душно, тоска, агония... а сама она, может, и не знает, что творит в нас; она себе так, как ни в чем не бывало, глядит беспечно и не знает, что за муку произвела». Но между тем луна, плывшая среди необозримого синего роскошного неба, и свежий воздух весенней ночи на время успокоили его мысли. Они излились в длинном монологе, из которого, может быть, читатели узнают сколько-нибудь жизнь героя. «И как же ей, в самом деле, оставить бедную мать, которая когда-то ее лелеяла и которую теперь она лелеет, для которой нет ничего и не будет уже ничего в мире, когда не будет ее дочери? Она одна для нее радость, пища, жизнь, защита от отца. Нет, права она. И странная судьба моя! Отца я не видал: его убили на войне, когда меня еще на свете не было. Матери я видел только посинелый и разрезанный труп. Она, говорят, утонула. Ее вытянули мертвую и из утробы ее вырезали меня, бесчувственного, неживого. Как мне спасли жизнь — сам не знаю. Кто спас? Зачем спас? Лучше бы пропал, не живши! Чужие

призрели[334]. Еще мал и глуп, я уже наездничал с запорожцами. Опять случай: меня полонили татары. Не годится жить меж ними христианину, пить кобылье молоко, есть конину. Однако ж я был весел душой: ну, вырвусь же когда-нибудь на волю! И вот приехал я на родину сирота сиротою. Не встретил никого знакомого. Хотя бы собака была такая, которая знала меня в детстве. Никого, никого! Однако ж, хотя грустная, а все-таки радость была — и печально и радостно! Больно было глядеть, как посмеивался католик православному народу, и вместе весело. Подожди, ляше, увидишь, как растопчет тебя вольный рыцарский народ! Что же? Вот тебе и похвалился! Увидел хорошую дивчину — и все позабыл, все к черту. Ох, очи, черные очи! Захотел Бог погубить людей за беззаконья и послал вас. Собиралось компанейство отмстить за ругательства над Христовой верой и за бесчестье народу. Я ни об чем не думал, меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. В недобрый час затеялась эта битва. Что-то делают теперь в Польше коронный гетьман, сейм и полковники? Грех лежать на печке.

Еще бы можно было поправить; вражья потеря, верно б, была сильнее, когда бы ударил из засады я. Бежат все запорожцы, увидав, что и Галькин отец держит вражью сторону. А всё вы, черные брови, вы всему виной! И вот я снова приехал сюда с ватагою товарищей; но не правда, и месть, и жажда искупить себе славу силой и кровью завели меня, — всё вы, всё вы, черные брови! Дивно диво — любовь! Ни об чем не думаешь, ничего на свете не хочешь, только сидеть бы возле ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе к себе, так, чтобы пылающие щеки коснулись щеки, и все бы глядеть. Боже, как хороша она была, смеясь! Вот она глядит на меня. Серденько мое, Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Что-то теперь делаешь ты? Верно, лежишь и думаешь обо мне! Нет, не могу, не в силах оставить тебя, не оставлю ни за что... Как же придумать?.. Голова моя горит, а не знаю, что делать! Поеду к королю, упрошу Ивана Острианицу: он добудет мне грамоту и королевское прощение, и тогда, тогда... бог знает, что тогда будет! Только все лучше, я буду близ нее жить...» Так раздумывал и почти

разговаривал сам с собою Острица; уже он обнимал в мыслях и свою Галю, вместе уже воображал себя с нею в одной светлице; они хозяйничают в этом земном рае... Но настоящее опять вторгалось в это обворожительное будущее, и герой наш в досаде снова разбрасывал руками; кобеньяк слетел с плеч его. Его терзала мысль, каким образом объявить запорожскому атаману, что теперь уже он оставляет свое предприятие и, стало быть, помощь его больше не нужна.

Глава 5

Как только проснулся Острица, то увидел весь двор, наполненный народом: усы, байбаракы[335], женские парчовые кораблики[336], белые намитки[337], синие кунтуши — одним словом, двор представлял игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый турецкий платок. Со всею этою кучею народа он должен был перецеловаться и принять невероятное множество яиц, подносимых в шапках, в платках, уток, гусей и прочего — обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господи-

ну, который, с своей стороны, должен был отблагодарить угощением. Подносимое принято; и так как яйца, будучи сложены в кучу, казались пирамидою ядер, выставленных на крепости, то против этого хозяин выкатил две страшные бочки горелки для всех гостей, и хуторянцы сделали самое страшное вторжение. Поглаживая усы, толпа нетерпеливо ждала вступить в бой с этим драгоценным неприятелем. И между тем как одна толпа бросилась на столы, трещавшие под баранами, жареными поросятами с хреном, а другая к пустившему хмельный водопад, боясь послушаться власти атамана, который, наконец, гостей принимал, держа в руках плеть. Он хлестал ею одного из подчиненных своих, который стоял неподвижно, но только почесывался и стараясь удерживать свои стенания при каждом ударе. Атаман приговаривал таким дружеским образом, что если бы не было в руках плети, то можно подумать, что он ласкает родного сына.

— Вот это тебе, голубчик, за то, чтоб ты знал, как почитать старших! Вот тебе, любезный, еще на придачу! А вот еще один раз! Вот

тебе еще другой! Да, голубчик, не делай так! А вот это как тебе кажется? А этот вкусен? Признайся, вкусен? Когда по вкусу, так вот еще! Что за славная плеть! Чудная плеть! Что, как вот это? Нашлись же такие искусники, что так хитро сплели! Что, танцуешь? Тебе, видно, весело? То-то, я знал, что будет весело. Я затем тебя и благословляю так... — Тут атаман, наконец увидев, что молодой преступник, несмотря на все старание устоять на месте, готов был закричать, остановился. — Ну, теперь подойди, да поклонись же, да ниже поклонись! — Принявший удары, с опущенными глазами, из которых ручьем полились слезы, приблизился и отвесил поклон в ноги. — Говори, любезный: «Благодарю, атаман, за науку!»

— Благодарю, атаман, за науку.

— Теперь ступай! Гайда! Задай перцю баранам и сивухе!

— Христос воскрес, атаман! Мы с тобою еще не христосовались.

— Воистину воскрес! — отвечал атаман.

— Нет ли у тебя в запасе губки[338]? Охота забирает люльку затянуть.

При этом Острианица вложил в зубы вытянутую из кармана трубку.

— Как не быть! Это занятие, когда материя [339] не клеится.

— Я хотел сказать тебе дело, — примолвил Острианица с некоторою робостью.

— Гм! — отвечал атаман, вырубливая огонь.

— Мое дело не клеится.

— Не клеится? — промолвил атаман, раскуривая трубку. — Погано!

— Вряд ли нам что-нибудь достанется здесь.

— Не достанется?.. Погано!

— Придется нам возвратиться ни с чем.

— Гм!..

— Что ж ты скажешь? — спросил Острианица, удивленный таким неудовлетворительным ответом.

— Когда воротиться, — отвечал запорожец, сплевывая, — так и воротиться.

Острианицу ободрило такое равнодушие.

— Только я не пойду с вами; я поеду на время в Варшаву.

— Гм! — отвечал атаман.

— Ты, может быть, сердит на меня, что я так обманул и поддел вас? Божусь, что я сам обманут!

При этом слове грянула музыка, и вместе с нею грянуло топанье танцующих. Атаман, с трубкою в зубах, ринулся в кучу танцующей компании, очистил около себя круг и пустился выбивать ногами и навприсядку.

Глава 6

— **Ч**то он себе думает, этот дурень Острица? — говорил старый Пудько. — Щенок! Еще и родниться задумал со мною! Поганый нечестивец! Поди к матери своей, чтоб доносила наперед! И достало духу у него сказать это! Дурень, дурень! — говорил он, дергая рукою, как будто драл кого-нибудь за волоса. — Молод козак, ус еще не прошибся! — Старый Кузубия не мог вынести, когда видел, что младший равняется с старшими. — Знать должен, что кто задумал мстить, тот у того не жди уже милости. Скорее солнце по-синеет, вместо дождя посыплются раки с неба, чем я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! Не хочу! Жинко! Жинко! —

Этим восклицанием обыкновенно оканчивал он свою речь, когда бывал сердит, и боже сохрани жинке не явиться тот же час! На эту речь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать, приползло, иссохнувшее, едва живущее существо. Вид ее не вдруг поражал. Нужно было взглядеться в этот несчастный остаток человека, в это олицетворенное страдание, чтобы ощутить в душе неизъяснимо тоскливое чувство. Представьте себе длинное, все в морщинах, почти бесчувственное лицо; глаза черные, как уголь, некогда — огонь, буря, страсть, ныне неподвижные; губы какого-то мертвого цвета, но, однако ж, они были когда-то свежи, как румянец на спеющем яблоке. И кто бы подумал, что эти слившиеся в сухие руины черты были когда-то чертовски очаровательны, что движение этих, некогда гордых и величественных, бровей дарило счастье, необитаемое на земле? И все прошло, прошло незаметно; образовалось, наконец, лишь бесчувственное терпение и безграничное повиновение.

Кровавый бандурист. Глава из романа

В 1543 году, в начале весны, ночью, тишина маленького городка Лукомья была смущена отрядом рейстровых коронных[340] войск. Ущербленный месяц, вырезываясь блестящим рогом своим сквозь непрерывно обступавшие его тучи, на мгновение освещал дно провала, в котором лепился этот небольшой городок. К удивлению немногих жителей, успевших проснуться, отряд, которого прежде одно появление служило предвестием буйства и грабительства, ехал с какою-то ужасающею тишиною. Заметно было, что всю силу напряженного внимания его останавливал тащившийся среди его пленник в самом странном наряде, какой когда-либо налагало насилие на человека: он был весь с ног до головы увязан ружьями, вероятно, для сообщения неподвижности его телу. Пушечный лафет[341] был укреплен на спине его. Конь едва ступал под ним. Несчастный пленник давно бы свалился, если бы толстый канат не прирастил его к седлу. Осветить бы месячно-

му лучу хоть на минуту его лицо — и он бы, верно, блеснул в каплях кровавого пота, катившегося по щекам его! Но месяц не мог видеть его лица, потому что оно было заковано в железную решетку. Любопытные жители, с разинутыми ртами, иногда решались подступить поближе, но, увидя угрожающий кулак или саблю одного из провожатых, пятились и бежали в свои щедушные домики, закутываясь покрепче в наброшенные на плеча татарские тулупы и продрогиная от свежести ночного воздуха.

Отряд минул город и приближался к уединенному монастырю. Это строение, составленное из двух совершенно противоположных частей, стояло почти в конце города, на косогоре. Нижняя половина церкви была каменная и, можно сказать, вся состояла из трещин, обожжена, закурена порохом, почерневшая, позеленевшая, покрытая крапивою, хмелем и дикими колокольчиками, носившая на себе всю летопись страны, терпевшей кровавые жатвы. Верх церкви с теми изгибистыми деревянными пятью куполами, которые установила испорченная архитектура византий-

ская, еще более изуродованная варваризмом подражателей, был весь деревянный. Новые доски, желтевшие между почерневшими старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще не так давно она была починена богомольными прихожанами. Бледный луч серпорогого месяца, продравшись сквозь кудрявые яблони, укрывавшие ветвями в своей гуще часть здания, упал на низкие двери и на выдавшийся над ними вызубренный карниз, покрытый небольшими своевольно выросшими желтыми цветами, которые на тот раз блестели и казались огнями или золотою надписью на диком карнизе. Один из толпы с неизмеримыми, когда-либо виданными усами, длиннее даже локтей рук его, которого по замашкам и дерзкому повелительному взгляду признать можно было начальником отряда, ударил дулом ружья в дверь. Дряхлые монастырские стены отозвались и, казалось, испустили умирающий голос, уныло потерявшийся в воздухе. После сего молчание снова заступило свое место. Брань на разных наречиях посыпалась из-под огромнейших усов начальника отряда: «Терем-те-те, поповство

проклятое! А то я знаю, чем вас разбудить!» Раздался пистолетный выстрел, пуля пробила ворота и шлепнулась в церковное окно, стекла которого с дребезгом посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятение в кельях, которые примыкали к церкви; показались огни; связка ключей загремела; ворота со скрыпом отворились, — и четыре монаха, предшествуемые игуменом[342], предстали бледные, с крестами в руках.

— Изыдите, нечистые! крошеники[343]! — произнес едва слышным дрожащим голосом настоятель. — Во имя Отца и Сына и Святого Духа, изыди, диаволе!

— Але то еще и брешет, поганый собака! — прогремел начальник языком, которому ни один человек не мог бы дать имени: из таких разнородных стихий был он составлен. — То брешешь, лайдак, же говоришь, что мы дьяволы; а то мы не дьяволы, мы коронные.

— Что вы за люди? Я не знаю вас! Зачем вы пришли смущать православную церковь? — произнес настоятель.

— Я тебе, псяюха, порохом прочищу глаза! Дай нам ключи от монастырских погребов!

— На что вам ключи от наших погребов?

— Я, глупый поп, не буду с тобою говорить! Але ты хочешь, басе мазенята, поговори з моим конем: нех[344] тебе отвечает из-под...

— Принеси им, антихристам, ключи, брат Касьян! — простонал настоятель, оборотившись к одному монаху. — Только у меня нет вина! Как Бог свят, нет! Ни одной бочки, ни бочонка, и ничего такого, что бы вам было нужно.

— А то мне какое дело! Ребята хотят пить. Я тебе говорю, же ты, глупый поп, сена, стойла и пшеницы не дашь лошадям, то я в костел ваш поставлю их и тебя сапогом до морды.

Настоятель, не говоря ни слова, возвел на них оловянные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали миру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встретился с злобно устремившимися на него глазами иезуита. Отворотившись от него, он остановил их на странном пленнике с железным наличником. Вид этот, казалось, поразил почти бесчувственного ко всему, кроме церкви, старца.

— За что вы схватили этого человека? Гос-

поди, накажи их трехипостасною силою своею! Верно, опять какой-нибудь мученик за веру Христову!

Пленник испустил только слабое стенание.

Ключи были принесены, и при свете сонно горевшей светильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Как только опустились они под земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всех. В молчании шел начальствовавший отрядом, и непостоянный огонь светильни, окруженный туманным кружком, бросал в лицо ему какое-то бледное привидение света, тогда как тень от бесконечных усов его подымалась вверх и двумя длинными полосами покрывала всех. Одни только грубо закругленные оконечности лица его были определенно тронуты светом и давали разглядеть глубоко бесчувственное выражение его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло в этой душе; что жизнь и смерть — трын-трава[345]; что величайшее наслаждение — табак и водка; что рай там, где все дребезжит и валится от пьяной руки. Это было

какое-то смешение пограничных наций. Родом серб, буйно искоренивший из себя все человеческое в венгерских попойках и грабительствах, по костюму и несколько по языку поляк, по жадности к золоту жид, по расточительности его козак, по железному равнодушию дьявол. Во все время казался он спокоен; по временам только шумела между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной пол, час от часу уходивший глубже вниз, заставлял его оступаться. Тщательно осматривал он находившиеся в земляных стенах норы, совершенно обсыпавшиеся, служившие когда-то кельями и единственными убежищами в той земле, где в редкий год не проходило по степям и полям разрушение, где никто не строил крепких строений и замков, зная, как непрочно их существование. Наконец показалась деревянная, заросшая мхом, зацветшая гнилью, дверь, закиданная тяжелыми бревнами и камнями. Перед ней остановился он и оглядел ее значительно снизу доверху. «А ну!» — сказал он, мигнувши бровью на дверь, — и от брови, казалось, пахнул ветер. Несколько человек принялись и не

без труда отвалили бревна. Дверь отворилась. Боже! какое обиталище открылось глазам! Присутствовавшие взглянули безмолвно друг на друга, прежде нежели осмелились войти туда. Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть, распутившая свои костистые члены под всеми цветущими городами, под всем веселящимся, живущим миром. Но если эта дышащая смертью внутренность земли населена еще живущими, теми адскими гномами[346], которых один вид уже наводит содрогание, тогда она еще ужаснее. Запах гнили пахнул так сильно, что сначала заняло у всех дух. Почти исполинского роста жаба остановилась неподвижно, выпучив свои страшные глаза на нарушителей ее уединения. Это была четырехугольная, без всякого другого выхода, пещера. Целые лоскутья паутины висели толстыми клоками с земляного свода, служившего потолком. Обсыпавшаяся со сводов земля лежала кучами на полу. На одной из них торчали человеческие кости; летавшие молниями ящерицы быстро мелькали по ним. Сова или летучая мышь была

бы здесь красавицею.

— А чем не светлица? Светлица хорошая! — проревел предводитель. — Терем-те-те! Лысый бес начхай тебе в кашу! Але тебе, псяюхе, тут добре будет спать. Сам ложись на ковалки[347], а под голову подмости ту жабу али возьми ее за женку на ночь!

Один из коронных вздумал было засмеяться на это, но смех его так страшно, беззвучно отдался под сырыми сводами, что сам засмеявшийся испугался. Пленник, который стоял до того неподвижно, был втолкнут на середину и слышал только, как заскрыпела за ним дверь и глухо застучали заваливаемые бревна, свет пропал, и мрак поглотил пещеру.

Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком заступа[348], когда страшная земля валится на последний признак существования человека и могильно-равнодушная толпа говорит, как сквозь сон: «Его нет уже, но он был».

После первого ужаса он предался какому-то бессмысленному вниманию, бездушному существованию, которому предается чело-

век, когда удар бывает так ужасен, что он даже не собирается с духом подумать о нем и вместо того устремляет глаза на какую-нибудь безделицу и рассматривает ее. Тогда он принадлежит к другому миру и ничего не разделяет человеческого. Видит без мыслей; чувствует не чувствуя; странно живет. Прежде всего внимание его впилося в темноту. Все было на время забыто — и ужас ее, и мысль о погребении живого. Он всеми чувствами вселился в темноту. И тогда пред ним развернулся совершенно новый, странный мир. Ему начали показываться во мраке светлые струи — последнее воспоминание света! Эти струи принимали множество разных узоров и цветов. Совершенного мрака нет для глаза. Он всегда, как ни зажмурь его, рисует и представляет цвета, которые видел. Эти разноцветные узоры принимали или вид пестрой шали, или волнистого мрамора, или, наконец, тот вид, который поражает нас своею чудною необыкновенностью, когда рассматриваем в микроскоп часть крылышка или ножки насекомого. Иногда стройный переплет окна, — которого, увы! не было в его тем-

нице, — проносился перед ним. Лазурь [349] фантастически мелькала в черной его раме, потом изменилась в кофейную, потом исчезла совсем и обращалась в черную, усеянную или желтыми, или голубыми, или неопределенного цвета крапинами. Скоро весь этот мир начал исчезать: пленник чувствовал что-то другое. Сначала чувствование это было безотчетное; потом начало приобретать определенность. Он слышал на руке своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись к чему-то склизкому. Мысль о жабе вдруг осенила его!.. он вскрикнул... и разом переселился в мир действительный. Мысли его окунулись вдруг в весь ужас существования. К тому еще присоединилось изнурение сил, ужасный спертый воздух: все это повергло его в продолжительный обморок.

Между тем отряд коронных войск разместился в монастырских кельях как дома, высылал монахов подчищать конюшни и пировал от радости, что, наконец, схватил того, кто им был нужен!

— Попался, псяюха! — говорил усастый предводитель. — Хотел бы я знать, чего они

так быстры на ноги, собачьи дети? Пойдем, хлопцы, доведемся, кто с ним был, лысый бес начхай ему в кашу!

Жолнеры[350] опустились вниз и нашли пленника лежащего без чувств.

— Дай ему понюхать чего-нибудь!

Один из них немедленно насыпал ему на руку пороху, к которой прислонилась его голова, и зажег его. Пленник чихнул и поднял голову, будто после беспокойного сна.

— Толкните его дубиной! рассказывай, терем-те-те, бабий сын! Але кто с тобою разбойничал? Двенадцать дьяблов твоей матке! Где твои ребята?

Пленник молчал.

— А то я тебя спрашиваю, псяюха! Скиньте с него наличник[351]! Сорвите с него епанчу! А то лайдак! Але то я знаю добре твою морду: зачем ее прячешь?

Жолнеры принялись — разорвали верхнюю епанчу тонкого черного сукна, которою закрывался пленник, сорвали наличник... и глазам их мелькнули две черные косы, упавшие с головы на грудь, очаровательная белизна лица, бледного, как мрамор, бархат бровей,

обмершие губы и девственные обнаженные груди, стыдливо задрожавшие, лишенные покрова.

Начальник отряда коронных войск окаменел от изумления; команда тоже.

— Але то баба? — наконец обратился он к ним с таким вопросом.

— Баба! — отвечали некоторые.

— А то как могла быть баба? Мы козака ловили.

Предстоящие пожали плечами.

— На цугундру[352] бабу! Как ты, глупая баба, дьявол бы тебя!.. Але как ты смела?.. рассказывай, где тот псяюха, где Остржаница?

Полуживая не отвечала ни слова.

— То тебя заставят говорить, лысый бес начхай тебе в кашу! — кричал в ярости воевода. — Ломайте ей руки!

И два жолнера схватили ее за обнаженные руки, белизною равнявшиеся пыли волн. Раздирающий душу крик раздался из уст ее, когда они стиснули их жилистыми руками своими.

— Что? скажешь теперь, бесова баба?

— Скажу! — простонала жертва.

— Оставь ее! Рассказывай, где тот бабий сын, сто дьяблов его матке!

— Боже! — проговорила она тихо, сложив свои руки. — Как мало сил у женщины! Отчего я не могу стерпеть боли!

— То мне того не нужно! Мне нужно знать, где он?

Губы несчастной пошевелились и, казалось, готовы были что-то вымолвить, как вдруг это напряжение их было прервано неизъяснимо странным происшествием: из глубины пещеры послышались довольно внятно умоляющие слова: «Не говори, Ганулечка! Не говори, Галюночка!» Голос, произнесший эти слова, несмотря на тихость, был невыразимо пронзителен и дик. Он казался чем-то средним между голосом старика и ребенка. В нем было какое-то, можно сказать, нечеловеческое выражение; слышавшие чувствовали, как волосы шевелились на головах и холод трепетно бегал по жилам; как будто это был тот ужасный черный голос, который слышит человек перед смертью.

Допросчик содрогнулся и положил невольно на себя крест, потому что он всегда считал

себя католиком. Минуту спустя уже ему показалось, что это только почудилось. Жолнеры обшарили углы, но ничего не нашли, кроме жаб и ящериц.

— Говори! — проговорил снова неумолимый допросчик, однако ж не присовокупив на этот раз никакой брани.

Она молчала.

— А ну, принимайтесь! — При этом густая бровь воеводы мигнула предстоящим.

Исполнители схватили ее за руки.

И те снежные руки, за которые бы сотни рыцарей переломали копья, те прекрасные руки, поцелуй в которые уже дарит столько блаженства человеку, эти белые руки должны были вытерпеть адские мучения! Не многие глаза выдержали бы то ужасное зрелище, когда один из них с варварским зверством свернул ей два пальца, как перчатку. Звук хрустевших костей был тих, но его, казалось, слышали самые стены темницы. Сердцу с не совсем оглохлыми чувствами не достало бы сил выслушать этот звук. Страшно внимать хрипению убиваемого человека; но если в нем повержена сила, оно может вынести и не

тронуться его страданиями. Когда же врывается в слух стон существа слабого, которое ничто перед нашею силою, тогда нет сердца, которого бы даже сквозь самую ярость мести не ужалила ядовитая змея жалости.

Пленница ни звука не издала. Лицо ее только означилось мгновенным судорожным движением муки, и губы задрожали.

— Говори, я тебя!.. поганая лайдачка[353] !.. — произнес воевода, которому муки слабого доставляли какое-то сладострастное наслаждение, которое он мог только сравнить с дорого доставшеюся рюмкою водки.

Но только что он произнес эти слова, как снова тот же нестерпимый голос так же явно раздался и так же невыносимо жалобно произнес: «Не говори, Ганулечка!»

На этот раз страх запал глубже в душу начальника.

Все обратились в ту сторону, откуда послышался этот странный голос — и что же?..

Ужас оковал их. Никогда не мог предстать человеку страшнейший фантом!.. Это был... ничто не могло быть ужаснее и отвратительнее этого зрелища! Это был... у кого не потряс-

лись бы все фибры, весь состав человека! Это был... ужасно! — это был человек... но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни жилы синели и простирались по нем ветвями!.. Кровь капала с него!.. Бандура[354] на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза...

Невозможно было описать ужаса присутствовавших. Все обратилось, казалось, в неподвижный мрамор со всеми знаками испуга на лицах. Но, к удивлению, это появление, отнявши силу у сильных, возвратило ее слабому. Собравши всю себя, всю душевную крепость, молодая узница тихо поползла к дверям и вступила в земляной коридор, которого гнилой воздух показался ей райским в сравнении с ее темницей...

Глава из исторического романа

Между тем посланник наш переехал границу, отделяющую ныне Пирятинский повет от Лубенского. Общих езжалых дорог тогда не было в Малороссии, но почти каждому известна была какая-нибудь проселочная — по мнению его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь от ровной поверхности, проскальзывала в рытвины, царапалась по косогору, вешалась над провалами, и один неровный, слегка протоптанный подковою коня след означал ее уклонения. Достаточно было только выехать в дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлегов. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленного с местами, было то, что он должен был, на расстоянии двадцати пяти или пятидесяти ружейных выстрелов, выведывать и выспрашивать пути у жителей, которых показания всегда почти разногласили.

Пустив повод и наклонив голову, всадник наш давно уже погружен был в раздумье, и только изредка попадавшие кочки и пни срубленных деревьев, заставляя спотыкаться

верного его товарища, борзого коня, перерезывали разом его думы, которые снова обычным ожерельем низались в голове его. В первый раз еще случилось ему выполнять такое поручение: ехать бог знает куда, в незаселенные степи Украины! И кто этот Глечик?.. Какая нужда Казимиру до начальника какой-то шайки, называвшего себя полковником миргородского полку?.. Ему не объявлено было ничего удовлетворительного ни о характере, ни о силе его, ни о том, какие он имеет сношения и с кем... К чему же эта осторожность, какую нужно было иметь в речах с ним? Зачем перелетать такую даль, чтобы только доставить ему сведения о событиях, волновавших Варшаву? И чем мог быть полезен такой отдаленный союзник?.. Мысленно досадовал он на себя, что не выведал обстоятельно об этом от Бригитты: ей, без сомнения, сколько-нибудь были известны причины такого странного посольства[355].

Солнце медленно прощалось с землею. Живописные облака, обхваченные по краям огненными лучами, поминутно меняясь и разрываясь, летели по воздуху. Сумерки угрю-

мо надвигали сизую тень свою и притворяли мало-помалу ставни окошек, освещавших светлый Божий мир. В это время путник наш после долгого степного странствия въехал в лес. Раздетые безжалостною осенью деревья сквозили, как решето, и, казалось, дрожали от вечернего холода. Желтые листья, как объедки и битые ковши от недавнего пиршества, валялись неприбранные, и один только шелест их, ходя по лесу, давал знать о присутствии в нем нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину леса темнело небо; резкий ветер подымался с поля и мчал заунывные свои вопли в гущу леса. Путник поневоле задумался и остановил коня своего в нерешимости, что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла и перед ним торчал один только лес да неизвестность; как вдруг громкий голос «цоб, цоб!» поразил слух его; тяжело нагруженный воз заскрыпел, и пара волов показалась из-за деревьев. Надобно вообразить себя на месте путешественника, чтобы вполне почувствовать радость такой встречи. Луна в это время вырезалась на небе. Серебряный свет, перепутанный тенью от дерев, пал

решеткою на землю, осветив далеко окрестность, и Лапчинский увидел перед собою дужего пожилого селянина. Седые, закрученные вниз усы его гордо покоились на смуглом, означенном резкими мускулами лице, которое так простодушно оттеняла какая-то азиатская беспечность. По черным бровям сербрилась седина; огонь вылетал из небольших карих глаз, и в огне том высвечивались попеременно то хитрость, то простодушие. На голове у него была черная козацкая шапка с синим верхом. Коротенький нагольный тулуп[356], затянутый яркоцветным поясом, служил непроницаемыми латами от холода; сверх этого одеяния вдобавку накинут был обыкновенный кобеняк из толстого смурого сукна, который и поныне носят малороссийские мужики. Из-за пояса торчали пищаль [357] и изогнутая татарская сабля — оружие, которое в тогдашние смутные времена всякий козак, ратник и селянин почитал необходимостью всегда иметь при себе.

— Помогай Боже! — сказал он, остановив волов и обнажив увенчанную только на верхушке кистью волос голову, в знак того ува-

жения, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратным людям. Надобно припомнить, что Лапчинский, в избежание неприятностей, каким бы он неминуемо подвергнулся от жителей, не терпевших всего, что только носило название ляха или принадлежало ляхам, принужден был переменить щегольской костюм свой на скромное одеяние козацкого десятника. Всадник наш отвечал легким наклонением головы на сие приветствие.

— Не знаешь ли, земляк, — молвил он с ласковым видом, — далеко ли отсюда до Ромодановского шляху?

— Не сумею, добродию, сказать вдруг; по времените немножко. — Тут принялся он высчитывать, что выражали машинально сгибаемые им пальцы. — До Ромодановского шляху!.. Как бы вам сказать... оно не так чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного было перетрусили: кто-то пронес слух, что все шляхетство собирается к нам на Сулу в гости. Спыхватились сдуру и разломали мосты; так вам, добродию, чтоб не пришлось давать больших объездов. Впрочем,

бог его знает: я говорю это потому, что другие говорят... так, может быть, выберется и короткий путь; только, знаете, теперь время осеннее... то станется, что и далеко... Только опять же как подумаешь, то кажется, что и близко. Вот другое дело, если б были поставлены столбы по дороге, какие, без сомнения, сами, добродию, если бывали в Польше, встречали по тамошним дорогам.

Не должно удивляться противоречиям, испестрявшим монолог нашего поселянина. Кроме действительной неизвестности, малороссияне любили поусомниться и в самом знакомом им деле. Малороссиянин и доньше ничего не скажет наобум, но раз десять поправит себя, а иногда с умыслом запутает своего слушателя так, что тот, к изумлению своему, видит, что до такого-то места и далеко и близко.

— Куда же, по крайней мере, мне теперь держать путь? — спросил странник, вперив испытующий взор на своего наставника.

Тут селянин наш осмотрел его хорошенько с головы до ног.

— А вы, добродию, хотите теперь ехать?

— Почему же не теперь?

— Бог с вами! теперь и наш брат, здешний, уже сильно подумавши разве, поедет. Знаешь, мосьпане! ведь нам стоит только проехать такое время, в какое добрый мужик успеет вымолотить полкопны жита, чтобы слышать собачий лай с моего двора. Все бы лучше опочить в теплой хате, а завтра хоть и с богом!

От такого предложения нельзя было отказать путнику, который, кажется, того только и ожидал.

— А куда, — спросил дорогою поселянин наш своего будущего гостя, — лежит путь вам, мосьпане?

— Еду-то я далеко, на ту сторону Ворскла, к миргородскому полковнику Глечуку. Что, земляк, не знаешь ли и ты его?

— Как не знать этой старой собаки! А из каких мест бог несет?

— Из великой станицы, что под Лохвицею.

— Как же это, добродию, мы не слышали ничего про то, чтобы станица была под Лохвицею? — Тут вонзил он в него острый взор свой, который, казалось, хотел выпытать его

душу. — И то сказать! где уже мужику знать все про войсковые дела; до нашего захоlustья еще и слухи не дошли об этом.

Посланник наш спохватился, что не нужно бросать осторожности в рассказах и с простым селянином, и потому, собравшись немного с мыслями, продолжал:

— То есть, вот видишь, земляк, наверное я еще не могу сказать. В самой-то станице я не был, а встретившийся под Лохвицею запорожский сотник Шляйко, узнав, что я еду в эти места, дал мне грамотку к миргородскому полковнику. Летел он как угорелый; из распросов его я ничего не мог узнать наверное. Недавно перед тем возвратился я из Варшавы... Видишь, он, может быть, имел причины не доверять мне... то есть... он... ты, думаю, понимаешь меня.

— Что вы говорите, добродию! Разве мужик поймет то, что толкуют паны? Ей-богу, нет; где нам понять! У нас и голова не так сделана, как у панов: черт знает что такое: больше на капусту похоже, чем на голову.

«О, да ты штука!» — подумал про себя Лапчинский и положил себе быть как можно

осторожнее в словах.

Он во все это время ехал шагом, уравнивая легкую поступь своего гордого коня с ленивою выступкою тяжелых волов, впереди которых с флегматическою важностью шел селянин, помахивая батоном и потягивая коротенькую люльку[358]. Дым от нее обнимал облаками смуглое лицо его, которое, освещаясь иногда вспыхивавшим огоньком, казалось лицом какого-нибудь упыря[359], выказывавшимся по временам из непробудного болотного тумана и сеявшим искры чудного огня. Это заставляло Лапчинского чаще всматриваться ему в глаза, чтоб удостовериться, точно ли то был его товарищ. Но селянин наш сам отгонял всякое насчет его сомнение, не давая минуты задуматься своему гостю.

— Слыхали ль вы, добродию, про таковое диво? — говорил он, не выпуская изо рта своей трубки, — видишь ли сосну, вон далеко, далеко чернеет перед нами?

И путник, к удивлению своему, точно увидел сосну. Каким образом зашла она сюда, когда во всей почти этой стороне Малороссии, на расстоянии, может быть, по сту верст во

все стороны, взор не отыскивал этой суровой жилицы севера? Невольно вперил он на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженного леса сохраняла, казалось, жизнь. Но жизнь ли это? Это была мумия, которую с изумлением отыскивают между голыми скелетами, одну не сокрушенную тлением. В ней видны те же черты, та же прекрасная форма человека объемлет ее. Но, боже, в каком виде! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается в душу при взгляде на жалкий обман, которым суетное искусство силится выхватить и удержать что-то похожее на жизнь.

— Это еще не большое диво, что сосна, а вот что диво. Лет за пятьдесят перед тем, как мы балагурим с вами, жил, чуть ли не на вот этом месте, в хоромах великий пан. Воевода ли он был, сотник ли какой или просто пан, этого я не умею сказать; знаю только, что он был лях и не нашей веры. Жил он, как все нечистые польские паны живут: дом с утра до вечера ходенем ходил от вина и от песен, и далече прохватывала дрожь крещеного человека, когда он слышал раздававшиеся из лесу

крики. Хлопцы из дворни его то и дело что наездничали по хуторам да обирали бедных жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать Божьи церкви, и такое делали... враг с ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы их всех, добродию, — так нельзя, потому что дворни одной у них было, может, с полторы сотни, да и на каждого бердыши [360], самопалы[361] и вся сбруя ратная. Вот и вызвался один дьякон, как уже его звали и из какого приходу он был, ей-богу, добродию, не знаю, — вызвался и пришел в лес. Если бы теперь не ночь и не засыпало листьям, то я, может статья, показал бы вам останки этого дьявольского гнезда. На ту пору, — так, видно, сам Бог уже хотел, — был у них какой-то окаянный праздник. Дьякон шел уже напропало, сказал: «Господи, благослови!» — и, сколько доставало духу, толкнулся в ворота, запертые толпившимся народом. Цимбалы[362] и бандуры бренчали и гудели, словно на свадьбе, а пьяные паны и дворня изо всей силы отдирали краковяк[363]. Как только завидели дьякона, так, добродию, и закричали: «Зачем сюда принесло попа?» А пан говорит: «Гей, хлопцы!

налейте-ка попу водки: пусть его танцует с нами, добрыми христианами, краковяк, да подгоняйте его хорошенько батожем!» Дьякон, исполнившись, видно, святого духа, начал представлять нечестивым весь грех беззаконного житья их, и какие на том свете будут им муки, и как будут они плясать в пекле[364], только не по своей воле, а подгоняемые горячими вилами чертей. «А, так ты еще и проповедь читаешь? Гей, хлопцы! поднимите попа на крылос[365], а чтоб не застудил горла, накиньте ему глестук на шею!» И тут же челядь, с нечеловечьим смехом и гиканьем, втащила несчастного дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежит нам путь. Позвольте, добродию: тут-то и история. Сосна эта как раз стояла перед хоромами и, как нарочно еще, перед самыми окошками панской светлицы. Вот, как ночь уже разогнала всех: кого на лавку, кого под лавку, — пану нашему чудится, что на него каплет что-то холодное. «Что за нечистый! — подумал пан, — отчего это каплет?» Встал с постели, глядит: колючие ветви сосны царапаются к нему сквозь стену и, будто живые, вытягиваются длиннее, длиннее и как

раз достают до него. Перекрестился, может быть в первый раз отроду, наш пан, когда увидел, что из них каплет человечья кровь, сначала холодная, как лед, а потом жжет, да и только! К окну — так и ноги подкосились: сосна вся посинела, как мертвец, и страшно кивает ему черною всклокоченною бородою. Сначала было думал пан, не хмель ли бродит у него в голове; так на следующую ночь то же диво, и вся дворня в один голос, что по лесу то и дело что отпевают усопшего таким страшным голосом, что всякого мороз драл по коже и волосы щетиною поднимались на голове. Чего уж ни делали: и погребли с честью тело дьякона, и принимались было рубить сосну, — так секира не берет: что ни ударят, топор вызубрится, а дерево стонет, будто дитя некрещеное. Решились, наконец, бросить это окаянное место. Вот каждый день и соберется вся челядь, оседлают коней, заберут все с собою и выедут, еще черти не бьются на кулачки; едут, едут, до самого вечера: кажись, бог знает куда заехали! Остановятся ночевать — смотрят, знакомые всё места: опять тот же дикий лес, те же хоромы, а проклятая сосна,

протягивая ветви, словно руки, хватая пана и обдает его кровавыми каплями, а черная всклокоченная борода так же жутко кивает ему... — Тут рассказчик наш стремительно ударил в слушателя огненными глазами своими, блиставшими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не без удовольствия заметил в нем впечатление, произведенное его рассказом. Действительно, путник наш не мог не ощутить какого-то тайно врывающегося в душу страха и с беспокойством посматривал вокруг. В это время поравнялись они с сосной. Серебряный свет падал на печальные ветви ее, и отбрасывавшиеся от них тени, будто продолжение их, переламливаясь о встречные деревья, ложились бесконечною лестницею на землю. Ветер слегка покачивал вершину, и когда путник, немного проехав, оглянулся назад, то ему показалось, что какой-нибудь неприязненный дух, приняв дикий, величественный образ, медленно следовал за ним, печально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темно-зеленые объятия свои, в намерении схватить его.

— Что же далее случилось? — спросил он

умолкшего рассказчика, стараясь подавить невольную робость.

— Что? Круто пришлось пану: распустил всю свою дворню, стал схимником[366], и как отправил пятьдесят две панихиды за упокой души дьякона, тогда только стихнуло чудо. Куда же делся после того схимник, этого никто не скажет вам. Дня за три до Купала[367] каплет с этого дерева день и ночь роса. Говорят еще, что и сгубленная чья-то душа таскается по лесу. Теща рассказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встретила однажды в лесу дьявола в красном жупане, в каком ходил и покойный пан... Цоб, цоб, цобе! гей! Вот мы, добродию, и приехали.

Лапчинский увидел действительно перед собою низенькие ворота, редко убитые впоперек положенными досками, какие и теперь можно видеть почти у каждого малороссийского поселянина. Лай собак залился по лесу, и старая женщина, в накинутом на плеча тулупе, вышла отворить ворота. Глазам нашего путника представился небольшой дворик, обнесенный забором из болотного тростника, несколько сараев и хлевов, укрытых таким

же тростником, и обыкновенная малороссийская хата. На дворе навален был ворох ульев, из которых многие развешаны были на деревьях, нагибавших со всех сторон любопытные ветви свои во двор, как будто низкая буколическая[368] жизнь его могла доставить им, величественным, занимательное зрелище. Позади двора тянулось еще какое-то строение, которого за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имение сие принадлежало слишком зажиточному козаку; в тогдашние времена не у всякого могло найтись подобное великолепие. Пока хозяин занимался выгрузкою своего вьюка, Лапчинскому было довольно времени рассмотреть внутренность этого обиталища. Все в нем было почти так же, как и ныне у простолюдинов Малороссии: против дверей несколько окон, перед ними стол, на котором заметил он ржаной хлеб и соль, не снимавшиеся с него никогда, в знак того, что гость во всякое время может найти радушный прием себе. Всю комнату обходили липовые, широкие и узкие, лавки; у дверей громоздилась печь с отверстием внизу, заслоненным ча-

стою решеткою, из-за которой выглядывали куры, гуси, индейки и домашние кролики. Каждый из сих бессловесных жильцов суетился по-своему: пищал, кудахтал, гоготал и давал знать, что он нимало не последнее из творений. На полу мальчишка лет четырех колотил огромным подсолнечником по опрокинутому горшку, между тем как другой, годом постарее, душил за горло кота, напевая какую-то песню, которую, верно, от частого повторения его матери, заучил навеки. Перед большим окованным сундуком сидела девочка лет одиннадцати, держа на руках грудного ребенка, плакавшего изо всех сил, несмотря на то что она, желая забавить его, побрякивала огромным замком и стращала малютку вошедшим гостем. На стене висели: серп, сабля, ружье, которого замок был развинчен и лежал близ него на полке, вероятно отложенный для подчинки, секира, турецкий пистолет, еще ружье, неопущенная коса и коротенькая нагайка — орудия, с незапамятных времен вечно враждовавшие между собою и которые непонятный человек заставляет мириться, несмотря на несходные их свойства.

— Прошу не погневаться, добродию, что заставил вас ждать немного! — сказал вошедший хозяин. — Так проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сих пор в голове базар ходит. Счастье еще, что старухи моей нет дома, а то бы она вымыла мне голову. Дома только нас: я да теща.

При сем слове вошла та самая старуха, которая отворяла ворота. С каким-то грустным чувством рассматривал ее путник: казалось, перед ним стояла жертва могилы, в которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человеку всю ничтожность долголетия, к коему так жадно стремятся его желания. Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! мутные, они устремлялись порой на него; но тот бы обманулся, кто прочитал бы в них что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядели; им все казалось смутно, как не совсем проснувшемуся человеку. Покамест предавался он таким чувствам, старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь мир свой, который так же казался ей просто-

рен и люден, как и всякий другой; а хозяин обратился к детям своим.

— Ай да Федот! — говорил он, поднимая одною рукою под потолок мальчика с подсолнечником. — Где ты взял такой страшный со-
нечник?[369] Да этим ты как-нибудь человека
убьешь. Ты что там делаешь, Карпо? кота ду-
шишь? Какой же я тебе гостинец привез! Сту-
пай же, собачий сын! что ж ты стоишь и рот
разинул? Вот, как видите, добродию, сто раз
толкую, что я его батька; до сих пор не верит,
ледача детина![370] А ты, плакса, долго бу-
дешь реветь? А подайте мне батог, вот я его!
Давай его сюда, Маруся; я сейчас за окошко:
пусть там съедят его волки либо ляхи...

— Тебя таки, земляк, Бог наделил
детьми? — сказал гость наш своему хозяину.

— Да, не без того, мосьпане! всех-то их у
меня семеро. Два уже поженились на чужой
стороне, только черт знает какое приданое
взяли за невестами: по сажени земли, на ко-
торой ничего не родится, кроме полыни и бу-
рьяну. Что ж ты, Федот, не скажешь спасибо?
Пан дает пряник, а он и не поклонится. Не из-
вольте целовать его! у него вся рожа выпач-

кана золою. Были мне с ним порядочные хлопоты. Услышал, что еду на ярмарку: «Возьми и меня, тату!» — «Да куда я тебя дену? там тебя задавят!» — «Нет, не задавят, возьми да возьми!» — «Да там теперь столько цыганов, что еще украдут тебя, и тогда поминай как звали». — «Возьми, да и только!» Что станешь делать? плачу такого натворил, что боже упаси! Насилу унял его обещанием привезти медового коня с золотой головою. Ну, Маруся, матери незачем дожидаться: давай-ка нам вечерять; баба уж, верно, спит! Так до кого, добродию, — продолжал он, вдруг оборотясь к гостю и сядясь за стол, — говоришь ты, едешь? У меня под старость голова как дырявое ведро: сколько ни лей воды в него, все пусто; сколько ни толкуй умных речей, все забудет.

— Как, земляк? разве я не сказал тебе, что до Глечика? — отвечал гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

— До миргородского полковника? так нечего тебе и забираться так далеко: не кто другой, как он, сидит перед тобою, мосьпане!

Если бы в это время пуля пролетела мимо

ушей Лапчинского, он был бы менее удивлен. Так внезапно, так неожиданно напасть на него врасплох, когда все мысли его разбрелись... когда... Нет, не может быть: он ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяина, как бы желая удостовериться в лживости того, о чем донес ему слух его.

1830

Страшный кабан.

Две главы из малороссийской повести

I. Учитель

Прибытие нового лица в благословенные места голтвянские наделало более шуму, нежели пронесшиеся за два года пред тем слухи о прибавке рекрут[371], нежели внезапно поднявшаяся цена на соль, вывозимую из Крыма украинскими степовиками[372]. В шинке, по улицам, на мельнице, в винокурне только и речей было что про приезжего учителя. Догадливые политики в серых кобеньках и свитах, пуская дым себе под нос с са-

мым флегматическим видом, пытались определить влияние такого лица, которому судьба, казалось, при рождении указала высоту, чуть-чуть не над головами всех мирян, которое живет в панских покоях и обедает за одним столом с обладательницею пятидесяти душ их селения. Поговаривали, что звание учителя для него мало, что, без всякого сомнения, влияние его будет накинута и на хозяйственную систему; по крайней мере, уже верно, не от другого кого-либо будет зависеть наряжение подвод, отпуск муки, сала и проч. Некоторые со значительным видом давали заметить, что едва ли и сам приказчик[373] не будет теперь нулем. Один только мирошник[374], Солопий Чубко, дерзнул утверждать, что старшинам[375] со стороны его нечего опасаться, что готов он держать заклад об новой шапке из серых решетиловских смушков, если смыслит учитель, как остановить пятерню и поворотить застоявшийся жернов. Но важная осанка, блистательное торжество над дьячком, громоподобный бас, приведший в умиление всех прихожан, живы были во всеобщей памяти, и вы-

годное мнение об учителе подтверждалось. И если в честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезные сожительницы их не ударили себя лицом в грязь: одаренные тем звонким и пронзительным языком, который, по неисповедимым велениям судьбы, у женщин почти вчетверо быстрее поворачивается, нежели у мужчин, они гибко разворачивали его в опровержение и защиту достоинств учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемые взвизгиваньем и бранью, раздавались по мирным закоулкам села Мандрюк. А как почтеннейшие обитательницы его имели похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицам то и дело что находили кумушек, уцепившихся так плотно друг за друга, как подлипало цепляется за счастливица, как скряга за свой боковой карман, когда улица уходит в глушь и одинокий фонарь отливает потухающий свет свой на палевые стены уснувшего города. Более всего доставалось муженькам, пытавшимся разнимать их: очипки, черепья как град летели им на голову, и часто раздраженная кумушка, в пылу

своего гнева, вместо чужого колотила собственного сожителя.

В это время педагог наш почти освоился в доме Анны Ивановны. Он принадлежал к числу тех семинаристов, *убоявшихся бездны премудрости*, которыми ***ская семинария снабжает не слишком зажиточных панков в Малороссии, рублей за сто в год, в качестве домашнего учителя. Впрочем, Иван Осипович дошел даже до богословия и залетел бы невесть куда, вероятно еще далее, если бы не шалуны его товарищи, которые беспрестанно подсмеивались над усами и колючею его бородой. С годами, когда одни выходили совсем, а на место их поступали моложе и моложе, — ему, наконец, не давали прохода: то бросали цепким репейником в бороду и усы, то привешивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову песком или подсыпали в табакерку его чемерки[376], так что Иван Осипович, наскуча быть безмолвным зрителем беспрестанно менявшегося ветреного поколения и детской игрушкой, принужден был бросить семинарию и определиться на *ваканцию*[377].

Перемещение это сделало важную эпоху и

перелом в его жизни. Беспрестанные насмешки и проказы шалунов заменило наконец какое-то почтение, какая-то особенная приязнь и расположение. Да и как было не почувствовать невольного почтения, когда он появлялся, бывало, в праздник в своем светло-синем сюртуке, — заметьте: в светло-синем сюртуке, это немаловажно. Долгом поставляю надумать читателя, что сюртук вообще (не говоря уже о синем), будь только он не из смурого сукна, производит в селах, на благословенных берегах Голтвы, удивительное влияние: где ни показывается он, там шапки с самых неповоротливых голов перелетают в руки, и солидные, вооруженные черными, седыми усами, загоревшие лица отмеривают в пояс почтительные поклоны. Всех сюртуков, полагая в то число и хламиду дьячка, считалось в селе три; но как величественная тыква гордо громоздится и заслоняет прочих поселенцев богатой *бакши*[378], так и сюртук нашего приятеля затемнял прочих собратьев своих. Более всего придавали ему прелести большие костяные пуговицы, на которые толпами заглядывались уличные ребяташки. Не без удо-

вольствия слышал наш щеголеватый наставник юношества, как матери показывали на них грудным ребятам, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: «Цяця, цяця!»[379] За столом приятно было видеть, как чинно, с каким умилением почтенный наставник, завесившись салфеткой, отправлял всеобщий процесс житейского насыщения. Ни слова постороннего, ни движения лишнего: весь переселялся он, казалось, в свою тарелку. Опорожнив ее так, что никакие принадлежащие к гастрономии орудия, как-то: вилка и нож, ничего уже не могли захватить, отрезывал он ломтик хлеба, вздевал его на вилку и этим орудием проходил в другой раз по тарелке, после чего она выходила чистою, будто из фабрики. Но все это, можно сказать, были только наружные достоинства, выказывавшие в нем знание тонких обычаев света, и читатель даст большой промах, если заключит, что тут-то были и все способности его. Почтенный педагог имел необъятные для простолюдина сведения, из которых иные держал под секретом, как-то: составление лекарства против укушения бешеных собак, искусство окраши-

вать посредством одной только дубовой коры и острой водки в лучший красный цвет. Сверх того, он собственноручно приготавливал лучшую ваксу и чернила, вырезывал для маленького внука Анны Ивановны фигурки из бумаги; в зимние вечера мотал мотки и даже пряд.

Удивительно ли, если с такими дарованиями сделался он необходимым человеком в доме, если вся дворня была без ума от него, несмотря, что лицо его и окладом и цветом совершенно походило на бутылку, что огромнейший рот его, которого дерзким покушениям едва полагали преграду оттопырившиеся уши, поминутно строил гримасы, приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имели цвет яркой зелени, — глаза, какими, сколько мне известно, ни один герой в летописях романов не был одарен. Но, может быть, женщины видят более нас. Кто разгадает их? Как бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна сведениями учителя в домашнем хозяйстве, в умении делать настойку на шафране и *herba garbarum*, в искусном разматывании мот-

ков и вообще в великой науке жить в свете. Ключнице более всего нравился щегольской сюртук его и уменье одеваться; впрочем, и она заметила, что учитель имел удивительно умильный вид, когда изволил молчать или кушать. Маленького внука забавляли до чрезвычайности бумажные петухи и человечки. Сам кудлатый Бровко едва только завидит, бывало, его, выходящего на крыльцо, как, ласково помахивая хвостом своим, побежит к нему навстречу и без церемонии целует его в губы, если только учитель, забыв важность, приличную своему сану, соизволит присесть под величественным фронтоном [380]. Одни только два старшие внука и домашние мальчишки, с которыми проходил он Аз[381] — *ангел, архангел, Буки*[382] — *Бог, Божество, Богородица*, — боялись красноречивых лоз грозного педагога.

В краткое пребывание свое Иван Осипович успел уже и сам сделать свои наблюдения и заключить в голове своей, будто на вогнутом стекле, миньятюрное отражение окружавшего его мира. Первым лицом, на котором остановилось почтительное его наблюдение, как,

верно, вы догадаетесь, была сама владетельница поместья. В лице ее, тронутым резкою кистью, которою время с незапамятных времен расписывает род человеческий и которую, бог знает с каких пор, называют морщиною, в темно-кофейном ее капоте[383], в чепчике (покрые которого утратился в толпе событий, знаменовавших XVIII столетие), в коричневом шушуне[384], в башмаках без задков, глаза его узнали тот период жизни, который есть слабое повторение минувших, холодный, бесцветный перевод созданий пламенного, кипящего вечными страстями поэта, — тот период, когда воспоминание остается человеку как представитель и настоящего, и прошедшего, и будущего, когда роковые шестьдесят лет гонят холод в некогда бившие огненным ключом жилы и термометр жизни переходит за точку замерзания. Впрочем, вечные заботы и страсть хлопотать несколько одушевляли потухшую жизнь в чертах ее, а бодрость и здоровье были верною порукою еще за тридцать лет вперед. Все время от пяти часов утра до шести вечера, то есть до времени успокоения, было непрерывною цепью

занятий. До семи часов утра уже она обходила все хозяйственные заведения, от кухни до погребов и кладовых, успевала побраниться с приказчиком, накормить кур и доморощенных гусей, до которых она была охотница. До обеда, который не бывал позже двенадцати часов, завертывала в пекарню и сама даже пекла хлеба и особенного рода крендели на меду и на яйцах, которых один запах производил непостижимое волнение в педагоге, страстно привязанном ко всему, что питает душевную и телесную природу человека. Время от обеда до вечера мало ли чем заняться хозяйке? — красить шерсть, мерять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько способов, секретов, домашних средств производится в это время в действо! От наблюдательного взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславия, и потому положил он за правило рассыпаться, — разумеется, сколько позволяла природная его застенчивость, — в похвалах необыкновенному ее искусству и знанию хозяйничать; и это, как после увидел он, послужило ему в пользу:

почтенная старушка до тех пор не закупоривала сладких наливок и варенья, покамест Иван Осипович, отведав, не объявлял превосходной доброты того и другого. Все прочие лица стояли в тени пред этим светилом — так, как все строения во дворе, казалось, пресмыкались пред чудным зданием с великолепным его фронтоном. Только для глаз пронырливого наблюдателя заметны были их взаимные соотношения и особенный колорит, обозначавший каждого, и тогда ему открывалось, словно в муравьином рою, вечное движение, суматоха и ни на минуту не останавливавшийся шум. И педагог наш, как мы уже видели, умел угодить на вкус всех и, как могучий чародей, приковать к себе всеобщее почтение.

Непонятны только были причины, заставившие его сблизиться с кухмистером. Высокое ли уважение, которое Иван Осипович невольно чувствовал к его искусству, другое ли какое обстоятельство — мы этого не беремся решить. Довольно, что не прошло двух дней — и в Мандрыках воскресли Орест[385] и Пилад[386] нового мира. Но еще непонятнее

была власть кухмистра над нашим педагогом, так что от природы скромный, застенчивый учитель, не бравший ничего в рот, кроме лекарственной настойки на буквицу и herba gabarbarum, невольно плелся за ним по шинкам и по всем закоулкам, куда разгульный кухмистер наш показывал только нос свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положение его местопребывания. Скоро осмотрел он обступившие в неровный кружок просторный господский двор — кухню, сарай, амбары, конюшни и кладовые, с особенным удовольствием остановился на густо разросшемся саде, которого гигантские обитатели, закутанные темно-зелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг освобождаясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листьям ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедеев, вызывавших на поприще Мельпомены великие тени усопших. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лепились около не столь высокопарных жильцов сада,

зато увешанных с ног до головы грушами и яблоками, которыми кипит роскошная Украина. Отсюда продирались они к кухне, за которою стлались плантации гороху, капусты, картофелю и вообще всех зелий, входящих в микстуру деревенской кухни. Не без особенного удовольствия вошел он в чистую, опрятно выбеленную и прибранную комнату, определенную для его помещения, с окошком, глядевшим на пруд и на лиловую, окутанную туманом окрестность.

Мы имели уже случай заметить нечто о влиянии нашего учителя на мандрыковских красавиц: потупленные взгляды, перешептывание, низкие поклоны показывали, что овладение им считала каждая из них немаловажным делом. Впрочем, не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был синий фабричного сукна сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами; итак, ему очень было притворительно перетолковать в свою пользу перемигиванья чернобровых проказниц. Но, к счастью или несчастью, чувство, так много известное бедному человечеству, наносившее

ему с незапамятных времен море нестерпимых мук, не касалось нашего педагога. В этом случае Иван Осипович был настоящим стоик [387] и, несмотря на то что не дошел еще до философии, он твердо знал, что ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинарии, не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода; ergo [388], любви не существует. Такие положения, обратившиеся у него, наконец, в правила, были тверды, слишком тверды... «Homo proponit, deus disponit» [389], — говорил часто лектор ***ской семинарии, отсчитывая удары линейкою ленивым своим слушателям; а потому и мы в следующей главе увидим небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философию учителя и надвинувшее облако недоразумения на ум его, доселе неуклонно шествовавший стезею своих великих наставников и бивший ровным пульсом в своей бутылкообразной сфере.

II. Успех посольства

(Кухмистер, несмотря на собственную сер-
дечную рану, внезапно полученную им

при виде мывшейся на берегу пруда Катерины, решается исполнить данное им учителю обещание и быть посланником и представителем его страсти. С таким намерением отправляется он в хату козака Харька Потылицы.)

Окончив туалет свой, Онисько не без боязни и тайного удовольствия переступил через порог. Бес как будто нарочно дразнил его (сам он после признавался в этом), поминутно рисуя перед ним стройные ножки соседки. «Эх, если бы не учитель! — повторял он несколько раз сам себе, — ну, что бы задумать ему немного позже влюбиться?..» И, в задумчивости, тихими шагами он мерял широкий выгон, по которому бежала его дорога. Разноголосый лай прорезал облакавшую его тучу задумчивости, и мысли его, как дикие утки, переполошась, разлетелись во все стороны. Подняв глаза, увидел он, что далее идти некуда. Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска[390], огненная лента... Сердце в нем

вспрыгнуло... и белокурая красавица, разгневая хворостиной докучных собак, встретила его, отворяя ворота.

Двор Харька представлял собой большой, на покатости к пруду, квадрат, обнесенный со всех сторон плетнем. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо в чистую выбеленную хату с большими, неровной величины, окнами, с почерневшею от старости дубовой дверью, с низеньким из глины фундаментом (*присьбою*)[391], обремененным, по обыкновению малороссиян, бельем, мисками и каким-нибудь инвалидом-горшком, которому, несмотря на раны и увечье, не дают отставки и, в награду за ревностную службу, наливают помоями. По сторонам избы стояли с растрепанными крышами хлевы и амбары. Из-за хаты возвышалось гумно[392]; из-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверх которой уже ходили только одни облака и плавали голуби. К пруду, как богатая турецкая шаль, развернулся огород козака. Кучи соломы разнесены были по всему двору.

Катерина показалась немного удивленною приходом Ониська. Полагая, что его, без вся-

кого сомнения, завлекла нужда к ее отцу, отворила вполовину только ворота и проговорила с некоторою застенчивостью:

— *Батька нет дома, да вряд ли и к вечеру будет.*

— *Нехай ему так легенько икнеться, як з тыну ввирветься!* Что бы я был за олух царя небесного, когда бы стал убирать постную кашу, когда перед самым носом вареники в сметане?

Белокурая красавица остановилась в недоумении, не зная, как понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лице ее и ожидала, казалось, изъяснения.

Кухмистер почувствовал сам, что выразился не совсем ясно и притом помянул отца ее немного шероховатыми словами; он продолжал:

— Нелегкая понесла бы меня к *батьке*, когда есть такая хорошая дочка.

— А, вот что! — проговорила Катерина, усмехнувшись и покраснев. — Милости просим! — и пошла вперед его к дверям хаты.

Девушки в Малороссии имеют гораздо бо-

лее свободы, нежели где-либо, и потому не должно показаться удивительным, что красавица наша без ведома отца принимала у себя гостя.

— Ты пешком сюда пришел, Онисько? — спросила она его, садясь на *присьбе* у дверей хаты и стараясь принять степенный вид, хотя лукавая улыбка явно изменяла ей и заставляла против воли показать ряд красивых зубов.

— Как пешком? — «Что за нелегкая, неужели она знает про вчерашнее?» — подумал кухмистер. — Без всякого сомнения, пешком, моя красавица. Черт ли бы заставил меня запрягать нарочно панского гнедого, чтобы только перетащиться из одного двора в другой.

— Однако ж от кухни до *коморы*[393] не так-то далеко.

Тут, не удержавшись более, она захохотала.

«Нет, плутовка! сам лукавый не хитрее этой девки!» — повторил сам себе несколько раз кухмистер и громогласно послал учителя к черту, позабыв и приязнь и дружбу их.

— Однако ж, моя красавица, я бы согласился, чтобы у меня пригорели на сковороде ка-

раси с свежепросольными опенками, лишь бы только ты еще раз этак засмеялась.

Сказав это, кухмистер не утерпел, чтоб не обнять ее.

— Вот этого-то я уж и не люблю! — вскрикнула, покраснев, Катерина и приняв на себя сердитый вид. — Ей-богу, Онисько, если ты в другой раз это сделаешь, то я прямехонько пу-щу тебе в голову вот этот горшок.

При сем слове сердитое личико немного прояснело, и улыбка, мгновенно проскользнувшая по нем, выговорила ясно: «Я не в состоянии буду этого сделать».

— Полно же, полно! *не возом зацепил тебя.* Есть из чего сердиться! как будто бог знает какая беда — обнять красную девушку.

— Смотри, Онисько: я не сержусь, — сказала она, садясь немного от него подалее и приняв снова веселый вид. — Да что ты, слышалось мне, упомянул про учителя?

Тут лицо кухмистера сделало самую жалкую мину и, по крайней мере, на вершок вытянулось длиннее обыкновенного.

— Учитель... Иван Осипович то есть... Тьфу, дьявольщина! у меня, как будто после

запеканки, слова глотаются прежде, нежели успевают выскочить изо рта. Учитель... вот что я тебе скажу, *сердце!* Иван Осипович *вклепался*[394] в тебя так, что... ну, словом — рассказать нельзя. Кручинится да горюет, как покойная бурая, которую *пани* купила у жида и которая околела после *запала*[395]. Что делать? сжалился над бедным человеком: пришел наудачу похлопотать за него.

— Хорошую же ты выбрал себе должность! — прервала Катерина с некоторою досадою. — Разве ты ему сват или *родич* какой? Я советовала бы тебе еще набрать изо всего околотка бродяг к себе в кухню, а самому отправиться по миру выпрашивать под окнами для них милостыни.

— Да это все так; однако ж я знаю, что тебе любо, и слишком любо, что вздумалось учителю приволокнуться...

— Мне любо? Слушай, Онисько, если ты говоришь с тем, чтобы посмеяться надо мною, то с этого мало тебе прибудет. Стыдно тебе же, что ты обносишь бедную девушку. Если же вправду так думаешь, то ты, верно, уже наиглупейший изо всего села. Слава Богу,

я еще не ослепла; слава Богу, я еще при своем уме... Но ты не сдуру это сказал: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты, верно, думал... Нет, ты недобрый человек!

Сказав это, она отерла шитым рукавом своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардевшейся щеке, будто падающая звезда по теплому вечернему небу.

«Черт побери всех на свете учителей!» — думал про себя Онисько, глядя на зардевшееся личико Катерины, на котором по-прежнему показавшаяся улыбка долго спорила с неприятным чувством и, наконец, рассеяла его.

— Убей меня гром на этом самом месте, — вскричал он наконец, не могши преодолеть внутреннего волнения и обхватывая одной рукою кругленький стан ее, — если я не так же рад тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, как старый Бровко, когда я вынесу ему помои.

— Нашел чему радоваться! поэтому ты станешь еще более скалить зубы, когда услышишь, что почти все девушки нашего села го-

ворят то же.

— Нет, Катерина, этого не говори. Девушки-то любят его. Намедни шли мы с ним через село, так то и дело что выглядывают из-за плетня, словно лягушки из болота. Глянь направо — так и пропала, а с левой стороны выглядывает другая. Только дьявол побери их вместе с учителем! Я бы отдал штоф[396] лучшей третьепробной водки, чтоб узнать от тебя, Катерина, любишь ли ты меня хоть на копейку?

— Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свете не вышла за пьяницу. Кому любо жить с ним? Несчастливая доля семье той, где выберется такой человек; в хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодные дети плачут... Нет, нет, нет! Пусть Бог милует! Дрожь обдает меня при одной мысли об этом...

Тут прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Как осужденный, с поникнутою головою, погрузился кухмистер в свое протекшее. Тяжелые думы, порождения тайного угрызения сердечного, вырезывались на лице его и показывали ясно, что на душе у

него не слишком было радостно. Пронзительный взор Катерины, казалось, прожигал его внутренность и подымал наружу все разгульные поступки, проходившие перед ним длиною, почти бесконечною цепью.

«В самом деле, на что я похож? кому угодно житье мое? только что досаждаю *паниш*. Что я сделал до сих пор такого, за что бы сказал мне спасибо добрый человек? Все гулял да гулял. Да гулял ли когда-нибудь так, чтобы и на душе и на сердце было весело? Напьешься, как собака, да и протрезвишься тоже, как собака, если не протрезвят тебя еще хуже. Нет! прах возьми... собачья моя жизнь!»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философские рассуждения с самим собою и потому, положив на плечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса:

— Не правда ли, Онисько, ты не станешь более пить?

— Не стану, мое *серденько*! не стану; пусть ему всякая всячина! Все для тебя готов сделать.

Девушка посмотрела на него умильно, и восхищенный кухмистер бросился обнимать

ее, осыпая градом поцелуев, какими давно не оглашался мирный и спокойный огород Харь-ка.

Едва только влюбленные поцелуи успели раздаться, как звонкий и пронзительный го-лос страшнее грома поразил слух развежив-шихся. Подняв глаза, кухмистер с ужасом уви-дел стоявшую на плетне Симонику.

— Славно! славно! Ай да ребята! У нас по селу еще и не знают, как парни целуются с девками, когда батька нет дома! Славно! Ай да мандрыковская овечка! Говорите же те-перь, что лжет поговорка: в тихом омуте чер-ти водятся. Так вот что делается! так вот какие шашни!..

Со слезами на глазах принуждена была красавица уйти в хату, зная, что ничем иным нельзя было избавиться от ядовитых речей содержательницы шинка.

— Типун бы тебе под язык, старая ведь-ма! — проговорил кухмистер, — тебе какое де-ло?

— Мне какое дело? — продолжала неудо-вимая шинкарка, — вот прекрасно! Парни из-волят лазить через плетни в чужие огороды,

девки подманивают к себе молодцов — и мне нет дела! Изволят *женухаться*, целуются — и мне нет дела! Ты слышал ли, Карпо? — вскричала она, быстро оборотясь к мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что внимания, шел, помахивая батоном, впереди так же медленно выступавшей коровы. — Слышал ли ты? постой на минуточку. Тут такая история. Харькова дочка...

— Тьфу, дьявол! — вскричал кухмистер, плюнув в сторону и потеряв последнее терпение. — Сам сатана перерядился в эту бабу. Постой, яга! разве не найду уже, чем отплатить тебе.

Тут кухмистер наш занес ногу на плетень и в одно мгновение очутился в панском саду.

Было уже не рано, когда он пришел на кухню и принялся стряпать ужин. Евдоха, однако ж, не могла не заметить во всем необыкновенной его рассеянности. Часто задумчивый кухмистер подливал уксусу в сметанную кашу или с важным видом надвигал свою шапку на вертел и хотел жарить ее вместо курицы. За ужином Анна Ивановна никак не могла понять, отчего каша была кисла до неверо-

ятности, а соус так пересолен, что не было никакой возможности взять в рот. Единственно только из уважения к понесенным им в тот день трудам оставили его в покое: в другое время это не прошло бы даром нашему герою.

— Нет, господин учитель! — твердил он, ложась на свою деревянную лавку и подматывая под голову свою куртку, — не видать вам Катерины, как ушей своих! — И, завернув голову, как доморощенный гусь, погрузился в мечты, а с ними и в сон.

О книге

Серия супер-крупных книг «Diximir» постоянно пополняется. Скачивайте новинки с официальных интернет-ресурсов проекта:

Блог проекта «Diximir»:
boosty.to/diximir

Ютуб проекта «Diximir»:
youtube.com/diximir

Это гарантия чистоты и качества!

Подписавшись на эти литературные сайты, Вы сможете «не напрягаясь» отслеживать все новинки и обновления серии «Diximir».

Примечания

1

Макитра — большой, широкий горшок для растирания мака или табака.

[^^^]

Пенька — волокна конопли.

[^^^]

3

Очипок — чепец, который надевают замужние женщины под платок.

[^^^]

4

Смушка — шкурка ягненка (ягнячья овчина).

[^^^]

5

Дукат — женское украшение в виде монеты, которое носили на шее.

[^^^]

Негоциант — торговец.

[^^^]

Пестрядевый — сделанный из пестрядины (грубой полосатой или пестрой ткани).

[^^^]

8

Дружка — в свадебном обряде — женатый мужчина со стороны жениха, затейник и ведущий на свадьбе.

[^^^]

Лысый дидько — черт, демон.

[^^^]

Сулея — большая бутылка.

[^^^]

Кварта — кружка; мера жидкости, равная $1/8$ или $1/10$ части ведра.

[^^^]

Оконница — оконная рама.

[^^^]

Перекупка — торговка.

[^^^]

Шеляг (шелег) — обесцененная монетка, служащая игрушкой.

[^^^]

Синица — денежная ассигнация синего цвета достоинством в пять рублей.

[^^^]

Соняшница — болезнь, сопровождаемая рвотой и режущей болью в животе.

[^^^]

Книш — спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенно едомый горячим с маслом. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

[^^^]

Плетеные тройчатки — плетки с тремя хвостами.

[^^^]

Сволоок — балка для опоры потолка в домах;
вал на ткацком станке.

[^^^]

Тавлинка — табакерка.

[^^^]

Дерюга — рядно, покрывало, плахта темного цвета.

[^^^]

То есть в дурачки. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Твердо-он — старинное название букв «т» и «о».

[^^^]

Словотитла (*цeрк.*) — сократительный надстрочный знак.

[^^^]

Огниво — стальная полоска для высечки огня
о кремeнь.

[^^^]

Жупан — шуба, тулуп; разновидность кафтанна.

[^^^]

Калякать — разговаривать о неважном, болтать.

[^^^]

Оседедец — длинный клоч волос, чуб на темени головы.

[^^^]

Горлиця, гопак — украинские народные танцы.

[^^^]

Покой — старинное название буквы «п».

[^^^]

Подпускать турусы — склонять к чему-то в разговоре.

[^^^]

Не имеется. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Тропак — украинская народная пляска, исполняемая с топотом ног.

[^^^]

Арапник — длинная плеть, кнут.

[^^^]

Смотри, смотри, мать, как сумасшедшая, ска-
чет! (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога, и что будто от того пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прощлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про Рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. Замечание пасечника. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

[^^^]

Заседатель — представитель, избираемый населением для участия в рассмотрении судебных дел; присяжный.

[^^^]

Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Кутья — обрядовая каша из ячменных или пшеничных зерен.

[^^^]

Нагольный тулуп — без покрышки, кожей наружу.

[^^^]

Подкоморий — судья, занимавшийся разделением владений.

[^^^]

Варенуха — навар водки и меда на ягодах и пряностях.

[^^^]

Галун — золотая или серебряная тесьма.

[^^^]

Кухмистр — повар.

[^^^]

Видлога — капюшон, накидка на голову, накидной ворот.

[^^^]

Капелюха — шапка-ушанка.

[^^^]

Комиссар — звание заведующего припасами; смотритель, пристав.

[^^^]

Ладунка — военная сумка для зарядов, патронташ.

[^^^]

Паляница (*укр.*) — небольшой плоский хлеб из пшеничной муки.

[^^^]

Колядка (укр.) — старинная обрядовая рождественская песня.

[^^^]

Щедровка (*укр.*) — старинная обрядовая песня, распевавшаяся в канун Нового года.

[^^^]

Повредился — сошел с ума, помешался.

[^^^]

Шмак — приспособление в виде воронки с желобом для отливки орудия.

[^^^]

Пивкопы — двадцать пять копеек, от *копа*:
полтина медью, пятьдесят копеек.

[^^^]

Плошка — глиняный сосуд для вставки свечей, заливаемой салом; лампадка.

[^^^]

Вохра — желтая земляная краска.

[^^^]

Ярь — яркая белая краска.

[^^^]

Бакан — багряная краска.

[^^^]

Блейвас — свинцовые белила.

[^^^]

Карабинер — солдат, вооруженный карабином; существовали пехотные карабинерные полки; карабин — короткая винтовка или ружье.

[^^^]

Ковзаться — скользить по льду для забавы,
кататься на ногах.

[^^^]

Титар — церковный староста (хозяин церковного имущества и сбора).

[^^^]

Камлот — шерстяная ткань.

[^^^]

Компанейцы — солдаты и офицеры кавалерийских полков, сформировавшихся из добровольцев.

[^^^]

Лембик — резервуар для перегонки и очистки водки.

[^^^]

Войт — сельский староста.

[^^^]

Ночевки — маленькое корыто.

[^^^]

Узвар — компот.

[^^^]

Нечуй — трава.

[^^^]

Урда — выжимки из маковых зерен.

[^^^]

Декохт — лечебный отвар.

[^^^]

Мнишки — сырники.

[^^^]

Пышный — здесь: гордый, недотрога.

[^^^]

Бейбас — лентяй; болван.

[^^^]

Пундики — сладости

[^^^]

Вытребеньки — причуды.

[^^^]

Уния — объединение православной церкви с католической под властью Папы Римского в 1595 году.

[^^^]

Рейстровые козаки — казаки, занесенный поляками в списки (реестры) регулярных войск.

[^^^]

Охочекомонные — конные добровольцы.

[^^^]

Броварники — пивовары.

[^^^]

Комиссары — польские сборщики податей.

[^^^]

Очкур — шнурок, которым затягивали шаровары.

[^^^]

Рыцарскую. (Прим. Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Консул — старший из бурсаков, избираемый для наблюдения за поведением своих товарищей.

[^^^]

Ликтор — помощник консула.

[^^^]

Шемизетка — накидка.

[^^^]

Кулиш — жидкая пшенная каша с салом.

[^^^]

Крамари под ятками — торговцы в палатках.

[^^^]

Бараньи катки — куски бараньего мяса.

[^^^]

Кошевой — руководитель коша (стана), выбиравшийся ежегодно.

[^^^]

Литавра (греч. *polytaurea*) — ударный музыкальный инструмент в форме полушария, сторона которого затянута кожей; разновидность барабана.

[^^^]

Довбиш (укр.) — литаврист.

[^^^]

Натолия — Анатолия, черноморское побережье Крыма.

[^^^]

Клейтух — пыж.

[^^^]

Чайки — длинные узкие речные суда запорожцев.

[^^^]

Мазниці — ведра для дегтя.

[^^^]

Саламата — мучная похлебка (преимущественно из гречневой муки).

[^^^]

Оксамит — бархат.

[^^^]

Городовое рушение — городское ополчение.

[^^^]

Della notte (итал.) — ночной, прозвище, данной итальянцами голландскому художнику Герриту (ван Герарду) Гонтгорсту (1590–1656), картины которого отличаются резким контрастом света и тени.

[^^^]

Клирошанин — церковнослужитель, поющий на клиросе, в церковном хоре.

[^^^]

Пробавить — поддержать.

[^^^]

Осокорь — серебристый тополь.

[^^^]

Кухоль — глиняная кружка.

[^^^]

Далибуг (польск.) — ей-богу.

[^^^]

Зерцало — два скрепленных между собой щита, которыми в старину воины предохраняли спину и грудь.

[^^^]

Черенок — кошелек.

[^^^]

Заход — залив.

[^^^]

Облога — целина, пустошь.

[^^^]

Габа — белое турецкое сукно.

[^^^]

Киндяк — ткань.

[^^^]

Корчик — ковш.

[^^^]

Гаман — кошелек, бумажник.

[^^^]

Левентарь, или региментарь — начальник охраны.

[^^^]

Цурки — девушки.

[^^^]

Кунтуш — верхнее старинное платье.

[^^^]

Генеральный бунчужный — хранитель бунчука, жезла — символа гетманской власти.

[^^^]

Грамматики и риторы — в духовных семинариях так называли учеников младших классов; *философы и богословы* — ученики старших классов.

[^^^]

Пали — семинарское выражение: удар линейкой по рукам.

[^^^]

Аудиторы — ученики старших классов, которым доверялась проверка знаний учеников младших классов.

[^^^]

Канчук — плеть.

[^^^]

Вертеп — старинный кукольный театр.

[^^^]

Канты — духовные песни.

[^^^]

Паляница — пшеничный хлеб.

[^^^]

Оселедец — так называли длинный клочок волос на голове, заматываемый за ухо.

[^^^]

Книш — печеный хлеб из пшеничной муки.

[^^^]

Очипок — род чепца.

[^^^]

Domīnus — ГОСПОДИН (лат.).

[^^^]

Инде — кое-где.

[^^^]

Нагидочка — цвeтoк.

[^^^]

Бонмотист (от фр. bon mot — остроумия) — остроумец.

[^^^]

Небоже — бедняга.

[^^^]

Пфейфер — перец (нем.).

[^^^]

Кнур — боров.

[^^^]

Смушки — мерлушки, шкурки ягненка.

[^^^]

Очерет — тростник.

[^^^]

Запаска — кусок домотканой шерсти, которую носили вместо юбки.

[^^^]

Бедная. (Прим. Н.В.Гоголя.)

[^^^]

Казимир — вид полушерстяной ткани.

[^^^]

Канупер — многолетняя трава с сильным запахом.

[^^^]

То есть утки. (Прим. Н.В.Гоголя.)

[^^^]

Саж — хлев, в котором откармливают свиней.

[^^^]

То есть гусь-самец. (Прим. Н.В.Гоголя.)

[^^^]

Штаметовая бекеша — бекеша из плотной шерстяной ткани.

[^^^]

Плахта — ткань, расшитая узором; юбка из такой ткани.

[^^^]

Поветовый — уездный.

[^^^]

Зерцало — треугольная призма, на которой
наклеивались указы Петра I.

[^^^]

Подсудок — чиновник земского уездного суда.

[^^^]

Бобон — опухоль.

[^^^]

Позов — иск.

[^^^]

Барбарами шмаровать — бить плетьюми.

[^^^]

Утрибка — кушанье из потрохов.

[^^^]

— Моя жена!

[^^^]

— Что вам угодно?

[^^^]

— Ступайте на кухню! (искаж. нем.)

[^^^]

По любви (франц.).

[^^^]

Это очаровательно! Лиза, Лиза, подойди сюда!
(фр.)

[^^^]

Какой прелестный облик! (фр.)

[^^^]

Великолепно, великолепно! (фр.)

[^^^]

Какая восхитительная мысль! (фр.)

[^^^]

Есть что-то необыкновенное во всей его
внешности! (фр.)

[^^^]

Жанровая картина (фр.).

[^^^]

Добрый день, папа́ (фр.).

[^^^]

Моя дорогая.

[^^^]

Дворецкий. (итал.)

[^^^]

Чорт возьми, какая божественная вещь!
(итал.)

[^^^]

Касторовое масло. (итал.)

[^^^]

Но что это за божественная вещь! (итал.)

[^^^]

Римский ежедневник, Пират. (итал.)

[^^^]

Всё делают, ничего не знают, всё знают, ничего не делают. Французы — вертопрахи: чем больше им отвечаешь, тем меньше они тебе дают за это. (итал.)

[^^^]

с честью обязанности супруга. (итал.)

[^^^]

Род дурачка.

[^^^]

Народ. (итал.)

[^^^]

О, какое веселье! (*итал.*)

[^^^]

Одно свинство! (итал.)

[^^^]

Вот умерший великий поэт! вот его сонет с
хвостом.

[^^^]

О, красавица! (итал.)

[^^^]

Какое животное! (итал.)

[^^^]

кто его знает.

[^^^]

Князь. (итал.)

[^^^]

Сиятельство. (итал.)

[^^^]

Три разбойника. (итал.)

[^^^]

Улица печатников. (итал.)

[^^^]

Троица. (итал.)

[^^^]

Какой странный человек!

[^^^]

Кто знает (итал.)

[^^^]

Вот и я, ваше сиятельство (итал.)

[^^^]

Истинный римлянин. (итал.)

[^^^]

Ревизская сказка — список крепостных крестьян, составлявшийся при переписи (ревизии).

[^^^]

Тягло — крестьянская семья, составляющая хозяйственную единицу. Раскладка податей и повинностей производилась по тяглам.

[^^^]

Негоция — коммерческая сделка.

[^^^]

Бельведер — буквально: прекрасный вид;
здесь: башня на здании.

[^^^]

Сколеской (советник) — искаженное *коллежский*.

[^^^]

Пряженцы — «маленькие пирожки с мясом и луком; подается к ним суп или бульон». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Побратима — «шарообразный сосуд деревянный, с узким горлом; кладут мед, варенье». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Устерс — устриц.

[^^^]

Сомовий плёс — «хвост у сома, весь из жира». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Утка — прибавка к ставке.

[^^^]

Играть дублетом — «не отделять от выигрыша, а пускать вдвое». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Гальбик — карточная игра.

[^^^]

В большом количестве (*фр.*).

[^^^]

Фортушка — игра с помощью вертящегося кружка (фортушки).

[^^^]

Фенарди — известный в двадцатые годы XIX века акробат и фокусник.

[^^^]

Мордаш — порода собак, малорослых и большеголовых.

[^^^]

...Двугривенник серебром больше пятидесяти копеек ассигнациями, которые предлагал дать Ноздрев.

[^^^]

Звезда на груди — орден Станислава.

[^^^]

Черные мяса — ляжки у борзых.

[^^^]

Щиток — острая морда у собак.

[^^^]

Скосырь — хват, забияка; *черкай* — от слова «черкаться» (чертыхаться).

[^^^]

Суперфлю — (от *фр.* superflu) — рохля, кисляй.
Здесь употреблено Ноздревым без всякого
смысла.

[^^^]

Растепель (от «растеплить») — рохля, кислый.

[^^^]

Фетюк — слово, обидное для мужчины, происходит от *q* — буквы, почитаемой некоторыми неприличною буквою. (Прим. Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Скалдырник — скряга.

[^^^]

Брудастая — «собака с усами и торчащей шерстью». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Шильник — плут.

[^^^]

Талия — карточная игра.

[^^^]

Корамора — большой, длинный, вялый комар; иногда залетает в комнату и торчит где-нибудь одиночкой на стене. К нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, в ответ на что он только топырится или корячится, как говорит народ. (Прим. Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Кирчёная изба — «вытесанная, когда бревна стесаны в гладкую стену». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Маврокордато, Миаули, Канари — греческие полководцы в период национальной войны за освобождение Греции от турецкого ига (1821–1828).

[^^^]

Бобелина — греческая партизанка, героиня той же войны.

[^^^]

Гога и Магога — князь Гог, предводитель разбойничьего народа Магог (библ.).

[^^^]

Колокотрони — участник национально-освободительного движения в Греции в 20-х г. XIX в.

[^^^]

Сибирка — кафтан с перехватом и сборками.

[^^^]

Чапыжник — «мелкий кривой дрянной лес, кустами поросший от корней». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Юфть — грубая кожа.

[^^^]

Сушилы — «верхний этаж над амбарами, ледниками и проч., где лежат пух, окорока, рыба высушенная, овчины, кожи разные». (*Из записной книжки Н.В. Гоголя.*)

[^^^]

Губина — «все, что подходит под губу, съедобное; всякая овощь, кроме хлеба и мяса». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Лагун — «форма ведра с крышкой». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Мыкольник — лукошко для пучков льна.

[^^^]

Государственная — ассигнация в тысячу рублей.

[^^^]

Суда-суряки — суда, получившие свое название от реки Суры.

[^^^]

Древнеримский поэт Вергилий (70–19 гг. до н. э.) в поэме Данте Алигьери (1265–1321) «Божественная комедия» через Ад и Чистилище провожает автора до Рая.

[^^^]

Зерцало — трехгранная пирамида с указами Петра I, стоявшая на столе во всех присутственных местах.

[^^^]

Беленькая — ассигнация в двадцать пять рублей.

[^^^]

Масляницы — клецки в растопленном масле.

[^^^]

Взваренцы — КОМПОТ С МЕДОМ.

[^^^]

Горка — карточная игра.

[^^^]

Сиделец — приказчик, продавец в лавке.

[^^^]

Вертер и Шарлотта — герои сентиментального романа И.-В. Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774).

[^^^]

Фризовая шинель — из фриза (толстая ткань, вроде байки).

[^^^]

Ланкастеровая школа — обучение по системе английского педагога Ланкастера (1778–1838), по которой педагог обучает только лучших учеников, а те, в свою очередь, обучают других учеников. Метод Ланкастера применялся декабристами при преподавании солдатам грамоты. Тем, что почтмейстер хвалит «Ланкастерову школу», Гоголь подчеркивает некоторое его «вольнодумство», проявляющееся и в рассказе о капитане Копейкине.

[^^^]

Юнговы «Ночи» — поэма английского поэта Э. Юнга (1683–1765) «Жалобы, или Ночные думы о жизни, смерти и бессмертии» (1742–1745); «*Ключ к таинствам природы*» (1804) — религиозно-мистическое сочинение немецкого писателя К. Эккартсгаузена (1752–1803).

[^^^]

Руло́ — обруч из китового уса, вшитый в юбку.

[^^^]

В приписке (*лат.*).

[^^^]

Инкомодитэ́ (от фр. *l'incommodité*) — здесь: нездоровье.

[^^^]

Безе (от *фр.* le baiser) — поцелуй.

[^^^]

Кокурка — булка с начинкой.

[^^^]

Пеструшка — домотканая пестрая ткань.

[^^^]

Клок — дамское широкое пальто.

[^^^]

Фижмы — юбка с каркасом.

[^^^]

Бель-фам (от *фр.* belle femme) — пышная женщина.

[^^^]

Скопапель истоар (от фр. *ce qu'on appelle histoire*) — что называется, история.

[^^^]

Строить куры (от *фр. faire la cour*) — ухаживать.

[^^^]

Ринальдо Ринальдини — разбойник, герой одноименного романа немецкого писателя Х.-А. Вульпиуса (1762–1827).

[^^^]

Оррөр (от фр. une horreur) — ужас.

[^^^]

Иора (ёра) — забияка, удалец.

[^^^]

Оттопать — «вогнать опять в лес, чтоб выгнать на барина». (Из записной книжки Н.В. Гоголя.)

[^^^]

Андроны едут — выражение, употребляемое как синоним чепухи (андроны — телеги с жердями, концы которых тащатся по земле и производят шум).

[^^^]

Комеражу (от фр. le commeragé) — сплетни.

[^^^]

Разговор с глазу на глаз (*фр.*).

[^^^]

Воксал (англ. vauxhall) — увеселительное заведение, собрание; впоследствии это название было присвоено станционным помещениям на железной дороге.

[^^^]

Генерал-аншеф — высший генеральский чин.

[^^^]

Фензерв (фр. fins herbe — пахучие травы) —
пряный соус.

[^^^]

Апокалипсические цифры — мистическое число (три шестерки), которым обозначалось в Апокалипсисе (одной из книг Нового Завета) имя антихриста.

[^^^]

«Герцогиня Лавальер» — роман французской писательницы С. Жанлис (1746–1830).

[^^^]

Шибень — выбоины.

[^^^]

Рыдван — в старину: большая дорожная карета.

[^^^]

Мухортая — лошадь с желтыми подпалинами.

[^^^]

Повытчик — начальник отдела («ВЫТЬ» — отдел).

[^^^]

Красная — ассигнация в десять рублей.

[^^^]

Кантонисты — солдатские сыновья, с самого рождения определенные в военное ведомство.

[^^^]

Дышло — толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси повозки при парной упряжке.

[^^^]

Заклекнуть — завянуть.

[^^^]

Опекунский совет — учреждение, ведавшее воспитательными домами и занимавшееся также выдачей ссуд под залог имений.

[^^^]

Припертьень — обидчик.

[^^^]

В данном издании печатается текст ранней редакции первых четырех глав, как наиболее полный.

[^^^]

В рукописи стерто два слова.

[^^^]

В угловых скобках даются отсутствующие в рукописи, но необходимые по смыслу слова.

[^^^]

Окончание главы отсутствует. В первом издании второго тома «Мертвых душ» (1855) имеется примечание: «Здесь пропущено примирение генерала Бетрищева с Тентетниковым; обед у генерала и беседа их о двенадцатом годе; помолвка Улиньки за Тентетниковым; молитва ее и плач на гробе матери; беседа помолвленных в саду. Чичиков отправляется, по поручению генерала Бетрищева, к родственникам его, для извещения о помолвке дочери, и едет к одному из этих родственников, полковнику Кошкареву».

[^^^]

Так в рукописи. Следует: Парис.

[^^^]

В ранней редакции — Скудронжогло. В дальнейшем Гоголь изменил эту фамилию на Костанжогло. Так печаталось во всех изданиях второго тома «Мертвых душ».

[^^^]

В рукописи четыре слова не разобрано.

[^^^]

В рукописи фраза не дописана. Стоящие в скобках слова прибавлены П. Кулишом в издании «Сочинения и письма Н.В. Гоголя». СПб. 1857.

[^^^]

Далее в рукописи отсутствуют две страницы. В первом издании второго тома «Мертвых душ» (1855) примечание: «Здесь в разговоре Костанжогло с Чичиковым пропуск. Должно полагать, что Костанжогло предложил Чичикову приобрести покупкою имение соседа его, помещика Хлобуева».

[^^^]

Одно слово в рукописи не прочтено.

[^^^]

В рукописи отсутствуют две страницы. В первом издании второго тома «Мертвых душ» (1855) примечание: «Здесь пропуск, в котором, вероятно, содержался рассказ о том, как Чичиков отправился к помещику Леницыну».

[^^^]

На этом обрывается рукопись первых четырех глав второго тома «Мертвых душ». Печатаемая далее глава принадлежит к еще более ранней, чем остальные главы, редакции.

[^^^]

Фраза в рукописи не дописана.

[^^^]

То есть Васильевич.

[^^^]

С ЛЮБОВЬЮ (*итал.*).

[^^^]

В рукописи не дописано.

[^^^]

То есть Костанжогло.

[^^^]

Ранее: Тентетникова.

[^^^]

Далее часть рукописи отсутствует.

[^^^]

Текст начинается с новой страницы, начало фразы в рукописи отсутствует.

[^^^]

русского

[^^^]

В рукописи не дописано.

[^^^]

Край листа рукописи оторван.

[^^^]

На этом рукопись обрывается.

[^^^]

Понимаете ли (фр.).

[^^^]

Дайте хлеба. (ит.)

[^^^]

Принесите вина! (ит.)

[^^^]

Паникадило — большая люстра или многогнездный подсвечник в церкви.

[^^^]

Оклад — внешний вид.

[^^^]

Откуп — откупная система; система сбора с населения налогов и других государственных доходов, при которой государство за определенную сумму передает право их сбора частным лицам (откупщикам).

[^^^]

Мушкет (*фр.* mousquet) — огнестрельное оружие с фитильным замком.

[^^^]

Галанец — выходец из Голландии; галанцы — модные узкосшитые брюки.

[^^^]

Улан — конный воин.

[^^^]

Гунство — здесь: дикость.

[^^^]

Разговеться — разрешить себе употреблять в пищу мясо и другую скоромную пищу после поста; скоромная пища — пища от теплокровных животных: мясо, молоко, масло, яйца и т. д., у католиков — только мясо.

[^^^]

Алгиазил — алгвазил (*араб.*) — жандарм.

[^^^]

Крашанка — крашеное пасхальное яйцо, писанка.

[^^^]

Мизерия — мелкие хозяйственные предметы.

[^^^]

Гаспид — аспид, здесь: скряга.

[^^^]

Вербун — вербовка (наем в солдаты).

[^^^]

Компанейство — братство, товарищество.

[^^^]

Сотник — начальник сотни; сотня — часть казачьего полка, состоящая из ста и более человек.

[^^^]

Посполитый — так в Украине второй половины XVII–XVIII вв. называли того, кто относился к крестьянам; посполитыми крестьянами в тот же период называли крестьян, живущих на Левобережной и Слободской Украине.

[^^^]

Осокорь — серебристый тополь.

[^^^]

Повилика (*бот.*) — вьюнок.

[^^^]

Глод (*бот.*) — боярышник.

[^^^]

Поваживать по лбу — здесь: потирать лоб.

[^^^]

Светлица — чистая, светлая комната, гостиная, горница; горница — комната, покои.

[^^^]

Злотый — польская монета.

[^^^]

Гребля — плотина, запруда.

[^^^]

Плахта — женская одежда из шерстяной клетчатой ткани, которую оборачивают вокруг пояса вместо юбки.

[^^^]

Запаска — разновидность женской юбки, состоящей из двух полотнищ, накладываемых спереди (передник) и сзади (плахта, задник).

[^^^]

Мережка — вышивка, разного вида шитье по краю одежды.

[^^^]

Сукня — женское платье.

[^^^]

Епанча — широкий плащ без рукавов, бурка.

[^^^]

Ключница — служанка в доме, у которой были ключи от места, где хранились еда и питье.

[^^^]

Каганец — лампадка, ночник.

[^^^]

Пуга — подушка, на которой плетут кружева.

[^^^]

Призреть — взять под опеку, заботиться.

[^^^]

Байбарак — женская праздничная шуба особого покроя.

[^^^]

Кораблик — старинная теплая мужская или женская шапка, у которой задний и передний концы загнуты кверху.

[^^^]

Намитка — белое покрывало из жидкого полотна, носимое на голове женщинами, с откинутыми назад концами. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Губка — простейшее многоклеточное беспозвоночное животное, которое живет в теплых морях; имеющий пористую структуру скелет этих животных, применяющийся для мытья, вытирания и т. д.

[^^^]

Материя — здесь: разговор, тема для разговора.

[^^^]

Реестровые коронные войска — войска, состоящие на государственной службе и внесенные в особый список — реестр.

[^^^]

Лафет (*нем.* *lafette*) — станок под артиллерийское орудие.

[^^^]

Игумен — настоятель православного монастыря.

[^^^]

Кромешник — обитатель кромешни; кромешня — место, куда попадают души грешников, ад.

[^^^]

Нех — разг. форма от *нехай* (укр.) — пусть, пускай.

[^^^]

Трын-трава — все ничтожное, вздорное, пустое, не стоящее внимания.

[^^^]

Гном (от *позднелат.* gnomus) — в западноевропейской мифологии — уродливый карлик, охраняющий подземные сокровища.

[^^^]

Ковалки (kowalka (пол.) — жена кузнеца; kowarka (пол.) — машина для ковки). Здесь, возможно: предмет, напоминающий по форме ковочную машину.

[^^^]

Заступ — железная лопата.

[^^^]

Лазурь — синяя краска.

[^^^]

Жолнеры — солдаты, поставленные для обозначения линии фронта.

[^^^]

Наличник — маска, покрывало на лице.

[^^^]

Цугундра — непр. форма от *цугундер* — рас-
права.

[^^^]

Лайдачка — распутница, негодница.

[^^^]

Бандура — струнный музыкальный инструмент.

[^^^]

Посольство — *здесь*: послать с поручением.

[^^^]

Нагольный тулуп — тулуп без покрышки, кожей наружу.

[^^^]

Пищаль — тяжелое ружье; артиллерийское орудие.

[^^^]

Трубку. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

[^^^]

Упырь — оборотень, вампир.

[^^^]

Бердыш (*устар.*) — широкий топор.

[^^^]

Самопал — фитильное ружье.

[^^^]

Цимбалы — старинный музыкальный инструмент в виде плоского деревянного корпуса с металлическими струнами, по которым, для извлечения звука, бьют молоточками.

[^^^]

Краковяк — быстрый польский народный танец.

[^^^]

В аде. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Крылос — огороженное перед иконостасом место для певчих.

[^^^]

Схимник — монах.

[^^^]

Купала — мифологический персонаж у славян, связанный с обрядом купания и прочим в ночь с 6 на 7 июля; сам обряд и время его празднования.

[^^^]

Буколическая — сельская.

[^^^]

Сонечник — подсолнечник, по малороссийскому произношению. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Ледача детина — негодный ребенок. (Примеч.
Н. В. Гоголя.)

[^^^]

Рекрута (рекрутчина) — набор на военную службу; *отсюда*: рекрут — новобранец, поступивший на военную службу по повинности или по найму.

[^^^]

Степовик — живущий в степной глуши, хуторянин.

[^^^]

Приказчик — наемный служащий у помещика, исполнявший разные хозяйственные поручения, руководивший или самим хозяйством, или каким-нибудь его участком.

[^^^]

Мирошник — мельник. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Старшина — выборный или поставленный начальник из того же сословия.

[^^^]

Чемерик (чемерица, чемеричник) — ядовитое растение.

[^^^]

Эти слова в украинских семинариях значат:
пойти в домашние учителя. (*Примеч. Н. В. Го-
голя.*)

[^^^]

Нива, засеянная арбузами, дынями, тыквами
и т. п. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Хорошо, хорошо! (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Фронтон — треугольная стенка под крышей или над входом в дом.

[^^^]

Аз — старинное название буквы «а».

[^^^]

Буки — старинное название буквы «б».

[^^^]

Капот — женское платье с рукавами и разрезом спереди.

[^^^]

Шушун — кофта, телогрейка.

[^^^]

Орест — герой греческих мифов, сын Агамемнона и Клитемнестры, убивший мать и её возлюбленного Эгисфа, мстя за убитого ими отца.

[^^^]

Пилад — в греч. мифологии верный друг Ореста; *перен.* — верный друг.

[^^^]

Стойк — последователь стоицизма (направления в античной философии); человек, мужественно переносящий жизненные испытания.

[^^^]

Следовательно (лат.).

[^^^]

Человек предполагает, Бог располагает (*лат.*).

[^^^]

Запаска — разновидность женского шерстяного передника.

[^^^]

Присьба (призба, завалинка) — невысокая земляная насыпь вокруг избы.

[^^^]

Гумно — место, где молотят хлеб.

[^^^]

Комора — кладовая, амбар.

[^^^]

То есть влюбился. (*Примеч. Н. В. Гоголя.*)

[^^^]

Запал — лошадиная болезнь, которая сопровождается одышкой.

[^^^]

Штоф — старинная единица измерения, равная 1,23 л.; стеклянная бутылка такой емкости.

[^^^]